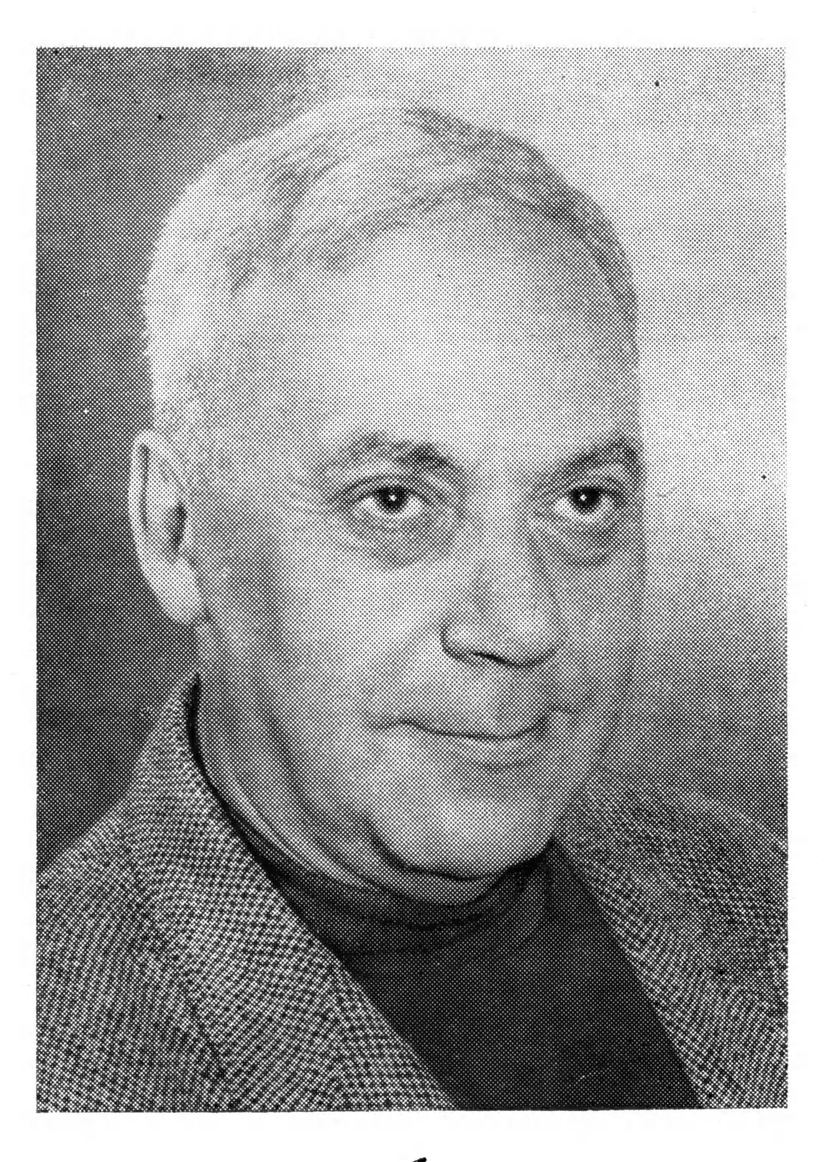
Юрий Герман



Юрий Герман

ПОДПОЛКОВНИК
МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ

НАЧАЛО

БУЦЕФАЛ

ЛАПШИН

ЖМАКИН

ВОСПОМИНАНИЯ

Юрий Герман

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1980

Р 2
Г 38

Г $\frac{70302-062}{083(02)-80}$ 92--80 4702010200



ПОДПОЛКОВНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

1

Поезд из города в Москву уходил по расписанию в двадцать один тридцать, но Жакомбай и старшина-шофер Глущенко собрались оформлять литер Левину с утра. Жакомбай считался в госпитале по таким делам первым человеком, а у Глущенко на станции были знакомые: весовщица в багажной конторке и Тася, уборщица вокзала. На всякий случай Жакомбай взял с собой и подарки: филичевый табак и дюжину коробков спичек. Анжелика строго-настрого приказала оформить литер Александру Марковичу только в мягкий вагон.

— Человек едет не просто отдохнуть,— говорила она, провожая «виллис»,— человек едет показаться врачам, привести нервы в порядок. Воюем не первый день, работы у него хватало, это надо понимать. И не мальчик он, человек в годах, не то здоровье, чтобы, как обезьяна, по лестнице на верхнюю полку лазить...

— Ясно! — согласился Жакомбай.

Глущенко нетерпеливо поерзал за рулем, крепче завязал тесемки шапки, спросил:

— Разрешите быть свободным?

— Давайте! — велела Анжелика и, проводив взглядом госпитальную машину, пошла в ординаторскую.

Сам Александр Маркович в это время получал положенное по вещевому аттестату новое обмундирование. Портной, краснофлотец Цуриков, человек хвастливый и любящий поболтать, стоя за спиной Левина в сумерках вещевого склада, говорил:

— Вы на меня надейтесь, товарищ военврач второго ранга. Хотя времени и в обрез, каждая минута поджимает, но порядочек будет. Крой у меня — верно, слабоват, товарищу Зубову я кителек подпортил, но быстрота — это у меня есть. Я — узкий специалист, брючник, от этого

случаются неполадки. Только уж вы надейтесь — подгоню за милую душу. Под шинельку плечики подкинем, кителек тоже по фигуре подтянем, чтобы талия облитая была. По столице нашей родины пройдетесь, Цурикова добрым словом помяните...

Продовольственный аттестат, командировочное предписание и деньги Левину принесли в кабинет. Погодя запищал зуммер телефона, и Александр Маркович услышал голос командующего:

— Значит, собираетесь, товарищ военврач?

— Да вроде бы на товсь! — ответил Левин.

— Что ж, добро, добро. Ну, привет Москве, давно я там не был. И попрошу вас — насчет своего здоровья подзаймитесь. Заместитель ваш еще не прибыл?

— Нет, жду, товарищ командующий.

— Он — московским едет?

— Московским...

— Так, так,— задумчиво произнес командующий.— Ну, счастливого пути...

В голосе генерала Левину почудились какие-то странные нотки, но он тотчас же забыл об этом, потому что пришла Лора и принесла загадочный талончик в военфлотторг. По ее словам, этот талончик прислал начштаба Зубов с посыльным краснофлотцем.

— Такие талончики героям дают! — блестя зубами и радуясь, говорила Лора.— Честное слово, товарищ военврач второго ранга, я — вот точно знаю. Тут консервы хорошие, печенье, папиросы «Фестиваль» пять пачек, мыло туалетное и по шестому номеру чего-то, я забыла чего. Давайте деньги, сбегаю принесу...

Она убежала. Он сидел за своим маленьким письменным столом и ждал. Наступило время обеда — он слышал, как няньки разносили первое, потом кашу с мясом, потом компот. Не выходя из своего кабинета, он всегда знал, что делается в госпитале; знал ровный, спокойный ритм обычной жизни и тотчас же угадывал любое происшествие...

Стало темнеть — заполярный, короткий день кончался. С треском ударили зенитки: в свое обычное время прилетел фашист — поглядеть, что делается в гарнизоне. Левин взглянул на часы — точно, этот господинчик всегда прилетал аккуратно. Потом постучал Цуриков — примерять шинель. Лицо у него было озабоченное,

— Не слыхали, товарищ военврач? — спросил краснофлотец.
— Чего именно?
— Разбомбили московский-то...
— Поезд, что ли?
— Сильно разбомбили. Четыре вагона в щепки. Лоухи, такое место. Всегда они там накидываются... Попрошу руку поднять, товарищ военврач, проймочку вам подправлю...
Он что-то чертил мелом на шинели и болтал, а Левин думал: неужели Белых попал в бомбежку? Такой славный малый и хирург толковый! На него спокойно можно было оставить госпиталь...
Анжелика принесла хлеб на дорогу, консервы, масло. Вернулась Лора из военторга. Левин, закурив папиросу «Фестиваль», сказал, ни к кому не обращаясь:
— Странное у меня чувство — словно я никуда не поеду. Что там с поездом, не слышали?
Лора и Анжелика переглянулись.
— Да ну, я же вижу, что вы перемигиваетесь,— немножко рассердился Александр Маркович.— Разбомбили поезд? Воскресенская, я у вас спрашиваю.
Лора кивнула.
В это мгновение позвонил Шеремет. Александр Маркович недовольно покривился и встряхнул телефонную трубку, точно это могло чему-нибудь помочь.
— Левин? — орал Шеремет.— Салют, Левин! Неприятности слышал? Белых не приедет. Попал в это самое дело, догадываешься? Сильно попал.
— Жив? — спросил Александр Маркович.
Шеремет что-то кричал насчет госпиталя и насчет того, чтобы Левин сдавал дела Баркану и отправлялся в Москву.
Александр Маркович не слушал: он видел перед собою Белых, словно расстался с ним вчера. Широкие плечи, большая теплая рука, умный взгляд спокойных серых глаз.
— Приказ пришлю с посыльным! — кричал Шеремет.— А ты там быстренько проверни эти формальности.
— Баркану я госпиталь сдать не могу! — сухо произнес Левин.
Шеремет разорался надолго. Александр Маркович держал трубку далеко от уха. Он все еще думал о Белых. Что с ним? Может быть, все-таки жив? Черт возь-

ми, это же талантливый человек, настоящий человек. От него многого ждали. . .

— Ты меня слышишь, товарищ Левин? — кричал Шеремет.— Ты слышишь?

— Ну, слышу! — угрюмо отозвался Александр Маркович.

— Я твои взаимоотношения с Барканом расцениваю как нездоровые! — кричал Шеремет.— У тебя характер тяжелый, ты сам это знаешь. А мне командующий голову срубит, если ты не уедешь. Короче — я с себя снимаю ответственность. Вы слушаете меня, военврач Левин?

Александр Маркович положил трубку, взял еще папироску, сказал Анжелике:

— Ставьте меня обратно на довольствие. Пока я никуда не поеду.

— То есть это как же понимать? — спросила Анжелика.

— Очень просто. Я — остаюсь.

Вернулись Жакомбай и Глущенко, у обоих были виноватые лица.

— Поезд сегодня не отправится,— сообщил Глущенко,— подвижной состав выведен из строя, надо ждать новые вагоны из Вологды и Архангельска.

— На, возьми папиросы «Фестиваль»! — сказал Левин Глущенко.— Видишь, они с серебряной бумагой, будешь в столовой официанткам показывать — какие старшина папиросы позволяет себе курить. И ты, Жакомбай, возьми пачку. Бери, бери, не стесняйся, я ведь такие не курю. . .

Потом строго спросил:

— А как там насчет сцепления, Глущенко? Перепускаете?

И так как старшина промолчал, то Александр Маркович погрозил ему пальцем. А когда они оба ушли, он сказал Анжелике:

— Конечно, у меня язва. Пошлая язва. Вы знаете, как я питался в детстве? Моя мама варила мне суп на неделю, я учился в гимназии в другом городе, не там, где жили мои родители. . . процентная норма. . . противно рассказывать. И этот суп моя мама наливала в такую большую банку — вот в такую. . .

Левин показал руками, какая была банка.

— Ну, естественно, первые три дня я кушал нормальный суп, а вторые три дня я кушал прокисший,

Я же не мог его выбросить, потому что это все-таки был суп. И я его кушал...

Он грустно улыбнулся, вспоминая детство, вздохнул и добавил:

— А на кровати мы, мальчишки, спали шесть человек. Собственно, это и не кровать была: козлы, доски, тряпье. И спали мы не вдоль, а поперек. И я, представляете себе, Анжелика, я очень удивился, когда узнал, что кровать, в сущности, предназначена для одного человека и что есть дети, которые спят на своей собственной кровати...

Не торопясь он открыл кран, вымыл свои большие крепкие руки с плоскими, коротко остриженными ногтями, насухо обтер их полотенцем, привычно натянул халат и, взглянув на часы, отправился в свой обычный вечерний обход. И опять наступила прежняя, размеренная жизнь — будто Александр Маркович и не собирался ехать в Москву.

2

В пятницу явился новый повар — пожилой человек с длинным висячим носом и очень белым лицом в морщинах и складках. Назвавшись Онуфрием Гавриловичем и рассказав, где он раньше работал, будущий госпитальный кок положил на стол перед Александром Марковичем пачку своих документов — довольно-таки просаленных и потертых. Левин медленно их перелистал и вздохнул.

— Вчера увезли в тыл нашего Бердяева,— сказал он.— Прекрасный был работник, золотые руки. И дело свое знал на удивление. Можете себе представить, простую макаронную запеканку готовил так, что раненые приходили в восторг. Надо же такое несчастье — упала бомба, и человек остался без ног.

— Всякому своя судьба,— отозвался Онуфрий.

Левин еще полистал засаленные бумажки и спросил Онуфрия, знает ли он систему госпитального питания.

— А чего тут знать,— ответил Онуфрий,— тут знать, товарищ начальник, нечего. Я французскую кухню знаю, кавказскую знаю, я у самого Аврамова Павла Ефимовича, шефа-кулинара, служил, лично при нем находился. Не то что макаронную запеканку готовили или там суп-пейзан крестьянский, была работенка потруд-

нее — справлялись. Рагу, например, из печенки делали под наименованием «дефуа-гра». Или, например, соус «рокамболь»...

Онуфрий грустно поморгал и подергал длинным носом. На Левина «дефуа-гра» и «рокамболь» не произвели впечатления.

— Это здесь не понадобится,— сказал он,— тут пища должна быть простая, вкусная и здоровая. У нас госпиталь, лежат раненые, аппетит у них часто неважный, наше дело заставить их есть. Понимаете?

Повар кивнул.

— Справки свои можете взять,— добавил Левин и поднялся.— Я тут написал, как и где вам оформляться. Вас почему в армию не взяли?

Онуфрий объяснил, какая у него инвалидность, и ушел, а доктор Левин отправился к Федору Тимофеевичу. Инженер лежал на полу и наклеивал на костюм широкую, в ладонь, полосу вдоль карманов с молниями.

— Усилить надо,— сказал он Левину, дернет человек молнию и разорвет основание. Вообще, все это следовало бы делать поплотнее, посолиднее. Вы не думаете?

Аккуратно приладив вторую полосу, он сел по-турецки, закурил папироску и стал рассказывать, как, по его мнению, надобно проводить нынешние испытания. Они оба выйдут в залив на шлюпке, Федор Тимофеевич наденет на себя спасательный костюм и постарается выяснить, сколько времени летчик сможет продержаться на воде при минусовой температуре. Александр Маркович будет тут же и своими медицинскими способами выяснит, все ли благополучно с тем человеком, который плавает в воде. Грелки принесут через час, начальник тыла подписал требование.

— А ну-ка, дайте-ка я это надену,— сказал Левин. Для того чтобы удобнее было одевать Левина, инженер Курочка встал на табуретку. Обоим им было смешно и весело, когда Александр Маркович ходил по комнате из конца в конец в спасательном костюме из прорезиненной ткани. Костюм шипел и шелестел, и было похоже, что Левин спустился в этом костюме с Марса.

— А что,— сказал Левин,— очень удобно. Нигде не тянет, тяжести не чувствуешь. Вот я сижу на стуле в узком пространстве кабины пилота. Ну-ка!

Он сел на табуретку между столом и стеною и стал делать такие движения руками и ногами, какие, по его мнению, делает пилот, управляя самолетом.

— Притисните меня, пожалуйста, посильнее столом,— попросил он,— а то слишком свободно.

Курочка притиснул, и Левин опять стал шевелить руками и ногами. Пока он так упражнялся, Курочка читал газету.

— Послушайте, доктор,— вдруг сказал он,— а вы знаете, что тут написано?

Левину было не до газеты. Он воображал в это мгновение, как летчик в спасательном костюме делает поворот. Потом он как бы нажал гашетку пулеметов. Он не очень-то знал все эти штуки, но он мог вообразить!

— Движений нисколько не стесняет,— очень громко сказал Левин, как бы подавляя голосом грохот винта,— вы слышите, Федор Тимофеевич? Вот я делаю переворот. Вот я делаю иммельман или как оно там называется. Вот я страшно размахиваю руками и ногами в тесном пространстве кабины, и хоть бы что. Очень легкая, удобная, прекрасная вещь...

Курочка, улыбаясь, смотрел на доктора. Кто бы мог подумать, что этот человек на шестом десятке лет будет играть в летчики. Впрочем, он не играл, у него простонапросто было воображение, и он мог легко представить себе, что он — пилот, летящий над холодным морем.

— Это все прекрасно,— сказал Курочка,— движения движениями, а вот как будет с испытанием на воде? Начнет обмерзать и трескаться, тогда мы с вами поплачем. Ну ладно, хватит, идите прочитайте газету.

Левин снял костюм, обдернул на себе китель с серебряными нашивками и взял со стола газету. Под общей рубрикой «Орденом Красной Звезды» была напечатана его фамилия с именем, отчеством и званием. Курочка смотрел на него сбоку.

— Послушайте, наравне с летчиками! — сказал Александр Маркович.

Курочка взял Левина за плечи и поцеловал три раза в щеки.

— Поздравляю, доктор,— сказал он,— поздравляю вас с первым орденом в этой великой войне. Очень за вас рад.

В это время начали бить зенитки, и дежурный, просунув голову в дверь, сказал сухо:

— В убежище, товарищи командиры, в убежище!

Тотчас же фашисты сбросили четыре бомбы, и с потолка посыпалась штукатурка. Погас свет. Курочка зажег спичку и закурил папиросу. От его папироски прикурил Левин.

— Пожалуй, пойду в госпиталь,— сказал он сердито,— мало ли что... Ох, как мне надоели эти штуки!

Курочка светил ему спичками, пока он надевал шинель и фуражку. На улице были сумерки заполярного полдня. Бухая сапогами, навстречу Левину прошел комендантский патруль. Оглушительно защелкали зенитки. Подул ветер, запахло гарью.

Левин посмотрел вверх, но ничего не увидел, кроме серых туч и разрывов — круглых и аккуратных. Потом вдруг завыл пикирующий бомбардировщик, и еще четыре бомбы с отвратительным свистом упали в залив. Левин прижался к стене. Фуражка с него слетела.

«Наверное, опять трубы лопнули и комнату залило водой,— с тоской подумал он,— теперь поставят насос и будут качать».

В госпитале он сделал замечание военврачу Баркану. Замечание было очень вежливое, но взъерошенный Баркан сразу насупился и ответил в том смысле, что он уже далеко не мальчик и в нотациях не нуждается. У них вообще были трудные отношения, и Левина это огорчало. В сущности, Баркан был недурным врачом, но совершенно не умел подчиняться. И опыт у него был за плечами немалый, и школа недурная, но самонадеянность и замкнутость Баркана не давали Левину возможности сблизиться с ним. А теперь он совсем надулся.

«Наверное, Шеремет насплетничал, что я отказался сдать ему госпиталь,— подумал Левин.— Конечно, это обидно, а все-таки я не мог. Э, к черту!»

Но когда в ординаторскую пришла Варварушкина, Левин пожаловался ей сам на себя.

— Слушайте, Баркан обижен,— сказал он. — И справедливо обижен. Шеремет, наверное, сболтнул ему насчет моего отъезда в Москву — помните ту историю? Но я же, честное слово, не мог. Вы меня понимаете? Белых — это одно, а Баркан — это другое. И все-таки я в чем-то виноват. Он неправ, но я начальник и многое

зависит от меня, многое, если не все. Иногда дерните меня за локоть, если я слишком раскручусь, будьте так добры, Ольга Ивановна. И как вбить в мою голову, что Баркан — обидчивый человек? Он служил в таком городе, где считался непререкаемым авторитетом, а тут некто Левин его учит. Надо же быть хоть немножко психологом...

И, встретив Баркана через час в коридоре, заговорил с ним весело, как ни в чем не бывало. Но Баркан на шутку не ответил, втянул квадратную голову в плечи и сказал, что ему некогда.

Потом позвонил телефон, и военврачу второго ранга Левину А. М. передали, что нынче же, в четырнадцать ноль-ноль, на большом аэродроме в помещении старых мастерских командующий будет вручать правительственные награды.

Было двадцать минут второго. А еще надо было побриться, вычистить новый китель и заложить бумажку в калошу, чтобы она не падала. И как туда добраться за десять минут?

3

Похожий на огромную отощавшую птицу, шаркая ногами в спадающих калошах и на что-то сердясь, он сунул сухую руку Боброву, потом Калугину, потом старшине Пялицыну и снял шапку, не замечая, как весело все на него поглядывают и сколько он доставляет людям удовольствия своими вечно штатскими поступками, крикливыми, каркающими замечаниями и добродушно-виноватой улыбкой на изборожденном морщинами, дурно выбритом лице.

— Можете себе представить,— сказал он Калугину,— вчера опять отправил в Ленинград письмо своему квартирному уполномоченному. На прошлое ответа нет и по сей день. Вы ведь тоже ленинградец, я помню, мы встречались.

— Я — москвич,— ответил Калугин,— живу в Москве на Маросейке.

— Постарели,— сказал Левин,— с тех пор очень постарели.

— С каких это «тех пор»?

— А с тех,— осторожно, с робкой улыбкой произнес Левин. Он уже догадывался, что опять путает.

— С каких? — допытывался безжалостный Калугин.

— Ну ладно, проваливайте от меня,— воскликнул Левин,— у меня не тот возраст, чтобы шутить шутки.

И доктор слегка толкнул Калугина в плечо всем своим узким телом с такою силой, что долго сам раскачивался, потеряв равновесие.

— А меня вы помните, товарищ военврач? — спросил летчик Бобров.

— Еще бы не помнить! Ваша фамилия Мельников. Нет человека, которого бы не знал доктор Левин, если, конечно, этот человек принадлежит к славному племени крылатых. Вы — Мельников!

— Ошибаетесь, товарищ военврач!

— Я ошибаюсь? Я?

— К сожалению, товарищ военврач.

— Вы мне все надоели,— сказал Левин.— Добрые десять лет со мною шутят этим способом. Нельзя ли придумать что-либо поостроумнее. У кого есть папиросы?

— Папиросы есть у меня,— сказал Калугин,— но тут курить, доктор, не разрешается. Это во-первых. А во-вторых, вы уже в строю. Придется маленько потерпеть.

— Теперь я вспомнил вашу фамилию! — воскликнул Левин.— Вы — Калугин. Военинженер Калугин. Посмейте возразить! А он Мельников. И пусть не болтает глупости.

С видом победителя он вышел из строя и прошелся вдоль машин, предназначенных к ремонту. Один истребитель с искореженным винтом привлек его внимание. Он покачал головой, потом потрогал рваные раны на фюзеляже машины. Старое лицо его сделалось скорбным.

— Посмотрите, как они дерутся нынче,— сказал он,— броня превращается в рваную тряпку. А покойный Зайцев мне рассказывал, что в империалистическую имел место случай, когда один штабс-капитан расстрелял все патроны, очень рассердился и бросил свой пистолет в другого летчика, в австрийца, просто в голову. Разные бывают войны.

— Встаньте на место, доктор,— позвал Калугин.

Вошел начальник штаба — очень бледный полковник Зубов, и сразу же все подровнялись и перестали разговаривать. Старший политрук Седов вдруг сконфузился под пристальными взглядами сотни людей и стал что-то

негромко докладывать начальнику штаба. Сегодня был его день — день старшего политрука Седова. Ради предстоящего торжества он выбрился так старательно, что весь изрезался, и теперь его лицо было разукрашено маленькими бумажками, наклеенными на местах порезов. И вообще все, с его точки зрения, не удавалось и было подготовлено наспех, без специального совещания, без соответствующих предварительных размышлений. В самом деле, вдруг позвонили, и тотчас же производи награждение. И где? В мастерских! А ведь все можно было устроить в Доме Флота, при свете прожекторов, и там вручение орденов снимали бы кинооператоры на пленку для всего Советского Союза.

— Ничего, ничего! — довольно громко ответил начштаба.— Главное — спокойствие.

И ушел за командующим, который все еще курил возле мастерских, прислушиваясь к рокоту моторов и к коротким ударам пушечной пальбы в воздухе.

— Опять Седов напутает? — улыбнувшись, спросил командующий.— Он, знаете ли, всегда так волнуется, смотреть на него страшно. Комиссар хотел его снять с этого дела, да я заступился. С ума человек сойдет.

— Работа, конечно, красивая,— тоже улыбнувшись, ответил начштаба,— и надо ему отдать справедливость — всю душу вкладывает. Нет, нельзя его трогать. Давеча попросил разрешения одну медаль «За отвагу» лично отвезти Смородинову в город. Тот в госпитале там лежит. И, представляете, врачей вызвал в палату, сестер, санитаров...

Он пропустил командующего вперед, поправил фуражку, обдернул шинель и великолепным, очень красивым шагом вошел в мастерскую. Где-то на фланге звучный и громкий голос скомандовал «смирно», и все стихло.

Седов прочитал по бумаге первую фамилию. Крупнотелый летчик, с трудом отбивая строевой шаг мягкими унтами, пересек расстояние, отделяющее его от командующего, и встал навытяжку. Выражение лица Седова из старательного сделалось отчаянным, он дважды, шепча при этом губами, сверил номер и протянул коробочку командующему.

— Поздравляю, капитан,— сказал командующий, светло и прямо вглядываясь в глаза летчика,— хорошо

бьете фашиста, поздравляю. И из техники выжимаете все, что она может дать. Правильно делаете.

Лицо летчика напряглось, он громко ответил положенную фразу, повернулся и пошел на свое место. Седов назвал другую фамилию, опять сверил номер и протянул еще коробочку командующему.

На сопках, слева от мастерских, ударили зенитки, и всем сразу стало видно, что командующий, вручая ордена, в это же время прислушивается к тому, что происходит там, в небе.

Восьмым был военврач Левин.

Волоча за собою спадающую калошу и не замечая этого, он взял из рук командующего коробочку с орденом, сказал «спасибо» и пошел было обратно, как вдруг командующий остановил его, и он вновь возвратился к покрытому кумачом столу, добродушно и немного виновато улыбаясь.

— Товарищ военврач,— сказал командующий негромким голосом,— думаю, что выражу общее мнение, если от имени всех нас особо поздравлю нашего дорогого товарища Левина, которого мы — вернее, многие из нас — помнят по тем далеким временам, когда... когда они были учлетами и когда военврач Левин лечил нас не только лекарствами, но и... советами... когда военврач Левин... помогал нам в трудные дни... верить себе и верить в себя...

Командующий помолчал немного и прислушался к тому смутному и сочувственному гулу, который прошумел среди построившихся людей, потом пожал сухую и крупную руку доктора, взглянул ему в глаза и добавил:

— Одним словом, товарищ военврач, горячо вас поздравляю с наградой и желаю вам здоровья и сил для той работы, которая ожидает вас до великого дня победы.

— Благодарю вас,— опять сказал Левин,— спасибо!

Вернувшись в строй, он надел очки и аккуратно прочитал свое временное удостоверение.

Следующим получил орден Калугин, потом опять пошли истребители, за ними батальон аэродромного обслуживания. Зенитки замолчали. На лице Седова от напряжения выступили крупные капли пота.

— Старший лейтенант Сафарычев,— вызвал Седов.

— В воздухе! — ответил чей-то густой голос,

Седов отложил орден Сафарычева и прочитал еще две фамилии.

— Абрамов убит,— отозвался тот же густой голос.

Седов отложил в сторону орден Абрамова.

Когда все кончилось, Левин медленно вышел из мастерских. Опять посветлело, снег перестал падать. Слева от капониров грохотали прогреваемые моторы дальних бомбардировщиков. Техник, которого, кажется, звали Гришей, поднял руку и что-то прокричал Левину,— наверное, поздравил. «Если мне не изменяет память,— подумал Левин,— то у него был перелом ключицы».

Подскакивая на ухабах застывшей дороги, его обогнала грузовая машина, в которой, держась друг за друга, пряча лицо от холодного ветра, стояли летчики. И они тоже что-то закричали Левину и замахали ему руками, а потом один из них забарабанил в крышу кабины, и грузовик остановился. «Еще немного, и у меня сделается сердцебиение,— подумал Левин,— ко мне все-таки великолепно относятся в наших ВВС».

Дюжие руки втащили его в кузов с такой быстротой, что он даже не заметил, как это произошло. Он просто очутился в кузове среди трех десятков молодежи, и только одно лицо показалось ему знакомым. «Осколочное ранение в тазовую область,— вспомнил он,— да, да, как же. Его дела были плохи — этого юноши, а вот теперь ничего».

Летчики пели.

Машина мчалась к гарнизону через аэродром, на котором военный день еще не кончился,— какие-то машины рулили к старту, готовясь вылететь, другие тащились к капонирам, с третьими возились механики, дыханием согревая стынувшие на холоде руки. Старшина-оружейник выверял пулеметы и бил порою короткими очередями в далекую скалу, а небо опять голубело, очищая свои просторы для нового сражения, наверное последнего в нынешний день.

4

Вечером в ординаторскую пришел Бобров. Военврач второго ранга Левин ел суп из пшена с треской и маленькими кусочками откусывал хлеб. Очки Александр Маркович поднял на лоб; от белой шапочки лицо его стало строже и печальнее.

— Какой у нас был повар,— сказал Левин,— как старался и как любил свое дело! А теперь вот вольнонаемный и, изволите видеть, невесть что варит. А мне некогда с ним ругаться, и, кроме того, я совершенно не понимаю, отчего одна еда бывает вкусная, а другая невкусная. Я не знаю, почему это невкусно, и не могу с него строго спрашивать. Вы понимаете, отчего еда бывает вкусная, а отчего невкусная?

Бобров ответил, что, наверное, в супе нет лаврового листа. Или, может быть, туда надо положить горчицы. Вообще, если что-нибудь очень невкусно, то всегда следует обращаться к горчице.

— Чудовищный день,— сказал Левин,— я совершенно измучился. Приехал из мастерских и сразу в операционную. Тут сегодня доставили трех мальчиков, вы слышали об этом бомбардировщике? Расскажите, как они упали?

Бобров рассказал. Левин выслушал, кривясь, барабаня по столу пальцами. За столько лет работы в авиации он так и не смог привыкнуть к этим рассказам, к спокойно-мужественному тону рассказчиков, к словам «гробанулся», «накрылся», «спрятался в водичку».

— Четыре «мессера» на одного,— сказал он,— нехитрое дело. Паршивые убийцы! Кстати, это с вами была недавно история, вы как будто попали в штопор?

— Нет, товарищ военврач, я никогда не попадал в штопор.

— И хорошо, что не попадали. Не вы, не вы... Тогда кто же попал в штопор на этих днях? Впрочем, это неважно, каждому из нас будет в конце концов свой штопор. Фу, начинается изжога. Вы не страдаете изжогами? Садитесь, старик...

Бобров сел.

Потом доктор ел картофельное пюре и вслух раздумывал о войне. По его предположениям выходило, что фашизм будет разгромлен году в сорок шестом. Насчет второго фронта он отзывался довольно вяло. Бобров смотрел на доктора внимательно, и глаза у него были такие, что Левину хотелось говорить и говорить.

— Доктор,— сказал Бобров,— вы бы кушали, у вас все простынет.

— Кушали! — воскликнул Левин.— Кушали! Погодите, я еще устрою баню этому Онуфрию! Он будет меня помнить!

И с негодующим видом Александр Маркович отодвинул от себя картофельное пюре.

— В одном доме, было время, вашего покорного слугу подкармливали,— сказал он.— Я был еще молодой человек, а там была бабушка Варя, и она пекла, например, хворост. Вы когда-нибудь пили крепкий, сладкий чай с хорошим хворостом? В этой семье...

— Доктор, а где сейчас ваша семья? — перебил вдруг Бобров.

— Моя семья? — почему-то сконфузившись и не сразу ответил Левин.— Моя семья? Говоря откровенно, у меня нет никакой семьи.

— Погибли? — глядя прямо в глаза Левину, спросил Бобров.

— Абсолютно не погибли,— ответил Александр Маркович.— Странная манера у вас у всех об этом спрашивать. Никто у меня не погибал...

Александр Маркович ворчал долго.

— Это просто удивительно,— говорил он сердито,— нет такого человека, который бы не думал, что я несчастный. А я нисколько не несчастный. У меня нет никакого надлома, понимаете? Я просто неженатый. Ведь бывают же неженатые люди. Я — холостяк. Я не вдовец, меня не бросала жена, и никто даже не может сказать, что я не успел жениться потому, что был сильно загружен работой. И я не убежденный холостяк. Если же проанализировать мое холостяцкое положение и постараться найти причину, то это окажется невозможным. Как-то так случилось, что я не женился. Все женились, все влюблялись, и всегда у меня была масса поручений — передать записку, отвезти букет цветов, и я как-то в этих свадьбах и влюбленностях запыхался, забегался и опоздал. И на барышне, которая мне очень нравилась, которую я, быть может, даже любил, вдруг женился один мой товарищ. А когда я ей через много лет рассказал, как был в нее влюблен, она всплеснула руками и сказала: «Ой, Шура, вы все выдумываете...»

Он грустно помолчал и добавил:

— Ничего себе «выдумываете»!

— Да, кстати,— сказал Бобров.— Я слышал, будто вы в отпуск собрались...

— Не вышло,— ответил Левин.— Я, знаете, хотел немного сам подзаняться своим здоровьем, но не вышло. Должен был приехать мне на смену один очень

хороший доктор, так случилось несчастье, разбомбили поезд, помните, не так давно под Лоухами. И я остался. Мне всегда не везет с отпусками, это какая-то мистика...

— Чего?

— Ну, мистика, бред... Да вы же, наверное, помните мою поездку в Сочи...

Бобров улыбнулся.

Он вспомнил, как еще до войны, в отпускное время Левин вдруг объявил всем, что едет в отпуск, что у него уже выписаны литеры, что для него заказан мягкий билет, нижнее место до станции Сочи, а на другой день появился в летной столовой и весело пожаловался:

— Вот видите, как я уехал? Теперь ко всему прочему я еще санитарный врач. Мне только не хватало снимать пробы и осматривать состояние санузлов! Ну, а с другой стороны, когда мой коллега военврач Жилин должен ехать за молодой женой и некому его заменить, как бы вы поступили? Когда он показывает мне письмо от жены и там написано: «Еще один месяц, и я сойду с ума, что ты со мной делаешь, мама плачет, и сестра Надя плачет». А? Ну-ка, скажите? И начсан вызывает меня, сажает в кресло, долго молчит, долго вздыхает и потом обращается: «Я не приказываю, я прошу. Вас никто не ждет, а Жилин молодожен». Вот вам и Сочи. И все только потому, что у меня нет настоящей силы воли. Воспитывайте в себе волю, молодые люди, иначе вы не увидите Сочи.

Доктор Левин был не чужд честолюбия. Но это было своеобразное честолюбие. В общих чертах оно сводилось к тому, что Александр Маркович любил рассказывать, будто знает очень многих знаменитых летчиков и будто кое-кого из них он лечил в свое время. Кроме того, в давние мирные времена, раздражаясь, Левин любил намекнуть собеседнику, что если так пойдет дальше, то он рассердится и уедет в Москву, в Главное управление, или, в крайнем случае, в Ленинград.

— А что? — спрашивал он.— Вы думаете, у меня вместо нервов веревки? Возьму и подам рапорт. Вечно я должен таскаться с этим племенем крылатых. Не захочу — и не буду. Что я тут вижу среди этих железных парней? Вот побудьте, побудьте хирургом у летчиков. Много интересного вы увидите. За прошлый месяц толь-

ко один случай, и то растяжение связок,— не вовремя дернул какую-то там веревку в своем парашюте. И с утра до вечера нытье, чтобы его отпустили и что он повесится со скуки в госпитале. Врач должен расти. А какой у меня рост? В крайнем случае аппендицит, и то разговоров не оберешься. Зачем летчикам врач в мирное время? Тут один недавно ко мне пришел — интересовался, что такое головная боль. Вы себе представляете человека в тридцать лет, который совершенно не знает, что такое головная боль, и спрашивает — это болит кожа на голове, болят кости в голове или мозг? Эти люди наделены таким здоровьем, что если они не падают, так для чего им хирургическое отделение? Если бы еще была война, то, конечно, я был бы нужен, а без войны я совершенно ненужен. Хорошо, что в мирное время я большей частью работал в клиниках. Иначе война бы застала меня лично врасплох. В большой клинике все-таки кое-что видишь, кое-что делаешь и порою приходится подумать. А здесь с вами, со здоровяками? Даже смешно...

Левин был вспыльчив, много путал, часто раздражался и, случалось, кричал на своих санитарок, сестер и врачей. Он просто не понимал, что значит говорить тихо. Халат на нем никогда не был застегнут, длинный нос задорно торчал из-под очков, зубами он вечно жевал мундштук папиросы и для утешения своих пациентов часто рассказывал им о собственных болезнях, энергично и страстно сгущая при этом краски.

— Этот борец со стихиями жалуется на сердце! — восклицал Левин.— Этот Икар, этот колосс смеет говорить о сердце! Кстати, оно вовсе не здесь, здесь желудок. Честное слово, противно слушать человека, который думает, что он болен, в то время когда он совершенно здоров. У вас хронометр, а не сердце, а у меня, вот у меня вместо сердца — тряпка. Давеча тут один воздушный сокол показал мне свой перелом, вот он лежит в соседней палате. И он думает, что это серьезно. Он не хочет быть калекой на всю жизнь и волнуется. Передайте ему потом, что я вам говорил доверительно, как мужчина мужчине. У него даже не перелом. У него ушиб. И нечего ему разводить нюни насчет того, что он может быть отчислен от авиации. Вот в тридцать втором, доложу я вам, один штукарь уронил меня вместе с самолетом, так это действительно была картина, достойная

кисти художника. Меня собрали из кусков. Все было отдельно. Ну почему вы смеетесь? Что смешного в том, что доктор Левин упал вместе с самолетом и разбился на куски? Кроме того, у меня язва желудка, так я думаю. А вы все здоровяки, покорители стратосферы, воздушные чемпионы, племя крылатых, и вы мне очень надоели...

В серьезных случаях, даже до войны, Александр Маркович не уходил из госпиталя. Если кто-нибудь из летчиков попадал в катастрофу, если состояние пострадавшего внушало хоть маленькое опасение,— Левин как бы случайно засиживался в ординаторской, потом в палате у раненого, потом вдруг задремывал в коридоре в кресле возле столика дежурной сестры.

— Э! — сказал он Боброву, когда тот впервые очнулся после ранения.— Вам нечем особенно гордиться. Если вы женаты, то не рассказывайте вашей жене, что вы были на краю смерти. Вас можно пропустить через кофейную мельницу, и все-таки вы останетесь летчиком. Организм вообще очень много значит в таких случаях, как ваш. Вот, кстати, во время финской у меня была работа. Приносят одного и кладут мне на операционный стол. Я смотрю, и, можете себе представить, вспоминаю обстоятельства, при которых в свое время я оперировал этого же самого юношу. Мои швы, мой, так сказать, почерк, и недурная, очень недурная работа. А дело было так. Он когда-то упал. Тогда летали бог знает на чем, на «Сопвичах», вы, наверное, даже их не видели. И вот он упал вместе со своим «Сопвичем», отбитым у белых. И я, тогда еще совсем молодой врач, должен был разобраться. Вокруг — никого, раненый нетранспортабелен, местный фельдшер только крякает, и я — желторотый — должен все решить. Один час двадцать минут я возился с этим молодым товарищем и потом нисколько не верил, что дело обойдется без сепсиса. Я не мог спать, не мог есть, помню — только все пил воду и курил самосад. Но мой пациент выжил. Он выжил вопреки здравому смыслу и всему тому, чему меня учили. Он выжил потому, что у него был совершенно ваш организм. У него было сердце как мотор и такое здоровье, что он совершенно спокойно проживет еще минимум семьдесят лет. Так что никогда не следует унывать, а вам, с вашими царапинами, тем более. Вот вам молоко — его надо выпить. Если вы не станете пить моло-

ко — это пойдет на пользу фашизму-гитлеризму. И ничего смешного. Гитлеру, Герингу, Геббельсу и всей этой шарашкиной артели очень приятно, когда наши раненые отказываются от пищи. То есть это я, конечно, выражаюсь фигурально, это в некотором смысле гипербола, но все-таки сделайте им неприятность — выпейте молоко и скушайте котлетку. Сегодня вы лично по некоторому стечению обстоятельств не воюете, так сделайте этой банде неприятности не как боевой, гордый сокол, а как едок...

5

После своего позднего обеда, сидя с Бобровым, Левин стал вспоминать Германию и университет в Йене, где некоторое время учился. Это было в общем-то ни к чему, но люди, близко знавшие старого доктора, любили слушать его всегда внезапные воспоминания — то один кусок жизни, то другой, то юность, то отрочество, то какую-то встречу, и грустную и забавную в одно и то же время.

— Немцы, немцы! — говорил Левин.— Я не люблю, когда ругаются — немец, немец. Немец это одно, а фашист это совершенно другое. Когда я смотрю, как они кидают бомбы, или читаю в газетах об этих лагерях уничтожения — боже мой, я пожимаю плечами, пожимаю своими плечами и думаю, что можно сделать из народа, дай волю Гитлеру. Народ можно превратить в палача, в гадину, в зверя, будет не нация, а подлец. Я учился в Йене, я был очень бедный студент, совсем бедный, хуже нельзя. И мне посоветовали — идите к студенческой бабушке фрау Шмидтгоф. Вот такая старуха — выше меня на голову, с усами, не дай бог увидеть ее во сне. И бока и бюст, ну что-то ужасное. Представляете себе — смотрит на меня неподвижно пять минут, обдумывает, гожусь я или нет. Потом показывает комнату и тоже смотрит — годится мне комната или нет. Потом говорит: вы имеете здесь кофе, не слишком крепкий, сливки, не слишком густые, четыре булочки в день и тишину с чистотой. Никаких безобразий. Стирка белья и штопка носков — тоже от меня. Я поселяюсь у студенческой бабушки Шмидтгоф. Через месяц она знает расписание всех моих лекций, знает, какое у меня было детство, знает, что я люблю жидкий кофе и по-

больше сливок, знает, что мне не приходится ждать ассигнований на новый костюм, а когда я заболеваю, она ходит за мной лучше, чем моя родная мама. Слушайте внимательно, Бобров. Эта женщина не дает мне никогда проспать ни одной лекции, а на прощание, когда я пла́чу и даю клятвы, что я все-таки еще приеду в Йену повидать ее, она заявляет: «Нет, вы не приедете, герр доктор». Почему же я не приеду? «Вы не приедете, потому что профессора, у которых вы учились, олухи и бездарные дураки, вы поймете это несколько позже». Но, фрау Шмидтгоф, для чего же вы гоняли меня на все лекции? «О, герр доктор, маленький мой герр доктор, для того, чтобы вы получили диплом. У вас нет богатых родителей, вы никогда не получите наследство из Америки, а диплом — это булочки, и не особенно крепкий кофе, и жидкие сливки, и крыша над головой. Жизнь так плохо устроена, герр доктор. Нет, нет, только самодовольные кретины возвращаются в Йену, а люди с головой думают: здесь пропали мои лучшие годы, у этих бездарных профессоров. Желаю вам много счастья, герр доктор, добрую жену и всегда свою голову на плечах. Желаю вам понять, что ваш профессор Бруннер — бездарная скотина, а ваш профессор Закоски — нахал и карьерист, а ваш любимец профессор Эрлихен — тупица. Никогда не приезжайте в Йену»...

— И вы не поехали? — спросил Бобров.

— Конечно.

— А старухе вы написали?

— И старухе не написал.

— Почему?

— Не написал, и баста. Почему? Веселое письмо я не мог ей написать, а грустное — не хотелось. У меня тоже была своя гордость. При царе доктору Левину не так-то просто было устроиться на службу, чтобы иметь хотя бы жидкий кофе и крышу над головой... Вы же этого не понимаете — вы, Бобров, для которого все равны: и казах, и еврей, и узбек, и вы сами, русский. Так я говорю?

— Оно, конечно, так,— согласился Бобров.

Потом Левин показал Боброву полученный давеча орден.

— Вообще, орден Красной Звезды самый красивый,— сказал Александр Маркович,— скромно и сильно высказанная идея. Вы согласны? Хотя «Красное Знамя»

тоже очень красивый орден. У вас уже два «Красных Знамени» и «Красная Звезда», а еще что?

— «Трудяга» и «Знак почета», за арктические перелеты...

— Тоже неплохо! — сказал Левин.— «Правительство высоко оценило его заслуги» — как пишут в некрологах. Но будем надеяться, что я не доживу до такого некролога. А теперь мы вымоем руки и займемся вами. Товарищ командующий мне звонил насчет вас. Что вы думаете насчет нашей идеи?

Бобров ответил не сразу. Он вообще не отличался болтливостью.

— Ну? — поторопил его Левин.— Или вы не поняли моего вопроса? А может быть, бабушка Шмидтгоф произвела на вас слишком сильное впечатление? Не надо, дорогой товарищ Бобров. Война есть война, и если они позволили себе фашизм, то мы позволим себе этот фашизм уничтожить. Правильно? Теперь что же насчет идеи?

— Придумано толково, возражать не приходится,— ответил наконец летчик,— но многое будет зависеть от качества пилота. Надежный пилот — будете работать нормально; несортный пилот — накроетесь в два счета. Учтите — посадка и взлет в районе действий истребителей противника.

— Э,— воскликнул Левин,— в районе действий истребителей противника! А наши истребители? Разве они не будут нас прикрывать? Смотрите вперед и выше, старик, больше оптимизма!

Мóя руки, он пел «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц».

Потом пришел сонный и небритый военврач Баркан. Он был очень недоволен тем, что Левин приказал его разбудить, и нарочно показывал, как он хочет спать, как переутомлен и измучен.

— Та-та-та-тра-та-та-та-та-та,— напевал Левин, обходя кругом голого Боброва и тыкая пальцем то в ключицу, то в лопатку, то в живот,— тра-та-та...

Отрывистым голосом он что-то сказал небритому по-латыни, но Баркан не согласился, и с этого мгновения стал прекословить, но не прямо, а как-то вбок. Например, если Александр Маркович что-нибудь утверждал, Баркан не оспаривал, но отвечал вопросом:

— Допустим. И что же?

Для того чтобы что-то доказать военврачу Баркану, Левин приказал Боброву ходить взад и вперед по ординаторской. Летчик ходил нахмурившись, сжав зубы, злился.

— Ну? — спросил Александр Маркович.

— Могу ответить таким же вопросительным «ну»,— сказал Баркан.— Вы, как всегда, алогичны, Александр Маркович.

— Я алогичен? Я? — спросил Левин.— Нет, в вас нынче засел бес противоречия. В конце концов я не отвечаю за то, что вы не в духе.

— Зато у вас сегодня необычайно приподнятое настроение,— ответил Баркан.— Разрешите идти?

Левин кивнул и велел Боброву одеваться.

— Видали? — спросил он, когда Баркан ушел. — Недурной человек, и врач, на которого вполне можно положиться. Но что-то у меня с ним не выходит. Не у него со мной, а у меня с ним. И виноват мой характер, моя болтливость, вечный шум, который я устраиваю, пустяки, которые выводят меня из себя. Даю вам слово, что были случаи, когда я его обижал совершенно зря. И теперь не получается контакт. Я ему неприятен, нам трудно вместе... свинство, когда идет война. Вы меня осуждаете?

Бобров пробурчал нечто среднее между «все бывает» и «постороннему тут не разобраться». Впрочем, он невнимательно слушал Левина. Допустит к полетам или нет — вот ради чего он тут сидел. И в конце концов это произошло.

— Смотрите вперед и выше, старина,— сказал Александр Маркович.— Ваше дело в шляпе. Я считаю, что вас можно допустить к исполнению служебных обязанностей...

Летчик еще сильнее сжал зубы: вот оно, наступает его день.

— Вы в хорошей форме,— продолжал военврач,— вы в форме почти идеальной для вашей специальности. Теперь второй вопрос — наша идея. Вы бы пошли пилотом на такую машину?

— На какую? — спросил Бобров, чтобы оттянуть время и не сразу огорчить Левина.

— Я же вам говорил о нашей идее. Речь идет о спасательной машине. Или мне рассказать все с самого начала?

— Я хочу воевать! — сказал Бобров.— Я должен воевать, товарищ военврач. . .

— Ну и воюйте! — вдруг грустно и негромко ответил Левин.— Воюйте на здоровье. Конечно, вы воюете, а я вам предлагаю эвакуацию в Ташкент. Разумеется, вы солдат и храбрец, а мы тут бьем баклуши и отсиживаемся от всяких непредвиденных случайностей. Вытащить из ледяной воды двух-трех обреченных парней — это для товарища Боброва штатская работа. Вернуть к жизни, спасти своих товарищей — это несерьезно. Нет, нет, вы лучше теперь молчите. В данном вопросе интересно то, что некто Бобров сам сказал, будто несортный пилот погубит все начинание, а когда дошло до дела, то этот же Бобров предпочел отказаться. Я больше ничего не имею сказать. Привет, товарищ Бобров. . .

Летчик молчал, косо и задумчиво глядя на Левина. Тот сидел за своим столом, горестно подпершись руками, и было видно, что он в самом деле глубоко обижен и оскорблен.

— Все едино это вроде отчисления от боевой авиации,— глухо и упрямо произнес Бобров.— Тут никакие рассуждения не помогут, хотя вы и правы как военврач. Конечно, без команд аэродромного обслуживания мы работать не можем, и правильно роль этих команд начальство поднимает, но коли вопрос жестко поставят, я лучше в пехоту подамся, чем в аэродромную команду.

Левин молчал.

— Еще направят на бензозаправщик шофером и тоже скажут — боевая работа,— ворчливо добавил Бобров,— а я бомбардировщик, театр знаю, пользу приношу.

— Идите, идите,— почти крикнул Левин,— я же вас не прошу и не уговариваю. Идите в бомбардировочную, идите. А мне пришлют мальчика двадцатого года рождения, и нас срежут на первом же взлете. Черт с ним, с этим старым Левиным. Но идея, идея, прекрасная идея тоже будет срезана раз навсегда. До свидания, спокойной ночи, приятных сновидений.

И он открыл перед Бобровым дверь в полутемный госпитальный коридор.

Потом Левин немного постоял в ординаторской, раздумывая, и принял соды: его мучила изжога. К ночи с дальнего поста привезли на катере краснофлотца — пришлось оперировать. Потом у старшины стрелка-ра-

диста началось обильное, изнуряющее кровотечение из раны бедра.

— Ничего не понимаю! — ежась и вздрагивая, сказала Ольга Ивановна. Она всегда пугалась за своих раненых, и Александр Маркович сердился за это на нее и часто говорил ей, что так нельзя, что она должна держать себя в руках, что это, в конце концов, война.

— Чего же тут не понимать? Вторичное кровотечение! — сказал он и пошел мыть руки. Анжелика побежала перед ним готовить операционную.

К часу ночи он перевязал старшине бедренную артерию, и когда из операционной его привезли в палату, Александр Маркович сел с ним рядом и заговорил:

— Теперь все в полном порядке, старик. Еще немного, и вы пойдете гулять. У вас железные легкие и блиндированное сердце. С вашим здоровьем человек никогда не умирает. Верочка, приготовьте для этого летающего Мафусаила кальций. И вам не стыдно, старик? Это, кажется, вы часа два тому назад просили меня написать прощальное письмо на родину? Смотрите, ему смешно!

Наконец, когда все затихло, Левин отправился по осклизлым каменным ступеням вниз, в свою комнату, рядом с прачечной, отдыхать. Здесь круглые сутки слышался шум воды, глухо и печально пели прачки, скрипел моечный барабан, а если близко падала бомба, то обязательно лопались трубы и жилье доктора заливало водою.

Он разулся, вздохнул и сел на койку.

Кителя он не снимал: мало ли что могло случиться со стрелком-радистом.

Дорогая Наталия Федоровна!

Так я к Вам и не приехал. Опять не вышло. И не то чтобы меня не пустили — наоборот, очень даже пускали и гнали, но по свойству своего характера — не смог. Кстати, не помните ли Вы такого ученика Н. И., по фамилии Белых? Это необыкновенно способный хирург, Н. И. очень его когда-то нахваливал и водил к вам в дом, где вышеупомянутый Белых, краснея и стесняясь, съедал огромное количество хлеба, стараясь поменьше мазать маслом. Вспоминаете? Звали Вы его Петечкой, и нянька, покойница Анастасия Семеновна, всегда его еще отдельно кормила в кухне гороховым супом, который он страшно любил. Так вот, этот Белых ехал к нам и попал

под бомбежку. Подлецы фашисты и бомбили и обстреливали состав. Белых вытаскивал из вагона какого-то раненого майора, фашист сверху дал пулеметную очередь, и теперь у нашего Петечки прострелены кисти обеих рук. Представляете, какое это ужасное несчастье для хирурга. Наш начсанупр флота приказал круглосуточно дежурить возле него — страшимся мы психической травмы. Э, да что писать...

Но дело есть дело: Белых, по всей вероятности (об этом был специальный разговор), удастся эвакуировать в те районы, где командует наш Н. И. Пусть Н. И. вспомнит своего ученика, отыщет его, и, так сказать, в общем, Вы понимаете. Учтите еще, что этот сибиряк страшно самолюбив и именно поэтому не потерпит никакого особого с собой обращения. Я ездил к нему. Он сказал: «Живем-живем и привыкаем — все Н. И. да Н. И., а ведь Н. И. великий хирург». Приятно Вам быть женой великого хирурга?

Ох, милая Наталия Федоровна, как быстро летит время. Пишу Вам и вспоминаю Киев, Н. И., Вас и Виктора, когда он только что родился и у Вас сделалась грудница. Помните, как мы все трое испугались и позвали фельдшера Егора Ивановича Опанасенку, а потом я побежал в аптеку и на обратном пути вывихнул себе ногу. И Ваш муж вместе с Опанасенкой вправили вывих, когда меня приволокли какие-то добрые киевские дядьки.

Передайте, пожалуйста, Н. И., что у меня в госпитале два дня тому назад был казус во время операции на почке, совершенно в стиле раритетов, которые интересуют Вашего благоверного для той его давнишней работы.

Остаюсь Вашим постоянным доверенным лицом

А. Левин.

6

— Ну? — спросил Левин.

Военинженер Курочка лежал в воде залива на спине. Холодная луна светила прямо в его маленькое белое лицо.

— Все в порядке? — крикнул Александр Маркович, и гребцам-краснофлотцам показалось, что над заливом каркнула ворона.— Удобно лежать?

Шлюпка едва покачивалась.

Широкой лентой по черной воде плыли шарики лимонов. Про эти лимоны рассказывали, будто бы какая-то союзная «коробка» напоролась на камни, разодрала себе днище и теперь команда пьянствует на берегу в «Интуристе», а лимоны вода вымывает и несет по заливу. Каждый такой лимон покрылся корочкой льда и там, под скорлупой, сохранил и свой аромат и вкус.

В шесть часов утра первое испытание закончили. Краснофлотцы вытащили Курочку в шлюпку — спасательный костюм блеснул, точно рыбья чешуя, и тотчас же обледенел. Левин налил из фляги коньяку, но Курочка пить не стал.

— Спать хочу,— сказал он, зевая.

— Я все-таки повезу вас в госпиталь,— строго решил Александр Маркович.— Там и выспитесь. Так или иначе, даже в том случае, если наш костюм будет принят на вооружение и летчики будут его применять, после падения в воду нужен медицинский уход.

— Я не падал, я испытывал в спокойных условиях,— ответил Курочка.

И попробовал обмерзшую ткань на слом.

— Ага? — сказал Левин.— Не ломается? Вечно вы ничему не верите. Я же замораживал и кусочками и большим куском. Ничего ей не делается — этой нашей великолепной ткани.

— Не нравится мне что-то в нашем костюмчике,— вяло ответил Курочка,— а что — не могу понять. Чего-то в нем не хватает.

— Ох, надоели вы мне с вашим пессимизмом,— рассердился Левин.— Если не хватает, тогда скажите, чего именно не хватает...

— А знаете, чем отличается пессимист от оптимиста? — вдруг, хитро прищурившись, спросил Курочка.— Тем, что пессимист говорит — хуже быть не может, а оптимист утверждает — нет, может быть еще гораздо хуже. Так вот я оптимист, и утверждаю, что с костюмом не все в порядке...

С пирса они приехали в госпиталь. Пока Левин записывал все фазисы прохождения испытаний, инженера купали в ванне и кормили сытной и горячей едой. Потом он стал засыпать. И с этим бороться было уже безнадежно.

— Послушайте, старик, еще пять минут, не больше,— умолял его Левин,— вы мне только расскажите, как работала химическая грелка...

— Оптимист... могла бы работать лучше,— говорил, засыпая, инженер.— Все всегда можно сделать лучше, чем мы делаем...

Он уже спал. Маленькое личико его осунулось еще больше за эту ночь. И Левин вдруг понял, что с Курочкой нужно быть осторожнее, потому что этот человек вообще устал до предела: устал от своей военной работы, от непорядков с женой где-то в далеком тылу, от вечного, словно съедавшего напряжения мысли, всегда устремленной куда-то в далекое будущее.

Когда инженер уснул, в ординаторскую пришел его приятель, высокий, сердитый Калугин, и сказал, что это форменное безобразие — так мучить Курочку.

— Вы не знаете, какие мозги у этого товарища,— произнес он, кивнув на диван,— ваш рентген еще не умеет определять, из кого может произойти настоящий гений. И если на то пошло, если это правда необходимо, давайте я буду испытывать ваш спасательный костюм. У меня настоящее здоровье, меня не уморишь каким-либо гриппом или ангиной...

— Дело не в ангине,— со вздохом сказал Левин.— Дело в том, что он ждет и не получает писем. Я не жду, а вот он ждет...

— А зачем он ей? — со злобой в голосе негромко спросил Калугин.— Зачем ей человек, который имеет броню и служит здесь? Вы-то ее не знаете, а я ее знаю — эту даму. Это особая дама, удивительная дама. И он все понимает и тем не менее мучается ужасно. От этого еще не изобрели капель?

— Нет, не изобрели! — печально ответил Левин.

— Ну, тогда и шут с ней — с этой дамой.

Калугин сел в кресло, налил себе из фляжки коньяку и сказал:

— Моя специальность — строительство аэровокзалов. Кончится война, и я буду строить грандиозные аэровокзалы в Ташкенте, в Алма-Ате, в Сочи, в Архангельске. Дайте мне каких-нибудь порошочков, доктор, чтобы не думать о своих проектах. На данном этапе это ни к чему. Впрочем, это я пошутил насчет того, что буду строить. Может быть, и не буду. Может быть, мои проекты гроша ломаного не стоят. Может быть, я маньяк.

А, доктор? Впрочем, это все пустяки. Лучше скажите мне, чем кончились нынче ваши испытания.

— Они еще не кончились,— сказал Левин.

— Это жалко,— сказал Калугин.— Тем более, что завтра, то есть даже сегодня, Курочка вам не помощник. Мы с ним уезжаем.

Левин молчал. Лицо у него делалось все более и более сердитым.

Калугин громко высасывал лимон. Левин сморщился.

— У-у,— сказал он,— такая кислятина! Даже смотреть страшно.

Когда Калугин ушел, доктор пододвинул к себе чернильницу, почесал вставочкой переносицу под дужкой очков и размашисто написал: «Протокол». Потом еще подумал, засопел и, зачеркнув «Протокол», написал: «Акт».

Он писал долго, до самого утреннего обхода, и сердился, что Курочка спит, а он должен писать, хоть писать его никто не заставлял, так же как никто ему никогда не приказывал заниматься спасательным костюмом.

Весь день он был в возбужденном состоянии, и его карканье разносилось далеко по коридорам и палатам госпиталя, а к вечеру он зазвал к себе в ординаторскую доктора Баркана, посадил на клеенчатый диван и, слегка склонив голову набок, спросил:

— Доктор Баркан, не кажется ли вам, что пора положить конец этим нашим нездоровым взаимоотношениям?

— Что, собственно, вы имеете в виду? — сухо осведомился Баркан.

— А вы не догадываетесь?

— Наши взаимоотношения определились раз навсегда! — сказал Баркан.— Вы мне не доверяете, это мне доподлинно известно. С какой же стати я буду разыгрывать роль вашего друга. . .

Левин ответил не сразу. Он подумал, потом произнес сурово:

— Речь идет, видимо, о том, что я не согласился отдать вам свой госпиталь. Да, я не согласился. Я могу передать вверенный мне госпиталь только человеку, которому я доверяю больше, чем самому себе. Иначе я несогласен. А вам я доверяю меньше, чем себе. Вы зна-

чите сами для себя больше, чем дело, чем работа. Разве это не так?

Баркан молчал.

— Это так! — сказал Левин.— Вы привезли с собой сюда ваше самолюбие. Вы не хотите считаться с нашим опытом. А у нас большой опыт. Вы несогласны с этим?

— У меня тоже немалый опыт! — твердо и значительно сказал Баркан.— Я не вчера получил диплом... я...

— Послушайте,— перебил его Левин,— послушайте, доктор Баркан, зачем вы себе выбрали эту вашу специальность? Нет, нет, не надувайтесь сразу, не делайте такой вид, что я вас оскорбил, а просто ответьте — зачем вы пошли в медицинский институт и даже потом защитили диссертацию?

Доктор Баркан засунул указательный палец за воротник кителя и подергал — воротник вдруг впился ему в толстую шею, потом он медленно поднял ненавидящий взгляд снизу вверх и с бешенством как бы измерил взглядом тонкую сутуловатую фигуру доктора Левина.

— Что вы от меня хотите? — спросил он негромко.

— Чтобы вы ответили, для чего вам понадобилась специальность врача.

— Я отказываюсь отвечать на подобные вопросы! — сказал Баркан.

— Отказываетесь?

— Да, отказываюсь.

— Я так и знал, что вы откажетесь,— сказал Левин,— вы во всем ищете оскорбление. Вы — недалекий малый, вот что...

Доктор Баркан стал приподниматься с дивана, но Левин замахал на него рукой, и он, помимо своей воли, вновь сел и даже откинулся на спинку, приняв такую позу, которая означала, что доктор Левин может теперь болтать сколько ему заблагорассудится,— с душевнобольными не спорят. Левин же, будто и не замечая этого движения Баркана и всей его позы, стал расхаживать по ординаторской и не столько говорить с Барканом или говорить Баркану, сколько рассуждать сам с собою или делиться с Барканом своими мыслями, причем с такой интонацией, что Баркан никак не мог больше обижаться, потому что Левин как бы даже советовался с ним.

— Послушайте,— говорил он,— сегодня я случайно узнал, что вы сын врача. И, знаете, я вдруг подумал,

как, в сущности, все изменилось за эти годы после революции. Невероятно изменилось. Э, дорогой Баркан, вы сейчас меня ненавидите, а я вовсе не заслуживаю этого — даю вам слово честного человека, я беседую с вами по-товарищески, я только хочу сказать вам, что вы неправильно ведете себя и не понимаете чего-то самого главного. Ваш отец, допустим, жил и работал в прекрасном городе Курске. И он знал: сын вернется врачом, фамилия та же, вывеска почти не изменится, пациенты будут с теми же фамилиями, мадам Черномордик молится на Шарко, и ее семья молится на Шарко — ваш папаша лечил ее в этом духе, и вы будете лечить ее и ее семью совершенно так же. Купец Ноздрев любит, чтобы доктор сначала перекрестился на иконы, а потом подошел к больному, вы будете знать эти штуки, ваш папенька крестился, и вы перекреститесь, так? Ничего, что ваш папенька и вы сами нисколько не верите в бога, вы ведь постоянный врач, так? Подождите, не перебивайте! И вот ваш папенька, почтенный доктор из Курска, советует сыну — иди на медицинский. Иди, перемучайся четыре года, я посадил садик, ты будешь собирать с него плоды, так? Ты войдешь в дело. Был такой разговор? А? Я вижу по вашему лицу, что был. Но только ваш папа запоздал, и вы этого не заметили и погубили к черту свою жизнь. Боже сохрани, доктор Баркан, я не хочу сказать этим, что вы вообще плохой человек или неважный работник. Но только ваша нынешняя специальность не дала вам возможности вылупиться из скорлупы, понимаете? Строй вы мосты — может быть, вы бы отлично их строили, во все ваши скрытые силы. Или пищевая промышленность, или резолюции на бумаге — оплатить, отказать, выдать двести тонн. Может быть, лучше вас никто бы этого не сделал. Я не знаю. Но зато я твердо знаю, что тут, у меня, на войне, где люди отдают все, что имеют, и даже больше того, что имеют, вот здесь, в госпитале, вы чего-то не понимаете. Я говорю вам не как ваш начальник, я говорю вам не потому, что делаю вам выговор, я говорю вам не потому, что у меня плохой характер, хотя за последнее время, правда, я стал несколько раздражителен, я говорю с вами потому, что должен вам все сказать начистоту, иначе мне трудно с вами работать. Доктор Баркан, наша специальность очень трудна, и надо потерять что-то внутри себя, чтобы заниматься ею и не понимать всего этого.

Послушайте, мне неудобно говорить вам такие вещи, но вот, например, сегодня вы смотрели раненого — левая стопа, я не помню, как его фамилия, вы сбросили с него одеяло. Кругом стояли Варварушкина, и Анжелика, и санитарки. Зачем вы сбросили с него одеяло? Ведь он же не только раненый, он молодой офицер, ему неловко, нельзя же не понимать таких вещей!

— А как его фамилия? — спросил Баркан.

— Это все равно,— сказал Левин.

— Нет, я просто к тому,— сказал Баркан,— что, толкуя о людях, надобно знать их фамилии. Вот вы делаете мне выговор, а сами не знаете толком ни одной фамилии.

— Я не делаю вам выговор,— с тоскою ответил Александр Маркович,— я же пытаюсь договориться с вами, как человек с человеком. Или разговоры могут быть только приятные? Ведь бывают же и суровые разговоры, жестокие. Ну, а что касается до фамилии, то это мое несчастье. Как-то нашелся уже один молодой человек — он пропечатал меня в стенной газете за нечуткость, он считал, как и вы впрочем, что самое главное — это фамилия. Называть по имени-отчеству — и спокойно спать в свое дежурство. Так вы считаете? Но у меня плохая память на фамилии, на даты, я не помню день своего рождения, так что из этого? Что мне делать? Переменить специальность? Пойти опять в ученики к сапожнику, как пятьдесят лет тому назад? Вы это мне советуете? Но ведь наша специальность состоит не только из того, чтобы знать имя и отчество...

— Судя по вашему монологу, именно из этого,— сказал Баркан.— Впрочем, продолжайте. Я обязан вас слушать, мы ведь на военной службе.

— Да, вы обязаны,— внезапно покраснев, крикнул Александр Маркович,— в таком случае вы обязаны. И не только слушать, но выполнять все, что я вам приказываю, иначе я найду другой способ заставить вас подчиняться.

Баркан встал, и Левин не предложил ему больше сесть. Беседа кончилась. Покраснев пятнами, сверкая очками и немного заикаясь от волнения, Александр Маркович сделал Баркану выговор. Он был начальником, а Баркан подчиненным. И слегка торчащие, твердые уши Баркана, и его красивые седые виски, и значительный подбородок, и толстая шея, на которой крепко

и неповоротливо сидела крупная, несколько квадратная голова, и намечающийся живот — все это показалось Левину искусственным, придуманным для той солидности, которая всегда ему претила в преуспевающих провинциальных врачах. О, этот клан, этот цех ремесленников, покрывающих страшные ошибки друг друга,— сколько таких людей он знал в дни юности, когда он только собирался быть врачом, но другим, совсем иным, чем они — в своих визитках или чесучовых парах, сытые, покойные, прописывающие лекарства, в которые они не верили, те самые, которые так взъелись на Вересаева за его «Записки врача», те, которые в юности пели «Гаудеамус игитур», а потом строили себе доходные дома...

Да, но при чем здесь Баркан?

Ведь это только внешность, только манера держаться, это еще не суть человека. И имел ли он право так разговаривать с Барканом? Человеку за пятьдесят, он много работал, читал какие-то лекции или даже вел курс...

— Я могу идти? — спросил Баркан.

— Еще несколько минут,— сказал Александр Маркович, и тоном, которым была произнесена эта фраза, испортил весь предыдущий разговор. Так не просит начальник подчиненного. Так не говорит волевой подполковник медицинской службы. Что за дурацкая мягкотелость, будь он неладен, этот доктор Левин. Уставные взаимоотношения есть уставные взаимоотношения, они придуманы умными людьми для пользы дела. А теперь, конечно, поскольку служебный разговор кончился, хитрый Баркан мгновенно оценил обстановку: он опять сел на диван и даже заложил одну короткую ногу на другую.

Левин еще раз прошелся по ординаторской, по знакомым скрипящим половицам. Скрипели третья, шестая и семнадцатая. Третья — начиная от стола. Это его всегда успокаивало.

— Да, вот какие дела,— сказал он,— вот какой вздор мешает иногда жить и работать...

Ах, как это было неправильно! Разве же это был вздор? А он теперь словно зачеркивал весь предыдущий разговор, словно извинялся за выговор.

— Впрочем, это не вздор! — сказал он громче, чем прежде.— Это, конечно, не вздор. Возвращаясь к вопро-

су насчет нынешнего вашего разговора при раненом Феоктистове...

— Федоровском...— поправил не без удовольствия Баркан.

— Федоровском,— повторил Левин,— Федоровском, да, совершенно верно. Так вот, возвращаясь к этому разговору, нахожу ваши суждения о работе сердца раненого в его присутствии не только неуместными, но и не соответствующими элементарным этическим нормам нашей медицины. Что это значит: «У вас машинка никуда не годится!»? Кто дал вам право делать такие заключения при самом раненом...

— Работа в клинике приучила меня...— начал было Баркан, но Левин не дал ему кончить.

— Мне плевать на вашу клинику! — крикнул он громким, дребезжащим голосом и вдруг почувствовал, как растет в нем сладкое, захлестывающее чувство бешенства.— Мне плевать на вашу клинику, и на вашу дурацкую важность, и на то, что вы читали лекции! Мне плевать на вашу самоуверенность! — Он вдруг затопал ногами с наслаждением и уже как в тумане видел вдавливающегося в спинку дивана Баркана.— Да, мне плевать! Еще слишком много у нас господ, имеющих раздутые научные звания, чтобы я становился смирно перед одним только званием. Анжелика значит для меня больше, чем то, что вы — доцент. Вы защитили вздор, но жизнь все равно рано или поздно отберет у вас все ваши бумаги, и вы останетесь перед ней таким, как есть. Мне все равно, какая у вас была клиника, я работаю с вами и вижу — у вас лежит раненый летчик, а вы смеете ему говорить, что если бы у него была «хорошая машинка», так он бы наверняка выжил, а так вы снимаете с себя всякую ответственность. Снимаете? Снимаете ответственность? Тут люди отдают свою жизнь, вы понимаете это или не понимаете? — И мелкими топающими шажками он пошел к дивану, спрашивая раз за разом: — Понимаете?

Баркан поднялся.

Все его большое, значительное, уверенное лицо дрожало. Впрочем, Левин не видел этого. Он видел только большое белое пятно и этому пятну крикнул еще раз:

— Понимаете? Потому что если не понимаете, то мы найдем способ освободиться от вас! Тут не испугаются вашей профессиональной внешности! Я — старый врач и

великолепно знаю все эти штуки, но сейчас, слава богу, иные времена, и мы с вами не состоим в цехе врачей, где все шито-крыто. Запомнили?

— Запомнил! — сказал Баркан.

— Можете быть свободным! — опять крикнул Александр Маркович.

Баркан, склонив мягкое тело в некоем подобии полупоклона, исчез в дверях. А оттуда, из коридора, сразу вошла Анжелика Августовна и поставила на письменный стол мензурку с каплями.

Левин ходил из угла в угол.

Анжелика стояла у стола в ожидании.

— Подслушивать отвратительно! — сказал Александр Маркович.

— Я не подслушивала,— совершенно не обидевшись, ответила Анжелика.— Вы так кричали, что слышно было во второй палате.

— Неужели?

Анжелика пожала плечами. Сизый румянец и очень черные коротенькие бровки придавали ее лицу выражение веселой властности.

— Я тут доложить кое-что хотела,— сказала она, выговаривая «л» как «в», так что у нее получалось «хотева» и «довожить».

— Ну, «довожите»,— ответил Левин.

Анжелика пожаловалась на санитарку Воскресенскую. Лора целыми часами простаивает на крыльце со стрелком-радистом из бомбардировочной. Фамилия стрелка — Понтюшкин. Такой, с усиками.

— Ну и что? — спросил Левин.

— То есть как — что? — удивилась Анжелика, и лицо ее стало жестким.— Как — что? О нашем отделении пойдут разговоры. . .

— Э, бросьте, Анжелика,— сказал Левин.— Лора работает как лошадь, а жизнь между тем продолжается. Мы с вами люди пожилые, но не надо на этом основании не понимать молодости. Да и вы вот, несмотря на возраст, говорите вместо «л» «в», хоть отлично можете говорить правильно. Идите себе, я устал, и не будьте «звой». Идите, идите. . .

Анжелика поджала губы и ушла, ставя ноги носками внутрь, а Левин прилег на диван, совершенно забыв про капли.

«Имел ли я право так кричать,— спросил он себя, вытягивая ноги на длинный валик,— и вообще, имел ли я право в таком тоне разговаривать со своим коллегой, доктором Барканом? Чем я лучше его? Только тем, что чувствую такие вещи, которых он не чувствует? Ну, а если уметь чувствовать — то же самое, что, например, быть блондином или брюнетом? Если это не зависит от Баркана? Тогда что?»

Эта мысль поразила его.

— Фу, как нехорошо! — вслух сказал Александр Маркович и сел на диване.

Потом он принялся обвинять себя и сравнивать с теми людьми, с которыми жил все эти годы, то есть с военными летчиками. Сравнивая, он спрашивал сам у себя, мог ли бы он делать то, что делали они в эту войну, например: мог ли бы пикировать на цель, в то время как эта цель бьет из пушек и пулеметов; мог ли бы летать на низкое торпедометание, мог ли бы летать на штурмовку? И вправе ли он сам требовать от Баркана того, чего, не в прямом смысле, а в переносном, сравнительно, так сказать, он не мог бы сделать сам? Вот люди отдают решительно все в этой войне. А он, Левин?

И Александр Маркович стал предъявлять к себе требования, одно другого страшнее, одно другого невероятнее, до тех пор, пока совершенно вдруг не запутался и не усмехнулся своей доброй и немного сконфуженной улыбкой.

«Э, старый, глупый Левин!» — сказал он себе и пошел спать, чтобы хоть немного наконец отоспаться перед предстоящим испытанием костюма.

В восьмом часу в дверь постучали, и старшина со шлюпки сказал, что явился согласно приказанию подполковника медицинской службы.

Александр Маркович спустил ноги в белых носках с койки и долго дикими глазами смотрел на краснощекого, зеленоглазого старшину.

— Да, да, как же,— сказал он наконец,— присаживайтесь, закуривайте, там на столе есть хорошие папиросы.

Старшина вежливо, двумя пальцами, как большую ценность, взял папироску, прочитал на мундштуке название «Фестиваль» и, сделав почтительное выражение лица, закурил.

Левин, сопя, надел очки, отыскал ботинки и долго их зашнуровывал, вспоминая всю прошлую ночь, спасательный костюм и бледное маленькое лицо Курочки.

— Волна сегодня большая,— сказал старшина, которому казалось, что подполковник чем-то недоволен,— тут некоторые ребята с моря на ботишке пришли, так говорят, балла на три или даже на четыре. Как бы нонче товарища военинженера не ударило чем...

— Военинженер выбыл в командировку,— все еще сопя над ботинком, но строгим тоном ответил Левин,— испытания буду проводить я лично.

Старшина удивленно поморгал, но тотчас же взял себя в руки и сделал такой вид, как будто бы поглощен сдуванием пепла с папироски. Александр Маркович теперь расшнуровывал ботинки, они не годились для спасательного костюма, спросонья он забыл об этом.

Минут через сорок они вышли из госпиталя и отправились вниз к пирсу.

Сырой ветер свистел между домами гарнизона, залив гудел, точно предупреждая: «Куда лезешь, с ума сошел?»

— Погодка! — ежась, сказал старшина.

— Нормальная погода, — ответил Левин словами знакомого летчика,— рабочая погода.— И про себя подумал: «Всем людям страшно. И мне тоже страшно. Но я буду держаться, как держатся они. В этом весь секрет, если хотите знать, Александр Маркович. Даже странно, что вы открываете такие истины только на шестом десятке».

Старшина в это время рассказывал ему про свою сестру, которая тоже работает по медицинской линии. Звать ее Кира. Один моторист — некто Романов — еще перед войной так сходил с ума по Кирке, что даже повесился, но веревка была гнилая, а он весит центнер, и веревка перервалась...

— Какая веревка? — спросил подполковник.

— Та, на которой он повесился,— охотно пояснил старшина.— Глупость, конечно, из-за любви вешаться, осудили мы его на комсомольском собрании. Ну и Кирке неудобно было. Так теперь Романов на флоте на нашем служит, сам смеется, а только я его недавно видел, так он говорит, что иногда икота на него нападает с того случая. По два дня икает. Может это быть в научном отношении?

— В научном отношении все может быть,— сказал Александр Маркович строго.— Не вешался бы, так и не было бы ничего. . .

— Вот и Романов считает, что это как осложнение,— вздохнул старшина.

На пирсе стоял краснофлотец с автоматом, и Левин тем же строгим голосом сказал ему: «Выстрел!» Из мехового воротника полушубка краснофлотец буркнул: «Вымпел», и они пошли дальше. Тут ветер выл с такой силой, что даже захватывало дыхание, но все-таки Александр Маркович первым спустился в шлюпку, колотящуюся о сваи, и сел на корме — длинный, в очках, очень странный в своем спасательном костюме, который шелестел и скрипел, напоминая все ту же марсианскую одежду из фантастического романа.

Старшине дежурный долго не давал «добро» на выход в залив, и они препирались до тех пор, пока Левин сам не вошел в будку и не накричал на дежурного в том смысле, что испытания спасательных костюмов надо проводить не в санаторно-курортных условиях, а в условиях, максимально приближенных к будням войны. Пока Левин каркал, дежурный стоял перед ним навытяжку, спрятав самокрутку в мундштуке за спину, и негромко повторял:

— Ясно, товарищ подполковник, понятно, товарищ подполковник, есть, товарищ подполковник!

Но стоило Александру Марковичу замолчать, как дежурный собирал лоб в морщины, вынимал из-за спины самокрутку и говорил настырным, вялым тенором:

— Не имею права, товарищ подполковник.

Пришлось звонить Зубову.

— А плавать-то вы умеете? — спросил начштаба.

Левин ответил, что умеет.

Было слышно, что Зубов что-то спрашивает там, у себя в кабинете, потом Александр Маркович услышал смех, потом трубку взял командующий и предупредил:

— Только, подполковник, без чрезвычайных происшествий. Поосторожнее, слышите? А еще лучше, шли бы вы к себе в госпиталь.

Можно было не испытывать костюм. И Левин уже чуть не ответил после огромной паузы, что «слушается», но именно в это мгновение он увидел на столике перед дежурным флотскую многотиражку с портретом Володи Боровикова, утонувшего с ничтожным ранением, того

самого Володи, которому он так недавно выпилил часть ребра и вытащил его из очень неприятного гнойного плеврита, и эта фотография вдруг решила все дело. Очень сухо он доложил командующему, что не считает возможным откладывать испытания и настаивает на испытании нынче, так как лейтенант Боровиков утонул именно в такую погоду.

— Именно, именно,— сказал командующий,— вы-то сами не утоните.— Помолчал и добавил: — Ну, добро, только поосторожнее там. Кто у вас старший из моряков, дайте-ка ему трубочку...

Старшина сразу вспотел, взял трубку и, продув ее, сказал: «Есть!»

Теперь уже не было сомнений в том, что они выйдут в залив и что испытания придется проводить. Но сейчас это было совсем не страшно, потому что тут, в будке дежурного, жарко пылала печурка и тикали ходики, и звуки плещущего и воющего моря казались такими далекими, как это бывает в кино, когда смотришь на экран и видишь на нем плещущее море с маленьким корабликом, а самому тебе уютно и хорошо сидеть, еще более уютно оттого, что на экране свистит ветер и мчатся огромные валы с белыми гребешками.

— Есть, товарищ генерал-лейтенант! — сказал старшина и, осторожно положив трубку, обтер о бушлат вспотевшую ладонь.

— У меня все,— сказал Левин дежурному и вышел.

Дежурный козырнул и сразу же захлопнул за ними дверь, чтобы не выстудить свое чистое и теплое помещение, где он будет опять читать газету.

Когда они вновь спустились в шлюпку, старшина вдруг закричал Левину в самое ухо, что он, старшина, нынче проведет испытания на себе, а завтра уже будет испытывать лично товарищ подполковник. В этом была своя логика, но Левин жестко ответил, чтобы отваливали от пирса и что он не нуждается в советах. У старшины обиженно оттопырились пухлые губы, краснофлотцы враз подняли весла, шлюпка взлетела вверх и скатилась вниз, и луна, прыгающая в тучах, внезапно оказалась не перед Левиным, а за его спиною,— залив сразу осветился и сделался еще страшнее, еще злее, еще опаснее.

— Вот тут будет хронометр,— кричал Левин обиженному старшине,— видите? А это вы мне дадите вы-

пить, если я ничего не стану соображать. Тут небольшая аптечка. Кто из вас санинструктор?

Санинструктору он тоже кое-что объяснил и заставил повторить, где что приготовлено.

— Хронометр! — кричал старшина.— Аптечка! Это — выпить!

Пошли к вчерашней вешке. Луна теперь была слева. По заливу осторожно, точно большая рыба, скользнула подводная лодка, на мостике мигали огоньки ратьера.

— Вешка! — крикнул старшина

Вчерашних лимонов тут больше не было, и вообще со вчерашнего дня здесь все совершенно переменилось, то есть даже и не переменилось, а просто это было другое место, и вовсе не в заливе, а в море, или, быть может, дальше, в океане, и вешка была теперь не похожа на ту, которая вчера неподвижно и гордо торчала из тихой воды,— теперь это была какая-то дрянная щепка, которая металась по волнам и пропадала и вновь появлялась на мгновение.

Александр Маркович поднялся с банки и просунул руку в карман, чтобы, раздернув молнию, вскрыть химическую грелку, но тут же решил, что это делать еще рано, и, помедлив, вновь испугался до того, что зазвенело в ушах и началась тошнота. А между тем наступило время прыгать в воду,— краснофлотцы удерживали шлюпку веслами, и ее теперь только мотало с волны на волну, небыстро и неуклюже.

«Прыгать в воду, боже мой! — в эту стылую, черную, ледяную воду, прыгать так, за здорово живешь, прыгать, не очень умея плавать, прыгать на шестом десятке, прыгать. . .»

Лодку сильно покачивало, и, чтобы не упасть, Левин держался за плечо старшины, и старшина тоже держал его за руку возле локтя, а все другие краснофлотцы смотрели на него и ждали, покуда он справится с собою и просчитает до трех. И Александр Маркович поступил так, как поступил в свое время Володя Боровиков,— он сделал то, что надо было сделать, позабыв только, что прыгать следует после счета «три», а не после счета «четыре». Впрочем, это было неважно: он сказал себе «четыре», и тотчас же чувство раздражения на себя и на свое малодушие сменилось чувством спокойного удовлетворения, радостного удивления самим собой, чувством твердой уверенности в самом себе,— он был уже

в воде, капка сработала, костюм раздулся, от грелок по ногам к животу побежало тепло. И вода понесла его на себе, а рядом с ним шла шлюпка, и краснофлотцы смотрели на него сверху вниз. И руки были напряжены — каждую секунду они готовы были вытащить его из воды. Еще бы! Александр Маркович не знал, какими словами старшина пересказал свой разговор с командующим.

«Теперь мне не нужно думать о себе,— размышлял Левин.— Теперь обо мне будут думать они. Ведь я делаю это дело для них — значит, теперь я должен совершенно сосредоточиться на испытании костюма, они же совершенно сосредоточатся на моей особе».

Отплевываясь от соленой воды, он прислушался к своему сердцу и отметил, что оно работает удовлетворительно, прислушался к теплу грелок и нашел, что тепла достаточно, перевернулся на живот и поплыл, испытывая свободу покроя костюма и стараясь для этого загребать руками как можно шире и резче. Покрой был тоже хорош и удобен.

«Чего же не хватает Курочке? — спросил он себя.— Чего еще нужно инженеру от нашего костюма?»

Волна то поднимала его вверх, то швыряла вниз с такой быстротой и силой, что дух захватывало, но теперь он не испытывал страха, потому что, во-первых, был занят своим спасательным костюмом, во-вторых, совершенно доверился команде на шлюпке, которая все время, каждую секунду была с ним, над ним, настолько близко от него, чтобы он не беспокоился, и настолько далеко, чтобы не зашибить его ни бортом, ни веслом.

Потом, обвыкшись в воде, он вспомнил, что непременно надо испытывать все неудобства приема пищи здесь, и стал доставать питательные таблетки. Это была трудная и сложная работа, и ему сразу же стало понятно, что они с Курочкой недостаточно продумали эту часть задачи, но все же он достал таблетки и принялся их жевать вместе с горько-соленой морской водой, которая попала в рот, как он ни ловчился. . .

И пока он сжевал всю пачку таблеток, над ним висели лица краснофлотцев, пристально в него всматривающиеся и что-то говорящие большими темными ртами. Он не слышал, что именно они говорили, но был уверен, что они или советуют ему что-нибудь, или сочувствуют ему, или хвалят его — одним словом, помогают ему всем, чем только могут.

А потом они все сидели в дежурке на пирсе. Краснофлотцы стащили с него спасательный костюм, и он рассказывал им, что он чувствовал, когда пробыл в ледяной воде три часа, и старшина все советовал ему подвинуться поближе к раскаленной печурке, но ему не было холодно и только хотелось еще и еще рассказывать, какая это хорошая вещь — спасательный костюм и какие у этого костюма огромные перспективы в будущем.

Часы-ходики щелкали на стене, ветер свистел над заливом, пришел почтовый бот и еще две какие-то коробки, и двери захлопали раз за разом. Наступило утро. Доктор Левин поднялся и в чужом черном полушубке пошел домой — в госпиталь. Краснофлотцы несли за ним его спасательный костюм, чемодан с хронометром и другими инструментами, саквояж, в котором булькал так и не выпитый коньяк. Уже возле госпиталя он услышал это бульканье, достал фляжку, отвинтил стаканчик и поднес старшине.

— Вам первому, товарищ подполковник,— в свисте ветра сказал старшина, но на всякий случай обтер губы.

Александр Маркович выпил вторым — после старшины — и потом налил каждому по очереди.

— За ваше! — сказал квадратный краснофлотец Ряблов.

— Чтобы не по последней! — сказал маленький Иванченков.

— От простуды и от всякой такой заразы! — провозгласил басом из самого живота краснофлотец, которого Левин все время называл Петровых, но который на самом деле был Симочкин, хоть и откликался на Петровых.

Тут, под стеной госпиталя, они и расстались до завтра, до двух часов пополудни, когда должен был прибыть начсан полковник Шеремет.

7

В вестибюле, еще розовый от ветра, стоял замполит Дорош и грел руки у радиатора. Молескиновая летная куртка на нем была расстегнута, порою он прижимался животом к теплым трубам и кряхтел от удовольствия. Левин спросил у него, что он тут делает так рано. До-

рош ответил, что он прогуливался и замерз, а теперь греется. Вместе пошли в ординаторскую и потребовали у ночной санитарки по стакану чая. Садясь, Дорош болезненно сморщился, лицо его внезапно побледнело.

— Ох, вы мне надоели,— сказал Левин,— я на это просто не могу смотреть. Давайте наконец займемся вашей культей. Не такое уж большое дело ее оформить по-настоящему...

Дорош потерял ногу еще в финскую, культя была неудачно сформирована, и временами он тяжело страдал, но в госпиталь не ложился — все откладывал.

— Вот после победы,— сказал он и сейчас,— отвоюем, тогда поработаем над собой. Согласны?

— Ваше дело,— ответил Левин,— только ваше, никто не имеет права вмешиваться.

Оба попили чаю молча, наслаждаясь теплом и тишиною.

— Ну, что костюм? — спросил Дорош.— Я дважды на пирс ходил, да вас все не было...

Вот, оказывается, как он прогуливался!

Левин поднял очки на лоб и молча посмотрел на замполита. Тот улыбался прищурившись, покуривал трубочку, в груди у него сипело, там тоже были какие-то непорядки с финской войны.

— Следующий раз я буду испытывать,— сказал он,— интересно, выдержит ли ваша машина безногого летчика. Как вы думаете, Александр Маркович?

— Вы же штурман.

— А штурман — не летчик? Впрочем, сейчас я не то и не другое. Только снится иногда, что лечу. Так это, говорят, всем детям снится, которые растут. Вам снилось, что вы летаете?

Левин слабо улыбнулся и сказал с грустью:

— Всем людям в детстве снились хорошие сны, а мне нет. Мне всегда снилось, что меня бьют: или колотят шпандырем, или учитель латыни сечет по пальцам, или мальчики «жмут масло». А потом, позже, в Германии, в Йене мне снилось, что меня выгоняют — недоучкой. Это были невеселые сны, товарищ Дорош. Дома пять братьев и две сестры — и одна надежда на то, что я кончу курс, стану врачом и помогу остальным выйти в люди...

— Помогли?

— По мере возможностей. Один скончался в тюрьме в тринадцатом году, двое, как я, врачи, самый младший — в противотанковой артиллерии, писем нет...

И Александр Маркович задумался, покачивая головой.

— Ну, ладно,— сказал Дорош,— спать вам пора, товарищ подполковник. А про то, как выкручивали уши,— лучше не думать. У меня тоже есть кое-что вспомнить в этом смысле, да я предпочитаю не вспоминать. Кстати о неприятностях: кончились ваши дрязги с Барканом?

Левин вздохнул и не ответил.

— Не хотите говорить? — спросил Дорош, вглядываясь в подполковника.— Вы вот помалкиваете, а Баркан на вас жалуется.

— Я действительно, видимо, кое в чем перед ним виноват,— сказал Левин,— не во всем, но кое в чем... Я начальник, и если у меня нет общего языка с моим подчиненным, то, значит, виноват все-таки я. У меня нет к этому человеку ключа — вот и все. И, наверное, я его обидел. Да, да, конечно, обидел, тогда, когда должен был ехать в Москву,— помните? А в заключение скажу вам — вы не можете себе представить, как мне опротивели все эти дрязги...

Дорогая Наталия Федоровна!

От одного коллеги узнал, что он видел недавно Николая Ивановича в добром здоровье на одном пункте вблиз Черного моря. Н. И. там инспектировал и наводил порядок. Коллега видел Вашего супруга всего два дня тому назад.

Прочитав в газете сообщение о присвоении Н. И. звания генерал-лейтенанта медицинской службы, я сказал своим сотрудникам: «А вот генерал, с которым я учился в университете, но который был неизмеримо способнее меня, во-первых, и неизмеримо счастливее, во-вторых».

Счастливее, потому что Вы вышли замуж за него, а я остался старым холостяком. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Какой из меня муж! Вчера я пришел домой в одной калоше, представляете себе? И не по рассеянности, а просто она потерялась на улице, и я никак не мог ее отыскать, хоть пиши объявление, что, как Вы понимаете, во время войны не слишком прилично.

Тот самый Белых, о котором я Вам писал, уже эвакуирован в один из госпиталей, находящихся под руко-

водством Н. И. Состояние моего доктора удовлетворительное, но и только. По мере сил он сдерживается — это ему довольно трудно. Ей-ей, я не увлекаюсь, когда думаю о нем как об истинном светиле на небе нашей хирургии. Очень прошу Вас, дорогая Н. Ф., навещайте его почаще. Это не просьба о «чуткости по знакомству» — это наша с Вами обязанность. Мы обязаны сделать для него все, что в наших силах, и даже несколько больше.

Вашему сыну Витьке я написал. Этот товарищ не посчитал нужным пока что ответить. А может быть, их подразделение в боях — бывает и такое.

Мне присвоили звание подполковника м. с. А Вам, дорогой товарищ? Мне лично кажется, что майора Вам многовато, а капитана мало. Напишите.

На днях у нас будет общефлотская конференция хирургов, на которой я надеюсь выступить с некоторыми обобщениями.

Вы спрашиваете о здоровье. Оно оставляет желать лучшего.

Всегда Ваш А. Левин

8

Ему было уже немало лет — уже не пятьдесят семь, как в первый год войны, а пятьдесят девять, и болезни, о которых он думал раньше, не связывая их с собою, нынче в самом деле привязались к нему. И отчаянные изжоги, и несварение, и головные боли — все это еще было полбеды по сравнению с теми жестокими болями в желудке и с тем омерзительным привкусом жести во рту, которые — чем дальше, тем больше — не давали ему ни спокойно поработать, ни спокойно выспаться. Все вместе это было очень похоже на язву, но он не хотел об этом думать, так же как не хотел глядеться в зеркало, чтобы не видеть мешочков под глазами, морщин и землистого цвета лица.

В девять часов утра он проснулся от страшной тянущей боли и позывов на рвоту. Рядом, в моечной, пели прачки и скрипел барабан. По полу волнами ходила вода — теперь проклятая труба лопалась без всяких бомбежек.

«Ты добился своего,— подумал Левин,— ты имеешь наконец язву. Ты накликал ее себе, старая ворона. Ну-ка, что ты будешь сейчас делать?»

Чтобы не стонать, он принялся раскачиваться, сидя на своей койке. В воде, заливавшей пол, отражалась яркая лампочка, и отражение это, сверкая и дробясь, преломлялось в стеклах очков, отчего все вокруг было наполнено нестерпимым, сверкающим светом.

— Хирургическое отделение останется майору Баркану,— сказал Александр Маркович,— прошу вас представить себе это в подробностях, подполковник Левин...

И еще несколько фраз он сказал ироническим голосом, но это совершенно ему не помогло. Он даже не слышал собственных слов, не понимал их смысла, ничего не видел перед собою, кроме режущего света. И кто-то с упрямой, идиотической силой вытягивал из него желудок.

...На мгновение ему стало легче. Он даже успел подумать, что бывал несправедлив к раненым, потому что не понимал, как ужасны могут быть физические страдания. И, думая так, он открыл дверь, поскользнулся в воде и ударился о косяк прачечной. Ведь он был без очков, они свалились, когда его тошнило. О, унижение физических страданий!

И дверь в прачечную он никак не мог увидеть еще и потому, что дикая боль вновь поглотила весь его разум.

Но тут дверь отворилась сама собою, и сам собою он очутился на воздухе. Мокрые, сильные женские руки, в мыльной пене по локоть, оказались над его лицом, эта пена упала с шорохом ему на глаз и на бровь, и он оказался на носилках. Носилки понесли наверх головою вперед, по всем правилам поднимая изножье.

Старший сержант Анжелика Августовна, сдерживая слезы, точно над покойником сказала:

— О боже мой, ему, конечно, нельзя было кушать эту ужасную капусту с луком.

Когда Анжелика волновалась, у нее делался почти мужской голос. И букву «л» она произносила совершенно правильно. Даже сейчас он заметил, что она сказала «лук», а не «вук».

Все другие вокруг говорили шепотом.

Левин лежал с закрытыми глазами, прислушивался к утихающей после укола боли и разбирался в том, кто как шепчет. Вот захрипел и закашлял Баркан, он совершенно не умел говорить шепотом и всегда кашлял, вот взволнованно и сердито ответила ему капитан Варва-

рушкина, вот быстро-быстро, пришепетывая и глотая слова, заговорила Верочка.

А потом стало тихо, и заскрипел протез — это Дорош ушел из палаты.

Тотчас же раздались громкие, властные шаги: вот отчего ушел Дорош, он ушел потому, что появился Шеремет, они давно не любили друг друга. И сразу же Шеремет сказал тем голосом, которым он обычно распекал своих подчиненных:

— Теперь собрание проводите? Ну, конечно, довели мне Левина до стационара и митингуете! Вы что, Баркан, думаете, у меня санаторно-курортное управление? У меня, Баркан, не курорт для вас и не санаторий, у меня, Варварушкина, не фребелевский детский садик, у меня военный госпиталь, я не позволю.

Александр Маркович сморщился.

У него стучало в висках, когда Шеремет начинал свое «у меня». Он сам чаще Шеремета кричал на подчиненных, но это всегда происходило оттого, что он не мог не накричать. Шеремет же кричал только потому, что считал нужным держать «вверенных ему людей» в страхе, так же, впрочем, как считал необходимым порою, разговаривая с врачами, обращаться к ним «как интеллигентный человек к интеллигентному человеку».

— Здравствуйте, товарищ полковник! — сказал Левин, неохотно открывая глаза только для того, чтобы прекратить этот крик.

— Салют! — ответил полковник.

Он был очень чисто выбрит, шинель у него была с каракулевым воротником, не говоря уже о том, что шил ее тот самый старшина, который обшивал самого командующего. Шеремет вообще был щеголем, он носил на шее белое шелковое кашне, фуражка у него была с маленьким, подогнутым внутрь козырьком, из расстегнутой шинели виднелся китель — тоже какой-то особенный, не такой, как у всех. Халат, без которого не разрешалось входить в госпиталь, начсан накинул только на одно плечо, как бы подчиняясь правилам и в то же время выражая свое к ним ироническое отношение. Кроме того, набрасывая халат на одно плечо, Шеремет давал этим понять, что он слишком занят и не может на каждой своей «точке» надевать и снимать халат со всеми завязками, пуговицами и тому подобной ерундой.

— Вы опять в шинели! — слабым голосом произнес Левин.

— А вы даже из гроба мне об этом скажете! — ответил Шеремет.— Просто удивительно, до чего вы обюрократились, Александр Маркович. Ну-ка, дайте-ка мне вашу лапку.

И, сделав такое лицо, какое, по его мнению, должно было быть у лечащего врача, Шеремет взял своими толстыми, лоснящимися пальцами худое запястье Александра Марковича.

Левин, прикрыв один глаз, смотрел на Шеремета.

А Шеремет, глядя на секундную стрелку своих квадратных золотых часов, шептал про себя красными губами:

— Двадцать два... двадцать три... двадцать четыре...

В палате было очень тихо. Не каждый-то день тут начсан считает пульс. Может быть, этим актом он подчеркивает свою чуткость по отношению к захворавшему Левину.

— Мне вашей чуткости не надо,— вдруг сказал Александр Маркович,— вы мне подайте что по советскому закону положено.

— Как? — спросил Шеремет.

— Просто вспомнил один трамвайный разговор в Ленинграде,— ответил Левин,— но это, разумеется, к делу никакого отношения не имеет.

Шеремет обиженно и значительно приопустил толстые веки.

— Наполнение вполне приличное! — наконец сказал он.

И, положив руку Александра Марковича поверх одеяла, похлопал по ней ладонью, как делают это старые лечащие врачи.

— Так-то, батюшка мой! — произнес Шеремет.— Укатали сивку крутые горки. Не послушались меня, не поехали отдохнуть...

Левин все еще смотрел на начсана одним глазом.

— Теперь придется не день и не два полежать...

И Шеремет стал рассказывать, что у китайских врачей существует до пятисот пульсов. Рассказывал он долго, значительно, и рассказ его было неловко слушать, потому что многое он подвирал. Потом, сделав суровое лицо, Шеремет приступил к распоряжениям.

— Для подполковника надо очистить эту палату,— велел начсан,— совершенно очистить, и оставить только одну койку — самому Александру Марковичу. Странно, что без меня никто не догадался это сделать, смешно отдавать приказания по поводу очевидных вещей...

— Палату для меня очищать не надо,— слабым голосом возразил Левин.— Зачем мне очищать палату? Я никому не мешаю, и мне никто не мешает...

Он глубоко вздохнул и негромко добавил:

— Я не нуждаюсь ни в чем особенном и отдельном. Вы понимаете мою мысль?

Он плохо видел без очков, и, может быть, это обстоятельство придало ему мужества. Шеремет умел так таращить свои выпуклые глаза, что у Александра Марковича раньше недоставало сил ему возражать. А теперь перед ним было только плоское, белое, гладкое лицо и больше ничего. А может быть, очки тут были и ни при чем. Может быть, Шеремета вообще не следовало бояться.

— Хорошо,— сказал Шеремет.— Оставьте нас.

Все ушли почтительно и подавленно. Анжелика громко вздохнула, несколько даже с вызовом. Майор Баркан покашлял в кулак. Шеремета боялись и не любили.

— Ну, что будем делать? — спросил полковник.

Левин пожал под одеялом худыми плечами.

— Если это язва...— опять начал Шеремет.

Александр Маркович смотрел на него одним глазом неподвижно и иронически. Шеремет говорил долго и неубедительно. Его всегда раздражал Левин — нынче же особенно. И главное — молчит. Почему молчит? Ведь он ему предлагает письмо к виднейшему хирургу и делает это из самых чистых побуждений. А он молчит и смотрит одним глазом.

— Почему вы молчите? — спросил наконец Шеремет.

— Я все жду, когда же вы спросите про спасательный костюм.

Старший сержант Анжелика Августовна принесла Левину очки, и он в то же мгновение увидел, какое сдержанно-ненавидящее лицо у Шеремета, но теперь не оробел. Ему самому это показалось странным, но он не оробел. Может быть, после той минуты, когда он решил прыгнуть в залив, он вообще не будет робеть? Странные вещи творятся даже с немолодыми людьми на белом свете, если для них существует что-то самое главное,

И что оно — это главное? И когда оно начинается? Когда это все началось у Володи Боровикова? Или Володя уже с этим родился? Нет, Володе не нужно было ничего преодолевать.

— Я не хотел с вами говорить о делах,— донесся до него голос Шеремета,— но если уж на то пошло, то, прежде чем беседовать о спасательном костюме, два слова о бане и о вашем подчиненном, вернее о вашей подчиненной Варварушкиной. Только два слова. Вам не тяжело говорить?

Левин сделал гримасу, которая означала: «Какой вздор».

— Александр Маркович, дорогуша,— продолжал Шеремет,— разговор у нас не служебный, а совершенно приватный, мы говорим как друзья, как интеллигентные люди, вы согласны? Вы должны меня понять, тем более что вы, так сказать, наиболее кадровый из всего нашего состава. Вы не Варварушкина, и вы знаете, что такое служба...

Левин смотрел на Шеремета с жадностью и ждал. Он совершенно не робел более этого выбритого и напудренного лица, подпертого жестким, вылезающим из-под кителя крахмальным воротничком, не робел толстых приспущенных век, не робел властных жестов, крупных золотых зубов, сдерживаемого, рокочущего, начальнического голоса.

— Вчерашнего дня, в субботу,— говорил Шеремет, как всегда немного манерничая,— вспомнил я, что многие из начальства вашего гарнизона моются именно по субботам. Естественно, что мне пришла в голову мысль проверить, как ваш санврач реагирует на субботу. А санврача нынче, как известно, нет, заменяет его ваша почтеннейшая Варварушкина. Так что наш с вами разговор идет именно о ней. Ну-с, прошу слушать: в бане пожилой старшина на мой вопрос, как они готовятся к приему начальства, довольно развязно мне отвечает, что никаких особых приготовлений у них нет, что санврач нынче заходил, но никаких — заметьте, никаких — приказаний не отдавал, кроме как помыть все, поскрести и парку́ поднагнать. Что же касается до моего приказания, то Варварушкина не только ничего сама не сделала, но даже не довела о нем до сведения начальника госпиталя. А мне со слезами ответила, что отказывается выполнять мои распоряжения.

— Какие именно ваши распоряжения? — спросил Александр Маркович.

— Она вам не докладывала?

— Нет, не докладывала.

— Еще один характерный штрих для ее поведения. Я распорядился получить из вашего госпиталя выбракованные одеяла и постелить ими лавки и полы в предбаннике. Я распорядился выстелить лавки поверх одеял простынями. Я распорядился также силами госпитального персонала заготовить веничков, сварить квасу из хлебных крошек и корок и поставить этот квас на льду в предбаннике. Ведь просто? Начальство наше очень устает, у него ответственность огромная, значит надо нам о начальстве подумать, проявить заботу, да и нам это вовсе не во вред, потому что они непременно спросят — кто это о них так позаботился, а банщик и ответит: «Санчасть, товарищ командующий!» Вникаете? Таким образом, они нас приметят, вспомнят добрым словом, и мы с вами...

— А если худым словом? — спросил Левин, глядя прямо в глаза Шеремету.— Если спросят, кто эти паршивые подхалимы, холуи, подлизы,— тогда как? И если им ответят, что эти подхалимы и холуи — военврачи? Сладко нам будет? А характер командующего мне немножко известен, спросить он может. Нет, товарищ полковник, уж вы извините, но я совершенно одобряю Варварушкину и во всем согласен с нею. Жалко только, что она плакала. Да ничего не поделаешь — слабый пол, случается, плачет от злости...

— Но ваша Варварушкина не выполнила приказания...

Александр Маркович пожевал губами, подумал, потом произнес:

— Вряд ли, товарищ полковник, она могла понять ваши слова как приказание. Она поняла ваши слова как приватную беседу, так я склонен думать. Она у меня товарищ дисциплинированный...

Лоб Шеремета покрылся испариной, но ответа не последовало.

— Так ведь? — спросил Александр Маркович.— Впрочем, все это мелочи. Давайте теперь о деле потолкуем. Когда мы назначим испытание костюму? В следующее воскресенье?

— Думаю, что об этом рано говорить,— едва скрывая досаду, ответил Шеремет.— Ведь у вас, голубчик, язва, ужели вы сами прободения не боитесь?

— А если боюсь, так что? — спросил в ответ Левин.— Это война научила меня тому, что, боюсь я или не боюсь,— побеждать я во всяком случае обязан. Все те, кого мы лечим,— люди, а человеку свойственно не любить, мягко выражаясь, когда в него стреляют. И тем не менее. . .

Шеремет вдруг вскипел.

— Тем не менее,— сдерживая свой голос, чтобы не услышали другие в палате, сказал он,— тем не менее ужасно вы любите рассуждать в ваши годы. Все кругом рассуждают. Начальник госпиталя рассуждает, товарищ Дорош рассуждает, скоро санитарки рассуждать начнут. . .

— Они уже давно рассуждают,— вставил Левин, нарочно поддразнивая Шеремета.

— Все рассуждают,— почти крикнул Шеремет,— все непрерывно рассуждают, и никому в голову не приходит, что раз никто еще не изобрел этого костюма, то и нам его не изобрести. Блеф это все, понимаете? Блеф! Доктор, видите ли, Левин и инженер, видите ли, Курочка сконструировали костюм. Но этого им мало. Они требуют еще санитарного самолета. Спасательный самолет им понадобился. А я вам на это отвечаю: начальство само знает, каким способом обеспечивать эвакуацию раненых, и мы с вами не для того сюда пóставлены, чтобы учить снизу наше начальство, находящееся неизмеримо высоко. У нас участок небольшой, и мы должны с ним справиться, а не летать на разных самолетах и не жить в мире фантазии. По вашему лицу я вижу, что вы будете писать рапорт насчет самолета и костюма, и говорю вам — пишите, ваше дело, но я вам во всех этих историях не помощник. Прикажут — пожалуйста, а не прикажут — не буду. Вот так и договоримся. Договорились? Или вам мало мороки с вашим отделением?

И он выразил всем своим лицом и даже плечами расположение к Левину, а рукою дотронулся до его острого колена, выпирающего из-под одеяла, и несколько раз погладил ему ногу. Левин же молчал и смотрел на Шеремета так, как будто видел его в первый раз и как будто тот очень ему не понравился.

— Ну-с, а засим позвольте пожелать вам всего наилучшего! — сказал Шеремет и пожал Левину руку.— Поправляйтесь, а как только станете транспортабельным, мы вас отправим в Москву, и там вам вашу язвочку чирик!

Он засмеялся, как будто сказал что-то очень смешное и остроумное, поправил на своем плече халат и, продолжая улыбаться, пошел к двери. Александр же Маркович смотрел ему вслед, и глаза его выражали недоумение. Потом он повернулся на бок, повздыхал и уснул, будто провалился в небытие.

9

— Когда идет и на ходу отмахивается, а лицо такое, будто пообедал,— значит, злой,— сказала Лора.— Вот вы, девушки, его мало знаете, а я его давно знаю.

— Попрошу про начальника ваши глупые мысли не выражать,— рассердилась Анжелика.— Никому не интересно.

— Хочу — выражаю, не хочу — не выражаю, я вольнонаемная! — огрызнулась Лора.— И вообще, Анжелика Августовна, слишком вы меня пилите. Пилите и пилите, как все равно пила.

Вера, зевая, перелистывала книжку, доктор Варварушкина за барьером писала в большом журнале. На стене захрипели часы, но бить не стали. Анжелика ушла. Лора села на одну табуретку с Верой, заглянула в книгу и спросила, интересная ли. Но тут же сама ответила: «Ой, про выстрелы, неинтересная». И, заразившись от Веры, длинно зевнула. Часы опять захрипели.

— Что это с ними? — спросила Вера.— Раньше били так музыкально, а теперь только хрипят.

— Старенькие,— сказала Лора.— Вот Александр Маркович все бегал-бегал, оперировал-оперировал, а теперь заболел. Возраст ему вышел.

— Глупости вы болтаете,— сказала из-за барьера Варварушкина.— Александр Маркович еще не стар, он просто болен. Это и с молодым может случиться.

Она захлопнула свой журнал и вышла из-за перегородки, снимая на ходу белую накрахмаленную шапочку. Одна длинная коса медленно упала на плечо, а потом вдруг ровно легла вдоль спины. И от этого доктор Варварушкина стала похожа на девочку,

— Красивенькая вы, Ольга Ивановна! — сказала Лора.— Мне бы вашу красоту, я бы всю авиацию с ума свела. А вы ходите в шинельке, косы ваши никто не видит, и даже носик никогда не попудрите...

Варварушкина улыбнулась и так и осталась стоять возле барьера с тихой улыбкой на бледном миловидном лице. И синие ее глаза тоже улыбались.

— Глазки у вас синие,— мягко и ласково говорила Лора,— волосики пушистые, косы длинные, сама вы такая скромненькая. Неужели у вас и симпатии никакой нету, Ольга Ивановна? Только наука одна — и больше ничего? Может, кто и есть? Отчего вы с нами не поделитесь? Давайте делиться, девушки, а? У кого какая симпатия, у кого какие мысли, у кого какая грусть? Ольга Ивановна, давайте делиться?

Делились долго, но Ольга Ивановна молчала и даже, казалось, не очень слушала, а только улыбалась своей тихой улыбкой. Потом позвонила третья палата, за третьей шестая,— и пошло. Раненые просыпались после дневного сна. Варварушкина вновь села писать в журнал, но писала недолго, вдруг задумалась и сказала Анжелике, когда та пришла с двумя кружками чаю:

— Знаете что, Анжелика Августовна? У него не язва. Я перед войной работала в онкологическом институте, немного, но работала, и, кажется, научилась видеть в лицах начало... самое начало...

У Анжелики округлились глаза, она испуганно заморгала, потом воскликнула:

— Нет, нет, я не хочу и слышать об этом. Не хочу слышать! Не надо мне говорить...

Варварушкина молчала. Тени от густых и длинных ресниц падали на ее щеки.

— Тогда тем более надо оперироваться! — воскликнула Анжелика.— И не откладывая...

Вернулись Вера с Лорой, и пришлось говорить тише. А Лора нарочно говорила громко, так, чтобы Анжелика слышала:

— Я вольнонаемная, и мне никакого интересу нет от вашей Анжелики грубости слышать. Она меня все хочет с кашей скушать, потому что я ее не устраиваю из-за принципиальности. Она думает, что я не понимаю сама, как мы должны работать для раненых. Я сама все понимаю и любую работу делаю, но кричать никому не позволю, даже если это полковник будет. И я так считаю,

не знаю, конечно, как ты, Верунчик, на это посмотришь, но, по-моему, чем человек культурнее, тем он вежливее. Вот, например, Александр Маркович...

— Ну и что же, и очень даже кричит наш Александр Маркович,— ответила Вера.— Еще слово забудет, какое ему надо, и кричит: «Дайте это!» А я откуда знаю, какое «это». В прошлом году, когда я на дежурство опоздала, а потом стерилизатор перевернула, так он мне кричал, что под трибунал подведет и что он не обязан работать с шизофреничками. Думаешь, весело? А по-моему, так ничего особенного. Конечно, некоторые не от сердца кричат, так это обидно, а когда человек по работе кричит, так это даже не он, а его сердце закипело, вот он и закричал.

— Что же, у Анжелики тоже сердце кипит, да? — спросила Лора.— Ничего у нее не кипит, просто вредность такая, чтобы другому человеку неприятность сделать...

Она оглянулась и замолчала на полуслове: Анжелика сидела и плакала. Толстые плечи ее дрожали, лицо она закрыла ладонями.

Вера рассердилась.

— Ну, и что хорошего? — спросила она шепотом.— Довела человека, теперь можешь радоваться. Тактичности не хватает у тебя, Лора, вот что. Пилит... потому что за дело. Нас не пили, так весь госпиталь взорвется, что ты, не понимаешь?

— Так ведь я...— начала было Лора.

— Я, я, я... последняя буква в алфавите. Я! Вот разволновала человека до того, что он плачет. Теперь как она будет переживать! А у нее ожирение сердца, ей это вредно.

Минут через двадцать Лора с красными пятнами на щеках догнала Анжелику возле бельевой и быстро ей сказала:

— Простите меня, пожалуйста, Анжелика Августовна, за мое хамство. У меня характер очень плохой. Меня мамаша в свое время даже скалкой колотила за грубости, да, видать, не доколотила до добра. Извините, что я про пилу говорила и что вы слишком принципиальная, а я вольнонаемная...

На добрых глазах Лоры выступили слезы, верхняя губа ее задрожала, голос сорвался, и она, всхлипнув,

припала к плечу Анжелики. А Анжелика гладила ее по спине и говорила:

— Ничего, девочка, все бывает. Сейчас война, и много нервных.

Когда он проснулся, язва уже нисколько не болела и хотелось чаю, а настроение было хорошее и приподнятое, как будто он качался на качелях и гикал при этом, как бывало когда-то давно, еще в студенческие годы.

Сосед по палате — старший лейтенант со съедобной фамилией Ватрушкин — пришел из коридора и сказал с грустью в голосе:

— Везде свои несчастья. Возле лестницы Анжелика вашу санитарку Лору утешает. Та — разливается, плачет. Убили, наверное, кого-нибудь из близких.

— Никого не убили,— сказал Левин.— Вы этих девушек не знаете. У меня от них иногда вот так распухает голова. Ссорятся — плачут, мирятся — плачут, очень легко сойти с ума.

Попив чаю, он спустил ноги с койки, прислушался, не болит ли, и, убедившись, что не болит, надел халат. Ватрушкин с любопытством на него смотрел.

— Сейчас мы вас посмотрим,— сказал Александр Маркович,— сейчас мы вас посмотрим и убедимся кое в чем. Мы вас не смотрели сегодня утром, а вас следует смотреть каждый день.

Улыбаясь, он прошел в другой конец палаты и сел на койку к Ватрушкину. Посмотрел ему язык и сказал: «хорошо», потрогал живот и тоже сказал: «хорошо», согнул ему раненую ногу в колене и сказал: «прекрасно». Потом заключил:

— Ну, Ватрушкин! Мы поправляемся! Мы поедем к маме с папой на месяц, а потом вернемся в строй. Идет, старина? Или, может быть, мы уже женаты?

— Женаты,— вдруг покраснев, сказал Ватрушкин.

— А на ком мы женаты?

— На Вале,— ответил Ватрушкин,— то есть вернее будет сказать — на Валентине Семеновне.

— Замечательно. Красивая девушка?

— Вопрос! — весь заливаясь краской, ответил Ватрушкин.— Но дело не в красоте, товарищ подполковник. Она у меня инженер. Кое-что работает для нашего вооружения. На особо секретной должности.

— К ней поедете?

— К ней,— сказал Ватрушкин.— Теперь можно съездить. Четыре правительственные награды — шесть самолетов личных и один групповой. Но, если по правде, так он тоже на моем личном счету должен быть, это я сам тогда не разобрался и сказал, чтобы за Никишиным записали. Вы Никишина знаете?

И он стал рассказывать про Никишина, а Александр Маркович смотрел на него и думал о том, что этот Ватрушкин может быть записан на его личный, левинский, счет, и веселое чувство победителя наполнило все его существо. От этого нахлынувшего на него чувства он даже зажмурился, а потом широко открыл глаза и увидел перед собой юное лицо с вздернутым носом, со сбившимися от подушки льняными волосами и с таким чистым и серьезным взглядом, что Левину опять захотелось зажмуриться.

— Никишин ему в хвост зашел, а он не дался,— говорил Ватрушкин и руками, как все летчики, показывал, кто кому куда зашел, а Александр Маркович не понимал и не слушал, а все-таки ему было интересно и весело.

— И сбил? — спросил Левин.

— Ну конечно же, я об этом и говорю,— сказал Ватрушкин.— А вы разве не поняли, товарищ подполковник?

Перед ужином Левин крадучись вышел из своей палаты. У него было желание застать какой-либо непорядок, потому что не могло же так случиться, чтобы он выбыл из строя, а в отделении все шло по-прежнему гладко и спокойно. Но, действительно, к некоторому его сожалению, все было в полном и нерушимом порядке. Он расстроился на несколько мгновений, но тут же понял, что этот порядок, раз навсегда им заведенный, конечно ничем не мог быть нарушен, даже его смертью. И от этого было, как часто бывает в жизни, и грустно и хорошо в одно и то же время.

Дорогая подруга Наталия Федоровна!

Очень был рад получить Ваше письмо насчет товарища Белых. Я нисколько и не сомневался, что он придется Вам по душе. А насчет его мужественного поведения, то он, видимо, теперь взял себя в ежовые рукавицы. Короче говоря — золотой человек. И дальше — пусть за ним присматривают. У меня большие надежды на ле-

чебную гимнастику и на железную волю нашего доктора. Ежели его подправят по-настоящему, то недалек тот день, когда мы с Вами будем гордиться, что знали товарища Белых в период Отечественной войны.

Немного о себе: моя многоуважаемая язва все-таки дала о себе знать, и теперь я лежу в своем же отделении своего же госпиталя. Могу заявить Вам без всякого хвастовства, что мое отделение совсем недурно организовано. Теперь я в этом убеждаюсь, находясь в палате номер шесть вверенного мне отделения. Гляжу снизу, а не сверху. И знаете, что читаю? «Палату номер шесть» — А. П. Чехова. Собственно, еще не читаю, а только собираюсь.

Извещаю Вас также о том, что моя отличная комната в Ленинграде перестала существовать по причине попадания в нее снаряда. Немецкий снаряд. Кстати, там было много отличных книг на немецком языке по вопросам хирургии. Как это дико, глупо и бессмысленно!

Ваш А. Левин

10

Через два дня Шеремет прислал бумагу, в которой было написано крутым шереметовским слогом с подчеркиваниями и разрядками решение насчет поездки подполковника Левина А. М. в г. Москву на предмет операции и последующего лечения. Бумага была полуофициальная, но с нажимом на тот предмет, что подполковнику Левину ехать надо непременно. К первой бумаге была приложена и подколота скрепкой другая — личное письмо Шеремета к знаменитому хирургу в не менее знаменитую клинику. В этой второй бумаге Шеремет тепло рекомендовал Левина и просил оказать ему всяческое содействие и наивозможнейшую помощь, «так как,— было там написано,— подполковник Левин является совершенно незаменимым работником, даже временная болезнь которого тяжело отразится на состоянии вверенного ему 2-го хирургического отделения вышеуказанного госпиталя».

Александр Маркович, шевеля губами, прочитал обе бумаги, сопроводиловку и, несколько погодя, надпись на конверте, подумал и попросил позвать к себе майора Дороша. Дорош пришел тотчас же, пощелкивая протезом и сердито хмуря брови.

— Присаживайтесь, Александр Григорьевич,— пригласил Левин.

Дорош сел и согнул обеими руками свой протез.

— Читали? — спросил подполковник.

— Да, знаю! — сказал Дорош.— Надо ехать, ничего не поделаешь.

Густые брови его низко нависли над сердитыми глазами. Он смотрел в сторону. Ему-то уж было хорошо известно, что значило остаться без Левина.

— Я никуда не собираюсь ехать и не поеду,— сказал Левин,— а главное, как легко догадаться, у меня нет никакого желания сдавать отделение майору Баркану, дай ему бог хорошего здоровья. Так что, товарищ Дорош Александр Григорьевич, я остаюсь. Кстати, язва не такая уже неприятность, чтобы из-за нее все бросать и кидаться очертя голову от своего прямого дела и от своих обязанностей...

Дорош молчал.

— И в конце концов,— продолжал Александр Маркович,— мы не дети. Вы отлично понимаете, что Баркан вряд ли справится с нашим отделением. А если еще ко всему прочему начнутся бои и большое наступление, тогда как? Вы помните поток прошлым летом? Александр Григорьевич, я говорю вам как врач — мне можно и нужно остаться. Я буду сидеть на диете, я буду смотреть за собою, ну, а на крайний случай у нас есть кое-кто из настоящих хирургов на главной базе. Вы меня понимаете? Так что у меня к вам только одна просьба: побеседуйте с начальником, пусть он доведет до сведения Шеремета, чтобы меня больше не дергали такими бумагами. Но это, разумеется, в том случае, если я действительно не преувеличиваю собственную ценность для госпиталя. Вот эти письма и конверт, возьмите, пожалуйста.

Дорош взял бумаги и положил в карман кителя. В груди его сильно шумело и фыркало, будто там работали кузнечные мехи.

— Ну, а самочувствие сейчас получше? — спросил он.

— Самочувствие нормальное, завтра встану.

— А может, не надо? Может, перемучаетесь, полежите?

— Завтра оперировать будут кое-кого, посмотреть надо. Нынче ведь война, Александр Григорьевич,

— Это да, это несомненно,— сказал Дорош, и вдруг чему-то улыбнулся.

Потом они еще немного поговорили о спасательном костюме и о спасательном самолете.

— Командующий вчера интересовался,— сказал Дорош,— по телефону звонил, а сегодня я у него с докладом был. Приказал, чтобы вы к нему явились в девять тридцать. Ну, я, конечно, объяснил, что подполковник Левин выбыл из строя надолго.

— И что он на это? — как бы даже небрежно спросил Александр Маркович.

— Приказал вызвать из главной базы хирургов — флагманского хирурга Харламова и еще второго, забыл его фамилию. И начальнику позвонил, чтобы условия обеспечили и немедленную эвакуацию, если понадобится. Так что Шеремет не сам письмо отправил. Но не учел, что командующий сказал: эвакуацию согласно его желанию.

Левин молчал. На морщинистой его коже выступили красные пятна, глаза под стеклами очков сердито блестели. Дорош посидел еще немного, пересказал подробно весь разговор с командующим — фразу за фразой, потом поболтал с Ватрушкиным и ушел. Почти сейчас же появился флагманский хирург Харламов с начальником госпиталя и целой свитой врачей. Сам Алексей Алексеевич шел несколько впереди, и только оттого, что он шел впереди, можно было догадаться, что он тут наибольший и самый главный, потому что во внешности его не было решительно ничего такого, что соответствовало бы представлению о выдающемся, крупном, даже знаменитом хирурге. Не было у Харламова ни роста, ни значительности в выражении лица, ни барственности, ни властности, ни раскатистого голоса, а был он, что называется, «неказистый мужичонка», с лицом, слегка вытянутым вперед, с жидкими белесыми усишками, с какой-то растительностью по щекам, с незначительным голоском, и только один взгляд его необычайно твердых, маленьких светлых глаз — всегда прямой и серьезный — выказывал незаурядность этого ординарнейшего с виду человека.

Подойдя к Левину, Харламов слегка согрел руки, потирая их друг о друга, кивнул головою несколько набок, присел на край стула и вдруг улыбнулся такой прекрасной, такой светлой и дарящей улыбкой, что все кругом

тоже заулыбались и задвигались, потому что, когда он улыбался, нельзя было не улыбнуться ему в ответ.

— Эка за мной народу-то,— сказал Харламов, оглядывая невзначай свою свиту,— эка набралось, словно и вправду архиерейский выход. Идите-ка, идите-ка, товарищи, занимайтесь своим делом, идите, никого нам с Александром Марковичем не нужно. Идите, идите...

И вновь стал греть руки, потирая их и дыша в ладони, сложенные лодочкой. Глаза же его опять приняли серьезное выражение и с неожиданной даже цепкостью как бы впились в сконфуженно улыбающегося Александра Марковича.

Молча Харламов проглядел анализы и рентгенограммы, подумал и, вытянув губы трубочкой, отчего лицо его сделалось прилежным, стал сильными, гибкими и тонкими пальцами щупать впалый живот Левина. Щупал он долго, заставляя Александра Марковича то дышать, то не дышать, то поворачиваться этак, то так, а сам при этом будто бы к чему-то прислушивался, но к чему-то такому далекому и трудно уловимому, что едва слышал только мгновениями. А когда слышал, то лицо его вдруг переставало быть прилежным и напряженным, в глазах мелькал на секунду азарт и тотчас же погасал, уступая место напряженному и трудному вслушиванию.

Потом прикрыл Левина одеялом, встал и вышел, а когда возвратился, то лицо у него было спокойно-деловитое и веселое.

— Так вот, коллега,— сказал он негромко и опять сел на край стула,— можно, конечно, оперироваться, а можно и погодить. Режимчик, разумеется, нужен, следить очень нужно, и в случае малейшего ухудшения...

Он пристально поглядел на Александра Марковича и помолчал.

— Да, вот так,— сказал он, думая о чем-то своем и продолжая разглядывать Левина,— вот так. В прятки мы друг с другом играть не будем — правда, ведь не стоит? — ну, а покуда, я предполагаю, можно погодить и спеха никакого особого нет. Хорошо бы вам еще Тимохину показаться, он у нас насчет всех этих язвочек — голова, вам непременно ему показаться нужно...

И Харламов опять задумался, приговаривая порою: «Да, вот так, вот так...»

Потом встал и, слегка сгорбившись, вышел, кивнув на прощанье головою.

«Но Тимохин-то в основном онколог»,— глядя в спину уходящему Харламову, подумал было Левин и тотчас же отогнал от себя эту мысль. «Просто страховка,— решил он,— я бы тоже так поступил. И кислотность явно язвенная, вздор все, пустяки».

В коридоре басом смеялся начальник госпиталя и что-то громко, играя голосом, говорил Баркан,— там провожали флагманского хирурга. И по тому, какими веселыми были врачи и как никто не шептался, он еще раз понял, что у него самая обыкновенная, вульгарная язва, с которой живут много лет и которая при нормальном режиме ничем серьезным не угрожает.

11

Через час он поднялся, надел поверх фланелевого госпитального халата свой докторский, взял в руку палку и пошел на обход. Лицо его было спокойным и даже веселым. Ольга Ивановна шла на шаг за ним, тоже успокоенная, довольная. Раненые в палатах, завидев Левина, приподнимали головы с подушек. Он шлепал туфлями, присаживался на кровать и говорил громко, заглядывая при этом в лица:

— Ну, что? Есть еще порох в пороховницах? Кто не съел эту прекрасную рисовую кашу с великолепным свежим молоком? Кто это жжет свою свечу с обоих концов? Это вы, старый воздушный бродяга? Посмотрите на него, друзья, он притворяется, что спит, до того ему стыдно смотреть нам всем в глаза. Ну хорошо, не будем его будить. Сделаем вид, что верим. А вы кто такой? Летчик, да? Варварушкина, он новенький? Да, да, вы мне говорили. Ну и что? Ничего особенного! Товарищи раненые, вы знаете, кто он такой — этот лейтенантик? Он по скромности вам не сказал. Он тот самый, что сбил «Арадо»,— помните, было в газете? Интересная история. Вы мне потом расскажете подробно, Женя, да? Вас ведь зовут Женя, год рождения двадцатый? Ну, конечно, мы постараемся так сделать, чтобы у вас работали обе руки, я же понимаю, как же иначе. Что вы читаете, капитан?

Так он ходил из палаты в палату, отдыхая в коридоре, и только Анжелика с Варварушкиной знали, что не все раненые такие здоровяки, как говорит им Левин,

и что не у всех будут работать обе руки и обе ноги, и что медицина не такая уж всесильная наука. Они знали это всё и не улыбались. Да, впрочем, и сам Александр Маркович улыбался только в палатах. В коридоре же и в ординаторской он был настроен брюзгливо и ворчал.

В двенадцать часов в госпитале все совсем стихло. Левин спустился в свою косую комнату, где все было убрано и вытерто, пришил к кителю чистый подворотничок и побрился перед зеркальцем. Из-под бритой рыжей щетины выступило обглоданное, с обвисшей кожей лицо старика. Но Левин не обратил на это лицо никакого внимания. Он его напудрил тальком и гребенкой расчесал жидкие волосы. Потом замшей протер очки, надел новую шинель, посадил на голову фуражку чертом, как носили летчики, взял палку и поднялся наверх, не торопясь, чтобы не задохнуться. Вахтенный матрос с повязкой на рукаве сказал ему «слово». Путь был свободен, его никто не задержал, Анжелика, по обыкновению, торчала у аптекаря.

Ночь была тихая, звездная, чуть с морозцем. Над заливом негусто, с переливами, гудели, то скрываясь за сопками, то снова появляясь, барражирующие истребители. И Левин подумал, что уже очень давно не объявлялись в гарнизоне тревоги и что воздушная война теперь идет там, за линией фронта, на территории противника.

Опираясь на госпитальную белую палку, он дошел до командного пункта и удивился безлюдью вокруг скалы, около которой раньше всегда стояло несколько машин и внушительно прохаживался матрос с автоматом на шее. Теперь не было ни матроса, ни машин, а тропинку, которая раньше вела в скалу, вовсе замело снегом.

«Переехали,— подумал Левин,— вот оно что. Давно переехали. И правильно, что переехали, это значит, война перевалила через хребет, война идет к победе, времена изменились, теперь мы господствуем в воздухе, и пусть они уходят под землю, а нам уже пришло время дышать и смотреть в настоящие окна».

И он опять отправился в дальний путь, к серому зданию командного пункта. Штаб теперь ушел из скалы, и приемная командующего была в большой комнате с высокими потолками и окнами, в которые вставили стекла и только завешивали черными шторами.

Дальний переход утомил его, и он даже немножко опьянел от воздуха, но сердце работало ровно, и когда он сел на диван в приемной, то никакой дурноты не сделалось и болей тоже не было.

— Вы к генералу? — спросил адъютант в очень коротком кителе.

Александр Маркович наклонил голову.

— Вам назначено?

— Мне не назначено,— сказал Александр Маркович,— но я рассчитываю быть принятым. Доложите, когда придет моя очередь,— подполковник медицинской службы Левин.

Адъютант слегка пожал плечами. Он был не лучше и не хуже других адъютантов, но очень боялся своего генерала и потому никогда еще никому не нагрубил; он только слегка пожимал плечами или несколько оттопыривал нижнюю губу, или просто углублялся в почту.

— Я извиняюсь,— сказал адъютант, когда прошло полчаса,— вам по какому делу, товарищ подполковник, как доложить?

— По моему личному делу,— медленно, как бы раздумывая, ответил Левин.

— Тогда придется подождать,— предупредил адъютант и уткнулся в почту, читая от скуки задом наперед адреса.

Теперь в приемной никого не оставалось, кроме Левина. Последним прошел интендант Недоброво. Он был у командующего долго, а когда выскочил, то несколько секунд неподвижно простоял в приемной, глядя на Левина выпученными глазами.

— Что, попало? — спросил Александр Маркович.

— Интенданты всегда во всем виноваты,— ответил Недоброво,— ваше счастье, что вы не интендант.

— Вы, наверное, действительно виноваты,— вдруг рассердившись, сказал Левин.— Мы еще с вами как-нибудь поговорим на досуге.

Он было начал переругиваться с интендантом насчет каких-то недоданных госпиталю вещей, но от командующего вышел адъютант и совсем другим голосом, чем раньше — даже с каким-то придыханием,— объявил, что генерал ждет. Но Левин еще не доругался с Недоброво, они встречались редко, и сейчас он должен был ему объяснить, что такое госпиталь и как надо относиться к госпитальным нуждам.

— Товарищ подполковник, я вас очень прошу,— сказал адъютант и подергал Левина за локоть.

Александр Маркович обернулся: адъютант был теперь другим человеком: на щеках у него горели красные пятна, аккуратные и круглые, как пятачки, глаза более не выражали скуки, и шаг сделался торопливым, сбивающимся. «Попало, наверное, за меня!» — подумал Левин и на прощанье сказал интенданту:

— Еще подождите, еще вас и в звании снизят. Дождетесь!

В большом и высоком кабинете с коричневой панелью по стенам командующий казался еще меньше ростом, чем на прежнем командном пункте «в скале». Волосы его в последнее время совсем поседели, а лицо немного обрюзгло, но глаза смотрели по-прежнему подкупающе прямо, с той твердой и юношеской искренностью, которую многие летчики сохраняют до глубокой старости.

Увидев Левина, он поднялся и пошел к нему навстречу, делая рукою жест, который означал, что докладываться не надо, потому что все равно Левин спутается и все кончится, как всегда, добродушно-сконфуженной улыбкой и беспомощным извинением. Но Александр Маркович на этот раз нисколько не запутался и договорил все до конца, подготовив себя мысленно к тому, чтобы ни в коем случае не казаться генералу жалким и достойным снисхождения по болезни.

— Однако вы выглядите не слишком важно,— сказал командующий, когда они сели,— но, с другой стороны, не так чтобы уж очень. Мне доктор Харламов звонил, говорил — язва, и режим, дескать, вам требуется. Ну, слушаю вас, докладывайте. Да нет, сидите же, сидите, эк в вас военная косточка разыгралась. . .

И, мгновенно улыбнувшись, он тотчас же, едва Левин начал говорить, сделал совершенно серьезное лицо. Но вдруг перебил:

— Особо хотим вас поблагодарить за лейтенанта Ватрушкина. Мне сообщили, что его выздоровление — целиком ваше дело. Продолжайте, пожалуйста.

И стал ходить по кабинету, покуда Александр Маркович говорил.

— Значит, не считаете необходимым ехать? — спросил он, когда ему показалось, что подполковник кончил докладывать.— Но советую подумать. Вот давеча не по-

ехали, а болезнь ваша себя и показала. Да и для общего самочувствия хорошо — Москва, знакомые, в театр бы сходили, ну и семью бы навестили...

Левин слегка было приподнял голову, чтобы сказать, что у него никакой семьи нет, но промолчал, так как это могло показаться бьющим на жалость.

— Так,— заключил командующий,— ясно. Теперь второй вопрос: что слышно насчет вашего костюма?

Левин протирал очки платком. Он ждал этого вопроса, но ответил не сразу.

— Недовольны? — спросил командующий.

— Нет, в общем костюм приличный,— сказал Александр Маркович.— С моей точки зрения, в нем все хорошо, но вот Федор Тимофеевич...

— Это кто же Федор Тимофеевич?

— А Курочка Федор Тимофеевич...

— Так-так. Ну и что же Федор Тимофеевич?

— Ему чем-то костюм не нравится. Он еще не может сформулировать свои требования, но я ясно вижу, что он костюмом недоволен...

Командующий усмехнулся.

— Может сформулировать,— сказал он,— отлично может. Не формулирует, потому что вас жалеет. Перед отъездом, когда он у меня был, мы тут с начальником штаба задали ему один вопрос,— расстроили его. Да что же поделаешь — пришлось. Он нам тогда и сказал: «Я, дескать, инженер-майор Курочка, перенесу, а вот подполковник Левин, тот очень переживать будет».

Александр Маркович молчал.

— Да вы не расстраивайтесь, костюм ваш вещь хорошая, полезная, только вот скажите мне, что произойдет со мною, например, если я из самолета выброшусь раненым и упаду лицом вниз? А? Без сознания и лицом вниз, в воду? Ну-ка?

Левин хотел ответить, но не нашелся, и только поморгал. Он действительно расстроился.

— Ведь и в тарелке с водой можно захлебнуться,— сказал командующий.— Что наука говорит? Наука говорит, что и в луже утонуть можно, если человек не в силах себя заставить подняться. Так?

— Так,— грустно согласился Левин.

— Вот видите, и вы говорите — так,— кивнул командующий,— а если так, значит эту часть надобно тоже

продумать серьезно, «провентилировать», как выражается наш начальник штаба.

Александр Маркович подавленно молчал.

— Впрочем, это не значит, что костюм плох,— продолжал командующий,— это только значит, что он не закончен. Надо работу над ним продолжать, но с учетом этого непременного требования. Согласны?

— Так ведь это еще нужно изобрести,— сказал Левин,— а я без Курочки ничего не могу делать. Я не изобретаю, изобретает он, я только помогаю ему, так сказать, в специальной области. Не знаю, как теперь быть. Испытания мы назначили с Шереметом.

Командующий коротко и невесело улыбнулся.

— Это, конечно, большое дело,— сказал он.— Сам Шеремет прибыл, огромное событие.— Помолчал и добавил: — Испытания вы проводите, ясно? И проводите с полной строгостью и требовательностью, оставив в стороне один только вопрос. Вопрос этот Курочка добьет до конца, мы его хорошо знаем. Все ясно?

— Все,— повеселев, ответил Левин.

— Перехожу к третьему вопросу,— сказал командующий,— он находится в некоторой связи со вторым. Что за птица Шеремет? Только попрошу вас, товарищ подполковник, отвечая мне, помнить, что каждый человек, занимающий нынче должность, не соответствующую его рабочим качествам, не просто бесполезен, хуже — вреден. С этой точки зрения давайте и будем оценивать нашего Шеремета. Отметем, знаете ли, цеховщину, либерализм, даже дружеские отношения,— вы с ним, кажется, приятели? Он мне это давал понять...

Левин внимательно посмотрел на командующего и ответил, не торопясь и подыскивая наиболее точные слова:

— Ну... приятели мы относительные... Что же касается до работы — то работать с ним, с Шереметом, и трудно и неинтересно. Так думаю не я один, так думают очень многие. Впрочем, он имеет и свои несомненные достоинства, которые невозможно отрицать.

— Какие? — с интересом спросил командующий.

— Он энергичен... напорист... умеет добиваться того, что ему нужно...

— Ему или нам? Учтите — это разница.

Александр Маркович подумал и согласился, что это,

действительно, разница. Но достоинства у Шеремета, несомненно, имеются.

— В числе этих достоинств, например, хамское отношение к таким работникам, как Варварушкина? — неприязненно спросил командующий.— Так? Это ведь на нее он топал ногами, выясняя историю с баней. Впрочем, это вы лучше знаете...

— Знать-то знаю,— ответил Левин,— но, видимо, есть и у нас начальники, которым нравится, когда им специально подготавливают баню. Шеремет не дурак и знает, на кого работает. Вот в чем загвоздка. Да что баня, товарищ командующий. Баня — пустячок, но символический. Я с Шереметом на эту тему имел беседу, как вам, впрочем, известно. Есть вещи похуже...

— Есть! — сдвинув брови и поигрывая карандашом, произнес командующий.— Есть, товарищ доктор, и мы с ними боремся. Только не так это просто. Но сейчас мы с вами говорим о потатчике всей этой холуйской мерзости — о Шеремете. Так вот, что нам с ним персонально делать?

— А — выгнать! — кротко улыбаясь, ответил Левин.— Выгнать, и дело с концом. Я бы выгнал. Впрочем, может быть, это слишком сильно сказано. На аптечных склянках делают наклейки: «Перед употреблением взбалтывать». Если Шеремета взболтнуть, то есть взболтать...

Командующий курил, слегка отворотясь. И опять Александр Маркович заметил, как обрюзг и постарел генерал и какая печать усталости лежит на всем его облике — и на выражении лица, и на опущенных плечах, и на повисшей вдоль тела руке.

— Незачем взбалтывать,— сказал он сухо,— человек на пятом десятке должен сам понимать что к чему. Впрочем, мы разберемся. А сейчас приглашаю вас в салон ужинать, там займемся прочими нашими делами.

Своей твердой, чеканной походкой он пошел вперед, что-то коротко, почти одним словом приказал вскочившему адъютанту и с маху отворил дверь в салон, по которому размеренным шагом, негромко насвистывая, прогуливался генерал Петров — высокий, в чеплашке и серых замшевых перчатках, которые он, так же как и чеплашку, никогда не снимал, потому что был тяжело изувечен и не считал возможным, как он выражался, «портить аппетит здоровым людям». И лицо его тоже было изуродовано так, что никто теперь не верил, будто

нынешний заместитель командующего по политчасти генерал Петров был когда-то замечательно красивым летчиком. Сохранились на лице Петрова только прежние глаза, такие веселые, всегда такие полные дружелюбно-иронического блеска, что люди, которые впервые его видели, не сразу замечали и рубцы, и шрамы, и бурую кожу — все то, что много лет тому назад наделало пламя в кабине истребителя над Гвадалахарой. Впрочем, про Гвадалахару знали очень немногие: Петров, посмеиваясь, объяснял, что у него взорвался примус и испортил ему всю красоту.

— А говорили, что вы при смерти,— сказал он, пожимая руку Левину,— вовсе не при смерти, только похудели немного. Ничего, отвоюемся — поедете в Сочи. Вы ведь любите Сочи, часто туда раньше ездили?

И он раскатисто засмеялся, откинувшись на стуле и тряся головой. Все в ВВС помнили, как Александр Маркович ездил в Сочи.

— Не поедет Левин в Сочи,— сказал командующий,— ему теперь надо язву лечить, это в Железноводске, что ли, или в Кисловодске? Налить вам водки, подполковник? Я знал одного язвенника, так он только чистым спиртом лечился, говорил — прижигания очень полезны. Что вам нужно? Сыру можно? Трески жареной желаете?

— Нет, благодарю вас,— сказал Левин,— я лучше чаю выпью с сухариком. Мне это всего полезнее покуда...

Подавальщица салона Зина одобрительно взглянула на подполковника. Ей очень нравилось, когда гости командующего не накидывались по-хамски на закуски. Надо же понимать, что в салоне тоже норма и на всех этих прожорливых летчиков никогда не напасешься. Вот давеча был тут майор Михайлов — подвинул к себе сыр «гаудэ» и съел сразу четыреста граммов. А этот подполковник пьет себе чаек и кушает корочки — сразу видно, что доктор и умеет себя держать.

За едой говорили о спасательном самолете. Левин даже нарисовал чертежик — как все должно быть оборудовано, и отдельно, покрупнее, изобразил автоматический трос, предложенный Курочкой. За этот трос должны хвататься утопающие.

— А что? Остроумно, право, остроумно,— сильно жуя крепкими зубами над ухом Левина, сказал Пет-

ров.— Ах, голова у Курочки, Василий Мефодиевич, удивительная голова. Тут что же, шарикоподшипники, что ли, подполковник?

Левин не знал и ответил, что не знает.

— Он нам так и немца-летчика доставит,— сказал командующий,— немец-то за трос первым схватится, еще нашего оттолкнет. Привезете немца, доктор? Или это нынче негуманно с точки зрения международного Красного Креста? Нынче что-то там сломалось вовсе в этом Красном Кресте, ничего не понять, верно ведь?

— Верно,— улыбаясь, ответил Левин.

Зина принесла ему с кухни свежих сухариков, и он грыз их еще молодыми, ровными, белыми зубами. А командующий и Петров говорили о том человеке, который должен управлять будущим спасательным воздушным кораблем.

— Вы о ком-нибудь персонально думали? — спросил командующий. — Курочка ведь тоже знает ваших людей. Толковали с ним?

Левин ответил, что они с Курочкой не раз обсуждали кандидатуру Боброва и что пришли к выводу — плохой пилот погубит идею, идея будет дискредитирована.

И, размахивая в воздухе карандашом, принялся объяснять, каким, с его точки зрения, будет хорошее начало. Объяснял он долго и подробно, и по тому, как он останавливался на случайностях, возможных в таком деле, было видно, сколько вложено в эту идею сил и труда.

Командующий и Петров слушали молча, не перебивая. В стаканах остывал чай. Пощелкивало в радиаторах парового отопления. Несколько раз входил и что-то докладывал на ухо командующему оперативный дежурный. Василий Мефодиевич кивал головой, задумчиво соглашаясь, помешивал ложечкой остывший чай. Петров курил.

Зина, стоя на своем всегдашнем месте у самоварного столика, тоже слушала Левина и от усталости за день то и дело засыпала. Во сне она видела огромный самолет над студеным морем, видела, как в самолете сидят доктора в халатах с инструментами, как эти доктора смотрят в окна, и вдруг самолет опускается, опускается и садится на быстро бегущие волны. И из самолета выходит какая-то веревка, веревка волочится за ним по

волнам, а пилот в это время кричит в трубу, потому что воют моторы и шумит море и совершенно ничего не слышно. А летчик в капке, обожженный и раненый, как когда-то генерал Петров, из последних сил плывет к самолету. В небе же в это время продолжается сражение, сражаются друг с другом наши и фашистские самолеты, и вдруг один немец увидел нашу спасательную машину. Обрадовавшись, он камнем ринулся вниз, но не тут-то было!

— Не тут-то было! — сказал Александр Маркович.— Вот вам наше вооружение. И вот вам сила огня и пулеметного и пушечного, впрочем, это, разумеется, приблизительно, я тут не совсем уверен. . .

— Боюсь, что вы путаете,— сказал командующий,— не поднять вам такое вооружение. Да и какой смысл? Мы вам лучше истребителей будем давать с дополнительными бачками. . .

— Но это же не очень важно — путаю я или нет. Важно то, что, покуда я или другой военврач оказывает помощь спасенному из воды, машина готовится к взлету. И вот, пожалуйста, мы стартуем и ложимся на обратный курс. В случае если мы получаем сообщение еще о таких происшествиях, мы возвращаемся и производим посадку вновь, но на положении первых спасенных это никак не отражается. Спасенные уже находятся в условиях, близких к стационарным. Первая помощь любого типа ими уже получена. Обогревание и прочие процедуры, выполненные квалифицированным персоналом, закончены. Как я себе представляю, состояние нервного подъема уже покинуло спасенных, они спят сладким сном, обстоятельства дальнейшего рейса им неизвестны и непонятны. . .

— Зинаида, чаю! — сказал командующий.

— И мне, Зинуша,— попросил Петров.

Зина, покачиваясь спросонья, принесла горячего чаю. Командующий посмотрел на нее и засмеялся.

— Смотрите, спит! — сказал он.— Как пехотинец на марше.

И, повернувшись всем туловищем к Левину, сказал все еще веселым и звонким голосом:

— Ну, что ж, одобрим, Петров? А? На мой взгляд, отличная идея. И если все пойдет благополучно, создателей самолета от имени нашего Советского прави-

тельства наградим, а? Наградим, Петров? Как ты считаешь?

Петров молча улыбался глазами.

— Создателей наградим,— уже серьезно и даже раздраженно повторил командующий,— ну, а тех, которые мешали, не помогали, разных там Шереметов, тех накажем. Понимаете, подполковник? Сурово накажем, чтобы работать не мешали.

Потом они оба проводили его до приемной и долго еще, стоя, разговаривали о спасательном самолете. Тут же в стороне, вытянувшись, стоял вызванный к командующему Шеремет. И Левин спиною чувствовал, как выглядит Шеремет, каким привычно восторженным взглядом он смотрит на командующего и какой он весь образцово-показательный в своем роскошном кителе, в наутюженных брюках, в начищенных до зеркального глянца ботинках.

— Ну, добро,— сказал командующий,— вопрос о Боброве мы завтра же окончательно решим с начальником штаба. До свиданья, подполковник. Рад, что заглянули.

Вдвоем с Петровым он ушел к себе в кабинет, адъютант нырнул туда же, и тотчас Шеремет спросил:

— Зачем меня вызывают?

— Не знаю,— сказал Левин.

— Но обо мне была речь?

— Была.

— И что же?

— Я изложил свое мнение,— сказал Левин.— Оно сводится к тому, что вы плохой работник. Впрочем, я это говорил вам в глаза.

Шеремет сжал губы. Выражение бравой независимости и старательности сменилось выражением, которого Левин раньше никогда не видел на лице Шеремета: тупой страх как бы оледенил лицо начсана.

— Вас, наверное, снимут с должности,— сказал Левин,— и это будет хорошо нам всем. И санитаркам, и сестрам, и докторицам, и докторам. Мы устали от вас и от шума, который вы производите. До свиданья.

Дорогая Наталия Федоровна!

Сейчас довольно поздно, но мне что-то не спится. Был я у своего начальства и порадовался на человеческие качества некоторых товарищей. Мне, как Вам из-

вестно, много лет, и повидал я в жизни разного — худого, разумеется, куда больше, нежели хорошего, и, может быть, поэтому настоящие люди, люди нашего времени, чистота их и благородство неустанно вызывают во мне восхищение и желание быть не хуже, чем они. Простите меня за несколько выспренний слог, я вообще нынче что-то пребываю в чувствительном состоянии, наверное это от лежания и от ничегонеделания.

Лежа в своей шестой палате, дочитал «Палату № 6» А. П. Чехова. И, боже мой, как это опять перевернуло мне душу, как почувствовал я разницу между тем временем и нынешним, между тем государственным устройством и нашим. Та палата № 6 была реальной повседневностью, нормой, а нынче ведь нас бы за это судили, и как еще судили, не говоря о том, что Андрей Ефимович не смог бы прожить и месяца среди нас. Кстати, чеховская палата № 6 существует и на моей памяти — я в шестнадцатом году видел *буквально* такую больницу в местечке Большие Гусищи. Помните, у Чехова: «В отчетном году было обмануто 12 000 человек, все больничное дело, как и 20 лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей». Так думает Андрей Ефимович о своей больнице, и думает совершенно справедливо. Можем ли мы сейчас представить себе хоть одного врача, который бы на мгновение так подумал о своей деятельности? Нет, это решительно невозможно, немыслимо.

Невыносимо грустно было читать. Помните? «Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна освещала его».

Стоит ли так жить?

Нет, так немыслимо, невозможно жить. И умирать так нельзя.

Впрочем, нам еще рано об этом размышлять.

Нам дела еще много осталось.

Кстати, я совершенно потрясен: ваш Виктор женится? Выходит, мы уже старые люди?

Будьте здоровы и не скучайте. О Н. И. опять слышал — делает удивительные дела. Впрочем, я не удивляюсь — я всегда верил в его характер, в его талант.

Ваш А. Левин

12

Пока все проходило благополучно. Командующий спрашивал, Шеремет отвечал. Почему же и не спрашивать командующему, это его право. И, ободрившись, Шеремет пустился в рассуждения. Он даже рассказал анекдот к случаю. У него всегда были анекдоты к случаю, он тщательно их собирал и никогда не забывал.

Но ни командующий, ни Петров не улыбнулись.

Это Шеремету не понравилось.

— Да, вот еще что, полковник! — сказал командующий и помолчал, как бы собираясь с мыслями.

Шеремет изобразил на своем широком лице внимание и заинтересованность.

— Давеча был я в бане!

«Начинается»,— подумал Шеремет. И тотчас же лицо его приняло покорное и виноватое выражение.

— Черт знает что вы там устроили,— говорил командующий, холодно и зло глядя в подбородок Шеремету.— Бумажные цветы понаставили, ковер из Дома Флота притащили, одеяла из госпиталя, простыни, квас сварен из казенных сухарей. И, говорят, баню для командного состава закрыли на два часа раньше. Верно это?

— Так точно, виноват,— сказал Шеремет.

— Стыдно, полковник, стыдно,— вставая с места, брезгливо, почти с отвращением сказал командующий,— стыдно и подло.

При слове «подло» Шеремет порозовел от страха. Он стоял по стойке «смирно» — руки по швам, живот втянут, подбородок вперед, покорное и виноватое лицо, но сейчас это ничему не помогало. Сейчас заговорил Петров. Петров ходил за спиною Шеремета и говорил негромко, совершенно не стесняясь в выражениях.

— Вы чужой человек в авиации,— вдруг сказал Петров,— понимаете? Вот Левин не летчик и не техник, однако он свой человек в нашей семье, а вы только едок — вы с ложкой, когда мы с сошкой.

«Повернуться к нему или не повернуться? — думал Шеремет.— Если я повернусь к нему, то буду спиной к командующему. А если не повернусь, тоже будет плохо. Э, да что там, все равно хуже не бывает».

— Почему вы так топали ногами на Варварушкину? — спросил командующий.

— И насчет бани доложите подробно, для чего это вы все затеяли! — сказал Петров.

Вопросы посыпались на него градом. Он не успевал отвечать. И каждый его ответ сопровождался репликами, от которых у него подкашивались ноги. Он уже не понимал, кто бросает эти уничтожающие реплики, он только поводил своей большой головой, и тупой, тяжелый страх все больше и больше сковывал его жирное тело.

«Надо молчать,— решил он,— пусть будет что будет. Надо молчать и надо бояться. Начальство любит, чтобы его боялись».

Но и здесь он ошибся: это он любил, чтобы его боялись, чтобы хоть немножко трепетали, входя к нему в кабинет, а они — ни командующий, ни Петров — терпеть не могли испуганных подчиненных. Одно дело, если человек осознал свою неправоту, понял, что ошибся, совсем другое дело, если он просто боится. И так как Шеремет боялся — он стал им обоим неприятен. Поэтому, переглянувшись, они оба сурово помолчали, и погодя командующий сказал Шеремету, что тот может быть свободен.

— Есть! — ответил Шеремет.

— Доложите начсанупру флота,— сказал командующий,— что я накладываю на вас взыскание и прошу генерала мне позвонить, как только он прибудет из города.

— Есть! — повторил Шеремет, еще не понимая сути слов командующего, но уже чувствуя на спине холодок и все еще не уходя.

— Так вот — можете быть свободным! — еще раз произнес командующий и кивнул. Петров тоже кивнул и отвернулся.

«Плохо! — подумал Шеремет.— Но не слишком. Могло быть хуже. Впрочем, ничего особенного: маленько перестарался, но ведь я хотел сделать как лучше. Ну что же — ошибся: если бы я был командующим, мне бы лично нравилось, что мне так подготовили баню. Должен же быт командующего, отношение к нему, чуткость,— должно же это все отличаться от того, как мы все относимся к рядовым летчикам. Ах, глупость какая, надо же так не угадать. . .»

Из кабинета он вышел еще бодрясь, но на лестнице вдруг совсем испугался — до того, что заныло под ло-

жечкой: «Накладываю взыскание, пусть позвонит генерал!» Для чего звонить генералу? Для какого-то особого разговора? Для секретного? Может быть, они еще чего-нибудь проведали?

И ему вдруг припомнился недавний и громкий скандал в терапевтическом отделении госпиталя, когда он, Шеремет, приказал очистить палату для заболевшего гриппом нужного и полезного майора из интендантства. Вспомнился капитан-фронтовик, пожилой человек, в прошлом директор сельской школы, заболевший на переднем крае острым суставным ревматизмом, и вспомнились все те слова, которые произнес тогда этот капитан. Капитан был прав во всем, но Шеремет страшно обиделся, потому что решил для себя (так было удобнее), что интендантский майор нужен вовсе не ему самому лично, а нужен госпиталям. В какой-то мере это было верно, но только в малой мере, и теперь Шеремету показалось, что и командующий и Петров знают все то, что тогда сказал капитан. Так как сам Шеремет вечерами, на досуге не раз занимался писанием рапортов и докладных записок, попахивающих доносами, то и про других людей он всегда думал, что они тайно пишут «на него». И теперь он твердо решил, что на него «много написано писанины» и что он пропал. Конечно, пишут все — Левин, и этот капитан, и Варварушкина, и разные другие, не все ли равно кто, когда теперь все вдруг зашаталось, завтрашний день стал сомнительным, а о послезавтрашнем не стоит даже и думать. Произошло нечто ужасное, остановить ничего немыслимо, начсан полковник Шеремет сейчас, может быть, вовсе и не начсан и даже не полковник, он — просто Шеремет, а просто Шеремет, без звания и должности,— это пар, ноль, ничто. Разумеется, он — врач, но кого он лечил в последний раз и когда, кто знает врача Шеремета? Никто. Его знали как начальника врачей — вот и все, как заведующего, и иногда он еще читал лекции — он ведь хороший общественник и лекции читал недурно,— что-то о гигиене на производстве, об охране материнства и младенчества... Ах, какое это имеет теперь значение?

Раскуривая на ветру папиросу, он вдруг заметил, что его большие, крепкие руки дрожат. И вкус папиросы — хорошей, высшего сорта папиросы — показался ему неприятным, словно попахивало горелой тряпкой.

Возле госпиталя он встретил Баркана и обрадовался ему.

Левин был врагом Баркана, и Левин был врагом Шеремета. Сейчас Шеремет обязан был объединить вокруг себя всех недругов Александра Марковича. Левин погубил Шеремета и несомненно готовился к тому, чтобы погубить Баркана. И, стараясь говорить спокойно, даже несколько иронически, Шеремет поведал Баркану всю историю про баню и про то, что сказали командующий и Петров.

— Это все? — жестко спросил Баркан.

— Все! — ответил Шеремет.

— Плохо! — произнес Баркан.

— Что, собственно, плохо?

— Скверная история! — неприязненным голосом произнес Баркан.— Я не поклонник Левина, но вы попали в скверную историю. Левин тяжелый человек, но, знаете, я не могу вам выразить сочувствия, товарищ полковник...

Он помолчал и коротко вздохнул:

— Может быть потому, что у меня тоже тяжелый характер?

Потом, козырнув, скрылся в темноте. А Шеремет шагал к себе и думал: «Блокируется! Понимает, что Шеремет уже не Шеремет. То есть Шеремет еще Шеремет, но он уже не полковник Шеремет, не прежний Шеремет...»

13

— Вчера командующий мне поднес пилюльку,— сказал Левин.— Как вам не стыдно, Федор Тимофеевич. Неужели вы думаете, что я ребенок, играющий в игрушку? Наша затея серьезное дело, и я это хорошо понимаю.

Курочка молчал и улыбался, с удовольствием глядя на Левина. Он любил сидеть в тепле левинской ординаторской, любил слушать, как ворчит доктор, любил попить у него некрепкого чаю с сухариком. Сам того не зная, он любил Александра Марковича.

— Что же будет с сегодняшним испытанием?

— Будем испытывать,— сказал Курочка.— Денег испытания не стоят, риску тоже нет, почему же нам не довести испытания костюма в его нынешнем состоянии

до конца? Командующий, во всяком случае, считает испытания полезными. Ну, а потом подумаем. Вы несогласны?

Пришел Дорош, потом явился Калугин, через несколько минут после него — Шеремет. Начсан был несколько бледен и говорил томным голосом. С Левиным он поздоровался демонстративно вежливо, но с некоторым оттенком официальности. Усевшись на диван, он стал напевать едва слышно, чтобы они не думали, что с ним все кончено.

«В крайнем случае мне угрожает склад,— думал он, напевая из «Риголетто».— Это, конечно, очень неприятно, это значит — я погорел, но зато должность тихая, и если вести себя прилично, то хуже не будет. А оттуда я напишу *ему*».

Про этого человека он всегда думал как бы курсивом. Когда-то Шеремет угодил этому деятелю и начальнику и с тех пор держал его «про запас», никогда не тревожа пустяками, а пописывая изредка бодрые письма и оказывая маленькие, но симпатичные знаки внимания *его* супруге и *его* семье, находящимся в эвакуации. И *от него* он получал иногда короткие писульки, написанные чуть свысока, но все же дружеские и, как думал сам Шеремет, «теплые». Вот этот *он* и должен был впоследствии, не сразу, но обязательно помочь Шеремету,— конечно, не здесь, а где-нибудь в другом месте, там, где шереметовская расторопность и услужливость будут оценены по достоинству. Ночью, вспомнив *о нем*, Шеремет твердо решил держаться бодрее. И нынче он опять подумал, что не все еще окончательно потеряно, что грустить на виду у всех нет причин и что нынче же он напишет жизнерадостное фронтовое письмо *ему* и *его* семейству.

А подумав так, он тотчас же энергично втиснулся в общий разговор Дороша, Левина, Курочки и Калугина.

— Ну не везет же нам с погодами,— сказал краснофлотец Ряблов.— Покуда вы болели, товарищ подполковник, погоды были во! А поправились, опять море играет!

Он подал руку Левину и перетащил его на корму, туда же перетащил Шеремета и Курочку. Дорош и Калугин сели на передние банки.

«Сердце красавицы склонно к измене...» — напевал Шеремет, глядя на серые пенные валы и на далекий силуэт эсминца. Потом он открыл портсигар, угощая офицеров толстыми папиросами. «И к перемене,— напевал он, предлагая взглядом свои папиросы,— и к перемене, как ветер мая».

Папирос у него никто не взял, он зажег зажигалку-пистолет и прикурил, аппетитно причмокивая. Матросы подняли весла. Старшина вопросительно взглянул на Шеремета — старшего в звании.

— Давай, давай,— сказал Шеремет,— давай, друже, побыстрее. Провернем эту формальность сегодня — и обедать. С вас хороший обед нынче, товарищи костюмные конструкторы.

Потом он похвалил костюм. Вышло даже так, что нынешние испытания вовсе ненужны, потому что всем известно, какое это замечательное достижение — костюм.

Курочка молча улыбался.

Левин тоже вдруг улыбнулся и толкнул Федора Тимофеевича локтем в бок.

— К прежней вешке, товарищ подполковник? — спросил старшина.

Александр Маркович кивнул. Серые низкие тучи быстро бежали по небу. С визгом из-за скалы вынырнуло несколько чаек — косо раскинув крылья, помчались за шлюпкой.

Покуда шли к вешке и покуда заряжали Дорошу грелки и аварийный паек,— стемнело. Весело показывая белые зубы, Дорош помахал комиссии рукою и прыгнул в волны, потом перевернулся на спину и закричал:

— Ну и штука! Великолепно, товарищи, замечательно! Давай за мной, я поплыву!

— Этот нас погоняет,— усмехнулся Курочка и наклонился к воде, чтобы лучше видеть. Но ничего не увидел, кроме мерцающих волн да белой пены, что неслась по заливу.

Шеремет курил и с деловым видом глядел на светящуюся стрелку хронометра. Время шло нестерпимо медленно.

— Э-ге-ге! — кричал Дорош. — Ищи меня, ребята! Э-ге-ге-ге!

— Право, не следует задерживаться,— сказал Шеремет.— Все ясно, люди сработали прекрасную вещь, о чем тут можно толковать!

— Салонные условия испытания,— сказал Курочка.— Залив, шлюпка идет. Надо думать об океане, о травмированном летчике, а не о детских игрушках вроде этой.

И засмеялся злым тенорком.

— Но вода и тут имеет минусовую температуру,— с недоумением ответил Калугин.— Что же касается до травмированного летчика, то Дорош, если я не ошибаюсь, плывет сейчас с протезом. И вообще я не понимаю твоего тона, Федор Тимофеевич.

— А я понимаю,— сказал Левин.

Курочка предложил выпить, и Калугин открыл фляжку с коньяком. Шеремет светил фонариком, покуда всем налили, и, сердито фыркая, выпил свой стаканчик.

— Э-ге-ге-ге! — кричал Дорош. — Ищите меня, хлопцы, бо я далеко.

Это ему казалось, что он далеко, на самом деле шлюпка шла за ним следом. И при свете сильного электрического фонаря все видели, как Дорош ест и даже пьет.

Акт писали в госпитале, в ординаторской. Курочка, Калугин и Дорош сидели рядом на клеенчатом диване и пили чай стакан за стаканом. Шеремет расхаживал по комнате из конца в конец.

— Ну, так вот,— сказал вдруг Курочка,— я думаю, что резюмировать это надо в следующем духе. . .

Он обвел всех веселым взглядом, подумал и заговорил медленно, подбирая слова:

— В таком духе, что испытания прошли удовлетворительно, что костюмчик в общем и целом, и так далее. . . но! Но! Вот тут-то и есть загвоздка. Но костюмчик не предусматривает случаев падения летчика в бессознательном состоянии лицом вниз, понимаете?

В ординаторской стало очень тихо. Шеремет остановился. Зажигалка горела в его руке, он так и не закурил.

— А ведь падение лицом вниз вещь распространенная, не так ли? — спросил Курочка.— Поэтому предложить авторам костюмчика разработать и решить задачу автоматического поворота или поворачивания постра-

давшего на спину в воде. Так? Ну-с, и покуда авторы эту задачу не решат, дело полагать законсервированным.

Шеремет наконец прикурил.

— Этим мы и закончим,— сказал Курочка,— но не навсегда, конечно, а только на нынешнем этапе. Вопросы есть?

Вопросов не было.

Александр Маркович молча писал.

«...полагать законсервированным»,— написал он и поставил жирную точку.

14

Размеренно нажимая подошвой башмака на педаль умывальника, Александр Маркович мыл руки. Это было скучное занятие — мыть руки перед операцией, он издавна приучил себя в это время думать на определенные темы и вот уже лет пятнадцать не замечал процесса мытья рук. Это был совершенно механический процесс — сначала мыло и щетка, потом Верочка подавала йод, потом поливала руки Левина спиртом и сама говорила: «Готово». Если она не говорила этого слова, он еще десять минут мог держать свои большие ладони лодочкой. Верочка была как будильник с резким, трещащим голосом.

— Готово! — сказала Верочка и открыла перед ним дверь. Он вошел в операционную, держа руки ладонями вперед, и, прищурившись, посмотрел на стол, на котором лежал Бобров. Лицо летчика было неподвижно, но глаза с сегодняшнего утра словно бы побелели и оттого потеряли прежнее выражение собранной и напряженной воли. Теперь Бобров уже не мог справиться с физическими страданиями, они были сильнее его, они одержали над ним победу.

Капитан Варварушкина подала Левину рентгеновский снимок, но не в руки, а на свет, так, чтобы он мог все видеть еще раз, но ни до чего не дотрагиваться. Жуя губами, он рассмотрел все четыре снимка и подошел к столу. Брезгливое выражение появилось на его худом лице. Это означало, что ему трудно. Он все еще жевал губами, как старик, как его отец, когда он приехал к нему прощаться в больницу,— отец умирал от рака.

— Скорее бы, товарищ начальник, утомился я,— сказал Бобров сердито.

Наверное, он не узнал Левина, потому что теперь у доктора был завязан рот и белая шапочка была надвинута на самые глаза, почти закрывая мохнатые брови.

Внезапно он начал ругаться — очень грубыми словами. Это случается с людьми, когда их наркотизируют. Потом Анжелика Августовна подала Левину скальпель. Верочка по его знаку спустила ниже рефлектор. Капитан Варварушкина изредка, ровным голосом сообщала, какой частоты и наполнения пульс. Минут через десять Левин сказал Анжелике:

— Надо меньше думать про завивку ваших кудрей и больше про дело. Надо соображать головою.

Еще несколько погодя он крикнул:

— Что вы мне даете? Я вас посажу на гауптвахту!

— Я даю вам то, что нужно,— басом ответила Анжелика Августовна.— Я соображаю головой.

— Извините,— сказал Левин.

Опять сделалось тихо. Верочка подставила тазик. Туда с сухим стуком упал осколок.

— Оставьте ему на память,— велел Левин и извлек длинными пальцами еще два осколка.

Бобров дышал ровно, но с всхлипами. Варварушкина изредка привычным жестом гладила его по щеке. Верочка еще раз показала Левину снимки. Он долго вглядывался в них, держа руки перед собою, и наконец решился. В сущности, он решился уже давно, а сейчас он только подтвердил себе свое решение. Боброва повернули на столе. Все началось сначала.

— Продолжайте наркоз! — сказал Александр Маркович.

Через несколько минут он увидел почку. Осколок засел в ней глубоко, и с ним пришлось повозиться. Дважды у Левина делались мгновенные головокружения, но он справлялся с собою, и только на третий раз велел Верочке подать капли, приготовленные перед началом операции. Верочка оттянула повязку с его рта и вылила капли ему в горло. Операция тянулась уже более часа. Даже Варварушкина стала тяжело дышать. Анжелика Августовна дважды роняла инструменты. Верочка вдруг шепотом сказала: «Боже ж мой, боже мой!»

— Кому не нравится, тот может убираться вон,— сказал Левин.— Или, может, тут есть слишком нервные люди?

Никто ему не ответил. Никто даже не понял, что он сказал. Все знали — подполковник болен, ему тяжело, операция сложная, если хочет — пусть ругается любыми словами. Может быть, ему от этого легче.

Прооперировав Боброва, он сел на табуретку и закрыл глаза.

Большое поле с рожью и цветочками проплыло перед ним. Цветочки покачивались на ветру, рожь ложилась волнами, и тени бродили по ней.

Левин открыл глаза.

Анжелика стояла перед ним с градуированной мензуркой в руке.

— Это немножко спирту,— сказала она.— Двадцать граммов. И тридцать граммов вишневого сиропу. Вам будет очень хорошо. Пожалуйста, Александр Маркович, будьте так добры!

Маленькие круглые глазки Анжелики были печальны и полны сочувствия.

Левин выпил и опять закрыл глаза.

Теперь он увидел снег. Снег падал и падал, и цветочки покачивались в снегу. Это уже была чертовщина.

— Я полежу полчаса,— сказал Левин.— В ординаторской. Пусть мне принесут туда чаю и сухарик. Через полчаса позовите меня. И подготовливайте этих двух... этих двух молодых людей. Один — резекция голеностопного сустава, а другой — пальчики. Опять я не помню фамилии...

Он виновато улыбнулся:

— Хороший, чуткий врач непременно знает фамилию и имя-отчество. Когда я был молодым, мне все это давалось легко, а теперь я помню только сущность дела, а остальное забываю. Наверное, меня пора выгонять вон...

— Ну что вы такое говорите! — возмутилась Анжелика.

— То и говорю. Еще есть кто-нибудь на сегодня?

Варварушкина молча кивнула головой. Да, еще один истребитель. Его только что привезли. Доктор Баркан считает, что надо оперировать.

— Хорошо, я посмотрю,— сказал Левин.— Проводите меня, пожалуйста, Верочка, меня тошнит, и эти отвратительные головокружения.

Верочка взяла его под руку и повела к лестнице. Чтоб не выглядеть жалким, он надменно улыбался и по дороге сделал замечание двум санитаркам, разносившим обед.

— Сейчас вам чайку принесу и сухарики, вы себе пока отдыхайте,— сказала Верочка,— и до вас никого не пущу. Матроса с автоматом поставлю у двери.

Александр Маркович лег.

Закрывать глаза он боялся.

Лукашевича вызывать уже поздно. Баркана как хирурга он толком не знал. Надо все сделать самому. А тут эти проклятые цветочки перед глазами и поле, в котором растут злаки. Он никогда точно не отличал рожь от пшеницы. И цветы он тоже путал: разные там гортензии или левкои. Или еще хризантемы.

Верочке он сказал:

— Принесите сюда шприц, моя дорогая, и ампулу с кофеином. Вот я выпью свой чай и полежу, а потом вы мне впрысните кофеинчику.

Верочка принесла и то и другое и привела с собою капитана Варварушкину. Та спокойно села возле Левина на диван и теплыми пальцами взяла его запястье. Он смотрел на нее снизу вверх близорукими без очков глазами и тихо улыбался.

— И ничего смешного, товарищ подполковник,— строго сказала Варварушкина.— Я нахожу, что Шеремет был прав. Такое расходование самого себя по меньшей мере нерентабельно.

Левин все еще улыбался. Дверь скрипнула, вошел Баркан. За ним просунулась Анжелика.

— Послушайте, убирайтесь все отсюда! — сказал Левин.— Или человек не может немного отдохнуть? Даже странно, что вы еще не вызвали начальника госпиталя и замполита.

Попив чаю с ложечки, он снял китель и засучил рукава сорочки. Анжелика взяла из рук Верочки шприц и сделала ему укол. Варварушкина подала ему очки. Баркан, заложив руки за спину, сердито глядел на Левина кофейными зрачками.

— Ну, можем идти,— сказал Александр Маркович.— Я отлично себя чувствую. Пойдемте, гвардейцы

от медицины. Пойдемте, дети, вперед, и выше мы должны смотреть, вот как!

Он открыл дверь и, напевая под нос «Отцвели уж давно хризантемы в саду», пошел по знакомому до мельчайших подробностей коридору к той палате, куда привезли раненого истребителя. Очки его блестели. Халат — накрахмаленный и серебристый от глажения — приятно похрустывал. В зубах Левин держал мундштук, и это придавало всему его облику выражение залихватской независимости. Кроме летчика-истребителя только что привезли еще стрелка-радиста и двух молодых парней из команды аэродромного обслуживания — они оба попали под бомбежку. Баркан работал у одного операционного стола, Левин — у другого. И каким-то вторым зрением Александр Маркович видел, что Баркан действует уверенно, спокойно, сосредоточенно и умно. А Баркан чувствовал, что подполковник следит за ним,— и злился. Злился, еще не понимая, какому высокому чувству подчинена вся жизнь этого крикливого, скандального, неуживчивого человека.

— Если я не ошибаюсь, мне сейчас был учинен в некотором смысле экзамен? — спросил в коридоре Баркан.

— Не говорите глупости! — ответил Александр Маркович.

После операций был еще вечерний обход и перевязки, на которых он присутствовал, сидя, по обыкновению, в углу на табуретке и покрикивая оттуда каркающим голосом. К ночи, съев свою манную кашу и омлет из яичного порошка, он велел себе поставить кресло в шестой палате, где лежали после операции Бобров и капитан-истребитель. Бобров не спал — смотрел прямо перед собою еще мутным, не совсем понимающим взглядом. Истребитель стонал. Дежурная сестра поила его с ложечки водою.

— Дайте ему еще морфию,— сказал Левин,— а утром посмотрим. И принесите мне сюда сегодняшние газеты, я еще не читал. Там, у меня в кабинете на столе.

Просидев еще часа два, он на всякий случай заглянул во все палаты и в коридоре прислушался к шепоту вахтенного краснофлотца. Тот сидел у телефона с «рцы» на рукаве бушлата и не то молился, не то произносил слова какого-то заклинания.

— Вы что шепчете, Жакомбай? — спросил Левин.— Шу-шу-шу? Что за шу-шу-шу?

Краснофлотец встал, обдернул бушлат и улыбнулся доброй и сконфуженной улыбкой.

— Ну? — еще раз спросил Левин.

— Разные слова учу,— сказал Жакомбай.— Много слов есть красивых, а я не знаю, как говорить по-русски. Например: «интеллигенция советская», «интеллигент». В книжке написано.

— Ну и что же такое, например, «советский интеллигент»? — спросил Левин.

— Например, вы, товарищ подполковник, есть советский интеллигент. Так мне сказала старший сержант, и так мы все понимаем.

Казах теперь не улыбался, он смотрел на Левина серьезно.

— Вы есть советская интеллигенция,— сказал Жакомбай,— которая означает в вашем лице, что все свои научные знания и весь свой ум, который у вас имеется, вы до самой смерти отдаете для советских людей и ни с чем не считаетесь, как вы! И день, и ночь, и опять день, и идти не можешь, под руки ведут, и делаешь!

Он внезапно перешел на «ты» и сразу заробел.

Левин молчал. В тишине вдруг стало слышно, как щелкали ходики.

— Я был в морской пехоте боец,— сказал Жакомбай,— наше дело было — граната, штык, автомат, до самой смерти бить их, когда они сами не понимают. А вы, товарищ подполковник... мы тоже про вас знаем. Извините меня.

— Ну, хорошо, спокойной ночи, Жакомбай,— вздохнув, сказал Левин.— Спать пора.

И пошел к себе вниз — по крутым и скользким, сбитым ступенькам.

Дня через два, ночью, по своему обыкновению он наведался к Боброву. И сразу же услышал целый монолог, который ему показался бредом.

— От своей судьбы не уйдешь,— говорил летчик,— и как вы от меня, товарищ капитан, ни бежали, судьба нас вот где столкнула. Будьте ласковы, выслушайте до конца! Сначала я получил эту книжку сам лично у библиотекарши на Новой Земле. Она мне лично поверила

и под честное слово дала... В Архангельске на Ягоднике эту книжечку под названием «Война и мир», в одном томе все части, у меня на денек взял капитан Лаптев. Потом эта книжка была в Свердловске — уже в транспортную авиацию попала. На Новой Земле я в библиотеке, конечно, за жулика считался. В Мурманске на Мурмашах мне про эту книжку сказали, что ее некто Герой Советского Союза Плотников вместе с горящим самолетом оставил в Норвегии в районе Финмаркена...

— Вам не следует говорить, Бобров,— сказал Левин, не совсем еще понимая, бредит летчик или нет. Но летчик не бредил.

— Я осторожненько, товарищ подполковник,— сказал он.— Но, честное слово, все нервы мне вымотали с этой книжкой. А товарищ капитан, как меня где увидит, так ходу. Давеча на аэродроме прямо как сквозь землю провалился.

— Никуда я не провалился,— обиженным тенором сказал капитан.— Зашел в капонир, а вас даже и не видел.

— И Финмаркен оказался ни при чем,— продолжал Бобров, точно не слыша слов капитана,— книжка там действительно сгорела, только «Петр Первый» Алексея Толстого. А библиотекарша Мария Сергеевна мне в открытке пишет, что ничего подобного она от меня никогда не ожидала. Теперь есть летчик один, Фоменко, он истребителям, оказывается, эту книгу отдал, когда они перелет к нам делали. Отдал?

— Ну, отдал,— сердито ответил капитан.— Мне отдал.

— Вот! — уже задыхаясь от слабости, воскликнул Бобров.— Вам отдал. А куда же вы, извините за нескромность, эту книгу дели?

— В Вологде какой-то черт у меня ее взял на час и не вернул,— мрачно сказал капитан.— Я как раз до того места дочитал, когда Долохов кричит, чтобы пленных не брали. Когда Петю Ростова убили.

— А мне неинтересно, до какого вы места дочитали,— совсем ослабев, сказал Бобров,— факт тот, что опять книжки нет. С чернильным пятном была на переплете?

— С чернильным! — грустно подтвердил капитан.

Бобров замолчал и закрыл глаза.

Многоуважаемый майор Наталия Федоровна!

Сим напоминаю Вам, что ровно тридцать лет тому назад в этот самый день Вашего рождения один молодой доктор — не будем сейчас называть его фамилию — сделал Вам предложение. Это предложение Вы встретили грустной и насмешливой улыбкой. Вы заявили молодому влюбленному доктору, что Вам совершенно не в чем себя упрекнуть, так как Вы давно любите другого молодого доктора, которого зовут Николаем Ивановичем. Вы заявили также, что вам странно, как можно было всего этого не замечать. Потом Вы захохотали и смеялись до слез, влюбленный же в Вас молодой доктор выскочил из Вашей комнаты как ошпаренный и не появлялся у Вас ровно год.

Двадцать девять лет тому назад молодой влюбленный доктор все-таки пришел к Вам и к Вашему молодому Николаю Ивановичу, который уже называл Вас Тата и спрашивал, куда девались его ночные туфли и кто взял со стола очень хороший, его любимый мягкий карандаш...

Впрочем, это все вздор.

Гораздо существеннее другое: проснувшись сегодня ночью и подумав о своей старости, я вдруг решил, что у меня есть семья и я вовсе не холостяк. У меня есть мой госпиталь, и в нем такие люди, у которых я тоже почти что могу спрашивать, где мои ночные туфли и мой прекрасный, главный, мягкий карандаш. Совершенно серьезно: госпиталь давным-давно перестал быть для меня только местом службы. Жизнь моя нынче до смешного неотделима от работы, и со страхом думаю я о старости и о том, что наступит день, когда я выйду «на покой», в общем уйду, чтобы более не возвращаться.

Характер у меня плохой, и Вы должны быть счастливы, что не вышли за меня замуж. Давеча извинялся перед своей хирургической сестрой за то, что грубо на нее накричал.

Скоро общефлотская конференция. Хотите знать, о чем я буду делать сообщение? Вот, пожалуйста: «О применении общего обезболивания при первичной хирургической обработке огнестрельных переломов бедра и голени». Удивились? Удивляйтесь, удивляйтесь! Вы еще более удивитесь, когда узнаете, что эту работу я начал еще в первые дни войны. Вот Вам! Ну, а как Ваши панариции? Все на том же месте? Пора, пора

дальше двигаться, неловко столько времени на одном месте торчать.

Будьте здоровы. Почему Николай Иванович не прислал мне свою последнюю статью? Я ее в чужих руках видел.

Ваш Левин

15

Утром госпиталь осматривал генерал-майор медицинской службы Мордвинов — начальник санитарного управления флота. Высокий, плечистый, с красивым открытым лицом, он быстро ходил по палатам, разговаривал с офицерами, просматривал истории болезней, заглянул в аптеку, в лабораторию, побывал на кухне, или, как тут положено было говорить, «на камбузе», потом велел собрать весь персонал левинского отделения и, глядя в лицо Александру Марковичу блестящими черными добрыми глазами, поблагодарил Левина и его помощников за прекрасную работу и за образцовое состояние отделения. Подполковник ответил негромко и спокойно:

— Служим Советскому Союзу.

— Люблю бывать у вас, подполковник,— говорил Мордвинов, широко шагая по дороге на пирс.— Что-то есть в вашем отделении неуловимо правильное, особое, что-то характеристическое, чисто ваше. У других тоже неплохо бывает, и прекрасно даже бывает, и лучше, чем у вас, но не так. А у вас особый стиль. Настолько особый, что вот повар этот новенький, длинноносый такой, хоть он, наверное, и не плох, а видно — не ваш. Камбуз — чужой, не притерся еще к общему стилю. Вы несогласны?

— Не могу отыскать повара хорошего! — угрюмо ответил Левин.— Прислали — и хоть плачь. . .

— Да, совсем из головы вон! — вдруг воскликнул Мордвинов и, остановившись, повернулся к Левину всем корпусом.— Что это вы, батенька, я слышал, сами собрались на спасательной машине работать?

— Считаю, товарищ генерал. . .

— Никуда вы летать не будете, что бы кто ни считал,— очень тихо, но со служебным металлом в голосе перебил Мордвинов.— Ясно вам, товарищ подполковник? И не бросайте на меня убийственных взглядов, я с вами говорю сейчас не как Мордвинов с Левиным,

а как генерал с подполковником. И при-ка-зы-ваю никуда не летать...

— Ну уж один-то раз я слетаю, Сергей Петрович,— бесстрашно и намеренно переходя на имя-отчество произнес Левин,— один-то разок мне обязательно надо слетать. Потом военфельдшер будет, но несколько первых раз...

— Прошу уточнить формулировку — первый раз или первые несколько раз?

— Первые разы, Сергей Петрович, потому что немыслимо...

— Вы полетите первый раз, один-единственный раз. И на этом разговор кончен. Ясно?

— Есть! — сказал Левин, услышав в голосе Мордвинова ту нотку, которая означала, что разговор окончен.

На пирсе, за будкой, среди пассажиров, ожидающих рейсового катера, сидел на чемодане Шеремет и делал вид, что читает газету: Левин почувствовал на себе его быстрый и недобрый взгляд.

— Уезжает,— негромко произнес Мордвинов.— Пришлось снять товарища. Вчера до трех часов пополуночи бил себя в грудь и произносил покаянные речи. Тяжелое было зрелище, скажу откровенно, даже жалко его стало...

Он помолчал, потом легонько вздохнул:

— К сожалению, совсем избавиться от него немыслимо. Есть дружок-покровитель, и довольно, знаете ли, номенклатурно-руководящий. Нахлебаемся мы еще горя от товарища Шеремета и будем хлебать, покуда не переведутся у нас любители особо подготовленных бань...

— А разве такие у нас есть? — не без ехидства спросил Левин.

— К сожалению — водятся.

— Но единицы же?

Мордвинов покосился на Левина умными глазами и спросил:

— Вы что меня разыгрываете?

Потом пожал руку Левину и на прощанье напомнил:

— Апеллировать к нашему начальству, то есть непосредственно к командующему, не рекомендую. У нас с ним насчет полетов ваших на спасательной машине общая точка зрения. Так что ничего, кроме неприятностей, от жалобы на меня не наживете. Договорились?

— Договорились! — согласился Александр Маркович.

— А военфельдшера я вам дам хорошего. У меня один такой есть на примете — стоящий парень и разворотливый...

Генерал легко взбежал по трапу на катер и помахал Левину рукой. У будки Александр Маркович почти столкнулся с Шереметом.

— Ну что, довольны? — спросил полковник с недоброй усмешкой.

— Пожалуй что да! —ответил Левин.— Хуже вас не пришлют нам начальника, вы и сами это знаете...

16

— И еще пройдитесь! — приказал Левин.— Мускулатуру свободнее! Корчиться не надо! Я лучше знаю, как вам надо ходить! Прямее, прямее, не бойтесь, ничего не будет!

Бобров прошелся прямее. Солнечные блики лежали на линолеуме под его ногами. Он старался ступать на них.

— Раз, два, три! Тут не тянет, в икре? Вот здесь, я спрашиваю, не тянет?

Летчик сказал, что не тянет. Потом они сели друг против друга и покурили. Левин протирал очки, Бобров думал о чем-то, покусывая губы.

— Будешь, будешь летать, — сказал Левин на «ты»,— не делай такой вид, что тебе твоя жизнь надоела и что ты хочешь торговать пивом в киоске. Есть такая должность — киоскер. Так вы, товарищ Бобров, не будете киоскером. Вы будете как-нибудь летчиком.

Бобров смотрел на Левина исподлобья, недоверчиво и раздраженно. В самом деле, иногда Левин не мог не раздражать. Чего он дурака валяет?

А Левин вдруг сказал грустно:

— Знаете, Бобров, мне иногда надоедает вас всех веселить и забавлять. И еще когда вы делаете такие непроницаемые лица. Посмотрите на него — он грустит, и посмотрите на меня — я веселюсь.

Летчик улыбнулся кротко и виновато.

— А я ничего особенного,— сказал он,— просто, знаете, скучно без самолета. Все наступать начнут, а я тут

останусь. И главное, что сам виноват, вот что обидно. Не увидел, как он, собачий сын, из облака вышел. Надо же такую историю иметь. Хорошо, что вовсе не срубил,— плохой стрелок. Кабы мне такой случай, я бы сразу срубил. Нет, я б ему дал!

И, как бы наверстывая потерянное в разговоре время, он стал быстро ходить по ординаторской из угла в угол. Потом остановился и осведомился:

— Вот история, да? А ведь мне командующий сказал: «Теперь пойдешь на машину к подполковнику Левину. На спасательном самолете поработаешь».

Левин, стараясь сохранить равнодушие, промолчал.

— Так что вы теперь вроде мой начальник,— сказал Бобров.— Чем скорее подлечите, тем скорее летать с вами начну. Самолет-то готов?

— Разные доделки делают,— сказал Левин,— так, ерунду. В общем, можно летать хоть завтра.

И зашумел:

— Кто так ходит? Так ходить — все равно что лежать! Надо быстро ходить и аккуратно. Вот смотрите на меня. Вот я иду! Вся нога работает! Вся нога действует! Ничего не выключено! Ну-ка, сейчас же идите со мной! Дайте руку! Вот идут двое мужчин. Вот какая у них энергичная походка! Раз, два, три! Еще! Раз, два, три! Еще! Теперь быстро сядьте. В пояснице не болит? Нисколько? Сейчас вы отдохнете два часа и сегодня же начнете заниматься лечебной гимнастикой. Я к вам пришлю Верочку, это ее специальность.

Проводив Боброва до палаты, он надел старый, истертый, рыжего цвета реглан и отправился вниз — туда, где расчаленный тросами у самого ската на залив стоял огромный серый поплавковый самолет. Там, на ящике, покуривал Курочка и рядом с ним грелся, как большой кот на солнце, Калугин. Солнце здесь, за полярным кругом, еще вовсе не грело, но Калугин для самого себя делал такой вид, что греется, и даже ворчал в том смысле, что нынче сильно припекает и не пойти ли в тень.

— Привет! — сказал Александр Маркович.— Как идут наши дела? Кстати, я думал насчет красного креста. Все-таки имеет смысл нарисовать. Знаете, на фюзеляже и на плоскостях. . .

— Вы считаете? — спросил Калугин угрюмо и насмешливо.

— Я учился в Германии,— сказал Александр Маркович,— и немного знаю этот народ. Так невероятно, так дико себе представить. . .

— А вы не слишком задумывайтесь! — по-прежнему угрюмо посоветовал Калугин.— Сейчас не время задумываться. Всю эту сволочь, которая лезет к нам, надо бить беспощадно. Авось придут в себя. . .

— У меня был профессор-немец,— грустно и негромко продолжал Левин.— Патологоанатом. Светлый ум и. . .

— Вот для него вы и хотите налепить на самолет красный крест? — перебил Калугин.— Так он не увидит вашего креста. Потому что если он порядочный человек, то сидит в концлагере и ждет, покуда мы его освободим. . . Во всяком случае, я лично не советую вам рассуждать насчет красного креста нынче. . .

— Да, да, это, конечно, так,— согласился Левин и задумался, вспоминая своего патологоанатома.

Все втроем они сидели и курили, щурясь на блестящую воду залива, и на далекие дымки кораблей, и на противоположный берег, слегка розовеющий своими снегами.

— Да, война-войнишка,— сказал вдруг Калугин и опять замолчал.

У него была такая манера: произнести одну, оторванную от всего фразу и опять надолго замолчать.

А Курочка насвистывал. У него был удивительный слух и никакого голоса, но свистел он отлично — тихо, едва слышно и необыкновенно мелодично, будто не человек свистит, а где-то далеко-далеко играет большой оркестр, и слышно не все, что он играет, а только самое главное, самое трогающее и самое нужное в эти мгновения.

— А потом все мы возьмем и умрем,— опять сказал Калугин со злорадством в голосе.— И тот, кто жил как свинья, исчезнет навеки, как будто его и не было.

— А тот, кто жил человеком? — осторожно и негромко спросил Левин.

— Надо, товарищи, надо жить по-человечески,— опять сказал Калугин, не отвечая на вопрос Левина,— а то вот этак и прочирикаешь.

И опять надолго замолчал, угрюмым взглядом глядя на спокойные воды залива.

— Боброва к нам назначили на нашу машину,— сказал Левин,— скоро подлечится, и можно будет начинать работу. Он пилот первоклассный.

Курочка с интересом посмотрел на Левина. Потом потянулся и, окликнув сержанта из аэродромной команды, пошел к самолету.

Одевал Александра Марковича майор Воронков у себя в комнате. Тут же на стуле сидел Бобров и говорил, что ничего этого не нужно, что в машине тепло, отсеки отапливаются, а в унтах доктор не сможет работать.

— Еще парашют ему прицепите,— сказал Бобров, когда майор надел на Левина желтую каску,— чудак, ей-богу, человек. Все равно подполковник там все это скинет.

— Ну и пусть скидывает, а я делаю как положено,— сказал Воронков сердито.— Подполковник человек в годах, мало ли что может случиться. А капка не помешает.

Машина стояла на воде,— в окна комнатки Воронкова было видно ее огромное, китообразное, как казалось Левину, тело. Механики прогревали моторы. Из серой «санитарки» два незнакомых матроса носили тюки на катер, с катера их втаскивали в самолет.

— Одного оборудования таскаем, таскаем,— сказал Бобров.— Богадельня, а не самолет.

Он считал своим долгом ворчать по поводу спасательного самолета и всячески критиковал все, что там делалось.

— Ты погляди, майор,— сказал он Воронкову,— ты погляди, сколько всего таскаем. Очень теперь легко будет в воду падать, если что случилось. Товарищ подполковник к каждому боевому самолету в сопровождение такое чудо-юдо назначит. Касторка там, клистир, все, что от науки положено.

— И очень неостроумно! — сказал Левин.— Тяжело шутите, товарищ Бобров.

Он закурил папиросу и сел. Майор Воронков смотрел на него издали.

— Если не знать нашего подполковника,— сказал Воронков,— то можно подумать, что он какой-нибудь там отец русской авиации или там дедушка русского парашюта, верно?

— Дедушка, бабушка,— пробурчал Левин, разглядывая себя в маленькое бритвенное зеркальце Воронкова.— Мне лично кажется, что я как раз очень похож на бабушку. В моем возрасте вообще как-то так случается, что некоторые особи мужского пола становятся похожими не на дедушек, а на бабушек...

— Это как же? — не понял Воронков.

— А очень просто. Впрочем, я шучу. Скажите, ожидается сегодня какая-нибудь операция?

Воронков кивнул.

— Что ожидается?

— Воевать сегодня будем. Имеются такие сведения, товарищ подполковник, что немцы свою живую силу и технику погрузили на транспорты и угонять собрались из северных вод. А наша авиация постарается эти транспорты утопить. Ясно?

— Неужели эвакуируются? — спросил Левин.

— А чего же им дожидаться?

— Туда бы с бомбочками подлетнуть,— сказал Бобров,— а мы вот летающую больницу построили. Вынем из воды товарища летчика в нашу больницу и сейчас ему температуру смерим. И анализы начнем делать.

— Вот видите, как он меня ненавидит,— кивнул Левин на Боброва.— Просыпается с чувством ненависти ко мне и засыпает с таким же чувством. И все потому, что на спасательный самолет назначен.

— А вы на него не обращайте внимания,— посоветовал Воронков,— или призовите к порядку. Разболтался парень. Ну и характер, конечно, кошмарный. Бобров, верно у тебя кошмарный характер?

Александра Марковича слегка познабливало, и хотелось лечь, но сегодня ожидалась возможность вылета спасательной машины в первый рейс, и он не мог не полететь. Ждали долго — часа два. Потом заглянул Калугин, вытер ветошью руки и рассказал, что будто бы разведчик Ведерников первым засек караван, но транспорты скрылись в фиорде и сейчас их не могут обнаружить. То, что караван был, это подтверждено снимками, Калугин сам видел снимки — караван серьезный, вымпелов пятнадцать, если не считать кораблей охранения.

— Отыщется,— сказал майор Воронков.

— Он теперь отстаиваться будет,— сердито сказал Бобров,— я ихние повадки знаю. Как увидит, что раз-

ведчик повис,— так под стенку в фиорде и там в тени отстаивается. Неделю может стоять.

Калугин не согласился с пилотом. Нынче не те времена, чтобы отстаиваться. Фюрер небось приказал поскорее везти солдат в Германию, там тоже аврал, земля горит. Нет, сейчас они отстаиваться долго не будут.

— «Букет», «Букет», я — «Ландыш», — спокойно произнес голос из репродуктора.— «Букет», я — «Ландыш». Вижу корабли противника. Буду считать. Прием, прием!

— Это Паторжинский,— сказал командующий Петрову,— у него глаза похлестче всякого бинокля. Уже увидел.

И стал жадно слушать.

По лестнице быстро поднялся Зубов, повернул к себе микрофон и официальным голосом заговорил:

— «Ландыш», я — «Букет», «Ландыш», я — «Букет», на тебя наводят истребителей противника, внимание, «Ландыш», внимание, прием, прием!

— Что там такое? — спросил командующий.

— Перехват,— сказал Зубов.— Шесть «фокке» вышли на охоту. Дежурный, воды сюда пришлите напиться!

Опять сделалось тихо. Только в репродукторе как бы кто-то дышал и даже, может быть, ругался. Потом вновь Паторжинский, назвав себя «Ландышем», заговорил: «Шесть транспортов противника и внушительный конвой». Он пересчитал их: «Четыре эсминца типа «маас», пять «охотников» и четыре тральщика».

— Давайте! — сказал командующий, взглянув на ручные часы.— Пора!

— Есть! — ответил Зубов.

Петров стоял неподвижно, навалившись руками на балюстраду вышки. Телефонист соединил и подал трубку начштабу.

— В воздух,— негромко сказал Зубов.— Желаю удачи! — И еще тише спросил: — Полковник? Давайте!

Зина принесла воды в графине и стаканы. Начштаба выпил залпом стакан, потом еще половину. И когда ставил стакан на поднос, в воздухе со стороны большого аэродрома завыли моторы.

Командующий смотрел молча, подняв кверху бронзовое в лучах вечернего солнца лицо. Синие глаза его по-

темнели, маленькой ладонью он постукивал по балюстраде, точно барабанил костяшками пальцев. Потом, не глядя в микрофон, сказал:

— Шестой, убрать ногу! Ногу убрать, шестой!

— Та не убирается, ну шо ты будешь делать! — ответил шестой отчаянным голосом.

Командующий улыбнулся.

— Спокойно! — сказал он в микрофон.— Спокойно, шестой!

«Нога» наконец убралась.

— Волнуется,— сказал Петров,— это Ноздраченко, знаете? Крученый парень, испугался, что на посадку обратно пошлете!

Командующий все смотрел вверх. После штурмовиков пошли бомбардировщики. Тяжелое гудение наполнило все небо, машины шли низко, над самой вышкой, точно прощаясь с командующим. Он снял фуражку, хотел положить ее на балюстраду, но промахнулся и положил мимо. Зина тотчас же подняла, отряхнула о коленку и положила на круглый столик.

Краснофлотец принес бланк с радиоперехватом: противник объявил тревогу на всем побережье. Эскадрильи группы «Викинг» и «Германия» уже пошли в воздух.

С залива потянуло холодным ветром.

В третьем перехвате было написано, что противник поднял в воздух всю группу «Норд». Одно за другим передавались сообщения с постов. Зубов сел на табуретку, вытянул ноги и замолчал.

— Нахожусь в районе цели,— опять заговорил «Ландыш»,— конвой следует по своему маршруту. Имею незначительные повреждения, был обнаружен противником. Прием, прием!

— Если можете, оставайтесь в районе цели,— сказал командующий в микрофон.— Я — «Букет». Вы слышите меня, «Ландыш»? Оставайтесь в районе цели.

— «Ландыш» слышит,— ответил Паторжинский и покашлял.— «Ландыш» понял.

Опять наступила тишина. Зина громко дышала. Связист осторожно продувал трубки телефонов. Никто не говорил ни слова. И вдруг громкий, резкий, напряженный голос загремел из репродуктора:

— Вижу корабли противника! Вижу корабли противника! «Левкои», вперед, «Левкои», вперед!

— Это Сухаревич,— сказал Петров,— у него глотка болит, ангиной заболел, боялся, что никто не услышит. Вот тебе и не услышали.

В репродукторе покашляло, потом Паторжинский сказал:

— «Букет», я — «Ландыш». Наши самолеты вышли в атаку. Противник оказывает сопротивление. Противник оказывает серьезное сопротивление. Наши истребители над конвоем. Все нормально, идет большой воздушный бой. «Букет», я горю! «Букет», я загорелся! «Букет»...

Начштаба попил воды. Командующий насупившись смотрел на репродуктор. Репродуктор молчал. Потом чей-то грубый голос крикнул из репродуктора:

— Саша, атакуй верхнего! Саша, атакуй верхнего!

И опять, как ни в чем не бывало, заговорил «Ландыш»:

— «Букет», вы меня слышите? Вы меня слышите? Все нормально, я потух. «Букет», я — «Ландыш». Вышли в атаку штурмовики...

— Вот мальчик, а? — весь просияв, сказал командующий.— Ну как это вам понравится: он потух! — И сердито закричал в микрофон: — «Ландыш», следовать на клумбу, «Ландыш», следовать на клумбу немедленно. Прием, прием!

Теперь репродуктор говорил непрерывно. Сражение разворачивалось.

17

Это были голоса сражения, и Бобров слушал их жадно, почти не вникая в смысл происходящего, ничего не оценивая, думая лишь об одном: «Меня там нет. Они дерутся без меня. Они бьют врага, и погибают, и вновь бьют, а я здесь, и теперь я всегда буду здесь».

Александр Маркович в унтах и в капке, в очках, сдвинутых на кончик носа, спросил у него что-то, он не взглянул на него и не ответил. Радист приглушил звук,— он крикнул на него: «Чего ковыряетесь?» — и радист испуганно отдернул руку от регулятора.

Втроем, тесно сгрудившись головами, они стояли в душной радиорубке корабля и слушали голоса сражения, все шире разворачивающегося воздушного боя, голоса разведчиков, командиров больших машин, голоса

штурмовиков, истребителей, слушали как на командном пункте и молча переглядывались.

— Хвост прикрой,— сказал в эфире грубый голос.— Не зевай, Иван Иванович!

Потом спокойно, точно на земле, низкий голос произнес:

— Подтянуться, друзья, за мною пошли ходом...

— Торпедоносцы,— прошептал Бобров.— Плотников повел.

А Плотников продолжал низким хрипловатым голосом:

— Не растягивайся, готовься, давай, друзья, давай, дорогие...

— У него на борту Курочка,— сказал Бобров,— оружие испытывает.

— Я — «Ландыш»,— закричал разведчик,— я «Ландыш»! «Букет», я — «Ландыш». «Маки» выходят в атаку. «Букет», «Букет», один корабль охранения взорвался. Ничего не вижу за клубами пара. «Букет», один корабль охранения взорвался. Больше его нету. Прием, прием!

В это время в рубку просунулась голова майора Воронкова. Секунду он помолчал, потом сказал сердитым голосом:

— Ну, спасатели, давайте! Командир, слушай маршрут!

Бобров повернулся к Воронкову. Рядом кто-то пробежал, мягко стуча унтами, и тотчас же заревели прогреваемые моторы. Левин, поправив очки, пролез к себе в санитарный отсек. Вода уже хлестала по иллюминатору, стекло сделалось матово-голубым, огромное тело корабля ровно и спокойно вибрировало. Военфельдшер Леднев отложил книжку и вопросительно поглядел на Левина.

— Шутки кончились, Гриша,— сказал ему подполковник,— сейчас вылетаем.

И, словно подтверждая его слова, машина два раза сильно вздрогнула и медленно поползла в сторону от пирса по гладкой воде залива.

В санитарном отсеке было жарко. Леднев снял меховушку и повесил ее на крюк. Вода грохотала под брюхом машины. Или, может быть, они уже были в воздухе?

— Все нормально,— сказал Левин, нечаянно подражая какому-то знакомому пилоту,— все совершенно нормально. Если за штурвалом сидит Бобров, значит можно быть спокойным...

Залив повернулся под крылом самолета, делающего вираж. Солнце ударило в иллюминатор. Голые скалы, кое-где поросшие красноватыми лишаями, пронеслись внизу, и вновь блеснуло море — серое и злое, холодное военное море. Стрелок поднялся по низкому трапу, долго там отсмаркивался и резко повернул турельный пулемет. Навстречу, словно черточки, в бледно-розовом свете шли самолеты, возвращающиеся из боя. А может быть, это чужие? И стрелок еще два раза повернул пулемет, на всякий случай,— бдительный старшина второй статьи, его не проведешь!

Левин вновь просунулся в рубку к радисту. Сюда нельзя было пройти или войти, можно было только просунуться. Здесь было темнее, чем в санитарном отсеке, и стоял треск и хрип, потом радист что-то сделал, и повелительный голос, такой, которому нельзя прекословить, произнес:

— Я — «Букет», я — «Букет»! Ведущий «Тюльпанов», прикройте Ильюшина, прикройте Ильюшина! Двумя «Тюльпанами» прикройте Ильюшина! Двумя «Тюльпанами» прикройте Ильюшина. «Настурция», я — «Букет»!

Радист приподнялся и вновь сел. «Настурция» был спасательный самолет. Командующий говорил с ними. И радист сделал такое лицо, как если бы он стоял перед командующим в положении «смирно».

— «Настурция», я — «Букет»,— опять сказал командующий.— «Настурция», следуйте в квадрат...

И он заговорил цифрами, а Левин слушал, склонив голову к плечу, и с ужасом чувствовал, как ему под ложечку чья-то злая рука вдруг воткнула большой гвоздь и вертит его там и крутит, а он от испуга начинает дышать все короче, мельче, чаще.

Не дослушав слов командующего, он быстро вернулся к себе в санитарный отсек и, весь покрывшись холодным потом, вздрагивающими руками снял капку, меховушку, китель и завернул рукав рубашки на левой руке, говоря при этом в самое ухо Ледневу:

— Моментально шприц и ампулу морфия, очень быстро, попроворней, слышите! Скорее, военфельдшер!

От морфия его немного оглушило, но зато боль сразу

же стала утихать, или не утихать, а просто он ее уже не мог слышать, потому что самолет пошел на посадку — в серое студеное море, в волны, и было не до того, чтобы слышать собственную боль.

Вода с плеском и шипением ударила в иллюминатор. Радист и стрелок с Ледневым уже поднимались по трапу, мешая друг другу и крича что-то, затем люк открылся, и в отсек сразу ворвался запах моря, полетели белые клочки пены и сухо, с треском ударили пулеметы проносившихся над ними истребителей. Потом самолет подбросило, словно его кто-то очень сильный толкнул снизу. Поток воды хлынул в люк, и военфельдшер закричал охрипшим голосом:

— Принимайте, подполковник, он без сознания!

Огромное тело в летном комбинезоне с болтающимися проводами ларингофона съехало вниз по трапу, и палуба в отсеке сразу же залилась водой, потому что из летчика текло, как из губки. И Левин теперь, после того как оттащил летчика от трапа, тоже сделался весь мокрый, а сверху опять закричали: «Принимайте!», и он принял кого-то маленького, который страшно ругался и из которого отовсюду текла не вода, а кровь. И палуба теперь сделалась розовой. Но маленький лежать не хотел, все вскакивал и кричал, мешая Левину принимать третьего и четвертого.

Между тем самолет подбросило еще раз, и Александр Маркович понял, что это поблизости происходят взрывы,— сражение продолжалось, треск пушек и пулеметов не смолкал ни на мгновение, и тише стало, только когда задраили люк и опять заревели моторы, то есть стало даже не тише, а иначе.

Самолет вновь поднялся, и стрелок опять завертел свой пулемет, и в этот раз не только завертел, а и пострелял немного, но Левин этого не заметил, то есть заметил, но не обратил на это никакого внимания, потому что самолет перестал быть для него самолетом, а сделался госпиталем. И как только летящая огромная машина сделалась госпиталем, Левин сразу же забыл обо всем, что не относилось к раненым. И совершенно тем же голосом, что в операционной, он накричал на Леднева, который пытался снять с маленького летчика штанину, не разрезая ее; сам схватил ножницы и разрезал и, сердито шевеля губами, долго искал умывальник, позабыв, что его здесь нет,

Потом он наложил маленькому жгут и принялся останавливать кровотечение, крича в это же время Ледневу, что большому летчику надо дать коньяку — пусть выпьет полстакана — и немедленно раздеть его догола, а тому, который сидел на палубе возле койки, надо скорее все тело обложить грелками. Военфельдшер ничего не успевал, задерганный подполковником — у него, в конце концов, было всего только две руки,— но ему стал помогать один из спасенных — тот самый, которому дали коньяку, главстаршина с черными усами, по фамилии Полещук. Он был совершенно голый, все время посмеивался и никак не мог окончательно прийти в себя, но помогал хорошо и толково — все прибрал в отсеке, а когда машина уже находилась на подходах к базе, Полещук даже приоделся в пижаму со шнурами, которая отыскалась в самолете, и попросил еще немного выпить, потому что, по его словам, с того света не каждый день возвращаешься на базу и такое событие, как это, надобно «культурно отметить».

Спасенных приняли в катер. На пирсе их ждала уже серая «санитарка» и разгуливал Баркан, а машина опять пошла к месту сражения с новым заданием. Леднев убирал в отсеке, как в операционной после операции, а Левин жадно курил — выкурил две самокрутки и попил горячего крепкого чая из термоса.

В этот раз они искали долго, низко ходили над водою, а над ними патрулировали два истребителя, которых прислал командующий. Море плескалось внизу совсем серое, злое, с мелкими белыми барашками, и видимость сделалась плохой, а потом и истребители ушли — у них кончилось горючее,— а Бобров все ходил и ходил над заданными квадратами, все искал и искал, щуря уставшие, слезящиеся глаза, и наконец нашел.

— Порядок! — сказал он сам себе и положил машину в вираж.

Крошечная шлюпка пронеслась под плоскостями самолета, и люди в ней дико закричали и выстрелили из ракетницы. Зеленая ракета, описав дугу и рассыпавшись, исчезла сзади.

— Порядок! — повторил Бобров и выровнял машину, чтобы идти на посадку.

Шлюпка пронеслась близко и вновь исчезла.

Внезапно и резко стемнело, Крупные, мягкие хлопья

снега стали облеплять плексиглас перед Бобровым. Брызги воды тотчас же смыли снег. Машина села.

— Принимайте, товарищ подполковник! — опять закричал военфельдшер, и Левин принял своими длинными руками растерянно улыбающегося летчика. Потом он принял еще двоих. Один трясся и стонал. Ему Левин впрыснул морфию, двум другим дал чаю с коньяком и вернулся к первому. Между тем Бобров не взлетел, машина шла по воде, словно катер.

Через несколько минут, гудя как шмель, прилетел разведчик и выпустил красную ракету. Бобров развернул машину и опять поехал по воде.

— Шли бы скорее на базу,— сказал Леднев,— вон заряды начались, снегопад будет.

— Когда Бобров за штурвалом,— сказал Левин,— это лучше, чем в Ташкенте. Полное спокойствие. Дайте-ка сюда зонд и не болтайте лишнего.

Штурман закричал.

— Не кричите, дорогой дружок,— сказал Левин,— у вас осколок торчит почти снаружи. Вы проживете сто пятьдесят лет, и каждый день со стыдом будете вспоминать этот ваш крик.

Стрелок вновь отдраил верхний люк и спустился к воде по наружному трапу. Крупные хлопья снега сразу залепили ему лицо. Некрутая, но сильная волна с мягким шелестом шла по борту самолета. Механик сверху пробежал к хвосту, балансируя сбросил трос, закричал стрелку:

— Вира помалу! Степан! Вира-а!

Леднев высунулся из люка по пояс наружу и вдруг сообщил вниз шепотом, точно тайну:

— Немца из воды вынули, честное слово, не верите? Ну, фрица, фрица!

Первых его слов никто не расслышал, но все, кроме раненого, подняли головы кверху. Военфельдшер вылез наружу. Прошло еще несколько мгновений, и сверху полилась вода. Потом показались ноги, с которых лились струйки воды. Потом немец с тонким лицом молча вытянулся перед Левиным.

На немце была раздувшаяся капка, желтый, почерневший от воды шлем и пистолет, висевший только на шнуре ниже колена. Механик обрезал шнур перочинным ножом и положил пистолет себе за пазуху. Моторы уже

выли, забирая высокую ноту, как всегда перед взлетом.

— Sind Sie verwundet? [1] — спросил Александр Маркович очень громко.

Летчик что-то пробурчал.

— Wie fühlen Sie sich? — еще громче произнес Левин.— Verstehen Sie mich? Ich frage, wie Sie sich fühlen? Sind Sie nicht verwundet? [2]

Летчик все смотрел на Левина. «Может быть, этот человек — душевнобольной,— подумал Александр Маркович,— может быть, психическая травма?»

И он протянул руку, чтобы посчитать пульс, но немец отпрянул и сказал, что не желает никаких услуг от «юде».

— Что? — сам краснея, спросил Левин. Он знал, что сказал этот человек, он слышал все от слова до слова, но не мог поверить. За годы существования советской власти он забыл это проклятье, ему только в кошмарах виделось, как давят «масло из жиденка»,— он был подполковником Красной Армии, и вот это плюгавое существо вновь напомнило ему те отвратительные погромные времена.

— Что он сказал? — спросил Левина военфельдшер.

— Так, вздор! — отворачиваясь от немца, ответил Александр Маркович.

Рот летчика дрожал. Поискав глазами, он нашел себе место на палубе у трапа и сел, боясь, что его вдруг убьют. Но никто не собирался его убивать, на него только смотрели — как он сел, и как он выпил воды, и как он стал снимать с себя мокрую одежду.

Ему дали коньяку, он выпил и пододвинул к себе все свободные грелки. Он не мог согреться и не мог оторвать взгляд от крупнотелого, белолицего русского летчика, который внимательно, спокойно и серьезно разглядывал своего соседа, изредка вздрагивая от боли.

— Товарищ военврач! — позвал крупнотелый.

Левин наклонился к нему.

— Мы в школе учили немецкий,— сказал летчик.— Язык Маркса и Гёте, Шиллера и Гейне — так нам говорила наша Анна Карловна. Я понял, что он вам... вы-

---

[1] Вы ранены?

[2] Как вы себя чувствуете?.. Вам понятно? Я спрашиваю, как вы себя чувствуете? Вы не ранены?

сказал, этот... гад... Но только вы не обижайтесь, товарищ военврач. Черт с ним, с этим паразитом. Вспомните Короленку и Максима Горького... как они боролись с этой подлостью. И еще вам скажу — будем знакомы, старший лейтенант Шилов...

Он с трудом поднял руку. Левин пожал его ладонь.

— Я так предполагаю, что вам надо забыть эту обиду. Начихать и забыть. Вот таким путем... Видите — смотрит на меня. Боится, что я его пристрелю. Нет, не буду стрелять, обстановка не та...

Облизав пересохшие губы, он медленно повернулся к нему и не без труда начал складывать немецкие фразы, перемежая их русскими словами:

— Ты об этом Jude vergessen! Verstanden? Immer... Auf immer... На веки вечные. Er ist... für dich Herr доктор. Verstanden? Herr подполковник! Und wirst sagen das... noch, werde schiessen dich im госпиталь,— пристрелю, дерьмо собачье! Das sage ich dir — ich, лейтенант Шилов Петр Семенович. Verstanden? Ясная картина? [1]

— Ja. Ich habe verstanden. Ich habe es gut verstanden! [2] — едва шевеля губами, ответил немец.

...Шилова положили в пятую, немцу отвели отдельную — восьмую. Ночью у него сделалось обильное кровотечение. От Шилова и Анжелика, и Лора, и Вера, и Варварушкина, и Жакомбай знали, как в самолете фашист обозвал подполковника. Рассказали об этом и Баркану.

Сердито хмурясь, он вошел в восьмую, где лежал пленный.

— Ich verblute,— негромко, со страхом в голосе заговорил лейтенант Курт Штуде. — Ich bitte um sofortige Hilfe. Meine Blutgruppe ist hier angegeben. — Он указал на браслет.— Aber ich bitte Sie aufs dringlichste, Herr Doktor,— Ihr Gesicht sagt mir, dass Sie ein Slave sind,— ich flehe Sie an: wenn Bluttransfusion notwendig ist... dass nur kein jüdisches Blut... [3]

---

[1] Ты об этом «юде» забудь! Понял? Всегда... Навсегда... Он... для тебя господин доктор. Понял? Господин подполковник! А если ты скажешь это... еще раз, я застрелю тебя в госпитале... Это говорю я тебе — я... Понял?

[2] Да. Я понял. Я хорошо понял!..

[3] Я истекаю кровью... Я прошу оказать мне экстренную помощь. Моя группа крови вот тут указана... Но я убедительно прошу вас, господин доктор, по вашему лицу я вижу, что вы славянин, я умоляю вас: если понадобится переливание — только не иудейскую кровь...

Вячеслав Викторович Баркан строго смотрел на немца.

— Verstehen Sie mich? — спросил лейтенант Штуде.— Es geht um mein künftiges Schicksal, um meine Laufbahn, schliesslich um mein Leben. Keineswegs jüdisches Blut...[1]

Баркан насупился.

— Haben Sie mich verstanden, Herr Doktor?[2]

— Ja, ich habe Sie verstanden! — сиплым голосом ответил Баркан. — Aber wir haben jetzt nur jüdisches Blut. So sind die Umstände. Und ohne Transfusion sind Sie verloren...[3]

Летчик молчал.

Баркан смотрел жестко, пристально и твердо. Он в первый раз в жизни видел настоящего фашиста: господи, как это постыдно, глупо, как это дико, как это нелепо. Как будто можно разделить кровь на славянскую, арийскую, иудейскую. И это середина двадцатого века...

— Ich hoffe, dass solche Einzelheiten in meinem Kriegsgefangenenbuch nicht verzeichnet werden. Das heisst, die Blutgruppe meinetwegen, aber nicht, dass es jüdisches...[4]

— Ich werde mir das Vergnügen machen, alle Einzelheiten zu verzeichnen! — произнес Баркан. — Ich werde alles genau angeben.[5]

— Aber warum denn, Herr Doktor? Sie sind doch ein Slave.[6]

— Ich bin ein Slave, und mir sind verhasst alle Rassisten. Verstehen Sie mich? — спросил Баркан. — Mir sind verhasst alle Antisemiten, Deutschhasser, mir sind verhasst Leute, die die Neger lynchen, sind verhasst alle

---

[1] Вы понимаете меня?... Речь идет о моей будущей судьбе, о моей карьере, о моей жизни наконец. Ни в коем случае не иудейскую кровь...

[2] Вы поняли меня, господин доктор?

[3] Да, понял!.. Но мы имеем сейчас только иудейскую кровь. Таково положение дел. А без переливания вы погибнете...

[4] Надеюсь, что такого рода подробности не будут записаны в мою книжку военнопленного. Ну, группа крови — пусть, а вот это... иудейская...

[5] Я доставлю себе удовольствие записать все подробности!.. Я запишу все решительно.

[6] Но почему, господин доктор? Ведь вы же славянин.

Obskuranten. Aber das sind unnütze Worte. Was haben Sie beschlossen mit der Bluttransfusion? [1]

— Ich unterwerfe mich der Gewalt! [2] — сказал летчик и сложил губы бантиком.

— Nein, so geht es nicht. Bitten Sie uns um Transfusion beliebigen Blutes, oder bitten Sie nicht? [3]

— Dann bin ich gezwungen darum zu bitten. [4]

Баркан вышел из палаты. В коридоре он сказал Анжелике:

— Этому подлецу нужно перелить кровь. Если он поинтересуется, какая это кровь, скажите — иудейская.

Анжелика вопросительно подняла брови.

— Да, да, иудейская,— повторил Баркан.— Я в здравом уме и твердой памяти, но это сбавит ему спеси раз и навсегда.

— Вы сделали эту штуку ради Александра Марковича! — басом воскликнула Анжелика.— Да, не отрицайте. Это великолепно, Вячеслав Викторович, это чудесно. Вы — прелесть. Я в восторге. . .

— Очень рад! — буркнул Баркан.

В ординаторскую к Левину ночью пришел Бобров.

— Машина Плотникова не вернулась с задания,— сказал он,— экипаж погиб, и Курочка наш тоже.

— Не может быть! — сказал Александр Маркович. Лицо его посерело.

Бобров рассказал подробности, какие знал. Многие летчики видели пылающую машину. Выпрыгнуть никто не успел. Но транспорт они все-таки торпедировали, и не маленький — тысяч десять тонн, не меньше.

На столе позвонил телефон. Сдержанный голос предупредил:

— Подполковник Левин? Сейчас с вами будет говорить командующий.

— Подполковник Левин слушает,— сказал Александр Маркович.

---

[1] Я славянин, и я ненавижу расистов. Понимаете меня? Я ненавижу антисемитов, германофобов, ненавижу тех, кто линчует негров, ненавижу мракобесов. Впрочем, это ненужные слова. Что вы решили насчет переливания крови?

[2] Я подчиняюсь насилию!..

[3] Нет, так не пройдет. Вы просите нас перелить любую кровь или не просите?

[4] В таком случае я вынужден об этом просить.

По щеке его поползла слеза, он стыдливо утер ее рукавом халата и опять сказал:

— Подполковник Левин у телефона.

В трубке сипело и щелкало. Потом командующий покашлял и очень усталым голосом произнес:

— Поздравляю вас, подполковник. Вы и ваш пилот Бобров награждены орденами Отечественной войны первой степени. Большое дело сделали, большое.

Левин молчал. Еще одна слеза выкатилась из-под очков.

— Н-да,— сказал командующий,— ну что ж! Спокойной ночи!

— Благодарю вас,— ответил Левин и, быстро повесив трубку, отвернулся. Бобров смотрел на него, а ему не хотелось, чтобы летчик видел его слабым и плачущим.

Они долго молчали, потом Александр Маркович сходил к себе и принес книжку, которую давеча читал Леднев. Это была «Война и мир». На переплете, очень затрепанном и очень грязном, растеклось большое чернильное пятно.

— Ваша книжка? — спросил он Боброва.

Глаза пилота жадно вспыхнули.

— Вот за это спасибо,— сказал он,— большое спасибо. Вот, действительно, порадовали так порадовали. Я теперь библиотекарше Марии Сергеевне отвечу, какой я нечестный человек. Вчера открытку прислала, вы — пишет — элементарно нечестный человек. Ну, отдыхайте, Александр Маркович, устали сегодня, я полагаю.

— Устал,— виновато согласился Левин,— очень устал.

Но Бобров не ушел сразу, еще посидел немного, рассказал, чем кончилось сражение. Фашистский караван, в общем, разгромлен. Потоплены четыре транспорта, большая баржа с солдатами, два корабля охранения.

Левин все утирал слезы рукой.

18

Полковники медицинской службы Тимохин и Лукашевич собирались лететь в Москву, а погоды не было, и потому они заночевали у Левина. Это всегда так было, что доктора из главной базы ночевали у Александра Марковича. Никто не мог сказать, что Левин особенно

хорошо кормит или угощает добрым ликером, сваренным из казенного спирта, или играет в преферанс, или ловко и безотказно достает места в транспортную машину. Нет, ничего этого и в помине не было. Просто был сам Левин со своей сконфуженно-доброй улыбкой и таким душевным, таким открытым и робко-настойчивым гостеприимством, что к нему никак нельзя было не заехать, тем более что и Анжелика, и Ольга Ивановна, и Лора, и Вера, и даже Жакомбай — все всегда радовались гостям и всегда при виде гостя вскрикивали и говорили:

— Вот Александр Маркович обрадуется!

А Жакомбай, вежливо улыбаясь, брал на руку шинель или реглан гостя и сообщал:

— Пока вы отдохнете, отремонтируем немного. У нас краснофлотец имеется — Цуриков некто,— бесподобно обмундирование ремонтирует. Будет шинелька как новенькая. И китель отпарим, новые вещи получите. . .

Жакомбай ведал у Левина сохранением обмундирования находящихся на излечении людей и сохранял вещи так, что многие вылечивавшиеся писали благодарственные письма в редакцию, и у Жакомбая было уже три вырезки под названиями: «Чуткий старшина», «Наша благодарность» и «Простой советский человек».

Кроме того, проезжающие и пролетающие доктора останавливались у Александра Марковича еще по одной причине, о которой никогда не говорилось, но которую приятно было сознавать: Левин обязательно советовался с любым флагманским специалистом насчет своих раненых, рассказывал, как проходила у каждого операция, как двигается послеоперационное лечение, делился своими опасениями и с интересом выслушивал советы. Он долго водил докторов по палатам, показывал им то одного раненого, то другого, заходил с ними в перевязочную, настойчиво выспрашивал гостя, а потом брал его за локоть и извинялся, называя такие обходы «маленькой пользой». Без «маленькой пользы» никто не ложился спать в ординаторской Левина, без «маленькой пользы» не начинался ни один житейский разговор, без «маленькой пользы» никто не получал своего скромного ужина, именующегося на интендантском языке литером «4-Б».

Кроме того, каждый, кто приезжал из Москвы, должен был рассказать Левину обо всем новом, что они

узнали там из области хирургии, а едущие в Москву должны были взять у Левина поручения насчет того, что им следовало узнать у московских светил.

Полковник Тимохин был человек тучный, с короткими седыми усами и очень суровым взглядом маленьких темных глаз, выражение которых теплело только тогда, когда Тимохин занимался своим прямым делом. Полковник Лукашевич был еще больше Тимохина, но только весь состоял из костей и черных жестких волос.

Отработав положенную законами левинского гостеприимства «маленькую пользу», которая на этот раз состояла в том, что Тимохин — специалист по хирургии желудка — прооперировал назначенного на завтра сержанта, а Лукашевич — специалист по челюстно-лицевым ранениям — решил в отрицательном смысле вопрос об операбельности одного из левинских пациентов,— оба гостя и хозяин сошлись в ординаторской, где уже был сервирован ужин на троих: селедочный форшмак, очень желтая пшенная каша и розовый искусственный кисель. Александру Марковичу отдельно стояла манная каша и на салфеточке лежали два сухарика. Рюмок тоже было только две — для гостей.

За столом разговор шел на тему, начатую еще перед обходом госпиталя,— об обработке тяжелых ранений конечностей под общим обезболиванием. Эта тема была для Левина неиссякаемой, он много раздумывал на этот счет и, если ему возражали, так сердился и расстраивался, так потрясал тетрадью со своими записями, что любой оппонент сдавался довольно скоро.

Но сейчас Левину никто не возражал. Наоборот, оба гостя были с ним согласны, и, подвигая к себе графинчик, Лукашевич даже сказал:

— Это все очень интересно и значительно, Александр Маркович, да и вообще об этом нынче многие хирурги поговаривают. Сам Харламов недавно выражал такую мысль, что ваша теория нуждается в широком применении на практике и что он с интересом следит за вашей работой. Так что выпьем за ваш научный темперамент и за будущее обработки под общим обезболиванием.

Выпили и налили по второй. Необычайно красиво намазывая на корочку форшмак, полковник Тимохин незаметно, как делают, вероятно, заговорщики, мигнул Лукашевичу и сказал:

— Вот поужинаем, Александр Маркович, и поговорим наконец про ваши хворобы. Что-то не «ндравится» мне ваш цвет лица, да и общее ваше похудание не «ндравится».

И, подняв рюмку двумя пальцами, Тимохин опрокинул ее в большой зубастый рот.

— Да, уж возьмемся за вас,— сказал Лукашевич,— тогда берегитесь. Сейчас вы, конечно, здоровенький, а как в лапы к нам попадетесь, тогда и случится то самое, о чем говорил Плиний. Помните, у него где-то в сочинениях приводится надпись на могильном камне: «Он умер от замешательства врачей». Недавно Харламов рассказывал, что один больной несколько лет тому назад пожаловался: «У меня не такое железное здоровье, чтобы лечиться у докторов целых три недели».

После ужина гости долго пили чай с клюквенным экстрактом и задавали Левину наводящие вопросы, переглядываясь порою с тем особым выражением, с которым врачи на консилиумах подтверждают друг другу свои предположения.

— Э, вздор,— сказал Левин,— не будем тратить время на пустяки. У меня вульгарная язва, и давайте на ней остановимся. Оперироваться я не буду, мне некогда, и, главное, вы же сами знаете, что с такой язвой можно погодить.

— Завтра мы поведем вас на рентген,— строго сказал Тимохин,— и тогда решим: оперироваться вам или нет. А нынче поздно, спать пора.

— Рентген не рентген,— сказал Левин,— кому все это интересно? Спокойной ночи, дорогие гости.

Он вышел, плотно притворив за собой дверь, а Тимохин сел на низкую кровать-переноску и стал, кряхтя, расшнуровывать ботинок. Лукашевичу постелили на диване.

Расшнуровав ботинок на левой ноге и отдышавшись, Тимохин спросил:

— Труба дело?

— Вероятнее всего, что да, Семен Иванович,— сказал Лукашевич,— на мой взгляд, картинка довольно хрестоматийная. Мне, между прочим, кажется, что он и сам все понимает. А?

— Понимает, но не до конца. Нет такого человека, который мог бы понять это до конца. Про другого можно, про самого себя трудно.

И Тимохин вздохнул, вспомнив собственную электрокардиограмму.

— Нет, он, пожалуй, понимает,— возразил Лукашевич.— И потому, быть может, так странно ведет себя. Он невероятно энергичен сейчас, вы слышали об этом?

— Да, об этом поговаривают,— ответил Тимохин, стаскивая с маленькой и толстой ноги второй ботинок,— он будто бы на спасательном самолете сам летает и еще какой-то костюм испытывает...

— Жалко Левина,— сказал Лукашевич.— Глупые слова, а жалко.

— Так ведь что поделать! — ответил Тимохин, все еще думая о кардиограмме и прислушиваясь к собственному сердцу.— Тут ведь дело такое — никуда не убежишь. Все там будем.

Он покряхтел, лег и, опершись на локоть, стал сворачивать самокрутку.

С полчаса оба полковника молчали.

— Да, вот вам и вопрос о смысле жизни,— вдруг заговорил Тимохин.— Помню, я все студентом искал ответа,— «Анатэма» тогда шла в Художественном театре, непонятно было, но спорили. Какие только слова не произносились, господи боже мой! А на поверку-то оно вот как получается, если по жизни судить, по живой жизни, свидетелями и участниками которой нам пришлось быть. На поверку жить по-человечески надо, только и всего. Вы не спите еще, Алексей Петрович?

Лукашевич ответил, что не спит.

— Да уж что там... Засыпаете,— сказал Тимохин.— Ладно, спите. Выспимся, а завтра за него возьмемся. Может быть, еще и обойдется? А?

— Нет, не думаю,— тихо ответил Лукашевич.

— Лицо?

— Да уж лицо типическое. Лицо для демонстрации студентам... Ну, спокойной ночи.

И Лукашевич так повернулся на диване, что пружины сначала затрещали, а потом вдруг диван сразу сделался ниже и шире.

Когда все кончилось, они втроем — Тимохин, Лукашевич и Левин — сели в ординаторской вокруг письменного стола. Часы пробили два. Больше молчать было немыслимо.

Но и говорить тоже было очень трудно.

— Итак? — спросил Левин.

Лукашевич взглянул на него и отвернулся.

Тимохин кряхтел.

— Я не ребенок,— сказал Александр Маркович,— и я не барышня. Я — старый врач, мои дорогие друзья, у меня есть некоторый жизненный и врачебный опыт. Может быть, со мною стоит разговаривать совершенно откровенно?

Тимохин еще раз крякнул. Лукашевич все покачивал ногою.

— Мы настаиваем на операции,— сурово взглянув на Левина, сказал Тимохин.— Мы не видим причин отказываться от операции. Кроме того, нам кажется, Александр Маркович, что, отказываясь от операции, вы некоторым образом уподобляетесь тому старорежимному фельдшеру, который был искренне уверен в том, что никакого пульса вообще нет.

Левин снял очки, протер их и невесело улыбнулся: ему было видно, как дрожат его руки. И Тимохин и Лукашевич тоже смотрели на его руки. Левин быстро надел очки и спрятал руки под стол. Дрожь постепенно прошла. И холод в спине тоже прошел. В сущности, перед ними он мог быть откровенен, он мог не скрывать, как вдруг ему стало страшно и какая черта отделила его от всех тех, у которых есть будущее. В эти минуты у него не стало будущего. Пусть они потерпят немного, он соберется с силами. А пока они все немного помолчат.

И они молчали. Они не говорили вздора, не лезли в душу, не хлопали по спине. Лукашевич заинтересовался картой, переставил два флажка вперед, поближе к Берлину. Тимохин мелко писал в записной книжке. Потом, пока Левин ходил как бы по делу к себе в отделение, Тимохин вызвал главную базу и, закрывая трубку рукою, сказал Харламову:

— Да, именно так. Нет, рентгенограмма совершенно подтверждает. Ясный дефект заполнения. Очень бы хотелось. Сразу после моего возвращения. Состояние? Ну какое может быть у врача состояние? Разумеется, скверное. Да, это возможно. Пройдет некоторое время, и потребность жить и верить победит. Абсолютно...

В это время вошел Левин. Тимохин скосил на него один глаз и круто перевел разговор с Харламовым на московские дела.

Принесли обед. К этому времени Левин уже собрался с силами. Только изредка он отвечал не вполне точно. Руки у него больше не дрожали, выражение лица стало твердым, а когда Лукашевич осторожно сострил, он улыбнулся. За сладким позвонил телефон. Оперативный вежливый голос сообщил: через два часа самолет уходит на Москву, места для профессоров имеются.

— Я вас отправлю в «санитарке»,— сказал Левин,— вы ничего не будете иметь против?

Полковники ничего не имели против. Лукашевич, страстный любитель живописи, уже рассказывал Тимохину о судьбе некоторых полотен. О картинах он говорил, прижимая обе руки к сердцу, словно дурной актер, но голос у него вздрагивал и в глазах было умоляющее выражение.

— Знаменитая композиция Тулуз-Лотрека, знаете, с «Обжорой»,— рассказывал он,— когда художник умер, стала ходить буквально по рукам. Один кретин-покупатель разрезал ее на кусочки — думал, что так легче и выгоднее будет ее продать. Боже мой, боже мой, нигде людская тупость, свинство и подлость буржуазного общества так не видны, как в истории живописи. Вот вы усмехаетесь, а я говорю на основании неопровержимых фактов: когда Гоген возвратился с Таити и предложил в дар, бесплатно, ну просто в подарок Люксембургскому музею свою «Девственницу с ребенком» — музей отказался. Представляете? Просто отказался. . .

— Да вы не горячитесь! — сказал Тимохин морщась, но было видно, что и ему слушать Лукашевича тяжело и трудно.

А Лукашевич говорил о том, что когда читаешь историю живописи, то может показаться, будто все в ней происходило разумно, но это совсем не так: история живописи — это история мучений гениев, которых не признавали при жизни, это история унижений, отчаяния, мужества, история торжествующей пошлости и властвующих дураков.

— Ведь этому поверить немыслимо,— жаловался он, и в глазах его виделось отчаяние,— ведь это просто немыслимо. Один коллекционер умирал и завещал тому же Люксембургскому музею семнадцать полотен — все

самое милое его сердцу, так? И, можете себе представить, этот музей отказался от картин Ренуара, Сислея, Сезанна, Мане. Они не взяли, эти подлецы, это им не подошло...

— Если покопаться в истории науки, то там немало эпизодов в этом же духе,— перебил Левин.— Власть имущие и воображающие себя знатоками всех ценностей, созданных человеческим умом, очень любят что-либо запрещать или, наоборот, награждать за несуществующие открытия. Помните, как Николай Первый ввел повсюду атомистические аптечки жулика Мандта, и если бы не смерть царя Палкина, эти аптечки в приказном порядке попали бы защитникам Севастополя...

— Они и попали туда,— подтвердил Тимохин,— только поздно, после смерти Николая. Об этом, кажется, написано у Пирогова.

Он посмотрел на часы и поднялся. Встал и Лукашевич. Александр Маркович проводил их до машины и пожелал им счастливого пути. И у Тимохина и у Лукашевича было что-то настороженное в лицах, они ждали еще вопросов Левина по поводу будущей операции, но вопросов больше не было. Они ждали до того мгновения, пока Левин снаружи не захлопнул дверцу. И только тогда переглянулись. «Санитарка», покачиваясь и скрипя, мчалась к аэродрому.

— Ну что? — спросил Лукашевич.— Вы знаете, он даже слушал то, что я говорил о живописи...

— Да, я заметил,— блеснув глазами в полутьме машины, ответил Тимохин.— Просто блистательно. В эти же мгновения люди просто теряют лицо, понимаете?

— Угу! — сказал Лукашевич и спросил: — А что Харламов?

Тимохин не ответил, задумавшись. И молчал до самого аэродрома. Только в самолете, когда уже заревели винты, крикнул в ухо Лукашевичу:

— Вернемся и будем его оперировать! Непременно!

— Обязательно!— согласился Лукашевич.

Санитарная машина с полковниками ушла, и Левин вернулся в госпиталь. Все спокойнее и спокойнее делалось ему на сердце. В сущности, он и раньше предполагал об этом диагнозе и думал о нем. Ничего неожиданного не произошло. Просто его предположения подтвер-

дились. Случилось то, что он предполагал. Проклятая тяжесть под ложечкой, отвратительное ощущение постороннего тела в желудке — вот что оно такое. И опять, как давеча перед обедом, ему стало страшно до того, что потемнело в глазах. Он остановился в коридоре: да, страх. Не смерть, а страх ее — вот с чем ему надобно сейчас воевать. Страх близкой и неотвратимой смерти — вот что омерзительно. Гнусная сосредоточенность на мысли о смерти — вот что надвигается на него. Одиночество перед лицом смерти. Пустота за нею. Лопух, который из него вырастет, он где-то читал об этом, и в студенческие годы они часто кричали о лопухе и еще о чем-то в этом роде. Ах, как они кричали и спорили, и как далеко от них была сама смерть, как не понимали они все, что она такое. Что же делать?

Он все еще стоял в коридоре.

Жакомбай смотрел на него.

Анжелика понесла какую-то пробирку, заткнутую ватой, и тоже взглянула на него.

Ольга Ивановна спросила насчет глюкозы, он кивнул головой.

И тотчас же испугался по-настоящему первый раз за этот день.

Он ответил Ольге Ивановне на вопрос, который не мог повторить. Он кивнул, не зная для чего. Он начал бессмысленную жизнь, думая, что он нужен тут, в своем отделении, своим раненым, своим сослуживцам. А он, такой, никому не нужен. Живя так, он уже не существует.

— Ольга Ивановна! — крикнул он.

Она обернулась. Он догнал ее в испуге, в поту, улыбаясь своей виноватой улыбкой. И положил большую ладонь на ее локоть.

— Да? — спросила она.

Александр Маркович все смотрел на нее. Сама жизнь была перед ним: и эти блестящие глаза, полные заботы и мысли, и розовая щека, и волосы, выбившиеся из-под белой шапочки, и поза, выражающая движение, и то, как она смотрела на него — немного удивленно, и весело, и светло, думая по-прежнему о чем-то своем.

— Ольга Ивановна,— повторил он,— простите меня, пожалуйста, но я прослушал ваш вопрос насчет глюкозы. Кому вы хотите ввести глюкозу?

Она ответила коротко, деловито и нисколько ничему не удивилась.

— Так, так,— сказал он,— ну, правильно. Отлично, делайте.

И пошел к себе, чтобы сосредоточиться, но сосредоточиться ему не удалось: привезли раненых с полуострова, среди них были обмороженные, его позвали в приемник. Потом вместе со старшиной он отправился к рентгенологу и долго рассматривал разбитые осколком кости голени. А бледный старшина рассказывал, как его ранили, и как до этого он достал «языка», и как не удавалось достать, и как капитан сказал, что надо непременно, и как тогда уж старшина «сделал языка, гори он огнем». И было видно, что старшина Веденеев доволен и им довольны, а нога — это вздор, потому что, как выразился старшина, «есть в жизни вещи поважнее, верно, товарищ подполковник?». Веденееву нужно было рассказывать и хотелось, чтобы его слушали, он был в возбужденном состоянии, и это возбуждение постепенно передалось Левину, заразило его, разговор с Тимохиным и Лукашевичем словно бы подернулся дымкой, отдалился в прошлое, а сейчас осталось одно только настоящее, в котором каждая секунда занята и некогда даже выпить стакан чаю, надо только приказывать, распоряжаться, соображать, прикидывать, взвешивать, обдумывать.

Вечером, собрав своих на совещание в ординаторской, он вдруг увидел, как все они на него смотрят, и сразу же вспомнил шлюпку на заливе, себя самого в воде и глаза матросов сверху — как они следили за каждым его движением и как готовы были ему помочь. Это мгновенное воспоминание необычайно обрадовало его и успокоило настолько, что, оставшись один, он не испугался больше одиночества, а только вздохнул, закурил папироску и с удовольствием лег на своем диване.

«Ну да,— подумал он,— ну да, я решился. Это и есть наилучший выход и для них и, конечно, для меня. Я опытнее, чем Баркан, я нужнее здесь, чем он, мой долг остаться тут и дожить свою жизнь так, как это подсказывает мне мое сердце. Я не буду жить на коленях. Я умру стоя, и тогда, быть может, даже не замечу, как умру».

Но думая так, он ужаснулся. С отвратительной ясностью представилась ему смерть. Его больше никто ни-

когда не позовет. За этим столом будет сидеть другой человек. Он не поедет в Москву, он вообще никуда не поедет, его не будет, он исчезнет, он ничего не узнает; все они, его нынешние собеседники, будут существовать, а он нет.

— Немыслимо! — сказал Левин.

— Что? — спросил кто-то в сумерках.

— Это вы, Анжелика? — ровным голосом осведомился он.

Она повернула выключатель. За нею, прижавшись к самой двери, стояла Верочка.

— Что-нибудь случилось? — спросил Левин.— Нет? Так идите себе, друзья, я вас вызову, если вы мне понадобитесь.

Верочка ушла. Анжелика продолжала стоять на месте.

— Ну? — спросил Левин.

Она не двигалась. Тогда он поднялся со своего стула, снял с гвоздя халат и отправился на кухню. Анжелика шла за ним, глотая слезы. На половине пути она свернула в боковой коридорчик, потому что он мог оглянуться и увидеть, как она плачет. В этом коридорчике, возле двери в перевязочную, стояла Верочка. Она обняла Анжелику за плечи, и обе они быстрыми косыми шагами пошли в бельевую, чтобы там все сказать друг другу и выплакаться раз навсегда.

Доктор Левин между тем сел в кухне за столик и пригласил кока Онуфрия Гавриловича присесть тоже. Кок присел осторожно на край табуретки.

— Вы сами, Онуфрий Гаврилович, кушаете какую норму? — спросил подполковник.

Кок ответил, что он кушает такую норму, которая ему положена соответствующим циркуляром. Впрочем, он вообще кушает до чрезвычайности мало. У него нет никакого аппетита, и он пьет только много чаю. Он даже хотел посоветоваться — может, оно от сердца? Потому что у него бывает так, что подкатывает вот сюда и потом не продохнуть.

— И вы даже не можете снять пробу с того, что вы готовите? — спросил Левин.— Или, может быть, вы просто забываете снимать пробу?

— Каждому на вкус все равно угодить нет никакой возможности,— ответил кок,— попрошу вас войти в мое положение, товарищ подполковник. . .

— А если я вам дам трое суток гауптвахты? — спросил Левин, выслушав Онуфрия Гавриловича.— Всего трое суток? Как вы на это посмотрите?

Кок поднялся. Длинное морщинистое лицо его пошло красными пятнами.

— Я вольнонаемный,— сказал он, не глядя на Левина.— Ни у кого нет такого права, чтобы вольнонаемного человека на гауптвахту сажать.

Александр Маркович забыл об этом. Да и вообще он никогда еще никого не сажал. Он только грозился и знал, что есть такой способ воздействия — «гауптвахта».

— Вот как? — спросил он растерянно.

Онуфрий молчал.

— А если я вас отдам под суд за отвратительную работу?

Онуфрий подергал длинным носом и ничего не ответил.

— Во всяком случае, я найду, как на вас воздействовать,— крикнул Левин,— это дело техники, понимаете? Извольте запомнить. Если завтра вы сварите такие же помои, как сегодня, я вас накажу, чтобы никому не было повадно безобразничать в моем отделении.

Из кухни он пошел в аптеку, потом в лабораторию. Капитан медицинской службы Розочкин встретил подполковника испуганно. Ему пришло в голову, что Левин будет с ним разговаривать по поводу своего желудочного сока, но подполковник вовсе об этом не говорил. Он долго молча вглядывался в Розочкина, в его вежливо-напряженное лицо, в его прозрачные продолговатые глаза и о чем-то думал. Потом сказал:

— Плохо у вас, Розочкин!

Капитан поморгал длинными девичьими ресницами.

— Вы мне не подчинены,— говорил Левин,— у вас другое начальство, но я вам не могу это не сказать: плохо у вас, отвратительно, до чего плохо. Ведь для того чтобы взять желудочный сок, человека не кормят, а вы его голодного держите тут черт знает сколько времени. И работаете вы вяло, на лице у вас скука, с людьми вы разговариваете кислым голосом, очень нехорошо, капитан, отвратительно. Я не о себе, со мной вы все выполнили быстро, а вот с солдатами, с офицерами вы не слишком церемонитесь. А ведь они вас уважают, вы для них наука, они вас никогда не поторопят, потому что

верят вашему халату, вашему лицу значительному. Ну что вы моргаете? Я к вам теперь буду наведываться часто и, если все у вас в корне не изменится, напишу рапорт. Вот, предупреждаю.

Он поднялся и ушел к себе. В ординаторской было жарко, сухо пощелкивали трубы водяного отопления, потом в них вдруг что-то начинало петь. Левин сел на диван, развернул газету. То главное, что сегодня определилось, вновь возникло рядом с ним, но он не позволил себе сосредоточиться на этом, и оно исчезло так же быстро, как и появилось. Впрочем, этому, наверное, помог аптекарь, который пришел извиняться. А сразу же за аптекарем пришла Варварушкина, и уже стало некогда до тех пор, пока он не устал и не захотел спать. Перед сном он вышел прогуляться.

Болей в этот вечер и в эту ночь не было.

Впрочем, может быть, они и были — он принял на ночь большую дозу люминала и уснул как убитый.

Дорогие Наталия Федоровна и Николай Иванович!

Всей душой присоединяюсь к вашей утрате и вашей боли, всей душой с вами в эти невыразимо тяжелые дни. Не нахожу слов, которыми можно было бы вас утешить, и не пытаюсь этого делать. Виктор был прекрасным юношей с широко открытым для всех сердцем. Виктор погиб как герой на своем посту солдата, идущего к победе.

Пересылаю вам его письма ко мне. Как отражается в них его прекрасный дух!

Желаю вам мужества и душевных сил. Тысячи Викторов нуждаются в твердости вашего духа, мои дорогие коллеги Наталия Федоровна и Николай Иванович. Жизни тысячи юношей вверены Вашим знаниям и ясности Вашего ума, Николай Иванович. Мы не имеем права падать духом, мы не имеем права отдаться личному горю, мы не имеем права не работать. Поверьте, я не читаю нотации. Мы все должны работать до последнего дыхания, и только работа спасет нас от горя, отвлечет нас, излечит наши душевные раны. Да, да, я знаю — иногда всего труднее жить, но надо сделать усилие, надо преодолеть самих себя, и тогда откроется еще один горизонт,— помните, мы когда-то говорили об этом, когда речь зашла о старости.

Больше мне нечего вам написать сейчас, мои дорогие друзья, нечего, да и незачем сейчас.

Еще раз желаю вам твердости и покоя.

Всегда ваш А. Левин

19

Удивительно, какое утро встретило его, когда он вышел на крыльцо, удивительно, какое жестокое, какое мучительное, какое насквозь пронизывающее весеннее утро...

Но он нашел в себе силы улыбнуться этому утру — этому ослепляющему солнцу, голубизне, капели, ручьям, которые вдруг потекли из-под снега.

Он стоял и улыбался, и смотрел так, точно мог надеяться, что после весны, после того как растают снега и зацветут красные мхи, он будет видеть лето, греться на добром солнце, ходить в белом летнем кителе. И к лету кончится война, это будет первое послевоенное лето, лето победы.

Он все еще улыбался, глядя на далекие голубые сопки, на корабли, которые стояли в тени скал, на ботишко, быстро бегущий к пирсу, когда дверь за его спиною отворилась и на крыльцо вышел Жакомбай, позевывающий и сонный. Увидев подполковника, он весь подтянулся, подобрался и, не дозевав, прикрыл рот ладонью.

— Весна,— сказал Левин.— Теперь уже возьмется дружно.

— Так точно,— сказал Жакомбай. Потом добавил: — Нет, еще пурга будет, все будет, товарищ подполковник. Еще сильная пурга будет. Один раненый говорил,— он здешний, помор.

Левин молчал.

— Может быть, окна открыть, балкон? — осторожно спросил Жакомбай.— Раненые выражают желание.

— Пойдем! — сказал Левин.— Возьмите молоток, клещи, будем балкон открывать. Это правильно, что они выражают желание.

По дороге наверх он попробовал завтрак — все нормы, потом намекнул аптекарю, что на военной службе надобно бриться чаще, потом выгнал какого-то лейтенанта, проникшего в госпиталь без халата. Жакомбай почтительно поджидал его с клещами и молотком в руке.

Стекол на балконе не было, еще в сорок первом здесь все забили досками и фанерой и превратили балкон в склад ненужного инвентаря. Левин приказал созвать весь незанятый персонал госпиталя, и не более как через час тут уже мыли полы и расставляли старые шезлонги. Для того чтобы было покрасивее, Жакомбай принес охапку сосновых и еловых лап и приколотил ветки гвоздиками к балконным перилам. Верочка разложила на круглом столе журналы и газеты, и вскоре сюда гуськом пошли ходячие раненые, которым для этого случая дали шапки-ушанки, полушубки и валенки. За ходячими повезли лежачих, изумленно улыбающихся, сразу пьянеющих от ветра, солнца, капели — от весны.

— На столе имеются шахматы,— громко сказала Верочка,— есть домино, есть игра «тише ходишь — дальше будешь!». Желающие могут брать.

Никто не обратил никакого внимания на Верочкины слова. Никому не хотелось играть. Многие уже дремали, многие спали. А группа летчиков внимательно смотрела в небо, где барражировали истребители.

Потом было две операции «мирного времени»: грыжа у начпрода и аппендицит у Милочки Егорышевой — десятилетней дочери полковника, флагштурмана. Девочка приехала к отцу и заболела, и теперь Егорышев в ординаторской зябко потирал огромные ладони, ходил из угла в угол и говорил сердито:

— Несправедливо устроена природа. Ну чего такое малое мучается? Ну чем оно виновато? А мы с вами здоровые, ничего у нас не болит, ничего нам не угрожает. Сильный был у нее аппендицит?

Левин молчал. Трудно ответить на вопрос: «сильный ли был аппендицит?» Что же касается до несправедливо устроенной природы, то это, пожалуй, верно.

Вместе с Егорышевым они пошли в палату, в которой лежала Милочка — бледная, с острым носиком, испуганная. Действие наркоза проходило, девочке было больно, она морщилась и быстро говорила шепотом:

— Ай, ну сделайте что-нибудь, сделайте что-нибудь, пожалуйста, сделайте что-нибудь. . .

Егорышев вдруг страшно побледнел, сел возле кровати на корточки и таким же шепотом, как его дочь, спросил:

— А в самом деле? Может, что можно сделать? Вот как оно мучается. . .

После операций дел больше не было, и время, которое проходило без дела, вдруг оказалось непереносимо трудным. В эти минуты он и спросил себя — не поехать ли все-таки? Может быть, стоит поехать? Вдруг он спасется? А если и не спасется, то оно не произойдет так быстро? Ведь вот будет же лето, и он тогда увидит это лето, к нему в госпиталь придет Наталия Федоровна, а там, может быть, все как-нибудь изменится и вдруг совершится то открытие, о котором столько времени мечтает человечество?

И тотчас же ему представился знакомый московский госпиталь и он сам в этом госпитале с жалким, заискивающим лицом, представилось, как он лежит и вглядывается в знаменитого профессора, отлично зная, что он приговорен, и пытаясь все-таки увидеть в профессоре не самую надежду, а только тень ее, только намек на то, чему невозможно верить, потому что тогда нужно забыть все, что знаешь сам. И это жалкое ищущее лицо, лицо человека, потерявшего мужество и потому оставившего свой пост,— это его лицо. Это он — подполковник Левин — убежал и лежит теперь в большом московском госпитале и вглядывается в профессора, и надеется на то, на что надеяться смешно, и не думает о своем отделении, где его заменяет майор Баркан.

Его отпустят сегодня же, если он захочет.

И через четыре дня его прооперируют.

Ну, не через четыре — через неделю. Может быть, прооперируют. А может быть, только вскроют полость живота, посмотрят и зашьют и, конечно, не скажут, что оперировать было бессмысленно. Ничего не скажут, будут к нему внимательны, будут позволять ему капризничать, будут имитировать послеоперационное лечение, будут называть его «коллегою», а какой же он коллега, когда он ничего не делает и когда между ним и теми, кто делает, стоит стена.

Он — подполковник, у него своя военная часть, он не имеет права оставлять свою часть перед решающими боями — вот в чем все дело.

И как бы ему ни было тяжело, как бы ему ни было невыносимо страшно, никто не увидит его ищущего взгляда. Подполковник Левин перед концом не будет хуже, чем те люди, с которыми он жил, и работал, и воевал. Он слишком свой среди них, чтобы быть хуже, чем они. И слишком много раз он говорил им, когда они

мучились от ран, что это все вздор, и пустяки, и чепуха. Разумеется, он шутил, но ведь нетрудно шутить, когда больно и страшно другому, а вот каково шутить, когда больно и страшно тебе?

Ведь страшно?

Да, страшно.

И разве есть такой человек, которому *это* было бы не страшно?

Вот Федор Тимофеевич, разве он кричал в самолете «хочу жить» или что-нибудь такое, когда машина горела и Плотников все-таки вел ее с торпедой на транспорт?

Разве не страшно штурмовикам идти на штурмовку, а бомбардировщикам на бомбежку, а морякам-подводникам — в долгое и одинокое плавание?

Однако же в их глазах, когда они уходят, нет ничего ищущего, они не ждут утешения, они идут делать свою военную работу и делают ее насколько возможно лучше, даже тогда, когда не остается ни одного шанса на то, что они благополучно вернутся домой.

Это потому, что у них есть чувство долга.

Это коммунисты, советские люди, самые сильные люди в мире, люди великой идеи, и он обязан быть таким же, как они, он должен так же вести себя, как они, он должен работать, как они, и презирать то, что его ожидает, как презирают они. Сила долга обязана победить страх. Он будет работать и перестанет отдыхать. Страх связан с бездельем. Ему страшно только тогда, когда он не занят. И теперь он поминутно будет находить себе дело. Он ни с кем не станет говорить о своей болезни. Это никого не касается. Неси сам то, что тебе досталось. Слишком много трудного у людей на войне.

Пусть никто не понимает, что он, Левин, знает все сам про себя.

Пусть лучше все недоумевают.

Пусть считают его легкомысленным пожилым доктором.

Кстати, как же будет с тетрадкой, в которой он столько времени записывает случаи обработки тяжелых ранений конечностей под общим наркозом?

Надо все это систематизировать, надо как следует заняться этой работой, потому что ведь время у него чрезвычайно ограничено.

Испугавшись вдруг, он вынул из стола тетрадку и перелистал ее, пугаясь все больше и больше: некоторые

места были просто зашифрованы — он иногда так торопился, что писал сокращениями, которые сам разбирал подолгу, как ребус. Вот тут записала Ольга Ивановна,— тогда были бои и раненых шло очень много, он дал ей тетрадку и попросил записать два случая. Очень толково записала. Но что хорошего от этих двух случаев, когда все остальные записаны наспех, только как материал к докладу, начерно.

Он положил тетрадку и опять задумался.

А что, если прооперироваться?

Никуда не уезжать, остаться тут, выйти из строя ненадолго, лежа после операции заняться записками, а потом. . . ну мало ли что потом?

И разве не глупо вообще отказаться от операции?

Свою военную часть он не покинет. Он будет при ней. Он просто не имеет права вовсе не оперироваться. И Харламов с Тимохиным и Лукашевичем, конечно, настоят. Упираться — несерьезно.

Решено и подписано.

И он почему-то расписался на обложке тетрадки: А. Левин.

Вот и все.

Скрипя протезом, в ординаторскую вошел подполковник Дорош. Было видно, что ему неловко. Они еще не виделись после отъезда Тимохина и Лукашевича. Дорош, наверное, сейчас будет уговаривать оперироваться.

— Присаживайтесь, Александр Григорьевич,— сказал Левин,— хочу у вас кое о чем поспрашивать совета. Тут есть у нас этот повар, вольнонаемный Онуфрий. Должен вам заметить, что эта светлая личность сводит меня с ума.

И он стал говорить о делах своего отделения, а Дорош смотрел на него внимательно и серьезно, и лицо у него было такое, точно он хотел сказать: «Этого не может быть».

— Что у вас за скептическое выражение лица? — спросил Александр Маркович.

Дорош смутился и ответил, что ничего подобного — он внимательно слушает, и больше ничего. Потом, как бы вскользь, спросил — как самочувствие.

— А какое у меня может быть самочувствие? — ответил Левин.— Стареем, болеем, вот и все самочувствие. Разве не так, Александр Григорьевич? Мы ведь уже далеко не мальчики. Мы — старики, а болеть — главное

стариковское занятие. Что же касается до некоторых неприятностей, которые вы, наверное, подразумеваете, то что тут можно поделать? Надо, по всей вероятности, держать себя в руках и не киснуть, так? Или вы считаете, что я неспособен смотреть в лицо своим неприятностям?

— Нет, я этого не считаю,— серьезно и негромко ответил Дорош.

— Значит, этот вопрос будем считать исчерпанным и вернемся к делам. Первое — это наша Анжелика. Мне бы хотелось поставить вопрос насчет присвоения ей нового звания. Вот тут я написал докладную записку, просмотрите, пожалуйста. А это насчет Верочки. Я представил ее к награждению, но майор Баркан считает, что она недисциплинированна...

— Надоел мне ваш Баркан,— сказал Дорош.

— А я к нему стал присматриваться с интересом,— возразил Левин.— И думаю, как это ни странно, что мы с ним в конце концов сработаемся. Он человек тяжелый, но и я ведь не конфетка...

Потом они вместе долго разговаривали по телефону с интендантом Недоброво. Недоброво опять отказался дать наматрасники и полторы тонны подарочного лука. Левин вырывал у Дороша трубку и шипел:

— Скажите ему, что он рано или поздно будет снижен в звании. Этот лук мне лично обещал Мордвинов, и там у него бумага есть. Дайте мне трубку. И скажите ему, что я отказываюсь брать только эту американскую колбасу. Скажите про колбасу...

В конце концов он выхватил трубку, но, прежде чем начать разговор с Недоброво, шепотом сказал Дорошу:

— Слушайте внимательно! Сейчас вы увидите, как надо говорить с этим Плюшкиным.

Спектакль продолжался минут двадцать и кончился тем, что Недоброво поклялся сейчас же отпустить и наматрасники, и мясо вместо колбасы, и даже рис вместо пшеницы, по поводу же лука он принес свои извинения.

— Видите? — сказал Левин.— И знаете, в чем дело? Он меня боится. Он меня боится как огня. И только потому, что каждый раз, когда мы встречаемся, я говорю ему всю правду про него. Людям надо говорить правду, они от этого становятся лучше.

Вечером начались боли.

Александр Маркович позвонил Анжелике и велел принести морфий. Через два часа она сделала еще укол. Под утро он позвонил Верочке. Анжелика стала бы отговаривать. Когда Верочка пришла к нему, в его косую, ярко освещенную комнату, он сидел на койке поджав ноги и говорил громким, каркающим голосом:

— Только попрошу вас со мной не торговаться ни сейчас, ни в дальнейшем. Понимаете? И зарубите это себе на вашем курносом носу. Не торговаться, не возражать, а исполнять расторопно, быстро, как только последовало приказание. У меня все.

Верочка спросонья дрожала, за стеною со скрипом ворочался моечный барабан, часы-ходики на стене отсчитывали секунды со звоном. Она сделала ему укол, и Александр Маркович лег. Верочка укрыла его одеялом до подбородка и спросила:

— Посидеть с вами, товарищ подполковник?

— Нет, идите! — ответил он.

Не дождавшись, покуда он закроет глаза, Верочка все-таки села. Он, казалось, дремал. Минут через сорок Левин вдруг посмотрел на Верочку и сказал:

— Если я сказал — идите, так это значит, что вы должны уходить, а не рассиживаться, как баронесса. У меня все прошло. Вы же медичка, вы должны понимать.

20

— «Букет», я — «Ландыш»,— деловито произнес голос из репродуктора,— я — «Ландыш», «Букет», «Букет», я — «Ландыш». Четыре транспорта вышли из фиорда. Четыре больших транспорта. Буду считать эскорт, прием, прием. . .

Командующий стоял, облокотившись на балюстраду. Начсанупр Мордвинов негромко, как бы рассуждая, рассказывал о болезни Левина. Командующий молчал, иногда сбоку поглядывая на Мордвинова и далеко держа руку с папиросой.

Когда Мордвинов кончил, на вышке было совсем тихо, даже репродуктор молчал. Только ходил из угла в угол Зубов да шелестели листки радиоперехватов в руке у дежурного.

— Что там? — спросил командующий не оборачиваясь.

— Тревога по всему побережью,— быстро ответил дежурный,— большие силы бросили прикрывать караван. Вся группировка в воздухе. И «Великая Германия» тоже.

— Ну и дать им сегодня за все,— вдруг с плохо сдерживаемой яростью сказал командующий,— за все, что было, полностью. Начинайте, Николай Николаевич! Как у вас с расчетом времени?

Зубов ответил, что с расчетом времени порядок. Сейчас пойдут штурмовики.

— Задача такая, чтобы им не позволить эвакуировать своих солдат,— пояснил командующий начсанупру,— они эвакуацию начали, так мы не дадим. Шутки в сторону.

Мордвинов молчал, вглядываясь в розовеющее небо. Грозный, нарастающий волнами грохот мощных моторов, казалось, уже заполнил все вокруг, но это было еще только начало. Новая огромная армада кораблей построилась в боевой порядок и легла на курс. Это шли бомбардировщики. За бомбардировщиками пошли торпедоносцы.

— Вот мы какие, товарищ генерал-доктор,— сказал командующий.— Это вам не сорок первый.

— И Петров с ними? — спросил Мордвинов.

— А разве ж его удержишь? Штурманом пошел, а на своем настоял.

— Большой удар,— сказал Мордвинов.— Еще не было таких,— верно, Василий Мефодиевич?

— «Букет», я — «Ландыш»,— заговорил голос в репродукторе,— «Букет», я — «Ландыш». Штурмовка проходит нормально. Нахожусь в районе цели. Противник оказывает сопротивление. Ведущий «Тюльпан» загорелся. «Тюльпан» первый загорелся. Прием, прием!

Зубов повернул к себе микрофон. Командующий велел ему прикрыть Ватрушкина. Вновь заговорил «Ландыш». Теперь он рассказывал подробности штурмовки. И голос у него был такой, будто он говорит из штаба, а не висит над грандиозным воздушным сражением.

— Теперь не надо их дергать,— сказал командующий,— теперь им не до советов. Теперь работа.

Он опять закурил, слушая голоса из репродуктора.

— И сын ваш там? — спросил Мордвинов.

Командующий кивнул. Синие глаза его блеснули и

потухли. Погодя он покрутил головой, словно воротник кителя давил ему шею, и сказал:

— Стрелком летает в штурмовой авиации.

Помолчал и добавил:

— Хорошо им! А ты... слушай... дожидайся...

«Вот и Левин так же,— почему-то подумал Мордвинов.— Совершенно так же!»

— «Букет», я — «Маргаритка» шестая, я — «Маргаритка» шестая. «Тюльпан» первый перетянул линию фронта и сел благополучно,— быстро и хрипло заговорил репродуктор.— «Букет», «Тюльпан» первый сел нормально...

На мгновение командующий отвернулся, потом сказал негромко:

— Пошлите, Николай Николаевич, туда эмбээр, он на озерцо и сядет. И прикрытие пошлите. Да, вот еще что — пусть Ватрушкину вымпел сбросят, а то он там с ума сходит. В самом начале срезали,— наверное, думает Ватрушкин наш, все дело провалилось. Значит, вымпел и записку. Записка такая...

Он нахмурился, крепко придавил окурок в пепельнице пальцами и продиктовал:

«Дорогой товарищ Ватрушкин! Поздравляю вас с образцовым выполнением задания, штурмовка прошла отлично, представляю к награждению орденом Красного Знамени, жду на командном пункте после того, как покажешься врачу». Подпись. Все.

Вновь заговорил «Ландыш». Второе немецкое судно взорвалось. На барже возник пожар.

— Ну, а насчет Левина — что же? — сказал командующий.— Я того же мнения, что и вы, Сергей Петрович. Он с нами жил — естественно, ему с нами и оставаться до конца. Я его совершенно понимаю. Морально мы его поддержим, верно, Николай Николаевич?

Зубов кивнул.

— Вот так,— сказал командующий,— а что касается Харламова, то я, конечно, не специалист, но так слышал, что в ученом мире он большой авторитет. Да ведь, с другой стороны, Сергей Петрович, в нынешней войне, насколько мне известно, крупные врачи не только в Москве. Они и в армиях и на флотах. Верно я говорю?

Мордвинов согласился: конечно, верно. Харламов — хирург очень крупный. И в ближайшие дни, как он до-

кладывал, будет оперировать Левина тут, в гарнизонном госпитале.

— Так просто взрежет или в самом деле поможет? — спросил генерал.

Начальник санитарного управления промолчал.

— Да, болезни-болезнишки, черт бы их драл,— опять заговорил командующий,— раки все эти, ангины, скарлатины. Кстати, Сергей Петрович, что это за штука, этот рак? Или канцер, как вы говорите? Ужели ничего с ним невозможно поделать?

Подавляя раздражение, Мордвинов покашлял. Он очень не любил эти дилетантские вопросы и никогда не знал, как отвечать на них.

— Смотря в каком случае,— подбирая слова, сказал он.— Ведь рак, Василий Мефодиевич, это что такое? Это такая, понимаете ли, пакость, которая развивается из клеток эпителия различных органов и, прорастая в соединительные ткани, разрушая мышцы, кости, ткани, разъедает кровеносные сосуды. Есть такая теория, что тут главную роль играют сохранившиеся эмбриональные клетки... впрочем, это слишком все сложно,— еще более раздражаясь, сказал Мордвинов,— существенно тут, пожалуй, только то, что прорастающие раковые клетки попадают в лимфатические сосуды, образуя метастазы...

Командующий слушал с терпеливым и слегка насмешливым выражением.

— Ну да, ну да,— вдруг перебил он,— я вот слушаю и думаю, кого это мне напоминает? — Он усмехнулся.— Очень, знаете, напоминает, слово вам даю, только вы не обижайтесь, идет? В Испании один дядька был — американский житель, да вы же его знаете, он тоже по санитарной части работал, так вот он, не обижайтесь только, Сергей Петрович, совершенно так же фашизм объяснял. И куда он прорастает, и из чего состоит. Помните американца этого? В желтой кожаной жилетке ходил и все фотографировал. А главная его мысль была, что фашизм подобен раку и что бороться с фашизмом так же бессмысленно, как пытаться победить рак. И врал, подлец! Врал, собачий сын! Потому что мы фашизм не только бьем, но и побеждаем и вскорости победим, по крайней мере немецкий фашизм. Вот ведь что мы делаем!

И папиросой командующий несколько раз сердито ткнул в ту сторону, откуда, победно воя моторами, возвращались армады машин.

— Нет, это к черту,— сердито заключил он,— так, Сергей Петрович, нельзя. Метастазы. Так вы далеко не ускачете, коли все руками разводить да делать похоронное лицо. Слово-то какое красивое — метастаз. Это самое слово и говорил мистер в кожаной жилетке. Квакер он был, что ли, я не помню.

Он повернулся к Зубову и, поговорив с ним о делах, стал докладывать по телефону адмиралу, а начсанупр вдруг, совершенно против своего желания, подумал, что в словах командующего есть какая-то настоящая и глубокая правда.

— Ну, а Шеремет ваш как? — спросил погодя командующий.

— Ничего, работает скромненько. Должность, конечно, лейтенантская, не больше. Поначалу, говорят, не брился, а теперь повеселел, анекдоты рассказывает. Немного человеку надо.

Командующий молчал, пожевывая мундштук папиросы.

— Отдать бы его в ученики к Левину,— сказал он погодя.— Да ведь только этому не научишься. Тут секрет какой-то, какая-то сила. Детство у него, что ли, было тяжелое?

— Да, очень,— сказал Мордвинов,— очень. И детство и юность. Его никто не подымал, он сам прорвался.

— Наше поколение это понимает,— раздумывая, ответил командующий,— очень понимает. Верите ли, до сих пор — проснусь, увижу китель свой на стуле и подумаю: это что за генеральский погон? Ведь мой-то старик. . . э, да что говорить,— махнул он рукою. И спросил: — А вы, Сергей Петрович, из кого?

— Вроде вас,— ответил Мордвинов.

Василий Мефодиевич молчал. Трудно гудя, прошла еще одна армада машин.

— Это откуда же они идут? — спросил Левин.

— Большой был удар,— ответил Дорош.— И по базам ихним, и по кораблям, и по гарнизону. Они всю свою авиацию подняли, и совершенно без всякого толку.

Была тут такая воздушная группировка — «Великая Германия». Так теперь ее нету. Одни слезы остались.

Дорош открыл окно. Было еще холодно, но уже сильно пахло весною и с залива несло запахом водорослей и сыростью.

— Весна! — сказал Дорош.

— Неверная тут весна,— ответил Левин,— нынче тепло, а завтра начнутся заряды, пойдет мокрый снег, все закрутит и завертит. Ну ее, эту весну!

Они помолчали, покурили. Потом Левин вдруг сказал:

— Очень, знаете ли, хочется дожить до дня победы. Просто необходимо дожить.

И засмеялся.

Когда Дорош ушел, он велел без дела никому не входить и занялся своей тетрадью. Вынул из кошелька новое перо, разложил промокашку, какие-то заношенные в карманах записки и, протерев очки, засел за работу. Часа через два к нему постучала Анжелика.

— Что случилось? — спросил он.

— Товарищ полковник Харламов звонил,— сказала Анжелика,— просил лично меня начать подготовку к операции.

— К какой операции? — сердито спросил Александр Маркович.

— Да ну к вашей операции,— отвечала Анжелика,— разве стала бы я вас беспокоить! Это ведь дней пять протянется.

— Ну хорошо, хорошо, идите,— сказал он,— я поработаю и вас позову. Мне сейчас некогда. Идите, дорогая, идите!

И запер за нею дверь на ключ.

Но работать ему все-таки не дали. Пришел Мордвинов, сказал, что хочет есть, и долго ел свою любимую жареную картошку с огурцами. Потом подмигнул и спросил:

— Боитесь оперироваться?

— Я с ума сойду от этой чуткости,— сказал Левин.— Все меня окружают вниманием и заботой. А у меня есть работа, и она не ждет.

— Это намек? — спросил Мордвинов.

Левин запер свою тетрадь в стол и сказал, что генералу он никогда бы не решился так намекать. Они посмеялись, и Мордвинов подробно рассказал Левину о

сегодняшнем сражении. Потом говорили насчет того, как будет развиваться дальнейшее наступление и когда же наступит день победы.

— Знаете, у меня такое чувство,— сказал Мордвинов,— что нынче об этом говорят решительно все и решительно везде. Вчера точно так же мы толковали весь вечер с Харламовым. Невозможно не говорить. Кстати, оперировать вас будет именно он. Вы не возражаете?

Левин сказал, что не возражает, и проводил Мордвинова, как обычно, до пирса.

— А насчет доклада вашего всюду шум,— сказал Мордвинов.— Понравился нашим лекарям. Это нынче общее направление для всех наших хирургов. У вас теперь много последователей, знаете? В самых маленьких медицинских пунктах у вас есть последователи. Ну, до свидания. Навещу вас, когда будете лежать!

Дорогая Наталия Федоровна!

Не писал Вам так долго, потому что ошибочно предполагал, что мои письма нынче лишь обременят Вас, а все оказалось неверно. Я ведь ошибаюсь вечно. Помните, как меня называли доктор «невпопад»?

Никаких особых новостей у меня нет. Конференция хирургов, которая Вас интересует, прошла чрезвычайно интересно и содержательно. Ваш покорный слуга выступил с сообщением, о котором он Вам в свое время не раз писал. Сообщение это было выслушано внимательно и получило высокую оценку большинства собравшихся во главе с Вашим старым знакомым проф. Харламовым. Вот я и похвастался.

На днях меня будут оперировать.

Не утаю от Вас, сударыня, что несколько волнуюсь. Страшит меня не сама операция, а собственное мое поведение. Как бы, знаете, не разнюниться над своей персоной. Оперировать будет тот же Харламов, которому я передам привет от Николая Ивановича. Это очень поднимет мою персону в его глазах, правда?

Податель сего письма передаст Вам маленькую посылочку. Сладкого я ем очень мало, а одна моя знакомая, как мне помнится, всегда любила консервированные фрукты. Трубку же я курить не умею. Ее подарил отец девочки, у которой я благополучно удалил аппендикс. Не скрою от Вас, что я сообщил бывшему владельцу трубки, что она будет мною переправлена моему

знакомому академику и генерал-лейтенанту. Видите, как я мелко честолюбив? Пусть его великолепие академик курит на здоровье, трубка, по утверждению знатоков, хорошая и уже обкуренная. Послушайте, когда же Вы наконец займетесь панарициями? Небось уже и азы забыли?

Теперь напишу после того, как меня прооперируют.

Остаюсь Вашим покровителем и постоянным благодетелем

лекарь А. Левин.

21

Накануне вечером из главной базы приехала хирургическая сестра Харламова Нора Викентьевна, женщина чрезвычайно высокая, белесая и говорящая в нос, точно у нее полипы. Сказав про себя, что она «прибыла», она вызвала Анжелику и, сильно затягиваясь папиросой, объявила:

— Вам, несомненно, было бы трудно помогать Алексею Алексеевичу во время операции по двум причинам: во-первых, вы не работали с Харламовым, во-вторых, подполковник Левин для вас человек близкий, почти родной. Не перебивайте меня. Я лично не могла бы даже присутствовать в том случае, если бы Алексей Алексеевич нуждался в операции.

У Анжелики дрогнул подбородок и один глаз наполнился слезой. Но она сдержалась и спросила:

— Может быть, все-таки хоть чем-нибудь я могу быть полезна?

— Вы не можете быть полезны ничем,— очень в нос ответила Нора Викентьевна,— ничем, кроме того, что введете меня в курс дела. Я не знаю вашей операционной.

Анжелика показала ей операционную, автоклав, инструменты. Сзади как тени ходили Лора с Верой и вздыхали. В одиннадцать часов Нора Викентьевна попросила сегодняшние газеты и ушла в ленинский уголок готовиться к завтрашнему вечеру — у нее была назначена беседа с младшим медперсоналом базового госпиталя на тему текущего момента. Лора и Вера тоже сидели в ленинском уголке и делали вид, что читают «Крокодил». Потом они стали шептаться.

— Девушки, вы мне мешаете! — сказала Нора Викентьевна и сняла пенсне.

— Извиняемся,— сказала Лора.

— Ах, мы больше не будем! — воскликнула Вера.— Мы не знали, что у вас такие чуткие уши.

И они ушли, взявшись под руки.

Анжелика сидела у Варварушкиной, когда туда заглянули Вера с Лорой.

— Ольга Ивановна,— сказала Вера,— вы давеча утюг просили, надо? А то давайте я вам блузочку отглажу, знаете, как я глажу? Никто во всем свете так не может гладить, как я.

Нору Викентьевну все осудили, кроме Варварушкиной. Та сказала, что все-таки Нора — замечательная хирургическая сестра, почти как Анжелика, но главное, разумеется, то, что она привыкла к Харламову. Ведь у каждого хирурга свои причуды. Вот ведь Левин тоже, бывает, начнет злиться и даже ногой топает: «Дайте мне это, ну же, это, это. . .» И надо знать, какие названия он никогда не забывает, а какие забывает. И вообще надо знать, какие инструменты он предпочитает. Ведь по ходу операции есть определенная очередь инструментам, а каждый хирург все-таки по-разному пользуется этой очередью. Вот и подаешь ему то, что не требуется.

— Однако вам я никогда ничего не путала, если мне память не изменяет,— сказала Анжелика.— И не путала и никогда не спутаю. Я по глазам хирурга умею видеть, что ему нужно. Слава богу, не два года работаю.

Вера сердито гладила блузку. Лора сидела подперев лицо руками и поглядывала то на Ольгу Ивановну, то на Анжелику. Потом сказала:

— Будет он жить, девушки, или не будет — вот что главное, а остальное все пустяки.— И вздохнула.— Увезли бы его в Москву, там все-таки профессора так профессора. А этот Харламов какой-то несолидный.

Заглянул Баркан — спросил, где Александр Маркович.

— А в ординаторской, наверное,— сказала Вера.— Отдыхает.

Баркан постучался в ординаторскую. Левин в расстегнутом кителе ходил, по своей привычке, из угла в угол. Лицо у него было спокойное и даже веселое.

— Чем это вы так довольны? — спросил Баркан, ставя на стол шампанское.

— Чем? — удивился Левин.— А ничем. Просто вспомнил один старый анекдот. Вам, конечно, известно, что великий наш хирург Пирогов обладал довольно скромной внешностью. Был косоглаз, слегка рыжеват. Ну, а современник его, не помню фамилии, профессор, может быть даже Иноземцев, имел внешность чрезвычайно эффектную. Вот кто-то из тогдашних медицинских остряков возьми и скажи: если вы хотите показать больному профессора, то пригласите Иноземцева. А если хотите показать профессору больного, то пригласите Пирогова...

Баркан усмехнулся.

— Как там наш немец? — спросил Левин.

— Уехал от нас,— сказал Баркан, откручивая проволочки на пробке.— Очень был, я бы выразился, застенчив...

Александр Маркович вымыл стаканы и спросил, откуда у Баркана шампанское.

— Жена прислала! — медленно выкручивая пробку, ответил Вячеслав Викторович.— Приехал тут один и привез посылочку.

— А по какому случаю мы пить станем?

— Ни по какому.

— Врете. Небось за мое здоровье. За благополучный исход.

— И это неплохо.

Пробка сама поползла вверх.

— Если выстрелит — значит, все будет в порядке,— произнес Левин.— Это старая и верная примета: шампанское обязано стрелять.

Он внимательно смотрел на бутылку, и было видно, что он волнуется — выстрелит или не выстрелит. Баркан тоже ждал, и, когда пробка вылетела и пенная струя косо ударила в стену, у обоих — и у Баркана и у Александра Марковича — повеселели лица. Они выпили по стакану пены, и Баркан спросил:

— Что-то последнее время, Александр Маркович, вы на меня не кричите? Чем это объяснить?

— Вы не знаете?

— Не знаю.

— И я не знаю. Но, во всяком случае, не потому, что

я смирился. Надо думать, что это вы притерлись к нашему отделению...

— Я ни к чему никогда не притираюсь...

— Тогда, значит, наше отделение притерло вас к себе. У нас часто так бывает. Вначале, например, Жакомбай очень хотел от нас уйти, а потом понял, что тут он на своем месте. Притерся...

— Ничего он не притерся, а просто он на вас молится! — рассердился Баркан.— Тут многие на вас молятся, а вы и довольны. Не обижайтесь, вам нравится это поклонение: наш подполковник, у нас в отделении, с этим может справиться только Левин. Все мы люди, все человеки, ничего не поделаешь...

Александр Маркович подумал и сказал, что это не так — никто на него здесь не молится. Что же касается до Жакомбая, то тут особая штука. Надо делать не только то, что положено, но и еще многое иное, такое, что подсказывает душа...

— Что же именно подсказала душа вашему Жакомбаю? — спросил Баркан.

Левин ответил не сразу.

Вячеслав Викторович налил еще пены.

— Что не положено? Он, видите ли, сам ищет. Он отыскивает, что можно еще сделать, и делает: он, например, сам сделал для нас с вами электрический умывальник, для камбуза соорудил электрическую сушилку, сделал гидролизный электрический стерилизатор...

— Но я этого не умею! — буркнул майор.

— Зато вы умеете многое другое. Умеете, но обижаетесь по пустякам, сердитесь и работаете по своей специальности хуже, чем Жакомбай по своей. Но это ничего. Мы вас перемелем...

— Благодарю...

— Пожалуйста. Вы уже помаленьку перемалываетесь...

— Но я еще недостоин заменить вас в отделении, пока вы будете оперироваться?

— Боже сохрани! — испуганно и сердито сказал Левин.— Вы ведь еще не понимаете даже, кто такой Жакомбай.

— А это так важно?

— Ого!

Они помолчали, потом Левин, как ему показалось, довольно искусно перевел разговор на более спокойную

тему — на случай перитонита, имевший место несколько лет тому назад. Баркан поддержал разговор, и они заспорили друг с другом без былого недружелюбия, заспорили, как спорят добрые знакомые доктора. А погодя майор ушел напевая, в хорошем настроении.

— Значит, не я буду вас заменять на время операции? — спросил он уже в дверях.

— Нет, не вы.

— А кто же, разрешите узнать?

— Думаю, Варварушкина. Впрочем, мне еще нужно согласовать это с начальником госпиталя...

— Ну, добро! — ответил Баркан и плотно затворил за собой дверь.

Согласовав все с начальником госпиталя, Левин вызвал к себе Варварушкину. Ольга Ивановна очень удивилась и даже расстроилась оттого, что она, а не Баркан останется заместителем Левина, но он ее утешил, сказав, что это ненадолго, что еще лежа он будет ей помогать и что в особых случаях она вполне может обращаться за помощью к начальнику первого хирургического. Ольга Ивановна слушала, разрумянившись от волнения, ломала спички и все пыталась перебить, но Александр Маркович не позволял, а когда он кончил говорить, она тоже ничего не сказала, только еще больше покраснела и так молча, краснея до ушей, вышла из ординаторской. Но он окликнул ее и, безотчетно радуясь ее волнению, сказал, что это еще не все и что им надобно подробно поговорить обо всех раненых отделения. Говорили они подробно и пили чай с клюквенным экстрактом. Ольга Ивановна записывала в книжку, а иногда спрашивала, и он ей подробно объяснял то, что было не совсем ясно.

— Ну, теперь я поняла,— говорила она, глядя ему в глаза,— теперь мне все ясно.

— Ясно? — спрашивал он, радуясь.

— Да, совершенно.

— Ну и превосходно. Теперь дальше пойдем. В шестой лежит такой волосатый старшина, такой черный, скандальный. Насчет этого старшины я думаю так...

И он рассказал, как и чем следует лечить скандального старшину, объяснял, почему именно старшина скандалист и какие у него боли. А Ольга Ивановна кивала головою, и он понимал, что ей важно и нужно его слушать, что она многого еще не знает, но что знать она

будет, а если чего-нибудь и не поймет, то спросит у него. И это ощущение, что она спросит, странно успокаивало Александра Марковича и радовало его.

Потом он проводил ее по коридору уснувшего госпиталя и попрощался с нею за руку, чего раньше не делал, а она взглянула ему близко и прямо в глаза и сказала:

— Ну, спокойной ночи, товарищ подполковник. Ни пуха вам ни пера! Все будет прекрасно, я уверена!

Он кивнул и пошел один дальше по коридору. Госпиталь спал, все двери из палат были открыты, дежурная санитарка дремала у своего столика. Левин шел, подняв голову, прислушиваясь, размышляя. Тихо дышали спящие. Горели синие лампочки. «Мое хозяйство,— подумал Левин.— Может быть, я прощаюсь? Может быть, я сентиментален? Может быть, мне хочется плакать? Может быть, мне хочется говорить жалкие слова?»

Нет, ему ничего такого не хотелось. Он хорошо себя чувствовал и не испытывал ни страха, ни робости. И не только завтрашний день не был ему страшен — ему не было страшно будущее. «Я освободился от страха,— спокойно решил он.— Вот в чем все дело. Я переболел страхом. Он остался позади. Теперь мне ничего не страшно, потому что — что может быть страшнее самого страха?»

В ординаторской его ждала Нора Викентьевна со шприцем и морфием. Александр Маркович вежливо ее спросил, не скучала ли она; она ответила, что нет, не скучала, потому что никогда не скучает и считает, что скучают только лодыри и лежебоки.

— Возможно,— согласился он.

Насадив на крупный нос пенсне, Нора не торопясь и очень толково рассказала ему, что нынче делается на свете. Потом пояснила:

— Обычно я накануне беседы с кем-либо репетирую. Сегодня жребий выпал на вас. . .

— Я прослушал с большим интересом,— сказал Александр Маркович.— Вы, наверное, очень увлекаете ваших слушателей.

Нора Викентьевна пожала плечами и ответила, что бывают и неудачи.

Они еще поговорили на общие темы, повспоминали знакомых хирургов и некоторые клиники. Нора Викентьевна хвалила только Харламова.

— Этого хирурга я боготворю! — сказала она.— И давайте не спорить.

Левин даже и не собирался спорить.

Спросив, очистил ли он себе желудок и все ли сделано для подготовки к операции, Нора Викентьевна ввела ему морфий, уложила, укрыла одеялом и сказала:

— Очень рада была с вами познакомиться и убедиться еще раз в том, как лгут люди. Про вас говорят, что вы ругаетесь как извозчик и грубите своим подчиненным. Вряд ли это так. . . До завтра, товарищ подполковник. Спите!

А утром Левин, виновато улыбаясь, лег на тот самый стол, за которым оперировал всю войну. На его месте теперь стоял Харламов, а там, где обычно находились Ольга Ивановна и Баркан, были Тимохин и Лукашевич. Впрочем, Ольга Ивановна тоже была тут, но как-то поодаль, точно чужая.

— Вот. . . пришлось вам тащиться в наш гарнизон,— сказал Александр Маркович Харламову.— Может быть, мне следовало лечь к вам в базовый госпиталь?

— Да, да, дождешься вас, бросите вы свой госпиталь,— ответил Харламов, а дальше Левин не расслышал, потому что флагманскому хирургу надели марлевую маску.

Тимохин был уже в маске, руки держал далеко от себя и напевал негромко: «тру-ту-ту-тру-ту-ту!» А Лукашевич, похожий в халате и шапочке на привидение, которое устраивают дети из щетки и простыни, смотрел в окно и видел там, должно быть, то, что видел обычно и Левин: серый залив и на нем корабли — маленькие, словно игрушечные.

Наркотизировал Лукашевич, и Левину было почему-то приятно, что этот костлявый и раздражительный человек, прежде чем взять в руку его запястье, пожал ему плечо и слегка похлопал его, как бы о чем-то с ним договариваясь, как равный с равным, как старый и верный приятель. Потом он услышал шаги Тимохина и его приближающееся «тру-ту-ту-тру-ту-ту», и тотчас же ему сделалось противно от все усиливающегося запаха наркоза. Но тем не менее он продолжал считать, хоть это было вовсе и не обязательно, теперь он считал только для того, чтобы продержаться на некой поверхности, откуда его тянуло в быструю и верткую трясину. Еще какая-то мысль промчалась, он хотел схватиться за эту

мысль, но не успел и стал проваливаться в омут — все глубже и быстрее, все быстрее и глубже, пока сознание не покинуло его.

«Тру-ту-ту-тру-ту-ту»,— едва слышно, почти про себя напевал Тимохин, и никто не знал, что пел он так потому, что волновался. Знала об этом только его жена, Таисья Григорьевна, но ее не было здесь, а то бы она дотронулась до его плеча, и он сразу перестал бы напевать и сконфузился.

— Ну? — спросил Харламов тенорком.

— Да что ж, пожалуй, можно! — ответил Лукашевич, продолжая капать из капельницы на маску.

Нора Викентьевна смотрела сбоку на тонкую шею Харламова и на его плечи. По движениям шеи и плеч она всегда знала мгновение начала операции, и вот это мгновение наступило. Совершенно беззвучно и почти не глядя на столик, на котором в раз навсегда установленном порядке лежали хирургические «наборы», Харламов взял скальпель и сделал движение плечом и шеей. И Нора Викентьевна тотчас же сделала свое движение, а Тимохин — свое, и умные руки всех троих стали работать как руки одного человека — с идеальной, молчаливой и точной согласованностью.

Было очень тихо, только иногда сопел вдруг толстый Тимохин да слышалось дыхание Левина — ровное, но тяжелое. Иногда он всхлипывал чуть-чуть, точно собираясь заплакать, порою шумно вздрагивал. Но пульс был ровный, хорошего наполнения, и Ольге Ивановне теперь сделалось спокойно и не страшно. А потом она сама не заметила, как залюбовалась всей этой работой — и удивительным ритмом, который царил среди работающих людей, и тем, как они все понимали друг друга без слов, и самим Харламовым, который теперь перестал быть маленьким и тщедушным, а сделался словно бы крупнее и выше. И глаза Харламова ей нравились, она верила этим глазам, этому спокойному свету, этому упрямому и сильному выражению, делавшему ординарное лицо Алексея Алексеевича не похожим ни на кого из хирургов, которых она встречала.

— Ну? — спросил он тенорком.

Тимохин слегка наклонился и несколько секунд ничего не говорил, а только сопел.

— Опухоль проросла в ободочную кишку,— сказал Харламов.— Видите, Семен Иванович?

«Тук-тук...— бился пульс в руке у Ольги Ивановны,— тук-тук...»

Лукашевич два раза коротко вздохнул.

— Ну, вижу,— медленно и недовольно сказал Тимохин. Он точно бы не хотел согласиться с тем, что сказал Харламов, но соглашался вынужденно.

— Будем резецировать?

Сердце у Ольги Ивановны сжалось. «Тук-тук,— билось в запястье у Александра Марковича,— тук-тук». Сейчас они скажут самое главное. И от того, что они скажут, будет зависеть все. Была секунда, когда ей не хотелось слышать, но все-таки она услышала голос Тимохина. Он пока еще не утверждал, а только спрашивал, но по тому, как он спрашивал, она поняла, каким может быть ответ.

— А это, вы думаете, не карциноматоз забрюшинных желез? — почти лениво и очень медленно, как ей казалось, спросил Тимохин.

Харламов молчал.

«Может быть, еще нет...» — безнадежно подумала Ольга Ивановна.

— Да,— ответил Харламов.— Да, тут двух мнений быть не может, картина чрезвычайно ясная.

Они еще помолчали. Потом Харламов сказал решительным, несомневающимся тоном:

— Паллиативная операция слишком опасна, радикальная невозможна. Придется зашивать.

«Вот и все! — подумала Ольга Ивановна.— Вот и все». И отвернулась.

— Под печень мы ввели тампон,— осторожно напомнила Нора Викентьевна, и Харламов ответил вдруг с еле сдерживаемым бешенством:

— Знаю! Можно не напоминать по три раза!

Потом, моя руки, Харламов сказал, ни к кому не обращаясь, и голос его прозвучал сурово, даже угрожающе.

— Я думаю,— сказал он,— подробности не станут известны Александру Марковичу. Вариант для него такой... такой: сделано желудочно-кишечное соустье. Впрочем, полковник Тимохин тут останется и доложит ему сам.

Нора Викентьевна подала Харламову полотенце. Тимохин все ходил и напевал, сердито поглядывая по сторонам: «тру-ту-ту-тру-ту-ту!» А Лукашевич робко попро-

сил у Анжелики, наводившей порядок в своем хозяйстве:

— Будьте добры, сестрица, дайте мне тридцать граммов спирта с вишневым сиропом. Простыл я в самолете.

И для правдоподобия зябко поежился.

Уехал он вместе с Харламовым и Норой Викентьевной, а Тимохин остался, и было странно видеть, как сидит он в левинской ординаторской и пишет там что-то в маленькой записной книжечке. Да и весь этот день был какой-то странный и печальный, не похожий на другие дни.

Под вечер Тимохин долго разговаривал с Барканом.

И Баркан вышел от него расстроенным, тихим, с виноватым выражением лица.

22

На восьмой день Левину сняли швы, а на пятнадцатый он отправился в первый поход по своему отделению. Ольга Ивановна шла рядом с ним, поглядывая на него с тревогой, а он говорил ей сердито-веселым голосом:

— Лежание пошло мне на пользу, я вчера покончил со своими заметками, надоели только гости. Вы видели, что делалось? Уж Мордвинов, человек как будто занятой, и тот чуть не каждый день являлся. А Тимохин, знаете ли, милейшая личность. Умен и много знает. Бурчит только иногда, как медведь, слов не разберешь. Лукашевич тоже милейший человек. Вообще, конечно, все это было довольно трогательно, особенно если бы времени побольше. Ну а тут полон рот хлопот, чувствуешь себя отлично и изволь — лежи. Да, а вы говорите — хирургия! Прооперировали — и значительно легче стало. Нет этого отвратительного ощущения постороннего тела в животе. А до операции было похоже на сказку, помните, кто-то там съел бабушку, волк, что ли? Вот и у меня было совершенно такое чувство, как у волка. Ну, идите себе, мне на камбуз надо, я ругаться иду, вам это слышать не следует.

И помахал ей рукою.

Он пошел вниз, а она стояла и смотрела ему вслед. Как странно: неужели ему в самом деле легче? Вот пошел на камбуз ругаться. Вчера объявил выговор Онуф-

рию. Два дня назад собрал у себя в палате летучку и при всех сказал, что объявляет ей, Варварушкиной, благодарность.

Ольга Ивановна шла по коридору и думала.

— Доброе утро, товарищ доктор! — сказал ей майор Ватрушкин.— Помните меня?

— Помню,— сказала она.— Вы капитан Ватрушкин.

— А вот и нет! — сказал Ватрушкин.— Вот и майор. Меня, между прочим, опять ранили.

— Да что вы говорите?

— И глупо ранили,— сказал Ватрушкин.— Ну, да это вам все равно не понять. А скажите, где сейчас подполковник Левин? Это правда, что его оперировали? И, говорят, будто он никуда от нас не хотел ехать? Это все верно?

— Верно! — сказала Варварушкина, невольно улыбаясь. С Ватрушкиным нельзя было говорить и не улыбаться.

— Ну, молодец старикан! — воскликнул Ватрушкин.— У него среди нашего брата большой авторитет. Не верите?

— Верю,— ответила Ольга Ивановна.— Только чего вы расхаживаете? Идите-ка в палату!

— Мне ходить и стоять здоровее,— сказал Ватрушкин.— Впрочем, я вас провожу. А вы слышали, что у меня сын родился?

— Нет,— сказала Варварушкина.— Где же нам слышать! Мы люди темные, газет не читаем.

— Родился,— подтвердил Ватрушкин.— Ванькой назвали. Нынче самое редкое имя. Комичный парень. Да-а, а вы все думаете — капитан Ватрушкин. Нет, до Ватрушкина теперь рукой не достать.

И он так громко и весело захохотал, что Варварушкина на него зашикала.

— Извиняюсь,— испугался он,— забыл. Отвык от госпиталя. У нас офицеры так однажды хохотали, что в землянке стена лопнула и песок посыпался. Не верите?

— Не верю.

— И никто не верит. Такая землянка подобралась.

Ольга Ивановна ушла, а Ватрушкин остался дежурить в коридоре, чтобы еще с кем-нибудь поболтать. В палате ему было скучно, там все сейчас почему-то спали.

«Вот Левин пойдет — его и поймаю,— решил Ватрушкин.— С ним потолковать интересно. Про сына ему расскажу. И пусть, в самом деле, зашьет мне рану, что ли!»

А Александр Маркович сидел в это время на кухне возле большого разделочного стола и говорил руководящему Онуфрию Гавриловичу:

— Однако из тех же продуктов можно варить совершенно приличное горячее. Вы убедились в этом сами. Но стоило мне на две недели оставить вас в покое, как вы опять принялись варить несъедобную дрянь. В чем же дело, скажите на милость?

Онуфрий посмотрел на него коротко и злобно. И Левин успел заметить этот взгляд.

— Вы думали, что я никогда тут не появлюсь,— продолжал он,— а я появился и постоянно буду появляться. Если же умру, то после каждого дурно сваренного вами обеда буду приходить и душить вас по ночам... Я буду являться как привидение.

Руководящий осклабился. Гроза проходила стороною — Левин шутил. И Онуфрий даже сразу не понял, когда Александр Маркович сказал:

— Я отстраняю вас на трое суток от работы на кухне. Вы будете теперь колоть дрова, выносить из кухни помои и делать другую работу, которую никогда не делает повар. Понимаете? Таким способом я наказываю вас. Я наказываю вас за то, что вы кормите людей, проливших свою кровь за родину, невкусной, дурно проваренной, противной пищей. Вы поняли, за что я вас наказываю?

— Понял,— отвернувшись, сказал кок.

— Я не слышу, что вы там бурчите. Повернитесь ко мне и повторите.

— По-нял!

— И не кричите, а то будете колоть дрова не трое суток, а пятеро. Ясно?

— Ясно.

— Варить будет ваш помощник Сахаров. Он не знает, что такое «дефуа-гра», но он варит лучше вас, потому что старается. Варить будете вы, слышите, Сахаров?

— Есть! — выкрикнул Сахаров.

— А если по возвращении с дворовых работ вы, Онуфрий Гаврилович, не исправитесь, я отдам вас под

суд как злостного нарушителя трудовой дисциплины. И вы будете сурово наказаны.

— На здоровье! — сказал руководящий и кинул черпак в котел с такой силой, что суп брызнул на плиту и на пол.

— Не безобразничайте! — сказал Левин.— Вы получили взыскание по заслугам, и очень мягкое. Я не собираюсь вас перевоспитывать, вы дурной человек и дурной работник. Но так как мне некем вас заменить, то я принуждаю вас работать честно и буду принуждать до тех пор, пока вы не станете нормальным работником.

Выходя в тамбур кухни, он услышал, как Онуфрий сказал Сахарову:

— Уж и ползать совершенно нисколько не может, а туда же, командует. Другие люди об это время всех жалеют, а он как все равно собака накидывается.

Александр Маркович усмехнулся. Нет, он не будет всех жалеть. Всех жалеть отвратительно. Пожалеть кока — это значит не выполнить свой долг по отношению к раненым. Нет, он не пожалеет Онуфрия. Всех жалеть — это значит никого не любить. Пусть Онуфрий отправляется колоть дрова и носить помои. Не надо разводить нюни. Вот он разговаривал с Барканом всегда прямо и резко, и теперь в Баркане что-то переменилось. Может быть, это ему кажется, может быть, он еще ошибается, но Баркан уже не тот, каким был раньше. Он иначе разговаривает теперь и больше спрашивает, чем утверждает. Нет, извините, он не будет прощать и жалеть. Вот, например, Розочкин — вялый человек. Что может быть страшнее вялого человека? Ему, наверное, хочется лежать и перелистывать старый журнал, а вернее всего — ничего не хочется, и это тоже нельзя прощать, потому что вялость Розочкина не только его внутреннее качество, а качество и внешнее, касающееся всего госпиталя,— вот как. Что ж, пожалеть и Розочкина?

В халате, с палкой, он пришел к Розочкину и поболтал с ним минут десять. Розочкин сообщил, что у него тридцать семь и шесть.

— Да, у вас, видимо, насморк,— сказал Левин.— Полощите нос соленой водой. Мне это помогало.

Розочкин посмотрел на него жалостно своими красивыми, томными глазами.

— А ложиться вам нельзя, — сказал Левин, — нельзя, товарищ Розочкин, нельзя, коллега. Вы у нас

один. Вы нам нужны. Да, вот так. До свидания, коллега.

И Розочкина он не пожалел. А Розочкину так хотелось полежать и почитать журнал. Это ведь очень приятно — полежать с маленьким гриппом, совсем маленьким, чтобы тепло было, уютно,— и почитать. И совсем даже не почитать, а полистать. И подремать.

Под лестницей его поймал майор Ватрушкин.

— А-а,— сказал Левин,— вот так встреча! Что вы тут делаете, старик? Почему вы в халате? Вас опять ранило?

— Подо мною снаряд разорвался,— сказал Ватрушкин и захохотал.— И лекпом наш отказывается лечить. А полковник накричал и к вам наладил. Неудобно, честное слово.

Он взял под руку Левина и пошел с ним рядом. По дороге он рассказал про сына Ивана и про то, что в палате с ним лежат какие-то кошмарные типы. Словом не с кем перекинуться.

— Они, знаете ли, тяжело ранены,— сказал Левин.— Я, между прочим, помню, как вас однажды к нам привезли. Вы тоже тогда не хохотали и не шумели в госпитале, не дай вам бог еще такую же историю.

— Это когда меня в грудь ударило?

— Нет, в живот. В грудь — это еще ничего. И потом — разве это вас ударило в грудь?

— А не меня? — сказал, несколько обидевшись, Ватрушкин.

— Да, да, теперь вспоминаю,— сказал Левин.— Но это все вздор по сравнению с животом. Так значит — Иван! Интересно, очень интересно! Ну что ж, пойдемте в перевязочную, я вас посмотрю.

В перевязочной Ватрушкин разделся, и Александр Маркович обошел его кругом.

— «Стремим мы полет наших птиц...» — напевал Левин негромко.— Да, есть на что посмотреть,— сказал он,— и все мои швы. Знаете, если вдуматься, то это почти перелицованный костюм. Вы помните, как мы вам тут делали новую спинку? И недурная спинка, а?

— Недурная! — согласился Ватрушкин.

— А живот? Если сейчас вспомнить, то мы тоже с ним немало помучились.

Ватрушкин с уважением посмотрел на свой живот.

А Левин мыл руки и, задумавшись, насвистывал что-

то печальное и сложное. Погодя он занялся чтением газет, и центральных и местных, и не заметил, как вошел Дорош. Потом взглянул на него с изумлением и воскликнул:

— Нет, вы только посмотрите! Вы — прочитайте! Жив Курилка, отыскался след Тараса...

В «Северном страже» было напечатано письмо в редакцию, подписанное несколькими людьми. Письмо называлось «Где авторы видели подобных летчиков», а внизу были подписи, и первой значилась — полковник м. с. Шеремет. Речь в письме шла о постановке местного самодеятельного ансамбля и о том, что авторы «исказили и оклеветали любимые народом образы».

— Оперяется, прохвост, вылезает! — вздохнул Дорош.— Он по разоблачениям мастак. В свое время и на вас писал, что вы в Германии учились и что нечего вам тут делать.

— Мне? — удивился Александр Маркович.

Он опять перечитал письмо в редакцию. Каждое слово дышало негодованием, и если бы Левин в свое время сам не видел эту постановку — смешную и милую,— он бы поверил Шеремету. Но спектакль Александру Марковичу нравился, и, кроме того, он знал Шеремета...

— «Клевета...— прочитал Левин,— в лучшем случае близорукость, а если присмотреться внимательно...» К чему присмотреться?

— Намекает,— произнес Дорош.— Что, вы его забыли? Он всегда намекал, особенно в писанине. Как начнет строчить... Бросьте, не расстраивайтесь, товарищ подполковник...

23

В воскресенье утром он застал у себя в ординаторской Калугина. Инженер стоял у карты и точно бы не видел ее.

— Здравствуйте,— сказал Левин.— Какие новости?

— А вы не знаете?

— Нет, не знаю.

Калугин засмеялся счастливым смехом.

— Ей-богу, ничего не знаете?

— Даю вам слово.

— Их сейчас привезут сюда,— сказал Калугин.— Они живы.

— Кто?

— Экипаж Плотникова, вот кто! Понимаете? Весь экипаж Плотникова.

— Идите вы к черту! — сказал Левин.— Как это может быть? Столько времени!

— А я вам говорю! — крикнул Калугин, словно испугавшись, что всего этого и в самом деле может не быть.— Я точно знаю. За ними уже катер пошел, а жена Курочки — Вера Васильевна — сидит у меня в землянке. Вы ведь даже не знаете, чего я тут натерпелся. Она к нему в отпуск приехала, а он не вернулся с задания. И к Плотникову с главной базы кто-то приехал...

Он был в необыкновенном возбуждении, этот обычно спокойный и молчаливый инженер.

Торопясь и радуясь, но довольно бессвязно он говорил, что они совершили какой-то грандиозный подвиг, что подробности не известны никому, кроме командующего, что они представлены к Героям и что будто бы они из глубокого немецкого тыла наводили наши самолеты на фашистские караваны и на отдельные крупные транспорты.

Левин снял очки, надел их и покачал головою.

— Нет, это удивительно! — воскликнул он.— Это невозможно себе представить. Вот вам и Федор Тимофеевич, вот вам и добрый день! Что же мы сидим? Надо пойти подготовить палаты! Надо им создать замечательные условия! Э, но какие можно создать условия, когда тут нет ни одного цветочка!

Позвонил телефон, и Дорош сказал, что санитарные машины идут на пирс.

— У меня есть автомобиль,— сказал Калугин,— я вас подвезу. Но вам уже можно? Говорят, вы тут чуть-чуть не померли? Но теперь все в порядке?

Левин усмехнулся и не ответил. Если бы он мог поверить, что теперь все в порядке! Конечно, как каждый человек, и он иногда думал, что Тимохин не солгал ему. Он думал так вчера от двух до трех часов ночи. Но потом он думал иначе. А вообще об этом не стоит думать.

— Что ж, поедем? — спросил Александр Маркович. На воздухе у него слегка закружилась голова, совершенно как у выздоравливающего. Калугин познако-

мил его с женою Курочки, и Левин удивился: жена Курочки была очень красива и, наверное, выше его на голову. И еще одна девушка в пуховом платке тоже подошла к Левину и сказала ему:

— Настя.

— Вот с подполковником и поговорите,— посоветовал ей Калугин,— он вам может помочь.

Голова у Левина все кружилась, и ему было трудно слушать, но основную мысль он уловил: эта девушка хочет быть санитаркой или сестрой.

— Ну да, ну да,— сказал Левин.— Отчего же, это вполне возможно. Вы зайдите ко мне. Это второе хирургическое, вам покажут, а моя фамилия — Левин. Хорошо?

— Хорошо! — ответила она робко и радостно.— Но только я еще ничего не умею. У меня другая специальность. . . была,— добавила она после паузы.

— Это ничего,— сказал Левин.— Вы у нас подучитесь.

И отвернулся — так все заходило перед ним, запрыгало и закружилось. Но потом это прошло, и он увидел командующего, который медленно прохаживался над самой водой, сунув руку за борт шинели. А Зубов стоял неподвижно и устало щурился на блестящий под солнцем залив и на катер командующего, показавшийся из-за скалы.

Сверху же из гарнизона по крутой, скользкой дороге бежали люди — их было очень много — в черных шинелях, в молескиновых куртках, в регланах и унтах, в ярко-желтых комбинезонах. И «виллисы» командиров полков, отчаянно гудя, мчались вниз, чтобы не опоздать.

Сердце у Левина билось учащенно, толчками, глаза вдруг сделались влажными, но это было не стыдно, потому что даже Зубов, человек, известный своей суровостью, все время с грохотом сморкался, очень часто отворачивая полу шинели и доставая оттуда платок. Проще было не прятать платок обратно.

Команды никакой не было, но все люди на пирсе вдруг сами по себе встали «смирно» и замерли, пока катер швартовался. А когда матросы сбросили трап, такая сделалась тишина, что почти громом показался топот санитаров, вынесших первые носилки. Какая-то женщина в платочке, странно закидывая назад голову и раздвигая руками летчиков, пошла вперед. Это была

Шура — Левин узнал ее,— жена штурмана плотниковского экипажа. Она упала бы возле носилок, если бы не Зубов, который поддержал ее и повел за носилками. Потом показались вторые носилки, и к ним кинулась та девушка, которая назвала себя Настей. Ее тоже пропустили, и она пошла рядом с носилками до самой санитарной машины, которую пятил, вывернувшись назад, Глущенко. Было очень тихо, и только Глущенко говорил умоляющим голосом:

— Товарищи офицеры, ну, товарищи офицеры, попрошу вас раздаться. Невозможно же работать, товарищи офицеры.

Потом, видимо, Плотников сказал что-то смешное, потому что рядом с носилками раздался хохот и пошел волнами — все шире и шире, и Левин увидел командующего, который тоже смеялся и укоризненно качал головой.

— Что он сказал? — крикнул кто-то за спиною Левина, и смех стал еще громче и веселее. Было неважно, что сказал Плотников, но важно было то, что он вообще говорит и шутит, что он есть, что он вернулся.

И толпа так сомкнулась, что шофер Глущенко взмолился отчаянным, визгливым голосом, и это тоже всем показалось ужасно смешно и забавно.

— Товарищи офицеры,— просил Глущенко,— вы ж мне машину раздавите. Товарищи офицеры, не давите на стекла. Товарищи офицеры, или мне комендантский патруль вызвать?

После Плотникова понесли Курочку. Инженер лежал на высоко взбитой подушке, гладко выбритый, со следами пудры на ввалившихся щеках, и улыбался недоверчиво, растерянно и как-то иначе, чем раньше. А рядом с ним шла жена, та жена, которая причинила ему столько горя,— высокая, статная, в хорошо сшитом сером костюме, гладко причесанная, и поглядывала на всех вокруг равнодушно и немного недоумевающе, словно еще не понимала, что произошло и почему все так торжественно и счастливо встречают ее ничем не примечательного мужа. И хоть она ему не писала, или если писала, то не так, как писали другие жены,— теперь она шла рядом с носилками и рука ее была где-то возле подушки, словно нынче она признала своего мужа. За Курочкой понесли еще носилки, и незнакомый врач из морской пехоты что-то быстро и старательно доклады-

вал командующему, который кивал головою и приговаривал:

— Добро, ну, добро, отлично, молодцами действовали...

Одна «санитарка» уже ушла, теперь уходила вторая, но командующий, увидев Левина, остановил машину и приказал Александру Марковичу ехать с инженером и его супругой. Он так и сказал — «супруга», и глаза его в это мгновение неприязненно и жестко блеснули.

— И зачем вы выходите! — пожурил он Левина.— Рано вам еще расхаживать...

Александр Маркович оказался в машине. Снаружи к стеклам, расплющив носы, прижимались какие-то незнакомые лица, но шофер дал газ, и носы пропали, только шум, подобный грохоту волн, еще долго доносился с пирса.

— Ну что? — спросил инженер Левина, точно виделись они час назад.

— Да вот так...

— Это моя жена — Вера Васильевна,— сказал Курочка.

И улыбнулся, словно ему было чего-то неловко.

— Суровые у вас края! — произнесла женщина, повернувшись к Левину.— Ни дерева настоящего, только камни да море...

Она говорила, словно читая книгу, а Курочка с жадной нежностью смотрел на нее, и казалось, что он не верит, что это она, его жена, что она приехала сюда, что он видит ее и слышит ее низкий, глубокий голос. А Левин молчал, поджав губы, и думал: «Поскорее бы госпиталь, поскорее бы кончилось это унижение...»

— Ты через денек-два уезжай! — сказал жене Курочка.— Трудно тут тебе будет и... тоскливо...

У госпиталя тоже стояла толпа летчиков, но тут командовала Анжелика, а с нею шутки были плохи, особенно в тех случаях, когда она находилась при исполнении служебных обязанностей. Толстая, на коротких ногах, в черной шинели, подпоясанной ремнем, с решительно поджатыми губами, с сизым румянцем на налитых щеках, она расхаживала возле госпиталя и грозно посматривала на молчаливую толпу. Потом спросила:

— Чего собрались? Все равно в отделение никто пропущен не будет.

Издали робкий голос нерешительно произнес:

— Просим сообщить, как с ними и что. Нам интересно, мы однополчане.

Анжелика всмотрелась в толпу и ответила только тогда, когда узнала «однополчанина».

— Вот я доложу, Кротов, вашему командиру полка, что вы безобразничаете,— сказала она,— тогда будет вам вовсе неинтересно.

— Ну и на здоровье,— ответил издали Кротов женским голосом,— мы вас не испугались. Малюта Скуратов, а не медработник!

— И Малюту доложу! — крикнула Анжелика.— Любым женским голосом можете говорить, я все равно узнаю. Закройте двери, Жакомбай, и без меня никого не впускайте.

На Жакомбая можно было вполне положиться — уж он-то не впустит.

В вестибюле Анжелика сбросила шинель, заглянула мимоходом в зеркало и пошла надевать халат и косынку. Потом медленно — она всегда ходила не торопясь,— делая смотр всему, что попадалось на глаза, зашла в палату, где лежал Черешнев — стрелок-радист плотниковского экипажа. Новичок дремал. В другой палате, рядом, Левин толковал с докторами-терапевтами насчет состояния здоровья Курочки. А Вера Васильевна, позевывая, перелистывала журнал, словно военинженера и не было здесь.

«Разве это человек! — патетически подумала про Веру Васильевну Анжелика.— Это только красивая самка и более ничего, да, да, более ничего».

У Плотникова сидела незнакомая женщина, и он ей что-то говорил медленно и значительно, а она плакала обильными и счастливыми слезами. «Это жена,— подумала Анжелика,— или будет настоящей женой». Жена штурмана Гурьева, Шура, сидела низко склонившись к мужу и что-то ему шептала, а он прижимал к губам ее ладонь. И все это вместе вдруг расстроило Анжелику. Она сердито засопела и спросила в коридоре незнакомого летчика, как он сюда попал и кто ему выписал пропуск. У летчика пропуска не было, и у второго — капитана — тоже не было, и еще у двух не было. Взбешенная Анжелика, стуча каблуками и ставя ноги носками внутрь, выскочила на крыльцо. Жакомбая там не было, а вместо него стояла Лора и чему-то смеялась. Незнако-

мый стрелок-радист угощал ее тыквенными семечками, она весело их лузгала и говорила кокетливо:

— Уж вас только слушай! Уж вы наскажете! Нет, нет, слушать даже не хочу!

— Воскресенская, пройдите за мной! — сказала Анжелика.

Лора прошла. И тотчас же быстрым шепотом заговорила:

— Жакомбая товарищ подполковник Дорош отсюдова сняли. Что бы-ло! Кок-то Онуфрий про подполковника Левина выразился, что все равно ему не жить, потому что ничего ему даже и не вырезали, а просто как было все зашили. Будто ему все известно, а от кого ему известно, мы хорошо знаем. Там две санитарки были, когда флагманский хирург руки мыл, они и слышали. Ну и дальше стал говорить Онуфрий-то, что его Левин наказал, а он этого не простит. Сидел бы, говорит, да о своей смерти думал, нечего на людей кидаться, когда самому жить всего ничего. И выразился по-хамски. А Жакомбай как на него наскочит! Даже пена изо рта пошла — не верите? Это все сделалось как раз, когда все на пирс отправились героев наших встречать. Ну, которые выздоравливающие — все, конечно, за Жакомбая, второй кок — Сахаров — даже в слезы ударился. Не могу, говорит, я с таким змеем работать, у него, говорит, воспаление злости на все человечество. Девочки наши тоже все разволновались. Верка до сих пор плачет, а майор Ольга Ивановна даже капли пила, не верите? Так это хорошо, что вы в это время тут не были и не переживали, просто счастье ваше. А что я тут стою, так это мне подполковник Дорош приказали. Стань, говорит, Лорочка, тут и смотри, чтобы все нормально было!

— Хорошо! — сказала Анжелика.— Но что же такое, по-вашему, «нормально», когда полон госпиталь товарищей летчиков набрался и никто понятия о пропусках не имеет. Какой-то кошмар!

В коридоре Анжелика встретила Жакомбая. Он был бледнее обычного, но держался спокойно и на вопрос Анжелики, чем все кончилось, ответил, что получил взыскание.

— Серьезное?

— Справедливое! — сухо ответил Жакомбай.

Один глаз Анжелики вдруг наполнился слезою, нос

густо покраснел, она всхлипнула, сильно сжала руку Жакомбая возле локтя и сказала прерывающимся голосом:

— Спасибо вам за подполковника Левина, Жакомбай. Разумеется, это не следовало делать на военной службе, но как человек, как гражданин я не могу не поблагодарить вас, не могу не высказать вам, что вы...

— Не надо высказывать,— совсем сухо перебил Жакомбай.— Ничего не надо высказывать. Я плохо поступил, неправильно поступил. Разрешите мне идти?

И вышел, аккуратно затворив за собою дверь.

К вечеру, едва улеглась суматоха с плотниковским экипажем, начальник госпиталя созвал к себе совещание. Судя по его тону, ожидались крупные бои и в связи с этим большие поступления раненых. Готовы ли врачи? Есть ли заминки, неувязки, неполадки? Какие будут вопросы?

Было задано несколько вопросов. Полковник ответил. И, отвечая, почему-то смотрел на Александра Марковича.

— Больше ни у кого вопросов нет? — еще раз спросил полковник.

— У меня лично никаких вопросов не имеется! — подавляя раздражение, подчеркнуто официальным голосом сказал Левин.

Дополнительно начальник госпиталя сообщил, что на помощь извне в дальнейшем рассчитывать будет невозможно. Кто не справится, пусть пеняет на себя. Впрочем, в особых случаях своевременно данные заявки начальников отделений учтутся. У кого имеются такого рода заявки?

И, барабаня по столу пальцами, он исподлобья оглядел своих подчиненных. Потом взгляд его остановился на Левине.

Все молчали. Промолчал и Левин.

— Значит, ясно? — спросил полковник.

— Абсолютно ясно! — ответил Левин и поднялся.

Ему было душно и хотелось на воздух. Кроме того, он много ходил сегодня, и, наверное, поэтому в желудке вновь возникло ощущение тяжести. А во время совещания он почувствовал и боли тоже. Вечер был не холодный, уже весенний, но с залива приполз такой густой мозгло-молочный туман, что в двух шагах совершенно ничего не было видно. Опираясь на палку, Левин посто-

ял на крыльце, потом сел на скамеечку, сделанную Жакомбаем еще прошлым летом, и стал вглядываться в белую пелену, плотно облепившую весь городок.

Ощущение тяжести прошло, дышать стало легче, и на мгновение он вдруг почувствовал себя молодым, здоровым, веселым, таким, что ему и черт не брат и море по колено. «А что,— подумал он,— я и в самом деле не очень стар! Вот кончится война, поеду на юг, буду купаться в теплом море, пить кислое вино, есть виноград. И вернусь загорелым, черным, таким, что меня никто не узнает».

— Отдыхаете? — спросил кто-то из тумана.

Голос был знакомый, но он не узнал его сразу.

И ответил осторожно:

— Отдыхаю. А кто это?

— Вольнонаемный! — ответил голос, и Александр Маркович почувствовал, что человек, который подходил к нему из влажной белой тьмы, пьян.

Синяя лампочка над крыльцом госпиталя на одно мгновение осветила длинный белый нос кока Онуфрия, и вновь лицо его исчезло в тумане.

— Разрешите обратиться? — спросил кок Онуфрий.

Левин вздохнул и разрешил. Если бы он был волевым командиром, он прогнал бы Онуфрия вон.

— Разрешите сесть? — спросил опять Онуфрий.

И сесть тоже Левин разрешил, обругав предварительно себя за то, что распускает людей. Помолчали. Руководящий повертелся на скамейке и вздохнул два раза. «Сейчас храпеть будет,— почему-то подумал Левин.— Вот и хорошо. Он уснет, а я уйду».

— Обидели вы меня, товарищ подполковник,— еще раз вздохнув, сказал кок, и в голосе его Левин услышал не обиду, но злобу, ничем не сдерживаемую, давящую.

Стараясь не поддаваться этому тону, он ответил почти шутливо:

— Не понравилось дрова колоть?

Кок молчал. От залива потянуло холодом, Левин поднял воротник реглана.

— Не понравилось,— с вызовом сказал кок.— А чего тут нравиться? Даже интересно — чего же тут может нравиться?

— С горя и напились? — спросил Левин и сразу же почувствовал, что этого вопроса задавать не следовало.

— Я не напился, а выпил,— сказал Онуфрий.— Это

две разницы — напиться и выпить. Почему не выпить, если отгульный день? Вполне можно выпить. И безобразия я никакого не делаю. Сижу себе тихо, покуриваю. Может, вы желаете закурить?

Левин не ответил.

— Не желаете? Пожалуйста, если не желаете, я со своим табаком не лезу. А что обидно, товарищ подполковник, то обидно. На всех угодить невозможно. Который человек больной, ему что ни подашь — все трава. Больной человек никакого вкуса не имеет, у него температура, и ему только пить подавай — воды. Думаете, я не понимаю? Я никакой не кашевар, я, извините, в старом Петрограде в ресторане «Олень» работал, не скажу что шефом, но именно помощником работал и все своими руками делал. Я, товарищ подполковник, любое блюдо могу подать и любой соус изготовить. Например, соус кумберлен — кто приготовит? Я. Или тартар к лососинке — пожалуйста, или бешемель для курочки. Да что говорить — филе миньон, пожалуйста, с грибками и почечками, консоме, претаньерчик, бульон с пашотом, борщок с ушками, селяночку по-купечески — отчего не сделать? Или, допустим, дичь, или жиго баранье, или десерт любой — пожалуйста. А тут — здрасте — не угодил. Сержанту, понимаете, Ноздрюшкину да солдату Понюшкину не угодил! А тот Ноздрюшкин со своим Понюшкиным — чего понимают? Картошки с салом да сало с картошками — вот и все их понимание!

— А знаете, Онуфрий Гаврилович,— вдруг перебил Левин,— нет ничего хуже вот этакого лакейского пренебрежения к Ноздрюшкину и Понюшкину. Вы что — людей презираете, что они не знают, какой это такой соус кумберлен? Ну, и я не знаю, что такое соус кумберлен. . .

— Не знаете?

— Не знаю.

— А когда не знаете,— сказал Онуфрий,— когда не знаете. . .

И замолчал.

Потом усмехнулся и вновь заговорил, жадно посасывая свою самокрутку:

— Никто не знает, а все указывают. Каждый человек указывает, и даже некоторые берут и наказывают. Не понравился руководящий Ноздрюшкину с Понюшкиным. Не угодил. Они хотя и больные, но они указывают,

они командуют, они жалобы предъявляют. Как же это понять, товарищ подполковник?

— А так и понять,— спокойно ответил Александр Маркович,— так и понять, что там, у вашего ресторатора, на всех ваших нэпманов вы работали старательно, работой интересовались, а тут, на наших солдат и матросов, на наших офицеров, работаете из рук вон плохо, варите такую дрянь, что в рот взять невозможно, да еще и презираете людей, проливших за родину свою кровь, называете их Ноздрюшкиными и Понюшкиными... От пищи вашей воротит...

— Кого же это воротит? — чуть наклонившись к Левину, спросил Онуфрий.— Раненых? Так ведь им что ни подай, все едино жрать не станут. Им все поперек глотки...

— Неправда, я тоже пробую...

— Вы?

— Я!

— А вы-то, извиняюсь, здоровый? — еще ближе наклонившись к Левину, спросил Онуфрий.— Если уже откровенно говорить, то и вы не очень здоровый.

— Позвольте...

— Чего же тут позволять, товарищ подполковник, когда вы вовсе нездоровый человек, и всем это известно. Вы на себя посмотрите, как вас совершенно невозможно даже узнать.

Левин отстранился от Онуфрия, почувствовал, что надо уйти, но не ушел.

— Я действительно болен,— сухо сказал он,— но тем не менее всегда и безошибочно отличал вашу кухню от кухни вашего помощника Сахарова, и притом в невыгодную для вас сторону. Сахаров хоть и обыкновенный флотский кок и кумберлена не знает, однако он человек, а вы... дурной человек. Что же касается до меня, то предупреждаю вас, что теперь мне сделали операцию, и пока я еще на диете, но в ближайшее время я буду снимать пробы со всего вами изготовляемого и буду строго взыскивать...

— В ближайшее время? — с сочувствием и интересом спросил Онуфрий.

— Да, в ближайшее,— не совсем уверенно повторил Александр Маркович.

Онуфрий усмехнулся и покрутил головой.

— Что же вы видите в этом смешного? — сухо и строго спросил Левин.

Сердце его билось учащенно.

— Смешного ничего,— произнес Онуфрий.— Но только пробы вам снимать нельзя. Надо вам себя беречь, а не пробы снимать. Не такое теперь время вашей жизни, чтобы снимать пробы.

— Какое же это такое время моей жизни? — спросил Левин и услышал, что голос у него сухой и строгий.

— А вы не знаете?

— Мне неизвестно, о чем вы говорите.

— Скрыли от вас,— сказал Онуфрий,— чтобы, значит, не волновались вы. А того не понимают, что для вашего здоровья надо в постели лежать, а не по госпиталю от подвала до операционной бегать, того не понимают, что при вашем характере вы в месяц кончитесь, потому что нервничаете вы сильно и все до самого сердца принимаете. Вам и пробы снять надо, и белье госпитальное до вас касается, и операции, само собою, и лечение...

— Что же они от меня скрыли, по-вашему? — презирая себя за то, что спрашивает об этом, все-таки спросил Левин.— И кто скрыл?

— Да операцию-то ведь вам не сделали,— тихо, с сочувствием в голосе сказал Онуфрий,— посмотрели только и обратно зашили. Небось сами знаете, а говорите — операция.

И, еще раз жадно затянувшись, он плевком потушил окурок.

Некоторое время Левин молчал. Ему показалось, что его ударили молотком сзади по голове. Онуфрий сбоку смотрел на него.

Наверное, прошло много времени, прежде чем Левин справился с собою. Он должен был справиться совершенно. И он справился настолько, что ответил так же сухо и спокойно, как отвечал раньше.

— Да, я знаю,— сказал он.— Так что из того, что я знаю?

Онуфрий засопел. Теперь ему, наверное, стало страшно. И оттого, что Онуфрию стало страшно, Левин почувствовал себя еще увереннее.

— Да, я знаю,— повторил он медленно,— знаю. Некоторое время я надеялся, надежда свойственна всякому человеку, да и теперь мне еще трудно представить

себе, как это я скоро умру, но тем не менее это так,— и я скоро умру, но что из этого? Все-таки я остаюсь таким, как был, и надеюсь таким же дожить до самой своей последней минуты. Знаете ли вы, Онуфрий, что такое жизнь? Или не знаете, что она такое? Думали ли вы над нею?

Он говорил строго и немного торжественно, и эта торжественность и строгость все больше и больше пугали Онуфрия. В это мгновение отворилась госпитальная дверь, на крыльце показался Жакомбай и сразу же ушел. Левин молчал, покуда на крыльце стоял Жакомбай, потом заговорил опять строго:

— Жизнь — это прежде всего работа, а работа и есть главное счастье на земле. Но вы этого не понимаете, вы этого не можете понять, потому что работа для вас — мучение, и только плата за работу примиряет вас с жизнью. Я же знаю, для чего я работаю, и огромное большинство нашего советского народа тоже это знает, и поэтому даже с моим нынешним состоянием здоровья я не могу грешить против дела. Погрешить против дела — для меня — погрешить против всего самого главного в жизни, против самой жизни. А вы мешаете этому делу, следовательно мешаете жизни. Всех же мешающих нашей жизни надобно наказывать, и потому я вас наказываю. И буду наказывать, раз вы не исправляетесь, потому что вы не имеете права дурно работать, и будете работать лучше хотя бы из страха перед наказанием. . .

Кок слушал и сопел, и по тому, как он сопит, Левин понял, что он боится. Но боялся он не того существенного, о чем говорил Левин, а боялся самого подполковника Левина с его властью, и потому Александру Марковичу вдруг стало противно и захотелось уйти.

Не глядя на Онуфрия, он поднялся и медленно пошел в госпиталь, у двери которого с повязкой «рцы» на рукаве прохаживался Жакомбай.

— С этим человеком не надо говорить,— сказал Жакомбай, тревожно заглядывая в лицо Левину,— этого человека списать от нас надо. Какой может быть интерес с таким человеком говорить?

Левин постарался улыбнуться и, не отвечая, пошел в ординаторскую. Там, чувствуя себя утомленным, он лег и прислушался: страшно ли? Нет, страха не было. В сущности, он так и предполагал. Доктор Тимохин не

очень умел врать, а он сам, Левин, был не слишком плохим врачом.

«Посмотрите, я совсем не трус,— вдруг подумал Александр Маркович.— Кое-как я смотрю правде в глаза. Иногда это трудно, но в общем ничего. Как-то я справлюсь дальше со своим госпиталем, и со своими людьми, и со всем тем, что меня ожидает до самого моего конца».

Но долго ему не дали думать, потому что явились Леднев и Бобров с докладом насчет работы спасательной машины. Теперь их часто подымали в воздух, и они вытащили из воды еще двоих, спасшихся на резиновой лодке. Вчера их обстрелял сто девятый, но они ушли от него и благополучно «приводнились» дома. Леднев теперь разговаривал как опытный летчик, употребляя, правда, не совсем к месту один авиационный термин за другим. А Бобров помалкивал и улыбался скептически, слушая восторженные разглагольствования Леднева.

Потом пришел Калугин с подробным рассказом об экипаже Плотникова. За точность своих слов он не ручался, но выходило так, что плотниковский самолет был подожжен и сел в Норвегии. Экипаж спасся и много времени шел пешком к линии фронта. Это был немыслимый, невозможный, невероятный переход, но он был действительно. Что же касается до страданий, перенесенных экипажем, то об этом требуется особый рассказ, а вероятнее всего, что все ими перенесенное и вспоминать не стоит. Главное же заключается в том, что на обратном пути им представился случай овладеть фашистским постом связи и наблюдения. Они этим постом овладели с боем. Там оказался один немец — из тотальных мужичков, с головой, давно понявшей, что «Гитлер капут». Этот «капут», они его там так и называли — капут, помог им установить связь с германским командованием на побережье. Через рацию поста они сообщались с ВВС, а по специальному телефону поста узнавали о готовящихся к выходу немецких караванах. Представляете себе?

— Нет! — сказал Левин.— Это можно прочитать в «Мире приключений», но этого не бывает в жизни.

— В жизни бывает куда похлестче, чем в «Мире приключений»...

— Это какой-то бред,— сказал Левин.— Это немыслимое дело!

Калугин радостно засмеялся и закричал, что вовсе не бред, именно так и было. Некоторые летчики из торпедной авиации сами слышали голос Плотникова, когда он наводил их машины на фашистские транспорты. Плотников там сидел, в этой избенке поста связи, и наблюдал и наводил. И с ним еще один «Гитлер капут», который сдался и от страха помогал им во всем. Но самое интересное, конечно, Федор Тимофеевич. Этот тихий человек, ученый, конструктор и молчальник, оказался блестящим боевым командиром. Вообще, там была такая обстановка, что можно было сойти с ума, а он держался совершенно спокойно и показал просто чудеса.

Александр Маркович слушал и кивал головою, старое лицо его все светилось радостью, а Калугин говорил и говорил, и было похоже, что он рассказывает не историю из жизни, а приключенческую картину, которую он видел в кино.

— Впрочем,— вдруг сказал он,— знаете, доктор, тут ведь масса всего навертелось. Они еще почти ничего сами не рассказывают, а то, что с ними было, уже обрастает легендой любящих и почитающих их людей, правда перепутывается с восторженным вымыслом, у меня у самого от всех подробностей пухнет голова. Вот и сейчас рассказывал вам и не знаю, что правда, а что неправда. На аэродроме существует по крайней мере дюжина разночтений, а каждое разночтение содержит дюжину вариантов. Но сущность-то, основа верная. Подвиг совершен, и подвиг серьезный. Вы слышали, что вопрос об их спасении решался очень большим начальством?

— Да, слышал.

— Отсюда можете заключить значимость их дел.

Левин кивнул. Верочка принесла чаю в стаканах, клюквенный экстракт и два сухарика Александру Марковичу.

— Хотите сухаря? — спросил Левин.

Калугин по рассеянности съел оба сухаря и опять принялся рассказывать. Глаза его блестели от возбуждения, он несколько раз вскакивал и, когда вошла Анжелика, вдруг обнял ее за плечи и спросил:

— Подходящая пара, Александр Маркович? Выходите за меня, Анжелика, у меня в Москве на Маросейке

роскошная комната, и мы там совьем себе наше гнездышко.

— Я терпеть не могу пустую болтовню,— сказала Анжелика сурово, но «л» выговорила как «в». У нее тоже было прекрасное настроение.

24

В палате было полутемно и возле спящего Гурьева по-прежнему сидела Шура. Левин еще днем велел поставить ей кресло, но в кресле она сидела, как на стуле, ровно и прямо.

— Проснулся немного,— сказал Шура, вставая перед подполковником,— попил воды, огляделся и говорит: «Я еще чуток вздремну, Шурочка». Ничего не рассказывает, и слабый, видно, очень. Опасное у него ранение, товарищ подполковник?

Александр Маркович сказал, что неопасное, что он только чрезвычайно переутомлен и находится в нервном состоянии. И, конечно, истощение сильное.

Своей большой рукой он взял запястье Гурьева и, шевеля губами, стал считать пульс — хороший пульс спящего человека со здоровым сердцем.

— Прекрасно,— сказал Левин, глядя на Шуру,— великолепно. С таким сердцем можно пойти обратно, туда, откуда он пришел, пошуметь там еще с полгода и без всякого риска вернуться обратно. Надо же иметь такое железное здоровье!

Глаза у Шуры повеселели, а он покивал головою и, жуя губами, пошел к Плотникову. Там тоже в кресле, забравшись на него с ногами, сидела девушка, назвавшая себя давеча Настей, и при слабом свете ночника читала толстую книгу. Левин молча опустился на край кровати, посмотрел в лицо Плотникову и только хотел спросить у Насти, просыпался ли он, как Плотников открыл глаза, вздохнул и, точно продолжая прерванный разговор, сказал:

— Там, видишь ли, было много времени для размышлений, и вот, когда меня особо мучила рука...

Глаза его выразили удивление, он улыбнулся и, вглядываясь в Левина, произнес:

— Простите, пожалуйста, подполковник, я задремал, а в это время вы тут очутились. Здравствуйте! Что это вы так похудели? Работы много?

И, продолжая улыбаться, по-прежнему вглядываясь в Левина светлыми, блестящими и серьезными глазами, добавил:

— Очень рад вас видеть.

— Так мы ведь уже виделись,— сказал Левин,— и разговаривали даже.

— Да? — нисколько не удивился Плотников.— Я теперь, знаете ли, многое стал забывать. Странное состояние. Это пройдет?

— Обязательно. Вам только спать побольше надо.

— Я и сплю все время. Там спал, куда нас вначале доставили, на катере спал и тут сплю. А может быть, это я умираю?

Левин улыбнулся и покачал головою.

— Нет,— сказал он,— вы не умираете. Так не умирают.

Плотников вздохнул, помолчал, потом ответил:

— Ну и отлично, если не умираю. Впрочем, это все по-разному бывает. Вот я Настеньке давеча рассказывал, что там у меня был период, когда самым трудным казалось не застрелиться. Меня рука тогда очень мучила, и вообще положение было безнадежное, так вот Федор Тимофеевич и придумал формулу, что ты, дескать, Плотников, сейчас затрудняешься жизнью.

— Затрудняешься жизнью? — с удивлением повторил Левин.

— Да, так он сказал — затрудняешься жизнью. И тебе надо через этот период перейти, потому что ты командир и большевик, ты коммунист, Плотников, и ты обязан перейти через этот рубеж так же, как через все иное перешел. Вот это и было самое трудное. Слышишь, Настенька?

Настя кивнула головою и еще ниже наклонилась к Плотникову.

— Устал,— сказал он.— Вот так десять слов скажу и устану... Надоело это состояние, подполковник. И сам я себе надоел с этой слабостью и болями.

Он брезгливо поморщился и закрыл глаза. Левин еще посидел немного, глядя на Плотникова и думая о тех словах, которые он только что сказал, потом поднялся, взявшись рукою за изножье кровати, и сразу же почувствовал, что идти не может. Где-то близко словно бы зазвонил ему в уши колокол, от этого колокола помчались радужные, колеблющиеся круги, и тотчас же

все стихло, оставив только одну нестерпимую и острую боль, которую он не смог скрыть и не смог вытерпеть. Хрипло застонав и услышав свой стон, он привалился к изножью плотниковской койки и пришел в себя уже раздетым и уложенным на вторую кровать в той же палате, где лежал Плотников. То, что он лежит вместе с Плотниковым, почему-то обрадовало его, но тут же ему стало неловко, и он громко сказал Насте, по-прежнему сидевшей в кресле с ногами:

— Напугал я вас, а?

Ольга Ивановна зашикала на него, но он не обратил на ее шиканье никакого внимания и опять спросил:

— Очень стало страшно? Это у меня теперь бывает, боли такие дурацкие, но они быстро проходят. Полежу немного и встану, правда, Ольга Ивановна?

Ему почему-то казалось, что лежит он недолго, что еще вечер, и, помолчав, он спросил:

— Раненых не привозили?

— Не привозили,— ответила она,— но наступление началось.

Он слегка приподнялся и заглянул ей в глаза.

— Правда?

— Правда. Рассказывают, что командующий повел штурмовиков, а лучше сами послушайте!

И она сделала движение головой кверху и замерла. Он тоже напрягся и даже закрыл глаза, чтобы лучше слышать: длинное, сильное и смутное гудение идущей армады машин донеслось до него.

— Мы с полчаса на крыльце стояли,— сказала Ольга Ивановна,— все слушали. Идут и идут. Как начало светать, так и пошли. Сколько тут служу в авиации, никогда не думала, что так много у нас машин. Даже смотреть страшно.

И она улыбнулась почему-то растерянно.

— Ну, хорошо,— сказал Александр Маркович,— вы себе идите, дорогая, а этой девушке скажите, чтобы отвернулась. Я одеваться буду.

Ольга Ивановна хотела что-то сказать, но промолчала. Он оценил это ее молчание и как бы в благодарность потрепал ладонью ее локоть. Потом поднялся, принял душ в еще пустой госпитальной душевой и долго брился перед маленьким зеркальцем, стараясь не заме-

чать страшных изменений, происшедших с его лицом. Затем пришил чистый подворотничок к кителю, и, поднявшись в ординаторскую, велел принести себе чаю покрепче. Чай ему принесла Анжелика — сизо-красная, суровая.

— Вот что, Анжелика,— сказал он ей, вылавливая ложечкой чаинку из стакана,— попрошу вас иметь теперь всегда наготове шприц и прочее необходимое мне. Пусть эти наборчики в пригодном для употребления виде будут и в операционной, и в перевязочной, и, например, тут. Вы понимаете мою мысль?

Анжелика кивнула, и это получилось у нее похоже на поклон.

— А теперь мы с вами немножечко займемся терапией,— продолжал Александр Маркович.— У меня дела осталось еще порядочно, и я хотел бы подольше иметь приличную форму. Эта мысль вам тоже понятна? Да вы садитесь, Анжелика, я сейчас рецепты буду писать...

И он принялся выписывать рецепты, вздев на лоб очки и порою ненадолго задумываясь. Он выписал раствор атропина, разведенную соляную кислоту, пантокрин, а потом подробно, иногда раздражаясь и даже покрикивая по старой привычке, обсуждал вместе с Анжеликой диету на будущее, и было похоже, что речь идет не о самом докторе Левине, а о совершенно постороннем человеке, об одном из тех, кто лежит сейчас в госпитальных палатах.

Когда диета была тоже выяснена, Александр Маркович облачился в халат, положил в карман пачку папирос и пошел в приемник, где поджидала раненых Ольга Ивановна. Но раненых не было пока что ни одного человека, и им обоим — Левину и Варварушкиной — стало от этого поспокойнее. Подполковник посидел тут еще с полчаса и отсюда отправился в палату к Курочке, с которым еще не говорил толком, потому что возле него постоянно скучала его красивая жена, попавшая сюда, в эту их жизнь, словно с другой планеты и чем-то раздражавшая Левина. Но сейчас Веры Васильевны не было, хоть ее недавнее присутствие и ощущалось по запаху крепких, непривычных в госпитальных палатах духов. Инженер не спал, и по его взгляду Александр Маркович увидел, что Курочка обрадовался ему.

— А, доктор! — только произнес он, но это значило гораздо большее.

— Доктор, доктор! — передразнил Левин, и это тоже значило гораздо больше того, что он сказал.— Доктор. Я много лет доктор, и что из того?

Он сел. Они оба помолчали, потом инженер подмигнул ему одним глазом и шепотом сказал:

— Нагнитесь сюда, я вам привез кое-какие новости.

— Именно?

— Дело в том, что я придумал для нашего с вами костюмчика то самое усовершенствование. Помните, мне что-то не нравилось в костюме. И вы на меня орали. Кстати, вы по-прежнему орете?

— По-прежнему! — ответил Левин с вызовом.

— Так вот, сейчас бы вы, конечно, на меня наорали,— продолжал Курочка,— но я у вас в госпитале. И поэтому у меня преимущество. А теперь разрешите вам напомнить суть дела: летчик, как вам известно, может падать и в бессознательном состоянии. Следовательно, он может упасть лицом вниз. А если он упадет лицом вниз, то так или иначе захлебнется, пусть даже наш костюм и сработает полностью. Просто лицо летчика будет погружено в воду, понимаете?

— Понимаю,— сказал Левин.— Из-за этого мы и законсервировали работу.

— Еще бы не законсервировать! Значит, дело в том, чтобы обеспечить падающему автоматический поворот на спину. Этот автомат я и сконструировал на досуге. Поправлюсь — испытаем. Просчета быть не может.

У Левина сделалось испуганное лицо.

— Где же это вы придумали? Там? — спросил он, показав рукою на окно.

— Нет, не там,— улыбаясь, ответил Курочка,— там, куда вы изволили показать,— Москва. Я же был в другой стороне.

— А ну вас к черту! — крикнул Александр Маркович.— Что же вы мне голову морочите? Вы же понимаете, о чем я спрашиваю. Вы придумали это в тех обстоятельствах?

Курочка помолчал, потянулся и ответил наконец подробно.

— Дорогой Александр Маркович,— сказал он,— некоторое время мы жили там чрезвычайно спокойно, и это спокойствие при полной безнадежности будущего было самым страшным для всех нас. Работа же отвлекала меня, например, от мыслей насчет безнадежности

и бесславного конца жизни. Кроме того, мне казалось, что в крайнем случае я буду иметь возможность радировать сюда нашим кодом все то, что будет мною сработано, и, странное дело, эти мысли взбадривали меня, настраивали меня на сентиментальные, но не лишенные основания мысли по поводу единственного бессмертия, в которое мы способны верить. Да и в самом деле, смешно нам с вами предполагать, что души наши впоследствии будут принадлежать, допустим, кошечкам или собачкам. Так? Следовательно, только дело способно в какой-то мере обессмертить человека. Я не раздражаю вас длинными разговорами?

— Нет,— сказал Левин,— почему же? Я и сам об этом думаю довольно часто. . .— И виновато улыбнулся.

— Я в последнее время стал почему-то много говорить,— тоже улыбнулся Курочка,— жену совершенно заговорил. Она вам, наверное, жаловалась? Впрочем, все это вздор, все от праздности. У вас папироски нет?

— Есть,— сказал Левин.— Но вам я не дам. Вам не надо сейчас курить.

Курочка укоризненно посмотрел на Левина и вздохнул.

— Что же вы там все-таки делали? — спросил Александр Маркович.— Я спрашиваю не потому, что так уж любопытен, а потому, что не представляю себе вас на этой работе.— Он подчеркнул «этой» и значительно посмотрел на инженера.— Или не будете говорить?

— Не буду,— сказал Курочка.— Трудно было, Александр Маркович, вспоминать не хочется. Тут тепло, тихо, спится спокойно, нет, не хочу вспоминать.

И он даже засмеялся от радости, что не будет вспоминать и что тут тепло и спокойно спится. Потом добавил:

— Какао приносят и уговаривают попить, утром блинчиками угощали, а я не доел. Интересно. Вообще, чрезвычайно много интересного. Жена приехала, мы ведь с нею очень долго не виделись, она рассказывает, я слушаю. Не дадите папироску?

— Не дам.

— Вам просто жалко.

— Ну и что?

Пришла Анжелика и вызвала его в сортировочную. Прибыли раненые.

— Оттуда? — спросил он по дороге.

— Нет,— строго ответила Анжелика,— несчастный случай. Какая-то поперечная пила сломалась и поранила их. Они из тыла.

Достоуважаемый майор!

Вот Вы удивитесь: Ваш-то муж, Ваш-то генерал к нам приехал! Можете себе представить! Сам лично, собственной персоной его великолепие наш академик! И что страху нагнал, и что только делалось, и как мы все трепетали!

Чтобы не забыть — спасибо за фуфайку. Но должен отметить — лучше бы занимались панарициями, нежели вязанием фуфаек. Фуфайка хороша — спору нет, но ведь Вы у нас доктор, а для вязания фуфаек Ваше образование не нужно.

Спасибо за книжки. Книжки хорошие, но я их читал. Вообще, сейчас все совсем иначе, чем когда-то. Мы — фронтовые хирурги — получаем все, что выходит, и читаем все, что получаем. Так что просил бы к нам сверху вниз не относиться.

Могу сообщить Вам свои впечатления о Вашем супруге и моем друге Н. И. Состояние его здоровья — отличное, жизненный тонус не оставляет желать лучшего, как ученый он произвел на всех наших флотских врачей прекрасное впечатление: какая широта, какой живой интерес ко всему действенному, какая способность к анализу, какое умение обобщить, развернуть перспективу, увидеть самое существенное и главное.

Короче говоря, несмотря на все пережитое, Н. И. остался на высоте той моральной чистоты, которая так пленила нас в юном студенте-большевике. Та же невероятная требовательность к себе, то же чисто русское лукавое добродушие, тот же размах и неиссякаемое трудолюбие.

Может быть, когда-нибудь Н. И. расскажет Вам о той роли, которую он сыграл в моей жизни в эти трудные для меня дни. Впрочем, вряд ли. Это не тот характер, который способен рассказывать о себе. Но Вы тем не менее должны знать, что, любя Вашу семью с молодых лет, я нынче еще более ощутил ту спокойную силу, которая цементировала нашу дружбу и которой мы целиком обязаны Николаю Ивановичу.

Ваш муж — золото. Но я тоже молодец. Пожалуйста, не думайте, что я хуже. Я, может быть, лучше,

и Вы еще пожалеете, что не вышли за меня замуж. А какой я нынче хорошенький в фуфайке, связанной Вашими ручками!

Еще немного про Вашего мужа.

Мы, хирурги, давали в его честь обед. Обед по нашим прифронтовым условиям был роскошный. Присутствовало наше командование, говорились речи, а один старый врач-хирург, участвовавший еще в прошлой германской в качестве зауряд-врача, даже прослезился. Вопрос, о котором он говорил, был вопрос чисто принципиальный, и говорил старик интересно. Речь шла о народной войне и о том, как народное командование дает воюющему народу все лучшее, что есть в государстве, в частности лучших представителей науки в лице, например, Н. И. Говорилось также о том, что мнения таких ученых, как Н. И., в нашей стране имеют решающее значение, что не департаментские чинуши определяют идеи ученого, но совет таких же ученых, и что мы все приветствуем нашего дорогого гостя. Тут все встали и устроили Н. И. форменную овацию. Казалось бы, он должен был поблагодарить в ответном слове, и все бы кончилось умилительно и трогательно. Однако же не тут-то было. Н. И. вынул из кармана свою записную книжку (догадываетесь?), обвел нас всех взглядом и... стал нас бранить, но в какой изящной, в какой милой форме! Он просто нам напомнил кое-что, просто рассказывал, обращал внимание, подчеркивал и т. д. Командующий наш хохотал до слез и, выходя, сказал мне:

— Ну и человечище! Ах, человечище! Вот так баня, ну и баня! Это называется поблагодарил за гостеприимство. Это называется угостили обедом! Как он насчет обморожений-то прошелся! Что, дескать, хотели быть умнее санитарного управления Красной Армии, местничество завели и сели в калошу. Ах, доктора, доктора, ну вы и народ, оказывается! С вами и-и-интересно, с вами не соскучишься!

А надо Вам добавить, что командующий наш фигура весьма примечательная, своеобразная и талантливая.

Видите, как я расписался.

Это потому, что у нас сейчас только и разговоров о Н. И. Вспоминают, хохочут, за голову хватаются, а некоторые испуганы всерьез и спрашивают, чем же это все кончится?

Я тоже не знаю, чем все это кончится.

До свидания. Пишите мне.

Вообще, барыня, Вы мне очень мало пишете. Может быть, Вы думаете, что слова, которые я написал о Вашем муже, имеют какое-либо отношение к Вам? Ошибаетесь! Решительно никакого. Вы явление глубоко заурядное, доктор, позволяющий себе вязать фуфайки, человек отсталый, которому очень следует держаться за переписку со мною, потому что я воздействую на Вас положительно и тяну Вас кверху.

Ваш благодетель и подполковник А. Левин

25

Доктор Баркан постучал к Левину.

— Да! — ответил подполковник.

Сдвинув очки на кончик носа, он надписывал адрес на конверте своим характерным размашистым почерком.

— Вот, изложил пребывание генерал-доктора у нас,— сказал Александр Маркович,— его супруге пишу. Мы все друзья молодости, и близкие друзья.

Вячеслав Викторович едва заметно улыбнулся.

— Я уже слышал об этом. И не один раз.

— Разве? — немножко испугался Левин.

Потом отложил конверт в сторону и тоже улыбнулся.

— Что же, все мы люди, все не без греха,— произнес Левин со вздохом.— Не стану лгать, мне было приятно, когда он давеча на обеде сказал обо мне несколько добрых слов. Человек с большим научным именем, нет государства, в котором не издавались бы его работы... Вы пришли ко мне по делу?

Баркан кивнул, и они занялись делами. Погодя заглянула Варварушкина и тоже присела к столу. Потом с треском распахнулась дверь, стремительно влетела Анжелика и пожаловалась на некоего лейтенанта Васюкова, который уже четыре дня не желает выполнить все то, что от него требуется для различных анализов.

— Ну? — спросил Левин.— Вы желаете, чтобы я обратился к командующему ВВС с рапортом на эту тему?

— Нет,— трагическим басом воскликнула Анжелика,— нет и еще раз нет, товарищ подполковник, но я не желаю подвергаться оскорблениям! Этот Васюков в ко-

ридоре сейчас попросил меня, чтобы я за него подготовила... анализы.., надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь...

Левин хихикнул, но тотчас же сделал серьезное лицо.

— Безобразие! — сказал он.— Я надеюсь, что майор Баркан призовет лейтенанта Васюкова к порядку. Так, товарищ Баркан?

Баркан наклонил свою лобастую голову и тотчас же отправился распекать летчика. Но ходячий Васюков куда-то запропастился. В шестой палате два голоса печально пели:

Меня не греет шаль
Осенней темной ночью,
В душе моей печаль,
Тоска мне выжгла очи.

Баркан медленно пошел по коридору, потом возвратился и еще послушал.

Осенней ночью я с ним прощалась
И прошептала, как на беду:
С тобою, милый, я здесь прощаюсь,
А завтра вновь я к тебе приду...

Сердце его билось тяжко, глаза горели. Он потер щеки ладонями и почти громко сказал:

— Доктор Левин Александр Маркович, простите ли вы меня?

Впрочем, может быть, он ничего не сказал, а только услышал свою мысль. Но эта мысль была еще неточной, неточно выраженной. В сущности, Александр Маркович вовсе не такое чудо, если присмотреться внимательно. Нужно посмотреть пошире, оглянуться повнимательнее на всех, кто живет и работает, кто вылечивается и поступает в госпиталь.

В палате по-прежнему пели:

Скажите, люди, — ужель иная
И он не любит теперь меня.
Когда-то я ему родная —
Теперь чужая навсегда...

А доктор Баркан все ходил и ходил по коридору и все думал, потирая щеки ладонями. Думал про бутылку шампанского, с которой пришел когда-то к Александ-

ру Марковичу, думал про то, как разговаривал с некоторыми ранеными, думал о себе и о своей длинной жизни, и о том, что он здоров и будет жить еще долго, но как-то иначе, а как иначе — он не знал. Но тотчас же обозлился на себя за все эти мысли и отверг их, не замечая того, что, как бы раздраженно он ни отстранялся от собственной внутренней жизни, там, помимо его разума, уже началась своя сложная работа, которая совершалась непрерывно и зависела только от окружающей его и вечно изменяющейся жизни.

Да и что он мог заметить, когда уже давно жил иначе, чем в первые месяцы своей работы здесь?

Раненых привезли ночью, и не слишком много.

Левин с папироской в зубах спустился в сортировку и узнал, что наступление началось. Работая, он слушал рассказы о том, как и где прорвали опорные пункты противника, как высаживались десанты и каким образом действовала пехота. И постепенно, вслушиваясь в разговоры, понимал, что эти раненые иные, чем раньше. Это были сплошь раненые-победители, необычайно обозленные тем, что им не удастся встретить день победы на фронте, а придется встречать его в госпитале.

Им было что рассказать, и то, что они рассказывали тут, в сортировке, сразу уходило наверх по палатам. Спящие просыпались, в коридорах было полно ходячих больных, тут пересказывалось со всеми подробностями то, что привезли с собою из наступления «новички», назывались фамилии моряков, пехотинцев и летчиков, номера полков и дивизий, и то и дело кто-нибудь вдруг вскрикивал шальным голосом:

— Это ж мои! Мои пошли! Товарищи дорогие, это ж мои пошли!

И в сортировке раненые говорили Александру Марковичу примерно одно и то же: что с такими ранениями, как у них, отправлять в тыл смешно, что они позориться не желают, что они напишут рапорты куда следует и что кое-кому не поздоровится. Особенно наскакивал и петушился очень бледный старшина с перевязанной головой, в немецком ботике вместо сапога. У старшины были немецкие сигареты, он их всем предлагал и в лицах показывал, как он с ребятами выбросился с «катеришек», как они залегли и тотчас же сделали бросок впе-

ред и уже пошли не останавливаясь, так как фашисты бегут.

— Вот бегут! — кричал он.— Морально они кончены, понимаете, товарищ военврач? А у меня пулеметчики. Они мне говорят: перевяжешься — и сразу обратно дуй, нам без тебя как без рук. А меня за конверт и в кружку. Товарищ военврач, я вас убедительно прошу!

— На стол! — сказал Левин.

Трое других прикидывали, сколько осталось до полной капитуляции фашистов, и все выходило так, что они успеют обратно в свои части только к полному шапочному разбору.

Дорош в углу в чем-то убеждал толстого, очень расстроенного полковника, который ежеминутно прикладывал руку к груди и говорил:

— Послушайте, я ведь не сумасшедший, но столько времени ждать этого часа и оказаться на госпитальной койке, посудите сами, не глупо ли это? У меня в дивизионе отличный врач, широко образованный, не коновал какой-нибудь...

— Здравствуйте,— сказал Левин,— что за базар? Тут не торгуются, полковник. Сейчас мы вами займемся. Приготовьте мне полковника. А у вас что, лейтенант? Ничего? Вы попали ошибочно? Очень приятно. Здравствуйте, товарищ матрос! Легкое ранение, не затронувшее костей и кровеносных сосудов? Александр Григорьевич, тут один матрос, он по образованию врач, разберитесь. Сам все знает. Это что за герой, Ольга Ивановна? Болит? Очень? Можно дать пока что морфий, Ольга Ивановна. Послушайте, старшина, не изображайте тут в лицах все сражение, слишком шумно для госпиталя. Товарищи, это же майор Седов. Здравствуйте, майор! Сколько лет, сколько зим! Вас сбили? Вы не летали? Но вы же в штурмовой? Извините ради бога. Александр Григорьевич, идите скорее сюда, тут начальник нашего наградного отдела. Ну? Как это вас угораздило?

Майор лежал со значительным выражением лица, улыбался и молчал. Потом попросил Левина наклониться к нему и произнес шепотом:

— У меня во всех карманах ордена и документы. Тридцать девять орденов. Попрошу, чтобы приняли и записали по акту. Поехали на аэродром подскока — туда только что сели наши машины — и заехали к фашистам. Поверите, фрицы с автоматами прямо в маши-

ну залезли. Шофер лихой — газанул, мы и удрали. Но ордена меня невероятно беспокоят.

Покуда Седов сдавал ордена, все на него смотрели. Ну и майор! Тридцать девять орденов, из них одиннадцать Красного Знамени. А с виду парень — ничего особенного.

Майор лежал розовый, застенчивый, серьезный. Дорош писал акт, положив на колено папку. Два матроса смотрели, смотрели, потом тот, что потолще и почернее, сказал:

— Да, товарищ, об таком хозяйстве можно побеспокоиться. Тридцать девять орденов. С ума сойти!

Седов приподнял голову с подушки, хотел что-то ответить, но промолчал.

Ответил другой матрос, пожиже и посветлее:

— А у нас с тобой по одному, и больше уже не будет, нет.

— Будет, будет,— сказал Левин,— война еще не завтра кончится. Покажите-ка вашу руку, кавалер. И локоть тоже? И плечико? Как это случилось?

Настя, та самая, которая целыми днями сидела у Плотникова, тоже была тут и работала, робко и застенчиво улыбаясь, когда ее изысканно благодарили моряки.

— Привыкаете? — спросил Александр Маркович.

— Привыкаю,— ответила Настя.

— А вы кто по специальности? — спросил он, вглядываясь в Настю.

— Да так, никто,— ответила она, краснея.

Александр Маркович прооперировал полковника, проводил взглядом каталку и вздохнул: операция была нелегкая, а у полковника пошаливало сердце. Опять привезли раненых, но уже знакомых — из авиации. Это были техники, которых с бреющего обстрелял штурмовик на аэродроме подскока.

— От же бандиты, от же ж хулиганы! — возбужденно говорил пожилой техник с висячими усами.— На обмане действовали, вот вам крест, святая икона. У них сто семьдесят машин без моторов — сам щупал, своими руками. Коммуникации перерезаны, морем не подвезешь, так эти бандюги их нарочно держали — безмоторные машины,— чтоб нам с воздуха казалось, якие они на самолеты богатые. Винты из фанеры, сам щупал. Хотите фашистский железный крест, товарищ доктор?

Справдашний, на ихнем КП с мундира снял. Ну что вам подарить? Пистолет «вальтер» не хотите?

— Хочу, чтобы вы помолчали! — сказал Левин.— Это вам вовсе не полезно — вот так трещать, словно сорока.

— Это оттого, что я выпивши трохи,— сказал техник.— Меня как ударило, ребята сейчас же: Иона Мефодиевич, давай фашистского рому прими, он от шока помогает.

— Шок! — удивился Левин.— Какие слова они знают, эти ваши ребята...

Ночью в операционной у него начались боли. Лора ловкими пальцами, слегка побледнев, ввела подполковнику пантопон. Баркан смотрел на Александра Марковича остановившимися глазами. Оперируемый всхрапывал на столе.

— Ничего, все в порядке,— сказал Левин.— Анжелика, дайте мне щипцы Люэра.

Сержанта переложили на каталку и увезли. Левин пошел к умывальнику, но больше не оперировал. К столу встал Баркан. Александр Маркович сел на табуретку и просидел так до шести часов утра, изредка давая советы в деликатной, полувопросительной форме. В эту ночь все понимали, что происходит что-то значительное, важное, гораздо большее, чем тот факт, что оперирует Баркан, а Левин только присутствует. У Лоры часто на глаза навертывались слезы, и Анжелика сделалась какой-то другой — словно бы вдруг оробела. Баркан слушал беспрекословно, и большие уши его почему-то теперь не раздражали Левина. Он даже подумал: «Драли его, наверное, за эти самые уши. И хирург он недурной — находчивый, быстро соображающий».

В шесть работа кончилась.

Вдвоем они вышли из операционной.

Баркана слегка пошатывало от усталости. Анжелика принесла им в ординаторскую чай. Было уже совсем светло, солнце взошло давно, наступила полярная, солнечная весна. Левин отворил окно. Над заливом кричали чайки, гулко, басом захрипел гудок какой-то посудины. Война ушла далеко, так далеко, что тут теперь летали почти только транспортные самолеты. Александр Маркович закурил папиросу и заговорил о сегодняшних операциях. У него был каркающий голос, но Баркан не слышал раздражения во всем том, что говорил Левин.

Потом, перегнувшись к нему через стол, вздев по своей манере очки на лоб, Александр Маркович сказал:

— Послушайте, Баркан, вам приходило в голову, что у меня должен быть заместитель?

Баркан молчал.

— Не приходило? Послушайте, бросьте вашу этику провинциального Баркана. Вы — военный Баркан. Будем говорить как мужчины, будем смотреть друг другу в глаза. У вас есть опыт и есть возраст. У вас есть кое-что из хорошей школы. Впрочем, оставим этот предмет. Я повторяю вам: мне нужен заместитель.

— Зачем?— спросил Баркан.

— А вы не догадываетесь?

Баркан на мгновение опустил свою квадратную голову. Лоб его пошел морщинами, он запыхтел. Потом взглянул на Левина и ответил почти резко:

— Ну, знаю. Ну, догадываюсь. Но вы меня терпеть не можете.

— Дело не в личных симпатиях и антипатиях,— сказал Левин,— дело в моем отделении и в его будущем. Дело также в некоторых традициях нашего госпиталя. Ольга Ивановна прекрасный врач, но она молода и у нее пылкая голова. Мне нужен заместитель. Понимаете?

— Я и замещаю вас,— ответил Баркан,— я же ваш помощник. Но, кажется, вы говорите не об этом.

— Да, я говорю не об этом,— жестко сказал Левин.— Впрочем, мне некогда нынче разводить антимонии. Пока я справляюсь с собою, вы будете у меня кое-чему учиться. Потом вы останетесь тут сами. Понимаете? Ну, пришлют еще врача, а я хотел бы знать, что тут вы. Но, черт подери, не тот вы, которого я грубо ругал, а тот вы, который еще может из вас вылупиться. Послушайте, Баркан, в глубине души вы думаете, что я самодур, а вы хороший, знающий доктор, так ведь?

— Я знающий доктор, но вы не самодур,— сурово сказал Баркан.

— В общем, не будем больше говорить об этом сейчас,— сказал Левин,— такие вещи не решаются разговорами. Надо немного поспать, а потом опять заняться делами. Хотите еще чаю?

Когда Баркан ушел, Левин сел на окно и закурил еще одну папиросу. По-прежнему кричали и дрались чайки. Светлое облако — пушистое и легкое — неслось по небу. Лора стояла на крыльце в халате и косынке,

а давешний старшина с усиками влюбленно и нежно смотрел ей в глаза, держа ее руки в своих ладонях. «С добрым утром!» — сказал диктор. А доктор Левин сидел на своем подоконнике с искаженным страданием лицом. Нет, ему не было больно. Ему просто было хорошо и легко, и от этого так ужасно трудно.

Почти со злобой он захлопнул окно. Но тут же, стиснув зубы, он вновь открыл створки и заставил себя еще поглядеть на весеннее утро, на блеск воды в заливе, на на косо летящих чаек. Лицо его разгладилось. Сердце стало биться почти спокойно.

И ровной походкой, шаркая подошвами, он пошел к себе в палату. Теперь он жил в палате, потому что все-таки в подвале было страшновато. Или не страшновато, но одиноко. Или даже не одиноко, но скучно, да, да, скучно. И зачем ему подвал? В палатах есть места, и раненые ближе, и мало ли что.

Плотников спал, лежа на спине. Лицо у него было строгое, командирское. Недаром он жаловался, что по ночам ему снится, как он приказывает. «Всё военные сны,— говорил он улыбаясь,— гражданских больше не вижу. Пропишите мне, подполковник, один хороший гражданский сон».

26

Утром он опять был в операционной. Сам он не оперировал, он только смотрел и советовал. Потом военфельдшер Леднев доставил на бывшем спасательном самолете шестерых тяжелых, и одного из них прооперировал Александр Маркович. Спасательный самолет сейчас работал и как санитарный, и Бобров это теперь одобрял. Накануне они вытащили из фиорда летчика — это тоже чего-нибудь да стоило.

— Ну как? — спросил Александр Маркович.

— Кончаем фрица,— поглаживая макушку, сказал Бобров.— Труба его дело.

Он улыбался, стоя в ординаторской, покуривал и балагурил.

— Коньяку дать? — спросил Левин.

Точно почуяв коньяк, пришел Калугин с большой папкой, выпил рюмку и отправился к Курочке показывать свой последний аэровокзал.

— На конкурс посылаю,— похвастался он Левину,— уверяю вас, что это лучший проект из всех возможных. Не верите? Впрочем, Курочка разругает. Он всегда ругает, и довольно верно.

Курочка уже ходил, и Плотников ходил, и ленивый Гурьев тоже мог ходить, но больше полеживал — он любил лежать и теперь отлеживался за все километры, которые прошел пешком. Лежал у раскрытого настежь окна на легком сквознячке, перелистывал журналы и вдруг говорил:

— А то есть еще кушанье — вареники с вишнями. Подают их на стол холодными, и сметану к ним в глечике, и еще отдельно холодный вишневый сок с сахаром. Я в одном санатории кушал, так я до того докушался, что у меня сделалась температура сорок и положили меня в изолятор. Было подозрение на менингит.

Или говорил, что хорошо бы сейчас выпить одну бутылочку пивка с солеными сухариками.

— Ты морально деградируешь! — сказал ему Плотников.

— Я не деградирую, а нахожусь в отпуску,— ответил Гурьев.— В отпуску человек должен отдыхать и набираться сил. Верно, товарищ подполковник?

Левин посмеивался молча. Ему нравилось сидеть у них, когда они вот так препирались ленивыми голосами. Нравились их шутки, их голоса, нравилась Шура, которая как-то принесла в палату толстого маленького сына Гурьева, нравилось, как отец с некоторым испугом посмотрел на своего сына и сказал:

— А что, хороший парень. Видишь, шевелится весь.

Шура с укоризной посмотрела на мужа, а он щелкал мальчику пальцами и говорил издали:

— У-ту-ту, какие мы этого... толстые... у-ту-ту...

Плотников стоял поодаль, иронически прищурившись и высвистывая вальс. И всем было видно, что Гурьев боится остаться наедине с Плотниковым, боится, что тот будет его дразнить, и потому сам над собою подсмеивается, надеясь этим способом парализовать будущие шутки.

Стрелок-радист плотниковского экипажа — огромный и молчаливый Черешнев — тоже был симпатичен Левину. Он лежал долго, дольше всех, и был очень слаб, но даже в трудные для себя дни читал толстые книги из госпитальной библиотеки и делал из них

выписки на блокнотных листиках. И было почему-то приятно смотреть, как он пишет маленькими, бисерными буквочками и подчеркивает со значением: три черты, две, одна волнистая, одна прямая.

— Что это вы изучаете? — спросил его как-то Левин.

— Да ничего, товарищ военврач, культурки маловато — вот и работаю,— сказал он.— Из госпиталя меня демобилизуют, поеду на работу в район, неудобно...

Он вдруг покраснел пятнами и добавил:

— Заслуженный, награжденный, можно сказать большой человек, а кроме как рацию обладить или из пулемета дать огоньку, знаний не имеется. Мне майор Плотников общие указания дает, а я уж сам кое-что прорабатываю...

Иногда возле Черешнева сидела девушка — высокая, розовая, с круглыми бровями, и они шептались, а то просто молчали, подолгу вместе глядя в окно, за которым бежали пушистые белые облака. И было видно, что они любят друг друга и что им даже молчать вдвоем нескучно.

Как-то вечером во второе хирургическое пришел командующий. Раненые и выздоравливающие только что поужинали, няньки собирали по палатам тарелки и чашки, где-то на втором этаже тихонько пели хором. Вечер был холодный, как часто случалось тут, за полярным кругом, небо заволокло тяжелыми тучами, каждую минуту мог пойти снег, и все-таки в палатах было уютно, светло и в некоторых даже весело.

— Смирно! — скомандовал Жакомбай в вестибюле, и няньки, догадавшись, кто пришел, опрометью побежали со своими подносами, утками и суднами.

Что-то упало и разбилось вдребезги.

Выздоравливающий полковник басом захохотал, поскользнулся на кафелях и едва не свалился; командующий же, сдержанно улыбаясь, постучал в палату к Курочке и открыл дверь. Полковник все еще хохотал за углом в коридоре и рассказывал кому-то, давясь и захлебываясь:

— Она как брякнет поднос да как побежит! Убиться надо!

— Здравствуйте, подполковник! — сказал командующий.— Можно к вам?

Тут был и Левин. Командующий сел и заговорил тихим голосом, как все очень здоровые люди, попадающие

в больницу. Он принес хорошие вести насчет спасательного костюма. Дурных отзывов нет, впрочем...

Тут командующий помолчал и усмехнулся.

— О Шеремете не забыли? — спросил он вдруг.

Курочка и Левин переглянулись.

— И он нас не забыл,— сказал командующий.— По слухам, внимательно к нам относится. Мелкие недоделки есть в вашем спасательном костюме — он их отметил добросовестно, каждая недоделка под номером...

— А что он там делает, Шеремет-то? — спросил Александр Маркович.

— По науке товарищ разворачивается,— сказал командующий,— отозвали его в Главное управление, видать, без него как без рук. Что ж, повоевал, все правильно, не подкопаешься.

Взгляд его стал жестким, ненадолго он задумался, потом, встряхнув головой, перешел на другую тему:

— Да, вот так. С войной закругляемся, скоро перейдем на мирное положение. Уйдете от нас, Федор Тимофеевич?

Инженер помолчал, потом спросил:

— А куда, собственно, уходить? У меня тут целый ряд испытаний подготовлен, как же мне их бросать? Нет, товарищ командующий, сейчас мне уходить расчету нет.

Посмеялись немного, хоть ничего особенно смешного сказано не было. Посмеялись потому, что наступила минута, когда следовало спросить Левина о его планах, спрашивать же об этом было невозможно. И рассказали два не очень смешных анекдота про союзников.

— Да, вот так,— опять сказал командующий и во второй раз вынул портсигар.

— Ничего, товарищ командующий, курите,— сказал Левин,— одну папироску можно, тем более что Курочка сам курит во все тяжкие.

— А вы бросили?

— Зачем же мне бросать? От этаких мероприятий я ничего не выиграю,— сказал Левин,— а удовольствие потеряю. Я ведь курильщик давний. Еще когда меня мой хозяин шпандырем учил — покуривал.

— А вы сапожничали?

— Было дело под Полтавой,— сказал Левин.

Они закурили. Командующий далеко отставил руку

с папиросой и негромко спросил, как Александр Маркович себя чувствует.

— В общем ничего,— ответил Левин.— С работой справляюсь.

— Нет, медленно, слишком медленно ваша наука разворачивается! — сурово сказал генерал.— Мало еще можете, товарищи доктора, совсем немного. Ну чего особенного вы достигли за последнюю сотню лет?

Левин порозовел настолько, насколько еще мог розоветь, и ответил резко:

— Мало? А нам, врачам, отдали за последние сто лет хоть один день той энергии, которая отдается на войну? Хоть один день тех умственных сил, один день со всеми грудами денег, которые тратятся на эти войны?

Командующий тоже на мгновение рассердился:

— Я, знаете, не этот, не поборник войн и не поджигатель их...

— Да я не о вас, я в принципе говорю! — оборвал его Александр Маркович.— А вообще-то, товарищ командующий, судить можно и нужно, зная предмет, судить же, да еще и осуждать — не рекомендуется. Тысячи прекраснейших людей отдали свою жизнь медицине, ничего не достигнув, а некоторые достигли удивительных результатов, поверьте, не для того, чтобы любому профану позволительно было утверждать...

— А разве ж я утверждаю? — примирительно начал командующий, но подполковник опять перебил его.

— Лев Николаевич Толстой был великим художником, гением, гордостью России и всего человечества,— говорил он,— но когда начинал рассуждать о науке — любому земскому врачу становилось неловко. О докторах и медицине вы все судите совершенно так же, как я, допустим, сужу о достоинствах и недостатках многомоторных бомбардировщиков...

Командующий усмехнулся и опять хотел что-то сказать, но Левин уже мчался, горячась с каждой минутой все больше и решительно не позволяя перебивать себя.

— Нет, это удивительно! Просто удивительно!— говорил он.— Хирургия, например, вплотную подошла сейчас к стойкому излечиванию психических заболеваний, представляете себе? Хирургия еще экспериментально, но уже борется с такими вещами, как склероз сердечной мышцы. Да, черт меня возьми, тридцать-сорок лет на-

зад операции по поводу аппендицита не производились, аппендицит как заболевание не распознавался. Как хочешь: хочешь выжить — живи, а нет — помирай. А нынче от этой болезни не умирают, понимаете? Просто-напросто не умирают, потому что один процент смертности это и не смертность даже. Да что говорить, когда мы делаем невероятные, огромные, удивительные успехи...

И, заикаясь от волнения, он стал рассказывать о том, как лечили сто лет назад и как лечат теперь. Он называл имена врачей-ученых, не замечая, произносил сложные термины, даже притопывал ногой, как делают это настоящие заики, до тех пор, пока речь его не полилась страстно, вдохновенно и даже счастливо. Чертя в воздухе длинным пальцем, Александр Маркович рассказывал о последних удивительных операциях, о том, как совершенно обреченным людям возвращали жизнь, о том, что ждет человечество, о том, на что можно надеяться в ближайшие послевоенные годы, и карканье его разносилось так мощно и так далеко по коридору, что Анжелика, сделав губы дудочкой, догнала на лестнице Ольгу Ивановну и сказала ей значительно:

— Наш-то! Самому командующему целую лекцию закатил. Кричит даже.

Командующий слушал, блестящими глазами глядя на Левина. И Курочка тоже слушал, слегка приопустив веки, постукивая пальцами по краю стола. Отворилась дверь, вошел Плотников в халате, взглядом спросил командующего, можно ли присутствовать, и сел на кровать.

— Да вот хоть бы Плотников! — закричал Левин и притопнул ногой. — Пожалуйста, прошу любить и жаловать. По всем законам старой хирургии, и не очень старой, по всем законам мы должны были ему руку ампутировать, и совсем еще недавно тут ничего и обсуждать не пришлось бы. А ныне доказано, что на верхних конечностях, даже в случае размозжения суставов, можно не ампутировать. Статистика и наблюдения показывают, что консервативное лечение путем иммобилизации, переливания крови, хирургической обработки раны в современном понимании обработки — этакое лечение достигает цели и без применения ампутации. Вот мы Плотникову руку и сохранили. В локте она у него неподвижна, но кисть работает, и хорошо работает.

Плотников, покажите командующему руку, он медицине не верит.

Плотников показал, хоть командующий и верил, но Левину всего этого было еще мало, и он опять заговорил — теперь про Ватрушкина.

— Вот вы за него нас благодарили,— говорил Александр Маркович,— и не зря благодарили, но только не нас, а вообще хирургию надо было благодарить. Будь наш Ватрушкин ранен в живот с повреждением кишечника пятьдесят лет назад, он неизбежно должен был погибнуть, а нынче мы таких раненых возвращаем к жизни и к работе. Ну хорошо, Ватрушкин Ватрушкиным, а вот опухоли, например, пищевода. . .

И он обвел всех вдруг молодыми и блестящими глазами.

— Опухоли пищевода, да! Я не боюсь об этом говорить, понимаете? Сейчас уже семьдесят процентов оперированных спасаются. Семьдесят! А еще пятнадцать лет назад все раки пищевода заканчивались гибелью. Понимаете вы мою мысль? Понимаете вы, что я верю и вера моя не слепа, я верю и знаю, и всегда буду верить, и не боюсь верить даже в нынешние мои трудные дни. Ну? Почему вы опустили головы? Товарищ командующий, а помните, как вы сказали мне в сорок первом, когда фашисты нас били и бомбили, помните? Вы сказали: «Военврач Левин, мы их разобьем так страшно, что веками поколения будут вспоминать этот разгром!» Вы сказали мне это, товарищ командующий?

— Сказал,— негромко ответил Василий Мефодиевич.— Странно было бы, если бы я сказал иначе.

— А не странно бы было,— спросил Левин,— если бы я, хирург, испугавшись собственной смерти, отказался от всего того, чему посвятил жизнь? Нет, я прожил свою жизнь бок о бок с летчиками, с нашими летчиками, и они меня кое-чему тоже научили. . .

Он сел, побледнев. В палате было тихо. А рядом пели:

Ведь он сказал мне, что уезжает,
Просил забыть он обо всем.

Отворилась дверь, Баркан просунул голову и, спросив у командующего разрешения обратиться к Левину, вызвал его в операционную.

— Отвратительно так терять людей,— вдруг сказал командующий,— отвратительно. Если бы нам не мешали, если бы к нам не лезли, если бы мы могли все силы отдать науке, что бы уже сделали наши люди, чего бы они добились...

27

Потом, сразу после того как перестали поступать раненые, Левин начал слабеть. Первое время Александр Маркович не хотел замечать эту слабость, сопротивлялся ей и даже стоял, опираясь на палку, тогда, когда можно было вовсе и не стоять. Но наступили такие дни, когда силы совсем оставили его, и тогда он распорядился поставить себе кресло на террасу, чтобы «набираться здоровья на воздухе».

Кресло ему поставили в углу, на солнце, но теперь ему часто делалось холодно даже под двумя одеялами, даже в теплом халате и зимней шапке.

Тут он слушал последние сводки Совинформбюро и тут, в своем кресле, встретил День Победы. Это был удивительный день — с солнцем и пургою: серебряные, сверкающие снежинки крутились в холодном, прозрачном воздухе, все время где-то неподалеку играли оркестры, и на террасе было много здоровых людей, которые пришли к своим раненым товарищам, чтобы порадоваться вместе с ними. Тут, на террасе, качали Дороша, обнимались, целовались и даже покачали Анжелику, которая совершенно утеряла всякую власть в эти часы.

Потом сюда вдруг пришел командующий с генералом Петровым. Он посидел молча на ветру в шинели и фуражке, а когда его попросили сказать что-нибудь, он встал и, оглядев лица молодых людей, заговорил негромким, осипшим голосом.

— Мне очень трудно нынче говорить,— сказал он,— потому что большего дня в моей жизни не было. И трудно собраться с мыслями, подвести итоги и сказать самое основное. Одно могу заявить: горжусь и до смерти буду гордиться тем, что правительство и наша партия доверили мне в эти годы счастье командовать такими людьми, как вы.

Он говорил долго и вспоминал трудные дни первого года, вспоминал начало полного господства в воздухе,

вспоминал великое наступление. И называл имена погибших, называл сражения, вошедшие в историю авиации, называл фамилии рядовых летчиков и знаменитых героев.

— Вот Плотников,— сказал он вдруг, и все повернулись к Плотникову, который багрово покраснел и опустил голову.— Да ты не красней, Плотников,— продолжал командующий,— в такой день можно и не краснеть, коли говорят о подвиге...

Потом он говорил о Ватрушкине и стрелке-радисте Черешневе, о Курочке и Гурьеве, о Паторжинском и Боброве, о Левине и Ольге Ивановне. И все выздоравливающие оборотились к Левину, который сидел в своем кресле, утирая пальцем слезы со щек, а где-то внизу за госпиталем гремели оркестры и по-прежнему на террасу косо летели сверкающие на солнце снежинки.

После обеда снегопад кончился, и весь снег сразу растаял, стало тепло, и залив сделался таким сверкающим, что на него больно было глядеть.

Лора перетащила кресло Александра Марковича к самой балюстраде. Баркан принес ему сильный бинокль, и он стал смотреть на пирс, где перед отходом на родину молились норвежские моряки. Их маленькие кораблики стояли у стенки, а ихний священник в своей кружевной мантии подымал и опускал руки над сотнями склонившихся голов, и мальчик-служка — тоже в кружевах — звонил в колокольчик и ходил зачем-то перед рядами молящихся. А за креслом Левина стоял Курочка и негромко рассказывал ему о Норвегии и о том, как норвежцы похоронили одного нашего летчика близ селения. Имя летчика осталось неизвестным, но рыбаки видели, как он дрался над их деревней, и на могильном камне высекли: «Русскому спасителю нашей отчизны».

— Сейчас домой отправятся,— сказал Федор Тимофеевич,— а потом найдутся люди, которые их научат забыть, как все это было...

А вечером опять слушали радио и мерный бой кремлевских часов. С террасы ушли в ленинский уголок и сидели там почти до утра. Радио все время говорило, передавался репортаж, и все слушали, как празднует столица великий праздник. Часа в два пришел Калугин с тремя бутылками шампанского.

— Откуда такое богатство? — спросил Александр Маркович.

— Съездил в город и купил,— ответил Калугин.— Было шесть, но три мы по дороге выпили. Машина встретилась с истребителями, поздравили друг друга.

В дверь заглянул Баркан.

— Идите-ка сюда, майор! — позвал Левин.

Три бутылки разлили в семнадцать стаканов, и один стакан Александр Маркович протянул Баркану. Баркан принял, понимающе глядя на Левина.

28

Потом начались мирные дни.

Выздоравливающие играли неподалеку от Александра Марковича в шашки, или шумно забивали «морского козла», или что-нибудь рассказывали — «травили», как говорят на флоте,— или с очень серьезными лицами устраивали пышные шахматные турниры. Иногда же просто смотрели на залив и переговаривались тихими голосами. А Левин дремал и сквозь дремоту слушал пульс своего второго отделения. Тут все шло нормально, потому что иначе бы ему доложили. А если не докладывали, значит все идет хорошо.

У него часто теперь бывали гости — Тимохин и Лукашевич, флагманский хирург Алексей Алексеевич Харламов, даже Нора Викентьевна навестила его.

Но он не особенно им радовался. Они ничего не могли ему рассказать про его отделение и про его выздоравливающих. Впрочем, когда Тимохин удалил осколок из головы одного левинского раненого, тогда Александр Маркович был рад Тимохину и приказал накормить его хорошим обедом.

— Но хорошим! — строго сказал Александр Маркович.— По-настоящему! Вы слышите меня, Анжелика?

Однажды Лора рассказала ему, что на флот «прибыл» Шеремет, и действительно полковник скоро навестил Левина. Он теперь курил какие-то душистые иностранные сигареты, у него были новые часы на широком платиновом браслете, и, разговаривая, в паузах он напевал, загадочно глядя на Александра Марковича. Главным образом он рассказывал о загранице — о Вене и других городах, где что-то такое инспектировал, а потом, в заключение, он произнес длинную фразу, смысл которой заключался в том, что у него доброе, отходчи-

вое сердце и что зла, причиненного ему людьми, он не помнит.

— А насчет костюма нашего чего-то там пакостите? — оборвал его Левин.

— То есть как это? — возмутился Шеремет.

— Очень просто. И не прикидывайтесь овечкой — я ведь вас насквозь вижу. Вот жалко — помирать скоро, а то бы я вас допек. . .

— Черт знает что вы говорите! — совсем обиделся Шеремет.— Я к вам по-дружески, а вы. . .

— А я по-вражески, потому что весь ваш облик мне противопоказан,— жестко, хоть и слабым голосом сказал Александр Маркович.— И статейку тоже написали преподлую, и не верите вы ни в бога, ни в черта, и на новой должности занимаетесь угодничеством и хвостом перед начальством размахиваете. Я думал, станете врачом, хоть средним, а все-таки не без пользы. Но ведь лечить-то трудно. Прощайте, надоело. . .

Шеремет обиделся и встал. Но Левину показалось, что он сказал еще не все.

— А приехали вы сюда теперь я знаю зачем: налаживать отношения. Чтобы врагов не было. Нет, товарищ полковник. Они у вас есть и будут. Зря приехали.

Вконец обозлившись, Шеремет ушел. А Левин пожаловался Лоре:

— Тоже явился. Нужно мне его сочувствие.

По нескольку раз в день приходил Баркан, чтобы посоветоваться с Левиным. Он солидно сидел на стуле против Александра Марковича, по-прежнему разговаривал несколько сухо, но Левину было с ним нетрудно, хоть и случалось, что голос Александра Марковича поднимался до прежнего сердитого карканья. Бывало, он настолько нехорошо себя чувствовал, что просил Баркана прийти попозже, и Баркан приходил. Приходила и Ольга Ивановна, и другие врачи, и Жакомбай, и Анжелика, но больше всего он почему-то в это время привязался к санитарке Лоре. Она просиживала возле него очень подолгу и непрерывно трещала языком, а он слушал с удовольствием, не отпускал ее и просил:

— Расскажите еще, Лора. Мне интересно вас слушать.

Лора облизывала острым красным языком малиновые губы, задумывалась на мгновение и спрашивала:

— Да про кого рассказывать-то, крест святая икона,

не знаю. Вот, например, про военинженера товарища Курочку. Хотите? Только потом не скажите, что я сплетница и что у меня язык без костей. Ольга Ивановна вечно меня сплетницей ругает. Сама мне рассказала, что очень ей нравится тут один человек и что она его не может спокойно видеть, а теперь надулась, что я с Верой поделилась. А разве я могла с Верой не поделиться, когда она самая моя лучшая подруга? Или вы несогласны? Ну хорошо, про товарища Курочку будем говорить. У него-то ведь жена не очень хорошо к нему относилась. И, действительно, подумать, какая фамилия. Например, маникюрша или парикмахерша обязательно скажут — мадам Курочка, отчего не доставить себе удовольствие, верно? Ну и сам из себя военинженер не очень видный, хотя и чистенький и культурный мужчина, тут спорить невозможно. Волосики серые, личико маленькое, очкастый, ну что хорошего? А она женщина красивая, представительная, говорят — до войны даже полная была. Ну, а теперь что получилось? Теперь она увидела, что не в красоте дело. Наверное — это я не для сплетни, товарищ подполковник, а просто делюсь с вами,— наверное, я так думаю, предполагаю так, наверное, у нее даже увлечения были. Знаете, в тыл кто ни приедет с фронта — всякий герой, хоть нашего кого возьмите, скажет про себя — я матрос, и всех делов. А Курочка-то оказался хоть и Курочка, но полностью герой. Им Героев-то присвоили — вы знаете? Или вы уснули, товарищ подполковник?

— Нет, Лорочка, я не сплю. Значит, теперь хорошо у них?

— Еще как хорошо. Вера там в палате как раз была, когда он своей жене чего-то сказал, а она в ответ: «Нет, я не понимала, кто ты, и не ценила тебя». Вера прямо-таки навзрыд зарыдала. Она ведь, товарищ подполковник, чересчур нервная. Все, ну все переживает. Капли пила, не верите? А сейчас опять переживает, что эта самая Вера Васильевна совершенно даже неискренняя и только лишь притворяется. . .

— Вот-те новости! С чего же ей притворяться?

— А с того, что писем слишком много до востребования получает. Непременно у нее кто-либо еще имеется, кроме военинженера.

— Да ну вас, Лора, слушать противно.

— Вот видите, Александр Маркович, а сами просили рассказать. Я же не из головы, я то, что мы между

собой делимся. А про старшину, про Черешнева, хотите расскажу?

— Расскажите.

— Это тоже про любовь. Вот, значит, есть у него тут симпатия — Маруся из столовой, она там в хлеборезке и на кухне. Очень сурьезная девушка, скромная такая, ну просто недотрога. Хотя и ничего из себя не воображает.

Лора рассказывала, а он слушал, и картины жизни — доброй и вечно живой, в ее постоянном движении, в непрерывной смене событий — работа, любовь, чей-то ребенок, ревность, слезы и многое другое,— картины эти бежали перед ним непрерывной чередою. Но иногда он прерывал Лору и приказывал ей позвать Дороша, или Баркана, или Анжелику, или Ольгу Ивановну. Они приходили, и он говорил им что-нибудь, например спрашивал, каков сегодня обед. И если Баркан не знал, Левин сердился, но ненадолго, потому что забывал, на кого и за что сердился.

Однажды он велел позвать кока Онуфрия. Кок пришел бледный от ужаса и, вытирая тряпочкой лицо, долго разглядывал уже неузнаваемого Александра Марковича. А Левин забыл, для чего позвал кока, и только сказал ему:

— Так-то, товарищ повар. Это вы мне говорили какое-то там «дефуа-гра»? Нехорошо!

Что нехорошо — Онуфрий не понял, но ушел, едва волоча ноги.

Иногда же память совершенно возвращалась к нему, он оживлялся, глаза его светились прежним блеском, и каркающий голос разносился по всей террасе. И выздоравливающие смеялись его шуткам, рассаживались вокруг его кресла и рассказывали ему новости. Многих выздоравливающих он узнавал и, путая их фамилии, вспоминал с ними войну и разные забавные истории, приходившие ему на память.

В такой день однажды Ольга Ивановна позвонила командующему и сказала негромко, будто Александр Маркович мог услышать с террасы:

— Товарищ командующий, докладывает майор медицинской службы Варварушкина. Вы приказывали позвонить вам, когда подполковнику станет легче. Он сейчас в хорошем состоянии.

— А, да, спасибо, буду,— сказал командующий,— через час или немного позже буду обязательно.

Ольга Ивановна вернулась на террасу. Александр Маркович сидел откинувшись в кресле, Лора, раскрасневшись, рассказывала ему какую-то трогательную историю про усыновленного четырьмя офицерами ребенка.

— Тут командующий, наверное, наведается, Лорочка,— сказала Ольга Ивановна,— я пока в лаборатории буду, а подполковник Баркан оперирует. Понятно?

— Понятно! — сказала Лора.

Ольга Ивановна ушла. Лора хотела было рассказывать дальше, но не стала, заметив сосредоточенный и суровый взгляд Левина. Это был какой-то новый взгляд, которого она не видела никогда раньше.

— Может, вам нехорошо, товарищ подполковник? — спросила она.

— Нет, мне прекрасно,— ответил Александр Маркович,— сердцебиение только как будто, но это теперь у меня часто бывает.

— Рассказывать?

— Рассказывайте,— сказал он.

Она стала рассказывать дальше, как у мальчика заболели зубки и как доктора, словно назло, не могли отыскать, а надо было непременно оперировать.

— Оперировать? — спросил Александр Маркович своим прежним каркающим голосом.

И потом долго слушал не прерывая.

Лора рассказала всю эту историю и начала другую, про одного матроса, который влюбился в девушку-летчицу. Левин тоже молчал, выслушал все и вдруг поднялся.

— Никого невозможно дозваться! — сказал он.— Можно сорвать голос, и никого нет.

Двое выздоравливающих повернулись к Александру Марковичу. Упали и рассыпались шахматы.

— Пора идти! — сказал Левин.

— Куда? — спросила Лора.— Зачем вам идти?

Он усмехнулся своей старой, немного виноватой усмешкой. Но не ответил Лоре, а еще громче повторил:

— Пора идти. Смешно — болею, болею, а болезни все вздор. Что болезни, правда? Дайте мне халат, приготовьте больного, и начнем.

Он все еще стоял. Что-то соколиное, гордое, прекрасное было в его высохшем лице. У Лоры задрожали губы, но она сдержалась и не заплакала. Она вдруг все поняла и не побежала за Барканом и за Ольгой Ива-

новной, а осталась с Левиным. Теперь его нельзя было оставлять. К Ольге Ивановне пошел, прихрамывая и торопясь, толстый полковник.

— Залив!— неожиданно громко и властно сказал Левин.

— Пойдем, Александр Маркович,— быстро сказала Лора,— пойдем, я вас отведу и халат вам дам. Пора уже, да, правда?

Она взяла его под руку и повела в пустую палату здесь же на втором этаже. Он должен был успокоиться. Они бы дали ему хлоралгидрат и уложили в постель, тогда бы он не увидел того, что хотел увидеть. А она понимала больше, чем они.

На пороге он остановился. Какая же это предоперационная! И солнца слишком много. И сердце бьется невыносимо.

— Послушайте! — сказал он.— Где же мой халат?

Александр Маркович, несомненно, отлично себя чувствовал. И Лора теперь постоянно его сопровождала, в этом не было ничего удивительного. Если бы только прекратить эту чепуху с сердцем.

На минуту он присел. Ему надо было приготовить себя к работе, к операции. А комната все-таки изменилась, что бы ни говорила Лора. И свету слишком много, слишком солнце бьет в глаза. Этак оперировать будет невыносимо.

И халат они задерживали.

— Халат! — приказал он.— Будет халат или нет?

Сердце его отвратительно сжималось. И перехватывало горло, и в груди было тоже больно, но что это значит для человека, который идет работать. Последнее время он работал, превозмогая и не такие боли.

— Мне дадут халат? — спросил он.

Лора держала халат в руках. Привычным движением он подставил голову под шапочку. И шапочку ему тоже надели. Потом, подняв ладони и повернув их вперед, точно они были стерильными, он сделал шаг, еще шаг, и тотчас же огромный, белый, бьющий свет ударил ему в грудь, сердце сделалось невероятно большим, он вздохнул наконец и, захлебываясь светом и воздухом, медленно, словно раздумывая, упал на руки Лоры и вбежавшей Ольги Ивановны. Потом, сдирая на ходу резиновые перчатки, вошел Баркан, за ним рыдающая Анжелика, Вера и другие врачи и сестры. Александра

Марковича положили на каталку. А Лора, захлебываясь слезами, быстро и тихо говорила:

— Он оперировать шел, понимаете? Он не умирать шел, а работать шел. И никакой смерти он не увидел, вот как, вы понимаете, товарищ майор?

Несколько позже в палате растворилась дверь и вошел командующий.

— Все? — спросил он, снимая фуражку и глядя твердым взглядом на то, что было Левиным.

— Все! — ответил Баркан.

Командующий посмотрел в уже совсем спокойное лицо Левина, заметил на этом лице выражение гордости и силы и спросил:

— Халат-то этот он сам на себя надел — докторский?

Лора, все еще захлебываясь слезами, объяснила, как он пошел в операционную и как она, зная, что там оперируют, привела его сюда.

— Не надо плакать, девушка,— вдруг сказал командующий.— Зачем плакать? Все умрем, а он хорошо умер, лучше умереть нельзя.

Он посмотрел в спокойное, строгое, гордое лицо и сказал совсем тихо, так, что никто не услышал:

— Прощай, подполковник. Спи.

Повернулся и, сильно сутулясь, вышел.

В четырнадцать часов пошел проливной дождь, но солнце тотчас же выглянуло вновь, и залив опять засверкал так, что на него больно стало глядеть, и небо опять стало голубым и чистым, только вода еще долго и шумно сбегала меж каменьями скалистой дороги, ведущей на кладбище, да у людей, провожающих Александра Марковича в последний путь, почернели от влаги флотские кители.

Мотор грузовика громко завывал на крутых подъемах, и шофер Глущенко говорил сидящей рядом с ним Лоре, что у него «перепускает сцепление», но Лора не слушала Глущенко и смотрела перед собою на спины офицеров, несущих на подушечках ордена Александра Марковича. У Лоры было тридцать восемь и три — она простудилась, но на похороны все-таки отправилась и поехала в кабине машины, убранной кумачом и траурными лентами.

— Как ты думаешь, Глущенко,— спросила она вдруг.— Есть вечная жизнь или ее нету?

— На одни только тормоза и надеюсь,— сказал Глущенко,— ну ничего сцепление не берет, чувствуешь? Был бы товарищ подполковник живой, попало бы мне за это дело. Во, перепускает,— во, во, слышишь? Мы с ним давеча в город ездили, так он мне сразу замечание сделал: «Глущенко, Глущенко, перепускает у тебя сцепление. . .»

Лора не ответила.

— Ну ладно,— сказал Глущенко,— вернусь, сразу доложу начальнику гаража. А не сменит сцепление — до начальника тыла дойду. Товарищ подполковник желал, чтобы порядок навести в автохозяйстве? Желал? Ну, и будьте любезны!

Он еще прислушался к своему сцеплению и добавил:

— А насчет вечной жизни, Лариса, то так сразу не ответишь. Смотря по тому, как на свете жил и чего на нем делал.

Вновь загремел оркестр — и играл долго, до поворота дороги, по которой машины не могли идти, так тут было узко и так круто срывался к заливу обрыв. Здесь Глущенко зажал ручные тормоза, и сзади летчики открыли кузов и подняли гроб на свои могучие плечи, и он как бы поплыл над сотнями обнаженных голов, над серыми каменьями и над заливом, блестящим и переливающимся внизу. Ветер свистел тут на высоте так пронзительно, что порою заглушал медь оркестра, и от этого сочетания ветра и медленных медных звуков у Лоры вдруг стеснило грудь, но она не заплакала, как плакала все эти дни, а тихо пошла вперед — среди летчиков, которые ее обгоняли в своих шлемах и комбинезонах, в капках и унтах, с рукавицами за поясами — прямо с аэродрома, из машин, только что «из воздуха».

Тут были и замасленные техники, и доктора из первого хирургического и из терапии, тут были сестры и санитарки, Харламов, Тимохин, Лукашевич и многие другие — знакомые и незнакомые.

При входе на кладбище толпа стиснула Лору, и она оказалась рядом с Барканом. Он посмотрел на нее, как будто они сегодня еще не виделись, и сказал:

— Так-то вот, Лора, вон какие у нас дела. . .

В свисте морского ветра Мордвинов сказал короткую речь, и тогда все, кто тут был из военных людей, вынули пистолеты, и трижды прогремел салют — нестройный и суровый, который долго и громко повторя-

ло эхо в скалах. Баркан тоже стрелял, и было странно видеть его руку с пистолетом, так же, впрочем, странно, как видеть стреляющих Харламова, Лукашевича, Тимохина и других докторов.

А потом, когда спускались вниз к гарнизону, Ольга Ивановна подходила то к одному человеку, то к другому и негромко говорила:

— Зайдите, пожалуйста, к нам на часок. Второй корпус, вторая парадная.

Лора уехала с Глущенко и с Анжеликой вперед, и когда все пришли с похорон, то кровати в комнате Ольги Ивановны и Анжелики были убраны и во всю комнату стояли столы, на которых кок Сахаров расставлял горячие пироги, покрытые полотенцами, консервы из дополнительного пайка и разную другую снедь. И Анжелика с распухшими от слез глазами, но с деловитым выражением лица раскладывала вилки и салфетки.

Народу собралось очень много, из своих никто не садился, кроме Баркана и Ольги Ивановны; многие стояли у двери в тесноте, но никто не уходил. И Лора тоже не ушла, хоть у нее и кружилась порою голова, и Мордвинов, который говорил первую речь, казался ей то толстеньким и маленьким, то вдруг вытягивался и превращался в длинного и худого.

После Мордвинова говорил Тимохин, который знал Александра Марковича очень давно, и говорил про давние времена, про какой-то институт скорой помощи, где Левин дежурил однажды ночью и куда привезли гражданку, якобы проглотившую из ревности иголки. Рассказывая, Тимохин начал слегка улыбаться, и все за столом стали улыбаться, потому что нельзя было не улыбаться, слушая о том, как гражданка отрицала, что проглотила иголки, а Александр Маркович говорил ей, что он не может теперь ничему верить, никак не может, он должен обязательно прооперировать и найти иголки.

Чем дальше говорил Тимохин, тем дружнее смеялись гости за столом, а некоторые и смеялись и утирали слезы в одно и то же время, потому что опять увидели Левина таким, каким он был,— живым, смеющимся, веселым, быстро шагающим по госпитальному коридору...

Затем Харламов сделал сообщение о результатах испытаний спасательного костюма в Москве. Федор Тимофеевич прислал оттуда письмо. Испытания прошли успешно.

— Успешно-то успешно,— сказал Тимохин,— но не надо забывать, что там пустил крепкие корни полковник Шеремет.

— Ну и шут с ним! — жестким тенором ответил Харламов.— Мы эти корни повыдергаем, какие бы они ни были крепкие. Александр Маркович драку начал, а мы ее кончим, иначе нам стыдно будет друг другу в глаза смотреть.

— Трудно Шереметы-то выдергиваются! — вздохнул Тимохин.

И вдруг все заговорили разом. Это случилось так неожиданно, что поначалу Лора даже не поняла, о чем идет речь, и спросила у Ольги Ивановны, но она не ответила, жадно и сердито вслушиваясь в слова Лукашевича насчет какого-то дополнительного наркотизатора.

— Сестра может наркотизировать,— покраснев, закричал Баркан,— это на практике бывает очень часто. И вообще Левин доказал свою правоту не словами, а делом,— да, да, не отрицайте! Ольга Ивановна может подтвердить. И товарищ Дорош может подтвердить. И я, кстати, совершенно объективен, у нас не такие были отношения с подполковником Левиным, чтобы меня можно было упрекнуть в пристрастии. Верно, товарищ Дорош?

— Верно! — сказал Дорош.— Подтверждаю полную объективность.

— Так вот, товарищ полковник Лукашевич,— вновь закричал Баркан,— мы в нашем госпитале забыли, что такое обработка тяжелых ран конечностей под местным обезболиванием. Александр Маркович категорически...

— И совершенно правильно! — сказал Тимохин.

— А послеоперационное течение! — закричал Лукашевич.— Я на конференции утверждал и с Левиным спорил и сейчас буду спорить...

Мордвинов застучал по столу ладонью и попросил говорить потише. Ольга Ивановна сняла с полочки левинскую тетрадь, и Харламов стал ее перелистывать. Потом вслух прочитал один абзац. Баркан закурил. Кок Сахаров принес большой медный чайник с чаем и поднос с кружками.

— Прошу прочитать записки товарища Левина,— сказал Мордвинов.— Думаю, всем это интересно.

— Воскресенская, тебя на крыльцо вызывают,— шепнул Жакомбай Лоре.

Когда она выходила, Харламов начал читать.

На крыльце ее ждал высокий, черноволосый и черноглазый старшина — стрелок-радист. Вечернее солнце заливало всю его сухую, мускулистую и статную фигуру обильным и теплым светом. Старшина смотрел на Лору прищурившись и молчал.

— Вот нашел время,— сказала Лора.— Некогда мне сейчас.

— Поминаете? — спросил старшина.

— Поминаем,— ответила Лора.— Ваших там много. Майор Плотников и майор Гурьев... Ватрушкин тоже...

— Лора, я за ответом,— почти строго сказал старшина.— Или так, или иначе...

Глаза его зажглись и погасли. Он придвинулся к ней и положил свою ладонь на ее горячее запястье. Она по привычке быстро посчитала родинки на его щеке: пять.

— А если я мамаше твоей не понравлюсь? — спросила она.— Или сестричке? Тогда как?

— Понравишься! — уверенно сказал старшина.— Об этом пусть у тебя голова не болит...

Когда Лора вернулась в комнату, Харламов закрывал левинскую тетрадь. Все молчали.

— Ну что ж,— сказал Мордвинов,— дело серьезное и весьма интересное. Я рекомендовал бы доктору Баркану продолжать ведение записей, начатых Александром Марковичем. Что же касается до вопросов общего обезболивания при обработке ранений конечностей в масштабах флотских, то мы это, разумеется, решим в ближайшее время. Ну, а потом, естественно, обратимся в Главное управление, к высшему начальству. Так, полковник Харламов?

— Так,— твердо ответил Харламов.— И через голову Шеремета.

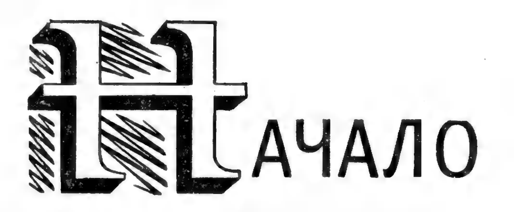
Все встали.

И по дороге на пирс опять заспорили с Лукашевичем, который считал, что вводить левинский метод во всех госпиталях преждевременно.

— Ну хорошо, на сегодня хватит,— сказал Мордвинов.— Вот ночью посмотрю тетрадку Александра Марковича и завтра дам настоящий бой. Дадим им всем бой, Алексей Алексеевич?

— Дадим! — уверенно и спокойно ответил Харламов.

Ленинград, 1949



Начало

Хирургом должен быть взрослый.

Цельз

Веселым апрельским утром 1827 года отчаянный бруссэист и знаменитый московский медик Матвей Яковлевич Мудров произнес своим студентам нежданно-негаданно речь о пользе заграничных путешествий. Во рту у Мудрова была каша, красноречием он никогда особым не блистал, о заграничных путешествиях помнил немного и довольно смутно,— что вот, дескать, у немцев вместо одеял пуховики — уж эти немцы, или что есть на свете такая штука — Альпы — превосходнейшая штука, или что во Франции бордо стоит сущие гроши, и надобно, коли попал во Францию, пить только бордо — полезно и здорово.

Морща густые и длинные, лезущие в глаза старческие брови, Мудров неподвижным взглядом смотрел прямо перед собой— стучал по кафедре твердым стариковским негнущимся пальцем и хвалил заграницу до тех пор, пока не окончилось время лекции — только тогда он объяснил, для чего были все эти пуховики и Альпы.

— Согласно проекту академика Паррота,— сказал Мудров,— утвержденному его императорским величеством, те из вас, кто пожелает, могут отправиться для усовершенствования в знаниях за границу.

Пожевал беззубым ртом, вздохнул и начал слезать с кафедры.

Студенты молчали. Никто ни о чем не спрашивал. Мудров был глуховат и никогда не знал большего, чем говорил. Да и как-то все это было странно, по всей вероятности не без подвоха: отправят, а потом закабалят, или просто помрешь за морем. С кого потом спрашивать?

Вторая лекция была тоже Мудрова, но посвящена она была не науке, а расправе со студентом из семинаристов Перепоясовым, который давеча напился и набедокурил. За это Мудров велел ему читать «Преблагий господи», а потом класть земные поклоны перед всеми студентами, сам же тихо задремал в своем профессорском кресле, на солнышке, откинув назад голову и открыв рот с беззубыми, розовыми, как у грудного младенца, деснами.

Отбубнив молитву положенное число раз, Перепоясов от скуки стал молитвенным же голосом рассказывать разные вольные истории, которые Пирогову всегда было стыдно слушать, и так до самого конца лекции — то история, то земные поклоны, если покажется, что Мудров открывает глаза.

Все это было гадко и тошно, Пирогов кусал ногти и старался ничего не видеть и не слышать — ни гогочущих своих сотоварищей, ни носатого Перепоясова, ни Мудрова, спящего в своем кресле.

Потом приехал Мухин, которого ждали три часа, отсморкался, откашлялся и стал читать лекцию о жизненной силе. Голос у него был бархатный, лицо выражало приятность, маленькие, острые и умные глаза сверлили то одного, то другого студента и порою с симпатией останавливались на лице Пирогова, а Пирогов чувствовал себя неловко — так, точно обманывает Ефрема Осиповича — тот думает, что Пирогов по-прежнему боготворит Мухина, а он уж давным-давно не боготворит и даже, пожалуй, не очень уважает...

— Что же наша букашечка,— продолжал Мухин, с приятностью вглядываясь в смутное и тревожное лицо Пирогова,— что же с ней, покинула ли ее или нет сила, данная ей господом, сила жизни, жизненная сила? О нет, господа, о нет. Букашка, встречаемая всеми нами в кусочке льда, замороженная и, казалось бы, умершая, не умерла. Начала и сути не покинули ее. Отогревшись на солнце, набрав грудкой своею свежего и чистого воздуха, покушавши амврозии цветочной, улетает с хрустального льда наша букашечка, улетает, воспевая и жужжа сладкую хвалу богу, премудрости его, милости и величию. Вот что есть жизненная сила. Можно ли ее объяснить неверным нашим, тяжелым и грубым языком? Полет и движение — вот что есть жизненная

сила. Она в дуновении ветерка, в крыльях бабочки, порхающей с цветка на цветок, в вечной смене первоначального вещества, в...

Наконец он покончил с жизненною силой, о которой любил поговорить, и понюхал табаку. Молча и напряженно аудитория ждала, пока он чихнет, но он не чихнул — заряд оказался слабым, процедура началась с начала, наконец все произошло — Мухин чихнул и с победною лаской взглянул на Пирогова, как бы говоря: вот я каков, твой покровитель, видишь, как я хорош.

«Батюшки, да он глуп,— помимо своей воли внезапно подумал Пирогов и, испугавшись, что Мухин прочитает его мысли по глазам, отворотился к окошку,— мало того, что неуч, так еще и глуп. . .»

В эти дни он всех стал считать невеждами и глупцами. У каждого студента наступает порою такое время, когда ему кажется, что знает он много — если не все, то куда как больше своих наставников и друзей, и что ему осталось совсем пустяки для того, чтобы постигнуть решительно все тайны бытия. Именно такое время переживал Пирогов. С тоской и раздражением слушал он своих профессоров, наперед зная, что они скажут, как пошутят, чем кончат лекцию. С каждым днем рушились и в прах рассыпались прежние боги — недоступные, мудрые, необыкновенные.

Украдкою он взглянул на Ефрема Осиповича.

Этот человек поселил в нем страсть к медицине, ему он подражал в своих детских играх, от одного его взгляда он робел и терялся — где это время, где юность — он в свои шестнадцать лет любил в мыслях обращаться к своей невозвратимо ушедшей юности,— где то время, когда не было для него человека уважаемее и выше, чем Ефрем Осипович Мухин?

Мухин говорил, Пирогов не слышал его. Как в тумане представлялось ему приятнейшее лицо Ефрема Осиповича, несколько постаревшее и как бы припухшее с тех пор, но близкое тому, хоть и без того удивительного выражения властной решительности, которое потрясло Пирогова-ребенка много лет назад в дни тяжелой болезни брата.

Что теперь с ним?

Ужели наполеоновская решительность и смелость покинули его за эти последние годы?

Или он потерял веру в свою науку и стал слугою ее, робким и нерешительным, вместо того чтобы быть хозяином и властелином?

Как во сне, донеслись до него заключительные слова мухинской лекции:

— Сегодня по нашему расписанию следовало нам говорить о деторождении. Но так как деторождение есть предмет несомненно скоромный, а нынче великий пост, то мы и отлагаем изучение предмета сего до времени более удобного и тем самым исправляем ошибку, совершенную нами при составлении нашего расписания лекциям.

Спустившись с кафедры и проходя мимо Пирогова, он, по своей привычке, положил ему на плечо свою короткопалую сильную руку и с добрым выражением заглянул в глаза, точно молчаливо спрашивая о чем-то, но Пирогов не нашел в себе силы, чтобы хоть улыбнуться своему благодетелю, и неприязненно опустил голову.

— Что с тобою, мой друг? — не стесняясь студентов, спросил Мухин.— Не болен ли ты?

И умелым движением многодетного отца и к тому же лекаря дотронулся тыльной стороной ладони до лба Пирогова — попробовал, нет ли жару. Потом покачал головою не то с укоризною, не то с печалью и, припадая на одну ногу, пошел из аудитории к себе в деканат.

А Пирогов все стоял в проходе, опустив голову, чувствовал, что старик обижен, но не находил в себе сил догнать его и несколькими словами загладить свою невольную вину.

День выдался жаркий, и идти от университета до Пресненских прудов в Кудрине с тяжелым кульком костей и в ужасной, точно каменной, шинели было так мучительно, что уже на полдороге Пирогов совершенно выдохся и понял, что шинель все равно придется снять, как это ни стыдно. Совершенно изнемогши, он присел на лавочку возле деревянного домика с мезонином и с белым билетиком в окошке, положил возле себя неудобный и громоздкий кулек с человеческими костями — неслыханное и невиданное для студента сокровище, слегка стянул с правой ноги набивший пузырь сапог и задумался о природе такого лишнего для него чувства, как стыд бедности. Вокруг весело и громко орали грачи, прямо в лицо светило благодатное солнце, небо над Москвой было ярко-синее, точно вымытое, и серьез-

ное направление мыслей довольно скоро оставило Пирогова.

«Сниму, и баста!» — решил он, поднялся и скинул проклятую шинель, которую принужден был носить всегда, даже в аудитории, из-за того, что мундирный его сюртук с красным воротником и медными пуговицами, перешитый сестрами из старого зеленовато-рыжего фрака, вызывал не только смех товарищей, но и косые взгляды полицейских на улицах Москвы. О панталонах же и говорить не приходилось. Рвались и расползались они настолько часто, что он никогда не мог отвечать за себя, и ежели где слышал смех, то относил его на свой счет до тех пор, пока, зайдя в укромное место, не обследовал себя со всех сторон и не принимал экстренные меры тут же, для чего всегда носил с собою иглу с нитками.

Сбросив долой шинель и чувствуя себя как бы несколько нагим, он с мрачным выражением лица оглядел себя, поправил воротник сюртука, потер обшлагом одну из давно потускневших медных пуговиц, перекинул шинель через плечо в одно и то же время и небрежно и так, чтобы полы ее закрывали наиболее потертую и драную часть сюртука, из которой все время лезли какие-то белые лошадиные волосы в таком огромном количестве, что было непонятно, когда же они наконец все вылезут прочь и сколько же их заложено в этом сюртуке, называемом товарищами пироговским полуредингнотом.

Так с рогожным кульком костей под рукою и с шинелью через плечо, весь в поту и в пыли, Пирогов дотащился наконец до суда близ Иверской, в котором служил заседателем тишайший дядюшка Андрей Филимонович Назарьев. Заходить за ним в суд было иногда для Пирогова почему-то удовольствием, дядюшку Андрея Филимоновича он любил, хоть и не сознавался себе в этом, и дядюшка, нежно почитавший ученого племянника, всегда радовался, когда тот, дав изрядного крюка, заходил за ним из университета.

Когда Пирогов вошел в заседательскую комнату, темную и прохладную после жаркой улицы, там никого не было, и в ожидании дяди он принялся развлекаться тем, что, запустив по локоть руку в мешок с костями, на ощупь определял название костей — шептал название и вытаскивал кость, проверяя знание свое глазами. За

этим занятием и застал его дядюшка Андрей Филимонович, вошедший с другими чиновниками в заседательскую комнату.

— О, да здесь Николаша поджидает,— воскликнул он тихим голосом (дядюшка даже и кричал негромко, лицом только выражая, что он воскликнул, а голосом почти шепча).— Здравствуй, дружок мой. Что это у тебя за страсти такие? Чай, бараньи, аль телячьи?

— Разве я ветеринар? — несколько обиженно сказал Пирогов.— Я, дядюшка, хирург, и кости эти когда-то принадлежали человеку.

Чиновники, дядюшкины товарищи, подошли поближе и со страхом поглядывали на рогожный мешок, стоявший на кресле.

— И кто же он был,— осведомился молодой чиновник, бросая косой и опасливый взгляд на мешок,— из какого звания?

— Он был человек,— холодно ответил Пирогов,— что нам его звание теперь?

И, вытащив из мешка желтый череп,— сломанный и потому доставшийся ему,— он показал пустые его глазницы испуганно сбившимся в кучу чиновникам и сказал с тем пафосом в голосе, который так неотразимо действует на всех юношей в мире:

— Он был человек, а сейчас он лишь препарат, по которому мы, медики, знакомимся с тем, как что устроено у живущих еще и поныне людей, дабы облегчать их страдания.

Чиновники молчали и с уважением поглядывали на череп, а дядюшка в это время смотрел на своего племянника, и в кротких его глазах было прелестное выражение стыдливой гордости.

Потом Андрей Филимонович вместе с чиновниками и с племянником пошел в знакомый трактир пить чай с калачами. В трактире мешок стоял под столом, и чиновники с опаскою поджимали ноги, чтобы, не дай бог, не дотронуться до того, что́, по выражению Пирогова, было человеком. Для того чтобы сделать и дядюшке и племяннику приятное, все говорили о болезнях — кто какие знал — и о разных случаях излечений, говорили о лекарях и, конечно, о Мухине и о Мудрове. Молчавший доселе дядюшка поглядел на Пирогова, лукаво усмехнулся и сказал, что кабы не Ефрем Осипович, то неизвестно, был бы нынче Николаша медиком или нет.

Старый чиновник — Карп Модестович — поинтересовался, почему так, и дядюшка рассказал, как у Николаши в свое время захворал родной брат, а его, Андрея Филимоновича, родной племяш, как никто и ничем не мог поправить здоровье мальчика и как страшный рюматизм (дядюшка именно так и сказал — рюматизм), как этот рюматизм с быстротой и неумолимостью распространялся по всем членам ребенка...

Дело было совсем плохо, когда наконец позвали Мухина. Мухин приехал в карете четвернею, с парою на вынос, с ливрейным лакеем на запятках, строгий и сердитый, не приведи бог. Тут Николаша его в первый раз и увидал. Вошел Ефрем Осипович в комнату к больному, посмотрел его со всем своим глубокомыслием и приказал варить декокт...

Из чего велел Мухин варить декокт, дядюшка не помнил и обратился к Пирогову, кончавшему уже второй стакан чаю с калачом и молоком.

— Декокт известнейший,— наливая себе третий стакан чаю, сказал Пирогов,— нынче он меньше в ходу, но все же некоторые лекари его употребляют с большою пользою. Надо купить в москательной лавке соальсепарельного корня, да такого, чтобы давал при разломе пыль, и варить его надобно в наглухо глиною замазанном горшочке. В таком же горшочке надобно варить с водкою, но не картофельной, а хлебной, с вином с хлебным, три золотника корня полевой зори, трефоли, буковицы, кошачьей мяты да донника...

Пирогов говорил, а старый чиновник Карп Модестович, сложив губы прилежною трубочкой, записывал в памятную книжку,— на случай, если кто заболеет, чтобы не тратиться на дорогого Мухина.

— Так, так,— порою говорил Карп Модестович,— богородицкую траву брать белую, так, так...

После того как декокт был записан и чиновники пошутили насчет того, что теперь Карп Модестович знает не меньше Мухина и, пожалуй, уйдет в отставку лекарем, дядюшка дорассказал о Пирогове, как он мальчиком все играл в Мухина, варил декокты да потчевал ими дворовых кошек и собак.

Слушать дядюшкины рассказы Пирогову было не совсем ловко, но он понимал, что дядюшка любит его и гордится им, и не перебивал его даже в тех случаях,

когда Андрей Филимонович для красного словца передавал анекдоты и не совсем точно.

— Николаша у нас о-хо-хо,— говорил дядюшка,— вы, господа, не смотрите, что он на вид не очень богатырь. . . Он на науку такой хват, что его и на кривой не обскачешь. Скажи им по-латыни, Николаша. . .

Пришлось сказать и по-латыни. На щеках Пирогова выступила краска. Пожалуй, он мог их всех послать к черту, если бы не дядюшка. Всё наделали эти проклятые кости, с костей началось, не надо было показывать им с самого начала, какой он умный. . .

Наконец половому заплатили за чай, и вся компания вышла из трактира. От полноты души дядюшка позвал извозчика и поехал с племянником на извозчике. Всю дорогу до самого дома дядюшка находился в умиленном и возвышенном состоянии духа, держал племянника за талию и просил его не забывать простых людей в будущем, тогда, когда он, Николаша, станет знаменитым лекарем и получит звезду и ленту.

— Да откуда вы, дядюшка, взяли, что я обязательно стану знаменитым лекарем? — спросил Пирогов.— Ужели из того, что я в костях разбираюсь?

Дядюшка ответил не сразу.

— Бог его знает,— молвил он,— на все его воля, Николаша, но только думаю я, что будет из тебя пребольшой толк. . .

Сказано это было очень просто и ласково, но с такой силой убежденности, что Пирогов не без удивления посмотрел на тишайшего своего дядю.

— Да почему же? — во второй раз спросил он.

— Не знаю,— последовал ответ.

Возле самого дома Пирогов вдруг вспомнил о том, что Мудров говорил сегодня студентам насчет поездки за границу для усовершенствования, и рассказал об этом дяде. Андрей Филимонович сделал большие глаза и спросил:

— Поедешь?

— Не знаю. Вот хочу послушать, что вы скажете. . .

У себя в комнатке, увешанной клетками с птицами, до которых Андрей Филимонович был большой охотник и любитель, он разделся, облачился в затрепанный и просторный халат, закурил трубочку с пером вместо мундштука и сел раскладывать пасьянс, который, по его словам, очищал мозги. Известие о возможной поездке

за границу внезапно разнеслось по всему дому, и то, чему Пирогов поначалу не придавал никакого значения, вдруг здесь, среди родных и близких, стало не пустой болтовней, а возможным и не таким уж далеким событием.

Мать тихо плакала у окна, сестры ее утешали, Пирогов ходил по комнате и сердился.

— Да что это за вздор такой в самом деле,— говорил он, налегая на басовые ноты,— никто никуда не собирается, а вы тут уже и в слезы. Маменька, прошу вас. . . И надо было дядюшке вам сказать. . .

Сквозь слезы мать говорила, что никуда она его не отпустит, что он никакой не студент и не кандидат профессорский, а мальчик, ребенок, что он там, за границей, пропадет; что он и здесь-то, при ней, всегда грязный, да оборванный, да полуголодный; что там, за морем, никто его не то что не обошьет и не постирает ему, а и не накормит хлебом и водой, не то что уж горячими мясными щами; что он, Николаша, читаючи свои ученые книги, умрет с голоду; что она ни за какие коврижки не отпустит его, и пусть с ней даже никто и не говорит; что она тут без него зачахнет от тоски да от беспокойства, что. . .

Мелкие, частые, быстрые слезы привыкшей к бедам женщины катились из ее глаз, она говорила и плакала, и вместе с тем было понятно, что она уже не старшая и не главная в доме; что она не может запретить или не велеть, как делывала это несколько лет назад; что она может только плакать и просить, зная притом, как знают все матери, когда детям их надлежит дальняя и страшная дорога, что, проси не проси, дети живут уже своим умом и сами решают,— их же материнское дело только плакать и молить о том, чтобы все было как было, чтобы ничего не менялось, чтобы все оставалось по-старому.

Спорить и возражать не было пользы, и Пирогов замолчал, сел в сторонке и только все поглядывал на дядюшку, ожидая спасения от той минуты, когда Андрей Филимонович кончит свой умоочистительный пасьянс и вступит наконец в разговор.

Пасьянс вышел, дядюшка набил трубочку еще раз табаком и вступил в разговор. Девка, единственная его крепостная, Авдотья, сущая по характеру ведьма, которой все в доме трепетали и называли за глаза не иначе

как тигрой, а в глаза Авдотьей Алексеевной, принесла и поставила перед дядюшкой стакан жидкого чаю и на блюдечке колотого тростникового сахару. Разговор обещал быть серьезным.

— Ну, вот что, сестра,— промолвил наконец дядюшка,— дело это не простое, и надобно нам семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать, не так ли?

Вместо ответа мать заплакала сильнее и горше прежнего: по тону тишайшего Андрея Филимоновича она поняла, что в нем не найти ей союзника и что сейчас все будет кончено — Николаша уедет за море.

Вечером, при свете восковой свечки, он раскладывал по ящикам комода принесенные давеча кости и думал о том, что, видимо, и вправду придется ехать за границу, коли мать уже отплакалась, а сестры смотрят на него теперь другими глазами, чем раньше.

Заграница смутно и таинственно рисовалась в его воображении, и ему было и грустно и весело в одно и то же время. Куда пошлют? В Германию? В Вену? В Париж? И что это все означает — совершенствование в науках, коли он и так уже все почти знает и может сам лечить не хуже иных прославленных лекарей?

Сидя на полу у комода в своем мезонине и глядя на желтые кости, в стройном порядке разложенные в ящике, он представлял себе Альпы с ледниками и глетчерами, немцев, живущих не в немецкой слободе, а у себя, в Германии, пуховики и перины, о которых давеча говорил Мудров, и почему-то корабли, стремящиеся вдаль по бурному и пенистому морю. Корабли и накренившиеся их мачты и паруса, подобные крыльям, и матросы, и капитаны с трубками в зубах, а главное, таинственная и необозримая даль — все это вдруг с неожиданной силой пленило его воображение, и первый раз за этот день он захотел ехать, ехать долго, потом долго плыть морем под парусами, потом, может быть, даже кого-то спасти и совершить нечто (что до́лжно совершить, он, разумеется, еще не знал), и стоять на борту, смотреть, и ехать на чужбину, и опять там совершить нечто, и вернуться уже совершившим, при звуке труб и пушечной пальбе.

Тут он понял, что зарапортовался, и поглядел по сторонам, опасаясь, не слышал ли кто этих его мыслей. Но

никого не было в мезонине, только мышь скреблась где-то под половицей да потрескивала нагоревшая свеча. Он встал, прошелся по комнате из угла в угол и шепотом произнес:

— Я еду за границу.

Но это показалось ему не очень убедительно. Тогда он сказал так:

— Николай Пирогов едет за границу.

И это его недостаточно устроило. Подумав, он молвил:

— Этот господин едет за границу совершенствоваться в науках. Он профессорский кандидат.

После чего Пирогов прошелся по комнате той походкой, которой, по его мнению, надлежало ходить профессорским кандидатам, едущим за границу. Настроение его с каждой секундой поднималось все более и более. Он уже видел себя мчащимся на почтовой тройке по какой-то таинственной дороге, меж скал и гор, меж прозрачных и чистых потоков, с грохотом ниспадающих в тихие долины, с горы на гору, со скалы на скалу... Ах, как хорошо, как привольно, как легко дышится, как много всего впереди...

Нет, с этим настроением решительно невозможно было сидеть одному в мезонине, и тотчас же он спустился вниз к сестрам, и к матери, и к дядюшке, зашедшему в гости.

На столе кипел медный самовар, матушка с опухшими от слез глазами разливала чай, в дверях, опираясь на косяк, стояла старая няня и плакала, утирая слезы концами головного платка,— она только что узнала новость о Николаше.

— Ну что, помираю я, что ли? — не без грубости спросил он.— Несносные вы какие все, право. Замолчи сейчас же, Катерина Михайловна!

В голосе его звучали новые, басовитые ноты, мать подняла глаза от самоварного крана и на секунду застыла: да полно, ее ли это Николаша, вдруг подумала она: не мальчик, а юноша стоял в двери, засунув руки глубоко в карманы панталон, обводя всех сердито-ласковым взглядом красных от вечного чтения глаз, слегка набычившись и готовый разгневаться совсем как мужчина, старший в доме.

Весь вечер обсуждали его отъезд, но без слез, хоть и со вздохами, думали насчет экипировки, считали, во

что обойдется на ассигнации и на серебро, с лажем и без лажа. Дядюшка считал, что дадут прогонные и обмундировочные, мать назвала дядюшку мечтателем известным и сказала, что, хоть и дадут, нечего заедать чужой хлеб — надобно справляться самим. Дядюшка писал на бумаге названия предметов туалета, сколько чего, обсуждался портной, что из чего можно перешить,— так до позднего вечера. Уже перед сном все очутились в его комнате в мезонине — и сестры, и мать, и дядюшка, и старая няня Катерина Михайловна: надо было поглядеть шинель — можно ли ее вывернуть или нельзя. Пока все занимались шинелью, няня увидела в открытом ящике комода человеческие кости, закрестилась, заохала и стала говорить, чтобы Николаша их похоронил завтра же, эти кости, на православном кладбище в детском гробу, что это великий грех, что Он никогда не простит и т. д.

— Ты, Катерина Михайловна, прямо Магницкий,— сказал Пирогов,— пойди с ним поцелуйся, он тоже у себя в Казани велел анатомический музей похоронить с попами...

Няня так и не поняла, кто такой Магницкий и чем он плох, а похвалила его и стала опять просить снести косточки на кладбище. Мать и дядюшка в это время мерили на Пирогове шинель, а он рвался из их рук, вытаскивал из комода кости и, сердясь, говорил няньке:

— Да это же для науки, темнота ты, для дела, а не для баловства. Вот это, например, венечный шов, это надбровные дуги, это лобная кость...

Няня вздыхала, в глазах у нее стояли старушечьи легкие слезы, изредка крестилась ссохшейся рукой, качала головой и на все его объяснения отвечала одно:

— Господи боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник...

На следующий день были занятия в анатомическом театре клиники Мудрова — назначено было вскрытие тифозного трупа в присутствии самого старика, который вскрытия терпеть не мог и хаживал на них очень редко. Вскрывать велено было казеннокоштному студенту Бегиничеву. Студенты собрались в зале задолго до назначенного Мудровым времени, сняли с покойника рогожку и принялись уродовать мертвое тело кто во что горазд:

один ампутировал голень, другой вылущивал палец, третий разбирался в мышцах подошвы. Не трогали только те области, которые должно было вскрывать для исследования внутренних органов. Бегиничев в фартуке и с мокрым тряпичным жгутом в руке пытался отбиться от товарищей, любознательность которых грозила тем, что ему самому могло ничего не остаться для вскрытия.

— Господа,— умоляющим голосом говорил он,— господа, да что же это! Я буду вынужден жаловаться. Эй, послушайте, нельзя так, я драться буду грязной тряпкой... Отойдите, господа, старик с меня спросит, вы же знаете...

По сигналу геркулеса Фомина на Бегиничева накинулись сзади и связали его двумя полотенцами, чтобы он не мешал заниматься анатомией. Для многих это был первый труп, до которого можно было только дотронуться,— более половины студентов, кончающих университет, еще не держали в руках наточенного ножа и отпрепарированные препараты видели только издали. А приближался лекарский экзамен, для которого надо было описать по-латыни, на бумаге, собственными глазами увиденную операцию.

Пока студенты, толкаясь и споря друг с другом, уродовали тело несчастного тифозного, Пирогов, сидя в своей шинели поверх мундирного сюртука в дальнем углу зала, читал физиологиста Лангоссэка, переведенного и дополненного Мухиным. Книгу эту Ефрем Осипович довольно давно подарил любимому своему ученику, а Пирогов все не мог ее прочитать и побаивался, что Мухин при встрече спросит, а ему нечем будет ответить, и старик обидится. Сейчас, дочитывая книгу, он с ужасом думал о том, что лучше бы Мухин вовсе не дарил ему это свое произведение, а еще лучше — вовсе бы и не издавал в свет...

— Пирогов,— окликнул его от стола Фомин,— идите к нам, у нас тут на левую ногу нет желающих, можете ампутировать...

Он подошел к столу, но ампутировать не стал, потому что все эти ампутации и резекции на трупах казались ему вздором. Что практика, когда есть книги, рассуждал он, что одна ампутация на трупе, когда в воображении я сделал их тысячи, и все с блестящим успехом. Чушь! Надобно в уме иметь ясное и точное зна-

ние строения человеческого тела — разве я не имею этого точного знания?

Слегка улыбаясь, он смотрел на своих товарищей, весело и кощунственно балагурящих над истерзанным телом. Ничего не понимая, они, как мясники, рылись в костях и связках, в мускулах и артериях — одно принимали за другое, другое за третье, третье за совсем бог знает что. Полная путаница царила в их бедных головах, и Пирогов не замечал этой путаницы до тех пор, пока некое совсем сдвинутое набекрень понятие не поразило его. Он сказал, что это неверно, с ним согласились, но спросили — что же это искомое в таком случае. Он молчал, роясь в памяти и прикидывая то, что рисовалось профессорами мелом на доске в лекционные часы.

— Да вы сами не знаете, Пирогов,— послышались слова.

Он молчал, лихорадочно вспоминая название неумело отпрепарированной артерии, переходящей на переднюю поверхность голени. Это была артерия — он понимал, что это артерия, потому что она не спадалась, как спадаются обычно вены, но тут же со страхом заметил, что проходящая рядом вена тоже почему-то не спадается, вопреки всем изученным им правилам. Пот проступил на его лице. То, что он видел перед собою, никак не походило на те схематические изображения артерий, вен и нервов, которые рисовались профессорами на черных досках и которые создавали почти геометрически точные представления о деятельности того или иного члена в организме человека. Здесь же все было перепутано, криво, косо, вне правил, затверженных им и его товарищами студентами, здесь ничто не соответствовало тому, что было там, на лекциях, и самое неприятное было то, что ему и всем его товарищам предстояло в будущем иметь дело не с изображениями, нарисованными на доске, а с тем таинственным и неопределенным, что содержалось даже не в трупе, а в живом, страдающем и ждущем от врача помощи человеке.

Сначала стыд, потом страх объяли Пирогова. Засучив рукава своей шинели и невежливо оттолкнув плечом сгрудившихся возле трупа студентов, он взял чей-то нож и стал доискиваться,— до этого никто из всех оканчивающих нынче курс наук так и не мог доискаться,— до истинного названия таинственного сосуда, отпрепарированного Фоминым. Со всех сторон слышались латин-

ские названия, вызубренные без всякого толка и понятия студентами; один кричал, что это, должно быть, arteria tibialis, другой — что оно никак не иначе чем vena saphena, третий уверял, что оно лежит на самой кости и потому должно быть мышцей, и если это не так, то он ни за что тогда не ручается.

Пирогов все молчал. Глаза его сузились, и левым он стал сильно косить, как всегда в минуты душевного смятения. По щеке вдруг пронеслась судорога.

— Все вздор,— молвил он, низко наклоняясь над голенью,— все вздор, господа. . .

— Да что вы все вздор да вздор,— недоброжелательно и со злостью сказал Фомин,— назовите сами, коли мы вздорщики, а вы знаете. . .

Пирогов опять не ответил. И что он мог ответить?

Через несколько минут он положил нож и отошел в сторону. Здесь на табуретке сидел Бегиничев, уже развязавшийся из своих полотенец, сердитый и взъерошенный. Пирогов сел рядом с ним.

Бегиничев насмешливо поглядел на Пирогова.

— Изрезали моего тифозного и радуетесь,— сказал Бегиничев,— а я отдувайся перед Мудровым.

— Очень ему это важно,— ответил Пирогов,— он и не подойдет к вашему трупу, не знаете вы его, что ли?

Помолчал и спросил:

— Послушайте, Бегиничев, вот кончите вы курс и что станете делать?

Удивление изобразилось на круглом и сытом лице Бегиничева.

— Как что?

— Вот я спрашиваю,— кончите курс и что же — лечить?

— А как же,— все еще недоумевая, ответил он,— разумеется, лечить, что же еще?

— И как лечить, вы знаете?

— Разумеется, знаю, и хорошо знаю, может быть хуже вас, потому что у вас память лучшая, а у меня хуже, но зато у меня есть книги такие, которых у вас нет и ни у кого нет. . .

Пирогов слушал и смотрел на рот Бегиничева, на его толстые, слегка вывороченные губы и на то старательное и аккуратное выражение первого ученика, которое проступало всегда на Васином лице в тех случаях, когда ему задавали трудный и умный, по его мнению, вопрос.

— И потом я старше вас,— говорил Вася Бегиничев,— вы у нас самый молодой и оттого сомневаетесь, я ведь по вашему лицу вижу, что вы в чем-то сомневаетесь, так ведь и я, когда был помоложе, сомневался, а теперь уж нет, не то...

— Я вовсе не сомневаюсь,— с грустью сказал Пирогов,— я вот только давеча подумал, что мы, пожалуй, в анатомии полные неучи и что нам солоно придется. На доске мы все знаем, а вот на деле...

И, возбуждаясь все более и более, он стал говорить Бегиничеву, довольно громко и взволнованно, что лекарский экзамен они, может быть, и выдержат, но если, например, дело дойдет до сражения и если на поле боя надо будет остановить кровотечение или...

— А зачем же вы в хирурги,— молвил Вася,— это не надо, и это небезопасно притом...

Пирогов вовсе еще не решил, пойдет ли он в хирурги или нет, но замечание Бегиничева о небезопасности задело его, и он стал спорить, горячась и размахивая, по своей манере, руками больше, чем следовало. Подошло еще несколько студентов, и спор сделался общим, а раз общим, то и крайне неопределенным.

— Пирогов самый младший у нас на курсе,— сказал наконец Фомин,— и самый крайний в мнениях. До сегодняшнего дня ходил петух петухом, все было хорошо, и вдруг новости — все мы неучи и митрофанушки. Нет, господин Пирогов, мы будем лекарями не хуже вас, а вот вы с вашими недовольствами и умением молниеносно разочаровываться, вы... впрочем, это ваше дело...

И, круто повернувшись на каблуках, отошел от спорящих прочь.

— Да отодрать его за уши,— нагло сказал за спиной Пирогова пьяница Перепоясов,— тогда будет старших почитать.

Несколько человек засмеялись. Перепоясов всегда приставал к Пирогову, а Пирогов боялся его, потому что он был так силен и огромен, что действительно без всякого труда мог надрать ему уши, Пирогов же был не силен, драться решительно не умел, и хоть боли не боялся, но боялся унижения, и поэтому обычно, если Перепоясов говорил про него какую-нибудь гадость, он делал такой вид, что не слышит или не обращает внимания. Сейчас он сделал такой вид, что не обращает внимания, когда же Перепоясов заметил, что ему надоел

голос Пирогова и что он бы хотел, чтобы эти дурацкие споры прекратились, то Пирогов через силу улыбнулся и слегка покачал головой, изображая этим, что на всякое чихание не наздравствуешься и что глупый Перепоясов ему смешон.

Придумывать аргументы для продолжения спора в то время, когда за его спиной Перепоясов готовился к чему-то враждебному для него, Пирогов не мог, оглядываться ему тоже не хотелось, и потому он встал и ушел, как бы вспомнив что-то, в другой конец зала. Когда он несколько отошел от всей компании, сзади раздался взрыв хохота, и он понял, что смеются над ним и над всем тем, что он давеча говорил. На мгновение ему стало обидно, но он решил, что надобно взять себя в руки и стать выше пошлой толпы, а для этого сел на виду у всех с книжкой Лангоссэка в руке и сделал такой вид, что он читает и что ему очень интересно, хоть он вовсе не читал, а сочинял в голове планы страшной и кровавой мести проклятой дылде Перепоясову, своему смертельному и пока что единственному явному врагу.

В два часа пополудни явился Мудров, и пошла потеха. Едва войдя в аудиторию, он заметил, что два студента повесили шинели в неприличном расстоянии от любимого им распятия, велел невежам назваться и заставил их земно кланяться распятию и просить прощения у всех православных, находящихся в аудитории. После этого он позвал солдата, стоящего при аудитории, и велел ему прочитать слова, написанные золотом над профессорской кафедрой. Солдат прочитал:

— Руце твоя создаста мя и сотвориста мя, вразуми мя и научи заповедям твоим.

— Дуррак,— налившись кровью ярости, закричал Мудров,— что врешь, где «рцы», как смеешь генералу своему врать?

Буква «эр» в слове «руце» действительно отвалилась, солдат же прочитал по привычке, за что немедленно же был отправлен Мудровым на съезжую с запиской, чтобы выпороли за неистребимую лживость натуры и за позыв на кощунствие. Солдат ушел. Только после этого приступили к вскрытию, причем Мудров сердито сказал, чтобы вскрывали сами, а он отойдет, потому что-де стар и трупного смрада не терпит. Глупый и мордастый Вася Бегиничев еще поточил на ремешке свой ножик и смело пошел крошить и копаться в теле, объявляя порой ре-

зультаты своих научных открытий громким и веселым голосом. Мудров сидел на самой верхней ступени амфитеатра и старался не глядеть туда, где происходило вскрытие, и иногда только покрикивал Васе, чтобы он попроворнее торопился, а то смердит. Вася крошил во всю силу. Пирогов стоял рядом с Васей и не уставал удивляться на Васино хитрое проворство. Едва всадив нож в верхние покровы, Вася уже кричал Мудрову, что отворил кишки и что они изменившиеся по виду. Пирогов же никаких изменений не видел, потому что и кишок не видел, а Вася уже объявлял новое открытие, совершенно совпадавшее с учебником, в котором был описан классический случай, известный студентам наизусть по той простой причине, что случай этот описал Мудров.

Студенты весело посмеивались, теснясь над трупом, а Вася, копаясь в толстых кишках, бодрым, солдатским голосом кричал что есть мочи глуховатому Мудрову:

— Покраснение наблюдаю, Матвей Яковлевич! Большой завал наблюдаю. Надчревная область находится в перемещении и вздута.

— Да скорее ты, душа моя,— молил сверху Мудров,— мочи нет, всякий аппетит навеки отобьет. Ищи язвочки, да и дело с концом.

— Сейчас, Матвей Яковлевич,— кричал Вася, разыгрывая комедию,— и так тороплюсь, сейчас будет готово...

Без всякого труда он нашел язвочки там, где их никогда не бывает — в толстых кишках, назвал толстые тонкими, закрыл покойника рогожкой и пошел мыть руки. Так и не поглядев на Васину работу, Мудров уехал домой. В аудитории царило совершенно школьническое оживление. Через несколько минут Пирогов остался один в большой зале с золотым речением над кафедрой и с малыми посеребренными досками по стенам. Машинально, по привычке он прочитал все: и «Познай самого себя», и «Врачу, исцелися сам», и все то, к чему он так привык за университетские годы. Никакого отклика не вызвало это в его душе. Он чувствовал себя утомленным. В голове была какая-то пустота, в ушах звенело. Не хотелось ни думать, ни поступать, ни садиться, ни уходить. Все-таки он сел — заболели ноги. Сел и уставился на рогожу, под которой угадывались очертания трупа. Так он просидел долго, не меньше часа, потом, почувствовав себя отдохнувшим, сбросил с трупа рогож-

ку и наконец понял, о чем он думал, пока Вася вскрывал, о чем недоумевал и что удивляло его.

Ничего похожего на внутренности человека, умершего от тифозной горячки, тут не было. Об этом он думал, когда глупый Бегиничев вскрывал тело, но думал несправедливо по отношению к себе — считал, что по незнанию своему он не видит то, что должно, а видит то, что к настоящей и истинной болезни не имеет никакого отношения.

— Шалишь,— вдруг сказал он сам себе и, не стесняясь залатанной сорочки, снял мундирный сюртук и повесил его возле себя, еще повторил «шалишь», завернул рукава сорочки и принялся за работу.

Через час вернулся со съезжей выпоротый солдат Гаврилов. Пирогов все еще работал. Гаврилов сел неподалеку, набил носогрейку табаком и рассказал, что перед поркой велели ему снять государеву медаль за двенадцатый год, а после порки велели надеть в обрат.

Пирогов молчал.

Гаврилов вздохнул и сказал, что нынче порют легче, чем зимою, зимою занимался этим делом Петрушка, тот был ловкач и мастак, теперь Петрушка, слава богу, помер, жить стало вольготнее.

— Да вы что в ём ковыряете,— сказал вдруг Гаврилов строго,— чай, вы не профессор, чего же мертвое тело так-то ковырять. . .

— Хорошо, хорошо,— быстро ответил Пирогов,— молчи знай.

Гаврилов сердито замолчал, принес себе вторую табуретку, поставил ее не вплотную к первой, сел, как бы повиснув в воздухе, и исподлобья уставился на Пирогова.

Тот все еще работал.

— Пойду да отлепортую на вас по начальству,— прокашливаясь, сказал Гаврилов,— какое занятие выдумали, скажите на милость, казенное имущество зазря переводить. Может, это тело есть урода и его надобно в банке содержать. Слышите, господин Пирогов?

— Слышу, слышу, молчи, молчи,— ответил Пирогов.

Гаврилову очень хотелось подробно рассказать, как его выпороли, но Пирогов его не слушал, и это раздражало солдата до того, что он начал помаленьку грубить, и когда Пирогов вдруг резко встал — солдат испугался, что господин студент будет драться, но Пирогов, не гля-

дя на него, натянул сюртук и вышел из аудитории, кося глазами, бледный и странный.

Через несколько минут он отворил дверь деканата и спросил у чиновника, тут ли Ефрем Осипович. Чиновник ответил, что Ефрема Осиповича сейчас нет, но есть его высокопревосходительство господин Лодер.

— А можно ли его видеть? — спросил Пирогов.

— Да вам по какой надобности?

— Скажите — студент Пирогов по крайней надобности.

Чиновник снял очки и прошел во вторую комнату, тотчас же возвратился и сказал, что его высокопревосходительство просят пожаловать к ним. Пирогов вошел. Знаменитый анатом Юст Христиан Лодер не ответил на поклон Пирогова и молча ждал, что скажет ему хилый, косоватый и рыженький студент. Помедлив несколько и слегка задыхаясь от волнения, Пирогов сказал, что умоляет господина профессора простить его за беспокойство, но что ему крайне важно знать мнение господина профессора по одному приватному поводу, может быть и ничтожному, но для него имеющему весьма важное значение. . .

— Я не понимаю вас,— с немецким акцентом сказал Лодер.

Пирогов вновь заговорил, сбиваясь и путаясь. У него был дикий вид в нищенском мундирном сюртуке, в лоснящихся и заплатанных панталонах, в сапогах с отстающей подошвой. От него волнами исходило неблагополучие. И этот косящий глаз! Лодер слушал внимательно и, чтобы не раздражаться, смотрел на собственные руки — белые и в кольцах.

— Теперь я понял,— сказал он, все еще не глядя на Пирогова.— Ваше дело ко мне заключается в том, что вы позволяете для себя предполагать, что ваш профессор, высокоуважаемый мой сотоварищ, его превосходительство господин Мудров, неправильно заключил о болезни и о смерти некоего. Вы же имеете мнение, что некий скончался не от горячки тифоидной, но скончался от бугорчатки. Так я вас понял, господин студент?

— Совершенно верно, господин профессор,— ответил Пирогов.

— И вы желаете от меня, чтобы я определил окончание в этом деле,— продолжал Лодер, поднимая на Пирогова спокойно-недоброжелательные и суровые гла-

за,— определил тем, чтобы отправился с вами на аудиторию.

Пирогов молча кивнул головой.

Лодер поднялся и пошел вперед на сухих негнущихся ногах.

Солдат Гаврилов, завидев профессора, вытянулся в струну. Лодер смотрел мимо него, как вообще смотрел мимо всех, чтобы эти все не воображали слишком много в его присутствии.

Сощурив глаза, несколько секунд он молча всматривался в разрушительные следы бугорчатки внутренностей. Потом разогнул спину и, глядя мимо Пирогова, почти с ненавистью сказал:

— Этот некто скончался от той причины, от которой определил ваш профессор, а именно от тифоидной горячки. Никакой бугорчатки тут нет. Для вашего будущего и для вашей матушки, если она у вас жива, да сохранит ее господь, запомните раз навсегда, что больные умирают только от того, от чего знают их профессора, а если нет профессора, тогда лекаря, а если нет лекаря, тогда чин еще ниже. Запомните то, что я вам говорю сейчас, нисходя к вашей молодости и тому, что вы не имеете еще опыта жизни. И когда вы будете профессор, чего я не могу для вас не желать, тогда вы узнаете, что никто никогда не может иметь свое решение для того, когда оно уже есть и определенное. Прощайте!

Он повернулся к солдату Гаврилову, который весь затрепетал при этом, и совсем другим, грубым юнкерским голосом закричал ему:

— А ты, собачья свинья, как смеешь позволять здесь? Убрать тело, чтобы не было никакого. Я тебе задам, такая тварь, что ты не узнаешь, как стоять!

От бешенства он сразу же растерял все русские слова и кричал теперь по-немецки, что́ для Гаврилова было особенно страшно. Но Пирогов, которому терять было уже нечего, перебил Лодера и сказал ему, что солдат не виноват, что виноват только он один, так как не слушался запрещения солдата. Лодер молча повернулся и ушел. Не глядя на Гаврилова, Пирогов натянул шинель, подобрал книгу и медленно зашагал к двери.

Дома его окликнули обедать,— он не ответил и поднялся к себе в мезонин. Был тихий, погожий, весенний вечер. Не снимая шинели, он отворил низкое окошко, сел и долго, бессмысленным взглядом следил за розовыми вечерними облаками, тихо плывущими над Воробьевыми горами.

Заскрипели старые ступени узкой лестницы — пришла мать, обеспокоенная его молчанием, спросила, не болен ли он, нет ли у него лихорадки или колотья.

— Нет, маменька, я здоров,— ответил он,— идите себе отдыхайте. . .

Мать ушла, упросив его, чтобы он выпил перед сном горячего малинового чаю. Стало совсем смеркаться. Он зажег свечу и принес на стол кипу книг — все, что у него было куплено в разное время, начиная от сочинений доктора Фридриха Рибеля, придворного медика бранденбургского курфюрста, и кончая переписанными из десятых рук Скарповыми суждениями и размышлениями. Вся эта кипа была прочитана и изучена им вдоль и поперек, но он вновь принялся читать и искать, перелистывать и раздумывать, проверять себя и сличать то, что он видел нынче своими глазами, с тем, что видели и записали непререкаемые для него авторитеты.

И чем дальше, тем очевиднее становился для него странный смысл слов, которые произнес давеча Юст Христиан Лодер.

Больше не в чем было сомневаться — Лодер сказал именно то самое, что он понял с самого начала и в чем усомнился,— так это было чудовищно и нелепо. Юст Христиан Лодер сказал, что слова профессора есть незыблемый закон, в независимости от того — прав профессор или он грубо заблуждается. Главной же мыслью Лодера была та, что лекарский круг есть замкнутая в себе каста и что для благополучного жития в среде этой касты надобно всегда всему доверять, что исходит от старших в чине или в научном звании, и что иное поведение никогда и ни в ком не встретит сочувствия, а вызовет только желание удалить из касты столь невежливого и не понимающего природы кастовых отношений собрата.

Чтобы успокоиться и согреться — ему было теперь очень холодно, а затворить окно он не догадывался,— Пирогов выпил еще теплого малинового чаю с медом и лег в постель. Но ни постель, ни чай — ничто не могло

согреть его, он дрожал. Сегодняшний день был днем необъяснимых и страшных катастроф. Только сейчас он почувствовал это так остро и полно, что внезапно показался себе смешным,— вспомнив вчерашний день и ту гордость, которую он испытывал, показывая дядюшкиным чиновникам кости, принесенные в рогожном кульке.

«Да, да,— со стыдом и тоской думал он,— конечно же я смешон, ужасно как смешон со своими костями и со своим мальчишеским хвастовством: ведь я ничего, совершенно ничего не знаю, хоть бы я десять бугорчаток нашел. И как ни печально и ни отвратительно то, что сказал давеча Юст Христиан Лодер, но ведь он куда более меня прав, потому что что же это будет, если все мы, бараны и неучи, полезем поправлять даже ошибающихся наших профессоров. Да ведь еще и неизвестно даже — ошибся Мудров или нет: вскрытия он не видел, а что касается до диагноза, то это совсем темная вода — какой бы я диагноз поставил, может и еще похлеще».

Но, думая так, он все-таки понимал, что оправдать Лодера нельзя, потому что Лодер-то не знал тех подробностей, которые были известны ему, Пирогову, а главное потому, что Лодер, конечно, рассуждал совсем не так, как он за Лодера,— Лодер рассуждал куда проще и куда более кастово.

В конце концов он осудил Лодера, но не почувствовал себя от этого спокойнее или легче. Позорная сцена у мертвого тела тогда, когда все они так постыдно ничего не понимали в анатомии, до сих пор стояла перед его глазами, и могли ли низкие действия Лодера хоть в самой малой мере оправдать невежество дюжины студентов-медиков, вот-вот лекарей?

Конечно, не могли.

Но что же делать?

Куда, к кому идти?

У кого спросить совета, помощи, кто научит, что делать дальше?

Ефрем Осипович Мухин?

Но только вчера он читал невозможные вещи, сочиненные Мухиным, о мокротных сумочках и удивлялся тому, что такой почтенный человек, как Ефрем Осипович, мог насочинять ворох столь удивительного вздору и как этот вздор вытерпела бумага. Учение о мокротных сумочках, разработанное Мухиным, было настолько оче-

видной нелепостью, что даже он — еще невежда, дитя в науке — понимал, как мало в мухинских научных упражнениях истины и сколь далеки эти упражнения от настоящей науки и подлинной научной правды.

Мокротные сумочки все-таки были еще полбеды по сравнению с артерией имени баронета Виллие. То ли от старости, то ли еще от чего другого, но только независимый когда-то Мухин в последние годы не только утерял эту былую свою независимость, но сделался искательным к начальству, чего молодость никогда не прощает, и в искательности (ходили слухи, что он ждал пенсиона для выхода в отставку) совершенно потерял всякую меру и пустился на отчаянное средство: написал в своей книге, что некая артерия — есть любимая баронетом артерия, и потому отныне она названа именем Виллие.

Поступок дикий и не виданный до сих пор никогда.

Книга ходила по рукам,— студенты не верили своим глазам, отношение к Мухину резко изменилось. Виллие не любили, такая искательность даже к лицу, от которого зависел размер пенсиона, была ужасна.

Мухина запрезирали.

На каждой репетиции студенты решительно все артерии называли именем Виллие. Ефрем Осипович то краснел, то бледнел. В аудитории стоял глухой смех. Молодежь в таких случаях не знает ни жалости, ни снисхождения. И даже Пирогов не жалел больше престарелого своего учителя и покровителя, испытывая к нему только чувство брезгливой неприязни и почему-то собственной вины.

Идти к нему и у него просить совета и помощи?

Какой совет и какая помощь, когда старику ничего не нужно и ни о чем он больше не думал, как о пенсии да о деньгах.

В этом не было никакой последовательности, но он решился вдруг идти именно к Ефрему Осиповичу.

Почему?

Разве он знал?

Он вдруг представил себе лицо своего ныне во прах поверженного божества, вдруг услышал его несколько пришепетывающий голос, вдруг увидел его лицо с приятным выражением, вдруг почувствовал его ладонь — широкую и сильную — и понял, что он у него один, кроме матушки и дядюшки, которые, несомненно, желают ему, племяннику и сыну, добра, но которые ничему не

научат, и ничего не посоветуют, и ни в чем не помогут. Он же, Ефрем Осипович, несмотря на казенное выражение приятности в его лице, все же лекарь, и несомненно одаренный, и если у него спросить по совести и по правде, то он не солжет, не сможет солгать, а научит если не наукою, то жизненным своим опытом, своей огромной лекарско-человеческой правдой, которая ему известна и которую он не может не знать, не смеет не знать и, следовательно, не посмеет утаить от единственного (Пирогов это знал), от единственного своего крестника в медицинской науке.

— Нет, это что же,— почти шептал он,— нет, это невозможно, чтобы он не захотел говорить, коли я его спрошу, он не понять не сможет, я ему такими козырьми сразу пойду, что принужу его, если ему даже и не захочется. Нет, это дудки. Кто же мне тогда скажет, ежели не он? Он должен сказать. Он папеньке велел определить меня в медицину, и с него спросится, потому что коли лекарь лечит, то он обязательно должен в свою науку и в свое лечение верить, иначе ни науки не будет, ни лечения, а я нынче усомнился, и пускай он мне поможет разобрать хаос и определить все по своим настоящим местам. . .

Под утро ему стало легче, он согрелся и повеселел, а потом сразу уснул и приснился сам себе, как он сделался профессором за границею и идет по тамошней улице, крутит в руке тросточку и напевает, а за ним бегут тамошние уличные заграничные мальчишки и кричат беззвучные слова, но он все-таки понимает, что кричат в его честь, что он профессор и что все этому очень рады.

Случай помог ему увидеться с Мухиным на следующий же день. Солдат Гаврилов вызвал его с репетиции и сказал, что его спрашивают в деканате. Краска кинулась ему в лицо, рукою он взбил уже жидкие, но еще довольно пышные волосы, оправил проклятый, лезущий кверху мундирный сюртук и вошел в кабинет к Ефрему Осиповичу. Старик, выставив вперед свою большую нижнюю челюсть и слегка откинув лобастую голову, серебряным ножиком чистил крымское яблоко, ловко поворачивая его короткими пальцами. Завидев Пирогова, он приветливо кивнул ему и велел сесть поблизости на мягкий стул. Пирогов сел.

— Что это сегодня задождило,— сказал Мухин.

— Да, что-то с самого утра,— ответил Пирогов.

Он все больше и больше смущался и, зная за собой способность густо краснеть, думал, что сейчас покраснеет и замолчит,— краснея, он всегда не решался говорить.

Старик посмотрел на него из-под очков и предложил яблоко, Пирогов отказался.

— Зря,— молвил Мухин,— яблоко хорошее, сладкое.

Помолчали.

Пирогов сидел, поджимая ноги в порыжелых, драных сапогах: уж больно невесело выглядели эти сапоги на пушистом ковре в цветах и разводах. Сапоги и ковер придали ему решимости. Отчаянным голосом он сказал:

— Ефрем Осипович, мы никто анатомии не знаем.

Мухин без всякого удивления взглянул на Пирогова и ответил, что ее знать мудрено.

— Да мы ее совсем не знаем,— воскликнул Пирогов,— мы на трупе ничего не можем понять.

— Вот как,— молвил Ефрем Осипович и, отрезав от яблока ломтик, положил его себе в рот. Потом подвинул к себе атлас, открыл наугад и, ткнув пальцем, спросил у Пирогова: — Это что?

Пирогов ответил.

— А это? — спросил Мухин.

Пирогов опять ответил.

— У студентов твоего возраста,— сказал Ефрем Осипович, добрыми глазами глядя на Пирогова,— есть две главные болезни, милый мой друг. Либо им без всякого основания кажется, что они знают решительно все, либо также без всякого основания им начинает казаться, что они не знают ничего. Если я не ошибаюсь, то еще несколько дней назад ты, душа моя, предполагал, что знаешь куда больше твоих профессоров, не так ли?

Пирогов молчал, медленно краснея. Краска заливала не только лицо его, но и шею, и уши.

— Теоретическую анатомию ты знаешь отлично, Николаша,— продолжал Мухин,— на трупе же ты не упражнялся, потому и не знаешь, как там что, да ведь не велика беда, успеешь, коли захочешь, а коли не захочешь, то и без трупорезания лечить будешь отличными старинными средствами, декоктами и настоями. Помнишь, как я брата твоего поднял с одра?

— Помню,— тихо ответил Пирогов.

— Одно тебе могу сказать,— продолжал Мухин,—

никогда не отчаивайся в своих знаниях и не думай, что другие знают больше тебя. Никто не знает больше, коли ты сам хочешь знать. Все у тебя впереди, все ты еще поспеешь, чего пока не поспел. Всех обгонишь, коли захочешь, а не захотеть ты не можешь. А теперь я у тебя спрошу: прочитал ли ты книгу мою?

— Прочитал,— едва слышно ответил Пирогов.

На лице Мухина выразилось мгновенное беспокойство и тотчас же уступило место выражению приятности.

— Легко ли она читается? — спросил Мухин, самим вопросом ограничивая тему ответа.

— Легко,— сказал Пирогов.

Сердце его билось. Он понимал, что Мухин нарочно задал такой вопрос, но мог ли он уклониться от того ответа, который должен был дать, хоть его и не спрашивали.

— Книга ваша читается легко,— молвил он не совсем твердым голосом, уже жалея, что начал,— слог ее доступен и для нас, студентов, но только, Ефрем Осипович, зачем вы написали про Виллие?

Глаза его смотрели ласково, почти испуганно, но он не жалел, что сказал. Теперь мгновенно исчезло чувство вины перед Мухиным, было его только жалко: он сидел перед ним старый и нисколько не величественный, совсем не тот Мухин, что когда-то, и делал такой вид, что занят очисткой второго яблока и что вопрос Пирогова даже несколько развеселил его. Но за всем тем Пирогов видел, что Мухину мучительно неловко и что он в первый раз слышит, чтобы его так прямо спрашивали о Виллие.

— Ты, душа моя, еще ребенок,— пряча глаза, заговорил он,— и многое тебе совсем непонятно и не скоро станет понятно. Я прожил много, и много видел такого, что тебе и во сне не приснится. Ответить на твой вопрос могу пока только так: кроме науки есть еще и жизнь, и если постигать науку трудно, то жизненную науку постигать еще труднее. Людям надо прощать, Николаша.

— Нет,— сказал Пирогов.

— Что — нет?

— Не надо прощать,— внезапно охрипнув, сказал Пирогов,— а коли только прощать, так надобно идти в монахи или еще куда, а только не в ученые лекаря. И я, Ефрем Осипович, слишком помню вашу доброту ко мне

и слишком вас уважаю, для того чтобы этого вам не простить, а только лишь понять, почему вы это совершили, и попросить вас от всех нас, студентов, никогда впредь подобного не совершать, потому что университет есть святое место и отсюда подобное не может быть вынесено молодыми людьми. Разве не так?

— Ты слишком молод,— начал было Мухин, но Пирогов перебил его.

— Ужели же потому,— все еще хриплым голосом воскликнул он,— ужели же потому, что я молод, мне должно примириться с этим? Да сами же вы ссылаетесь на старость, хорошо, бог знает что будет в старости, пусть же, пока мы молоды, останутся между нами святые идеи независимости, достоинства человеческого и правды...

Он говорил долго, волнуясь, запинаясь и путаясь, и некрасивое лицо его выражало такую крайность чувств, такую их силу, убежденность и страстность, что, как ни тяжело было Мухину все то, что он слышал от мальчика — своего ученика,— он не мог ни обидеться, ни рассердиться, и чем дальше говорил Пирогов, тем с большею добротою смотрел на него Мухин, жалел почему-то его и думал о том, как все преходяще в человеке и как он, Ефрем Осипович, тоже был когда-то таким и кричал высоким слогом, и туманные любил выражения, и умел подпустить насчет святых идей.

— Ну, спасибо,— произнес он и улыбнулся, когда Пирогов кончил свою вдохновенную речь,— спасибо тебе, Николаша, душа моя. Все это удивительно как верно и даже прекрасно, но только запомни навсегда, что́ я тебе скажу. И запомни не для того, чтобы так не поступать, а запомни именно для того, чтобы поступать как понадобится, потому что я тебе желаю счастья и добра и не хочу думать о том, что жизнь твоя может сложиться дурно из-за каких-то там высоких идей, хоть они несомненно прекрасны и до того красивы, что просто мочи нет. Нынче тебе шестнадцать годков, а мне седьмой десяток. Это, душа моя, великая разница, и хоть вы, молодежь, всегда склонны думать о нас, стариках, как о глупцах, я этого мнения разделить не могу и считаю, что мы вас умнее, а если нет, то хоть хитрее и уж, во всяком случае, вперед видим куда правильнее, чем вы с вашими шорами из святых идей... Но это материя длинная и скучная, сказать же я хочу тебе только одно,

Николаша: как бы ни были прекрасны помыслы твои, каким бы высоким сердцем ни наградила тебя природа, в шестьдесят годков ты будешь грешен. Запомнил? Будешь! Ты только запомни это, навсегда запомни и не старайся забыть, а старайся помнить. Будешь грешен, запомни, обязательно будешь, и ежели не более меня, то это еще хорошо. Я ведь покорился и потому мало грешил, а коли не покориться, а искать действия на земле и руки не складывать, а дело делать, то либо тебя волки сожрут вместе с костями, и шерстью, и потрохами, либо сам с ними в стае пойдешь, и счастье твое, если уклонишься от совместного с ними пира и какого-либо малютку, начиненного святыми идеями, не слопаешь за компанию. Ох, дожить бы мне до ста лет, мы бы с тобой еще поговорили, и как бы поговорили, и как бы сегодняшний наш разговор вспомнили, да только не дожить, никак не дожить, помру... Единственное только утешение, что ты запомнишь сегодняшнее наше объяснение и честно на седьмом десятке своей жизни сделаешь себе рапорт по всем статьям. Что глядишь на меня?

— Я не рассчитываю дожить до седьмого десятка,— молвил Пирогов.

Мухин сердито засмеялся и крикнул, что он тоже не рассчитывал, ан вот живет.

— Все вы, молодежь, меланхолики,— заключил он,— и, несмотря на святые ваши идеи, ух, жестокий вы народ, бог с вами. Мы, старики, хоть и без святых порывов, а куда вас лучше.

Он встал и прошелся по комнате старческой походкой, слегка волоча одну ногу и посмеиваясь сердитым смешком, потом внезапно оборотился к Пирогову и сказал ему громко и быстро:

— Начиненный святыми идеями и благородным негодованием человек шагу по нашей земле не пройдет, как шлепнется, для того чтобы более во веки веков не встать, и что от него будет толку, ну-тка, скажи? Скажи, коли ты такой умный?

— Благородные идеи и святое негодование, — начал Пирогов,— тем одним хороши, что пробуждают в людях огонь, пламень неугасимый...

— Дурак,— крикнул Мухин,— пламень, мальчишка глупый, слушать противно, набрался нечеловеческих слов и туда же с неугасимым... Я вот баронету польстил несколько, назвал артерию его именем и без всяко-

го пламени получу пенсион, для себя думаешь, дурак? Куда мне его в могилу — пенсион — куда? Об этом никто не знает, но коли вы, негодяи, почти что до обструкции дошли, знайте, жестокие мальчишки, четверо из тутошних казеннокоштных не на казенном обучаются, а на моем, я свое жалование отдаю, чтобы вы с вашим пламенем священным щи хлебали, да кашу, да книги себе покупали и через эти книги меня же позорили... А пенсион получу от Вилльешки — вам же отдам, чтобы больше лекарей было для несчастной моей России, понял? Вот зачем я это делаю, жестокосердные вы мальчишки, зачем принимаю от вас позор и зачем...

Пирогов поднялся со своего стула. Лицо его дрожало. Протянув одну руку к бегающему уже по комнате Мухину, он окликнул его, но Мухин так кричал, что не слышал ничего. В глазах его были слезы обиды, и, шагая по комнате, он отворачивался от Пирогова и кричал, что никогда не чаял слышать такие слова, что священный огонь вздор, что он все хорошо понимает и не раз замечал, какими гнилыми взглядами смотрят на него студенты и Пирогов тож...

— Ефрем Осипович,— сам чуть не плача, молвил Пирогов,— Ефрем Осипович...

Оба они были взволнованы, и сцена примирения растрогала обоих вконец.

— Простите меня, Ефрем Осипович,— говорил Пирогов, глотая слезы,— я негодяй, простите...

— Нет, ты не негодяй,— отвечал Мухин.

— Нет, негодяй,— отвечал Пирогов, с восторгом глядя на бога своего, вновь воспрянувшего из праха к вечной жизни,— я про вас невесть что думал, простите меня...

— Все мы люди,— говорил Ефрем Осипович, нюхая табак, чтобы успокоиться,— все мы в чем-то грешны, и только прощать надобно, и поменьше этой нашей пламенной неукротимости...

Теперь они сидели в креслах друг против друга. У Мухина от слез покраснел кончик носа, он моргал опухшими глазами и говорил с чувствительностью о том, что между стариками и молодежью должно быть извинение к слабостям, и тогда все пойдет отлично. На слове «отлично» он начал чихать, потом они весело посмеялись, и Мухин заговорил о том предмете, ради которого вызвал Пирогова с репетиции.

— Так вот что, милуша (с этой минуты Мухин стал называть Пирогова не иначе как милушей),— вот что, милуша,— молвил он,— я ведь тебя позвал для дела. Поедешь ли ты за границу?

Пирогов сказал, что поедет, но Мухин ответил, что надобно выбрать себе специальность, и они вдвоем стали обсуждать, какую ему надобно специальность. Физиология не годилась, хотя Пирогову и казалось, что, зная о грудном протоке, о желчи из печени и о моче из почек, а также о химусе и хилосе, он в совершенстве знает весь предмет. Что же касалось до селезенки и поджелудочной железы, то органы эти были мало известны не только ему одному. Но, несмотря на такие отличные его знания физиологии, Мухин решительно отверг эту специальность.

— Другое надобно,— сказал он,— иди, подумай, выбери, потом мне скажешь.

Прощаясь, он поцеловал Пирогова и сказал ему, что любит его и не сердится на него совершенно. Велел решать поскорее и отпустил, сунув в карман его шинели румяное крымское яблоко.

Но где было решать и с кем? У кого просить помощи?

Не теряя ни минуты, он побежал в свой десятый нумер, туда, где жили товарищи, в корпус квартир для казеннокоштных студентов. Тут он бывал часто, в этом десятом нумере, здесь впервые он услышал имена Шеллинга, Окэна и Гегеля, тут велись бешеные споры о бруссэизме, читали Пушкина и Рылеева, здесь испитой Чистов читал ему Овидия, и, как ни скучно ему было, он должен был непременно слушать, иначе его все запрезирали бы. И он слушал, думая о своем: Овидий не очень трогал его.

Здесь, в этом десятом нумере, постигли его первые разочарования. Не сразу он сознался себе в том, что говорильня в десятом начинает раздражать его. Никто тут не учился толком, но говорили и спорили сутками напролет, в спорах с непостижимой легкостью порхали с предмета на предмет, и часто к концу никто не понимал, из-за чего же разгорелись крики. Как нравились, как пленяли его эти споры на первом курсе и как быстро он охладел к ним, перестал принимать в них участие, сидел и молчал, удивляясь однообразию мыслей и ску-

дости ораторских приемов, которые сводились к одному: кто кого перекричит.

Все тут было вместе: и щекочущие разговоры о тайных масонских обществах, и рассказы о том, как хирурги давеча разбили заведение с женщинами на Трубе, и стихи, которые читались со значением, и Биша, и Мочалов, и бог, и религия — и все без толку, лишь бы было к чему прицепиться, чтобы покричать, поспорить, назвать друг друга в споре олухом, а главное, чтобы погромче.

С каждым месяцем замечал он в тех, кого на первом курсе так чтил, пустоту и незаметную поначалу ничтожность знаний. Как известно, для крикливых споров не надо много знать,— достаточно иметь самое общее понятие о предмете. Общее понятие было, и, боже мой, как умели они переливать это общее понятие из пустого в порожнее.

Но иных друзей у него не было, и хоть этих тоже не мог он назвать своими друзьями, все-таки заходил к ним, когда делалось вдруг скучно,— сидел час, много два, и уходил обычно с тоскою. И удивлялся, как могло это нравиться ему, как мог он всерьез слушать этот вздор. Однажды, слушая споры в десятом нумере, ему вдруг подумалось, что слишком много говорят в России и что никто дела не делает, а надобно делать хоть немного, но беда — делать некогда: все время на разговоры уходит.

«Слишком много говорят в России»,— он нашел эту фразу справедливой не только по отношению к десятому нумеру. Везде много говорили, а мало знали и еще меньше делали. «Много, много говорят в России»,— укоризненно думал он и давал себе слово не болтать лишнего, а лучше тратить время свое с пользой на книги или на другие толковые занятия.

Но более всего отвратительны ему были студенческие попойки и особые нетрезвые споры, где всяк кричит свое, где никто никого не слушает, где ничье мнение не берется всерьез и все-таки спорят, хоть они, в общем, и не люди уже, а только лишь существа, тем похожие на людей, что обладают даром речи, правда бессмысленной, но все же речи.

Студенческие попойки и нетрезвые, шумные споры пьяных людей о некоем всеобщем человеческом счастии, песни со слезами, проклятья, ругательства и слюнявые

поцелуи, вместе со штурмами заведений на Трубе, скверные болезни и пустая философия мало знающих, но наслышанных людей — все вместе с внезапной силой бесконечно надоело ему и на много лет вперед настораживало к людям, любящим задушевно говорить за вином или водкою.

Уже на втором курсе он перегнал их всех в знаниях, они остались позади, им было некогда, они спорили и кричали, он читал в своем мезонине с жадною страстью книгу за книгой, подсыхал, желтел, палимый неразрешимыми вопросами, неразгаданными тайнами бытия; матушка, дядя и сестры охали над ним, он мало ел, мало спал, улыбка у него сделалась саркастическая, говорил он загадочно, с латынью, старался находить афоризмы, записывая их в многочисленные тетрадки, искал высшую мудрость, начало начал, смысл жизни, и ничего не находил,— то, что казалось значительным и серьезным сегодня, назавтра теряло всякий смысл.

Он был совсем еще мальчиком, обижаясь на домочадцев, плакал, голос у него ломался, иные в его годы еще и читать-то толком не умели, он же вырабатывал свое мировоззрение, разрушал в себе почитание к богу, философствовал, размышляя о тайне рождения и смерти, и доразмышлялся до того, что однажды заболел горячкою, с жаром и бредом, и провалялся более месяца. Но горячка эта его и вылечила. Внезапно он получил отвращение ко всеобщим вопросам, так сильно волновавшим дотоле его воображение, и с жадностью накинулся на медицинские науки — на анатомию, хирургию, фармацею, зоологию, ботанику, с увлечением стал изучать физику и химию, и все это до тех пор, пока не пошел рядом со своими профессорами. Тогда ему показалось, что он знает все, что дальше делать нечего, что жить скучно. Вновь на губах его зазмеилась саркастическая улыбка, означавшая, что он стоит выше всего и что он все презирает. С этой улыбкой входил он и домой, и в университет, и в десятый нумер до тех пор, пока не произошла история в анатомическом зале. Тут он вновь растерялся и решил никогда более не гордиться и не воображать о себе невесть что. «Надо дело делать,— лихорадочно думал он,— надо обязательно дело делать, и покончить надо со всем с этим, будь оно неладно». С чем надо было покончить, он, разумеется, толком не знал, но сердце его билось, щеки горели, все

свое прошлое он осуждал, себя видел дурным человеком, даром погубившим лучшую часть жизни. «Молодость прошла,— с тоской думал он,— молодость загублена безвозвратно, надо спешить, надо действовать, решать, жизнь уходит,— еще немного, и мне стукнет двадцать лет, что можно сделать на третьем десятке? Ничего!»

Себя и свою жизнь он представлял только до тридцати лет, твердо знал, что более тридцати не проживет, что и тридцать немало, что и до тридцати дожить дай бог.

Однажды, находясь в чувствительно-приподнятом настроении духа, он нарисовал на листке бумаги свою могилу и изобразил на каменной плите даты рождения и смерти: «13-го ноября 1810 года — 15-го мая 1840 года». Смерть свою он представлял себе весною — он сидит в креслах и умирает улыбаясь, волосы у него белокурые, он красивый и бледный, у ног его воркуют голуби, он бросает им крошки и умирает. Он попытался нарисовать и эту сцену, но она у него не получилась, он не умел изображать людей, голуби получились, кресла получились, а сам он нет. Тогда он нарисовал памятник в виде гранитной плиты, на нем написал годы рождения и смерти, имя, отчество и фамилию, а также знаменитую эпитафию, очень близкую его сердцу:

Прохожий, ты идешь, но ляжешь так, как я,
Постой и отдохни на камне у меня;
Взгляни, что сделалось со тварью горделивой,
Где делся человек? И прах зарос крапивой!
Сорви ж былиночку и вспомни обо мне!
Я дома, ты в гостях — подумай о себе.

Изображение это случайно попалось в руки матери, от ужаса она почти потеряла сознание, он прекратил рисование надгробных памятников самому себе и поклялся матери, снизойдя до ее слабости, никогда больше так не забавляться.

Никто из его товарищей не знал, что с ним происходит. Да они и не очень интересовались его жизнью. Он был самым младшим на курсе, в кутежах и студенческих забавах участия не принимал, на Трубу не ходил, был вежлив, некрасив, мал ростом, обидчив и беден. Великовозрастные студенты раздражались его присутствием среди них, тем, что он смеет их осуждать своим молчанием, тем, что он краснеет, тем, что он всегда

где-то витает, и тем, что он чванится перед ними. Студент Марсов, верзила из семинаристов, весь обросший сине-черною щетиною, не давал ему проходу, называл поросенком и подсвинком, глупо и грубо острил на его счет, а другие смеялись и радовались даровому представлению, он же ничего не мог поделать — Марсов был во много раз сильнее его и к тому же матерился. Ни драться, ни матерщинничать Пирогов не мог.

В университете Пирогов был почти одинок, если не считать десятого нумера, где ему покровительствовали до той поры, пока не почувствовали его над ними превосходства: люди не любят, чтобы их обгоняли, и как Пирогов ни скрывал от них того, что знает и думает больше, чем они,— скрыть не удалось, пошло отчуждение, чем дальше, тем больше. В угоду десятому нумеру он не мог пить и петь жалобные песни, и целоваться, и клясться, а трезвый во время попойки он им мешал, портил им настроение, сбивал их с той высокой чувствительности, ради которой они пили водку и разжалобливали себя песнями и кликами.

Почему взбрело ему в голову идти советоваться в десятый нумер, с которым давно уже порвались близкие отношения, почему решил он, что тут его научат и посоветуют ему, что делать, он не знал толком, но на мгновение вспомнились ему первые дни в университете, то очарование, которое исходило тогда для него из десятого нумера, те разговоры, которые он по неопытности и по наивности принимал если не за самое дело, то за начало некоей великой деятельности; гербарий, который ему почти подарили, кости, первые кости, похищенные с лекций Лодера и подаренные ему — новичку, начало его сознательной жизни, начало мыслей, начало всего.

Вспомнил, пошел, и едва вошел в нумер — тотчас же пожалел, потому что это был не тот нумер, который ему вспомнился, а другой, нынешний, прокуренный и пьяный, грязный и шумный, велеречивый и похабный.

Но убегать было уже поздно: его заметили и велели садиться. Он сел рядом с Васей Бегиничевым. Пьяный Перепоясов, который давеча на вскрытии тифозного предложил отодрать Пирогова за уши, налил ему из штофа водки. Тайком он выплеснул ее под стол. Отвратительный Марсов тенором пел непристойную песню,

над столом стоял хохот, крики, вопли. У Марсова от натуги лицо сделалось темно-багрового цвета — ему мешали петь, а он хотел, чтобы его слушали. Но никто ничего не слушал. Визжала грязная дверь на блоке, солдат Яков, приставленный к студентам, таскал за пазухой штофы под черными печатями, колбасу и солонину. Перепоясов наливал из штофа, каждый раз возглашая рыкающим львиным басом:

— Белого панталонного наливаю!

Почему водка называлась панталонною, никто не знал, но это считалось смешным, и, чтобы Перепоясов не приставал, Пирогов через силу улыбался. Пришлось и выпить, чтобы он не лез и не заставлял пить силою. От водки у него закололо в висках и перехватило дыхание, он все хотел уйти, но теперь его заметил Марсов и не отпускал. Васенька Бегиничев весело и громко смеялся каждой шутке Марсова, и потому Марсов ни на секунду не оставлял Пирогова в покое.

— Перестаньте смеяться, Бегиничев,— сказал Пирогов.— Разве вы не видите, что он паяц и пристает ко мне из-за вас?

Но Васенька смеяться не перестал. Он вообще делал обычно то, что нравилось сильным, даже в тех случаях, когда это было мучительно для слабых. И вообще этот глупый Вася оказывался не таким уж глупым, как казалось по первому взгляду.

Опять ему пришлось пригубить водки.

Наконец к нему подошел Чистов и спросил, что с ним. Он попытался объяснить, но не сказал и нескольких фраз, как понял, что Чистов совершенно и безнадежно пьян. То же было и с Катоновым, и с Феоктистовым, и с Лобачевским. Они все перепились по случаю отсутствия случая, как объяснил неповоротливым языком Феоктистов. Объяснил, обнял Пирогова за шею и заплакал громкими пьяными слезами. Пока Пирогов его успокаивал, со своего места поднялся Марсов и сказал, что имеет сообщить присутствующим важную новость. Гримасничая и кривляясь, он сообщил, что среди них присутствует профессорский кандидат господин Пирогов. Поднялся страшный крик, и его опять заставили пить.

— Я не могу, господа,— жалостно улыбаясь, говорил он,— увольте, господа. Я решительно для этого неспособен...

Но Перепоясов и Марсов навалились на него, силой открыли ему рот и заставили его выпить еще полстакана водки.

— Но почему же он, а не мы — профессорский кандидат? — спрашивал Марсов, обращаясь ко всем.— Мне это, господа, интересно. Из каких таких достоинств вдруг эдакого поросенка берут в профессора, а нас не берут? Кто мне, господа, объяснит?

Разговор о профессорских кандидатах вдруг сделался темой вечера. Об этом тоже можно было покричать, и все начали кричать и спорить, а пуще всех Катонов и Марсов.

Пирогов уже ничего не слышал. Все гудело в его голове, и он только поглядывал на Перепоясова, чтобы тот не ударил его исподтишка или не устроил ему еще какую-нибудь гадость, но скоро и это перестало занимать его. Он уснул.

Утром, дурно и тяжело чувствуя себя, он начистил ваксой вконец развалившиеся сапоги, напомадил рыжие волосы и отправился к Ефрему Осиповичу с решением ехать за границу, для того чтобы специализироваться не в одной, а в нескольких науках сразу. Решение это он решил утаить, чтобы Мухин не отказал, ему же сообщил, что выбрал хирургию.

В это утро Мухин был суховат, молчалив, лишнего не говорил и даже не поинтересовался, почему Пирогов выбрал именно хирургию. Лицо у Ефрема Осиповича было бледно, под глазами припухли мешочки. Выслушав решение ехать для усовершенствования в хирургии, он зорко взглянул в глаза Пирогову, подал свой перевод физиологии Лангоссэка и приказал прочесть во всю силу абзац.

— То есть как? — не понял Пирогов.

— Для того чтобы знать, способен ли ты к чтению публичных лекций, я должен сделать тебе репетицию,— сухо молвил Мухин.

Пирогов прочитал, как было велено, во всю силу.

— Ничего,— наклонив голову, произнес Ефрем Осипович,— кричишь хорошо.

И добавил:

— Кричать вы все мастаки, вот каковы-то будете лекаря.

Пирогов молчал.

— Громкий голос для будущего профессора, конечно, необходим,— вновь заговорил Мухин,— но все ли в голосе, как ты полагаешь?

— Полагаю, что не все,— ответил Пирогов.

— То-то, что не все.

Пирогов решительно не понимал, что за перемена произошла с Мухиным со вчерашнего дня. Вчера они расстались совершенными друзьями. Сегодня Мухин смотрел на него если не враждебно, то, во всяком случае, без всякого доброжелательства.

— Вот, брат, и все,— сказал он,— теперь занесу тебя в список желающих, и можешь готовиться к отъезду. Рад небось?

— Рад.

— А чему же ты рад?

— Я рад,— запинаясь, начал Пирогов,— я, Ефрем Осипович, тому рад. . .

Но Мухин перебил его и сказал за него, чему он рад, и пока он говорил, Пирогов понял, на что он обижен, и пожалел его, но промолчал — да и что он мог сказать обиженному на все сущее старику.

— Рады,— говорил Мухин,— рады, что едете в чужие края, думаете — там истинная наука, там профессоры, там все знают. Что ж, может и верно, судить не берусь, я русский лекарь и всего этого не знаю. Поезжай, посмотри, подумай. Может, и хорошо, и от всей души желаю, чтобы хорошо тебя научили, видит бог, хочу тебе добра, да не знаю, найдешь ли там то, что надобно, то, на что надеешься. Поезжай, посмотри. Может, и пожалеешь, что не остался с Ефремом Мухиным, может, и одумаешься, да поздно будет, назад дорогу не отыщешь. Да-с. А я вот один тут, и благодарностей не жду, да что благодарностей — учеников не вижу, не знаю, кому передать то, что накопил; все бегут, только посвистали — никого не осталось. . .

Голос у Мухина дрогнул, на секунду он замолчал, как бы ожидая ответа, ожидая, что его станут разуверять, ожидая просто ласкового слова. Но Пирогов не нашелся, что ответить.

— Ты был мой самый любимый ученик,— сказал Мухин,— чего ты ожидаешь от заграницы? Оставайся. Я еще многому научу тебя, я передам тебе всю мою практику, ты не пожалеешь, а мне легче умирать будет,

слышишь, Николаша? Я, может быть, на лекциях и не научу тебя, так ведь это все вздор — слова наши все, но на практике я тебе такие чудеса открою, каких ты и у немцев не отыщешь. А там у них все слова да умствования...

Пирогов молчал, низко опустив голову, не смея взглянуть на своего учителя, чувствуя себя предателем. Но разве он мог отказаться сейчас от своей мечты? Он уже видел себя там, за морем, среди ученых, видел, как он сам там что-то нашел и отыскал, видел себя не только учеником и подражателем, а чем-то совсем иным, неким Колумбом, плывущим по бурному серому морю в далекую бесконечность, видел, знал, чувствовал, что иначе он не может, что уже поздно отказываться от мечты, что он уже не может отказаться, что он уже в ее власти, что он больше не ученик Мухина...

— Ефрем Осипович,— молвил он,— я сам не понимаю, почему это, но только я теперь не успокоюсь, пока туда не попаду. И потом... я ведь не хочу просто в лекаря. Я не могу в целебность декоктов верить, коли болезни не знаю. Ефрем Осипович, может, я совсем и лекарем не буду...

Последнее он добавил из жалости и потому еще, чтобы как-нибудь кончить этот мучительный и ненужный разговор. Да и о чем было еще говорить? Он хотел ехать, хотел неизвестного будущего, хотел, и мечтал, и надеялся, и верил, а тут все было известно, понятно, определенно.

Мухин отвернулся от него.

Потом скорым шагом подошел к столу, сел в кресло, обмакнул перо в чернила и размашисто внес в список его фамилию, имя и отчество.

— А теперь прощай, Пирогов,— донеслись до него слова Мухина,— от души жалею, что не остался ты у меня до конца моим учеником. Ну что ж, попробуй немцев.

Он положил ему руку на плечо, нагнулся и поцеловал его в губы.

— Прощай,— повторил Мухин,— прощай, брат, не поминай лихом.

Ночью его разбудил дядюшка — по соседству умирал от запоя дядюшкин знакомый чиновник. Шатаясь спросонья, Пирогов оделся и вышел. В убогой комнате,

на грязной простыне корчился и стонал несчастный запивоха. Плакали в голос разбуженные суетою дети. Забитая и замученная женщина — жена дядиного приятеля — держала в дрожащей руке оплывающую свечу, пока Пирогов осматривал несчастного. Дядюшка забавлял и тетёшкал детей, а они ревели все громче и громче, пока наконец их не забрали к себе сердобольные соседи.

— Ну что? — спросил дядюшка, подойдя к постели.— Есть ли надежда, Николаша?

Пирогов сердито огрызнулся. Ему было страшно. Пьяница, оскалившись, ловил воздух ртом, стонал и хрипел. Все было искажено в этом отравленном водкою организме, все было неестественно, а главное, вовсе не походило на то, что полагалось находить в таких случаях по книгам.

— Да держите же вы свечку как следует! — крикнул он на женщину, едва стоявшую на ногах от горя.

Дядюшка взял у нее из рук свечку, а Пирогов сбегал к себе за книжкою, но ничего не нашел в ней и послал за цирюльником. Тот пришел мигом со всем своим арсеналом из пиявок и клистира. Это был бравый старик с военною выправкой и плутовским взглядом быстрых глаз. К Пирогову он отнесся с почтением и предложил клистир.

— Верное дело-с,— говорил он, отведя Пирогова в сторону,— у них чижолый завал, от чего они принять могут свой конец. Вы сами извольте ихний мамон пощупать — чистой барабан, слово благородного человека. Разрешите, господин лекарь, клистир?

Пока цирюльник занимался клистиром, Пирогов рылся в своих книгах, но ничего в них не нашел и только совсем запутался. У запойного он обнаружил все признаки бубонной чумы, которой быть никак не могло, просидел возле его постели до самого рассвета, и на рассвете, дрожа от ужаса, проводил его в самый дальний и последний путь. Никогда не видел он смерть так близко и никогда не представлял себе ее такой печальной, бесславной и отвратительной. Ничего не было ни величественного, ни хотя бы благопристойного в этом последнем прощании человека с жизнью. Не слыша воплей вдовы, остановившимися глазами смотрел он на позеленевшее, ужасное, искаженное судорогой страдания лицо покойника до тех пор, пока дядюшка не увел

его домой. Но и дома он не мог успокоиться, все вслушивался в далекие крики вдовы, все видел перед собою лицо запивохи еще живым, все винил себя в том, что не нашелся и не вылечил, вскакивал, рылся в книгах, находил какие-то отдельные, разрозненные признаки, чем-то похожие на то, что было у чиновника, опять искал, даже плакал, и так все утро, пока не вошла в его комнату мамаша с чашкой горячего кофея и с булкою.

Уже днем он заснул и проснулся под вечер.

Внизу, в столовой, сидела вдова, серьезная, прибранная, благолепная, и говорила о том, что супруг ее, если бы еще пожил, то устроил бы пожар, что таким жить на свете не для чего, что его бог прибрал вовремя. На спинке кресла висел фрак покойного, вдова поднесла его Пирогову «в благодарность за его труды», как она выразилась.

Пришел портной и забрал фрак перешивать для заграницы, гонорар был как раз кстати.

В день отъезда выдали от университета прогонные деньги, мундиры и шпаги. Сбор отъезжающих назначен был в здании университета в два часа пополудни. Пирогов с матерью и дядюшкой приехал вторым. Когда они вошли, будущий спутник Пирогова голубоглазый историк Шуманский уже шептался со своими родственниками и знакомыми в углу вестибюля.

И Пирогову, и дядюшке, надевшему ради торжественного дня траченный молью вицмундир, и матери, заплаканной и несчастной,— всем троим было неловко, а главное, нечего было уже делать и не о чем говорить.

Молча погуляли по унылому вестибюлю, потом посидели, потом опять погуляли. Дядюшка, коротко вздыхая по своей манере, с нежностью касался рукою локтя Пирогова, советовал не очень перегружать себя науками, беречь здоровье, есть горячее.

— От супа никогда не отказывайся,— говорил он,— щи или лапшовник — это для здоровья очень необходимо...

— И ноги держи сухими,— советовала мать,— и пиво там не пей, рассказывают, будто они все охотники до пива и целыми бочками его глотают...

Он не слушал их обоих — думал о своем, косился туда, где сидел Шуманский с очаровательными своими голубоглазыми и розовыми сестрами, поглядывал, как университетский швейцар распахивал дверь перед непрерывно подъезжающими к университету будущими профессорами, как входили Корнух — гнусавый акушер, бруссэист Сокольский, Шиховский, Редкин, Коноплев. . .

Ровно в два приехал адъюнкт, профессор математики Щепкин, которому надлежало сопровождать кандидатов до Дерпта. Все вышли во двор. Во дворе уже стояли коляски: ехать полагалось по двое на перекладных. Мухин провожать не приехал.

Возле колясок студентов-кандидатов стояли брички, кареты, дрожки и коляски провожающих. Когда все вышли на крыльцо, появился священник, сказал короткое напутственное слово, благословил отъезжающих и уступил свое место Щепкину, который объявил распорядок пути и от имени кандидатов сказал несколько слов родным и знакомым, всем тем, кто провожал.

— А теперь, господа, с богом,— молвил он в заключение,— подавайте, ямщики. . .

С грохотом начали подъезжать коляски. Осаживали лошадей у крыльца, в каждую коляску садились по два кандидата, Щепкин кричал «трогай!» — и коляска двигалась вперед по булыжной мостовой под ярким и веселым майским солнцем. Провожающие ехали рядом до самой Тверской заставы. Пирогов переглядывался с матерью, в горле у него щипало, на сердце же было и вольно, и весело, и страшно в одно и то же время. Мать плакала, держа у рта носовой платок, дядюшка бодрился и подмигивал племяннику. Так доехали до самой караулки. Здесь Щепкин велел прощаться. Из караулки вышел дежурный унтер и потребовал бумаги. Мать рыдала навзрыд, да не одна она. Почти все кругом плакали, и у дядюшки на глазах были слезы. Наконец часовой пошел к шлагбауму. Вновь все расселись по своим местам. Зычным голосом унтер крикнул часовому:

— Подвысь!

Шлагбаум пополз вверх, лошади тронули, Москва осталась позади.

Пирогов глотал слезы, отворотившись от своего соседа. Сосед делал то же, отворотившись от Пирогова.

— Дальние проводы — лишние слезы,— все еще не

глядя на Пирогова, молвил Шуманский,— развели мокреть, ни проехать, ни пройти...

— Вечная история, когда пускают женщин,— ответил Пирогов,— незачем их пускать на такие дела, одни хлопоты...

Он проснулся, чувствуя себя совсем счастливым, и долго не понимал, где он и что это грохочет и воет над его головой.

Потом не без труда сообразил: вовсе он не дома в Сыромятниках, а в Дерпте, папенька давно умер, в кондитерскую никто его не ведет и не поведет никогда, Арсений Алексеевич — милый художник — тоже умер, и лета нет, а есть осень, и беседка с птицами только приснилась, пора вставать, вон уличный хожалый свистит шесть часов.

Но еще несколько минут он пролежал неподвижно — прислушивался к похоронному пению ноябрьского ветра, к скрипу старых черепиц над самой головой, к размеренному храпу Иноземцева, к шуму дождя — к дерптской осени. Лежал, слушал и думал об отце, представлял себе его добрую и лукавую улыбку и весь его облик слабого человека, его сюрпризы, поездки в кондитерские на линейке и опять добрую, слабую улыбку,— как они вдвоем стоят в новой, только что отстроенной беседочке, как отец гладит его по плечу и говорит ему слова похвалы и уважения, как равный равному, как брат брату, как товарищ товарищу. Так недавно это было, совсем недавно, тоже в его день рождения, и тогда об этом знал весь дом и во всем доме был праздник, а теперь никто не узнает, что сегодня день его рождения, никто не сведет его в кондитерскую, никто не испечет к обеду пирог, никто даже не вспомнит. А папенька говорил тогда:

— Я одобряю в тебе, Николай, черты характера твоей мамаши: ты склонен к занятиям, как она, ты усидчив в нее, ты чувствителен... ну, это, пожалуй что, и в меня...

И так как папенька не умел долго говорить на одну и ту же тему, то он вдруг протянул вдаль руку и сказал:

— Нет, ты только взгляни, как уже и следа не осталось от пожара. Как была Москва, так и есть Москва, а француз уж позабыт, и мы, слава богу, обстроились... Будешь лекарем, как господин Мухин, станешь

ездить в карете четверней, оставлю тебе не только свое благословение, но и усадьбу нашу, для лекаря она вполне подойдет, не правда ли?

Посмотрел на сына и добавил с жалостью:

— Только кос ты, Николенька, уж так кос, прямо и не знаю, как бы не повредило тебе. Очки, что ли, купить? И волос тоже... самоварный. Ну ничего, и сам Мухин не первый красавец... Пойдем, сынок, посидим в зале, а то как бы нас с тобою не продуло, ноябрь шутить не любит...

И пошел вперед в козловых сапожках, легкомысленный, добрый и жалостливый, всю жизнь притворявшийся хитрецом и постигнувший из всех хитростей только одну: лукаво улыбаться.

За обедом были кушанья только те, которые он любил, он сидел во главе стола, четырнадцатилетний студент медицинского факультета Московского университета, и говорил довольно смелым слогом матери о том, что священнослужители есть не что иное, как языческие жрецы, и что и тех и других надобно сурово осуждать. У матери в глазах стояло выражение ужаса, она делала разошедшемуся сыну знаки глазами, чтобы он замолчал, а его несло, и он не мог остановиться.

— Да послушали бы вы,— говорил он, стараясь не встречаться с матерью взглядом,— послушали бы вы, что поповские сынки в университете сами говорят о своих батюшках, так другое бы и сами подумали. Поп — он и есть поп. Поп — это жрец.

— Что ты, бог с тобой, ведь у нас бескровная жертва!

— Да что же из того, что бескровная. Все-таки и наши попы надувают народ, как жрецы прежде надували...

И, глядя на отца, который хоть и не без испуга, но с некоторой гордостью слушал сына и притом лукаво улыбался,— он приводил разные примеры, из которых следовало, что попы есть жрецы и что они обманывают народ так же, совершенно так же, как жрецы.

— Как это можно так сравнивать?..

— Да отчего же и не сравнивать, маменька, коли религия везде для всех народов была только уздою, а попы и жрецы помогали затягивать узду.

Мать положила нож и вилку и отодвинула от себя тарелку: она не могла сейчас есть, а ему было жалко ее,

но он не мог перестать есть, потому что, по его тогдашним убеждениям, не спорить в таких случаях было бы бесчестно. Почти со слезами в голосе она спросила:

— Почему же религия узда, когда она есть вера? Так неужели же теперь, по-вашему, и веры не надо иметь?

Она устроила ему весь этот отличный праздник, она хлопотала целый день и волновалась из-за пирогов до сердцебиения, ради него она надела его любимое темно-красное платье и чепец, который ему так нравился на ней, ради него она позвала сегодня куафера — болтливого дурака, который завил ей эти седые два локона,— только для того, чтобы сын знал: сегодня большой праздник — день его рождения, а он все портит своим проклятым характером, портит и знает, что портит, но разве можно удержаться, разве Джордано Бруно на его месте поступил бы иначе? Нет, пусть пылает костер, пусть жгут его на этом костре, пусть тянут на дыбе, он никогда не сдастся.

И, почти не слыша своих слов, он предлагает матери ознакомиться с учением немецкого философа Шеллинга и тогда порассуждать. В глазах отца он видит поддержку, и только на мгновение ему делается почти физически больно: он замечает, что тонкие белые руки матери теребят над столом салфетку.

— Я читала,— робко говорит она,— я читала Шеллинга, под названием «Угроз Световостоков»...

— То Штиллинг, маменька, а это Шеллинг. Шеллинг никаких Световостоковых в жизни не писал, и вам его, маменька, не понять. Шеллинга и не всякий ученый поймет, не то что вы. Шеллинг — натурфилософ.

Подают жаркое — индейку с каштанами, но никому сейчас нет до жаркого дела. В голосе матери слышны слезы, когда она спрашивает:

— Да ты, Николаша, уж не хочешь ли сделаться масоном?

— А что ж такое масон,— следует ответ,— у нас в нашем университете между нашими студентами есть и масоны... Вы, маменька, составили себе неправильное представление...

И, размахивая длинными руками подростка, он начинает говорить вздор о субстанции, произносит заведомо непонятные им всем слова и возвышается в глазах

братьев и сестер не смыслом слов, а только тем, как он бойко их произносит и как мамаша при этом теряется.

— Ну, бог с тобой,— крестя его и крестясь сама, вдруг говорит матушка,— с тобою теперь вовсе не сговоришься. Время, что ли, такое настало. И куда это свет идет?

Он чувствует, что выходит из разговора победителем и что теперь ему надо произнести только последнюю заключительную фразу так, чтобы не ударить в грязь лицом. И, слегка напрягшись и даже несколько покраснев, он говорит, глядя прямо в лучистые глаза матери:

— То есть как это свет идет и какое время настало? Да куда ж ему идти и что такое время? Прошедшее невозвратимо; настоящего не существует; его не поймаешь — оно то было, то будет; а будущее неизвестно.

Фраза, произнесенная им, необыкновенно эффектна, и все приходят в восторг. Даже матери она понравилась. Отец наливает себе и Николаше по маленькой рюмке лафиту и лукаво подмигивает матери на сына. Все это было только четыре года тому назад. Теперь он не стал бы мучить мать глупыми разговорами о боге. Теперь бы он сидел с ними за столом, пил бы чай с домашним вареньем, и... но дома уже нет, отец умер, он в далеком Дерпте, и день его рождения будет печальным и безрадостным. Его никто сегодня даже не поздравит.

Чтобы утешить себя, он принялся за воспоминания — авось так будет веселее и легче. Сегодня день рождения, вот уже второй год он в Дерпте, можно позволить себе такую роскошь — повспоминать, понежиться в постели, подумать не о последнем времени в Москве, а о том, давнем, когда все было совсем хорошо, когда в доме еще не знали нищеты и бедности, мать не плакала и отец не бродил из комнаты в комнату, растерянный и подавленный. А главное, когда он был, когда дети еще не назывались сиротами, когда не нагрянула беда...

Прежде всего он принялся вспоминать дедушку.

Дедушкин камзол и парик. Милый дед, добрый старый дед. Милый Иван Михеевич. По зимам старик тосковал, не находил себе места, охал и кряхтел и с грустью говорил бесконечным внукам и внучкам:

— Ох, дети, верно Михеичу уже зеленой травы не топтать...

Но наступала весна, дед напяливал на лысую, как колено, голову парик, влезал в коричневый камзол, брал в жилистую руку трость и, весь светясь счастьем, выползал во двор топтать свою любимую траву. Весь дом высыпа́л смотреть, как столетний Михеич с детской радостью, смеясь от счастья, ходит по молодой траве, как он экает и гукает и покрикивает чадам и домочадцам:

— Сто лет живу, а все ее топчу, о господи! Вон он каков, Михеич... Сто второй пошел, видали, дети? Нутка, попробуйте, поживите с мое...

Потом с внуками и правнуками тащился в церковь, оповещая по дороге всех знакомых, что жив и здоров, что еще дождался весны, что нынче пошел ему, хвала господу, сто второй, что вот идет помолиться и возблагодарить за великое счастье. На паперти дед, словно шапку, стаскивал с головы свой лысеющий от времени парик (говорили, что парику уже под семьдесят) и плешивым входил в храм, где на него с неудовольствием косился поп, упрекавший, по рассказам, старика в том, что тот манипуляциями с париком вводит в соблазн предстоящих во храме...

Милый, милый дед!

Или грамота, которую он вспоминал всегда с удовольствием, эти карты, по которым он учился, засаленные и грязные донельзя:

Ворона как вкусна, нельзя ли ножку дать?
А мне из котлика хоть жижи полизать.

И картинка: французские солдаты, тощие и страшные, как мертвецы, раздирают на части дохлую ворону, а один француз лижет из пустого котла.

Может быть, он опять задремал под свист осенней непогоды, под скрип черепиц, под заливистый храп Иноземцева, может быть, заснул...

Далекие, милые сердцу воспоминания тянулись одно за другим, вставать не хотелось, на душе было легко и покойно, точно в тумане рождались и исчезали картины.

То ли из рассказов домашних, то ли виденная им самим — пронеслась и канула во тьму светлая и яркая, беспокойная и жестокая комета двенадцатого года. Мо-

жет быть, он видел ее во время бегства семьи из Москвы во Владимир? Или не мог видеть? Но почему же тогда до сих пор стоит перед его глазами это жестокое, неумолимое, твердое сияние?

Или стих, которым он поздравлял родителей с днем рождества Христова:

В одежде солнечной, багряной
Направил ангел свой полет...

Куда направил, что, почему? Это все исчезло, растворилось, а вот «в одежде солнечной, багряной» — это он помнит.

И дедушка, главное дедушка.

И сад, цветы в росе, всюду роса ранним утром, выходят сестры и братья играть в крючки и кольца. Рукою он берется за кольцо, а оно тоже в росе, и он визжит от полноты счастья, от чувства бытия, визжит, и визг этот до сих пор стоит в его ушах.

Нет, это не визг.

Это что-то совсем иное, чем визг.

Открыв глаза, он прислушался: визга никакого не было, он всегда забывал и до сих пор не мог привыкнуть к этому дерптскому обычаю свистать часы.

Прошел хожалый сторож и просвистал на своем дьявольском инструменте семь часов.

Пора вставать. Даже для дня рождения это очень поздно. Обычно он вставал в шесть, а то и раньше. В комнате холодно и нетоплено, у леффеля Андреуша не хватает рук, он один служит дюжине профессорских эмбрионов, попробуйте — справьтесь. И что ему скажешь, когда у него такое замученное лицо?

Кстати, почему слуг тут называют леффель — ложка, а женщин-служанок — безен — метла? И другого имени им нет. Вот вам и Европа.

Ежась и пофыркивая от холода, он спустил ноги на кирпичный пол, отыскал спички и засветил свечу. Отвратительная комната, переделанная из конюшни, медленно стала выплывать из мрака. В дальнем углу сердито храпел Иноземцев, спрятавший голову под подушки. Посередине комнаты, на полу, валялась его коричневая палка из можжевельника — он очень ею гордился — настоящая студенческая палка, отличная цыгенгайская дубинка, знак хорошего положения в корпорации; возле палки на полу лежал мятый и грязный краген — Ино-

земцев таскал этот студенческий плащ в непогоду и, когда возвращался домой навеселе, обязательно швырял свой краген на пол посередине комнаты.

«То-то не желает просыпаться»,— подумал Пирогов и окликнул Иноземцева:

— Федор Иванович, вставать пора.

— Хорошо, ладно,— быстро ответил Иноземцев и совсем зарылся в подушки.

Наконец явился леффель Андреуш с завтраком, завернутым в тряпки. Пока Пирогов ел картофельные оладьи со сладкой подливой — тошнотворное изобретенье жены леффеля,— Андреуш, имевший всегда наготове дратву, на щетине зашивал ему сапог, потом почистил сюртук и налил в кружку теплого молока.

— Иноземцев, вставайте,— опять крикнул Пирогов.

Он не допил молоко, когда без стука отворилась дверь и вошел Даль. Еще в двери он, по своему обыкновению, немного пожужжал осой, потом комаром, потом басом, как шмель. Это означало, что у него хорошее настроение.

— Дайте глоточек молока,— сказал он,— мой леффель меня сегодня вовсе не кормил, такая черная душонка. . .

Аккуратно повесив мокрый краген на спинку стула, он сел за стол, поводил длинным носом, улыбнулся доброю и умною улыбкой и стал рассказывать, как вчера ночью корпорация устроила близ его квартиры кошачий концерт.

— Кому это они устроили? — спросил с кровати Иноземцев.

— Вставайте, вставайте,— сказал Даль.— Мойер обидится, нас всего четверо, он ради нас встает такую рань. . .

Леффель Андреуш, обожавший Даля, налил ему еще молока, он пил и рассказывал, что долго не ложился — писал сказку, а они пришли и подняли такой рев, что пришлось бросить писать.

— О чем сказка? — спросил Пирогов.

Даль ответил о чем.

— Бросьте вы к черту хирургию,— одеваясь, сказал Иноземцев,— вам в писатели надо идти, а вы с нами хирургией занимаетесь. Я серьезно говорю, Владимир Иванович. И хватит вам занятия менять. То вы лейтенант флота, то вы памфлетист, то вы лекарь, то вдруг

хирургией занимаетесь. Оставьте это дело нам, верно, Пирогов? Ну что вы молчите?

Вместо ответа Даль необыкновенно ловко пожужжал осой и поднялся. Вышли все вместе. Ветер стих, но дождь по-прежнему лил как из ведра. Даль и Иноземцев совсем завернулись в свои крагены, у Даля виден был только нос, у Иноземцева блестящие глаза.

Недалеко от университета догнали Мойера. Иван Филиппович шел медленно, кожаные его калоши громко шлепали по лужам, под ноги он никогда не смотрел, в руке у него был огромный клеенчатый зонт.

— Идите со мной под зонтом, Пирогов,— сказал Мойер вместо приветствия,— я имею к вам несколько слов. Почему вы так ужасно пропускаете лекции? На вас большие жалобы, и может выйти скандал.

В сером свете наступающего утра лицо Мойера казалось Пирогову необыкновенно красивым и очень суровым. Не найдясь, что ответить, Пирогов молчал,— это был уже не первый разговор на эту тему. Что он мог сказать Мойеру, когда тот кругом прав?

— Прошу вас принять во внимание мои слова,— продолжал Мойер,— для вас могут выйти неприятности, и пребольшие, подумайте.

Он совсем насупился.

На крыльце анатомического покоя их уже поджидал Липгардт, один из самых удивительных людей, с которыми Пирогову когда-либо приходилось встречаться. Этот Липгардт, учившийся в университете приватно, поражал всех удивительными по широте и глубине своими знаниями. Блестящий математик, он внезапно увлекся анатомией, физиологией и хирургией и, дилетант, вскоре примкнул к медикам, принимал участие в их диспутах, занимался вивисекцией, перевел Биша и сделался вторым после Пирогова анатомом в их четверке, управляемой Мойером.

История четверки тоже была не совсем обычной.

К тому времени, когда группа профессорских кандидатов, собранная со всей России, приехала в Дерпт для того, чтобы подготовиться к отъезду за границу — в Берлин, Париж, старик Мойер, знающий и талантливый хирург, ученик великого Антонио Скарпы и позднее Руста,— заленился и перестал серьезно заниматься своим делом. Имея хорошие способности к музыке и любя Бетховена, он по целым часам сидел за роялем, или,

когда и это занятие ему наскучивало, ходил по квартире из комнаты в комнату, посвистывал, поглядывал в окна, вмешивался в уличные сцены, разыгрывавшиеся вблизи его дома, читал старые, повсюду разбросанные романы, плакал. Он был вдовцом из той немногочисленной разновидности этих людей, для которых со смертью любимой женщины кончалась и собственная жизнь. Как рассказывала теща его — Протасова,— молился Мойер только об одном — просил для себя смерти как высшей милости, твердо надеясь там увидеться с нежно любимой женою.

Естественно, что такой профессор не мог привить слушателям особого интереса к своему предмету, да он и не стремился к этому. Чем меньше интереса — тем меньше хлопот, по всей вероятности думал он и, передоверив лекции своему помощнику, человеку решительно недаровитому, засел совсем дома, ссылаясь на болезни и на нерасположение к занятиям. Операции же Мойер делал только такие, отказаться от которых никак не мог, да и то с величайшей неохотой, а потом с боязнью — отсутствие практики у хирурга обязательно ведет к излишней нервозности в том деле, которое прежде всего разумеет отличное спокойствие и железную выдержку.

Так продолжалось до приезда в Дерпт профессорских кандидатов и, главное, Пирогова.

В начале первого семестра, ранней осенью, когда Мойер копался у себя в палисаднике, лакей доложил ему о приходе некоего Пирогова.

— Что ему надо? — с неудовольствием спросил Мойер, разгибаясь от клумбы, которую начал полоть неизвестно зачем.— Скажите, что я нездоров.

Но некий Пирогов оказался настойчивым и прорвался-таки в палисадник к Мойеру. Рыжий, с лысеющим лбом, в дурно сшитом фраке, порывистый в движениях, он произвел на Мойера тягостное впечатление ужасного беспокойства души и какого-то даже смятения. Слушая его сбивчивую и беспорядочную речь, глядя на его совсем еще детский рот, Мойер долго не мог понять, чего хочет этот кандидат со съедобной фамилией, зачем он пришел, а главное, почему он так волнуется, спешит и поминутно поправляет свои странного вида воротнички.

— Но позвольте,— не выдержав, произнес наконец Мойер,— позвольте, сударь мой, в университете препо-

дает хирургию адъюнкт, никаких нареканий я еще не слышал, мне неясна идея, которая привела вас ко мне...

— Мы хотим учиться у вас,— просто сказал Пирогов,— мы много слышали о ваших знаниях, и, право же, нам не стоило ехать из Москвы в Дерпт для вашего адъюнкта...

— Но не только же хирургия,— начал было Мойер,— не одна она преподается в Дерпте, и мне странно...

— Да что же странного, коли я хирург,— перебил его Пирогов и необыкновенно детским жестом показал сам на себя.

И стал говорить о том, что они — а их несколько будущих хирургов — обязательно хотят слушать Мойера и, главное, хотят заниматься с ним в анатомическом театре, что им ужасно как не хватает истинных знаний в анатомии и что они просят, очень просят господина Мойера не отказать им в величайшем одолжении — хотя бы поговорить с ними, помочь им, направить их, а тогда они авось и сами справятся.

— Но я болен,— с безнадежностью в голосе молвил Мойер.

— Мы придем к вам,— нимало не задумавшись, ответил Пирогов.

— То есть как это ко мне? — даже не понял поначалу Мойер.

— Да вот хоть сюда в палисадник, коли в дом неудобно,— сказал Пирогов,— нас ведь всего трое — я, Даль да Иноземцев. Мы вам хлопот не причиним, мы только немножко с вами посоветуемся, потому что у нас есть различные неразрешимые вопросы и нам должно получить на них ответы от вас...

— Хорошо, я подумаю и извещу о моем решении,— сказал Мойер, чтобы кончить разговор,— если мое здоровье, разумеется, позволит...

Он встал с зеленой садовой скамьи.

Пирогов тоже встал.

Проводив его, Мойер дал волю своему негодованию и прежде всего напустился на тещу Екатерину Афанасьевну. Горячась, он сказал ей, что ему не дают покою, что к нему пропускают каких-то молодцов из Москвы, что он не должен и не может спорить со школярами и т. д. и т. п.

Екатерина Афанасьевна — женщина умная и необыкновенно его любящая — слушала молча, имея на уме что-то свое, несогласное с его мнением. Когда он кончил, она взглянула на него из-под своего чепца и сказала, что он не прав.

— Это почему же? — спросил Мойер.

— А потому, дорогой мой друг, что только университетская деятельность может спасти вас от того состояния, в котором вы находитесь. Это говоря о вашей пользе. Что же касается до рыженького мальчика, на которого вы так осердились, то он достоин только уважения. И кабы вы видели,— улыбнувшись, добавила она,— как он тут метался, запутавшись с дверями, и как покраснел, налетев на меня. Пирогов, вы говорите, его звать?

— Да, Пирогов,— еще сердито ответил Мойер, выбрал из ящика сигару и закурил.

— Из Москвы?

— Да, из Москвы.

— Совсем молоденький. . .

Мойер молчал.

Старуха подвинула к себе столик с пяльцами, поглядела на начатый узор и, не поднимая глаз, заговорила о том, что, по правде, следовало бы совсем иначе отнестись к такому молоденькому мальчику и уже профессорскому кандидату, что, по ее мнению, этого Пирожникова следовало бы обласкать. . .

— Если уж и обласкать,— стоя у окна, молвил Мойер,— то не Пирожникова, а Пирогова. . .

— Ну не все ли равно,— кротко сказала Протасова,— Пирогова. Вы подумайте, мой друг, приехал мальчик из Москвы, тут порядки совсем иные, живет сирота сиротою, шея, наверное, грязная, и никто не скажет. . . Нехорошо мы с вами поступаем последнее время, Иван Филиппович, нехорошо, за это с нас взыщется. Вы как знаете, а я этого Пирожникова. . .

— Пирогова. . .

— Ну, Пирогова, позову и обласкаю. И вот еще что я вам скажу: была бы с нами Машенька. . .

— Что Машенька? — от окна спросил Мойер дрогнувшим голосом.

— А то, мой друг, что она велела бы вам тотчас же вернуть мальчика, напоить его чаем с ватрушкой, а назавтра идти в университет и ради ее, если не ради вас. . .

Мойер обернулся к Екатерине Афанасьевне. Из-под очков его текли обильные слезы.

— Вы знаете,— сказал он,— что именем Машеньки меня можно все заставить. Завтра я пойду в университет и вернусь к прежней жизни, но знайте, что этим вы лишаете меня единственной моей радости. . .

— Думать о ней! — воскликнула старуха.— И хорошо, что лишаю, хорошо. Не надо о ней так думать и столько думать, я ей мать, и я вам ее именем это не велю.

На глазах ее выступили слезы, она подошла к нему, утерла платком его мокрое лицо и велела идти прогуляться.

— А с завтрашнего дня все пойдет иначе,— сказала она,— совсем иначе. И Пирогова этого мы позовем к нам в гости, хорошо? На обед? Или, может быть, на житье? Друг мой, а? Давайте поселим к себе несколько москвичей или петербуржцев. . .

Утром следующего дня Мойер с трудом натянул на себя фрак. За месяцы безделья он растолстел — воротнички давили шею, резали подбородок, фрак сделался тесен в проймах. С отвращением он посмотрелся в зеркало: увидел непробритые бакены, косматую прическу, золотистые волосы исчезли — всюду пробивалась кустами седина. Лицо было оплывшее, сердито-брюзгливое, очки криво сидели на носу.

— Хорош,— молвил он,— хорош, дожил. . .

И, стуча палкой по дощатому тротуару, пошел бесконечно знакомой дорогой к университету. Был ясный и прозрачный день ранней осени, на душе у Мойера стало вдруг спокойно и ровно, как давно не бывало, он приветливо здоровался с педелями и студентами, даже поговорил с ненавистным ему полусумасшедшим старым студентом Жако Кизерицким, прогуливающимся в крагене, ботфортах и расшитом картузике на самой маковке. Замогильным голосом Жако прочитал Мойеру монолог из Шекспира, относящийся к любви, и проводил профессора до самого деканата.

— Сколько вам лет? — на прощание спросил Мойер.

— Пятьдесят два,— ответил Жако,— прощайте, сударь.

Ничего не изменилось в университете за это время. Ректор Эверс встретил Мойера так ласково и осторожно, что Иван Филиппович долго не мог надивиться такту

его великолепия, как полагалось называть ректора. Студенты кланялись Мойеру издали, поздравляли его с выздоровлением, потом прислали ему в деканат огромный букет прелестных осенних цветов с трогательной запиской в стихах. Наконец явился и сам виновник — Пирогов. Мойер встретил его улыбкой и протянул ему руку, чего делать не полагалось.

— Вот этот господин виновник моего выздоровления,— сказал Мойер его великолепию.— Что вы о нем скажете?

Эверс с молчаливой улыбкой смотрел в розовое лицо Пирогова.

Пирогов представил Мойеру Иноземцева и Даля. Липгардт еще не появлялся в Дерпте.

Короткая беседа с тремя медиками поразила Мойера не тем, как и что знал Иноземцев, которому в эту пору было двадцать семь лет, и не тем, чего не знал Даль,— беседа поразила его Пироговым, к которому он начал относиться с этого дня как к явлению еще небывалому.

Семнадцатилетний рыжий и косоватый этот юноша с удивительным девичьим цветом лица поразил Мойера не знаниями — какие там у него были знания, — не эрудицией, которой Пирогов изо всех сил старался блеснуть перед знаменитым Мойером,— какая там эрудиция у мухинско-мудровского выученика,— Пирогов поразил Мойера иным — бешеной силой своего особого, еще непонятного и неопределимого, но ясно чувствующегося злого и отрицающего ума.

Опустив тяжелые веки под очками и подперев большую голову сильной и белой рукой, Мойер с давно не испытанным наслаждением слушал тот путаный, но бесконечно интересный вздор, которым его заговаривал Пирогов. И чем дальше слушал Мойер, тем больше он понимал, что мальчик этот, не в пример многим другим мальчикам, прошедшим через его руки, думает сам, решает без чужой помощи и если выпутывается из своих диких и яростных заблуждений, то тоже сам.

Послушав Пирогова с полчаса, он сказал ему, что разговор этот они еще продолжат, что кое-что в этих мыслях интересно, но что, раньше чем решать столь кардинальные вопросы и иметь на эти вопросы свою окончательную точку зрения, следует знать более, чем знает сейчас господин Пирогов.

— Думается мне,— заключил он,— что в анатомии вы, господа, все слабы.

— Я в Харькове уже оперировал сам,— заметил Иноземцев,— ампутировал голень, а также ассистировал профессору Елинскому при его операциях.

Мойер спокойно поглядел на Иноземцева, отметил про себя его красивое лицо восточного склада, его блестящие глубокие глаза, его изящные бакенбарды, подумал, что с таким лицом можно где угодно сделать отличную карьеру, и сказал, слегка вздохнув:

— Оперировать и ассистировать — это еще не значит, к сожалению, знать анатомию. Наши хирурги зачастую занимаются своим делом, понятия не имея об анатомии. Мне приходится и посейчас наблюдать операторов, работающих вместе с анатомами, ибо они нисколько не знают строения тела. Прошу вас, господа, пожаловать завтра к восьми часам утра в анатомический театр. Я попытаюсь быть вам полезным.

И, оборотившись к Пирогову, он добавил:

— Теща моя Екатерина Афанасьевна Протасова уполномочила меня просить вас оказать честь нашему семейству и посетить нас в любое время, удобное вам по вашим занятиям.

Пирогов страшно покраснел, смешался и сказал, что он с удовольствием придет, потому что почему же не прийти, он рад прийти, но вот если бы господин профессор сам указал время, потому что ведь может так случиться, что он явится, и как раз некстати, бывают же такие истории. . .

Речь его оказалась очень длинной и не без претензии на легкость и бойкость, но в конце концов он запутался и замолчал.

— Приходите сегодня к обеду,— просто сказал Мойер,— и вы, господа, сделайте мне такую честь, я и моя теща будем ждать вас всех.

Обед прошел весело и совсем непринужденно. Мойер был оживлен, много и интересно рассказывал, Екатерина Афанасьевна смеялась добрым смехом, потом Даль рассказывал сказки и изображал в лицах разные сценки из университетской жизни и, осмелев, показал самого Мойера — как он рассказывает медицинские казусы. Старуха Протасова смеялась до слез, но не забывала Пирогова, сидящего рядом с ней, и подкладывала ему то пирога, то рыбы, то жаркого. Не имея никаких свет-

ских талантов, он ел за четверых и хохотал так, что свалил соусник на скатерть и весь перемазался липким белым соусом, что вызвало новый взрыв хохота,— но ему было жалко фрака, и он больше не смеялся, пока Екатерина Афанасьевна не отчистила ему с горничной девушкой все пятна.

С этого дня он зачастил в дом Мойеров и был там всегда жданным и милым гостем. Старуха его подкармливала, с охотой выслушивала его идеи и только раз навсегда запретила ему «болтать пустяки» о боге. Здесь он подолгу распространялся насчет своей семьи, насчет дядюшки — какая он прелесть, насчет покойного отца, насчет матери, тут он вслух читал все письма из Москвы и по желанию Екатерины Афанасьевны рассказывал ее знакомым старухам богаделкам о дедушке Михеиче и о том, как старик топтал зеленую траву на сто первом и сто втором году своей жизни.

Бог знает почему, но он необыкновенно свободно и вольно чувствовал себя в обществе старух у Екатерины Афанасьевны. Ему не надо было тут прикидываться взрослым. Когда варили варенье, он вместе с детьми ел пенки. Когда жарили окорок, он объедался жареным хлебом до того, что ему вздувало живот и приходилось класть грелку. Под пасху он на кухне тер желтки, повязанный по животу полотенцем. Под рождество сам испекал медовую коврижку по рецепту, присланному из Москвы матерью. Тут сделался его второй дом, а Екатерина Афанасьевна стала ему матерью в истинном и великом смысле этого слова.

Мойер вновь воспрянул духом и морально свое выздоровление относил за счет Пирожникова — как называли в доме Пирогова и в глаза и за глаза в память давешней оговорки Екатерины Афанасьевны. Но не только за это полюбил старый Мойер рыжего и некрасивого москвича: порою казалось ему, что кроме того бессмертия, в которое он привык верить, есть еще бессмертие иное — бессмертие на земле, реальное и видимое, ощутимое, вещное. При жизни Машеньки он не добился этого бессмертия, не успел, и не до того было, хотя он и мучился, зная: Машенька любила не его, а поэта Жуковского, творца сладкозвучных стихов, до которых ему было не много дела — они настраивали его на жалобный лад, не больше,— а люди говорили, что это и есть бессмертие. Нет, бессмертие есть прежде все-

го дело — так думал Мойер,— не сладкие и умилительные звуки, не рифмы и краски, не вздохи и цветы, но истина, поиски ее, муки, связанные с нею, дело отыскания истины.

Он не нашел бессмертия при жизни Машеньки, и сладкозвучный Жуковский был в глазах покойной неизмеримо выше скромного дерптского профессора, пахнущего больницей и лекарствами.

И вот через шесть с лишним лет ему показалось, что рыжий и косой юноша, так странно возвративший его к жизни,— и есть земное бессмертие, частица истинной его славы, частица того дела, которое до сих пор не удалось ему осуществить и которое, быть может, окажется осуществленным не его руками, а пока что неловкими и неумелыми, но сильными и цепкими лапами удивительного существа, посланного ему судьбою.

С ласковой и порою удивленной нежностью смотрел старый Мойер на бешеное восхождение, совершаемое на его глазах юным Пироговым. Порою страх охватывал его, страх за эту удивительную жизнь, доверенную ему, страх за будущее этого мальчика. Порою казалось ему, что Пирогов кончит домом умалишенных, что так нельзя, что надо его остановить хотя бы силой. . .

Но остановить у Мойера не хватало сил. Он не мог не любоваться на жадную страстность своего ученика, на детскую его веру в силу знания и разума, не мог разрушать в нем надежду на победу знания над смертью — он только передавал ему то, что знал сам, спешил, торопился, читал по ночам специально для Пирогова и, занимаясь с ним, не без опаски ждал его вопросов, обычно целого потока вопросов, и чувствовал себя в это время так, будто его обстреливают из нескольких пистолетов сразу и он должен только уклоняться от выстрелов.

Вместе с наивной верой во всемогущество человеческих знаний Мойер заметил в Пирогове еще одну совершенно противоположную черту и определил эту черту для себя как залог всех будущих пироговских успехов. Чертой этой, поразившей Мойера при самом первом знакомстве с юношей, было недоверие к словам и любовь к постижению всего, хотя бы уже постигнутого человечеством, собственным опытом.

Ничему и никогда Пирогов не верил сразу, все ставил под сомнение и, слушая своего учителя с вежливым

вниманием и интересом, все же не мог скрыть того, что слушание лекции есть для него только печальная необходимость, без которой он не может приступить к самому для него главному и интересному — к опыту, который, в свою очередь, не есть наглядное повторение лекции, а средство к приобретению иных, и нередко противоположных утверждениям лекции, знаний.

Почти ликуя, он находил погрешности в книгах, рекомендуемых ему Мойером, нередко сам при этом ошибался, сам находил свою ошибку и беспощадно уничтожал себя, свое самомнение, свою темноту, как любил он говорить, свое невежество. . .

Три совершенно разных характера развивались рядом на глазах у Мойера и давали ему обильную пищу для наблюдений и размышлений: Даль, Иноземцев, Пирогов.

С серьезным интересом и вниманием изучал длинноносый Даль под руководством Мойера хирургию и анатомию — изучал так, как до него изучали сотни прилежных студентов, будущих лекарей, и Мойер видел в нем приятный ему тип честного человека, понимающего, что знания требуют усердия и прилежания, что в медицине есть не только хирургия и анатомия, но и фармакология, и химия, и физика, и терапия, и множество других полезных вещей, которые обязательно надо знать и без которых хорошим лекарем не будешь.

Красивый, с блестящими глазами Иноземцев был совсем иным человеком, чем Даль. Он не просто учился у Мойера — он учился у него блеску и изяществу в оперативной хирургии, уже сейчас готовясь к тому, что ему придется не только резать, но, главным образом, учить других, как резать, а учить, не поражая и не удивляя, ему не хотелось.

Ни в чем, что было дано, он не сомневался никогда и не любил лишь многих решений одной и той же задачи. В аккуратных тетрадях Иноземцева, исписанных крупным и красивым почерком, против каждой болезни было написано лечение, и притом только одно — такое, которое в данное время считалось самым рациональным. Со вниманием Иноземцев следил за всем тем, что происходит в медицине, и как только слышал о новом средстве, о декокте, о микстуре, о каплях или о паровых ваннах, тотчас же заменял лечение в тетрадке — поверх старого наклеивал бумажку с новым. Лечить он любил,

и если заболевал кто-нибудь из знакомых, то Иноземцев непременно прописывал микстуру, или капли, или порошки, причем так, чтобы на лечение у больного уходило много времени: уж если микстура — то ее принимать семь раз в день, и не просто взболтать перед тем, как проглотить ложку, а обязательно, например, развести в полустакане горячих сливок и пить небольшими глотками, а иначе не будет никакой пользы.

Великолепно учась и делая в науках блестящие успехи, Иноземцев вместе с тем никогда не отвлекался от двух задач, поставленных им самому себе: лечить людей и учить студентов, как лечить. Каждое занятие приносило ему в этом пользу. Высокие материи не трогали его воображения — наука была для него делом и средством для дела, с ее помощью он ничего не собирался ни решать, ни определять, а только хотел научиться применять ее в будущей своей жизни.

Про себя Мойер не раз отмечал, как раздражали Иноземцева бесцельные, по его мнению, споры, которые вдруг заводил Пирогов со своим учителем по поводу совершенно отвлеченному, если такой повод может найтись в анатомии.

— Ну хорошо,— говорил Иноземцев,— но вам-то что, Пирогов, зачем это вам вдруг понадобилось?

Пирогов хлопал глазами, потому что не мог ответить, зачем это ему вдруг понадобилось, а Мойер тонко улыбался и с нежностью поглядывал на своего любимца.

Любимец этот вытворял бог знает что, вместо того чтобы хорошо или хотя бы терпимо учиться. Впившись мертвой хваткой в анатомию и хирургию, он совершенно забросил все другие предметы и в один прекрасный день просто-напросто перестал посещать какие бы то ни было лекции. Это совпало с началом его занятий вивисекцией. Из жалких своих грошей он, недоедая, накопил денег на то, чтобы снять кирпичный сарайчик под черепичной крышей, и на то, чтобы купить себе двух телят, безногую собаку и барана. Университетский столяр построил ему по его чертежам стол, и пошла работа.

Несколько раз к нему в сарай приходил Мойер, садился в угол на чурбан, закуривал сигару и подолгу, не произнося ни единого слова, следил за упражнениями своего ученика — перепачканного кровью, грязного и одержимого. Из экономии Пирогов на больших живот-

ных пока что вовсе не упражнялся, а покупал у мальчишек крыс и крошил их. Крысы стоили дешево, мальчишки создали для него целый промысел и таскали ему столько пасюков, что он в конце концов совсем разорился, хоть и платил за хорошую крысу не больше копейки. Телят же и барана он берег, не надеясь купить еще, но их всех надо было кормить, еда стоила денег, и Пирогов совсем растерялся. Телята росли и жрали неимоверно много, в болтушку телятам полагалось наливать молоко, и он покупал им молоко и завидовал им — он сам очень любил чай с молоком и раньше пил такой чай, а теперь довольствовался шалфеем.

Однажды, сидя на своем чурбане в углу сарая, Мойер сказал Пирогову, что с крысами он довольно возился, что теперь пора приниматься за телят и за собаку, а кроме того, что пора перестать экспериментировать просто так, надобно отыскать себе тему для эксперимента — тогда пойдет лучше, и предложил тему.

Пирогову она не понравилась, и он стал думать сам.

Через несколько дней тема отыскалась такая, которую одобрил и Мойер. Пирогов совсем перестал ходить на лекции. Иноземцев ему сказал, что это добром не кончится, что будет скандал и что они сюда не затем приехали, чтобы резать телят,— пора заниматься делом.

— У каждого свое понятие о деле,— с вызовом ответил Пирогов.

Вначале он занимался вивисекцией один, потом с Карлом Липгардтом, помогавшим ему в работе. Некоторое время Пирогову было с Липгардтом интересно, потом он ему осточертел и так стал его раздражать, что они разошлись. Липгардт покинул сарай под черепичной крышей спокойно, отношения с Пироговым у него остались самые дружеские, раздражительность Пирогова он отнес только к его плохому характеру, а не к самому себе, так объяснил и Мойеру. Пирогов объяснил расхождение совсем иначе.

— Знаете,— сказал он Мойеру,— Липгардт прекрасный человек, но вы в нем ничего не поняли. Ученый из него никогда не выйдет.

— Почему? — удивился Мойер.

— То есть, может быть, и выйдет,— поправился Пирогов,— но только не в том смысле, как вы думаете. И в сарае ему делать нечего.

— Да почему же? — во второй раз спросил Мойер, и сам догадавшийся почему.

— Потому,— сказал Пирогов,— что, несмотря на все его способности и знания, он — как губка. Насосется знаний — нажмешь, и все назад выльется в таком же виде. У него ум емкий, память хорошая, и знаете что? Производительности ума никакой.

— Что же, это разные вещи — емкость и производительность ума? — наслаждаясь, спросил Мойер.

— Разные. Для эксперимента емкость ничего не стоит,— молвил Пирогов,— разве что записывать ничего не надо, все будет в уме держать, так ведь вы его ко мне не за этим прислали...

Мойер улыбнулся.

— А у вас какой ум? — спросил он.

Пирогов немного помолчал, потом страшно скосил глаза и весело ответил:

— Не знаю какой, но только свой.

— Ого!

— Так ведь свой может быть еще и глупый,— краснея, сказал Пирогов,— вы теперь всем в доме расскажете, что я вам нахвастал, но только я вовсе не нахвастал, и вообще все это вздор, не стоило говорить о таких глупостях. Одним словом, как хотите, но мне с Липгардтом делать нечего, хоть он и гением у вас считается.

Мойер, как всегда, ни на чем не настаивал, но с этого дня частенько спрашивал у Пирогова, какой у кого ум.

День рождения оказался днем неудач и огорчений.

Еще по дороге в университет Мойер, против обыкновения, сухо и сурово отчитал его за то, что он не ходит на лекции и тем самым ставит его, Мойера, лекции которого он посещает, в неудобное положение перед другими профессорами. Пирогов уже привык к тому, что Мойер делает ему внушения на эту тему, и не придал особого значения тому, что Мойер нынче не в духе, но днем его вызвали к его великолепию, у которого сидел отвратительный Перевощиков и маленький профессор химии Гебель. Его великолепие ректор был в хорошем расположении духа, но Пирогов сразу же почувствовал неладное по лицам химика и Перевощикова, с которым у Пирогова уже давно были худые отношения и кото-

рый в свое время написал на него донос Ливену в Петербург.

Его великолепие ректор к профессорским кандидатам имел небольшое отношение и формально мог не принимать никакого участия в разговоре с кандидатом-москвичом, по доброте же и обходительности своей натуры он не мог отказать Перевощикову и теперь мучился и проклинал себя за слабодушие.

О Пирогове и о его способностях он знал и радовался, что Дерпт подарит миру еще одного хорошего ученого, но он также знал, что в манкировании Пирогова есть некоторый элемент пренебрежения к нелюбимым дисциплинам, и знал, что профессора типа Гебеля слишком ревностные педанты, для того чтобы простить нелюбовь к тому, что они преподают и, следовательно, считают предметом основным, главным, самым существенным.

Слушая скрипучий голос Перевощикова, его великолепие ректор Эверс ничем, разумеется, не нарушал плавного течения мыслей всеми нелюбимого профессора Перевощикова, отслужившего порядочное количество лет в Казани под начальством пресловутого Магницкого и тем снискавшего себе печальное имя в Дерпте, но в то же время ректор Эверс не отрываясь глядел на Пирогова своими добрыми старыми глазами, а в какое-то мгновение речи Перевощикова ректор даже чуть-чуть вздохнул и поднял глаза к небу — и Пирогов не смог не понять, что Эверс его союзник и не считает его ни негодяем, ни ничтожеством.

Но Гебель и Перевощиков отругали его на чем свет стоит и посулили серьезные неприятности в самом недалеком будущем, если он не возьмется наконец за ум, а Гебель прямо посулил прижать его на экзамене.

— И это сделаю не только я,— сказал он в заключение своей речи,— но и многие мои коллеги, к предметам которых вы относитесь без всякого уважения, господин Пирогов.

Наконец они позволили ему ответить.

Он ответил вяло, без всякого жара.

Он не умел слушать разных болтунов — на лекциях без демонстрации ему хотелось спать, да и не мог он растрачивать время на чепуху, когда фасции и артериальные створы занимали его с утра и до поздней ночи.

Довольно мрачным голосом он ответил им — скрипу-

чему Перевощикову и химику Гебелю, что они, разумеется, со своей точки зрения правы, но что жизнь человеческая так коротка, что при всем желании человек не может переделать столько дел, сколько бы ему хотелось.

— Сколько же предполагает прожить господин Пирогов? — неожиданно спросил его великолепие.

— Я предполагаю прожить до тридцати годов, — молвил Пирогов,— и потому я тороплюсь.

— Господин Пирогов неизлечимо болен? — опять спросил Эверс.

— Нет,— последовал ответ,— я не болен, но думаю. . .

— У господина Пирогова предчувствия. . .

— Если угодно, то да,— с вызовом и страшно краснея, сказал Пирогов,— но дело не в этом. . .

И он пошел болтать совершеннейшую чушь, от которой добрый Эверс только покряхтывал.

Все кончилось полнейшим его позором. Ему хотелось замять те глупости, которые он наболтал, и для этого он пустился в такие пространные дебри и так напутал, что Эверс для его же пользы отпустил его домой посередине начатой им красивой и пышной фразы о свободе индивидуальной воли.

Не заходя ни в аудиторию, ни домой, он отправился в свой сарай и там проработал до вечера, но и это не рассеяло его мрачного настроения духа. В сарае тоже все не ладилось: одна из собак подохла; теленок, измученный проводимыми над ним экспериментами, перестал есть и пить; в довершение всего в углу подгнила балка и весь сарай мог обвалиться и задавить не только животных, но и его; хотелось есть, а денег не было ни одной копейки.

Домой он плелся очень долго и все не мог решить — зайти к Мойерам или нет. Два дня назад он немного поссорился со старухой из-за того, что она подумала на него, будто он плутует в карты, а он вовсе не плутовал. Расстались они сухо. Мойер тоже был с ним довольно холоден и к себе сегодня не звал.

Дома было холодно — нетоплено, леффель Андреуш напился картофельной водки и спал в прихожей, пропала свеча, и пока Пирогов искал ее, он едва не заплакал, а когда нашел и зажег, то совсем обмер: на жестянке,

в которой Иноземцев держал сахар, был повешен маленький замочек.

В первую секунду он не поверил своим глазам, а когда понял, что это не сон, совсем перепугался и долго сидел на своей кровати со свечой в руке, неподвижным взором уставившись на банку.

Вчера, засидевшись за книгами далеко за полночь, он съел из банки Иноземцева несколько кусков сахару. Конечно, это была подлость есть его сахар, но он ничего не мог с собой поделать — ему так захотелось сладкого, что он совершенно помимо своей воли запустил руку в банку и набил сахаром полный рот. А Иноземцев, по всей вероятности, заметил пропажу и повесил замочек. Какое унижение!

Часов в десять Иноземцев явился домой и принялся за чаепитие. Пирогов слышал, как он наливал себе чай и как возился со своей банкой — замочек худо открывался. Чтобы не встречаться с ним глазами, Пирогов лежал в постели, отворотившись к стене, и делал вид, что нездоров. Иноземцев не обращал на него никакого внимания. Попив чаю, он накричал на Андреуша, потом стал одеваться, чтобы уходить, и при этом напевал свою любимую песню, которой научился от ненавистного Пирогову Пиларха фон Пильхау:

Вот он сам, Зайдернауп,
Вот сам он, кожаный Зайдернауп,
Си-са, Зайдернауп...
Си-са!

Все было отвратительно в этой песенке — и бессмысленный Зайдернауп, и то, что он почему-то кожаный, и идиотский припев «си-са», и тот похабный второй смысл, который вкладывался певцами в эти невинно-глупые слова.

Си-са,
Я бываю то могуч, то нежен,
Си-са, великий Зайдернауп,
Все зависит от моего настроения,
Си-са...

Он пел и рылся в ящиках своего комода, потом вдруг спросил:

— Послушайте, великий анатом, мне позавчера пришла посылка, в посылке была новая черная манишка от Линке и черный галстук с подгалстушником, вы не видели?

— Нет, не видел! — сказал Пирогов.— И если я вчера съел из вашей банки, будучи лично без сахару, несколько кусков, то вы не имеете права намекать мне...

Пирогов сел в постели. Лицо его горело, глаза светились ненавистью.

— Не имеете! — крикнул он.— Я не ваш крепостной, я не разрешаю...

Иноземцев ненатурально заулыбался и сказал, что он и в мыслях не имел ничего такого, что сахар он запер вовсе не от Пирогова, а от Андреуша и что стоило Пирогову только сказать — я взял у вас несколько кусков сахару...

— Это низко, то, что вы считаете ваш сахар,— крикнул Пирогов,— это низко считать куски сахару!..

— Но, милый Пирогов,— начал опять Иноземцев,— я повторяю вам, что вы не так поняли...

И он длинно стал говорить об Андреуше, а Пирогов не слушал его и только с ненавистью смотрел на его красивые бакенбарды и хорошо выбритый подбородок, на всю его крепкую и самодовольную фигуру с широкими плечами, на ноги, обутые в твердые башмаки с двойною подошвой, а потом внезапно отвернулся и лег спиною к нему.

— Вы не хотите со мною говорить? — спросил Иноземцев.

Пирогов не ответил.

— Бог с вами,— сказал Иноземцев,— вы больны, у вас дурное настроение, я не виноват.

Подушившись скверными духами, он ушел в студенческую муссу.

Пирогов еще долго лежал не шевелясь, чувствуя себя несчастным и глубоко оскорбленным, потом встал, мучимый голодом, и послал нетрезвого Андреуша в трактир за ужином. Андреуш тотчас же вернулся и сказал, что ужинов не будет, пока Пирогов не заплатит долг.

— Так ведь нам еще не платили,— в тоске молвил Пирогов.

Проклиная свою голодную жизнь, он вышел на улицу и поплелся без цели из переулка в переулок. С неба сеял отвратительный холодный дождь, масляные фонари тускло отражались в лужах, в голых ветвях деревьев свистел ветер.

Пирогов медленно шлепал по лужам, медленно перешел мост через Эмбах, поглядел вниз на темную воду

и хотел было возвращаться домой, как дикие клики и вой стали доноситься до него из мрака по эту сторону Эмбаха. Он зашагал обратно и скоро достиг переулка, сплошь запруженного студентами университета. Стоя под проливным дождем в своих плащах и ботфортах, почти все пьяные, они выли и ревели на разные голоса с такой силой, что в окнах дрожали стекла. Головы всех были обращены к крыльцу трактира «Веселое препровождение досуга», и Пирогов понял, что студенты возглашают анафему хозяину заведения.

— За что? — спросил он огромного студента в крошечной шапочке, и студент с готовностью ответил, что негодяй хозяин отказал в кредите одному из сеньоров — старосте корпорации.

Под кошачье мяуканье и дикий вой хозяин в жилете и в ночном колпаке появился на крылечке своего заведения. Работник-эст вынес за ним фонарь. Вой и визг при появлении хозяина достигли апогея. Хозяин в ужасе прижался спиною к дверям. Тотчас же рядом с ним на крыльце оказался прославленный бретер Пиларх фон Пильхау, без крагена, в мундире и в шапочке, позументы которой тускло сверкали при свете фонаря. Изрубленное и тупое лицо Пиларха дышало негодованием. Подняв руку в черной кожаной перчатке, он мгновенно заставил замолчать несколько сот глоток и ослиным голосом провозгласил анафему на неопределенное время всему заведению. По второму мановению его руки все подхватили анафему, и устрашающий рев вновь разнесся по Дерпту.

Между студентами то там то сям появлялись и исчезали перепуганные педели, умоляли перестать, грозили именем его великолепия, и наконец старший из педелей, Мартини, пробрался ко двору фурмейстера, жившего напротив трактира, и послал конного эста с запиской к университетскому синдику. Конный промчался мимо Пирогова, обдав его с головы до ног грязью, и исчез во тьме под вой и мяуканье все еще длящегося обряда анафемы. Через несколько минут приехал университетский синдик-прокурор, а за ним его великолепие ректор Густав фон Эверс в коляске с двумя верховыми, держащими высоко над головами ярко пылающие факелы. Анафема тотчас же стихла. Пиларх фон Пильхау подошел к коляске и, по старому обычаю, преклонил перед его великолепием колено.

— Что случилось, дети? — спросил Эверс громким и приятным голосом.

— Трактирщик отказал в кредите сеньору Бубриху,— ответил Пиларх,— имя его опозорено негодным филистером. Совет сеньоров постановил предать анафеме негодяя.

Трактирщик между тем пробрался к коляске и рухнул перед его великолепием на колени, прося не заступничества и не помилования, а только обозначения срока анафемы. После трактирщика Эверс опросил по очереди всех сеньоров и вынес решение предать трактир анафеме на срок в сорок дней. Трактирщик все еще стоял на коленях. Синдик решение его великолепия подтвердил. Тяжелая коляска Эверса начала медленно разворачиваться среди густой толпы студентов под восторженный рев и провозглашения долгих лет любимому ректору. Тотчас же нашлись охотники писать анафему на вывесках трактира. Отныне никто не мог войти в заведение без страха самому быть преданным студенческому проклятию. Хозяин, взяв из рук своего работника фонарь, сам светил тем, которые мелом и углем расписывали вывески и стены его трактира по всему фасаду.

Потом, провожаемая униженными поклонами про́клятого, толпа двинулась вниз по переулку. Пиларх предводительствовал, и по его приказанию студенты запели «Бойся, филистер!». За этой песней последовало решение сеньоров о большой пьяной ночи, и вся громадная толпа заревела на разные голоса гимн пиву.

Пирогова вел уже какой-то незнакомый и восторженный фукс с глупым носом пуговкой.

— Я никуда не пойду,— сказал Пирогов,— у меня денег нет, и я не принадлежу к корпорации, меня выгонят, коли объявят кнейпу...

Студент долго его уговаривал и не пускал даже силою, но Пирогов все же вырвался и попал в объятия совершенно пьяного Цихориуса — университетского анатома. Вместе с прозектором Вахтером он принимал участие во всей истории с анафемой и теперь был в прекрасном настроении.

— О, милейший Пирогов,— говорил он, слегка обнимая Пирогова,— и вы тут. Очень рад вас видеть. Поздоровались ли вы с добрейшим Вахтером? Доктор Вахтер, неужели же вы так напились вашей картофельной водкой, что не видите, кто стоит перед нами? Пойдемте,

Пирогов, ко мне. Пойдемте, старина. Мы будем еще пить, и нам будет очень весело. Доктор Вахтер, берите нашего доброго Пирогова под другую руку и пойдемте...

Как он ни упирался, они привели его в странный дом Цихориуса, выстроенный профессором по его собственному плану,— без единого окна, с плоской крышей и с горами винных бутылок вместо мебели. Доктор Вахтер налил ему водки в великолепный, зеленого цвета ремер. Цихориус слазил в подвал и принес оттуда несколько заплесневелых бутылок рейнвейна. На большом блюде лежали остатки холодной говядины, которую Пирогов съел сразу же после того, как они сели. Первый тост был за гостя, второй — за истину, третий — за глупость доктора Вахтера. У Пирогова от первого же ремера закружилась голова и из глаз полетели искры. Цихориус стал ему лучшим другом. С восторгом он смотрел на его зеленую бороду, на грязные лохмы волос, свешивающихся над огромным бугристым лбом, на перебитый когда-то шпагой нос, на грязные отвороты его сиреневого сюртука. Потом он поцеловался с Вахтером в губы и закурил трубку из коллекции Цихориуса. Очень громко они спорили о его затее с операцией по Астлею Куперу. Стараясь говорить связно, Пирогов рассказал им обоим, что во всех случаях перевязки брюшной аорты смерть происходит через паралич нижних конечностей, который есть результат онемения спинного мозга, а вовсе не от прекращения кровообращения в нижних конечностях. Цихориус стал кричать, что надобно попробовать постепенное сдавливание, и Пирогов ему ответил, что такое сдавливание он уже сделал, но что баран погибает от последовательных кровотечений. Тут же все втроем они взяли по зонту и по бутылке рейнвейна и отправились под дождь к сараю с черепичной крышей смотреть барана. По дороге Цихориус пел, а толстый Вахтер вдруг сделался очень грустным, что к нему не шло, и заговорил о том, что они с Цихориусом даром прожили свою жизнь, загубили ее не в пример Пирогову, который хоть, разумеется, и мальчишка, а уже имеет опыты и занимается истинной наукой.

— Замолчите, глупец,— прикрикнул на него Цихориус,— вы надоели мне.

До сарая они не дошли, их догнал какой-то белый кнот в поношенном платье и умолил навестить больного.

У кнота было жалкое и измученное лицо, он ухватил Вахтера руками за лацканы мокрого сюртука и несколько раз поцеловал его в плечо.

— О, идиот,— сказал Вахтер,— ведь мы же все пьяны, неужели ты не видишь — мы пьяны, совсем не держимся на ногах. Посмотри на нас внимательно, мы никуда не годимся. . .

Но кнот не отставал. Из его слов можно было понять, что он только что заходил домой к господину Вахтеру, не застал его и чудо помогло ему встретить господина доктора в этот поздний час на улице. Никто, кроме господина Вахтера, не пойдет к бедному кноту в его лачугу. . .

— Да пойдемте, чего там,— молвил Пирогов, которому все нынче было трын-трава,— пойдемте, господа, авось поможем несчастному. . .

Кнот живо понял, что молодой студент, шедший вместе с господами учеными докторами, на его стороне, и теперь ни на секунду не отставал от Пирогова.

— Да что с твоим больным-то? — спросил Пирогов.

У кнота не нашлось слов для того, чтобы объяснить, что с его больным. Жестами, при свете уличного масляного фонаря, он показал, что у больного большой живот и что больной совсем помирает.

— Отец у него,— перевел Вахтер,— старик отец, водяная, наверно, вон как вздуло брюхо. Вздуло?

— О да, о да,— воскликнул кнот.

Вновь в эту ночь перешел Пирогов каменный мост через Эмбах вслед за кнотом, деревянные башмаки которого постукивали где-то впереди, в густом мраке осенней ночи. Ветер со свистом волочил по каменьям улицы мокрые, увядшие листья. Пьяный Цихориус ворчал сзади, спотыкался и проклинал свою окаянную старость. Доктор Вахтер поддерживал своего мэтра под руку и во всем обвинял Пирогова.

Так миновали мызу Ратхоф — темную и мрачную, от которой доносился лишь хриплый лай сторожевых псов, и по грязи пошли в сторону от большой дороги, мимо каких-то хижин и сараев, потом в овражек, потом меж унылых, ободранных деревьев.

Всею грудью Пирогов дышал сырым осенним воздухом. С каждой минутой проходило опьянение, он чувствовал себя сильным и бодрым, несущимся словно на крыльях высоко под черными тучами.

— Да не отставайте же вы,— порою покрикивал он на своих учителей,— торопитесь, быстрее.

Наконец они дошли до низкой хижины, в которой горел слабый свет. Кнот отворил перед ними набухшую от дождя дверь, они очутились в темных сенях, потом отворилась вторая дверь, и убогая комната предстала перед ними: в глиняной плошке коптил фитиль неверным и блеклым светом, освещая двух старух, шепчущихся на лавке, прялку, кривого на один глаз кота, земляной пол и еще одну скамью, на которой стонало и содрогалось нечто укрытое рядном, мохнатой шубой и еще какими-то тряпками.

— Где же больной? — спросил Пирогов у кнота, глядя на нечто, укрытое шубой.— Там, что ли?

Кнот наклонил лицо. Пирогов подошел к лавке и на мгновение удивился, увидев вместо ожидаемого старика с водянкой прелестное лицо молодой женщины, искаженное страданием, покрытое потом, напряженное, с закушенною губой.

— Что с вами? — спросил он, сразу же беря тот тон, которым старый Мойер разговаривал с больными.— Ужели потерпеть нельзя? Погоди, матушка, расскажи прежде, что болит...

Но женщина со стоном отворотила от него смуглое лицо. Она ничего не понимала по-русски. Беспомощно оглянувшись на своих стариков и понимая, что от них пользы вряд ли дождешься, он все-таки подозвал их к себе. Цихориус уже ничего не понимал и даже не сдвинулся с лавки, на которую повалился, а Вахтер подошел и помог ему посмотреть больную. Загадочные жесты кнота объяснились в ту секунду, когда больная легла на спину. Она рожала и не могла разродиться, страшные судороги сотрясали все ее тело. Пирогов по глазам Вахтера прочел приговор и понял, что им тут делать нечего.

Больную вновь свело, Вахтер отошел к Цихориусу и с видом ожидания сел на лавку. Пирогов растерянно смотрел на синие губы несчастной, на ее широко раскрытые, с умоляющим выражением глаза, на гладкий, мокрый от пота лоб. Она вскрикнула. Он вздрогнул и наклонился к ней. Губы ее беззвучно шевелились, она молилась или просила его о помощи — он не понимал. Муж ее стоял рядом и тоже шевелил губами — повторял за нею то, что она говорила.

— О чем она? — спросил Пирогов.

— Так,— сказал кнот,— ничего.

Старухи с враждебной настороженностью следили за каждым движением Пирогова. Он еще раз посмотрел женщину, и с той решимостью, которая присуща юности, объявил Вахтеру свою мысль. Поначалу старый прозектор просто ничего не понял, а когда понял, то поглядел на Пирогова как на сумасшедшего.

— Не дожидаясь утра? — спросил он.— В этой тьме?

— Все равно она умрет,— молвил Пирогов, кося глазами, как всегда в минуты душевного волнения,— понимаете или нет,— все равно она умрет...

— Но мало ли кто умрет,— сказал Вахтер,— медики не боги, а только медики...

— Сейчас спорить не время,— с враждебностью в голосе сказал Пирогов,— сейчас надобно делать дело.

И, оборотившись к мужу-кноту, велел ему доставать лошадь и, не медля ни секунды, мчаться к нему на квартиру с запиской для Иноземцева. В записке он просил прислать ножи, корпию, водки, чтобы дать женщине выпить перед операцией. Кнот, совсем побелев, убежал, а Пирогов приказал Вахтеру немедленно привести в порядок самого себя и начальника своего, господина Цихориуса, сладко храпящего на лавке.

— Я думаю, господин Пирогов,— молвил Вахтер,— что вы слишком много на себя берете, решаясь так шутить. Боюсь, что вы зарежете ее и для вас выйдут неприятности...

— Я имею лекарское звание,— сказал в ответ Пирогов,— и я сам отвечаю за свои поступки. Кроме того, со мной вместе находятся два ученых — господин доктор Вахтер и господин профессор Цихориус, которые, как я надеюсь, не откажут мне в помощи...

— Но ведь я же только прозектор,— с тоскою в голосе сказал Вахтер,— я не умею резать живых людей, мои покойники не могут умереть под ножом, они для этого слишком мертвые...

Пирогов не ответил ему. Он уже принялся за Цихориуса — повел его во двор окачивать колодезной водой и тереть уши. Не более как через полчаса Цихориус выглядел совсем человеком, даже куда более причесанным, чем бывал обычно. Его только пробирал озноб, да и то недолго, до той минуты, пока Пирогов не сообщил ему о своей затее.

Против ожидания, Цихориус не возразил ни единым словом.

— Ну что ж,— сказал он,— была не была, как говорят у русских. Я вам постараюсь помочь, Пирогов, но только не руками, они у меня не столько тверды, чтобы им вверять сразу две жизни.

Старух Пирогов выгнал вон из хижины, чтобы они не мешали делу своими причитаниями и оханиями, вытащил на середину комнату тяжелый стол и налил для Цихориуса в кружку немного рейнвейна, чтобы он опохмелился.

Женщина несколько раз теряла сознание от страшных судорог. Глаза ее больше ничего не выражали, кроме страдания и страха. Вместе со стонами из уст ее вырывалось имя мужа.

— Он сейчас приедет, матушка,— говорил Пирогов,— сейчас тут будет, и мы тебя вылечим, и ребенка твоего достанем, ты не горюй, ничего. Тебе скоро полегчает, вот ты увидишь...

Ему было жаль ее, сердце его болело при виде этих страданий, но он боялся жалеть, потому что знал — жалость не ведет к успеху оператора, и настраивал себя на жестокий лад. Для жестокости и холода в сердце он даже несколько раз прикрикнул на женщину, но она не обратила на это никакого внимания, ей было решительно не до того.

Наконец дверь распахнулась, и в комнату ввалился кнот с саквояжем, а за ним Иноземцев в своем крагене, в перчатках, с пачкою книг.

— Я к вам, Пирогов, в помощники,— объявил он с порога,— мы еще к Мойеру заехали по пути, да у него сердечный припадок, он не встает, а другие никто не хотят, мы еще у двух были... Вот я книг захватил на всякий случай.

Это было неожиданно и необыкновенно приятно, то, что Иноземцев вдруг приехал. Пирогов косо и живо взглянул на него своими горячими глазами и коротко сказал:

— Я вам вот как благодарен, Федор Иванович. Привезли ли свечей?

— Привезли,— снимая плащ, сказал Иноземцев,— все привезли, что вы велели.

— Корпия дома нашлась?

— С избытком.

— Федор Иванович,— молвил вдруг Пирогов иным тоном,— и вы, господин профессор, и вы, господин доктор, я хочу вам только одно сказать, и весьма короткое: я все последствия на себя принимаю, какие бы они ни были.

Цихориус хотел возразить, но вместо этого длинно икнул.

— Федор Иванович, вы слышали? — спросил Пирогов.

— Да, слышал,— ответил Иноземцев.

Цихориус опять икнул.

— Вы поняли,— продолжал Пирогов,— что последствия лягут на меня, а не на вас, как бы тяжелы они ни были?

— Да, понял,— ответил Иноземцев и, погрев над камельком руки, принялся зажигать свечи и расставлять их возле стола.

Вместе с мужем и с Вахтером Пирогов перенес женщину на стол. Она еще раз потеряла сознание. Пока Иноземцев вливал ей в рот полкружки водки, Пирогов снял сюртук и повязался по животу полотенцем. Вахтер засучил ему рукава рубашки и принес в глиняной миске немного воды, чтобы он ополоснул грязные руки, хотя бы и без мыла, которого в хижине не оказалось. Кнота Цихориус выставил вон из комнаты, его лихорадило, из светлых глаз текли слезы.

Потом Цихориус, Вахтер и Иноземцев принялись вязать женщине руки и ноги по всем хирургическим правилам, чтобы, сохрани бог, не развязалась во время операции, а Пирогов прохаживался по комнате и возбуждал в себе жестокость и спокойствие — теперь ему было страшно и хотелось убежать от всего того ужаса, который ему предстоял. Как нарочно, в это время Иноземцев предложил резать вместо Пирогова на тот случай, если Пирогову не по себе. Пирогов ответил не сразу, в таком деле не могло быть места самолюбию или другим низким чувствам, и потому ему пришлось подумать, прежде чем ответить. Себе он верил больше, чем Иноземцеву, и ответил, что нет, резать будет он сам, самочувствие у него хорошее, лишь бы только она не развязалась и не вырвалась от боли.

— Ничего, мы будем держать крепко,— сказал Цихориус,— а советовать будем, когда вы спросите, не раньше, чтобы не мешать...

Медленно Пирогов подошел к столу и, стараясь не встретиться взглядом с широко открытыми глазами женщины, взял из рук Вахтера нож, только что направленный Иноземцевым. Попробовал нож об ноготь, твердо закусил нижнюю губу, велел себе ничего не слышать — ни криков, ни стонов, ни воплей — и крепко приложил свою большую, горячую ладонь на живот женщины.

Все совершенно затихло вокруг него, а может быть, не затихло — он только перестал слышать.

Легкий и острый нож скользнул по намеченной линии — сверху вниз — и замер. Откуда-то, точно из другого мира, протянулась рука Иноземцева с пучком корпии, коротким движением собрала алую кровь и исчезла. Пирогов сделал второе сечение и отдал нож, не глядя в тот, другой мир. Нож повис в воздухе, и другой мир вложил в полураскрытую руку второй нож, с выгнутым лезвием, в котором вспыхнули и погасли отражения огоньков свечей. Пирогов слегка нагнулся, чтобы четче и яснее видеть среди потоков крови, и мысленно утверждал все то, что видел. «Все благополучно,— говорил он себе,— все так и должно быть, все хорошо». Второй нож не удержался в воздухе, не повис там, как первый, и Пирогов сразу же понял, что там, в другом мире, все не так благополучно и спокойно, как у него.

— Что? — спросил он, не поднимая головы.

— Уже все хорошо,— отозвался издалека Цихориус,— теперь все будет хорошо.

— Дайте же нож,— молвил он.

Нож немедленно появился в его руке.

— Что произошло? — спросил он негромко, голосом давая понять, что он должен знать происходящее у них.

Цихориус объяснил.

Пирогов отдал и этот нож.

С осторожною ловкостью он стал обеими ладонями слегка придавливать по животу так, чтобы тело матки появилось из разреза. И оно появилось. Ему дали еще нож.

— Приготовьтесь принять ребенка,— тихо сказал он, охваченный внезапным трепетом и волнением, почти священным чувством ожидания чуда.— Готовы ли вы?

— Да, готовы,— услышал он.

Сжав зубы до боли, железной рукою он сделал последнее сечение и бросил нож на пол. Теперь он видел

ребенка, еще неподвижного, неродившегося, возникшего на свет без мук рождения. Быстрыми руками он обнажил его совершенно, отыскал пуповину, перерезал и отдал дитя не в тот мир, как отдавал все раньше, а в руки старику Цихориусу, бледному как полотно. Очищая матку, он слышал за своею спиной шлепки Цихориуса и понимал, что старик шлепает ребенка для того, чтобы тот закричал, но крика все не было и не было, и он уже сказал себе, что это его совершенно не касается, как крик вдруг раздался, и с этим криком вместе как бы соединились те разные миры, в которых были порознь он, Пирогов, и все его ассистенты. Все сделалось единым, все смешалось, и он стал не только слышать, но и видеть. Он увидел кровоточащую рану перед собою, уже почти зашитую, увидел свои руки, которые не узнал поначалу, так они проворно совершали свою отдельную от него работу, и когда работа эта совершилась до конца, он увидел лицо матери и ее глаза, широко открытые, потухшие, мертвые.

— Смерть? — спросил он, не найдя иного слова.

— Нет,— с возмущением ответил Вахтер,— она совсем жива, она хорошо жива...

И он заговорил по-немецки, так ему было проще в эти минуты.

Он еще не понимал, что операция кончена, когда Цихориус развязывал на нем полотенце, которым он был перепоясан, когда Вахтер принес ему миску с водой и когда вода вдруг сделалась совершенно красной, и понял только после того, как сел и услышал свой собственный голос:

— Ну как, матушка? Как ты себя нынче чувствуешь?

Она ничего ему не ответила, у нее не было сил, да она и не понимала его русской речи. Она смотрела на него внимательно и печально, долгим взглядом вконец замученного животного. Тогда он оборотился к ребенку, уже уложенному старухами в корзину: ребенок был крупный и крепкий, с головкой круглой, как биллиардный шар, и с розовым, загадочным лицом.

— Мальчик или девочка? — спросил Пирогов.

— Мальчик,— с разных сторон ответили ему.


БУЦЕФАЛ

Чистый, добропорядочный Дерпт, крошечная, но благоустроенная клиника на двадцать кроватей, порядочнейший и почтеннейший Мойер — все это осталось позади, и об этом не следовало больше ни думать, ни вспоминать. Что было, то сплыло, и, черт его подери, думать — только растравлять себя. Обо всем том надобно забыть, как о сладком и милом сне, все то надобно исключить, отбросить, вышвырнуть вон. Ничего не было и ничего нет, кроме шайки черниговцев, кроме воровства и лихоимства, кроме денного грабежа, кроме лихих госпитальных разбойничков и кроме того, что он нынче купил в Гостином.

Кстати, где покупка?

Усталыми шагами он походил по полупустым комнатам еще необжитой, пахнущей известкой и рогожами квартиры. Все стояло на своих местах, и все имело холостяцкий, неуютный вид. Впрочем, нет штор, может быть, они спасут дело.

В прихожей на грязном некрашеном сундуке спал животом вниз Прохор. Гитара валялась на полу. Возле гитары сидел чужой облезлый кот с драным ухом и поглядывал по сторонам с враждебной небрежностью.

Тут же на полу возле вешалки валялась покупка, выпала, наверное, из кармана шинели, когда он раздевался.

Неужели придется действовать ею?

Неужели нет иного выхода?

На мгновение ему стало грустно, но он пересилил себя, поднял нагайку с пола, натянул сыромятный ремешок на запястье, косо огляделся и, выбрав для упражнений собственную шинель, рубанул по воздуху с оттяжкой, как рубят саблей. С въедливым свистом нагай-

ка перепоясала шинель. В ту же секунду чужой драный кот, издав шипяще-мяукающий звук, перемахнул прихожую и скрылся в коридоре. Прохор встал на четвереньки и замотал сонной головой. Потом увидел Пирогова с казачьей нагайкой на руке и замер.

— Кот тут напугался,— сказал Пирогов,— думал, это я для него нагайку припас, а это я для людей.

Теперь Прохор уже сидел на своем сундуке: приятное пробуждение, нечего сказать; ему казалось, что Пирогов намекает и грозится.

— Да и не для тебя это, — с досадой и скукой в голосе промолвил Пирогов и отворотился. — Иди, погрей ужинать, я есть хочу. И руки вымой, глядеть противно. . .

Пощелкивая по стене нагайкою, он возвратился в комнаты и еще походил без цели от окна к окну, поглядел на смутные очертания домов белой ночью. Все сделалось совсем отвратительно: этот рабий страх в выражении Прохора при виде нагайки. Нагайки боится, а таскает из кармана шинели медяки и при этом врет, что «сами-с потеряли, а я виноват». Вот так и надо ходить с нагайкой по улицам, по квартире, по клиникам, по аудиториям. Мало ли кто да почему вор и подлец. У всякого подлеца есть для подлостей свои причины: один — из страха, другой — из почтения, третий старается для сирот. Нет-с, благодарим, предостаточно!

Он сел в кресла и сощурился на огонек свечи все с той же нагайкой в руке. Надо бы подумать, да времени нет, надо бы почитать, да нечего — господа академики сочиняют сочинения через пень колоду, надо бы письма написать, да о чем?

Рассеянным взглядом он скользнул по откинутой доске бюро, сплошь заваленной корреспонденциями, взял наугад письмо, сорвал печать и прочитал. Тоже нагайкой надо бить, иного выхода нет, иначе разум не вгонишь в эти головы!

Особая комиссия академии приглашает профессора Пирогова прибыть на заседание, имеющее быть по поводу слушания отчета профессора Груби о признании им машины иностранца Галлермана для скорого и успешного лечения заикающихся особ обоих полов.

Лечение заик машинами — это, конечно, то, что нравится господам черниговцам не в пример его реальному направлению, его эксперименту, его ненависти к любо-

мудрию господ медиков из натурфилософской школы. Шваль! Щека его задергалась, он вскочил и вновь начал мерить кабинет шагами из угла в угол. Ничего, поглядим! Ежели государь по склонностям своего ума стал ярым приверженцем атомистической методы своего лейб-медика шарлатана, то ужели все государство должно лишиться реального направления в науке, кинуться в китайщину, в Азию, в мистические бредни, потерять то, что такою кровью далось России при Петре? Ну, хорошо, ну, Ганеманн, ну, Бруссе. Допустим! Но ведь насчет живой силы — это же вздор, и вздор постыдный. Кто поверит, что в результате длительного растирания цинковой мази в ступке рождает мазь особую животворную силу, которая и есть лекарство, заключенное, как в скорлупе, в мази.

И этому учат в стенах Медико-хирургической академии, и как не учить, когда сам император приказал, и не только приказал, но и живейшим образом продолжает интересоваться ходом занятий, особо благоволит к мандтовским студентам, будущим атомистикам, покупает для их занятий вздорные машины, вроде электрообливательного шкафа, и сулит еще, что всех резак из русской армии разгонит и прикажет лечить солдат только атомистической медициной.

Посмотреть бы на ихний атомистический полевой госпиталь после хорошего сражения, как они там будут ковыряться!

Ах, да все это разве удивительно? Все это иначе и быть не может, а вот откуда такой подлец студент берется, вот что интересно. Откуда дальность такая в прицеле и точность? Ведь эта дюжина студентов, которых Мандт выбрал и которые к нему пошли без всякого сопротивления, что они думают? Ужели истинно веруют? Нет, вздор, ни в бога, ни в черта они не веруют, а почитают в особом смысле своего государя, в простейшем смысле почитают: государь — атомистик, ну, и мы станем атомистиками, все сытее проживем, на веселых ногах, сладко есть, мягко спать...

Опять передернуло щеку. Он швырнул нагайку на столик и закричал не своим голосом в коридор:

— Дашь ты мне ужинать, Прохор, или нет?

Ужин был отвратительный: пожарская котлета, пахнущая сальной свечкой, соленый огурец, мятый и желтый, и еще какая-то дрянь в миске — все из кухмистер-

ской. Тем не менее он съел все и выпил еще два стакана жидкого чаю, знаменитого прохоровского, пахнущего веником. Пока он ел и пил, Прохор стоял за его спиной, как настоящий лакей, помахивал салфеткой и вздыхал.

— Ну чего стоишь, мучитель? — сказал Пирогов.— Собирай со стола.

Прохор вздохнул еще, начал собирать и сразу же разбил две тарелки. Разбил, мрачно поглядел на черепки и промолвил:

— Оно к счастью, Николай Иванович.

Пирогов молчал, отворотившись к окну. Так он простоял долго, не меньше получаса. Потом оделся, велел Прохору не отлучаться и, сунув нагайку в карман, вышел из дому. Белая тихая майская ночь стояла над Петербургом. По зеленому небу плыли легкие рваные облака. С моря тянуло прохладным ветерком. На Неве, на баржах, горели костры, там мужики пьяными голосами тянули длинную и унылую песню, и было видно, как один мужик, длинный и голенастый, в широкой рубахе, один на своей барке, медленно, как привидение, вытанцовывал колена: выбросит ногу и замрет, присядет и замрет, взмахнет руками и застынет. За спиной мужика горел костер, и на темную воду Невы ложились от пляшущего длинные и нелепые тени.

Пирогов постоял, посмотрел. Тяжелая тоска все сильнее и сильнее давила его сердце. Куда идти? С кем говорить? Кому жаловаться? Кому он нужен со своими бреднями, с горячей своей головой, с тиком, с бессонницей, с нелепыми разговорами о науке?

Он оглянулся: мужик все еще плясал на барке — одинокий, горький и пьяный, в своей домотканой посконной рубахе без пояса, один-одинешенек среди каменных громад Петербурга, затерянный в огромном городе, дикий, пьяный. . .

Может быть, напиться, опьянеть и пойти к мужику на барку?

Но он не умел напиваться.

За всю свою жизнь он один только раз был немного навеселе еще в Дерпте у Мойеров, и то ночью его тошнило и, как ему казалось, он чуть не умер. Нет, он не настолько здоров, чтобы производить такие опыты с собою. А тоска — что ж! Она все равно никогда не пройдет, и есть от нее только одно спасение: работа. И работа не та, чтобы биться с черниговцами, или с ворами,

или с мздоимцами и казнокрадами, а работа своя, потаенная, главная, та работа, которую делал он бессонными ночами в Дерпте, и в Париже, и в Берлине — мучительный, непосильный сизифов труд,— искать и верить, что найдешь, но не находить, надеяться и ликовать, но разочаровываться, падать духом и вновь воскресать, и вновь рушиться, для того чтобы чувствовать себя ничтожным, неразумным, незнающим перед глыбою неразгаданного, и постигать, разгадывать, наблюдать, и если не разгадать до конца, то хоть верить, что разгадаешь.

В юности он выдумывал правила для того, чтобы знать, как жить, и слепо им следовал до тех пор, пока сама жизнь не подсказывала ему новые, зачастую еще более суровые, чем те, которые он исповедовал раньше. До сих пор у него осталась эта манера. При въезде в Петербург, когда назначен он был в академию, его встретил председатель Петербургского Общества врачей и вручил ему билет почетного члена Общества — невиданная честь для тридцатилетнего ученого. Принимая билет из рук убеленного сединами председателя, он почувствовал вдруг в себе беса гордыни и тут же сложил для себя заповедь — очень жестокую при той силе характера, которой наградила его природа. Заповедь была о том, что не следует гордиться и радоваться в случаях вот этакого успеха, что и чины, и ленты, и звезды — все это суета сует и всяческая суета, все это преходяще и все это никак, даже в самой малой мере, с истинным служением науке не связано, чему доказательство не только один Мандт, но и Шлегель, и Вилле, и многие другие славные сыны отечества, деятельность которых принесла России куда более вреда, нежели пользы.

Заповедь эта была куда как мучительна в выполнении, но он следовал ей с вечным своим железным упрямством, с той твердостью, которая приносила ему столько бед, и не отступал от этой заповеди ни на йоту: дипломы швырял в ящик бюро на съедение мышам. Адреса совал куда угодно, даже не прочитав их толком. Письменные благодарности больных, написанные в торжественно-слезливом тоне (чем я был и чем стал), не прочитывал и интересовался только смыслом: помогло или нет. Царские награды за научные работы без стыда и совести продавал тотчас же по получении академическому аптекарю, занимавшемуся еще и ростовщичеством. И продавал не потому, что так уж смертельно нуж-

ны были деньги, а только лишь по той причине, что как-то однажды, бессонной ночью, представил себе будущих потомков, которые через много лет в некоей зальце (он представил себе именно зальцу) рекомендуют вниманию гостей папенькины регалии, царские подарки, дипломы и свидетельства. Это видение показалось ему настолько отвратительным, что он тотчас же составил себе короткую заповедь — к аптекарю! — и неуклонно начал ей следовать.

Ни мода,— а на него вдруг сделалась в Петербурге страшная мода,— ни слава, которая росла с каждым днем и часом, ни деньги, которые сами шли к нему, ни премии за научные работы — ничто не могло поколебать этот характер. Все, что может сделать в России честный человек, говаривал он своим близким друзьям, это умереть не подлецом. Большего он о себе и не думал, а если вдруг ненароком и случалось ему подумать большее, то он жесточайшим образом расправлялся с собой тотчас, выставляя против себя свою же заповедь, направленную на подавление и уничтожение того, что он называл гадкою суетностью — главным врагом полезной человеческой деятельности.

Кто не бывал в Петербурге белою майскою ночью, тот и представить себе не может, как бы ему ни пересказывали, что за вид у гранитных набережных, у воды, у мостов под странно зеленеющим небом, с какою особенной гулкостью стучат башмаки по тротуарным каменным плитам над неподвижною гладью Невы, как спят облицованные финским мрамором дворцы, как едва-едва шелестит Летний сад молодою листвой за своей решеткой. . .

Все тихо, все спокойно.

Зеленое небо застыло над неподвижной водой.

И можно подумать, что теперь так будет всегда, что это такой особый сказочный мир, заснувшее царство с зеленым небом, с тонкою иглою, темнеющею над крепостью, с гвардейцами в киверах, застывшими у дворца, с извозчиком, заснувшим на своей гитаре, со спящей его клячей, с мертвым блеском зеркальных стекол, за которыми не видно ни единого огня,— так должно было спать заколдованное царство в знаменитой сказке.

Но что это?

Вдруг как бы искра вспыхнула на штыке у гвардейца, вспыхнула и погасла, а в воздухе уже что-то заиграло, засветилось, заблистало.

Медленно он поднял кверху усталую голову и даже оторопел: по еще зеленому, но уже с золотом небу плыли белые, круглые, сливочные облака, такие аккуратные, что он на мгновение умилился.

Теперь с каждой секундой все менялось вокруг.

Шпиль, который только что темнел над Петропавловским собором, теперь разом весь засветился, засиял, заблестел и точно зажег дома с этой стороны. Вот уже багрово-золотистым пламенем запылали окна особняков, вспыхнула медь на киверах заколдованных стражей, заиграли пламенем штыки и занялась дотоле холодная и неподвижная невская вода.

Ночь кончилась, пришло время наступать утру, тому утру, которого все равно не поймет тот, кто не бывал в Петербурге майскою порою...

Это тоже было не так просто — этот Петербург с его белыми ночами, с его туманчиками, с его зимою, похожей на осень, и с осенью, похожей на сам Дантов ад...

Кроме того, он слишком устал. Теперь каждый день часами дергало щеку, часто рябило в глазах, кололо в боку. Снились дурные, тяжелые сны — кошмары, или он подолгу не мог уснуть, переворачивал горячие, то слишком мягкие, то слишком жесткие подушки, пил воду, недавно даже, против всех правил, ночью выкурил сигарку...

И сейчас, как все эти ночи, совсем не хотелось спать.

Он медленно шел над Невою и думал: что, если сегодня совсем не ложиться; погулять еще, потом отправиться в академию, привести в порядок записки,— кстати, они там в столе,— сделать визитации в госпитале, одним словом, постараться так устать, чтобы назавтра заснуть и проспать всю ночь до утра.

На ялике он повеселел. Это было истинное удовольствие — переехать на лодке в такой час через Неву. Яличник был знакомый, по имени Яшка, забияка, и хвастун, и враль, но из таких, которых слушаешь не без интереса. Загребая веслом, он соврал Пирогову два события — пожар с двумя жертвами,— будто до смерти сгорела старуха закладчица Фунтиха и ее кошка — обе в сундуке.

— Почему же в сундуке? — поинтересовался Пирогов.

— А там ейный капитал содержался,— сильно дернув носом, сообщил Яшка,— она, дурная старуха, возьми и заберись туда. Ну, и провалилась со второго этажа в первый.

— А кошка?

— Кошка — дело известное, за хозяйкой.

Второе происшествие была утопленница.

Пирогов выслушал рассказ про утопленницу молча. Тогда Яшка добавил, что утопленница из графинь. Пирогов опять промолчал. Яшка рассердился и сказал:

— Самую вытащили, а ребеночек потоп.

— Какой еще ребеночек? — спросил, не выдержав, Пирогов.

— Известно какой,— грозно сказал Яшка, подтягивая лодку к берегу,— уж не свой. Краденый.

Привратник из солдат инвалидной команды спал в своей конуре. Ворота были раскрыты настежь. Слева из-за угла госпитальной оранжерейки доносились голоса людей, грохот падающих досок, грубая ругань.

Не торопясь Пирогов пошел к оранжерейке, обогнул ее и остановился в начале небольшого двора перед вещевым складом госпиталя, тяжелые, кованые ворота которого были распахнуты настежь. Перед воротами склада стояли две подводы, запряженные сытыми английскими першеронами рыжей масти. Одна подвода была доверху нагружена госпитальными гробами — Пирогов сразу узнал в них госпитальные по характерному лаку, которым они были покрыты. Другая же подвода только еще грузилась двумя мужиками в кафтанах, которые кидали гробы, как дрова, и при этом ругали друг друга и кричали на какого-то Конона, чтобы Конон работал исправнее и веселее.

Во всей этой деятельности не было бы ничего удивительного, не заметь Пирогов сразу же одной подробности, и вот какой: в то время когда мужики в кафтанах грузили гробы на подводы, Конон — надзиратель вещевого склада — таскал в склад из-за подвод сваленные там гробы, и таскал как-то странно — по два гроба сразу. Госпитальные гробы были тяжелые, Пирогов это знал хорошо, а Конон, которого Пирогов лечил от чирь-

ев, особой силой не отличался,— и вдруг такой геркулес — таскает гробы как перышки...

Довольно долго Пирогов стоял не двигаясь в своей засаде — за грудой ящиков для земли, выброшенных садовником из оранжереи,— и глядел, стараясь разобраться в той загадочной картинке, которая была перед ним. Наконец стоять ему надоело, и он вышел из своего убежища. Мужики уже закрывали свою поклажу рогожами и стягивали веревками, а Конон все еще таскал гробы в склад. Теперь он их просто кидал, предварительно раскачав. И только тут Пирогов догадался, в чем дело.

До сих пор никем не замеченный, он спокойно подошел к тому из мужиков, который был повыше ростом, и негромко приказал ему скидывать поклажу назад. Мужик тяжело повернулся к Пирогову мохнатым лицом и отступил на шаг назад, второй мужик, поменьше и помоложе, сразу же повалился в ноги, а черный, цыганского вида Конон уронил гроб на землю и стал пятиться к своему складу.

Ни Конон, ни мужики не посмели ничего сказать. Неверными руками они втроем распутали веревки, сбросили рогожи и, опасливо поглядывая на Пирогова, принялись снимать гробы на землю.

Тяжелым взглядом косых глаз он следил за каждым их движением. Лицо его было бледно, он покусывал нижнюю губу и прохаживался — несколько шагов вперед, несколько назад.

— Теперь прочь отсюда,— сказал он, когда мужики кончили свое дело,— да живо убирайтесь...

Они не заставили себя упрашивать. Мохнатый одним движением вспрыгнул на подводу, закрутил над головой кнутом, и могучие першероны тотчас же понесли к воротам. Вторая подвода вылетела вслед за первой, и еще долго в свежем и тихом утреннем воздухе слышался грохот кованых колес по нижегородской мостовой.

Теперь Пирогов остался один на один с Кононом в пустом дворике среди гробов. Только сейчас он увидел, какое серое лицо у Конона и как все лицо его покрылось потом — отчего? От работы или от страха?

— Ваше превосходительство,— давящимся громким шепотом воскликнул он,— ваше превосходительство, отец-благодетель, не погубите...

И, рухнув на колени, пополз к Пирогову на коленях, упираясь одной рукой в сваленные гробы, а другую протягивая к нему и бормоча при этом слова о семье и малых детях, о том, что он век будет бога молить.

— Таскай гробы назад в кладовую! — дребезжащим голосом крикнул Пирогов.

И Конон стал таскать. Это продолжалось долго, очень долго. Все лицо, и рубаха на груди, и мундир на плечах Конона — все взмокло. Пирогов видел, как подгибаются его ноги, слышал, как он дышит. Пожалуй, он может помереть. И Пирогов крикнул опять своим дребезжащим голосом:

— Отдохни!

Конон не понял. Он глядел на Пирогова, как собака на хозяина, который хочет ее ударить.

— Отдыхай! — крикнул Пирогов.

— Слушаюсь,— одними губами сказал Конон.

— Сядь! — еще закричал Пирогов.— Сиди и дыши. Сдохнешь. О смерти надо думать, вор.

По мере того как он кричал, ему становилось легче. Он кричал долго и с наслаждением. Кричал, что все воры. Что он все знает. Что его не проведешь. Что он тоже стреляный воробей. Одним словом, кричал все то, что кричат вспыльчивые, честные и порядочные люди в таких случаях. И чем больше Пирогов кричал, тем яснее Конон видел, что профессор отходит и что теперь можно. Что именно можно, он еще толком не знал и ловил, готовился. А когда Пирогов закричал, что у него, у Конона, порок сердца, Конон понял, что «оно» тут, подождал для порядку и пошел жаловаться как раз на этот самый порок, который и довел его до нехороших дел. Пирогов чувствовал, что Конон хитрит ему и врет, но свою ненависть уже выкричал и сейчас испытывал только чувство отвращения, смешанного с жалостью, то чувство, которое вызывали в нем притворщики и лгуны.

— Ладно,— сказал он, стараясь не глядеть на Конона и не видеть его лживо-ласковых и испуганных глаз,— сложи все гробы и пойдешь со мной. И не торопись, а то. . .

Он не кончил фразу и отворотился. Ему вдруг захотелось ударить Конона в лицо.

— Теперь запри на замок,— произнес он, когда Конон кончил,— и иди за мной.

Замок был старинный, со звоном и с секретными пружинами, и было смешно видеть, как вор запирает такой замок.

Теперь Конон шел впереди, а Пирогов сзади, как конвойный при арестанте. Он вел его к себе в кабинет, чтобы там допросить как следует. Кабинет был при кафедре госпитальной хирургии, тихий большой кабинет, в который никто не входил. Тут можно было спокойно поговорить с Кононом, но Пирогов упустил из виду одно обстоятельство — то, что время раннее и сторожей еще не найти — все они спят по своим таинственным каморкам.

Поискав без всякого успеха ключ, он вновь вышел со своим арестантом во двор и, приказав ему сесть на кучу чурбаков, приступил к допросу. Все это ему уже порядком надоело, но раз начал, то уж следовало и кончить — допросить и разобраться в темных Кононовых делишках.

Конон же внезапно обнаглел и сказал, что обмен гробов он произвел действительно, но что обмен этот послужил только лишь к пользе госпитальной, потому что нынче гробов не хватает, и приходится порой хоронить покойников вовсе без гробов, а так все будут с гробами, разве что эти, смененные, маленько похуже.

— Перекрестись,— молвил Пирогов.

Конон размашисто и истово перекрестился.

— Забожись,— велел Пирогов.

Конон начал длинно божиться, но Пирогов прервал его.

— Теперь я вижу, каков ты есть человек,— промолвил он.

Больше здесь на чурбаках разговаривать было невозможно. Академия просыпалась. Двое казеннокоштных студентов уже остановились поодаль, наблюдая за своим профессором. Прошли солдаты караульной роты с инвалидом-прапорщиком. Проковылял на своей деревяшке пьяница подлекарь и, завидев Пирогова в столь неурочный час, выпучил глаза.

— Пойдем,— опять приказал Пирогов и повел Конона в черную анатомию.

Чем ближе подходили они к подвалу, тем чаще оглядывался Конон на Пирогова. С недоумением заметил Пирогов, что цыганское Кононово лицо совсем вдруг позеленело.

Вошли в анатомию. Пирогов толкнул дверь своего кабинета,— она была заперта. Он кликнул сторожа. Никто не отозвался. Здесь было полутемно и сыро. Вони он не замечал — привык к ней.

— Ефимыч! — во второй раз крикнул Пирогов.

Никакого ответа.

Тогда он зажег спичку и отворил незапертую дверь в саму анатомию. Конон все еще стоял в сенях. При мигающем свете спички Пирогов разыскал на одном из трупов оставленную здесь с вечера сальную свечку, зажег ее и пристроил в подсвечник возле Тишки, как называли студенты наполовину отпрепарированного покойника, с осени прибывшего в анатомию.

— Иди сюда,— приказал Пирогов Конону, но тот не шел и молчал.

Ставни в полуподвале запирались по настоянию Шлегеля, который говорил, что вид изрезанных покойников в черной пироговской даже его выбивает из колеи, и потому тут и днем было совсем темно. От Тишкиной свечки Пирогов зажег еще одну, припрятанную студентами возле другого трупа, и теперь черная осветилась во всем своем безобразии. Конон все не шел.

— Да какого же ты черта! — осердившись, крикнул Пирогов.— Долго я тебя буду ждать? . .

— Ваше превосходительство,— донеслось из сеней,— отец-благодетель. . .

Привыкнув к своей анатомии, Пирогов опять не понял, чего боится Конон, и отнес его страх к тому, что он, видно, ждет побоев в этой темной комнате.

— Не буду я тебя колотить,— с раздражением и брезгливостью в голосе сказал он,— иди, негодяй, сюда. . .

Конон робко вошел, и смутная тень его шевельнулась в дверях анатомии. Пирогов велел ему подойти ближе.

— Увольте,— послышался сиплый ответ.

Сальные свечи наконец разгорелись. Теперь Пирогов отчетливо видел Конона, с ужасом поглядывающего по сторонам — на столы с трупами, на отпрепарированные части тел, лежащие в бадьях и ушатах, на Тишку, на Гордея Гордеевича и на прочих. Все существо Конона выражало ужас, да такой, которого, пожалуй, Пирогов в жизни не видел: втянутая в плечи голова, сжатые зубы, трясущиеся руки — все вместе представляло со-

бою зрелище столь страшное и отвратительное, что Пирогову захотелось плюнуть. Теперь он понимал, чем можно в весьма короткий срок выпытать из Конона всю правду.

— Ты зачем у них гробы украл? — спросил он и сделал широкий жест, как бы приглашая Конона взглянуть на тех, у кого он украл гробы.

Но Конон приглашения не принял, а только еще сильнее втянул голову в плечи и весь съежился, чтобы занимать как можно меньше места.

«Сейчас все скажет,— между тем думал Пирогов,— это для него пострашнее дыбы или колеса».

— Кто тебя научил мертвецов обкрадывать? — спросил он.— Говори!

— Помилуйте, ваше...

— Говори сейчас же,— дребезжащим и оттого особенно страшным голосом крикнул Пирогов,— говори, негодяй, с кем ты в сговоре!..

Бог знает сколько времени продолжался бы этот допрос, не проснись в эту пору Ефимыч, солдат инвалидной команды и старший сторож черной анатомии. Проснувшись в своей клетушке и вылезши из-под шинели, глуховатый Ефимыч, как был в белье, пошел во двор, но по дороге заметил в анатомии свет и тихонько вошел за спиною Конона, чтобы поглядеть, кто такой казенные свечи жжет. Не заметив поначалу Пирогова, он, подкравшись к Конону, цапнул его за полу и закричал своим козлиным голосом:

— Ты что тут, лихой человек, делаешь? Ты что...

Но фразу свою Ефимыч не кончил. Увидев перед собой усатого покойника в саване, Конон слабо охнул и повалился на грязный пол черной анатомии, закатив глаза, и потерял сознание. Пирогов бросился к нему. Перепуганный Ефимыч, считавший себя тоже медиком, то прыскал Конону в лицо водой, то советовал пустить ему кровь, то длинно объяснял, почему он здесь появился, что есть-де такие самостоятельные из себя господа студенты, которые норовят в черную проскочить хоть утром, хоть ночью, хоть вечером, копаются в чужом покойнике, крошат его как хотят, а потом на него, на Ефимыча, жалобы.

Через несколько минут Конон пришел в себя, не без труда поднялся, сел на подставленную Ефимычем табуретку и, перекрестившись, повинился во всем. То, что он

говорил, было так дико и невероятно, что Пирогов прежде всего услал вон Ефимыча, чтобы тот не разболтал до времени, и только тогда стал слушать все по порядку.

Главным вором был, по словам Конона, начальник военно-сухопутного госпиталя лекарь Лоссиевский, прямой начальник Пирогова в госпитале. Всем воровством в госпитале управлял он, и все барыши клал себе в карман тоже он, наделяя помощников от своих щедрот.

Госпитальные гробы он вот уже сколько лет сбывает на сторону, а взамен получает гробы из таких досок, что покойник почти никогда до могилы не добирается, пару раз выпадет сквозь днище. Саваны его благородие тоже обменивает на рогожи. Но от этого от всего доходишко небольшой. Главный же доход, на котором господин Лоссиевский и строит дома, есть со списков.

— С каких списков? — не понял Пирогов.

Конон попил воды из кружечки, обтер ладонью рот, покосился на Тишку, который казался ему почему-то самым опасным из здешних покойников, и, слегка кивнув головою на столы с трупами, тихо, почти шепотом сказал:

— Они-с, ваше превосходительство, у нас еще кушают-с.

На секунду Пирогову показалось, что Конон рехнулся.

— Ты что, в своем ли уме? — спросил он.

— Кушают-с, кушают-с,— быстрым шепотом продолжал Конон,— великий грех, ваше превосходительство, но кушают-с и еще... винцо выпивают-с. По спискам то есть.

Он несколько раз мелко перекрестился, еще взглянул на Тишку и торопясь стал объяснять, как это все проделывает его высокоблагородие господин Лоссиевский: в тех списках, которые идут к смотрителю на выписку харчей, количество больных никогда не уменьшается. Никто не умирает, никто не выписывается. И все это проделать очень просто: надо только вести больным не поименные списки, а покроватные. Фамилий больных нет вовсе, а есть только номера кроватей. Иногда господин Лоссиевский забирает списки к себе в кабинет и там назначает слабые порции: кому вино — две бутылки, кому в постный день молоко, кому что. А эти слабые

либо два года назад померли, либо выписались, либо и номера такого в заводе нет.

— Ловко,— почти с восхищением сказал Пирогов и вспомнил, как сам выписывал своим больным слабые порции на скорбных листах.

Конон объяснил, что эти порции никогда до солдат не доходят.

— Но ведь я-то спрашивал у них, ели они или не ели! — воскликнул Пирогов. — Не было же такого слова, чтобы не ели. Все ели, благодарим покорно.

— Эх, ваше превосходительство,— искренне и с жалостью в голосе сказал Конон,— разве ж вы не знаете, почем нонче ходит солдатское «благодарим покорно»? Я, что ль, вам расскажу?

И он стал говорить дальше о госпитальных делах, а Пирогов слушал его и молчал. Больше он ни о чем не спрашивал. Ну хорошо, в аптеку посылают фальшивые аптечные требования, лекарства потом покупает обратно со скидкой тот же аптекарь... солому в матрацах не меняют годами... продают, на прошлом месяце продали больничному подрядчику новых одеял две сотни штук, получили в обмен лохмотья, скоро их вынесут на свет божий, объявят траченными молью... Все то же.

Чем дальше он слушал, тем страшнее делалось ему: все разграбят, все растащат, все разворуют по своим берлогам, на пропитание своих животишек, для того чтобы сладко есть, мягко спать, ходить на веселых ногах. Не только на треклятой солдатской жизни, но и на болезни солдата, на самой смерти его измыслили способы тянуть, тащить и рвать. Наука. Основы. Натурфилософия. Конференция. Академики. А солдат на все про все рявкает «благодарим покорно» — вот где наука наук, вот где основа основ.

— Ладно, Конон, иди,— сказал он, не слушая больше,— иди, ты мне не нужен.

Конон взмолился о чем-то. Он смотрел на него равнодушными глазами, думая о своем. Так же не слушая, обещал. Только одного хотелось ему сейчас: помолчать.

Конон ушел. Совсем тихо сделалось в черной. Только свечи потрескивали, две свечи на столах, да мышь точила в подполье. Не отрываясь, смотрел он на Тишкину свечу; вот совсем она оплыла и наклонилась. Надо поправить. Шаркая подошвами башмаков, он подошел к

столу, поправил свечу пальцами и задумался над тем, что студенты называли Тишкою. Хорошо, весело, привольно прожил Тишка свою жизнь. И печальная солдатская жизнь представилась его взору до той самой минуты, пока не попал Тишка в сухопутный. Вот и скорбный лист его, грязный и запачканный, с вписанными слабыми порциями. Он же и писал — Пирогов. Вина красного стакан. Кашу с чухонским маслом. Чаю сладкого сколько пожелает. Что ж, поел бы Тишка и каши с чухонским маслом, и чаю бы выпил с сахаром, не все же солдату хлебать баланду со снетками, да и винца бы пригубил. Тоже небось рявкнул: «Благодарим покорно, ваше превосходительство, много довольны. . .»

Да-с, благодарим покорно.

Много надо знать и многого надо хлебнуть, прежде чем поверить этому «благодарим покорно, много довольны». Не скоро скажет битый-перебитый, поротый-перепоротый истинную свою претензию, потому что, не ровен час, выпорют еще — недорого возьмут. Так уж лучше потихоньку да полегоньку, бочком да петушком,— они, верхние, главные, отцы-командиры, от малого унтера до самого царя, более всего любят, чтобы благодарили покорно и были много довольны. А уж как лихо, да бодро, да весело научился русский народ благодарить покорно, так и рвет, так и палит, точно из пушек; умирать будет, а уж из последних сил оторвет солдат попу:

— Благодарим покорно, много довольны вашею милостью.

Так и Тишка небось оторвал на смертном своем одре из перепрелой соломы, причастившись святых тайн, госпитальному попу, обжоре и распутнику:

— . . .покорно. . . милостью.

И остался один отправляться в дальний путь из мозглой вонючей палаты, от печального своего житьишка, от палаток, шпицрутенов и муштры, от отцов-командиров. . .

Что он? Как он?

Уснул или мучился? Боялся или нет? А может быть, выкатилась из глаза одна-единственная мутная солдатская слеза да и пропала в усах, за все невзгоды и обиды, за все страшное солдатское одиночество, за розги, за муштру, за самое собачью смерть на вонючей соломе, за ту жизнь, в которой нечего вспомнить, не на что порадоваться.

И вот он в стране, в которой несть ни печали, ни воздыхания, а здесь лежат жалкие останки, вздор, чепуха, но тем не менее жизнь его продолжается: до сих пор пишет на Тишку господин Лоссиевский то красное вино, которое так бы пригодилось Тишке при жизни и которого он так и не отведал, до сих пор пьет Тишка чай с сахаром сколько захочет, ест жирную кашу с чухонским маслом.

Вечная жизнь.

Нет-с, извините, благодарим покорно, много довольны вашей милостью.

От усталости у него кружилась голова, и, кроме того, мучила жажда — хотелось пить. Возле черной на куске гранита от постройки сидел Ефимыч, пил чай и закусывал казенным липким хлебом, круто посыпанным серой солью. Пирогов с завистью на него взглянул. Тот перехватил жадный взгляд своего профессора, ополоснул кружку и принес еще хлеба, соли, кипятку в щербатом глиняном горшке и щепотку чаю.

— Ах, и спасибо тебе, Ефимыч,— сказал Пирогов, принимая из рук сторожа огромную кружку.

Старик уступил ему свое место, он сел и с наслаждением начал отхлебывать чай, сдувая чаинки, плавающие на поверхности.

— Вы бы хлебца, ваше превосходительство,— молвил Ефимыч и подал Пирогову толсто отрезанный ломоть,— все не пустой чай.

Пирогов взял и хлеба. Солнце взошло уже высоко и хорошо припекало, в шинели теперь было жарко, да и чай как следует прогревал изнутри.

— Чегой-то у вас из кармана торчит? — спросил вдруг Ефимыч.

Пирогов оглядел себя. Из наружного кармана шинели торчала заячья лапка — рукоятка казацкой нагайки, о которой он совсем забыл. На мгновение ему стало смешно — справишься тут с одной нагайкой, как же!

— Это, брат Ефимыч, у меня нагайка,— сказал он,— для хороших людей припасена.

Ефимыч усмехнулся и ничего не ответил. Он слишком хорошо знал Пирогова, для того чтобы понять — шутит господин профессор.

От горячего чаю и от хлеба с солью Пирогову стало как-то легче. Голова больше не кружилась, мысли сделались поспокойнее, теперь он смог приказать самому себе — ничему больше не удивляться и ничем не возмущаться. Да и тихий Ефимыч со своими старыми почтительно-умными глазами действовал на него успокаивающе. Но все-таки он ничего не сказал ему, чтобы не оказаться смешным со своими открытиями, велел открыть кабинет, вытянулся на кушетке и заснул в одно мгновение тяжелым сном совершенно измученного человека.

В первом часу дня ему сказали, что Буцефал прибыл и находится в своем кабинете в госпитале. Пирогов только что кончил визитации. Студенты пятого курса густо гудели в коридоре, обсуждая то, что только что слышали от него; он видел слезы на глазах у некоторых, видел, как горят лица у других,— такие лекции доводилось слышать не часто даже от Пирогова. Для того чтобы не записывали, он говорил не в аудитории и не в анатомическом, а здесь же в госпитале, над постелью солдата-улана, потерянным голосом бредившего насчет каких-то пропавших сапог. Улан был когда-то молодец молодцом, но полковой лекарь залечил его до положения совершенно безнадежного, и теперь улан помирал в сухопутном так же, как помер в свое время Тишка, ставший отныне для Пирогова символом солдатской судьбы. И речь свою он неожиданно для себя и для студентов посвятил нынче этой солдатской судьбе и роли военного медика в облегчении страданий русского воина, положившего живот свой за честь и славу русского оружия. Никаких потрясений основ в его речи, разумеется, не было, но картина, нарисованная им, выглядела так страшно, что многие, слушая его, плакали, многие давали себе клятвы не забыть те слова, что слушали сейчас, многие с состраданием и скорбью смотрели на улана — затем, чтобы на всю жизнь запомнить его, унести это лицо с собой, не забыть никогда.

Пирогов говорил негромким, слегка дребезжащим голосом, порою пришепетывая от волнения. Он никогда не был оратором в полном значении этого слова и не знал, что такое говорить красиво или трогательно. Говорил он всегда просто, очень коротко и только самое необходимое из того, что считал нужным сказать. На от-

влеченные же темы говорить избегал вообще, боясь, что осрамится. Но тут как-то так вышло, что говорил он совсем иначе, чем на темы научные. Косые глаза его вдруг заблистали странным огнем. Тонкая кожа покрылась красными пятнами. Бледное лицо, обрамленное рыжими бачками, приняло новое для него, невиданное еще студентами выражение одержимости. Щеку дергало; несколько раз он пустил петуха, но, удивительное дело, это только усилило впечатление от его речи. Левую руку держал он за спиною, правой облокачивался на изножье кровати улана и говорил будто бы ему, а не им. Только иногда рывком вздергивал голову и обводил горящими, немигающими глазами лица своих слушателей.

— Господа мои,— говорил он,— ненавистно мне не только любомудрие, но и в равной мере пустословие, прекраснодушные мысли и рассуждения на высокие темы, коли нет за всем этим твердого решения и понимания поступать только так, а не иначе. Господа студенты! Молодость великодушна, порывиста, отзывчива, полна благородных мечтаний и дерзостных идей. Но только годами исчисляется наша молодость. Наступает затем зрелость, и на место отзывчивого великодушия приходит метода рассуждения, взвешивания на граммы и унции, прикидывания по образцу портняжьему, та метода, в которой нет места ни дерзким идеям, ни мечтаниям. Что ж, такова жизнь. За зрелостью наступает старость со своей опять иной методой, заключающейся лишь в себялюбии и черством эгоизме. Смешны мечтания об эту пору. Смешны великодушные порывы. И не к ним я призываю вас, господа мои! Призываю я вас только к честности в исполнении долга вашего, обязанностей ваших, дела вашего. Вам вверено самое большее, что дано человеку,— его жизнь. Будьте же, как судьи, нелицеприятны. Со священной строгостью относитесь к обязанностям своим. Смерти тот заслуживает из нас, кто осмелится из вот эдакого страдальца сделать доход для пропитания живота своего. Возьмите камни и побейте такого каменьями,— нет ему прощения. Возьмите кнут и прогоните его прочь из храма нашего,— забудьте о милосердии, как он забыл. Лютого остракизма достоин такой продавший и предавший суть дела всей своей жизни. Нет ему прощения, ради чего бы он ни поступил так. Ибо перед вашими глазами лежит следствие изложен-

ной мною причины. С самой простой потертости на ноге в походе началось дело. Пошел он к подлекарю, но подлекарь, торгующий в храме, чтобы поручик, храни бог, не осердился, велел в строй идти и дурака не ломать. Пошел солдат назад в строй. Что дальше говорить,— вы все знаете. Подлекарь не поверил, а когда лекарь поверил — лечить не стал. Измышлял доходишки для своих животишек,— на губернский город он всего один, некогда ему заниматься солдатом. И начал солдат гнить заживо. И не только что его не лечили, но рационишко назначенный уворовывали, жалкий рационишко солдатов тащили по частям и таким способом последнее, что оставалось у солдата — натуру его, которая одна боролась со смертельным недугом,— натуру лишили последней поддержки. Вот он теперь перед вами, господа мои. Ничем мы не можем помочь ему, но таким другим можем и должны, и подло будет, коли не положим все силы наши для этого назначения. Я кончил, господа.

Не глядя на студентов, точно их и не было в этой комнате, предназначенной для умирающих, он сел на кровать к улану и омочил ему губы кислой клюквенной водой. Сухим жаром горело лицо солдата, уже тронутое синеватыми гангренозными пятнами. Несколько секунд неподвижно Пирогов глядел на него, держа пальцы на пульсе. Потом велел всем выходить, крикнул служителей и приказал звать попа. Проходя коридор, наклонил голову: в косых его глазах было жесткое, неумолимое, но и скорбное выражение.

Во дворе под пекучим майским солнцем он постоял немного, чтобы прийти в себя и не наболтать лишнего Буцефалу. Но едва только он обтер лысину платком и огляделся, как сильный шум и крики у госпитальной поварни привлекли его внимание. Довольно изрядная толпа людей суетилась возле гнилого крыльца, потом вся толпа двинулась в сторону Пирогова, раздался собачий лай, дикое гиканье, вопли и визг. Через несколько секунд он понял, что происходило: каждый год кухонный смотритель Пеленашин выводил таким способом тараканов из своей вонючей кухни.

С воем и визгом толпа пронеслась мимо Пирогова: седобородый, почтенного вида Пеленашин волок за ве-

ревку лапоть, полный тараканами,— тараканов в лапте было по числу больных в госпитале вместе со всем госпитальным персоналом. В лапоть полагалось плевать, и не только плевать, но и производить еще некоторые действия, что некоторые из толпы с восторгом и выполняли; кроме того, полагалось выгоняемого таракана всячески порочить и бесчестить словами, поэтому воздух сотрясался от брани, самой изысканной и утонченной, у кого же фантазии больше не хватало, тот просто визжал и вопил. Бешено лаяли госпитальные собаки-попрошайки, одна из них все пыталась укусить лапоть, ее пинали ногами, она визжала и снова кидалась на лапоть. Лица у людей были почти безумные, но более других показался Пирогову страшным сам кухонный смотритель: почтеннейший человек, хоть и вор, конечно, но уж старый, с брюхом,— и вдруг бежит, волоча лапоть, глаза вытаращены, голос хриплый, потерянный, а вокруг пыль столбом, вой, визг.

Сощурив косые глаза, сжав челюсти, он глядел им вслед, как перетащили они лапоть через дорогу и как принялись хоронить своих тараканов, приплясывая и завывая. Смотрел и не слышал, как подошел к нему Буяльский,— оглянулся только тогда, когда тот взял его под локоть.

— Своеобычное занятие простого люда,— произнес Буяльский, любивший выражаться туманно.— Здравствуйте, дражайший Николай Иванович.

Он был свеж, как юноша, этот отвратительный старик, сделавший свою карьеру тем, что бальзамировал коронованных и титулованных особ, и несколько испортивший эту карьеру тем, что последняя особа, набальзамированная им, внезапно взяла да и провонялась. Обстоятельство это Буяльский от всех скрывал, но все знали, и теперь он с собачьей ласковостью заглядывал каждому в глаза — искал, известно собеседнику или неизвестно. Пирогову было известно, и он со своим проклятым характером не удержался. Да и вообще весь сегодняшний день он как-то не отвечал сам за себя и за свои слова: злая сила несла его куда хотела.

— Что это я слышал,— произнес он с дребезжанием в голосе,— у вас будто бы история?

Он был первый, кто сказал об этом властному и злому старику. Даже от Пирогова, злейшего своего врага, не ждал он такого прямого злорадства.

— Досадно-с,— молвил Пирогов, совсем скашивая глаза,— я слышал, вы уже были представлены...

Он не мог себе отказать в этом удовольствии,— вся академия знала о том, как хочет Буяльский получить Владимира. А тут вдруг особа взяла да и провонялась вопреки науке и здравому смыслу.

— Превыше всего для меня...— начал Буяльский, но Пирогов не слышал его слов.

«Кто сеет ветер,— думал он,— пожнет бурю. Ничего. Полно, Николай Иванович, валять дурака. Либо прочь отсюда навсегда, либо генеральное сражение всякому подлецу. Договори только, я тебя сейчас так прижму...»

От старика пахло лавандой — он любил себя, этот человек, знающий придворный этикет куда лучше своего дела. Они шли рука об руку, и он все объяснял Пирогову, почему провонялась особа.

— Непостижимо,— говорил он своим бархатным, дворцово-лакейским голосом,— уму непостижимо. В четырнадцатом году я бальзамировал кузину короля Людовика, герцогиню де Ла-Тарант, прекрасно. Давеча интересовался и получил письмо,— по сей день легкий ароматический дух, и ничего более. Опять же ее величество императрица, сами знаете, какого труда стоило при их сложении произвести бальзамирование в хорошем порядке. Тоже все преотлично получилось. Княгиня, цесарева супруга, совершенно как живая лежала на одре,— верите ли, сам после работ взглянул и чуть не зарыдал: как ребенок — живая, ангел. А тут после всего моего опыта на старости годов...

— Может быть, подрядчик не ту начинку подсунул? — спросил Пирогов.— Нынче по нашему ведомству сильно воруют.

— Вздор-с,— ответил Буяльский,— у меня не уворуешь.

И стал говорить о своем сочинении насчет пятисот семи желчных камней, найденных им при бальзамировании дюшессы Тарантской. Пирогов не слушал, потом сказал вдруг:

— Кстати, чтобы не забыть. У вас, Илья Васильевич, на дому, как мне известно, имеется наш микроскоп из академии. Вы уж извольте его вернуть, он для дела нужен.

Буяльский ответил не сразу: краска кинулась ему в лицо, пока он надумывал, что ответить. Не надумал и бессмысленно ответил:

— Не упомню, о чем вы говорите.

— О микроскопе, пожертвованном для студентов академии великим князем,— громко, с брезгливой ненавистью в голосе заговорил Пирогов.— Этот микроскоп уже более десяти лет у вас на дому, а служащие не смеют спросить. Так вот-с я спрашиваю и прошу вернуть, потому что по моей кафедре микроскоп совершенно необходим. Он у нас числится, через это мы не можем новый купить, президент не разрешает. Есть у вас наш микроскоп?

Оба они остановились. Лицо Буяльского краснело все более.

— Прощайте-с,— сказал Пирогов,— и прошу вас убедительно — не задержав, верните аппарат. Вещь казенная, нужная.

Мгновенно только ему свойственная улыбка осветила черты его лица. Он повернулся и исчез в дверях госпитальной канцелярии. Странное возбуждение все еще не покидало его: сердце со звоном гнало по телу кровь, щеки горели, висок покалывало. «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю,— подумал он во второй раз.— А быть может, и не бурю, а саму смерть». Все могло случиться, если всерьез бросить перчатку Буцефалу. Почему-то вспомнилась ему только что виденная картина изгнания тараканов из поварни: как выли, как визжали! И белой сильной рукою он потянул к себе ручку двери.

Лоссиевский, которого в госпитале за огромную его голову называли Буцефалом, сидел за просторным своим письменным столом и, как всегда, делал вид, прикидывался, что занят и что занимается. Он был в мундире и при двух своих орденочках, которых никогда не снимал и один из которых уже порядочно из-за этого поизносился. Лицо Буцефала выражало мутное и тупое равнодушие, но вместе с тем и некоторое усердие. Пирогов видел, что Буцефал вовсе не так уже погружен в свои занятия, чтобы не заметить его прихода, и, выждав секунду, громко и властно произнес:

— Милостивый государь, я старше вас в чине и прошу замечать меня, когда я нахожу нужным посещать контору.

Никогда в своей жизни он не произносил еще ничего подобного. Но теперь он с наслаждением выговорил эту фразу. От бешенства и ненависти он ничего не видел; он не сразу заметил даже, как вскочил Лоссиевский и как вытянулся перед ним. Ступая на пятки, Пирогов медленно подвигался к столу и, совершенно теряя власть над собой, кричал бешеным фальцетом:

— Вы что же это, сударь, изволите делать? Вы, штаб-лекарь, смеете сами быть главным вором по вверенному вам госпиталю. Молчать, смирно передо мной, иначе я вас сейчас же в вашей воровской конторе изобью нагайкой. Я все знаю, и не сметь мне отвечать. Вы... вы... изволите гробы воровать, рацион солдата... вы...

Ничего не видя перед собой, кроме смутной тени Буцефала, и понимая, что его можно ударить, стоит только обойти стол, он пошел вокруг стола, но Лоссиевский стал отступать, пятясь и издавая какие-то невнятные, хлюпающие звуки. Неизвестно, чем бы это все кончилось, не опрокинь Пирогов вдруг кувшин с ледяным квасом, стоявший на маленьком столике. Огромный кувшин со звоном разлетелся на части. Пирогов вздрогнул и остановился. Челюсти его дрожали, щеку дергало. Несколько мгновений длилось молчание, нарушаемое только хлюпаньем Буцефала.

— Обнесли,— вдруг сказал он,— оклеветали. Честью клянусь, чист и невиновен. Ваше превосходительство...

— Я не превосходительство,— крикнул Пирогов,— не сметь!

Он сел и сжал голову руками. «Умереть бы,— с жадностью подумал он,— да, да, умереть».

Буцефал хлюпал и бормотал над его ухом. Его обнесли, на него налгали, он чист и ни в чем не виноват. Наконец Пирогов поднял голову и осипшим от крика голосом сказал:

— Больше это невозможно. Я не мальчик и знаю, что господа, подобные вам, от всякого суда откупятся, только потому не начинаю дела. С нынешнего дня извольте знать: ежели что замечу — будет вам, сударь, плохо. Буду бить нагайкой. Не позволю обкрадывать больного солдата.

Он говорил вяло, уже понимая, что вся эта затея ни к чему не приведет. Страшная тоска давила его сердце.

От давешнего возбуждения не осталось и следа. Теперь опять врал свое Лоссиевский. Такого не переговоришь. Его можно только отстегать, да и то не поможет. Подняв голову, Пирогов смотрел, как двигается рот Лоссиевского, как с наглой почтительностью смотрят его влажные глазки, какое у него сытое, круглое брюхо, как шевелит он короткими мохнатыми пальцами. И эти толстые, приросшие мочками к черепу уши, этот подбородок с сытым выражением...

Дверь отворилась — вошел Шипулинский. Разговор кончился сам собой. Это тоже был его враг, смертельный враг, и враг был другом Буцефалу. Они пожали друг другу руки с приятнейшим выражением. Пирогов издали поклонился. Шипулинский ответил также издали, снял очки, протер стекла и сел в кресло. Этот тоже был Буцефал, и Буяльский — Буцефал, и Наранович, и Соломон, и Палехин, и Загорский — безграмотные, тупые, сытые, получившие кафедры по родству да по дружбе, ненавидящие его, клеветники, доносчики. И он один против них.

На мгновение ему стало страшно: «Съедят, съедят живьем». Сговорятся друг с другом вот так же, как сейчас сговариваются там, в другом углу комнаты, и с приятнейшими лицами, деликатно улыбаясь, приступят, да что приступят, уже, наверное, приступили. О, эти все могут, любой донос, любую клевету,— они ни перед чем не остановятся.

Ну что ж. Он ведь тоже обладает некоторым характером. Его, пожалуй, не так уж и просто съесть. А выгода одна: теперь все-таки Лоссиевский хоть на время не так станет воровать — страшновато покажется после случившегося давеча происшествия.

И, поднявшись, он сказал, ища глазами влажные от сердечности беседы с Шипулинским глазки Лоссиевского:

— Итак, господин Лоссиевский, прошу вас запомнить то, о чем мы имели разговор. Льщу себя надеждой, что ничего подобного теперь не произойдет. Надеюсь разговор наш не возобновлять.

Поклонился обоим и вышел.

Его знобило. Попить бы чаю — и в постель.

Но ни чаю он не попил и в постель не лег. Он остался в госпитале среди тех, ради которых бросил перчатку Буцефалу. Он не был ни лечащим врачом, ни ординатором, и все-таки проводил часы среди больных. Но сегодня он остался на весь день поверять рационы, смотреть за перевязками, за чистотой в палатах. Дежурный лекарь Балинский, только что переведенный из Кронштадта молодой человек, с робким восторгом смотрел на знаменитого Пирогова, заикаясь, отвечал на его вопросы, уронил и разбил склянку, когда Пирогов велел подать ему капли. Все было необычно в этом рыжем и лысом человеке, все было прекрасно, непостижимо, величественно — и нечистый сюртук, и узловатые, белые, сильные руки, и подкупающе бесшабашная улыбка, и внезапный бешеный блеск свинцовых зрачков узких косоватых глаз.

Вдвоем они ходили из палаты в палату. Уже смеркалось. Белая ночь наступила, а они все ходили. Коптили в палатах масляные лампы. Оханье и стоны неслись с коек. По коридорам несло из ретирадных мест. В палате для умирающих слабым, потерянным голосом бредил бог ведает какими путями попавший сюда пластун. Пирогов сел на кровать пластуна и наклонился над ним. Падающим, гортанным шепотом казак звал кого-то. Пирогов наклонился еще ниже. Балинский стоял рядом, держа сальную свечу в высоко поднятой руке. Теперь Пирогов почти прижался щекой к умирающему. Пластун звал отца. «Батько мой, батько»,— услышал Пирогов. Он оторвался от пластуна и прямо сел на кровати. На всю жизнь запомнил Балинский то, что произошло перед ним.

— Я твой батько,— с силой и страстью сказал Пирогов, сверкающим и лучистым взглядом глядя в лицо умирающего.— Здесь я, подле тебя,— почти крикнул он.— Гляди, сын, вот я, твой батько.

Свеча в руке Балинского дрогнула: на это почти невозможно было смотреть.

Медленно, с трудом открылись глаза умирающего. Голубые и мутные, они ничего уже не видели, подернутые смертной пеленою. Но они точно искали, и белое лицо точно напряглось в ожидании смутного и таинственного чуда. И чудо совершилось.

— Здесь я! — крикнул Пирогов.— Тут я, сыночек мой милый, вот я перед тобой. Видишь меня? Да вот же, вот.

И, схватив руку умирающего своей сильной и белой рукой, он стал водить ею по себе — по своему сюртуку, по подбородку, по воротничкам.

— Вот я,— говорил он,— вот, видишь, вот.

Наклонился к дрогнувшему лицу солдата и поцеловал его в щеку, потом в переносицу, потом опять в щеку. Лицо его сделалось таким же белым, как лицо пластуна, в глазах дрожали слезы.

Теперь он сидел на постели, в изножье, держал руку умирающего в своей и мокрыми глазами смотрел в умиротворенно-спокойное лицо пластуна. На серых губах солдата еще дрожало подобие улыбки. Но вот что-то последний раз пронеслось в его лице и исчезло: что-то легкое, едва уловимое — последний отблеск жизни. Пронеслось оно — и все было кончено.

— Кончено,— сказал Пирогов,— проводили.

Положил руку солдата и поднялся. До дежурки шли молча. В дежурке Пирогов сел на клеенчатый диван и сказал:

— Послушайте, ваше благородие, напоили бы вы меня чаем, мочи больше нет, устал. . .

За чаем задумчиво смотрел на огонек свечи и негромко говорил:

— Здешнего Лоссиевского зовут Буцефал, что, как вам известно, означает по-гречески бычью голову. Такое клеймо выжигали в виде тавра на крупах фессалийских коней. Тут они почти что все — бычьи головы, это вы имейте в виду, ваше благородие, не зевайте, вмиг слопают. Да, так к чему это я? Ах, вот к чему, вспомнил, Буцефалом звали также коня Александра Великого, небось слышали, что был такой?

— Слышал, Николай Иванович,— робко сказал лекарь.

— Надеюсь. Так вот,— продолжал Пирогов,— конь этот был вначале совершенно необъезжен, и никто к нему не решался подойти. Не то он кусался, не то брыкался, аллах его ведает, но все трусили. Все, кроме, разумеется, Александра, который не струсил, а взобрался и поехал. Ну-с, поехал. Папенька его увидел такое событие и сказал ему растроганным голосом: «Ищи себе другого царства, сын мой, Македония слишком мала для тебя». Слышали такую историйку, ваше благородие?

— Нет, не слышал,— заливаясь пунцовой краской, молвил Балинский,— как-то не приходилось, Николай Иванович.

Пирогов молчал, щурясь на свечу. Потом сказал:

— Ошибочно папенька Александра рассудил. Неправильно. Ежели бы на меня, то я бы иначе распорядился. Я бы приказал, коли он Буцефала вышколил, как раз в Македонии оставаться, не правда ли?

Балинский совсем покраснел. Он ничего не понял из того, что говорил Пирогов, и, преглупо себя чувствуя, сказал, что да, это верно-с.

Они попрощались под утро. Пирогов с нежностью смотрел на Балинского. Здесь же, в сенях госпиталя, он посоветовал ему идти к Мяновскому в адъюнкты.

— А этих не бойтесь,— сказал он.— Если вы их испугаетесь — станете либо подлецом, либо ничтожеством. Тут шутить нечем. Прощайте, ваше благородие. Лаврентьеву, что в шестой лежит, поутру вкатите хороший с маслом клистир, это поможет. И за рационами следите.

Не надевая шляпы, он медленно пошел по двору академии. Еще долго Балинский стоял в дверях, глядел ему вслед и думал о том, как он завтра расскажет матери о том, с кем ему сегодня довелось так близко познакомиться. Лицо его горело. Он вынул из кармана трубочку, покурил и вернулся в госпиталь. Все было тихо в палатах, кроме одной, в которой разговаривали. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к полуприкрытой двери и послушал. Сиповатый солдатский голос, несколько окающий, рассказывал сказку, героем которой был Пирогов.

— И вот, братцы мои,— говорил солдат,— открывается дверь, и заходит в ту фатеру не кто иначе, как сам Николай Иванович. Увидел он такое происходящее и давай по-русски, как надо, до него обращаться. «Ты, говорит, что?» И зачал: «Ты, говорит, как?» И еще его. Ну, тот видит — плохо дело: «Забирай, говорит, назад ногу, как-нибудь я и без одной проживу, на деревяшечке». Николай Иванович, конечно, сейчас свистнул: «Подайте мне пилу мою вострую и нож мой медицинский самый наилучший, я сейчас у генерала незаконную его ногу оттяпаю и назад солдатушке моему дорогому пришью. Снимай, говорит, генерал, штаны, да поторапливайся, у меня нынче делов по глотку». Плачет генерал в го-

лос, жалко ногу, уж привык к ней, даром что краденая.

— А что ты думаешь,— сказал тонкий и печальный голос,— еще как жалко-то. Вон мне отрезали, так я...

Но на него зашикали, и он смолк.

— Голосит, значит, голосит генерал,— продолжал рассказчик,— только Николаю-то Иванычу надоело слушать, он и сказал генералу, что сейчас ему не то что ногу, а...

Тут рассказчик произнес такое, от чего вся палата дружно заржала, и Балинский за дверью тоже улыбнулся.

— Жалко небось,— послышались голоса.

— Это еще похуже.

— Какой же он генерал апосля такого дела.

— Беда, ей-богу...

Рассказчик вновь заговорил. Как все сказки, и эта тоже кончалась торжеством добродетели. Генералу, укравшему солдатскую ногу, Пирогов наново отрезал ее и подарил сосновую деревяшку. А горемыке солдату ногу пришил назад и, кроме того, подарил денег на пропой души — пять рублей.

Эту ночь Пирогов спал крепко и спокойно, без снов и кошмаров. Проснулся он с легким сердцем, отдохнувший и бодрый, быстро дошел до академии, пересек двор и в узких сенях канцелярии столкнулся со стариком Буяльским. Старик, увидев его, отвел глаза и не поздоровался.

Ему сделалось смешно.

Шипулинский с ним тоже не поздоровался.

Но микроскоп стоял на столе у прозектора. Это был отличнейший микроскоп — чистое золото для черной анатомии. Маленькая победа, совсем маленькая, но сколько радости доставила она ему...

В перерыве между лекциями он встретил Лоссиевского. Этот был слишком труслив, чтобы не поздороваться. Пирогов остановил его и сказал:

— Я на сегодня выписываю всему моему отделению слабые порции. Не посчитайте за труд выполнить мое требование без всяких изменений.

Влажные глаза Буцефала выразили бешенство.

— Хорошо-с,— молвил он,— только я доложу-с по начальству.

— Докладывайте,— ответил Пирогов,— но если уворуете хоть унцию — поколочу палкой...

И ушел.

Когда раздавали обед, Пирогов ходил по палатам, пробовал, смотрел, посмеивался. И чувствовал на себе взгляды солдат. Настроение у него опять было приподнятое, веселое, и чувствовал он себя сильным и злым, способным на многое — и хорошее и дурное.


ЛАПШИН

1

В конце декабря 1936 года Лапшину исполнилось ровно сорок лет. Патрикеевна испекла пирог с капустой и настояла водки на вишневых косточках, Васька Окошкин купил в подарок Лапшину металлический портсигар с теннисными ракетками на крышке, и сам Лапшин принес от бывшего Елисеева икры, копченого угря и бутылку шампанского. Из гостей были — сосед по квартире, врач Ашкенази, с которым Лапшин часто на досуге играл в шахматы, потом приятель Васьки Окошкина, про которого Васька сказал: «Некто Тамаркин», и, наконец, товарищ детства Лапшина, агроном Хохряков.

Собрались часов в девять вечера и, поставив стулья у топящейся печки, неторопливо разговаривали о будущей войне.

— Ихний генеральный штаб как думает,— говорил Лапшин, грея у огня свои большие, сильные руки и поглядывая снизу на Ашкенази,— ихний генеральный штаб думает вот как: в 1606 году польская армия без всякого сопротивления дошла до Москвы. Правда, и драпанула вместе с Владиславом, но все-таки до Москвы дошла. Второй раз Москву взял Наполеон,— ему фронт обнажили, он и взял. Так вот, что обнажили — ихний генштаб не думает, а что Наполеон взял — думает...

Лапшин прищурился и засмеялся.

— Тут-то и конец пришел великой армии,— продолжал он, поворачивая ладони тыльной стороной к огню,— стратегия была наша, а не ихняя. Об этом им надо крепко подумать, прежде чем кидаться. Верно?

— Верно,— сказал некто Тамаркин.— Кроме того, наш воздушный флот тоже извините-подвиньтесь...

— Сильный? — спросил Ашкенази.

— Слава богу,— усмехнулся Тамаркин.— Пальца в рот не клади!

И так как все молчали, то Тамаркин вдруг соврал что-то чрезвычайно неправдоподобное насчет какой-то прыгающе-летающей машины.

— Вся голубая,— сказал он,— чудовищно! Действительно, техника на грани фантастики.

— Ох и врун! — сказал Васька.— Ты, Тамаркин, ешь пирог с грибами и держи язык за зубами! Раз ты электротехник, то и рассказывай насчет там электричества. . .

— Я люблю авиацию,— сказал Тамаркин,— и не учи меня!

Он очень покраснел и молчал, пока не выпил две рюмки настойки, а потом наклонился к Ашкенази и рассказал ему историю перелета Линдберга. Лапшин разговаривал с Хохряковым. Они вспоминали Волгу и детство и делали это с той настойчивостью, которая появляется у людей, когда они знают, что, если воспоминания окончатся, говорить будет не о чем. И действительно, вспомнив все, они замолчали.

— Раскидала нас жизнь,— сказал наконец Лапшин.— Как твой город-то называется?

— Рыльск.

— Вот, Рыльск, видишь? А мне сорок годков стукнуло. . .

Лапшин закрыл глаза и покачал головой. Тамаркин, Ашкенази и Окошкин, сидя рядом на кровати, негромко пели:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей. . .

— Красивый романс,— похвалил Хохряков,— цыганский, что ли?

Они выпили еще по рюмке настойки, и Хохряков сказал:

— А я, Ваня, беспартийный.

— Исключили?

— Почему исключили? — испугался Хохряков.— Ну просто я беспартийный. Как говорится, чем был, тем и остался.

— А почему?

— Байбак я,— сказал Хохряков,— и женат на поповской дочке. Начнут спрашивать, почему да отчего. . .

— Ну, это глупости! — сказал Лапшин.— При чем тут поповская дочка?

— А при том,— ответил Хохряков,— при том, что действительно при том...

Он наморщил лоб, и Лапшин вдруг заметил, как он постарел; заметил, что усы у него седоваты и глаза старые, выцветшие; заметил, что у него одышка.

— Эх, Ваня,— сказал Хохряков,— Ваня ты, Ваня, завидую я тебе, что ты в городе живешь! Культурно у тебя, театры, балеты... Я тоже люблю.

И запел жиденьким голоском:

Тот кумир — телец златой...

Сконфузился и испуганно взглянул на Лапшина.

— Знаешь, Ваня,— сказал он,— моя жена хорошая женщина. Поедем ко мне, поживешь, отдохнешь. Помидоры у меня, дыня есть, вывожу помаленьку... А? Поедем?

— Да некогда, брат! — сказал Лапшин, не зная, что ответить.

И он пристально поглядел на Хохрякова и подумал о том, что они теперь разные и ненужные друг другу люди.

Тамаркин предложил сыграть в подкидного. Все сели вокруг стола, и Ашкенази сказал, зевая:

— Пора спать, черт дери!

Дураком оставался Окошкин, и Тамаркин каждый раз говорил ему:

— В любви, Вася, повезет! Ты не унывай!

После карт еще поговорили о войне и разошлись рано, в двенадцатом часу. Лапшин был не в духе и, проводив гостей, сказал Ваське Окошкину, что его Тамаркин — чепуховый человек.

— Ваш Хохряков хороший! — сказал Васька. — Таких жаб в жизни не видал!.. Вообще, отпраздновали...

— Ладно, надоело! — снимая сапог, сказал Лапшин.— Все жабы, только мы с тобой чу́дные. Давай спать.

Они легли и долго еще читали: Васька — журнал, а Лапшин — большую книгу, которую трудно было держать лежа.

— Интересно? — спросил у него Васька.

— Ничего,— ответил Лапшин,— мне исторические работы всегда читать интересно.

2

Один журналист, приятель Лапшина, которого Лапшин любил за то, что они, собираясь, варили пельмени или пели в два голоса песни,— говорил про себя, что он живет грязно, но интересно, а Лапшин чисто, но неинтересно.

Лапшин жил, действительно, и чисто, и неинтересно. У него была большая комната с нишей и с огромными, цельного стекла, окнами, всегда зияющими без занавесей и штор, с необходимой и унылой желтенькой древтрестовской мебелью, с начищенным паркетом и с люстрой, плохо подвешенной и оттого постоянно позванивающей хрустальными висюльками. В комнате всегда пахло табаком и сапогами, и как Лапшин ни бился вместе с Патрикеевной, он не мог вывести этот запах холостяцкой жизни.

Кроме Васьки Окошкина, жившего на хлебах у Лапшина, в комнате, в нише, жила еще Патрикеевна — неизвестно откуда взявшаяся старуха, хромая (у нее была деревянная нога, и когда Васька с ней ссорился, он говорил ей, что порубит ее ногу на дрова), очень злая и очень вкусно стряпавшая. Эта Патрикеевна несла какую-то малопонятную нагрузку в групкоме домработниц, читала брошюрки о трудовом праве и часто на кухне говорила, что пойдет зачем-то к товарищу Калинину и что там-то все и выяснится. Иногда она допекала Лапшина уймой вопросов, ни на один из которых он не мог ответить, как ни старался.

Он боялся ее, когда она при нем убирала комнату, или подавала ему одному без Васьки обед, или шумно и гневно молилась в своей нише. И все, кто приходил к нему, боялись ее, кроме только Васьки, которого она боялась и который утверждал, что знает, будто Патрикеевна во время голода на Волге съела своего мужа и родителей.

— Ты людоедка,— говорил он,— и я тебя в Соловки упеку. У меня имеется на тебя дело, и я этого так не оставлю. И что это за имя такое «Патрикеевна»? Я удивляюсь. И за колдовство я тебя упеку, за то, что ты ведьма. . .

Она была странно моложава лицом для своего возраста, стриглась и носила в волосах красную гребенку. Лапшин знал, что Патрикеевна немилосердно его обво-

ровывает, но стеснялся ей это сказать и только иногда, густо краснея, говорил гневным басом:

— Этого не может быть, чтобы в компот кило сахару! Нет у меня больше денег, я их не сам делаю.

И ложился в сапогах на кровать лицом к стене.

Васька Окошкин возник в жизни Лапшина неожиданно, в 1929 году. Он был прислан райкомом комсомола в милицию, и Лапшин взял его к себе в бригаду помощником уполномоченного. На второй неделе следственной работы Васька, еще не получивший формы, очень бледный, в черной старенькой косоворոточке и в сапогах бутылками, перепачканный чернильным карандашом, вошел к Лапшину в кабинет и сказал лающим голосом:

— Товарищ начальник! Я у вас от работы отказываюсь. Вы невинных людей сажаете. Это ужасно, то, что здесь делается.

Лапшин начал вдруг покорно улыбаться и с этой улыбкой встал из-за стола.

— Застенок здесь? — спросил он.

— Да,— сказал Окошкин,— это ужасно!

— Кого вы допрашиваете? — спросил Лапшин.

— По обвинению в вооруженном налете Чалова Ивана Федоровича,— скороговоркой сказал Окошкин.— Но он в налете участия не принимал, он душевнобольной. А мне приказывают. . .

— Пойдем! — сказал Лапшин.

Они вошли в комнату Окошкина. Чалов в шапке сидел за столом и, мелко нарывая бумагу грязными пальцами, ел кусочки один за другим.

— Хорошо,— при этом говорил он,— люблю, хорошо. . .

В глазах у него было отвращение, и кадык, как и все горло, содрогался от рвотных судорог.

— Встать! — сказал Лапшин.

Чалов встал.

— Узнаешь? — спросил Лапшин.

— Хорошо,— падающим голосом пробормотал Чалов,— люблю, хорошо. . .

Он подумал и прибавил:

— Семьдесят один.

Некоторое время Лапшин молча глядел на Чалова. Тот было еще протянул руку к бумаге, чтобы пожевать,

но под влиянием взгляда Лапшина сжал пальцы в кулак.

— Был ты хороший вор,— сказал Лапшин,— и никогда не филонил. Взяли тебя — значит, и отвечай за дело. По мелкой лавочке идешь, Моня. Стыдно!

— Семьдесят один,— сказал Моня,— тридцать два, сорок.

— Ну и дурак! — сказал ему Лапшин. — Как был дурак, так и остался дураком.

Моня снял с головы шапку, бросил ее на пол, наступил на нее ногой и сказал одесским говорком:

— Начальничек, это-таки да Моня. Это не Чалов. Хорошему человеку завсегда объясню.

И он косо взглянул на Окошкина.

Моню увели в камеру, а Лапшин с Окошкиным просидели в кабинете часа полтора. Лапшин сидел на подоконнике, сосал папироску и говорил:

— Повел я этих офицеров. Ничего, идут. Довел до места. И спрашиваю, как в книжках читал: дескать, у кого имеется последнее желание? И тогда один господин, высокенький такой мужчина, усатый, мне заявляет: «Делайте ваше дело, господин пролетарий, потому что когда наши вас поставят, то, поверьте, не спросят, какое у вас желание. . .» О, брат, как! . .

Они вышли из управления вместе, и Окошкин проводил Лапшина до самого дома.

— А то хочешь, пойдем ко мне? — сказал Лапшин.— Будем боржом пить. . .

Один раз в своей жизни он был в Боржоми, и с тех пор у него осталась любовь к этому месту. Темные бутылки с водой, пахнущей йодом, напоминали ему душные вечера в парке, прогулки в горы, любезного и обходительного врача, книги, которые он там прочитал. . .

Окошкин попил с ним боржому, поел огурцов с помидорами, потом сказал:

— Я у тебя переночую, товарищ Лапшин. Мне сейчас уже некуда идти.

— Как некуда? — спросил Лапшин.

— А у меня комнаты нету,— сказал Окошкин,— я у товарищей ночую. У меня сестренка разродилась, и мама к ней приехала, так что мне спать совершенно негде.

Он махнул рукой.

— Ну, ночуй! — сказал Лапшин.— Если так, то уж ночуй!

Сняв со стены гитару, он потрогал струны и запел украинскую песню с мягкими и печальными словами. Пел Лапшин плохо, врал и любил ноты позадушевнее. Окошкин взял у него из рук гитару и, сделав лицо идиота, спел очень глупую частушку.

— Это да! — сказал Лапшин удивленно.

Заснули они под утро, очень довольные друг другом, а утром, вместе напившись чаю с рогульками, пешечком, по холодку, пошли в управление. Васька молчал, чем-то подавленный, вероятно вспоминая вчерашнюю свою истерику, а к Лапшину пристала уличная сучка, и он посвистывал ей и разговаривал с ней как с человеком.

Потом Окошкин два дня сидел в засаде на Стремянной улице — поджидал жуликов, и Лапшин его не видел и не думал о нем. Но когда Васька явился, Лапшин обрадовался ему и терпеливо выслушал весь его рассказ о том, как ждали, как не шла вода, и какая стерва хозяйка, и как брали жуликов, и как все отлично получилось.

— Здорово работали! — говорил Васька, и его круглое лицо, покрытое загаром и мелкими капельками пота, все светилось от возбуждения.— Знаешь, товарищ Лапшин, это большое дело врага брать, очень растешь на этом и мужаешь... И переживал я сильно!

Он вытаращил глаза. Это должно было изобразить степень его переживаний.

— Вот как я переживал! — воскликнул Васька.— Я весь дрожал...

— Ну ладно, иди! — сказал Лапшин.— Мне работать надо.

И, оставшись один в кабинете, попивая чай и покуривая над грудой спешных и важных бумаг, он вдруг задумался и с силой и ясностью вспомнил первые дни своей работы в Чрезвычайной комиссии, а главное — себя самого, свои тогдашние мысли и чувства, мокрый пайковый хлеб, зеленую махорку и бесконечные допросы.

Несколько раз Васька Окошкин ночевал у Лапшина, потом как-то спросил:

— Иван Михайлович, а что, если я у вас немного поживу?

— Поживи немного,— сказал ему Лапшин.— Только гулянок у меня не устраивай, не люблю.

— Боже сохрани! — сказал Васька.

У него не было почти никаких вещей, зато была масса желаний: он хотел сшить себе сапоги, как у Побужинского, собирался купить велосипед, рассуждал, что бриться нужно самому, а для этого необходим бритвенный прибор, хотел купить настольный вентилятор, заграничную зажигалку, охотничье ружье и уйму других вещей. Как все люди, страстно желающие чего-либо, он научился быстро и ловко оправдывать каждое свое желание. Так, он говорил, что велосипед экономит время и развивает мускулы ног, которые у него, у Васьки, почему-то ослабели; бритвенный прибор ему был нужен для экономии, чтобы не бриться в парикмахерской; настольный вентилятор, по его мнению, обеспечивал очень высокую производительность труда в жаркие летние дни; зажигалка экономила деньги, затрачиваемые на спички, и т. д. Все эти рассуждения очень утомляли Лапшина, и, когда Васька начинал болтать о своих мечтах, Лапшин ему говорил «отвяжись!» и ложился на кровать лицом к стене.

Мечты оставались мечтами. Васька получал не много, половину из каждой получки отдавал сестре, а остальные растрачивал с жаром и рвением в два-три дня. Деньги жгли ему руки, он обожал дарить и покупал все, что подворачивалось под руку: мундштук, камеру для футбольного мяча, носовые платки, распялку для костюма, ароматическую бумагу «фиалка», комплект журнала за прошлый год и прочее в таком же роде.

— На, товарищ Лапшин,— говорил он, вынимая из кармана коробочку мятных лепешек.— Это тебе!

— А чего это?

— Такие штучки,— говорил Васька,— для освежения во рту.

— Да у меня во рту и так свежо,— говорил Лапшин, недоуменно вертя пальцами коробочку.— Что тебе в башку взбрело?

За стол и квартиру Лапшин у Васьки ничего не брал, и Васька в благодарность покупал «для дома» то чайное полотенце с петухами, то зубную пасту, то дорогих папирос или ветчины. Васькино присутствие причиняло Лапшину много хлопот, но это не раздражало его, наоборот, ему нравился тот шумный беспорядок, который

Васька удивительно быстро создавал вокруг себя. Мучили Лапшина только вечные телефонные звонки, которые начались вслед за Васькиным въездом. Звонили всегда только женщины, и так как ни Васьки, ни Лапшина днем дома не бывало, звонили ночью. Телефон висел над кроватью Лапшина. Сонный, он снимал трубку, и женский голос спрашивал:

— Васеныш?

Они давали Окошкину каждая свое имя, и поэтому Лапшин никогда не понимал, кого спрашивают.

— В чем дело? — кричал он, раздражаясь.— Кого вам надо?

Васька просыпался от крика, но не подавал признаков жизни, надеясь, что как-нибудь обойдется без него и что ему не придется вставать.

— Какой вам номер нужен? — мучился Лапшин.

Женщина пугалась, вешала трубку, а Васька говорил:

— Постоянно телефонная станция путает номер. Экое безобразие...

Если же голос в трубку объяснял, что Васюрка, или Вавка, или даже Котик — на самом деле Окошкин, то Ваське приходилось вставать с постели, и тогда он мучительно долго болтал над головой Лапшина, не давая ему заснуть и раздражая его до того, что он кричал:

— Ты дашь мне спать или нет, черт паршивый? Третий час ночи! Нашел время обнюхиваться...

— А я виноват? — огрызался Васька, закрывая ладонью трубку.— Чего вы орете?

Утром он оправдывался и говорил, не глядя в глаза Лапшину, бесконечно лживым и блудливым голосом:

— Ей-богу, Иван Михайлович, она по делу. Это моей сестренки подруга, Катька Осокина, не знаете?

— Не знаю,— мрачно говорил Лапшин.

И они шли в управление — Лапшин впереди, а Васька сзади, и не разговаривали друг с другом. Но наступал день с работой и делами, Васька являлся в кабинет к Лапшину с докладом, стоял перед столом «смирно» и докладывал и говорил уже не «товарищ Лапшин», а «товарищ начальник», и выяснялось, что дело, которое он вел, шло блистательно, а главное, с легкостью, без пота, бестолковой беготни, без многословия и проволочек —

одним словом, шло так, как должно было идти в бригаде Лапшина. И Лапшину делалось жалко Васьки, и он говорил ему что-либо примиряющее, но строгое, например:

— Побрился бы ты, товарищ Окошкин! Эдак не годится.

Или:

— Тут-то у тебя ладно, а вот почту ты не очень читаешь...

Или еще:

— Прошу заняться комнатой для ожидающих! Там черт знает что творится. Посажу под арест, тогда поздно будет.

На что Васька неизменно отвечал:

— Слушаюсь. Можно идти?

— Идите! — говорил Лапшин и строго глядел в спину Окошкину, шедшему к двери.

Он был способным работником и любил дело, но ему еще очень не хватало выдержки и упорства. И Лапшин нарочно придерживал его, не давая ему уполномоченного, хотя Окошкин почти самостоятельно вел дела. И относился Лапшин к Окошкину куда строже, чем к другим работникам своей бригады, и жучил его чаще и обиднее, чем других, и решительно ничего не прощал ему. Но чем дальше, тем больше Окошкин привязывался к Лапшину, и хоть давно пора было съехать ему от Лапшина, но он этого не делал и даже перестал говорить о том, что подаст рапорт и получит свою комнату...

В 1932 году Окошкина принимали в партию. Перед тем как дать ему рекомендацию, Лапшин долго пил любимый свой боржом и говорил с Васькой о пустяках. Потом, уставившись в него голубыми, яркими глазами, спросил, как спрашивал на допросе:

— Это все хорошо. А что у тебя там с бабами происходит?

Окошкин долго глядел в пустой стакан от боржома, бессмысленно его поворачивая, потом сказал тем блудливым голосом, который Лапшин до глубины души ненавидел:

— Если уж и происходит, то не с бабами, а с женщинами.

— Васька! — угрожающе сказал Лапшин.

— Да ну чего Васька, Васька! — уже искренне за-

говорил Окошкин.— Все вы мне Васька да Васька! Ну, ей-богу, я не виноват, что они ко мне лезут. Васюта, да Васеныш, да Васюрочка! Побыли бы вы на моем месте! Вы не верите, ну до того разжалобят, спасения нету! И так мне, и так...

— А ты женись,— наставительно сказал Лапшин.— Будь человеком.

Он вылил в свой стакан остатки боржома и унылым голосом добавил:

— Не гляди на меня, дурака, женись, детей заводи. Назовешь как-нибудь по-лошадиному: Электрон или там Огонек...

Он засмеялся и поглядел на Окошкина по-стариковски, снизу вверх.

— На ком жениться-то? — спросил Васька.— Мне они все нравятся. Выбрать очень трудно.

— Да, это трудно,— сказал Лапшин.— Я вон так выбирал-выбирал, да и провыбирался.

Они помолчали, потом сыграли в шахматы. Было часов семь вечера. После шахмат Лапшин побрился перед зеркалом, фырча вытер лицо одеколоном и надел шинель.

— В управление? — спросил Васька.

— В управление,— сказал Лапшин.

Вошла Патрикеевна и спросила, нельзя ли посадить в тюрьму одну знакомую врачиху за то, что та назвала домработницу свиньей.

— Нельзя,— сказал Васька.— Уйди, Патрикеевна, ты мне действуешь на нервы!

Патрикеевна ушла, постукивая деревянной ногой. Васька тоже надел шинель, надушил одеколоном Лапшина свой носовой платок и, бешено стрельнув озорными глазами в зеркало, сказал, что готов.

На улице крупными, легкими хлопьями падал снег. Васька подставил ладонь, слизнул с пальца снежинку и сообщил, что хочет мороженого.

— А еще что? — спросил Лапшин.

Они шли рядом, оба высокие, широкоплечие, в хорошо пригнанных шинелях, и чувствовали, что прохожим приятно на них глядеть.

— Надо жениться,— вдруг задумчиво сказал Лапшин.— Пора, Васька...

И Окошкин не понял, про кого говорил Лапшин: про самого себя или про него.

Когда Ваську принимали в партию, Лапшин выступил с большой речью, и Окошкину стало не по себе, до того подробно и точно Лапшин рассказал о нем.

Поздно ночью они вместе возвращались домой, и Лапшин, попыхивая папиросой, назидательно говорил:

— Я тогда в первой бригаде работал. Вызвали меня на двойное самоубийство. И что бы ты думал? Женщина и мужчина, уже не очень молодые, отравились. Какая-то у них там любовь была, в высшей степени сильная...

— Ну и что? — спросил Васька.

Лапшин молчал.

— Вы к чему это? — спросил Васька.— Чтобы я тоже тово?

— Глупый ты, Васька, человек! — с неудовольствием сказал Лапшин.— Дурак ты!

Ужиная картофельным салатом и ложась спать, Лапшин молчал, и Васька слышал, как он долго и печально вздыхал и как трещали и щелкали пружины матраца под его грузным телом, когда он ворочался.

3

Потом наступило лето, и Лапшин один, без Васьки, уехал отдыхать.

Санаторий был небольшой, белый, весь в зелени, под красной черепицей, и стоял на обрывистом берегу над морем. День и ночь бились в берег волны, и Лапшину казалось, когда он лежал в шезлонге, или гулял, или взвешивался на весах, что это вовсе не волны, а далекая канонада, что там идет война, а он, Лапшин, просто поправляется в тылу, в лазарете, и вот уже скоро совсем поправится и тогда поедет на фронт к своим товарищам.

И оттого, что он был не в лазарете и не испытывал никаких страданий, и оттого, что пушки не палили и ему не надо было ехать на фронт, ему было и покойно, и весело, и немного досадно.

«Барином живу,— думал он о себе,— жирный стал гусак, цветную капустку ем. . .»

Он очень подружился с одним знаменитым летчиком, и они подолгу молчали, сидя друг против друга в плетеных креслах, или вместе уплывали на час или на два в море. Летчик был лет на семь младше Лапшина и

очень боялся людей, боялся потому, что люди часто его узнавали и устраивали ему овации. Тогда он розовел и говорил сдавленным голосом:

— Это ужасно, это ужасно...

И если они шли вместе с Лапшиным, то Лапшин тоже розовел и говорил:

— Да, сложное положение!

Иногда по вечерам летчик надевал лётную форму, а Лапшин — милицейскую, они садились в автобус и ехали в город, оба выбритые, свежие, загорелые, молчаливые и довольные друг другом. Там они ужинали на поплавке, изредка переговариваясь, пили кисленькое вино, ели маслины.

Как-то поздним вечером, когда они играли у себя на бильярде, к летчику приехала жена с сыном, и Лапшин остался один. Жена у летчика была красивая, милая женщина, и Лапшин, слушая, как она напевает в соседней комнате или, смеясь, разговаривает с мужем, испытывал мучительное чувство неопределенной тоски. Он курил, шел купаться, долго бродил по горам, уставал,— тоска не исчезала. Однажды, проснувшись среди черной и душной ночи, он почувствовал, что глаза его мокры, и понял, что плакал во сне. Он встал, зажег свет, скрутил папироску и сидел на кровати с зажженной спичкой в пальцах, пока она не догорела и не обожгла руку. Было стыдно, он даже попробовал побранить себя и подумать, что разжирел и обленился, но из этого ничего не вышло. Он вышел на балкончик и долго слушал, как грохочут внизу волны и как кричит в кустах птица.

Утром с Бобкой — сыном летчика — он пошел купаться. Накануне Бобке исполнилось шесть лет. Он был мал ростом для своего возраста, молчалив и очень ласков. Его стригли под машинку, но спереди у него была каштановая челка, и с этой челкой он напоминал девочку. Лапшин не умел обращаться с детьми, не знал, о чем с ними говорить, и так как слышал, что с ними надо держаться как со взрослыми, то был с Бобкой суровее, чем следовало.

Они шли вниз к морю по дорожке, вырубленной в скалах и посыпанной гравием, и Лапшин говорил Бобке про войну. У Бобки были новые сандалии, полученные ко дню рождения, и подошвы все время скользили, так что Бобка очень часто как бы вылетал ногами вперед,

и тогда Лапшин, державший его за руку, ставил его на дорожку и советовал:

— Держись за воздух!

Бобка смотрел на Лапшина и вовсе не глядел на дорогу. Он был некрасив лицом — весь в отца: такие же веснушки, и такой же картофелиной нос, и такая же форма головы, но глаза у него были чудесные, материнские, с мягким блеском и с постоянным внимательно-удивленным выражением. И рот был тоже материнский — большой и лукавый.

— Вот, брат, Борис Антонович,— говорил Лапшин, сжимая в своей ладони горячее Бобкино запястье,— виды у них на нас какие? Виды такие: они хотят ударить по Балтийской зоне. Ты знаешь, что такое зона?

— Зона — знаю,— сказал Бобка,— а Балтийская — не знаю.

Лапшин объяснил ему и стал рассказывать дальше.

— Фашисты? — спросил Бобка.

— Ну да! Эта часть границы,— говорил Лапшин,— составляет около пятисот пятидесяти километров. Здесь проходит путь на Ленинград, в этом и есть стратегическое значение удара сюда.

— Погодите-ка! — сказал Бобка.— У меня камень в сандаль попал.

— Ну вынь! — сказал Лапшин.

Бобка сел на дорожку, снял сандалии с тем выражением поглощенности своим делом и необыкновенной важности своего дела, которое бывает только у детей, вытряхнул из сандалии камень, обулся и встал. И пока Лапшин смотрел в затылок мальчика, ему казалось, что это его сын.

Они дошли до моря, и здесь Лапшин, стыдясь себя, своего неумения и, главное, того, что ему хотелось так поступить, снял сам с Бобки сандалии, штаны и, пощекотав у него за ухом, сказал:

— Ну, кидайся!

— Зачем же вы меня раздели? — спросил Бобка.— Разве ж я сам не умею? Мама меня заругает, что вы меня раздевали.

— А мы маме и не скажем! — басом сказал Лапшин.— Ладно, хлопче?

И он слегка порозовел, оттого что сказал «хлопче» и «мы» и оттого что сам почувствовал, как лжива вся фраза.

Они долго купались в зеленой и соленой воде, и Лапшин не плавал вовсе, а вместе с Бобкой барахтался у берега, кидал в Бобку мокрым песком, а потом внезапно соскучился, завял и сказал Бобке, что пора домой.

Назад они шли молча; Бобка от купания разомлел и еле тащился, повиснув на руке Лапшина, а Лапшин думал о том, что пора ехать в Ленинград и что здесь от безделья можно, чего доброго, и вовсе свихнуться.

Через три дня летчик с семьей уезжал в Москву. Было утро солнечное, свежее и ветреное, и Лапшин встал раньше всех в санатории. У него был казенный костюм — белые штаны, белая курточка, шлепанцы и дурацкая шляпа пирожком — тоже белая. Умывшись, он оделся в этот костюм, но потом раздумал и надел форму. Никто еще не встал из отдыхающих, и только помощник повара Лекаренко стоял и курил на крыльце.

— Уезжаете? — спросил он негромко, и голос его далеко разнесся в утреннем воздухе.

— Нет,— сказал Лапшин,— знакомые уезжают.

— Бобочку будете провожать? — поощрительно сказал Лекаренко и вынес Лапшину на блюдце костного мозга, соли и хлеба.

— Покушайте пока что до чаю,— сказал он.— Дюже можете заголодать!

Лапшин поел и пошел к морю один, размахивая отломленной веткой орешника. Сапоги его блестели, и весь он представлялся себе уже городским и лишним здесь, среди олеандров, пальм и кипарисов. И ремень на нем был тугой, и усы он подстриг коротко, как в городе. «Надо работать,— думал он,— надо уезжать и дело делать!»

Он вернулся к дому. Там еще никто не встал, было совсем рано, шестой час. Уши у него горели, и сердце билось так сильно, что он не поднялся на террасу, увитую плющом, а посидел внизу на каменных ступеньках.

Сверху, на втором этаже, раскрылось окно. Он поглядел туда и увидел Женю — мать Бобки. Она тоже заметила его, сделала удивленные глаза и показала рукой, что сейчас спустится вниз. Лапшин вдруг обрадовался и пошел к ней навстречу на террасу.

— Что это вы ни свет ни заря? — говорила она, по-

жимая его руку.— Это только мой муж в три часа на полеты на свои подскакивает как заведенный. . .

Она зевнула и поправила волосы, едва заколотые и развалившиеся оттого, что, зевнув, она тряхнула головой.

Лапшин молчал.

— Вот мы и уезжаем,— сказала она, глядя на море.— Пора.

— И я скоро,— сказал Лапшин.

Они сели на ступеньку и поговорили о Бобке, о дальних перелетах, о погоде в Москве.

— Надо вещи складывать,— сказала Женя,— а мой мужик спит, и жалко его будить.

— Давайте я вам помогу,— предложил Лапшин.— Пусть спит!

Они пошли в маленькие сенцы перед той комнатой, в которой жили Бобка, Женя и летчик, и Женя вынесла из комнаты груду вещей, взятых из ящика, чемодан, портплед и корзинку. Пока она во второй раз ходила в комнату, Лапшин открыл чемодан, вытряхнул его и стал выбирать из кучи вещей, сваленной на пол, на газеты, только мужские вещи — белье, носки, фуфайки, брюки, причем белья и одежды Жени он старался не касаться.

От сидения на корточках у него затекли ноги, и он сел просто на пол, на газету. Женя похвалила его работу и сказала, что так укладывают только мужчины, воевавшие войну, и что ее муж тоже так укладывает вещи. Она села с ним рядом и в другой чемодан стала складывать свои вещи.

— А вот это не надо,— сказала она,— бритвенный прибор не надо. Он в дороге бреется и будет меня прорабатывать, если эти штучки мы запрячем. . .

Она вытащила назад прибор, и Лапшин с грустью подумал, что никто не знает, как и где он бреется и какие у него привычки, и что за всю жизнь ему никто и никогда не укладывал вещей. И как всегда, когда ему бывало грустно или не по себе, он, затягивая ремнями чемодан, сказал веселым, гудящим басом:

— Все в порядочке!

— А вы женаты? — спросила Женя, точно отгадав его мысли.

— Убежденный холостяк,— сказал он тем же басом.— Ну вас всех! . .

Потом проснулся летчик, и они вдвоем посидели с ним в плетеных креслах и помолчали.

— Вот, брат Иван Михайлович,— сказал летчик на прощание,— мы с тобой тут ничего пожили, хорошо... Действительно, всесоюзная здравница!

И он отвел от Лапшина глаза так, как будто сказал нечто слишком задушевное, даже сентиментальное.

Он был уже в форме, затянутый, невысокий, с широкими, развернутыми плечами и открытым взглядом зорких глаз. Весь санаторий провожал отъезжающих, и все окружили закрытый автомобиль, в котором уже сидели Женя и Бобка. И чемодан, увязанный Лапшиным, был виден сквозь стекло. Пока летчик пожимал руки провожающим, Лапшин переглядывался с Бобкой издали, потом подошел к самой машине и сказал:

— Ну, будь здоров, Борис!

— До свидания! — сказал Бобка отсутствующим голосом. Он был уже занят автомобилем и отъездом, и, в сущности, он даже уже уехал.

— Учись хорошенько в школе,— сказал Лапшин.— Расти большой!..

Наконец автомобиль тронулся. Не глядя ему вслед и не помахав рукой, Лапшин ушел к себе в комнату и до обеда пролежал в сапогах на постели, отвернувшись к стене, а весь вечер писал письма в Ленинград: Ваське Окошкину, Ашкенази, начальнику — всем. И письма были грустные, и все, кто их получал, понимали, что Лапшин тоскует.

Больше он уже не надевал белый казенный костюм, а ходил с утра до ночи в сапогах и в ремнях и думал о Ленинграде, о работе, о Ваське Окошкине и о том, что надо заняться культурой с ребятами из своей бригады. И с аппетитом он думал о дождике и тумане, о кабинете, к которому привык, и о том, как, приехав, прямо с вокзала он вызовет свою машину, явится к начальству и начнет работать так, как работал всю жизнь.

«Да, да,— думал он,— довольно! Хватит!»

И раздраженными глазами смотрел на гладкое, замерзшее зеленое море, на желтый песок и на белые, увитые плющом стены санатория, ослепительно сверкающие на ярком южном солнце. Ему хотелось уехать, не кончив срока, и он не уезжал только потому, что был дисциплинирован и считал, что раз его государство послало отдыхать, то он должен это делать как следует.

В Ленинграде на вокзале его встречал Васька Окошкин, приехавший в автомобиле. Моросил дождь, и все было так, как Лапшин мечтал.

— У нас холода,— говорил Васька.— Я еле на ногах держусь, застудился.

Дома они пили чай с рогульками. Патрикеевна гневно молилась в нише. Зашел Ашкенази, потом позвонил телефон, и Лапшин очнулся только на другой день к вечеру,— так внезапно и круто захватила его работа. И он был счастлив, глядя в окно на асфальт площади Урицкого, пузырящийся под дождиком, был счастлив, разговаривая с прокурором о деле, был счастлив, распекая Побужинского и говоря ему громко и отрывисто:

— Работа спасает от всего, это извольте знать! У вас умер брат, я все это понимаю и готов вам помочь всем тем, что в моих силах. С братом вы вместе росли и вместе жили, все понимаю. Но он умер, а вы ничего решительно не делаете,— это мне непонятно. Чем больше вы будете работать, тем лучше и легче вам будет. Поверьте мне! Ваш брат был честным и горячим работником, и хотя бы в его честь вам не следовало так запутывать и запускать свои дела. Самое же главное не в этом, а в том, милый человек, что вначале у вас действительно было горе, а сейчас вы просто разленились и на своем горе спекулируете. Это дело надо бросить и надо как следует за работу взяться. С сегодняшнего дня извольте каждое утро являться ко мне с докладом! . .

После он допрашивал старого своего «знакомого», вора-рецидивиста Сашеньку и пил чай. Сашеньку взяли минут двадцать назад в трамвае. Он был великолепно одет и курил дорогую толстую папиросу.

— И не стыдно тебе, Саша? — говорил ему Лапшин.— Смотри, как нехорошо получается! Все тебя водят ко мне и водят. Покажи-ка, зубы, что ли, золотые вставил?

Сашенька оскалился и сказал, пуская дым ноздрями:

— Двадцать семь штук. Невиданная вещь!

— Гуляешь? — спросил Лапшин.

— Сейчас именно я лично гуляю, — сказал Сашенька.— Вот несколько приоделся.

Он развел полы пальто и показал великолепный шоколадного цвета костюм.

— Хорош? — спросил он.

— Чудный,— сказал Лапшин.

— А вы как живете? — спросил Сашенька.— Все работаете?

— Да, как видишь, помаленьку работаю.

— И ни сна, ни покоя, ни грез золотых? — продекламировал Сашенька.— И ни знойных, горячечных губ? . .

— Это кто сочинил? — спросил Лапшин.

— Я.

— А магазин на Большом не ты брал?

— А вы с подходцем! — сказал Сашенька. — Да, гражданин начальничек? — Он помолчал, потом добавил улыбаясь: — Слово жулика — не я!

— А кто?

— Боже ж мой! — воскликнул Сашенька.— Разве ж я знаю?

— А ты чего делал?

— Я церкви закрывал,— сказал Сашенька,— я и еще Пашка Перевертон и Кисанька. Вы Кисаньку знаете? И Пашку вы знаете лично, верно?

— Верно,— сказал Лапшин.— Они у меня сидят.

— Новости! — сказал Сашенька.— Их же на моих глазах брали в магазине! Только они не сознались, а я сознаюсь, ввиду того что хочу бросать свое дело и выходить в новую жизнь. . .

— Давай сознавайся! — сказал Лапшин.— Только быстренько: раз-два. . .

Он взял лист бумаги и карандаш.

— Писать будете? — спросил Сашенька.

— Буду.

— Ну ладно,— сказал Сашенька и облизал губы,— раз так, то пишите.

— Без трепотни?

— Что ж, я не вор, чтобы я вам трепался! — обиженно сказал Сашенька.— Что мы, мальчики тут собрались? Когда хочу — говорю, когда не хочу — не говорю.

Он закурил новую папиросу, попросил разрешения снять пальто и, внезапно побледнев, рубанул в воздухе рукой и сказал:

— Амба! Пишите, кто магазин на Большом брал. И адрес пишите, где ихняя малина. Пишите, когда я говорю! И когда они меня резать будут и когда вы мое тело порубанное найдете, чтобы вспомнили, какой человек был Сашенька. Пишите! Я нервный человек, я пси-

хопат, но я для вас раскололся, потому что таких начальничков дай бог каждому... Пишите!

Он рассказывал долго и курил папиросу за папиросой. Потом спросил:

— Пять лет получу по совокупности?

— За старое. А новое я еще не знаю.

— Пишите новое! — сказал Сашенька.— Располагайте мною!

И он стал рассказывать, как они втроем с Перевертоном и Кисанькой взламывали в деревнях церкви и сдавали в приемочные пункты торгсинов ценности...

— Была у нас карта старинная,— говорил Сашенька,— с крестиками, где церкви. Ну мы и работали! С одной стороны, ценности государству сдавали — польза. С другой стороны, когда мы церковь опоганим, ее поп больше не освящает, не решается. Сход не велит. К свиньям, говорят, твое заведение! Тоже польза. Верно?

— Ты мне голову не крути! — сказал Лапшин.— Я тертый калач.

— Дай бог! — сказал Сашенька.— Таких других поискать...

— И хвостом не виляй! — сказал Лапшин.— Не надо. Будь человеком!

Сашенька покраснел.

— Это верно,— тихо сказал он.— Можно идти?

— Нет, нельзя.

Едва Лапшин отпустил Сашеньку, явился Васька Окошкин, сконфуженный, в мокром плаще, и долго что-то мямлил, настолько путаное и непонятное, что Лапшин рассердился и шлепнул ладонью по столу.

— Что у вас за каша во рту? — крикнул он.— Извольте докладывать толком или идите!

— Тамаркин проворовался,— сказал Васька,— он в артели работал, так украл, собака, мотор и продал другой артели...

— Какой Тамаркин? — спросил Лапшин.

— А который у вас был на дне рождения. Который врал чего-то про самолеты. Помните? Несерьезный такой парень, пижон такой...

— Ну?

— Ну и проворовался.

— Так я-то здесь при чем?

— Его сажать надо,— сказал Васька,— а мне как-то неловко. Может, вы кого другого пошлете?

— Нет, тебя,— сказал Лапшин.— Именно тебя.

— Почему же меня?

— А чтобы знал, с кем дружить! — краснея от гнева, сказал Лапшин.— «Некто Тамаркин» и «некто Тамаркин», а Тамаркин — ворюга...

Краснея все больше и больше и шумно дыша, Лапшин смял в руке коробок спичек, встал и отвернулся к окну.

— Ну тебя к черту! — сказал Лапшин, не глядя на Ваську.— Пустобрех ты какой!.. Поезжай и посади его, подлеца, сам, и сам дело поведешь, и каждый день мне будешь докладывать...

— Слушаюсь! — тихо сказал Васька.— Можно идти?

— Постой ты! Откуда он у тебя взялся-то?

— Ну чтоб я пропал, Иван Михайлович,— быстро и горячо заговорил Васька.— Учились вместе в школе, потом я его встретил на улице, обрадовался,— все-таки детство...

— Детство! — передразнил Лапшин.— Дети! И на бюро парткома о своих друзьях расскажешь. Дети — моторы красть! Возьми машину и поезжай, а то он еще там наторгует! Ребятишки у него есть?

— Нет.

— А жена?

— Тоже нет, официально.

— Подлец какой!

— Да уж, конечно, собака! — сказал Васька примирительным тоном.— Я и сам удивляюсь.

— Тебя не спрашивают! — крикнул Лапшин.— Никто тебя не спрашивает, удивляешься ты или нет. Поезжай сейчас же!

И он с силой захлопнул за Васькой дверь.

4

Тамаркин служил электротехником в переплетной артели «Прометей» и еще в двух артелях по совместительству, и Васька Окошкин едва его нашел. Они столкнулись в маленьком коридорчике, заваленном картоном и штуками коленкора, причем не Окошкин остановил Тамаркина, а Тамаркин Окошкина.

— Здорово, Окошкин! — крикнул Тамаркин и толкнул Ваську ладонью в грудь.— Меня ищешь?

Он протянул Ваське руку, и Васька от растерянности пожал ее.

На Тамаркине была отглаженная и накрахмаленная синяя прозодежда и под ней рубашка и великолепный галстук. На шее он для щегольства имел белое шелковое кашне.

«Приоделся, собака,— рассеянно отметил Окошкин,— и брючки в полосочку пошил».

— А ты все в милиции да в милиции! — болтал Тамаркин.— Жизни не видишь. . . Пойдем, я тебя запеканкой угощу, здесь сегодня на завтрак макаронная запеканка. . .

Рядом, за тонкой фанерной стеною, грохотала какая-то машина и шипел и шлепал приводной ремень.

— Ты что слушаешь? — спросил Тамаркин.— Это наша индустрия. . .

Он засмеялся, а Васька вдруг вспотел от злобы и отчаяния. «Все разворует,— с ужасом думал он,— картон вынесет, коленкор украдет!»

— Какой-то ты странный,— сказал Тамаркин.— Побрился бы. . . Хочешь, я тебя с техноруком познакомлю?

— Нет,— дребезжащим голосом сказал Васька,— я за тобой приехал. Ты арестован.

И, вынув из бокового кармана ордер, он протянул его Тамаркину, чтобы тот мог прочесть. Тамаркин сразу пожелтел.

— С ума сойти! — сказал он, подымая плечи.— За кого ты меня считаешь?

На обыске в квартире Тамаркина Васька еще раз понял, что Тамаркин вор. Он понял это по тем вещам, которые были в комнате у Тамаркина, по костюмам, по фотоаппарату, по радиоприемнику, по деньгам, которые лежали в письменном столе, по пишущей машинке.

— Зачем вам пишущая машинка? — не выдержав, сказал Васька.— Что вы, писатель?

Толстая мадам Тамаркина, которая плакала, стоя у двери, крикнула:

— Странно, почему машинка привлекла ваше внимание? Почему вы не интересуетесь моим бельем?

— Оставьте, мама! — крикнул Тамаркин с дивана.— Что за остроты!

И, клацая зубами, он спросил, обращаясь к Окошкину:

— Скажите, Вася, я могу еще покушать напоследок?

Окончив обыск, Окошкин аккуратно запечатал комнату Тамаркина и суровым голосом сказал:

— Можете прощаться!

— За что? — спросил Тамаркин в машине.— Что я сделал?

Васька молчал и глядел в окно.

— Тогда берите товарища Магазинера тоже! — сказал Тамаркин.— И Солодовника. В чем дело?

— Возьмем,— сказал Васька,— тебя не спросим.

Ему очень захотелось ударить Тамаркина в ухо, но он сдержался и закурил.

— Мы все-таки с вами сидели на одной парте, Вася,— сказал Тамаркин,— это не надо забывать.

— Никогда я с вами на одной парте не сидел,— сказал Васька.— Я с Жоркой Карнауховым сидел и с Перепетуем. Нечего врать!

Потом, сдав Тамаркина, Окошкин явился к Лапшину и доложил. От Лапшина он сбегал к врачу — измерил себе температуру. Было тридцать восемь с лишним, и в горле оказались налеты.

— Надо идти домой,— сказал врач.— В постель!

Почесав пером густую бровь, он написал рецепт и сказал:

— Это микстурка. А это — полоскание. Так-то!

Щеки у Васьки горели, и по спине пробегал неприятный холодок. Но он был весел, до самого вечера работал и так шумел, что Лапшин ему сказал:

— Чего ты трескотню поднял? Потише нельзя?

Ночью он бредил, а Лапшин и Ашкенази играли в шахматы, заставив лампу книгой, и Ашкенази говорил:

— Не понимаю я вас, Иван Михайлович! Зачем вам понадобилось посылать его за Тамаркиным? Он молод, это его школьный товарищ. Не понимаю.

— Ничего, злее будет! — сказал Лапшин.

Ашкенази сложил губы трубочкой, немного посвистел, помотал конем над доской и усмехнулся.

— Когда я болел сыпным тифом,— заговорил он, не глядя на Лапшина,— то все время бредил знаете чем?

Тем, что свет какой-то там звезды долетает до нас через две тысячи лет. Это неприятно, правда?

— Почему же неприятно? — спросил Лапшин.— Пусть себе!

— Врешь,— с постели крикнул Васька,— врешь, собака, врешь! На тормозной площадке.

— Разбирает парня,— сказал Лапшин и внимательно поглядел на Ваську.

Из управления Лапшин два раза звонил по телефону домой, и оба раза ему отвечал Васька.

— А ничего! — говорил он.— Вполне прилично. Патрикеевна компоту наварила такого гадкого, что мочи нет.

День был горячий. Лапшин ездил в суд, потом допрашивал растратчиков, потом ходил с докладом к начальнику, потом читал лекцию в школе начальствующего состава милиции. Он любил преподавание, любил свою профессию, был отличным практиком своего дела, и лекции ему всегда удавались. После лекции было много вопросов, и так как его лекцией кончался учебный день, то он предложил еще поговорить с полчаса. Руки у него были в мелу, он чувствовал себя разгоряченным и чувствовал, что говорит отлично и что между ним и аудиторией существует тот контакт, который позволяет ему уже не оживлять лекцию прибаутками и шуточками, что каждое его слово и без того берется на лету и достигает желаемого эффекта, и чувствовал, как напряжены и взволнованы слушатели.

— Вот вам обстоятельства дела,— говорил Лапшин, постукивая мелом по доске и любуясь схемой, которая тоже выходила удачной и четкой.— Понятна схема?

Аудитория одобрительно загудела.

— Таким образом,— поворачиваясь к аудитории и щегольским жестом бросив мел, заговорил Лапшин,— таким образом, мы, следователи, оказались в глупейшем положении. Верно? А инженер продолжает ходить ко мне, волнуется, плачет. Я его отпаиваю водой и вообще чувствую себя плохо. Что я ему скажу? И вот однажды, чуть ли не во время шестого посещения, я гляжу на него и думаю: «Слабый, ничтожный человек, а какую деятельность развел вокруг смерти своей жены! Как угрожает, как кулаком стучит!» Взглянул ему в

глаза. Взглянул и ясно вижу — в глазах у него выражение ужаса, истерического ужаса. И тут меня, как говорят, осенило. Он, думаю, он самый. Сижу, слушаю, как он мне грозит, и как поносит следственные органы, и как ругается, а сам в уме прибираю хозяйство свое, и обстоятельства дела, и спорю сам с собою, и, еще недоспорив и недовыяснив, негромко говорю ему: «А не вы, простите за нескромность, убили свою жену?» У него даже пена на губах. Вскочил, ногами топает: «Я в Москву поеду, я вам покажу, меня тот-то знает и тот-то, вам не место здесь!» Прошу учесть, товарищи, основное положение того, что я вам рассказываю: не имея улик, я знал только одно — что инженер мой слабый и ничтожный человек и что именно такие люди в подобных ситуациях поступают так. Но, не имея улик, я не мог его посадить и вел дело почти в открытую...

Вместо двадцати минут Лапшин проговорил час с четвертью, и все-таки его не отпускали. Он еще долго стоял в кольце слушателей и долго отвечал на вопросы, а потом все провожали его по коридору, потом по лестнице, потом до раздевалки. Застегивая крючки шинели, он говорил:

— Разъедетесь к себе, во всех затруднительных случаях — пишите. Я с удовольствием буду отвечать, а найду возможным и целесообразным — приеду. Главное же — не думайте, что обратиться ко мне за помощью значит признать себя побежденным...

Уже было девять часов вечера, и Лапшин зашел на минуту к себе в кабинет, чтобы подписать бумаги, и сел в кресло, не снимая шинели. Но ему позвонил адъютант начальника и сказал, чтобы он не уезжал, так как начальник сейчас беседует с артистами и собирается вместе с ними к Лапшину.

Досадливо поморщившись, Лапшин сбросил шинель, зажег бронзовую люстру, которую зажигал в особо торжественных случаях, и, сделав напряженное лицо, стал читать уже прочитанную сегодня газету. От голода у него бурчало в животе, и от предстоящего разговора с артистами он испытывал неловкость и заранее раздражался на те глупые вопросы, которых ожидал.

Первым, поскрипывая сапогами и ремнями, блестя стеклами пенсне и официально покашливая, вошел начальник, за ним шли артисты. У начальника на лице было то плутовато-суровое выражение, которое всегда

появлялось у него в подобных случаях и которое означало, что хоть мы и не Пинкертоны, но найдем, что показать. Артисты же держались робко и с таким видом, будто входили в комнату, где могло быть все решительно, начиная с трупа, злодейски разрезанного на куски, и кончая взрывчатыми веществами.

Пожав Лапшину руку во второй раз (они уже виделись сегодня) и предложив артистам садиться, начальник закурил прямую английскую трубку и, расхаживая по комнате с трубкой, зажатой в кулаке, стал говорить о том, что он привел их к Лапшину не случайно, а привел их потому, что Лапшин — старейший работник розыска, и не только старейший, но и опытнейший...

— В нашем деле,— говорил он, живо блестя стеклами пенсне,— как и в вашем, товарищи, необходимы не только опыт и настойчивость, но еще и талант. Товарищ Лапшин — талантливый работник, очень талантливый и очень настойчивый.

Лапшину от этих похвал стало жарко, и, не зная, что делать с собою, он деловито потушил и опять зажег настольную лампу.

— Вот видите, как стесняется! — сказал начальник, и артисты засмеялись, а Лапшину вдруг стало стыдно за начальника и за его тон, и за трубку, которую он никогда раньше не курил, а теперь почему-то закурил.

Он по-прежнему стоял возле своего кресла и по-прежнему курил дешевую папиросу, но теперь он уже не стеснялся больше и в упор разглядывал артистов своими зоркими ярко-голубыми глазами. Никто из них ему не нравился: ни красивый молодой артист, снявший широкополую серую шляпу и отиравший подбритый лоб платком; ни старуха с двойным подбородком и вежливо-безразличными глазами; ни еще один молодой, но уже лысый артист, все время кивающий яйцеобразной головой; ни тучный благообразный старик в крагах; ни молодая артистка с рыжими волосами, с очень белой шеей и ярко накрашенным большим ртом. В каждом из них было нечто нарочитое, подчеркнутое и раздражающее, такое, что заставило Лапшина с досадою подумать: «Эх, пижоны!» И только одна девушка привлекла его внимание. Она сидела сзади всех, и вначале он даже ее не увидел,— так скромно, по сравнению со всеми, она была одета и так незаметно держалась: ни головой не кивала, не смеялась, не говорила: «Это интересно!», или:

«Да, да!», или: «Черт знает что!». Она сидела за спиною старухи с двойным подбородком и, вытянув свою тонкую шею, следила за всем происходящим с испуганно-внимательным видом. Она была в берете и шубе из того пегого меха, про который обычно говорят, что он тюлений, или телячий, или даже почему-то кабардинский, и который в дождливую погоду просто воняет псиной. Из-под собачьего воротника у нее выглядывал голубой в горошину платочек, и этот платочек вдруг очень понравился Лапшину.

Когда начальник неуверенно-свободным голосом стал рассказывать о преступлениях годов нэпа и сказал: «Это жуткая драма»,— артистка в берете, так же как Лапшин, от неловкости опустила глаза.

Покуривая и слушая начальника, Лапшин смотрел на артистку, видел ее круглые карие глаза, вздернутый нос и думал о том, что если ему придется говорить, то говорить он будет ей и никому другому, разве что еще низенькому старику с большой нижней челюстью, который сидел рядом с ней и порой что-то ей шептал, вероятно смешное, потому что каждый раз она улыбалась и наклоняла голову. «Он с ней вдвоем против всех,— с удовольствием подумал Лапшин.— Злой, наверно, старикан!» И он вспомнил фамилию старика, и вспомнил, что видел его в роли Егора Булычова, и вспомнил, как хорошо играл старик.

Наконец начальник попрощался и ушел.

— Товарищ Лапшин обеспечит вам помощь и руководство,— сказал он в дверях,— прошу адресоваться к нему!

Артисты по-прежнему сидели у стен. Лапшин потушил окурок, сел в свое кресло и негромко, глуховатым баском, спросил:

— Я не совсем понимаю, чем могу вам помочь. Может быть, вы расскажете?

Тогда взял слово молодой артист в кепке особого фасона и с очень страдальческим и изможденным лицом и стал рассказывать содержание пьесы, которую театр ставил. Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяжении четырех действий рассказывала о том, как перестраивались вредители, проститутки, воры, взломщики и шулера — числом более семнадцати — и какими они хорошими людьми сделались после перестройки. Как ни внимательно вслушивался Лапшин в путаную и вялую

речь артиста, он так и не понял, когда же и отчего перестроились все эти люди. Кроме того, артист рассказывал с большим трудом и стесняясь,— с ним происходило то, что происходит с каждым непрофессионалом, рассказывающим профессионалу,— он путался, неумело произносил жаргонные слова и часто повторял: «Если это вообще возможно». Очень раздражал Лапшина также и полупонятный лексикон артиста, например: «На сплошном наигрыше», или: «Это крепко сшитый эпизод», или: «Формальные искания завели нас в тупик, и мы пошли по линии. . .»

— Понятно! — сказал Лапшин, хотя далеко не все было ему понятно.— Но я вас должен предупредить, что вы не очень правильно ориентированы. . .

Он наморщил лоб, взглянул на артистку в берете и на старика и понял, что они довольны его тоном и что они ждут от него каких-то очень важных для них слов. У артистки глаза стали совсем круглыми, а старик с ханжески-скромным видом жевал губами. Глядя на старика, Лапшин продолжал:

— Уж не знаю, откуда эти идейки берутся, но они неверны. Вот я по вашим словам так понял, что все эти воры, и проститутки, и марвихеры, и жулики с самого начала чудные ребята и только маленечко ошибаются. Это не так. Это неверно. Вор в советском государстве — не герой. Это в капиталистическом государстве могут найтись. . . люди (он хотел сказать «дураки», но постеснялся и сказал «люди»), люди,— повторил он,— которые считают, что вор против собственности выступает и потому он герой, а у нас иначе. Ничего в этом деле ни героического, ни возвышенного нет,— сказал Лапшин, раздражаясь,— поверьте мне на слово, я этих людей знаю. Вот у нас в области один дядя Пава украл из колхоза семь лошадей и сделал контрреволюционное дело. Мужики из колхоза разбрелись и говорят: «Не были мы колхозные — и лошади были, а стали колхозные — и лошадей нет». Я дядю Паву поймал и посадил в тюрьму, и дядя этот, оказалось, работал не от себя, а от целой фирмы. Сознался. Воры — народ неустойчивый, их легко можно купить. Вот Паву-то кое-кто и купил. . .

— Пьеска прелестная, — вдруг сказал старик,— необыкновенно грациозно написанная и колоритная и все такое, и даже проблемная в том смысле, что там жулики куда интереснее порядочных людей. . .

Он закашлялся и сказал лживо-взволнованным голосом:

— Побольше бы таких пьес!

Рыжая актриса огрызнулась, и Лапшин опять подумал, что тут происходит бой.

— Это, конечно, и к проститутке относится,— вновь заговорил Лапшин,— и ко всем решительно. Безработицы у нас нет, основная база этого ремесла разрушена. Все остальное — психология. Мало ли там слабых и психически неустойчивых? Эдак любую, самую невероятную, подлость оправдать можно. Дескать, неуравновешенный. Мне дела, знаете ли, нет, кто мне горло перерезывает: уравновешенный или неуравновешенный. Ежели не болен, то и отвечай по-нашему, по-советскому, по закону. Верно я говорю?

— Верно! — сказал толстый старик и захохотал, тряся головой.— Верно, батенька, я сам с шулером на Волге играл, и тот из меня три тысячи двести рублей кровных сбережений вытянул. Не могу я симпатягу из шулера разыгрывать, коли мне до сих пор тошно, как вспомню. Я лучше сам себя сыграю, какой я был в те поры хороший и чистый.

Все засмеялись, и Лапшин сказал улыбаясь:

— Правильно, конечно. Прожили мы почти двадцать лет, нечего валять дурака. Сидит у меня сейчас один мальчик — Карлуша Гринблат. Из хорошей рабочей семьи, а сам прохвост, начал свою деятельность с того, что воровал в годы первой пятилетки баббит с завода. Не хватало ему на «красивую» жизнь. Ну и что, ну и не хватало, так сейчас бы хватило. Для него, дурака, старались, верно? Так ведь что? «Во мне, говорит, проклятое прошлое!» Как вам нравится? «А ты, спрашиваю, это прошлое видел? Когда Октябрьская революция ударила, ты еще в Африке вороной летал». Молчит.

Лапшин выжидательно оглядел артистов. Все молчали, и Лапшин ясно понял, что все то, о чем он говорил, артистов не устраивало по каким-то причинам, ему неизвестным. Довольными были только девушка в берете и старик артист с большой нижней челюстью, который сидел рядом с нею.

— Так-то! — среди общего молчания сказал старик.— Выходит, что мы с Адашовой правы, а не Викентий Борисович.

Завязался вдруг непонятный Лапшину спор. Все набросились на старика с челюстью, и Лапшин с досадой думал о том, что это совершенно его не касается, что он хочет есть и спать.

Когда спорить перестали, ему уже было лень говорить. Он встал и сказал, что кто из товарищей хочет поближе познакомиться с делом, тот может заходить к нему в любое время, разговаривать же на общие темы, по его мнению, не стоит.

Все начали говорить, что на общие темы тоже чрезвычайно интересно и что они уже многое получили и пусть Лапшин еще побеседует.

Зазвонил телефон.

— Так вот, товарищи,— сказал Лапшин, переговорив и вешая трубку,— я должен только добавить несколько слов по поводу того, что называется в просторечии перестройкой. . .

И, посасывая зажеванный мундштук потухшей папиросы, он деловито и коротко заговорил о том, что в перестройке основным является профессия, что людям дают профессию и таким путем превращают их из люмпенов в трудящихся.

— Затем дело, работа,— говорил он,— строится канал или плотина — люди видят плоды своих рук. . .

Вынув связку ключей, он открыл шкаф и достал оттуда свою гордость — большие, унылого вида альбомы с фотографиями.

— Поглядите! — говорил он небрежным тоном.— Тут у меня кое-что собрано, я лет пятнадцать собираю. . .

И, раздав на руки альбомы, он с тревогой следил, как бы не выпала и не затерялась фотография, как бы кто-нибудь не поцарапал эмульсию на карточках, как бы не перегнули листа. . .

— Это все мои крестнички,— говорил он, наклоняясь над артисткой в берете и над стариком, который с довольным лицом потирал свой длинный подбородок.— Но тут просто портреты, а вот этот альбом куда занятнее. . .

И, придвинув одним движением своей сильной руки тяжелый, из дуба, столик, он раскрыл на нем папку и стал показывать фотографии, поглядывая то на Адашову, то на старика с тем выражением глаз, которое бывает у художников, показывающих свою картину,

— Тут, знаете, мы кой-чего разыграли,— говорил он,— такие как бы живые картины. Это все сотрудники наши изображены. Это, например, разбойный налет. А это, знаете ли, вон он, лично я в кепке, налетчика изображаю с маузером. Это здесь все точно показано,— говорил он, возбуждаясь от поощрительного покашливания старика,— здесь все как в действительности. А здесь уже показано, как наша бригада выезжает на налет. Тут уже я в форме... А здесь я опять налетчика разыгрываю...

— Чудно! — сказала Адашова и повернулась к нему всем своим улыбающимся и розовым лицом, и он увидел, что щеки ее покрыты нежным пушком.

— Верно, ничего разыграли? — весело и просто спросил он.— Это, знаете ли, в учебных целях, своими силами, а уж мы разве артисты?

— Все очень живо и естественно,— сказала Адашова,— напрасно вы думаете...

— Смеялись мои ребята,— говорил Лапшин,— цирк прямо был...

И, очень довольный, Лапшин завязал папку и стал рассказывать о налете, который инсценировал. Артисты его обступили, и он очень понимал, что им хочется рассказа пострашнее, но врать он не умел, да еще по привычке совсем убирал из рассказа все ужасное и ругал бандитов.

— Да ну,— говорил он посмеиваясь,— так, хулиганье вооружилось. Разве это налетчики?

— А Ленька Пантелеев? — спросил артист с бритым лбом.

— Да ну что! — сказал Лапшин.— Ну бандит... Это все писатели выдумали, нам их не обскакать...

Ему было досадно, что артисты спрашивают о страшном, а не о том, о чем действительно стоит рассказывать и что действительно помогло бы им в будущем спектакле, и он, сделав вежливое лицо, стал забирать и ставить в шкаф свои альбомы и папки.

— А вот скажите, это убийство тройное на днях было,— спросила старая артистка с двойным подбородком.— Как вы себе представляете психологию убийцы?

— Не знаю,— сказал Лапшин.— Бандит еще не найден.

— Ах, так! — любезно сказала артистка.

— Да, — сказал Лапшин, — к сожалению.

Прижав коленкой дверцу, он запер шкаф и остановился посередине кабинета в ожидающей позе.

— А вот скажите,— спросил лысый артист и склонил свою яйцеобразную голову набок,— убийства на почве ревности, страсти роковые вам случалось видеть?

— Случалось,— сказал Лапшин.

— И... как же? — спросил артист.

— Я работаю по преступности много лет,— сухо сказал Лапшин,— мне трудно ответить вам коротко и ясно.

— Ну, спасибо вам! — сказал вдруг тучный артист в крагах и стал пожимать Лапшину руку обеими руками.— Я очень много почерпнул у вас. От имени всего коллектива благодарю вас.

— Пожалуйста! — сказал Лапшин.

Пока они собирались уходить, он открыл форточку, надел шинель и позвонил, чтобы давали машину. Досады и раздражения он уже не чувствовал и, спускаясь через три ступеньки по служебной лестнице, с удовольствием представлял себе Адашову. Машины у подъезда еще не было. Стоя в дверной нише служебного выхода и оглядывая после тяжелого дня огромную, белую от снега площадь, он вдруг услышал голос одного из актеров, с досадой говорившего:

— Да полно вам, дурак ваш Лапшин! Чиновник, тупой человек и грубиян в довершение!..

Мимо табунком прошли артисты, и толстый старик в крагах, тот, что давеча обеими руками пожимал руку Лапшину, брюзгливо говорил:

— Чинуша, чинодрал, фагот!

«Почему же фагот? — растерянно подумал Лапшин.— Что он, с ума сошел?»

Сидя за рулем машины, он по привычке припоминал свой разговор с артистами и, только восстановив все до последнего слова, решил, что он был прав, коротко отвечая на пространные вопросы, что отвечать иначе на эти вопросы решительно было невозможно и что психология преступления и все прочие высокие темы не укладываются в вопросы и ответы на ходу, а потому прав он, Лапшин, а не артист в крагах.

«И не чиновник я,— рассуждал Лапшин,— и не чинуша,— это ты врешь. Сам ты, вероятно, чинуша, а я нет. Правда, я грубоватый иногда, но нельзя же такие глупые вопросы задавать! И вообще чудак народ! —

неодобрительно, но уже весело думал Лапшин, нажимая кнопку сигнала,— ему очень хотелось проехать между трамваем и автобусом, а автобус не уступал.— Чудак, ей-богу, чудак».

И, позабыв о неприятном старике в крагах, он стал думать про Адашову и про то, как она похвалила его фотографии.

5

Васька от безделья и скуки обзвонил всех своих знакомых и сообщил, что болен, поэтому, когда Лапшин вернулся домой, телефон беспрерывно трещал и Васька лживым голосом поминутно с кем-то объяснялся. Пока обедали, Лапшин терпел, потом сказал:

— Довольно! Надоело! Сними трубку!

Он разулся и, наморщив лоб, сел возле радиоприемника. В эфире не было ничего интересного. Женский голос передавал «Крестьянскую газету», потом кто-то сказал:

— Вогульские народные песни, собраны исполнительницей. . .

— Черта собраны! — сказал Лапшин, но все-таки послушал. При этом у него было плачущее лицо.

— Бросьте, Иван Михайлович! — крикнул с постели Васька.— Пусть лучше лекцию читают.

Наконец Лапшин услышал, что сейчас будет сыграно действие из какой-то пьесы. Мужской голос с железными перекатами говорил, кто кого будет играть.

— Это про посевы,— сказал Васька,— я уж знаю. В это время всегда про посевы. Один артист будет за корнеплода играть, другой — за подсолнух, третий — за сельдерей. . .

— Помолчи! — сказал Лапшин.

— Тут давеча без вас картошка пела,— не унимался Васька,— так жалобно, печально: «Меня надо окучивать-окучивать. . .» Не слыхали?

— Нет,— сказал Лапшин и лег в постель.

Он любил театр и относился к нему с той почтительностью и серьезностью, с какой вообще относятся к театру люди, не сделавшие искусство своей специальностью. Каждое посещение театра для Лапшина было праздником, и, слушая слова со сцены, он обычно искал в них серьезных и поучительных мыслей и старался эти

мысли обнаружить, даже если их и вовсе не было. Если же их никак нельзя было обнаружить, то Лапшин сам выдумывал что-нибудь такое, чего хватило бы хотя на дорогу до дому, и рассуждал сам с собой, шагая по улицам. И, как многие скромные люди, он почти никогда не позволял себе вслух судить об искусстве и если слышал, как его товарищи толкуют о кинокартине, книге или пьесе, то обычно говорил:

— Много мы, ребята, что-то понимать стали! А? Грамотные, умные! Ты поди сам книгу напиши, а я погляжу. . .

Но огромный жизненный опыт и знание людей волей или неволей научили его отличать жизненную правду от подделки ее искусством, и он знал и любил то ни с чем не сравнимое чувство острой радости, которое возникало в нем при соприкосновении с подлинным искусством. Тогда он забывал о мыслях, сам не думал и только напряженно и счастливо улыбался, глядя на сцену, или на экран, или читая книгу,— независимо от того, трагическое или смешное он видел, и в это время на него приятно и легко было глядеть. И на следующий день он говорил в управлении:

— Сходил я вчера в театр. Видел пьеску одну. Да-а!

И долго потом он думал о книге, или о пьесе, или о картине, что-то взвешивал, мотал своей круглой упрямой головой и опять говорил через месяц или через полгода:

— Представлен там был один старичок. Егор Булычов некто. Нет, с ним бы поговорить интересно. Я таких видал, но не догадывался. Это старичок!

И долго, внимательно глядел на собеседника зоркими голубыми глазами.

— Интересно? — спрашивал собеседник.

— Да пожалуй, что интересно,— неторопливо и неуверенно соглашался Лапшин, боясь, что слово «интересно» чем-то оскорбит пьесу, которую он видел.

По радио передавали одно действие из пьесы, о которой Лапшин довольно много слышал, но которая ему чем-то была неприятна. На эту пьесу устраивали культпоход, и товарищи Лапшина очень ее хвалили, и когда хвалили, Лапшин почему-то не верил и улыбался. В культпоходах он никогда не принимал участия — любил бывать в театре один. Ему не нравилось в антрак-

тах обмениваться впечатлениями и вместе пить лимонад. И праздник ему не удавался, если ходили вместе: слишком уж было шумно, суетно и слишком много говорили.

В этой пьесе речь шла о каком-то, вероятно уже пожилом, человеке, который предполагал, что умирает из-за неизлечимой болезни, и который на этом основании держался особенно жизнерадостно, бодро и притом с ненавистной Лапшину многозначительной простотой. Каждая фраза этого человека раздражала Лапшина. Ему было обидно и грустно еще и потому, что артист, игравший умирающего, с превосходной внешней точностью и правдивостью изображал голосом человека, Лапшину как бы известного, как бы близко знакомого, несомненно существующего и если бы даже и заболевшего смертельной болезнью, то ни в коем случае так бы не державшегося.

Лежа, по своей привычке, лицом к стене и слушая, как обреченный к смерти человек правдивым голосом поучал других восторженных и глупых людей разводить кроликов, Лапшин хотел было уже выключить радио, как вдруг его внимание привлек знакомый голос актрисы, которая давеча похвалила его фотографии. Он сразу узнал ее голос и вспомнил ее лицо — некрасивое, молодое, с круглыми глазами и большим ртом, розовым и ненакрашенным, как у других актрис. Оттого что он узнал ее голос по радио, Лапшину стало приятно. Он повернулся на спину и крикнул Патрикеевне, чтобы она не бормотала и не мешала. В голосе актрисы ему послышалась интонация, обрадовавшая его,— правдивая и, как показалось ему, уловленная не внешне, а изнутри.

Актриса играла комсомолку, молоденькую и разбитную девушку, искреннюю, неглупую, но не постигшую еще всей сложности жизни и потому наивную. И несмотря на то что Лапшину противен был тот длинно и демонстративно просто умирающий человек, он почти с умилением слушал трогательные по прямоте, восторженности и наивности фразы девушки. То, что написал драматург, было пошло, кокетливо и лживо. Актриса же осветила все это по-своему, и Лапшин, лежа на кровати с закрытыми глазами, думал о том, что он знает таких девушек и юношей, верит им и любит их. И чем дальше, тем менее лжив становился умирающий, тем

мягче и умиленнее разговаривал он с этой молодой и наивной девушкой, и Лапшин вдруг, сам того не желая, поверил в реальность разговора и вздохнул коротенько и жалобно, подумав, что все умрем и что умирать жалко.

— Здорово, собака, играет! — размягченным голосом, лежа на своей кровати, сказал Васька.

Лапшин не ответил. Из радиорупора донесся жалобный и некрасивый плач девушки, узнавшей, что ее собеседник скоро умрет.

— Все там будем! — по-бабьи сказал Васька и закурил, чтобы не волноваться.

Явилось какое-то третье лицо, и опять умирающий заговорил отвратительно-скромным и ханжески-простым голосом. Девушка попрощалась, еще поплакала и ушла. Действие кончилось. Диктор медным голосом прочитал, кто кого играл. Комсомолку играла Адашова, артистка театра, по названию напоминавшего ДЛТ — Дом ленинградской торговли.

— Важно разыграли! — сказал Васька.— Верно, Иван Михайлович?

— Важно,— согласился Лапшин и опять вздохнул.— Как бы она ревела,— сказал он, садясь на матраце,— ежели бы видела смерть настоящих людей! Умирал у меня в группе,— я тогда на борьбе с бандитизмом работал,— и был у меня такой паренек Першенко, молодой еще, совсем юный, так вот он умирал. Ну, брат...

Лапшин поискал вокруг себя на постели папиросы, закурил и стал рассказывать, как умирал Першенко.

— А когда мы его хоронили,— говорил Лапшин,— то лошаденка по дороге на кладбище от голода пала. Понесли гроб на руках. Смехота! Красивый был парень Першенко, Жора его звали, смелый! Двое детишек осталось. А наша группа, когда банду всю повязала, постановила: от своего пайка за месяц десятую долю послать ребятам Жоркиным. И вышло пятнадцать фунтов сахару-мелясу, знаешь, желтый такой? Я год назад заходил к ним, к Першенкам,— ничего живут, оба паренька работают. Чай у них пил с медом. А мамаша опять замуж вышла. И муж у нее такой ерундовский, замухрышка! Кассир в театре. Конечно, кассир тоже дело делает,— можно билеты медленно продавать, а можно быстро. Только за Жорку мне обидно. Орел был!

— Коммунист? — спросил Окошкин.

— Беспартийный.

Постучал Ашкенази, поставил Ваське термометр и сказал:

— Умерла у меня сегодня одна старушка. Я к ней пришел, разговариваю, а она бац — и преставилась. Милая была старушка, сама для себя мыло варила, покупным не мылась — говорила, что оно из покойников. И в свое клала ягоды — землянику. И вдруг запятая! А?

— Бывает,— сказал Лапшин.

— Тридцать семь и семь,— сказал Васька.— Привет от старушки!

Лапшину стало скучно. Он взглянул на часы — было половина двенадцатого — и вызвал машину.

— Куда? — спросил Васька.

— Поеду к Бычкову,— сказал Лапшин,— на квартиру. Ему баба житья не дает, надо поглядеть.

Он надел шинель, сунул в карман дареный браунинг и сказал из двери:

— Ты микстуру пей, дурак!

— Оревуар, резервуар, самовар! — сказал Васька.— Привези папирос, Иван Михайлович.

6

Когда он вошел в комнату, на лице Бычковой выразилось сначала неудовольствие, а затем удивление. Она стирала, в комнате было жарко и пахло мокрым, развешанным у печи бельем.

— Бычкова нет дома,— сказала она,— и он не скоро, наверно, придет.

— Я к вам,— сказал Лапшин,— и знаю, что он не скоро придет.

— Ко мне? — удивилась она.— Ну садитесь!

Стулья были все мокрые. Она заметила его взгляд, вытерла стул мокрым полотенцем и пододвинула ему. Он видел, что она поглядывает на его нашивки.

— Вы стирайте,— сказал он,— не стесняйтесь! Я ведь без дела, так просто заглянул.

Она ловко вынесла корыто в кухню, вынесла ведра, бросила мокрое белье в таз и очень быстро накрыла стол скатертью. Потом сняла с себя платок и села против Лапшина. Лицо ее выражало недоверие.

— Полный парад! — сказал Лапшин.

Бычкова промолчала.

— А вы кто будете? — спросила она.— Я ведь даже и не знаю.

Голос у нее был приятный, мягкий, выговаривала она по-украински — не «кто», а «хто».

— Моя фамилия Лапшин,— сказал он.— Я начальник той группы, в которой работает Бычков. А вас Галина Петровна величать?

— Да,— сказала она.

Лапшин спросил, можно ли курить, и еще поспрашивал всякую чепуху, чтобы завязался разговор. Но Бычкова отвечала односложно, и разговор никак не завязывался. Тогда Лапшин прямо спросил, что у нее происходит с мужем.

— А вам спрос? — внезапно блеснув глазами, сказала она.— Який прыткий!

— Не хотите разговаривать?

— Что ж тут разговаривать?

Он молча глядел на ее порозовевшее миловидное лицо, на волосы, подстриженные челкой, на внезапно задрожавшие губы и не заметил, что она уже плачет.

— Ну вас! — сказала она, сморкаясь в полотенце.— Вы чужой человек, чего вам мешаться... Еще растравляете меня...

Полотенцем она со злобой отерла глаза, поднялась и сказала:

— А он пускай не жалуется! Як баба! Ой да ай! Тоже герой!

— Герой,— сказал Лапшин.— Что же вы думаете, товарищ Бычков — герой!

— Герой спекулянтов ловить,— со злобой сказала она.— Герой, действительно!

— Ваш Бычков герой,— спокойно сказал Лапшин,— и скромный очень человек. Он по конокрадам работает, а лошадь в колхозе — дело первой важности. Он дядю Паву поймал, слыхали?

— Слыхала,— робко сказала Бычкова.

— А кто дядя Пава, слыхали?

— Конокрад,— сказала Бычкова,— лошадей уворовал.

— «Уворовал»,— передразнил Лапшин.— Увел, не уворовал.

— Ну, увел,— согласилась Бычкова.

— А что он в вашего Бычкова из двух пистолетов стрелял, это вы знаете?

— Нет,— сказала она.

— Не знаете! — как бы с сочувствием сказал Лапшин и подогнул один палец.— Не знаете,— повторил он.— А что вашему Бычкову два года назад, когда вы спокойненько в школе учились, кулаки-конокрады перебили ногу и он в болоте, в осоке, восемь суток умирал от потери крови и от голода, это вы знаете?

— Нет,— тихо сказала она,— не знаю.

— Так! И это не знаешь,— со злорадством в голосе, внезапно перейдя на «ты», сказал Лапшин и подогнул второй палец.— Что же ты знаешь? — спросил он. — А, Галина Петровна?

Она молчала, опустив голову.

— Твой Бычков знаешь какой человек? — спросил Лапшин.— Знаешь?

Она взглянула на него. Он вдруг чихнул и сказал в платок:

— Нелюбопытная вы женщина, вот что!

Лапшин еще чихнул и крикнул, морщась:

— Понесли черти! У меня форточка в кабинете, и в затылок дует.

Отдышавшись, он сказал:

— Вот как!

И добавил:

— Так-то! Вы бы меня про него спросили. Ему лично со всего Союза письма пишут, он спаситель и охранитель колхозного добра. . .

— Я ж этого ничего не знаю,— сказала она,— он же мне ничего не говорит. «Поймал жулика, жуликов поеду поймаю, в колхоз поеду, в совхоз поеду, хорошего жулика поймал. . .»

— А вы спросите! — назидательно, опять перейдя на «вы», сказал Лапшин.— Чего ж не спросить?

— Да он не скажет.

— Чего нельзя — не скажет, а что можно — скажет. Я его знаю, из него всякое слово надо клещами вытягивать. Он боится, что неинтересно, что подумают, будто он трепач, хвастун. Он знаете какой человек? Махорку всегда курил, а хороший табак любит, это мне известно. Премировали мы его,— так он табаку себе все-таки не купил. Говорит — а чего там, подумают, Бычков загордился. А деньги небось вам отдал?

— Мне,— сказала Бычкова,— на пальто. У меня пальто не было зимнего.

— А вы ему табаку купили?

— Так он не хочет,— густо краснея, ответила она,— курит свою махорку. . .

— «Махорку»,— передразнил Лапшин,— «махорку»! Эх вы, дамочка!

— Я не дамочка,— сказала Бычкова,— сразу уж в дамочки попала.

Она заморгала, готовясь заплакать, и, несмотря на досадливый вздох Лапшина, все-таки заплакала.

— Сами плачете,— кротко сказал Лапшин,— а сами ему глотку переедаете. Нехорошо так!

— Я себе в Каменце жила,— говорила она, плача и пальцами вытирая слезы.— Он приехал, в гостинице жил. Я с ним познакомилась. Говорит — поедем, поедем. В оперетку два раза сходили, на «Марицу», знаете, и на «Веселую вдову». Видали? И потом я как-то влюбилась в него, что он такой тихий, молчаливый. Смотрю — гимнастерку сам себе зашивает белыми нитками...

Она засмеялась, и слезы еще чаще полились из ее черных больших глаз.

— Жалко, так жалко мне стало! «Дайте, кажу, вашу гимнастерку. . .» И потом гуляли мы с ним до самого утра, а потом уже пошли, расписались. Несчастье мое, поехала с ним в Ленинград. «У нас, каже, театры, кино, опера, балет. . .»

— Ну? — спросил Лапшин.

— От вам и ну,— плача все сильнее и сильнее, воскликнула она,— чтоб она сгорела, тая жизнь. Знакомых у меня тут нет, родственников нет, ничего нет — одна эта комната, а он зайдет, покушает, поспит и пошел. А то уедет на месяц! Позвонит из управления: «До свидания, Галочка, будь здорова, я в Петрозаводск уезжаю!» — «Уезжай, кажу, к свиньям, чтоб ты подох, чертяка!» Трубку телефонную як кину об стенку, аж брызги полетели. Двенадцать рублей за ремонт отдала. . .

Закрыв лицо руками, она вышла на кухню, и оттуда послышались ее горькие, громкие рыдания.

Лапшин вспотел, уши у него горели: «Вот антимония!» — думал он, уставившись в полуоткрытую дверь.

— Чай будете пить? — крикнула она из кухни.— Мне мама варенья прислала вишневого.

— Буду,— сказал он.

Было слышно, как она на кухне наливала в примус керосин, как мыла что-то под краном, как сказала:

— Опять чайник утянули, холера вам в бок!

И как старушечий голос ответил:

— Психопатка дурная! Задавись своим чайником!

Лапшин покрутил головой и вздохнул.

Она вернулась в комнату, напудрилась и сказала, садясь на прежнее место против Лапшина:

— Вот так и живу. Хорошо?

— Ничего,— сказал Лапшин,— надо лучше.

— А то гулять пойду,— сказала она и вспыхнула,— пойду и пойду...

— Очень вы себя жалеете,— сказал Лапшин.— Что тут особенного, подумаешь?

Он поднялся, сбросил шинель и прошелся по комнате из угла в угол.

— Я сама машинистка,— сказала она, глядя на него снизу,— я в Каменце в милиции работала — двести ударов в минуту делала, а тут уже не работаю. Если работать, тогда я его вовсе и не увижу. Он прибежит, а меня и дома нет. Кто ему покушать даст? Вы?

— Почему я? — удивился Лапшин.

Она принесла чайник, масло, варенье и нарезала хлеба.

— Если хотите,— предложил он,— то я могу вас к себе взять в бригаду машинисткой. А нашу я тогда налажу к Куприянову — он просил. Будете вместе с Бычковым работать.

— Хочу,— тихо сказала она.

Чай они пили молча, изредка поглядывая друг на друга, и Лапшин видел, что глаза у Бычковой еще полны слез. Выпив два стакана, Лапшин объяснил ей, как надо заваривать чай. Она слушала его покорно и внимательно.

— И табаку Бычкову купите,— неожиданно сказал он.— Уважьте его. Есть табак под названием «Ялта» или «Особенный». Вот купите четвертку. Он и будет заворачивать.

Наклонившись через стол, Лапшин добавил:

— Время не такое. Неловко, с другой стороны, махорку курить. Поняла?

— Поняла.

Потом, покуривая папиросу и прихлебывая чай, Лапшин говорил о том, что им обоим — и мужу и жене — надо бы летом съездить на юг, на море или в Боржоми.

— О, брат, Боржоми! — говорил Лапшин, налегая

на стол и тараща глаза.— Лечение блестящее, но моря нет. Без воды. А? Помиритесь без воды?

— Нет, с морем лучше,— сказала Бычкова.— Я море обожаю. Разве может быть курорт без моря?

— А Кировск? — воскликнул Лапшин.

— Хорошо?

— Спрашиваете! — сказал Лапшин.— Конечно хорошо.

— Нет уж, север — это какой курорт! Это не курорт. . .

— Глупо говорите! — сказал Лапшин.— Не знаете — не говорите.

Он помолчал, потом вынул записную книжку и спросил, ставя карандашом точку:

— Ленинград?

— Да.

— А сюда Рыбинск. Раз, два, три — через Горький до Астрахани по Волге. Из Астрахани по Каспию до Баку. Из Баку в Тбилиси — раз! Из Тбилиси в Батуми — два! Из Батуми на теплоходе до Одессы — четверо суток, представляете себе? Потом из Одессы в Ленинград — раз, два, три!

— Да,— сказала Бычкова.

Во втором часу ночи вернулся Бычков. Увидев у себя в комнате начальника, он смутился, но скоро повеселел, сел возле горячей кафельной печи на стул верхом и молча пил чай стакан за стаканом.

— Вы заходите,— говорила Бычкова, провожая Лапшина по коридору.— Или хотите, я к вам зайду?

— Ладно, зайдите,— сказал Лапшин.— А завтра пришлите мне заявление и справки там, какие нужно. Ну, будьте здоровы!

Так как шофера он отпустил, то назад пришлось идти пешком. Очень хотелось спать. Но все-таки по дороге он заглянул в две пивные. Заведующий пивной-подвальчиком сказал ему:

— Не извольте беспокоиться! Полный порядочек! Был тут один, по прозванию Козодой,— наладили в отделение.

— Кривой, что ли?

— Так точно.

— А прилавок кто разворотил?

Заведующий смущенно улыбался.

— Поцарапались тут две мышки.

— То-то мышки! — сказал Лапшин.— А еще культурная пивная! Безобразие разводите! Ваша как фамилия?

— Разводящий,— сказал заведующий.

— Так вот, чтобы был порядок!

— Слушаюсь.

— И никаких мышек! И руки надо чистые иметь! Понятно?

Он ушел, коротко козырнув. Дома разделся, снял телефонную трубку и заснул с нею в руке — не успел ее повесить.

7

Его разбудила Патрикеевна — нужны были деньги идти на рынок. Он долго ничего не понимал, потом сказал:

— Поди ты, ей-богу! Откуда у меня деньги перед получкой?

— У меня есть свои,— сказала Патрикеевна,— могу на свои в долг сходить. Вы запомните!

— Ну и чудно!

Он проспал еще минут десять-пятнадцать и, проснувшись, вдруг вспомнил вчерашний свой разговор с Бычковой. «Им бы квартиру дать,— сонно думал он,— под охру бы всю. А? С кухней, с уборной, с ванной, чтобы культурненько. И с медной дощечкой на дверь». Он дремал, ворочался на воющих пружинах матраца и сквозь дремоту вдруг размечтался о том, чтобы всем работникам своего отделения выдать по квартире. «А чего ж,— думал он,— построю дом на сорок шесть квартир — и пожалуйста! И распишусь!» И, уже заснув, он сделал такое движение рукой под одеялом, как будто расписывался. «И семафор,— решил он,— и двадцать пять этих...» Он что-то забыл, взглянул на новый дом и сказал: «Вот чудненько!» И понял, что все это ему приснилось. «Ничего, построим,— думал он,— и Ваське комнату дадим! Хорошо бы рояли в квартирах, пальмы. Телевизоры, черт бы их драл, бассейн там плавательный».

— Вставай, Васюта,— сказал он,— пора!

Встал, вскипятил чайник и сел за стол в кальсонах с завязками, почесывая голову.

— Здоров? — спросил он.

— Ослабел,— сказал Васька.— Пропал мальчик!

Все утро Лапшин не мог отделаться от мыслей по поводу дома и, вздыхая, придумывал новые и новые усовершенствования: детскую площадку, лифты, дырки в стенах, чтобы грязное белье проваливалось прямо в прачечную.

Потом привели дядю Паву — степенного, очень красивого конокрада. Покашляв в ладонь, дядя Пава сел на стул и положил руки на колени. Когда Лапшин на него взглянул, он произнес:

— Здравия желаем!

— Здравствуйте! —сказал Лапшин.— Что имеете добавить к показаниям?

— Никаких я показаний не давал,— произнес дядя Пава,— которое у вас написано — все вранье. В расстройстве был за несправедливость и наговорил невесть чего.

Злобно-лукавые его глаза внезапно погасли, сделались мутными. Он пригладил большой ладонью синие, с цыганскими кольцами, кудри и потупился.

Лапшин молчал.

— Да-с,— сказал дядя Пава,— оговорили меня. Паршивец стал народ.

— Сам у себя коней ворует? — спросил Лапшин.

— Вполне возможно,— сказал дядя Пава,— ворует мало — еще клевещет.

Лапшин опять замолчал. Его большое лицо потемнело. Он покашлял, порылся в деле, потом позвонил и велел вызвать Бычкова. Тот пришел, хромая, в дверях вынул изо рта пустой мундштук и встал «смирно».

— Дело можно полагать законченным,— сказал Лапшин.— Следствием установлено, что кулак Шкаденков действительно совершал налеты, уводил коней и так далее. Тут я выделил убийство конюха Мищенко. Обратите внимание!

— Слушаюсь! — сказал Бычков.

Вошел секретарь и сказал, что к Лапшину пришла какая-то гражданка из театра.

— Пустите,— сказал Лапшин.

Тяжело поднявшись с кресла, он встретил Адашову у двери. Она была в той же пегой собачьей шубе, и лицо ее с мороза выглядело свежим и совсем еще юным.

— Можно? — робко спросила она, но, заметив спину дяди Павы и фигуру Бычкова, торопливо шагнула назад.

— Ничего,— сказал Лапшин,— посидите пока.

Она села на стул у двери, а Лапшин опять опустился в свое кресло.

— На расстрел дельце пошили,— сказал дядя Пава.— Верно, гражданин Лапшин?

Он глядел на Лапшина из-под припухших коричневых век таким острым, ничего не боящимся взором, что Лапшину вдруг кровь кинулась в голову. Он ударил кулаком по столу и крикнул:

— Молчать!

Но тотчас же сдержался и сказал:

— Я спрашиваю, а не вы.

— Это конечно,— согласился дядя Пава.

Он опять провел ладонью по кудрям, и Лапшин заметил его взгляд, брошенный на Бычкова,— косой, летящий и ненавидящий. Бычков же поглядел на него внимательно и вдруг усмехнулся.

— Дело прошлое,— сказал он,— это вы мне ногу прострелили, Шкаденков?

— Боже упаси! — ответил конокрад.— В жизни я по людям не стрелял.

И он облизал свои красные, еще красивые губы.

— Резал, верно,— сказал он,— ножиком резал. И вас порезал на Береклестовом болоте, ударил ножиком, помните?

— Как же,— сказал Бычков,— в плечо. Верно?

— И в спину еще ударил,— напоминал конокрад,— думал, грешным делом, мертвого режу, но нет — не вышло.

— Не вышло,— подтвердил Бычков.

— Живучи,— почтительно сказал конокрад,— аж завидно.

— Живуч,— согласился Бычков и спросил: — Все за свое, за доброе?

— Не за чужое,— сказал конокрад,— но при помощи.

Он оглядел Лапшина и Бычкова и добавил:

— Я смелый. Как вы считаете?

— Мертвого ножом резать — это, конечно, смелость,— сказал Бычков и спросил у Лапшина, можно ли идти.

Он увел с собой дядю Паву, и Лапшин сказал Адашовой:

— И такие тоже бывают. Но редко.

— Страшный господинчик,— сказала Адашова.

— Ничего, достали,— ответил Лапшин.

Он молча поглядел Адашовой в глаза, потом спросил:

— За что это меня ваш старик чиновником обругал? Не помните?

Адашова потупилась и покраснела до того, что Лапшину стало ее жалко.

— Ну, леший с ним! — сказал он, по-детски складывая губы и сдувая со стола папиросный пепел.— Шут с ним, с вашим артистом!

— Все это было позорно,— сказала она,— весь этот наш визит к вам. Такие глупые вопросы...

— Да нет, вопросы не то чтобы уж и глупые,— сказал Лапшин,— но не люблю я про психологию разговаривать. Вот возился я с одним убийцей восемь месяцев — жену он свою убил, а тут вынь да положь — психологию. Не так это просто!

И, чтобы кончить неприятный разговор, он спросил у Адашовой: показать ей типов или она еще посмотрит фотографии?

— Не знаю,— сказала она,— как вам удобно, мне все интересно... Я, видите ли, должна играть проститутку в этой пьесе, воровку и немного даже психопатку. Так если можно, я бы поглядела...

— Точно,— сказал он,— будет устроено. Тут у меня сидит одна такая, Катька-Наполеон называется. Заводная дамочка... Вы мне про роль поподробнее изложите, я вам, может, чего посоветую,— смущенно добавил он.— Я этот народ отлично знаю.

Она стала рассказывать, а он слушал, подперев свое большое лицо руками и иногда помотывая головой. Вначале Адашова путалась и волновалась, потом стала рассказывать спокойно.

— Мне, в общем, все не нравится,— сказала она,— но роль может выйти. Как вам кажется?

— А вы с тем стариком, который с челюстью, против пьесы?

— Ах, с Захаровым! — улыбнувшись, сказала Адашова.— Нет, мы против режиссера. Режиссер у нас пло-

хой, пошлый. А Захаров — сам режиссер. Кажется, теперь Захаров будет эту пьесу ставить. У него интересные мысли есть, и мы с ним тогда у вас так радовались потому, что все наши мысли совпадали с тем, что́ вы говорили. И мы пьесу теперь переделываем... Драматург сам приехал сюда...

И Адашова стала рассказывать о том, как будет переделана пьеса.

— Так, конечно, лучше,— сказал Лапшин,— так даже и вовсе неплохо!

Он перестал чувствовать себя стесненным, и на лице его проступило выражение спокойной, даже ленивой деловитости, очень ему идущее. Адашова сидела у него долго, спрашивала, и он охотно отвечал. Говорил он обстоятельно, серьезно, задумывался и, как человек, много знающий о жизни, ничего не обшучивал. Слушать его было приятно еще и потому, что, рассказывая, он избегал какой бы то ни было наукообразности и держался так, точно ему самому не все еще было ясно и понятно.

— Темные дела происходят на свете,— говорил он, и нельзя было разобрать, осуждает он эти темные дела или находит их заслуживающими внимания и изучения.

— Вам, наверно, все люди кажутся жуликами, или ворами, или убийцами? — спросила Адашова.

— Нет, зачем же? — спокойно ответил он.— Люди — хороший народ.

И Адашова вдруг подумала, что люди — действительно хороший народ, если Лапшин говорит об этом с такой спокойной уверенностью.

— Ну а этот? — спросила она, кивнув на стул, на котором давеча сидел дядя Пава.

— Шкаденков-то? Ну, Шкаденков разве человек? Шкаденков взбесился, его стрелять надо.

— Как — стрелять? — не поняла Адашова.

— Расстреливать,— с неудовольствием объяснил Лапшин.

— И вам никогда не бывает их жалко? — спросила Адашова и испугалась, что бестактна.

— Нет,— медленно сказал Лапшин,— никогда. Был у меня один дружок,— в бандотделе[1] мы с ним работали,— так он говорил: «Вычистим землю, посадим сад,

[1] Отдел по борьбе с политическим бандитизмом.

погуляем с тобой в саду...» И не погулял,— повесило его кулачье за ноги и такое натворили с ним...

Лапшин махнул рукой и, поднявшись, спросил:

— Позвать Наполеона?

— Позовите! — сказала Адашова, и Лапшин вдруг увидел в ее глазах слезы.

— Это очень хорошо,— сказала она дрожащим голосом,— очень!

— Что? — не понял Лапшин.

— Вычистим землю, посадим сад,— сказала она,— погуляем в саду.

— Да,— сказал Лапшин, раскуривая папиросу,— я часто это вспоминаю.

Он позвонил и велел вызвать Наполеона.

Пока ходили за Наполеоном, пришла Бычкова в коричневом кожаном пальто и в белой шапочке, принесла очень длинное и выразительное заявление.

— Садитесь! — сказал Лапшин.— Гостьей будете!

Написав резолюцию, он спросил:

— Своего видели?

— Видела,— сказала Бычкова,— якогось цыгана допрашивает.

— Этот цыган ему ногу прострелил,— сказал Лапшин,— и ножом его порезал.

— От зверюга чертова! — сказала Бычкова угрожающим голосом.

— Теперь идите в отдел кадров,— сказал Лапшин,— оформляйтесь!

— Она уполномоченной работает? — спросила Адашова, когда Бычкова ушла,— тоже жуликов ловит?

— Главный Пинкертон,— сказал Лапшин смеясь.— Машинисткой она у нас будет.

Катька-Наполеон была в дурном настроении, и Лапшин долго ее уламывал, прежде чем она согласилась поговорить с Адашовой.

— Мы здесь как птицы-чайки,— говорила она,— стонем и плачем, плачем и стонем. За что вы меня держите?

— За налет,— сказал Лапшин,— забыла?

— Налет тоже! — сказала Наполеон.— Четыре пары лодочек...

— И сукно,— напомнил Лапшин.

— Надоело! — сказала Наполеон.— Считаете, считаете. Возьмите счеты, посчитайте!

— Не груби,— спокойно сказал Лапшин,— не надо.

— Как-то все стало мелко,— говорила Катька,— серо, неизящно. Взяли меня из квартиры, я в ванной мылась. Выхожу чистенькая, свеженькая, а в комнате у меня начальнички. Скушала суп холодный, чтобы не пропадал, и поехала.

Она была в зеленой вязаной кофточке с большими пуговицами, в узкой юбке, в ботах и в шляпе, похожей на охотничий пирожок. Потасканное лицо ее было еще привлекательно, но глаза уже поблекли, помутнели, и зубы тоже были нехороши — мелкие и не белые.

— Стонем и плачем,— говорила она,— плачем и стонем. Поеду теперь на край света, буду там, как Робинзон Крузо, с попкой жить. Да, товарищ начальничек? И на гавайской гитаре играть.

— Там поиграешь! — неопределенно сказал Лапшин и ушел вниз в партийный комитет.

Оттуда он поднялся к начальнику и застал там прокурора, отличного охотника, с которым не чаще раза в год лазал по болотам и бил уток.

— А я, брат, очки надел,— сказал ему прокурор.— Старею.

— Фасонишь! — сказал Лапшин.— Роговые какие-то выдумал!

— Ну что артисты? — спросил начальник.— Канительный народ? Чуть было не пропал с ними,— сказал начальник, обращаясь к прокурору,— наговорил им невесть чего. . .

Он вопросительно замолчал, надеясь, что Лапшин скажет, будто все было в порядке, но Лапшин только густо покашлял.

— Что ж, Иван Михайлович, не женишься? — спросил прокурор.— Позвал бы на свадьбу, погуляли бы!

— Да нет,— сказал Лапшин,— куда мне, я старый старичок.

— Ну уж, старичок! — смеясь, сказал прокурор и снял очки, к которым не привык и которые его стесняли.— Такие старички, Иван Михайлович, самый бедовый народ. . .

И вдвоем с начальником они стали подсмеиваться над Лапшиным и рассказывать про него те небылицы, которые мужчины рассказывают только мужчинам.

— Ладно уж! — сказал Лапшин, сам смеясь.— Вот языки-то у вас подвешены!

Начался разговор о хищениях кожи с одного склада на Пороховых и о трикотажных спекулянтах, но долго еще и прокурор, и Лапшин, и начальник во время разговора посмеивались, вспоминая шутки и анекдоты, придуманные про Лапшина.

— Мое мнение, что тут Мамалыга шурует,— сказал Лапшин,— его рук дело. И то ограбление магазина в районе с убийством сторожа — это тоже он. И с трикотажем штучки...

— Так ты возьми дело,— сказал начальник,— разработай его. Богатое будет, верно?

— Могу взять,— сказал Лапшин,— дело интересное.

Когда, обойдя всю бригаду и допросив кассира-растратчика, Лапшин вернулся к себе в кабинет, Катька-Наполеон и актриса сидели рядом на диване и разговаривали с такой живостью и с таким интересом, что Лапшину стало неловко за свое вторжение.

— Вот и начальничек,— сказала Катька.— Строгий человек!

Он сел за свои бумаги и начал разбирать их, и только порой до него доносился шепот Наполеона.

— Я сама мечтательница, фантазерка,— говорила она,— я такая была всегда, оригинальная, знаете...

Или:

— Первая любовь — самая страстная, и влюбилась я девочкой пятнадцати лет в одного, знаете, курчавенького музыканта, по фамилии Мускин. А он был лунатик и как гепнулся с седьмого этажа — и в пюре, на мелкие дребезги.

«Ну можно ли так врать?» — почти с ужасом думал Лапшин и вновь погружался в свои бумаги.

— А один еще был хрен,— доносилось до Лапшина,— так он в меня стрелял. Сам, знаете, макаронный мастер, но жутко страстный. Я рыдаю, а он бац, бац. И разбил пулями банку парижских духов. Какая была со мной истерика, не можете себе представить...

Секретарь положил перед Лапшиным на стол конверт и сказал, что человек, который принес письмо, ждет внизу в парадной.

Лапшин разорвал конверт, развернул записку и улыбнулся. Бывший вор, ныне работающий токарем на одном из крупнейших ленинградских заводов, приглашал Лапшина на октябрины своей дочки.

«Дорогой товарищ начальник,— было написано в письме,— не побрезгуйте, зайдите! Я встал на верные ноги, и ни одна душа из всех моих товарищей не знает про мое проклятое прошлое и никогда не узнает. А дочка у меня родилась чистоганом десять фунтов, и жена у меня хорошая женщина — комсомолка — и любит меня как кошка. Имею комнату, и обстановочку завел, и приоделся на трудовые сбережения, и помню, как вы мне говорили и перековывали меня отеческими словами и как даже обматерили меня, что я опять попался на грязном деле. И больше я не жулик, и проклятое прошлое мое зачеркнуто для новой жизни. Прошу вас, товарищ начальник, раз вы ко мне в гости придете, значит, и вы забыли и, значит, я новый человек. Прошу вас, приходите не в форме, а то как бы кто не подумал чего, что я из воров. А с меня за героический мой труд снята в лагерях судимость, и я имею чистенький паспорт, как цветок. И приходите с супругой — все будет в порядке и прилично, не на малине живу, прошу прийти, а звать меня по-настоящему Евгений Алексеевич Сдобников, а не шарманщик, и не Головач, и не Козел. . .»

Прочитав письмо, Лапшин позвонил вниз вахтеру, позвал к телефону Сдобникова и сказал басом:

— Что ж ты, Евгений Алексеевич, адрес не указал? Нехорошо!

— А приедете? — спросил Сдобников, по-прежнему картавя, и Лапшин вдруг вспомнил его живое, веселое лицо, сильные плечи и льняного цвета волосы.

— Я с одной знакомой к тебе приеду,— сказал Лапшин,— разрешаешь?

И он кивнул взглянувшей на него Адашовой.

— Наговорились? — спросил он, когда Катьку увели.— Интересно?

— Потрясающе интересно,— с азартом сказала Адашова,— невероятно! Я к вам каждый день буду ходить,— с мольбой в голосе спросила она,— можно? Ну хоть не к вам лично, к вашим следователям. Мне это так все необходимо!

— Ну и ходите на здоровье! — улыбаясь, сказал Лапшин.— Вы мне не мешаете. Только ребят моих строго не судите — народ они толковый, честный, но культуры кое у кого недостает. . .

Посмеиваясь, он протянул ей полученное давеча письмо и, когда она прочитала, предложил пойти вместе.

— Но у меня спектакль! — со страхом в глазах сказала Адашова.— Меня во втором действии расстреливают...

— Значит, в третьем вы уже не играете?

— Не играю.

— Ну и чудно! Я за вами заеду...

— Часов в десять,— сказала она, просияв.— Да? Я как раз буду готова.

Лапшин, скрипя сапогами, проводил ее до лестницы и крикнул вниз, чтобы выпустили без пропуска. Возвращаясь по коридору назад, он чувствовал себя молодым и сильным и весь день работал, наверстывая потерянное время. Работа спорилась, и все было ловко ему и удобно: и перо, которым он писал, и кресло, и телефон, и погожий зимний снежок за огромным окном... И когда он, по своему обыкновению, каждый час или два обходил бригаду,— всем было тоже ловко, удобно и приятно глядеть в его зоркие ярко-голубые глаза под светлыми бровями, слушать его гудящий бас и безусловно подчиняться ему, самому умному, самому взрослому и самому смелому из всех работающих в бригаде.

8

Второе действие еще не кончилось, когда Лапшин приехал в театр. С ярко освещенной шипящими прожекторами сцены доносились беспокойные и неестественные крики, которыми всегда отличается толпа в театре, и между кулисами был виден гнедой конь, на котором сидел знакомый Лапшину актер с большой нижней челюстью, в форме белогвардейца, со сбитой на затылок фуражкой и с револьвером в руке. Немного помахав револьвером, артист выкатил глаза и два раза выстрелил, а затем стал пятить лошадь, пока она не уперлась крупом в большой ящик, стоявший за кулисами. Тогда артист сполз с нее и сказал, увидев Лапшина:

— И на лошади уже сижу, а не слушают! Что за пьеса такая?

Двое пожарных отворили ворота на улицу и, не смущаясь клубами морозного пара, стали выталкивать коня.

— Он на самом деле слепой,— сказал Захаров Лапшину,— я весь дрожу, когда на нем выезжаю. Авария может произойти.

Лапшину сделалось очень жарко, и он, оставив артиста, вышел в коридор покурить. У большой урны курил тот журналист Ханин, приятель Лапшина, который говорил про него, что он живет хоть и чисто, но неинтересно.

— А, Иван Михайлович! — сказал он, блестя очками.— Почитай, год не виделись!

— Ты где пропадал? — спросил Лапшин.

— На золоте был, на Алдане,— сказал Ханин,— а теперь полечу с одним дядькой в одно место.

— В какое место?

— Это мой секрет,— сказал Ханин.

Они помолчали, поглядели друг на друга, потом журналист подмигнул и сказал:

— А ты любопытный! Пельмени будем варить?

— Можно,— сказал Лапшин.

— У меня, брат, жена умерла,— сказал Ханин.

— Что ты говоришь! — пробормотал Лапшин.

— Приехал, а ее уж похоронили.

Он отвернулся, поглядел в стенку и помотал красивой, немного птичьей головой. Затем сказал раздраженным голосом:

— Вот и мотаюсь. А ты зачем тут?

Лапшин объяснил.

— Адашова? — сказал Ханин.— Позволь, позволь! — И, вспомнив, он обрадованно закивал и заулыбался.— Молодец девочка,— говорил Ханин,— как же, знаю! Она вовсе и не Адашова, она вовсе Баженова, кружковка. Я ее хорошо знал...

Взяв Лапшина под руку, он прошелся с ним молча до конца длинного коридора, потом, уютно, посмеиваясь, стал рассказывать про Адашову. Говорил он о ней только хорошее, и Лапшину было приятно слушать, хотя он и понимал, что многое из этого хорошего относится к самому Ханину,— время, о котором шла речь, было самым лучшим и легким в жизни Ханина. И Лапшин угадывал, что кончиться рассказ должен был непременно покойной женой Ханина, Ликой, и угадал.

— Ничего, Давид,— сказал он,— то есть не ничего, но ты держись. Езжай куда-нибудь подальше! Работай!

— И так далее,— сказал Ханин,— букет моей бабушки.

— Отчего же Лика умерла? — спросил Лапшин.

— От дифтерита,— быстро ответил Ханин,— паралич сердца.

— Вот как!

— Да, вот как! — сказал Ханин.— На Алдане было невыразимо интересно.

Лапшин посмотрел в глаза Ханину и вдруг понял, что его не следует оставлять одного — ни сегодня, ни завтра, ни вообще в эти дни, пока он не улетит.

— Послушай, Давид,— сказал он,— поедем сегодня к моему крестнику вместе, а? Только об этом писать не надо. И вообще, никто не знает, что он вор.

— Как же не знает? — сказал Ханин.— Все они, перекованные, потом раздирают на себе одежду и орут: я — вор, собачья лапа! Не понимаю я этого умиления...

— Так не поедешь? — спросил Лапшин.

— Поеду.

Со сцены донесся ружейный залп, и в коридоре запахло порохом.

— Пишешь что-нибудь? — спросил Лапшин.

— Пишу,— угрюмо сказал Ханин.— Про летчика одного, жизнеописание.

— Интересно?

— Очень интересно,— сказал Ханин,— но я с ним подружился, и теперь мне трудно.

— Почему?

— Да потому. Послушай, Иван Михайлович,— заговорил Ханин, вдруг оживившись,— брось своих жлобов к черту, поедем бродяжить! Я тебе таких прекрасных людей покажу, такие горы, озера, деревья... А? Города такие! Поедем!

— Некогда,— сказал Лапшин.

— Ну и глупо!

Лапшин улыбнулся.

— Один здешний актер выразился про меня, что я фагот,— сказал Лапшин,— и чиновник...

Он постучал в уборную к Адашовой. Она долго не узнавала Ханина, а потом обняла его за шею и поцеловала в губы и в подбородок.

— Ну, ну,— говорил он растроганным голосом,— тоже нежности. Скажи пожалуйста, в Ленинград приехала, а! Актриса!

У Адашовой сияли глаза. Она стояла перед Ханиным, смешно сложив ноги ножницами, теребила его за пуговицу пиджака и говорила:

— Я так рада, Давид, так рада! Я просто счастлива.

Ладонями она взяла его за щеки, встала на цыпочки и еще раз поцеловала в подбородок.

— Жирафик какой! — сказала она.— Прошел колит или еще нет?

— Что вспомнила! — засмеялся Ханин.

Лапшину сделалось грустно. Он сел в угол на маленький диван и увидел в зеркале свои ноги, обутые в штатские ботинки. «Дураком, поди, выгляжу»,— подумал он и вздохнул.

— Вы знаете, Иван Михайлович,— говорила ему Адашова,— вы знаете, что для меня Ханин сделал? Он через газету на наш завком нажал, чтобы меня в Москву отправили учиться в театральный техникум. И они с Ликой меня на вокзал провожали. А Лика где? — спросила она.

— Лика умерла,— сказал Ханин,— от дифтерита шесть дней назад.

И, вытащив из жилетного кармана сигарку, закурил.

Они долго еще разговаривали. Лапшин смотрел на Адашову, на ее тонкую белую шею и худые руки и испытывал такое чувство, будто он здесь давно и будто Адашова не полузнакомая ему женщина, а близкий и верный человек.

— Что ж, поедемте? — спросила она.

Лапшин глядел в ее широко раскрытые глаза и не понимал.

— Иван Михайлович, поедемте! — громко повторила она.

— Так точно,— сказал он,— я готов.

У Нарвских ворот шедший впереди грузовик на полном ходу сбил крылом переходившего улицу краснофлотца, свернул в переулок и потушил огни. Лапшин, не тормозя, обогнул распростертое на мерзлой мостовой тело, рванул поводок сирены и носком ботинка нажал железку.

Грузовик уходил.

— Это мне неинтересно,— сказал сзади Ханин,— ты нас всех теперь поубиваешь.

Сирена выла, пугая прохожих, и заставляла уступать дорогу Лапшину. Косой снег летел навстречу и залеплял смотровое стекло. Когда кончились дома, слева

ударил ветер, и такой сильный, что сразу оторвалась слюдяная боковинка.

— Иван Михайлович, надоело! — сказал сзади Ханин.— Не мучай нас!

На очень большой скорости машину внезапно повело на деревья, и Лапшин почувствовал, как Адашова вцепилась в его локоть.

— Ничего, ничего! — сказал он, вывертывая руль, и вновь нажал железку так, что машина рванулась вперед. Не выпуская из руки поводок от сирены, на полном ходу Лапшин свернул влево и повел машину в обгон, рискуя влететь в канаву, со скоростью девяносто километров. Проскочив хрипящий и щелкающий грузовик и проехав бешеным ходом еще километр или два, Лапшин затормозил и поставил автомобиль поперек дороги. Почти тотчас же с хода завизжали тормоза грузовика.

— Вылезайте! — сказал Лапшин, открыв дверцу грузовика и спуская в кармане предохранитель браунинга.— Идите в ту машину! И отдайте ключ!

Шофер был огромного роста, пьяный, костистый человек, и если бы не браунинг, то он наверняка ударил бы Лапшина из кабины сверху по голове тяжелым разводным ключом.

Садясь вновь за руль, Лапшин вдруг подумал, что, вероятно, ему не следовало заниматься нынче погоней и что теперь Адашова думает о нем, что он гнал нарочно из хвастовства.

Было слышно, как арестованный попросил у Ханина папиросу и как Ханин ответил:

— Не дам. И не наваливайтесь на меня, я вам не подушка!

Сдобников жил в новом доме с очень нелепой и запутанной нумерацией квартир, и они втроем долго ходили по обширному двору, разыскивая квартиру 207а II.

Ханин сердито стучал тростью, а Адашова смеялась над ним и называла его жирафиком.

Дверь отворил сам Сдобников, и по его испуганно-счастливому лицу было видно, что он давно и тревожно ждет.

— Ну, здравствуй! — сказал Лапшин и подал Сдобникову свою большую, сильную руку.

Женя покраснел и сказал картавя:

— Здравствуйте, товарищ начальник!

И, смутившись, поправился:

— Иван Михайлович!

— Ну покажись! — говорил Лапшин.— Покажи костюмчик-то... Хорош! И плечи, как полагается, с ватой... Ну, знакомься с моими, меня со своей жинкой познакомь и показывай, как живешь.

Он выглядел в своем штатском костюме как в военном, и Адашовой слышался даже характерный звук поскрипывания ремней.

Ханин пригладил гребешком редкие волосы, и они все пошли по коридору в комнату. Их знакомили по очереди с чинно сидящими на кровати и на стульях вдоль стен девушками и юношами. Стариков не было, кроме одного, выглядевшего так, точно все его тело скрепляли шарниры. Лапшин не сразу понял, что Лиходей Гордеич,— так его почему-то называли,— совершенно пьян и держится только страшным усилием воли. Он был весь в черном, и на голове у него был аккуратный пробор, проходивший дальше макушки до самой шеи.

— Тесть мой! — сказал про него Женя.— Маруси папаша!

Маруся была полногрудая, тонконогая, немного косенькая женщина, и держалась она так, точно до сих пор еще беременна, руками вперед. Она подала Лапшину руку дощечкой и сказала:

— Сдобникова. Садитесь, пожалуйста!

А Ханину и Адашовой сказала иначе:

— Маня. Присядьте!

В комнате играл патефон, и задушевный голос пел:

В последний раз
На смертный бой...

Гостей было человек пятнадцать, и знакомиться надоело. Последним был моряк в форме торгового флота, с лицом красным и плутоватым.

— Сэм Зайцев,— представился он,— от плавающих и путешествующих.

И поклонился вбок.

Потом смотрели дочку. Маруся подняла ее высоко, и все стали говорить, что дочка отличная и вылитый папаша. Патефон заиграл марш, и все сели за стол. Лапшина посадили рядом с Адашовой, а Ханина и Сэма напротив. Женя сел слева от Лапшина и сразу налил ему водки.

— Пьешь? — спросил Лапшин.

— Выпиваю,— сказал Женя.

— Пей только за столом, а не за столбом! — посоветовал Лапшин.

— Это правильно,— горячо сказал Женя.— Надо, чтобы все чин по чину было. Закусочка, семейный круг. — Он помолчал, потом добавил: — Буфетик себе приобрел. Ничего?

— Ничего,— сказал Лапшин,— приличная вещь. Дорого дал?

— Четыреста,— сказал Женя.

Ханин, до сих пор молча глядевший на Сдобникова, чокнулся с ним и сказал:

— За ваше здравие!

Было много вкусной еды — пирогов, запеканок, заливного, форшмаков — и все домашнее. Женя ничего не ел и все подкладывал Лапшину.

— Вы кушайте,— говорил он.— Девчата сейчас жареное подадут. Наварили, напекли, хватит!

— Пурпур,— крикнул Лиходей Гордеич,— под турнюр котурном.

— Не безобразничайте, папаша! — строго сказал Женя.— Надрались, как гад. . .

— Он кто? — спросила Адашова.

— Портной в цирке.

Сдобникову очень хотелось, чтобы все было чинно и спокойно, и, когда старик начал скандалить, он заволновался и ушел к нему.

Сэм Зайцев от стакана водки захмелел и рассказал, что в Лондоне на Пикадилли есть магазин, где продают сигары по сто долларов за штуку.

Потом Сэм стал показывать, как надо делать языком, чтобы получалось английское произношение, и тут же рассказал, что у него вся одежда на застежках «молния».

— И портсигар, и бумажник, и кошелек тоже,— говорил он,— и специальный чехол для ножика. . . Вот посмотрите!. .

На другом конце стола отчаянно зашумели,— Сдобников и два парня в джемперах, с бритыми шеями, поволокли Лиходея Гордеича к дверям. Вернувшись, Женя вытер руки одеколоном и сказал всему столу:

— Простите за беспокойство!

Пили в меру, Лапшин поглядывал на Адашову и видел, что ей весело, от этого ему самому было хорошо и покойно. Он предложил ей выпить, она насыпала в пиво сахару и чокнулась с ним.

— Домой не пора? — спросил через стол Ханин.

Лицо у него было измученное, и когда он ел, то закрывал один глаз, и это придавало ему странное выражение дремлющей птицы.

— Вы его любите? — тихо спросила Адашова у Лапшина.

— Мы давно знаем друг друга,— сказал Лапшин.

— Отчего вы на мои руки смотрите? — спросила она и подогнула пальцы.

Притушили свет и в полутьме хором запели бойкую песню. Лапшин искоса глядел на артистку и опять думал о том, что нет для него на свете человека ближе и дороже ее. Она тоже взглянула на него и смутилась. Из коридора вернулся Ханин под руку с Зайцевым и, зевая, сказал:

— Поедемте баиньки, а?

На прощание Сдобников долго жал Лапшину руку:

— Спасибо вам, товарищ Лапшин!

Сэм тоже сел в автомобиль и долго врал про жизнь моряка.

Когда он вылез, Ханин надвинул на глаза шляпу и сказал:

— А Баженова наша спит!

Артистка действительно спала, сидя рядом с Лапшиным и спрятав лицо в воротник. Лапшин ехал медленно. Все стало представляться ему значительным, необыкновенным: и ряд фонарей, сверкающих на морозе, и красные стоп-сигналы обогнавшего паккарда, и глухой, неслышный рокот мотора, и тихий голос Ханина, с тоскою читавшего:

...Вдруг,
Гром грянул, свет блеснул в тумане,
Лампада гаснет, дым бежит,
Кругом все смерклось, все дрожит,
И замерла душа в Руслане...
Все смолкло. В грозной тишине
Раздался дважды голос странный,
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной...

Лапшин остановил машину.

— Проснитесь, Наташа! — сказал Ханин.— Приехали!

И постучал по ее плечу тростью.

Она подняла голову, вытерла губы перчаткой, засмеялась и, ни с кем не прощаясь, молча вышла из автомобиля.

— Поехали! — сказал Ханин.— Больше ничего не будет.

— Чего не будет? — спросил Лапшин.

— Ничего не будет,— сказал Ханин,— ничего, тупой ты человек!

В передней у Лапшина Ханин долго раздевался, потом вошел в комнату, поглядел на спящего Окошкина и, пока Лапшин был в ванной, спрятал в карман один из револьверов, висевших на стене.

— Теперь будем чай пить,— сказал Лапшин, вернувшись из ванной с полотенцем, обмотанным вокруг живота, и без рубашки.— Вода холодная, как подлец!

— Ну будем,— согласился Ханин.

Лапшин поставил чайник и, ласково чему-то улыбаясь, нарезал булку. Ханин взял полотенце и пошел в ванную. Там он заперся на крючок, снял очки, как всегда в ванной, и, положив их в сетку на мочалку, сунул в рот револьвер. Ствол был широкий, и, чтобы было поудобнее, Ханин повернул ручку так, что ствол пришелся боком. Потом он закрыл один глаз и нажал спусковой крючок. Щелкнул боек, и во рту у Ханина зазвенело, но выстрела не было. Все еще не закрывая рта, Ханин вынул обойму и покачал головой. Револьвер не был заряжен.

— Ты скоро? — спросил из коридора Лапшин.

— Иду,— ответил Ханин и, чтобы Лапшин не подумал лишнего, открыл кран и уже машинально вымыл руки. Потом надел очки и сел с Лапшиным пить чай. Проснулся Васька и сказал:

— Приехал, Носач? Где был?

— Не твоего ума дело,— ответил Ханин,— ты все равно географии не знаешь.

Он устроил себе постель на полу, потушил огонь, впотьмах повесил на место револьвер, лег, повозился и сказал:

— Лапшин, поверни выключатель, не то Патрикеевна мне наступит на голову, а у меня голова слабая. Слышишь?

— Не наступлю,— сказала Патрикеевна из ниши,— небось не дура!

Васька тоненько всхрапнул, засыпая, а Лапшин и Ханин не спали еще очень долго, и каждый из них думал о своем. Обоим хотелось курить, и оба стеснялись, потому что тогда стало бы понятно, что они не спят. И порою они вздыхали как бы во сне.

Утром, когда Лапшин и поправившийся Васька уехали в управление, Ханин вынул из бумажника двести рублей и, отдавая их Патрикеевне, сказал:

— Ты меня, баба, покорми, пока я в Ленинграде.

— Тут будешь жить?

— Тут,— сказал Ханин,— и там. Всяко.

— А жена не заругает?

— Жена у меня померла,— сказал Ханин петушиным голосом,— приказала долго жить.

И вдруг, всплеснув длинными руками, он зарыдал так горько, так страстно и с таким отчаянием и исступлением, что Патрикеевна отшатнулась от него, а через несколько секунд и сама заплакала.

— Ты не знаешь, какая она была,— говорил Ханин, уже успокоившись и гримасничая,— ты не знаешь! Никто не знает. Она молчаливая была, прелестная. И нам так не везло, так не везло! Я нервничал, ревновал, мучился, ее мучил. Мне все что-то казалось. И она умерла.

Выплакавшись, он сидел на кровати без ботинок, отхлебывая из стакана воду, и рассказывал Патрикеевне об Алдане. А она все вытирала себе слезы и говорила:

— Вот чудеса-то! Вот чудеса!

9

Разработка дела Мамалыги и его группы шла удачно, и накануне намеченной операции, утром, Лапшин созвал у себя в кабинете оперативное совещание.

Поглаживая макушку и глядя в блокнот, он сказал, что несомненно и трикотаж, и кожевенное сырье, и налет с убийством, и вооруженное разбойное нападение, и ранение кассира — все это работа банды Мамалыги.

— Таким образом,— говорил он, строго оглядывая присутствующих,— тут орудовал не один человек, а группа, возглавляемая Иофаном Мамалыгой, или Георгием Андреевичем Зубцовым. Мы с вами знаем бежавшего из заключения Иофана Мамалыгу, сына расстре-

лянного белыми паропроводчика. Но тот Иофан — не Зубцов, а этот — Зубцов, и Зубцов — не сын паропроводчика и не из беспризорных, а сын известного белого генерала Зубцова, кадет, юнкер, колчаковец и каратель. Таким путем мы имеем...

Скрипнула дверь, и вошел запоздавший Васька Окошкин.

— Вы ко мне? — спросил Лапшин.

— Позволите доложить? — спросил Васька.

— Докладывайте!

Васька подошел к столу, встал «смирно» и, торжествующе улыбаясь глазами, негромко рассказал, что им в автомате у Гостиного двора только что задержан Воробейчик с подложными документами, а главное — с накладными на отправку большой скоростью трикотажа и обуви.

— Куда адресованы грузы?

— В Малоярославец и в Вологду,— сказал Васька,— в Зеленый Бор и в Некурихино.

— Ничего себе! — сказал Лапшин.— Ну ладно, садись, мы тут совещаемся.

Окошкин сел и жадно затянулся папиросой, а Лапшин начал развивать свой план операции.

— Товары сосредоточены главным образом в доме девять,— говорил он,— у Кукленкова, и затем в кочегарке по Лесному. У Кукленкова придется ломать полы, там сосредоточена замша и фетровые заготовки для бурок... Сопротивление здесь оказано не будет. В кочегарке тоже не будет. Таким путем остается малина Мамалыги...

Совещание кончилось через сорок минут, а через час Лапшин обошел всю бригаду и приказал расходиться по домам.

— Нечего! — говорил он.— Спать пора!

Как всегда в дни окончания подготовки крупного дела, бригаду лихорадило, и только один Лапшин сохранял спокойствие и подшучивал даже больше, чем обычно. Это было в его характере. Чем яснее он понимал, что Мамалыга даром не сдастся, тем благодушнее и покойнее он выглядел и тем меньше говорил о предстоящем деле.

В самый день операции, когда ему докладывали о ходе подготовки, он рассеянно морщился и говорил:

— Да? Ну что ж, ладно!

Ранним вечером у него в кабинете зазвонил телефон, и он узнал голос Адашовой.

— Иван Михайлович?

— Точно,— сказал Лапшин.

— Можно к вам приехать? — спросила Адашова.— У меня вечер свободный.

— Да сейчас я занят,— сказал он,— тут у меня всякие делишки.

Она помолчала.

— Как вы живете? — спросил Лапшин.

От звука ее голоса у него билось сердце, он не знал, что сказать, и во второй раз спросил:

— Как же вы живете?

— Да никак,— вяло сказала она,— работаю, репетирую.

Ему хотелось сказать ей, что он, вероятно, любит ее, что он думает о ней все время и что он понимает, насколько все это глупо. Но он спросил, как Захаров и переделали ли уже пьесу или еще нет.

— Переделали,— грустно сказала она.— До свидания, Иван Михайлович!

Лапшин помолчал, ожидая чего-то, и услышал, как Адашова повесила трубку. «В девчонку,— думал он, шагая по кабинету,— ну, ей двадцать семь — двадцать восемь, и что нам с ней делать? Про жуликов говорить?» Он постучал себя по лбу и постоял у окна, глядя на площадь Урицкого.

В восьмом часу вечера Окошкин на оперативной машине привез из кафе «Европа» двух участников группы Мамалыги. У одного из них был наган, у другого — пистолет Борхарда, правда без патронов. Первый назвался Петром Седых, второй показал паспорт иностранного подданного.

— Ах, вот как,— сказал Лапшин тонким голосом,— здесь целый цирк!

Он позвонил, чтобы иностранного подданного увели, и стал допрашивать Седых. Он уже ни о чем не думал, кроме предстоящего ныне дела, ни о чем не помнил, ничего не понимал. И выражение глаз у него сделалось неприятное, спрятанное, и только голос был как обычно — покойный, иногда с растяжечкой. Седых ничего нового ему не сказал, а только подтвердил то, что было известно еще вчера: у Мамалыги вечером большое гулянье.

Седых увели, Лапшин залпом выпил стакан остывшего чаю с лимоном и, скрипя сапогами, пошел по комнатам бригады.

Везде было тихо и пусто, и только в той комнате, где сидел Васька Окошкин, были люди, проверяли оружие и разговаривали теми сдержанными легкими голосами, которые известны военным и которые означают, что ничего особенного, собственно, не происходит, ни о какой операции никто не думает, никакой опасности не предстоит, а просто-напросто что-то заело со спусковым механизмом пистолета у Васьки Окошкина и вот товарищи обсуждают, что именно могло заесть.

— Ну как? — спросил Лапшин.

— Да все в порядке, товарищ начальник! — весело и ловко сказал Побужинский.— Вот, болтаем.

Лапшин сел на край стола и закурил папиросу.

— Побриться бы надо, Побужинский! — сказал он.— Некрасиво, завтра выходной день. Пойди, у меня в кабинете в шкафу есть принадлежности, побрейся!

— Слушаюсь! — сказал Побужинский и ушел, оправляя на ходу складки гимнастерки.

Окошкин и Бычков оба машинально попробовали, как у них с бородами, очень ли заросли.

— Ну как, товарищ Окошкин, Тамаркина дело? — спросил Лапшин.— Много там жуликов у них в артели?

— Хватает, товарищ начальник,— скромно сказал Васька.

— Сознаются?

— Очень сознаются, товарищ начальник,— сказал Васька.

— А почему у тебя на губе чернила?

— Такое вечное перо попалось,— сказал Васька, трогая губу,— выстреливает, собака. Как начнешь писать, оно чирк! — и в рожу.

— Вот напасть,— сказал Лапшин.

Пришло еще несколько человек — вспомогательная группа. В комнате запахло морозом, шинелями. Два голоса враз сказали:

— Здравствуйте, товарищ начальник!

Лапшин поглядел на часы и ушел к себе в кабинет одеваться. Побужинский, сунув в рот большой палец и подперев им изнутри щеку, брился перед зеркалом.

— Не можешь? — сказал Лапшин.— Стыд какой! Давай сюда помазок!

Он сам выбрил Побужинского, вытер ему лицо одеколоном, запер за ним дверь, надел на себя кожаное короткое пальто, подбитое белым бараном, и постоял посредине комнаты.

Ему вдруг захотелось позвонить Адашовой, но он не знал ее телефона, а спрашивать у Ханина было неловко. Вынув из стола кольт — оружие, с которым не расставался больше десяти лет,— Лапшин проверил его, надел шапку-ушанку, фетровые бурки и позвонил вниз в комнату шоферов. Когда он выходил из кабинета, народ уже ждал его в коридоре.

— Давайте! — сказал Лапшин.— Можно ехать.

Рядом с ним по старшинству сел Бычков, сзади — Побужинский, Окошкин и шофер.

— Тормоза немножко слабоваты,— сказал шофер,— так что вы не надейтесь, товарищ начальник!

Машина тронулась, и было слышно, как глухо захлопали дверцы во второй машине, идущей следом. Васька сзади завел длинный анекдот про попа, попадью и работника.

— Во зверь! — поощрительно сказал Побужинский и засмеялся.

Машина обогнула площадь Урицкого. Лапшин рванул сирену, и регулировщик дал зеленый свет.

Был подвыходной. Проспект 25-го Октября, несмотря на мороз, кишел народом. Дворники в тулупах и белых фартуках ломами сбивали с торцов ледяную корку. Ревело радио, и даже в машине были слышны шарканье ног гуляющих, смех и отдельные слова. Замерзшие витрины магазинов сверкали, как глыбы цельного льда, над подъездами кинематографов вилась и блистала огненная реклама картин, регулировщик на углу внезапно дал красный свет.

С проспекта Нахимсона, под грохот дюжины барабанов, шли пионеры. Их было много, отряд шел за отрядом, барабаны мерно и возбужденно выбивали и чеканили шаг. Ощущение мирного, покойного, праздничного города вдруг с такой силой охватило Лапшина, что он с трудом представил себе, что́ через полчаса или через час может произойти в этом же самом городе, и, представив, озлобился. Все было просто и ясно — под грохот барабанов шли дети с какого-то своего праздника, огромный город готовился ко дню отдыха, магазины были полны народу, играла музыка. . .

— Эх! — огорченно сказал Бычков и плевком потушил окурок. Он, вероятно, чувствовал то же, что и Лапшин.

— Чего, Бычков? — спросил Лапшин.

— Да так, товарищ начальник,— с сердцем сказал Бычков,— надоели мне жулики!

Васька сзади все рассказывал про попадью и работника, и Побужинский восхищенно спросил:

— Так и решили?

— Так и решили,— сказал Васька.

— А поп?

— Чего поп?

— Будет вам! — строго сказал Лапшин — Нашли смехоту!

Васька замолчал, потом опять зашептал, и Побужинский веселым шепотом порой спрашивал:

— Что, что?

Проехали завод Ленина, Фарфоровый завод, щемиловский жилищный массив. С Невы хлестал морозный ветер.

— А наши едут? — спросил Лапшин.

— Едут,— сказал Васька и опять зашептал Побужинскому: — Тогда работник этот самый берет колун, щуку и — ходу в овин. А уж в овине они оба два...

Лапшин остановил машину возле каменного дома, вылез и пошел вперед. Бычков перешел на другую сторону переулка, а Васька и Побужинский пошли сзади. Оглянувшись, Лапшин увидел, что вторая машина уже чернеет рядом с первой.

Мамалыга гулял на втором этаже в деревянном покосившемся доме, открытом со всех сторон. Несколько окон были ярко освещены, и оттуда доносились звуки гармони и топот пляшущих.

— Обязательно шухер поднимут,— сказал Лапшин, дождавшись Бычкова.— Ты со мной не ходи, я сам пойду!

Бычков молчал. По негласной традиции работников розыска на самое опасное дело первым шел старший по чину и, следовательно, самый опытный.

— Обкладывай ребятами всю хазу! — сказал Лапшин.— Если из окон полезут — ты тово! Понял?

Из-за угла вышли Окошкин, Побужинский и еще пятеро оперуполномоченных.

— Ну ладно! — сказал Лапшин, посасывая конфетку.— Пойдем, Окошкин, со мною. Принимай крещение!

Они пошли по снегу, обогнули дом и за дровами остановились. Звуки гармони и топот ног стали тут особенно слышны.

— За пистолет раньше времени не хватайся,— сказал Лапшин.— И вообще вперед черта не лезь.

— А что это вы сосете? — спросил Васька.

— Мое дело,— сказал Лапшин.

Он вынул кольт, спустил предохранитель и опять сунул в карман.

Васька отвернулся к стене и, расстегивая шубу, озабоченно спросил:

— Отчего это мне в самый последний момент всегда занадобится? А, Иван Михайлович? Нервы, что ли?

Подошли два уполномоченных, назначение которых было — стоять у выхода. Лапшин и Окошкин поднялись по кривой и темной лестнице на второй этаж. Здесь какой-то парень тискал девушку, и она ему говорила:

— Не психуйте, Толя! Держите себя в руках! Зараза какая!

Они прошли незамеченными, и Лапшин отворил дверь левой рукой, держа правую в кармане. Маленькие сенцы были пусты, и дверь в комнату была закрыта. Лапшин отворил и ее и вошел в комнату, которая вся содрогалась от топота ног и рева пьяных голосов. Оба они остановились возле порога, и Лапшин сразу же узнал Мамалыгу — его стриженную под машинку голову, большие уши и длинное лицо. Но Мамалыга стоял боком и не видел Лапшина — любезно улыбаясь, разговаривал с женщиной в красном трикотажном платье. Васька сзади нажимал телом на Лапшина, силясь пройти вперед, но Лапшин не пускал его.

Гармонь смолкла, и в наступившей сравнительно тишине Лапшин вдруг крикнул тем протяжным, все покрывающим хриплым и громким голосом, которым в кавалерии кричат команду «По коням!»:

— Сидеть смирно!

Из его рта выскочила обсосанная красная конфетка, и в ту же секунду Мамалыга схватил за платье женщину, с которой давеча так любезно разговаривал, укрылся за нею и выстрелил вверх, пытаясь, видимо, попасть в электрическую лампочку.

— Ложись! — покрывая голосом визг и вой, крикнул Лапшин.— Не двигайся!..

Мамалыга выстрелил еще два раза и не попал в лампочку. Женщина в красном платье вырвалась от него и покатилась по полу, визжа и плача. Мамалыга стал садиться на корточки, прикрывая локтем лицо, и стрелял вверх.

— А, свинья! — сказал Лапшин и, не целясь, выстрелил в Мамалыгу. Васька в это время прыгнул вперед и, ударив кого-то в сиреневом костюме, покатился с ним по полу.

— Сдаюсь! — сказал Мамалыга и поднял обе руки; из одной текла кровь.

Шагая через лежащих, он подошел к Лапшину и дал себя обыскать. Пока Васька его обыскивал, Лапшин отворил заклеенное окно и негромко сказал:

— Давайте сюда! Можно брать!

Когда Мамалыгу выводили вниз, он вдруг укусил себя за здоровую руку и сказал воющим голосом:

— Пропал! Закопали!

— Давай, давай! — сказал ему Васька.— Гроза морей чертов!

В драке Окошкину разорвали губу, и он сплевывал кровь и злился.

— Попало? — спросил у него Побужинский.—А?

— Поди к черту! — угрюмо сказал Васька.

Все вышло иначе, чем он думал: стрелять ему не пришлось, бомб никто не бросал, и рана оказалась какой-то стыдной — жулик в сиреневом костюме разорвал ему рот.

10

А дело Тамаркина все тянулось, и украденный мотор уже перестал существовать в деле серьезным обвинением. Моторов оказалось много, и Тамаркин не был один, а те, которых выдавал он, выдавали других, и каждый говорил, что он не виноват, а вот такой-то действительно виноват, и Васька Окошкин только крутил головой и вздыхал. Внезапно вынырнули какие-то четыре тонны коленкора, затем Тамаркин сознался, что украл семнадцать ящиков экспортных куриных яиц.

— Ну? — удивился Васька.

— Позвольте папиросочку! — попросил Тамаркин.

Он уже совсем освоился в тюрьме, был старшиной в камере и даже написал Лапшину жалобу на своего соседа по камере, причем жалоба была написана таким языком, что Лапшин, читая ее, сделал губами, будто дул, и сказал:

— От чешет!

— Куда же вы яйца распределили? — спросил Васька, стараясь отточить карандаш новой машинкой.— А, Тамаркин?

— Куда? Мама продавала,— сказал Тамаркин.

— Знакомым?

— Какая разница? — сказал Тамаркин.— Ну, знакомым!

Васька предостерегающе взглянул на Тамаркина, и Тамаркин понял этот взгляд, так как добавил:

— Можно написать, что именно знакомым, и можно написать фамилии и адреса, и можно написать адрес одной дамы — некто мадам Хавина Инна Олеговна. Через нее прошло четырнадцать ящиков — и после она себе сделала норковую шубку.

Ему было уже море по колено, он выдавал всех и держался так, будто его запутали и будто он ребенок. На допросе он часто говорил про себя:

— Ах, гражданин начальник, все мы — Тамаркины — слабовольные люди!

А на очной ставке с главой всего предприятия Тамаркин говорил:

— Это мучительно! Это мучительно! Поймите, Ихельсон, что я еще ребенок, а вы старый зверь.

Ихельсон помолчал, потом ответил:

— Если кто получит стенку, так это вы, ребенок!

Поговорив про семнадцать ящиков яиц, Тамаркин спросил, правда ли, что у Окошкина неприятности из-за дружбы с ним, с Тамаркиным.

— Это вас не касается,— сказал Васька.

— Во всяком случае,— сказал Тамаркин,— я в любое время дня и ночи могу подтвердить, что никакой дружбы между нами не было.

И он сделал такую поганую морду, что Васька швырнул об стол карандаш и крикнул:

— Вас не просят! И с вами тут не шутки шутят! Отвечайте по существу!

Оттого что он крикнул, у него из разорванного рта пошла кровь. Он зажал рот платком и стал писать про-

токол допроса. «Дальше,— иногда говорил он или спрашивал: — Вы хотите разговаривать или хотите обратно в камеру?» — и при этом косился на Тамаркина.

В двенадцатом часу ночи вошел Лапшин и сел рядом с Васькой.

— Это и есть Тамаркин? — спросил он.

— Совершенно верно,— сказал Тамаркин,— но вернее — это все, что осталось от Тамаркина.

Лапшин почитал дело и покачал головой.

— Жуки! — сказал он.— Что только делают!

И опять покачал головой с таким видом, будто не встречал в своей жизни более страшных преступлений.

— На пять лет потянет? — развязно спросил Тамаркин.

— Там увидим,— сказал Лапшин.— Суд знает, кому что требуется.

Попыхивая папиросой, он вышел на цыпочках и спустился вниз к начальству с докладом за день. У начальника в кабинете горела уютная зеленая лампа и топился камин. Когда Лапшин вошел, начальник приложил палец к губам и потом погрозил Лапшину кулаком. Лапшин сел в кресло и, сделав осторожное лицо, стал слушать радио. «Михайлов Иван Алексеевич,— говорил диктор,— Диц Герберт Адольфович, Смирнов. . .» Лапшин позевал, стянул со стола у начальника вечернюю газету и, чтобы не шуршать бумагой, прочитал какую-то статейку только с левой стороны, то есть одну половину столбца. Наконец диктор кончил.

— Да-а,— сказал начальник,— слышал, Иван Михайлович?

Лапшин положил газету на стол.

— Не слыхал? — спросил начальник.

— Нет,— сказал Лапшин.

— Ну, тогда поздравляю! — сказал начальник и снял пенсне.— Слышишь, поздравляю, Иван Михайлович! Тебя наградили орденом Красной Звезды.

Он обошел стол кругом, споткнулся об угол ковра и подошел к Лапшину вплотную. Оба они не знали, что теперь делать. У Лапшина было по-прежнему осторожное лицо, он только очень побледнел и опять взял со стола газету.

— Да нет,— сказал начальник,— тут нету, в газетах еще нету,— сейчас по радио передали. . .

Он взял из рук Лапшина газету и бросил ее на стол.

— И меня, брат, наградили, и Бычкова.

— Троих? — спросил Лапшин.— А как сформулировано?

— Не знаю,— сказал начальник,— забыл.

Помолчав, он спросил:

— Что ж теперь будем делать? Или, вернее, что надо делать? А?

— Да что,— сказал Лапшин,— ничего.

Он сел в кресло и почувствовал, что весь вспотел, до того, что даже ногам сыро.

— Ах, Бычкова нет! — сказал он.— Ну подите, как нарочно услали парня за тридевять земель. Ах, жалость. . .

Начальник привязал пенсне за цепочку к пальцу и ходил по кабинету, близоруко щурясь.

— Ну ладно, докладывай, Иван Михайлович! — сказал он.— Как там дела?

И Лапшин, чувствуя почему-то облегчение, начал докладывать, и начальник слушал его и говорил по своей манере:

— Чудненько! Чудненько!

11

Когда он вернулся к себе в бригаду, то никого уже не было, один только дежурный, упершись локтями в стол, читал «Курс физики». Лицо у него было напряженное, непонимающее.

— Учитесь, товарищ Панченко? — спросил Лапшин.

— Да, надо немножко,— сказал Панченко,— подразобраться хочу в явлениях природы.

— Разбираешься?

— Да не очень, товарищ начальник.

Лапшин заглянул в книгу,— она была раскрыта на «теплоте», на больших и малых калориях. Он читал и чувствовал, что Панченко тоже читает.

— Ты листочек бумаги возьми,— сказал Лапшин,— точные науки всегда советую тебе с бумагой, графически выражать. И карандашик возьми. Это не роман, не стихи, это наука.

Он сел на стул Панченки и велел Панченке тоже сесть.

— Гляди сюда! — сказал он.— Вот я изображаю ее через эту латинскую литеру. Тебе известен латинский

алфавит? Я тебе его сейчас запишу, а ты как что — заглядывай...

— Слушаюсь!..— сказал Панченко.

— И слушайся! — басом сказал Лапшин.— Слушайся. Я тебя плохому не научу...

И он, заглядывая в книгу, стал объяснять Панченке «теплоту», которую, как и всю физику, как и химию и биологию, в свое время, в девятнадцатом, двадцатом и двадцать первом годах, читал во время ночных дежурств при свете коптилки или электрической лампочки, горевшей в четверть накала.

Позанимавшись, он велел Панченке найти домашний телефон Бычковой и позвонил. Сказали, что Бычкова спит.

— Разбудите! — приказал он.

Она подошла не скоро.

— Разоспалась, матушка! — сказал Лапшин.— Какой сон видела?

— А это хто? — спросила она.— Это Бычков?

— Это я,— сказал Лапшин,— я, Лапшин.

— А-а,— разочарованно сказала она.— Ну чего?

— Твоего Бычкова наградили орденом Знак Почета,— сказал Лапшин.— Слышишь?

Она молчала.

— Слышишь или нет? — спросил Лапшин.

— Слышу,— тихо сказала она и покашляла.

Домой он шел пешком, курил и думал и очень обрадовался, что Ханин, Окошкин и Ашкенази ничего не знали. Ханин сидел верхом на стуле и читал вслух листы, напечатанные на машинке.

— Это что? — спросил Лапшин, наливая себе чай.

— Не мешайте! — сказал Ханин.— Вас не перебивали.

Это был дневник летчика, и Лапшин понял, что дневник не выдуманный, а настоящий.

— Нравится? — спросил Ханин, кончив чтение.

— Красиво,— сказала Патрикеевна из ниши.— Не дай бог за такого замуж выйти!

Все переглянулись, и Васька сказал:

— О смерти думай, а не о муже! Саван шей, вредная женщина!

Было слышно, как Патрикеевна плюнула. Лапшин снял сапоги, Ашкенази ушел, а Васька заснул, как только коснулся подушки. Лапшин тоже делал вид, что

спит. И только Ханин трещал на пишущей машинке и пил холодный чай. Под утро, стуча деревяшкой, из ниши вышла Патрикеевна, согрела Ханину чаю и достала из буфета ветчину, которую ни Лапшин, ни Васька не получили.

— Возьми, покушай! — сказала она.— Ты деньги платишь, не как Васька-приживал. Покушай ветчинки, бессонница!

— Бог подаст, бог подаст,— сказал Ханин, треща на машинке,— бог подаст!

— А Васька подлец — ну ни копья не платит! — быстрым шепотом сказала старуха.— Сел хозяину на шею и едет. . . Глядеть страшно!

— Ну и не гляди! — сказал Ханин.— И не мешай мне.

Но потом он съел всю ветчину и, заметив, что Лапшин не спит, спросил:

— Доволен, что орден получил?

— Доволен,— сказал Лапшин.— А ты откуда знаешь?

— Я все знаю,— сказал Ханин.— Я даже знаю, о чем ты думаешь и почему не спишь.

— Ну, почему? — спросил Лапшин испуганным голосом.

Ханин молчал.

— Ладно уж,— сказал он,— не буду. Тут Адашова звонила.

— Ну?

— Завтра пойду к ней в гости,— сказал Ханин,— пирог буду есть с визигой.

Днем к нему в управление пришел артист с большой челюстью, Захаров, и, здороваясь с ним, Лапшин глядел на дверь — ему казалось, что сейчас войдет Адашова, но ее не было.

— Я, батюшка, один,— поняв его взгляд, сказал Захаров,— фертов своих к вам не повел. Не умеют себя вести, пусть и сидят дома.— И он начал длинно говорить про каких-то братьев Гонкур, которые, описывая смерть, долго ходили по больницам и наблюдали умирающих. Он говорил, а Лапшин слушал и не понимал, всерьез рассказывал Захаров или шутил.

— Так уж я вам надоедать не буду,— сказал Заха-

ров,— пойду попасусь среди ваших работников, если позволите.

Лапшин проводил артиста к Побужинскому, оделся и пошел вниз, чтобы ехать в суд. Вахтер, смущенно улыбаясь, остановил его в вестибюле и сказал, что какие-то двое парней просили передать товарищу Лапшину корзинку цветов и записку. Лапшин надорвал бумагу. В записке было всего несколько слов:

«Вы нас не помните, а мы вас помним. Мы, бывшие жулики, поздравляем товарища Лапшина с наградой правительства».

Дальше шли четыре подписи.

Лапшин спрятал записку в бумажник, отправил цветы к себе в кабинет и, с удовольствием набирая воздух в легкие, сел за руль автомобиля. День был мягкий, с серебристыми облаками на голубом небе, с капелью, с влажным, уже весенним ветром, и настроение у Лапшина было праздничное, необыкновенное. Несмотря на то что оба они, и Лапшин и начальник, из скромности делали такой вид, будто решительно ничего не произошло, для обоих, как, впрочем, и для всего учреждения, в котором они работали, был праздник, особенный, отличный от других день, и все — от начальника и Лапшина до вахтера — были в немного приподнятом, торжественном настроении.

Все утро Лапшина поздравляли — и по телефону и так заходили в кабинет начальники бригад, приносили телеграммы от старых друзей, работающих не в Ленинграде, позвонили вдруг с завода, которому Лапшин вернул несколько лет назад украденную машину, позвонили из пригорода, в котором он в годы гражданской войны бился с бандой, и старческий голос сказал:

— Не помните? Густав Густавович Леман, конфетчик. Не помните?

— Не помню,— сказал Лапшин.

— В девятнадцатом году вы в моей хижине отлеживались,— сказал Леман,— вас тогда ранили в голень. Не помните?

— А, помню! — радостно сказал Лапшин, вспоминая домик уютного немца, возившегося с канарейками, и вкусный кофе, и булочки из картофельной кожуры...

— Мы с женой вас поздравляем,— сказал старческий голос,— и желаем вам долгой жизни.

Лашин молчал, вспоминая молодость.

— Храбрость и доблесть мужчины всегда награждаются правительством,— сказал Леман,— а вы храбрый и доблестный человек. До свидания, я звоню с почты, и мои три минуты кончились.

Потом принесли телеграмму из Мурманска, и Лапшин опять вспомнил прошлое — перестрелку на Севере, и ему почему-то стало грустно. Потом приехали три парня и девушка в красном берете с жестянкой вроде кокарды. Девушка была толстая, и Лапшин никак не мог вспомнить, где и когда он ее видел. Они привезли Лапшину торт, и парень, у которого под пальто была маечка, сказал длинную фразу, из которой Лапшин понял, что он где-то кого-то спас и при этом что-то предотвратил. Они ушли, а Лапшин так и не понял, кто они и откуда. Торт остался на письменном столе, и Лапшину было неловко на него глядеть. Подумав, он разрезал его и каждому, кто приходил с докладом или по делу, клал кусок на бумагу, говоря:

— На-ка, покушай!

И только Адашова ему не позвонила.

«Обиделась, наверно,— думал он,— ну что ж я могу поделать!»

Пришла Галя Бычкова, съела два больших куска торта и сказала:

— А вы якись тихий, Иван Михайлович! Да?

— Почему тихий? — удивился Лапшин.

В суде он пробыл до вечера, слушая дело растратчиков, и остался недоволен приговором. А возвращаясь в управление, думал о том, что, наверно, пока его не было, звонила Адашова и что теперь уже поздно и она не позвонит больше.

Как только он сел в кресло, пришел Васька Окошкин и сказал дрогнувшим голосом:

— Поздравляю, товарищ начальник, с высокой наградой!

— Спасибо, Вася! — сказал Лапшин и дал Окошкину торта на листке календаря.

Окошкин слизал крем, потом спросил:

— Почем дали растратчикам?

— Мало дали,— сказал Лапшин,— безобразное получилось положение. . .

И он стал рассказывать о процессе.

— Я еще скушаю,— сказал Васька,— крем здорово хороший!

— Ну кушай,— сказал Лапшин,— кушай и слушай!

Поговорив о процессе, Васька ушел к себе, а Лапшин вызвал Мамалыгу и стал его допрашивать тем холодным и гладким тоном, каким всегда допрашивал таких людей, как Мамалыга.

Мамалыга отводил глаза, а Лапшин в упор глядел на него своими яркими глазами и спрашивал, пока еще только изучая Мамалыгу, нащупывая слабые и сильные стороны его характера и в то же время давая Мамалыге понять, что тут уже все известно, что не следует терять время на пустые разговоры.

Мамалыга решительно сопротивлялся, но ушел от Лапшина подавленным и разбитым.

«Ничего, заговоришь,— думал Лапшин, провожая его глазами,— очень мило будем беседовать».

Зазвонил городской телефон, и Лапшин узнал голос Адашовой.

— Иван Михайлович, миленький,— быстро говорила она.— Я только что узнала о вашем событии. У меня Ханин, и он мне сказал. . .

— Да,— сказал Лапшин,— так точно.

— Приходите ко мне,— сказала она,— если можете. У меня никого нет, только Ханин. Приходите, пожалуйста! Я пирог испекла.

— Так точно,— сказал он,— приду.

Повесил трубку, сел в машину и, чувствуя себя таким счастливым, как бывало только в детстве, поехал к Адашовой. Комнатка у нее была маленькая, и стояли в ней только рояль, диван и круглый стол, накрытый к ужину. Было очень светло, и Ханин без пиджака топил печку.

— Ну, здравствуй! — сказал Ханин.— Сейчас Наташа придет, она в кухне. Или ты приехал, чтобы поскорее повидаться со мной?

— Оставь пожалуйста! — сказал Лапшин.

На маленькой этажерке стояли книги, и Лапшин взял одну из них. Это были стихи, но у него так билось сердце, что он долго читал одну и ту же строчку и не понимал ничего. Вошла Адашова в сером платье с белым воротничком и поздравила его. От нее пахло кухней; она наклонила голову и спросила:

— Видите, как волосы сожгла? Сейчас будем ужинать.

Он сел на диван, а она ходила мимо него, и он чувствовал, что счастлив, и стыдился на нее смотреть — видел только ее ноги в черных чулках и дешевых туфлях.

За ужином он смотрел в тарелку и изредка говорил:

— Так точно.

Или:

— Совершенно верно.

Или:

— Нет, очень вкусно.

Угощая, Адашова часто дотрагивалась до его руки или клала ладонь на обшлаг его гимнастерки. И он ждал и пугался прикосновений и мучился, чувствуя себя связанным, неестественным, жалким.

На обратном пути Ханин спросил у него:

— Ты меня прости, Иван Михайлович, но у тебя романы в жизни были?

— Нет,— помолчав, сказал Лапшин,— не было у меня никаких романов. Не занимался.

И, поскользнувшись, добавил:

— Вот у Васьки романы, это да!

Приняв перед сном ванну и растирая свое сильное тело полотенцем, Лапшин понял, что и сегодня ему не спать, но, как давеча, лег в постель и притворился, что спит. Ханин опять трещал на машинке, а Лапшин думал о том, что любит Адашову и что если бы она к нему тоже хорошо отнеслась (он не решался думать о том, что и его могут полюбить), то он бы женился, и тогда, как многие его товарищи по работе, звонил бы домой и говорил с домашними, и все бы понимали, что у него тоже есть своя семья и свой дом, и в комнате перестало бы пахнуть сапогами, табаком и парикмахерской, и он тоже устроил бы у себя ремонт, и в кабинете начальника после ночного доклада они говорили бы о семьях, о квартирах, о детях.

— Чего не спишь? — спросил Ханин.— Чего, мужик, ворочаешься? Пирога переел?

— Вот именно,— сказал Лапшин,— пирога.

— Ну соды! — посоветовал Ханин.

— А ты пишешь, писатель? — спросил Лапшин.

— Писатели-читатели,— сказал Ханин,— давай чай пить.

Они пили чай, курили и молчали, и обоим было грустно.

12

С первыми днями весны влюбился Васька Окошкин,— и сразу же все решительно это заметили и узнали, в кого и как и почему именно в эту девушку, а не в другую. И в бумажнике, и в кошельке, и в ящиках стола, и просто в карманах, и в портфеле — везде появились у него фотографические карточки миловидной девушки с припухлыми губами, возникли сувениры — маленькие носовые платки, пуховка для пудры, какой-то ключик неизвестного назначения, кусок карманного зеркала, каменный слоненок и еще черт знает что в таком же роде. И по крайней мере каждые два-три часа, где бы он ни был, он разыскивал телефон, и с тяжелой настойчивостью маньяка подолгу добивался какого-то коммутатора, и подолгу требовал соединить его с номером тридцать вторым, и подолгу спрашивал:

— Это весовая?

Добившись ответа, он называл себя почему-то кладовщиком и говорил, чтобы дали Кучерову.

— Это Варя? — спрашивал он, ворочая белками глаз и дуя в телефонную трубку.— Это Варя, а? Варя?

Лицо у него стало обалделым, он подолгу бессмысленно глядел перед собою, часто ронял вещи и вовсе не изводил Патрикеевну. Шутить над собою он решительно не позволял и делился своими переживаниями и мыслями только с Ханиным, да и то очень коротко и однообразно.

— Пропадаю! — говорил он Ханину.— Вы замечаете? Ей-богу, выговор схвачу!

Во сне он метался, скрипел зубами, по ночам пил много воды, ел едва-едва, только острое и соленое, глотал какие-то порошки «для укрепления нервной системы».

— Ты женись,— сказал ему как-то Ханин,— на тебя глядеть довольно противно. . .

— Да не хочет же,— с отчаянием сказал Васька.— Вы что, не понимаете? Не хочет! Ничего не хочет! Железная, холодная, это даже представить себе невозможно, до чего она меня измучила!

— Хохочет? — спросил Ханин.

— А чего ж ей? — сказал Васька.— Конечно, смеется.

— Застрели ее,— сказал Ханин,— и сам застрелись.

— Шутите все, Носач! — угрюмо ответил Васька.

Однажды он явился домой под утро, в штатском и пьяненьким. Ханин еще не спал, трещал на своей машинке.

— О, мальчик,— сказал он, завидев печальную и ироническую Васькину улыбку.— Ты там у двери погоди, я сейчас тебя обработаю!

Пока Ханин искал нашатырный спирт и полотенце, Окошкин стоял у дверного косяка и говорил:

— Над фамилией смеялась. А? Носач? И как зло смеялась. Растоптала, все растоптала. . .

Проснулся Лапшин, свесил ноги с кровати и сказал громко:

— Поздравляю, дожили!

— На, бей! — крикнул Васька и маленькими, косенькими шажками пошел к Лапшину.— На, бей! Толкни падающего, прикончи его штыком, кости ему сломай!. .

И он понес такой страшный вздор, что Лапшин опять лег и спрятал голову под подушку.

Сидя в ванне в совершенно холодной воде, Васька говорил Ханину:

— Я сам понимаю. Я даже формально понимаю. Я опустился, разложился. Я кто? Я, Носач, живой мертвец. Мне не место. А? Не место?

— Ну-ка, нырни еще! — сказал Ханин и нажал на голову Ваське так, что тот нырнул в воду.

— Утопишь, сволочь! — отдышавшись, сказал Васька.— С ума сойти!

Когда Васька проснулся, ни Лапшина, ни Ханина уже не было, комната была прибрана, и Патрикеевна, далеко отставив деревянную ногу, пила чай с черными сухарями и с солью.

— Проспал маленько,— с лицемерным сожалением сказала Патрикеевна,— двенадцатый час.

Васька молча оделся, вычистил зубы с пемзой и солью и поехал в управление. В два часа он пошел с докладом к Лапшину и уже открыл дверь в кабинет и увидел Лапшина, но Лапшин сказал ему, что занят, и Васька, вспотев, закрыл дверь. В три часа Лапшин опять его не принял, в четыре тоже, а в шестом часу к Ваське заглянул Побужинский и сказал, что он, Васька, может доложить Побужинскому. Васька горько усмехнулся и доложил.

«Кончено,— думал он после доклада, стискивая голо-

ву руками.— Действительно, кончено. Уж что кончено, то кончено. . .»

И он вдруг вспомнил мотив, который ему нравился, и слова, которые тоже нравились, но меньше мотива:

Окончен путь,
    Та-та там, та-та там,
Устала грудь,
    Та-та там, та-та там,
И сердцу,
И сердцу хочется немножко отдохнуть...

Смерклось.

Васька не зажигал огня, а ходил по комнате, сложив руки на груди, и думал о своей жизни, о загубленной молодости и о том, что женщины, конечно, делают с мужчинами что угодно. Ему очень хотелось позвонить в весовую, но он не звонил и озлоблял себя нарочно и только порою поглядывал на телефон как на врага.

Хромая, вошел Бычков, уже с орденом, веселый, хитрый.

— Что ж ты, Окошкин? — сказал он, садясь.— Ребята тебя вчера видели пьяным.

— Какие ребята? — подавленно спросил Окошкин.

— Да хорошо, что хоть свои ребята,— сказал Бычков,— а то сраму бы не обобраться!

Они посидели молча.

— Да, тяпнул вчера,— стараясь быть поразвязнее, ненатуральным тоном сказал Васька,— переложил. . .

— Ох, парень! — вздохнул Бычков.

До поздней ночи Васька допрашивал и снимал показания с потерпевших заведующих киосками, у которых украли в общей сложности четыре бочки пива, бочку селедок и два ящика макарон. В двенадцатом часу Васька выяснил, что на сегодня назначена интересная операция и что его не берут.

— Начальник ничего про тебя не приказывал,— говорил Побужинский, зашивая суровой ниткой лопнувшую кобуру у нагана,— про меня сказал, про Бычкова и про Пономаренку, а про тебя нет.

— А сам едет? — спросил Васька.

— Едет.

Васька повернулся на каблуках и из своего кабинета позвонил по внутреннему телефону Лапшину.

— Никаких приказаний не будет,— сухо сказал Лапшин,— можете быть свободным!

Пешком Васька отправился домой, лег в сапогах на постель, укрыл лицо газетой и сказал Патрикеевне:

— Я вас попрошу не хлопать так ужасно дверью!

Патрикеевна чертыхнулась и, чтобы досадить Ваське, хлопнула дверью еще два раза. Васька вскочил и закричал дурным голосом, что если это не прекратится, то он будет стрелять, что он неврастеник и что надо относиться к нему по-человечески. И разодрал пополам газету, которой укрывал лицо.

Пришел Ханин, ткнул Ваську тростью в живот и сказал, не раздеваясь:

— Получил сегодня письмо от Лики. Она заболела и написала мне на Алдан, письмо долго путалось, и вот я получил письмо через полтора месяца после Ликиной смерти. Слава честным почтальонам, утомленным, запыленным, с толстой сумкой на ремне!

Он сбросил свое широкое пальто, заглянул в шляпу и спросил:

— Худо тебе?

И кислым голосом стал говорить о том, что жениться не стоит.

— Впрочем, ты глупый и самовлюбленный человек,— заключил он,— живи как угодно.

Постелив себе на полу, он лег, и они оба долго молчали. Потом приехал Лапшин, сел на кровать и заговорил, не глядя на Ваську.

— Это позорная история,— говорил он,— и это не может повторяться. Я так понимаю. Мне нет никакого дела до причин этой гадости. . .

Васька встал и поправил на себе гимнастерку.

— Слушаюсь! — сказал он.— Будет исполнено!

13

Весна наступила ранняя, стремительная, с ручьями, со звонкой и быстрой капелью, с внезапными солнечными ветреными днями, с дождями и теплыми, парными, душными туманами.

Вскрылась и очистилась ото льда Нева.

Везде в управлении открывали двери на балконы, с сухим хрустом рвалась пожелтевшая бумага, и на нее приятно было наступать ногами. Уборщицы в серых халатах пели песни и мыли стекла, из комнат ведрами

уносили незаметную зимой пыль и грязь. Везде дули сквозняки, все летело со столов, и у всех в бригаде Лапшина был несколько шальной вид.

Ханин, решивший вдруг написать очерк об уголовном розыске, ходил по комнатам без пальто, в шарфе, в очках и в шляпе, курил и растерянно посмеивался.

— Несолидное у тебя учреждение,— говорил он Лапшину,— сквозняк, бабы песни поют...

Он подолгу сидел на допросах, ездил один в суд, запирался в комнате возле кабинета Лапшина и разговаривал там с ворами, кулачьем, растратчиками. Порою оттуда доносился до Лапшина его раскатистый смех или грохот стульев,— какой-нибудь жулик в лицах разыгрывал перед Ханиным происшествие. И Ханин выходил из комнаты довольный, размахивал длинными руками и говорил:

— А знаешь, Иван Михайлович, твои жулики не дураки! Верно?

— Верно,— соглашался Лапшин.

С утра до вечера в бригаде у Лапшина толкались артисты. Всем они надоели, и только невозмутимый Бычков держался с ними ровно и спокойно.

Адашова по-прежнему приходила к Лапшину. Собачий пегий полушубок она сняла и носила теперь вязаную серую кофточку и желтые полуботинки на резине. Она побледнела, и лицо ее немного осунулось и покрылось у носа веснушками, которые очень к ней шли. Сумки у нее не было, и потому карманы ее серой кофточки всегда оттопыривались, и всегда она что-то теряла — то карандаш, то пуховку, то какой-то талончик.

— Это ужасно,— вдруг говорила она,— я потеряла три рубля! Дайте мне, пожалуйста, кто-нибудь на трамвай.

Она очень любила сладкое и ту странную, негородскую еду, которая нравится детям,— дынные семечки, капустные кочерыжки, кедровые орехи, и часто говорила, что хорошо бы сейчас съесть сырую морковку или мороженое яблоко. А Ханин уверял, что своими глазами видел, как Адашова ела сосновую шишку.

Круг ее интересов был необыкновенно широк — решительно все было ей интересно, все занимало ее, трогало, волновало. Книги она читала самые разные — то Гюго, то Фламмариона, то почему-то сборник былин, и спрашивала у Лапшина или у Ханина обо всем — о пре-

ступности в Америке и об устройстве дамб в Голландии, о Монроэ и об его доктрине, о работах академика Вильямса и о замене продразверстки продналогом.

— Вот видите,— говорила она, выслушав ответ,— а я думала иначе...

Часто, зелеными весенними вечерами, Лапшин и Ханин вдвоем шли к ней, покупали по дороге маленький тортик, или пирожков, или просто булку, масла и колбасы, сидели до ночи, пили чай из расписных веселых и уютных чашек, а потом клали на подоконник диванные подушки и подолгу глядели на смутные кроны Таврического сада, на огни автомобилей, на сиреневое холодное небо и болтали всякий вздор — кому что приходило в голову. Иногда Ханин пел, аккомпанируя себе на гитаре, и непременно, кончив петь, встряхивал своей красивой птичьей головой и говорил:

— Не надо мне петь! Эх, не надо!

А потом потихоньку шли гулять, и всегда выходило так, что Адашова и Ханин разговаривали друг с другом, а Лапшин отставал шага на два и думал о том, что он тут не очень нужен и что говорить Адашовой и Ханину с ним не о чем. И ему было немного обидно, оттого что они порою обращались к нему и вовлекали его в свой разговор, и было немного обидно слышать, как они смеются своим шуткам, и было жаль, что Ханин так много знает и так много видел, а главное — так хорошо рассказывает о том, что видел.

Возвращались Ханин и Лапшин домой всегда пешком — шли по набережной Невы, глядели на разведенные мосты, на баржи, сонно плывущие по реке, на длинно целующиеся парочки, на зеркальные стекла особняков и говорили оба не много, несколько фраз за весь путь.

Васька, когда они входили, открывал глаза, бессмысленно вглядывался в Ханина, потом спрашивал:

— Поздно?

И засыпал мгновенно. На лице его было грозное выражение, и если он засыпал на спине, то так и просыпался. И сны у него были простые,— он видел самолет, или деревья, или лодку.

— Ну что лодку! — раздражался Ханин.— Ты в ней плыл?

— Нет,— виновато говорил Васька,— просто лодка и лодка.

Как-то, отправившись к Адашовой, Лапшин и Ханин обогнали Ваську Окошкина возле кинематографа «Титан». Он шел, ведя под руку ту девушку, фотографии которой в изобилии валялись везде дома. Девушка глядела на него снизу вверх и смеялась чему-то, и по ее влажным, сердито-веселым глазам было видно, что она влюблена в Ваську и с наслаждением слушает тот вздор, который он ей говорит.

— Теперь пойдем им навстречу,— сказал Ханин, когда они дошли до угла.

Завидев Ханина и Лапшина, Васька отпустил девушку, и у него сделалось то выражение на лице, которое бывало, когда его распекал Лапшин.

— А, Вася! — сказал Ханин.— Тебя твоя жена ищет, мне звонила.

— Жена? — спросил Васька.

— Позвольте! — сказала девушка и пошла вперед, не дожидаясь Васьки.

— Ну, Носач! — сказал Васька.

Он побежал за девушкой, и было видно, как она вырвала у него руку и перешла на другую сторону улицы.

Адашова еще не приехала со спектакля; Ханин лег на диван и уснул, а Лапшин разобрал от нечего делать электрический утюг и стал возиться с новым элементом, который принес с собой. Отвертки у него не было, он действовал лезвием ножа и тоненько насвистывал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

Он работал и насвистывал, и представлял себе, что Адашова — его жена, и что он сидит в своей квартире и ждет свою жену, и что она сейчас придет, увидит починенный утюг и скажет:

— Вот молодец!

В коридоре позвонил телефон, и квартирная хозяйка позвала Лапшина. Он взял трубку. Ему сказали, что сейчас в пригороде пьют двое бандитов, что хорошо бы ему поехать.

— Я бы и сам поехал,— говорил начальник,— да у меня сейчас совещание. Неудобно.

Лапшин вернулся в комнату, кончил с утюгом, прибрал на столе и спустился вниз ждать машину. Ему

очень хотелось увидеть сейчас Адашову, но ее не было. Он закурил папиросу, сел в машину и спросил у Побужинского обстоятельства дела.

Потом опять засвистал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

Машина летела по прозрачным, застывшим проспектам, и когда выехали из города, то увидели отблески вечерней зари. Небо было на горизонте лимонного цвета, и там плыло длинное, узкое облако.

— Шухер должен быть,— сказал Побужинский.— Верно, товарищ начальник?

— Повяжем! — сказал Лапшин.

— А правда, что Окошкин женился? — спросил Побужинский.

Лапшин свернул влево на проселок, остановил автомобиль у рощи и вылез, разминая затекшие ноги. Здесь пахло прошлогодней прелой листвой, и Лапшину вспомнилось вдруг детство.

Пересекли рощу, и Побужинский постучал в окно низкого дома. Лапшин встал у двери и вынул браунинг. С грузным шумом пролетела над домом какая-то тяжелая ночная птица.

Дверь открылась; Лапшин сунул браунинг в белеющее лицо и приказал поднять руки вверх. Но в это время за домом посыпались стекла, два раза выстрелил Побужинский, и Бычков злобно крикнул:

— Тю, сволочи!

Бандиты ушли через слуховое окно и залегли в роще. Завязалась легонькая перестрелка. Три раза выстрелили с той стороны, один раз с этой. Бычков сидел на пеньке и зевал.

— Ладно, выходи! — крикнул Лапшин.— Будет дурака валять!

В роще молчали.

Лапшин взял у Побужинского наган и пошел один на бандитов. По-прежнему пахло сырой листвой. Еще два раза выстрелили. Он побежал вперед и, когда увидел, что те встают, крикнул:

— Тихо мне!

В него выстрелили в упор. Он обозлился и сбил первого с ног рукояткой нагана. Бандиты побежали — на

дома, на деревню; оттуда стеной шли колхозники, разбуженные Побужинским. Тяжело дыша, Лапшин догнал того из бандитов, который был поменьше ростом, дал ему сзади плюху и навалился на него. Было слышно, как колхозники урчали с другим.

— Ладно, пойдем,— сказал Лапшин, вставая.

Он чувствовал, что в драке сломалось вечное перо, которое ему подарил Ханин. Ему было жалко пера и стыдно перед Ханиным. И болел бок: падая, он больно ударился о пень.

Отведя арестованных, он поехал к Адашовой, отпустил машину и поглядел на открытое окно,— она жила во втором этаже. Свет в ее комнате не горел, шел второй час ночи. . .

— Ханин! — крикнул он, сложив ладони у рта.— Давид!

Он не мог уже уйти, не повидав ее хотя бы на минуту. И что сказать, он придумал: скажет, что зашел за Ханиным.

— Ханин! — опять позвал он.

Прошли две девушки и засмеялись чему-то, наверно он смешно выглядел на мостовой во втором часу ночи. Он подождал, пока они исчезли за углом, огляделся и в третий раз крикнул:

— Ханин, Ханин!

— Это вы, Иван Михайлович? — спросила Адашова, выглядывая из окна.

— Ханин у вас?

— Нет, он ушел.

— А я за ним,— сказал Лапшин.— Глупистика получилась.

Слово «глупистика» он никогда не употреблял, и потому, что он соврал про Ханина, и от этого слова ему стало стыдно.

— Может быть, зайдете? — спросила она тем тоном, каким спрашивают, зная наверняка, что время позднее и что никто не зайдет.

— Черепушечку чаю разве что выпить. . .

— Ну так идите,— сказала она и скрылась.

Пока дворник открывал ему парадную и поднимаясь по лестнице, он испытывал чувство такого стыда, что впору было убежать, но сверху уже открылась дверь, и Адашова шепотом сказала:

— Только потихоньку через коридор, а то разбудите!..

Взяла его за руку и повела в темноту. В комнате тоже было темно. Он робко сел на стул и сказал, глядя на диван, на котором была смятая постель:

— Уже легли?

— Да,— сказала она, зажигая настольную лампу,— задремала. А вы куда делись?

— На заседание,— солгал он,— вызвали позаседать маленько.

Ему было неловко говорить о перестрелке и о бандитах,— этому нельзя было бы поверить сейчас в маленькой, уютной и чистой комнатке.

— Я вам тут утюг отремонтировал,— сказал он,— теперь можно гладить...

Чаю ему не хотелось, но он сделал такой вид, что пьет с удовольствием, и выпил две чашки. Она молча смотрела на него и кутала подбородок в воротник халата; глаза у нее были сонные.

Уходя, он два раза извинялся, а когда шел по улице, то старался думать о ней грубо, теми словами и понятиями, которыми думал о женщинах вместе с другими озлобленными, голодными и вшивыми солдатами, сидя в окопах двадцать с лишним лет назад.

Но так думать о ней он не мог, потому что любил ее, и тогда он решил совсем не думать и засвистал:

Ты красив сам собою
Кари очи...

Уже наступило утро, блистала Нева, а он шел, свистел и думал об Адашовой с нежностью, со страстью, с радостью.

Через несколько дней Адашова и Лапшин провожали Ханина, уезжавшего ненадолго в Москву. На проспекте 25 Октября нельзя было протолкаться, продавали привязанные к палочкам букеты фиалок, и Лапшин был даже без плаща. Ханин надел серое летнее пальто, купил себе и Адашовой фиалок и шел пританцовывая.

— Ах, милые,— говорил он,— что только будет в Москве! И если будет, то каких я тебе, Наташка, конфет привезу...

Сквозь стекла вагона было видно, как он ходил по коридору, точно по своей комнате, как он с кем-то поговорил и как повесил трость и портфель на крючок.

А когда поезд ушел и открылось свободное пространство путей, рельсов, стрелок и зеленых огоньков и когда стало видно розовое вечернее небо, Адашова сказала печальным голосом:

— Вот и уехал Ханин! Не поглядел спектакля!

— Поглядит еще,— сказал Лапшин.

— Да, конечно,— согласилась она.

В этот вечер Лапшин сидел у нее и слушал, как она разговаривала в коридоре по телефону, как играла на рояле, как смеялась, смотрел, как она что-то перекладывала в корзинке, как шила и искала бежевые чулки.

— Ну господи, новые чулки! — говорила она.— Ненадеванные!

И задумывалась, стоя посредине комнаты.

На другой день была генеральная репетиция при публике. Адашова волновалась и, провожая Лапшина по коридору, велела, чтобы он пришел к ней в уборную пораньше.

— Так мне будет спокойнее,— сказала она.

14

Он пришел еще раньше, чем она просила, и сидел на диванчике, а она гримировалась и, глядя на него в зеркало, говорила:

— Вдруг бы сейчас стук-стук в дверь — и Ханин! Вдруг бы оказалось, что он на самолете прилетел, а?

— Вряд ли,— с неудовольствием сказал Лапшин.

Пока толстый парикмахер с губами, сложенными так, будто он хотел присвистнуть, прикладывал Адашовой букольки, она говорила, что вставила в текст фразу Катьки-Наполеона.

— Знаете, эту,— спрашивала она,— помните? «Мы тут как птицы-чайки, плачем и стонем, стонем и плачем». Ничего?

— Ничего,— сказал Лапшин.

Адашова помолчала, потом прошлась по уборной и спросила, хорошо ли она выглядит. Глаза у нее по-прежнему были испуганные.

— Да не утешайте вы меня! — сказала она.— Все равно провалюсь! Мне что-то скучно, так скучно, так печально. . .

Прижав руки к груди, она точно прислушалась к самой себе, потом с тоской сказала:

— А Ханин не приедет!

И велела Лапшину идти в публику.

Проходя через буфет, он увидел Галю Бычкову с мужем, Побужинского, начальника с женой и Ваську Окошкина с той девушкой, которую Лапшин давеча встретил на улице. Васька аккуратно ел песочное пирожное, и, когда Лапшин подошел, у Васьки сделалось настороженное и опасливое лицо.

— Добрый вечер, Окошкин! — сказал Лапшин.

Васька познакомил Лапшина с девушкой, и девушка сказала:

— Варя.

— Скоро начнут,— сказал Лапшин таким тоном, каким никогда не разговаривал с Васькой и каким обычно разговаривают старые друзья в присутствии малознакомых женщин. Тон этот означал, что все прекрасно, любезно и обходительно, и что еще долго можно разговаривать на незначительно-вежливые темы, и что во всем этом нет ровно ничего особенного.

— Приличный театрик,— сказал Васька,— культурненько обтяпано! Но в Мариинском мне больше нравится.

Лапшин хотел заметить, что Васька врет, так как в Мариинском он не бывал, но сдержался из жалости.

Они вошли в ложу, и мужчины, стоя, еще поговорили.

— Ну как? — спросил начальник у Лапшина.— Принял парад? — И, наклоняясь к своей жене, крупной и белокожей блондинке, пояснил: — Он у нас самый главный насчет артистов. Верно, Иван Михайлович? И волнуется,— засмеялся он,— ей-ей, волнуется! Волнуешься, Иван Михайлович?

— Ужасно,— басом сказал Лапшин,— прямо ужасно.

В зале погас свет, и Васька Окошкин, поскрипев стулом, сразу же обнял Варю.

Начался спектакль.

Первую сцену, изображавшую организацию лагеря, Лапшин проглядел, так как все время ждал Адашову и вглядывался в елочки, из-за которых она должна была появиться, а потом смотрел только на Адашову, слушал только ее и самого спектакля почти не замечал.

Адашова играла нехорошо.

Лапшин давно, почти на память знал ее роль, она показывала ему и Ханину у себя дома разные ее кусочки, ходила по комнате, пела, плакала, ссорилась с большим начальником, злословила, и все это было совсем иначе и несравненно лучше того, что Лапшин видел сейчас.

Глядя на нее и слушая ее голос, Лапшин испытывал сейчас такое мучительное чувство жалости к ней, что даже на секунду закрыл глаза, чтобы не видеть, как ей трудно там, на освещенной прожекторами сцене. И чем хуже она играла, тем ближе была она, тем роднее и понятнее становилась, и тем сильнее и острее делалась его любовь к ней.

В антракте он, сделав служебно-бодрое лицо, постучал к Адашовой в уборную и сел на диванчик.

Она, сложив ноги ножницами, ела бутерброд с ветчиной. Ее круглые глаза ничего не выражали, кроме усталости.

— Проваливаюсь? — спросила она.

— Вот те на! — сказал Лапшин.— Даже очень неплохо!

Адашова угрожающе на него взглянула и повернулась спиной.

— А, пустяки! — сказала она, и Лапшин понял, что вовсе не пустяки.

Помолчали.

— Вы идите,— сказала Адашова,— развлекать меня не нужно!

Выйдя, он слышал, как она заперла дверь на крючок. Во втором действии она играла ровнее, но не лучше, и в антракте Лапшин не пошел к ней, а сидел в буфете с Окошкиным и Варей и слушал, как Васька рассуждал, что́ верно артистами подмечено, а что́ неверно. Подошел Побужинский, попросил у Васьки гребенку и, поправляя пробор, сказал:

— А наш Захаров изумительно дал типа! Верно, товарищ начальник? И вообще я считаю, что они у нас очень поднатерлись, артисты. Верно?

— Садись, Побужинский! — сказал Окошкин.— Тяпнем крем-соды. . .

Все третье действие Лапшин сидел в глубине ложи, подперев подбородок кулаком, и деловито глядел на сцену. Адашова казалась ему больной, измученной, и он

сам почувствовал себя измученным и жалким. В антракте он ходил по фойе, и по курительной, и по коридорам и жадно слушал, как говорили о спектакле. Адашову никто не упоминал, только Васька многозначительно произнес:

— А публичной женщины тип не удался! Не подметила она чего-то.

Он постеснялся сказать «проститутка» — слишком уж торжественная была обстановка.

Когда поднялся занавес и началось четвертое действие, Лапшина кто-то окликнул. Он встал и вышел из ложи. Захаров, уже без грима, сказал ему, чтобы он зашел к Адашовой.

— Пойдите, пойдите! — говорил он Лапшину, дружески касаясь пальцами его портупеи.— Пойдите, ей там грустно. . .

Лапшин быстро обогнул по коридору зрительный зал и пролез в маленькую дверцу, ведущую за кулисы. Адашова сидела у себя в уборной перед зеркалом и плакала, громко сморкаясь и откашливаясь.

— Ничего я не больная,— ответила она.— Здорова как корова, просто настроение такое!

Она повернулась к нему и, не стесняясь своего некрасивого сейчас и жалкого лица, мокрого от слез, спросила:

— И вам небось уже стыдно за меня? Стесняетесь там, что столько времени на меня потратили? Да?

Он хотел сказать, что не стесняется, и что любит ее, и что нет для него дороже человека, чем она, но только кашлянул и поджал немного ноги.

Адашова всхлипнула и попросила его, чтобы он больше не ходил в зал и не глядел спектакль, а чтобы он подождал ее здесь. Она ушла играть дальше, а он пересел на ее место перед зеркалом и долго рассматривал принадлежности для грима: баночку с вазелином, растушовку, кисточки и большую лопнувшую пудреницу. Со сцены смутно доносились голоса, грянул одинокий выстрел. Лапшин послушал, подумал, вынул из кармана кусочек сургуча, растопил его на спичке и, слегка высунув язык, стал залеплять полоской сургуча лопнувшую пудреницу. Делал он это с присущей ему аккуратностью и точностью, и выражение его ярко-голубых глаз было таким, как в бою, когда он стрелял из винтовки по далекому врагу.

Заклеив пудреницу, он взял ее в левую руку, отставил далеко от себя и оглядел работу с некоторой враждебностью.

Домой он провожал Адашову пешком. Шли молча. Лапшин нес ее чемоданчик и курил.

— Знаете, почему я провалилась? — спросила Адашова.

— Ну почему?

— Потому что не было Ханина,— сказала она с раздражением и с отчаянием, и голос ее задрожал.— Не было Ханина, и я провалилась. А если бы он был, то я бы не провалилась. . .

Лапшин молчал.

— Я это знала,— говорила она,— я больше не могу так, это ужасно. И не уходите! Пойдемте ко мне, я вам чаю дам. Хорошо, Иван Михайлович, миленький?

Он выпил у нее чаю, помолчал с нею, а потом пешком шел домой, морщил лоб и насвистывал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

15

Когда Лапшин вернулся домой, Васьки еще не было, и только Патрикеевна храпела в своей нише. Уже наступило утро, он отворил окно и долго из окна глядел на булыжники своего переулка. Потом он деловито разделся, лег в постель и сразу же уснул тяжелым, неосвежающим сном. Проснувшись часов в семь и чувствуя себя разбитым, он взял книгу Костомарова и, пофыркивая носом, стал читать. Исторические картины проносились перед ним, но далеко и смутно, точно на них лежала тень, и он догадывался, что́ это за тень, но ничего не мог поделать с собой, а только раздражался на себя и вздыхал с возмущением.

Завтракая, он несколько раз взглянул на пишущую машинку Ханина, прикрытую клеенчатым чехлом, а потом чувствовал только желание на нее глядеть, но оборотился к ней спиной и не глядел.

Лицо у него подсохло за ночь, он заметил это, бреясь, но глаза не изменились, в них было по-прежнему упрямое, зоркое и смешливое выражение.

«Все пройдет,— думал он, шагая в управление,— все пройдет, и ничего ведь, собственно, даже не случилось. И не было ничего. Все по-прежнему».

И он отмечал про себя знакомые переулки, и проходные дворы, и витрины, и вывески магазинов, и освежающий весенний утренний ветерок — это как бы подтверждало его мысли о том, что все по-прежнему и что ничего решительно не изменилось.

Было еще совсем рано. Он отворил свой кабинет, отодвинул кресло, аккуратно и методично налил в чернильницы чернил, отточил карандаши и поставил их в стаканчик, переложил на столе бумажки, сдул уроненный пепел и тотчас же, не теряя ни секунды, принялся читать протоколы допросов и там, где были неясности, красным толстым карандашом ставил вопросительные знаки и подчеркивал то существенное и важное, что ускользало от внимания следователя и что требовало еще дополнительной разработки. Иногда, читая, он улыбался, иногда хмурился и почесывал карандашом в ухе, иногда поправлял орфографическую ошибку, иногда говорил: «Ах ты, глупый человек!» или что-нибудь в этом роде укоризненное и сердитое.

За спиной его была огромная площадь Урицкого, и, когда у него уставали глаза от плохих почерков, он на минуту поворачивался к окну и, щурясь, смотрел на серый асфальт, на автомобили, на колонну и на дворец,— все это было залито ярким солнцем. Лапшин покуривал, потягивался и опять читал.

Потом он допрашивал Мамалыгу и людей из его компании и следил, как они ведут себя на очной ставке, ловил их на лжи, сталкивал и спрашивал:

— Это точное показание? Или вы еще будете вывертываться? А? Да или нет?

И в его ярко-голубых глазах были такая уверенность, и такое упрямство, и такая сила, что все хитрейшие построения Мамалыги рушились одно за другим. Он уныло отбрехивался вначале, а потом и вовсе замолчал, только поводил зрачками по комнате да ежесекундно стряхивал с папиросы пепел, постукивая по ней пальцем.

К трем часам Лапшин с Васькой поехали в суд слушать дело Тамаркина. Тамаркин сидел на скамье подсудимых в крахмальном воротничке и часто поглядывал

на Ваську Окошкина с таким видом, будто хотел сказать:

— А? Кто мог думать, что это так здорово получится?

Когда защитник говорил речь и воскликнул, что Тамаркин был «вовлечен», тот заплакал и отодвинулся от своего соседа по скамье подсудимых, как бы показывая этим, что защитник прав и что он, Тамаркин, действительно вовлечен.

Васька слушал защитника с недовольным лицом, а прокурора — с довольным и кивал головой, когда прокурор поносил Тамаркина. Тамаркину дали пять лет, и он, слушая приговор, как бы даже удивился, что, в общем, дешево отделался, но вслед за этим сделал мутные глаза и поискал сзади себя в воздухе, точно ему было дурно.

— Просто-таки артист! — говорил Васька по дороге в управление.— Верно, Иван Михайлович?

Лапшин просидел у себя в кабинете до половины первого и уже собирался уходить, когда позвонил телефон. Адашова спрашивала, не приехал ли Ханин.

— Нет,— сказал Лапшин,— у меня он не был и мне не звонил.

От звука ее голоса к лицу у него прилила кровь, он вытер платком шею и покашлял. Адашова сказала, чтобы он приехал к ней, и он поехал, хотя знал, что лучше не ездить. Опять сидели на подоконнике, и опять у Адашовой были старательные глаза, а он пытался не смотреть на нее, на ее розовый, ненакрашенный рот и не видеть ее испуганного выражения,— он знал теперь, отчего лицо у нее испуганное и зачем он ей нужен, когда Ханина нет. Ни с кем больше она не могла говорить о Ханине, а с ним могла, и она это делала, не жалея Лапшина. Меньше всего она думала о нем — она думала только о своей любви к Ханину и о том, как бы эта любовь не показалась Лапшину унизительной, и если говорила осторожно, то не для Лапшина, а для себя самой. Она выспрашивала его о Ханине и о покойной Лике, и о том, как они жили, и о том, какая у них была в Ленинграде квартира, и что за человек была Лика. И в тоне ее Лапшин чувствовал ревность, и чувствовал, что ей было бы приятно, если бы он сказал о Лике худо и об их жизни худо. Но он говорил как раз обратное, и ему было приятно, что ей тяжело.

— Да вы же сами Лику видали! — говорил он.— Она веселая, и простая, и гостеприимная, и умная была, чего там! Жили — каждому завидно. . .

Лапшин взглянул на нее. Щеки у нее горели, и в глазах было уже другое выражение — злобное.

— Конечно,— сказала она,— Лика была прелестная женщина.

Сидя на подоконнике, она грызла печенье. Крошки сыпались ей на колени, она стряхивала их частыми движениями ладони и молчала.

— Ну, я поеду,— сказал Лапшин.

— Уже? — спросила она.— А может, пойдем в ресторанчик?

Пошли в ресторанчик. Есть Лапшин не мог и не знал, что нужно делать в ресторанчике, когда играет музыка и все кругом пьяные.

— Нет, тут плохо! — сказала Адашова.— Проводите меня.

Он проводил, и когда возвращался домой, то подумал, что каждый день ходить на свои собственные похороны — невеселое занятие.

А утром очень рано приехал Ханин, сел на постель к Лапшину, разбудил его и стал рассказывать о Москве и о том, что теперь уже выяснилось, летит он или нет. . .

— Так летишь? — спросил Лапшин.

— Да конечно же лечу! — сказал Ханин.— Все уже установлено окончательно.

— А куда?

— Мое дело,— сказал Ханин,— моя маленькая тайна.

Лицо у него было измученное и веселое. Он закрывал один глаз и, надавливая пальцами висок, спрашивал:

— Вторые сутки мигрень. Неужели нельзя ничем помочь?

Разбудил Ваську и подарил ему металлический никелированный зажимчик неизвестного назначения, Патрикеевне подарил апельсин из мыла и Ашкенази — великолепную сигару.

— Вот и приехал старик в дом! — говорил он, расхаживая по комнате.— Все ему рады, всем гостинцев привез, хороший, мягкий, добрый старичина, благодетель. . .

Потом, упершись тростью Ваське Окошкину в живот, спрашивал:

— Женился? Да женился или нет? Не женился?

А когда Лапшин уже собрался уходить, он вдруг заспрашивал о спектакле: как прошло и как играла Адашова?

— Ничего,— хмуро сказал Лапшин.— Ты сам погляди.

— Я ей конфет привез,— сказал Ханин,— Наташке-то. . .

В выходной день Ханин попросил у Лапшина автомобиль съездить в оранжерею за цветами для Ликиной могилы. Патрикеевна вдруг сказала, что лучше не просто положить цветов, а лучше посадить, и что если Ханин купит рассады, то она поедет вместе с ним и посадит.

— Давай, если ты такая добрая,— с удивлением сказал Ханин.— Поедем.

Поехал и Лапшин. По дороге взяли с собой Адашову, долго все вчетвером ходили по душной оранжерее за Патрикеевной и смотрели, как она выбирает и препирается с садовником. Наташа ела миндаль и не поднимала глаза — она еще больше осунулась за это время, и еще больше веснушек выступило на ее лице.

На кладбище она не подошла близко к могиле, а стояла опершись плечом на ствол молодой березы и не отрываясь смотрела на Ханина, который, сидя на корточках, без шляпы, помогал Патрикеевне сажать цветы.

Был теплый вечер, пахло влажной землей и молодыми березами, и на кладбище, где-то за еще черными, но уже покрытыми налившимися почками ветвями, смутно белели двое людей. Они ходили меж могил, переговаривались, и порой женский голос пел:

Лишь гимназистка с синими глазами. . .

И оба смеялись.

— Ты не дави, не дави на цветочки-то! — говорила Патрикеевна Ханину.— Не жми их. . .

Он робко улыбался, и почему-то, глядя на него, казалось, что он сейчас замахает своими длинными руками и улетит, и в этом не будет ровно ничего удивительного, а удивительно, что он сажает цветы и сидит на корточках.

Лапшин нашел себе камень и, удобно устроившись на нем, курил папиросу, глядел то на Ханина, то на Адашову и, тоскуя, думал, что хорошо бы сейчас ехать по длинной-длинной дороге на возу и дремать.

Опять женский голос лукаво запел:

Лишь гимназистка с синими глазами...

Назад ехали молча, одна Патрикеевна ворчала, и Лапшину было жалко и больно смотреть на Наташу. Она, как давеча, ела свой миндаль, рот у нее запекся, и лицо было страдающее и злое.

Ночью Ханин трещал на машинке, а когда кончалась страница, пел:

Та гимназисточка...

У него была бессонница. Он стыдился ее и, глотая веронал, говорил, что это от живота.

16

В канун Первого мая Васька Окошкин сообщил, что женится, а первого, после парада, в полной форме и даже в перчатках, пришел домой за вещами.

— Ух у тебя вещей! — говорила ему Патрикеевна, швыряя на середину комнаты носки, старый ремень и грязные гимнастерки.— За твоими вещами на грузовике надо приезжать. На, бери вещи! Ве-щи ему подай!..

— И синий штатский пиджак,— плачущим голосом говорил Васька,— там в кармане был такой футлярчик металлический...

Лапшин и Ханин сидели на стульях рядом, и обоим было жалко, что Васька уезжает.

— Жалованье мне заплати! — сказала Патрикеевна.— В чем дело?

— И была у меня еще такая вещичка из клеенки,— ныл Васька,— что ты, правда, Патрикеевна?..

— А сам ищи! — сказала Патрикеевна.— Раз так, то ищи сам! Хошь бы десятку подарил; дескать, на, старуха, купи себе пряничков, пожуй. Не буду искать!

Она села, выставила вперед свою деревяшку и с победным видом встряхнула стриженой головой. Только что у себя в нише она выпила мерзавчик водки, и теперь ей казалось, что ее все всегда обижали и что надо наконец найти правду.

— Тяпнула небось,— сказал Васька, запихивая все свое добро в корзинку и в чемодан.

— На свои тяпнула,— сказала Патрикеевна.— На твои не тяпнешь.

— Ура! — сказал Васька.

Уложив вещи, Васька сел на свою кровать, на которой уже не было матраца и подушек, и помолчал. Ему было чего-то неловко и казалось, что Лапшин недоволен.

— На свадьбу не зовешь? — спросил Ханин.

— После получки,— сказал Васька,— обязательно.

Патрикеевна вдруг засмеялась и ушла в нишу.

— Психопатка! — обиженно сказал Васька.

Он вообще был склонен сейчас к тому, чтобы обижаться.

Поговорили о делах, о комнате, в которой Васька будет теперь жить, о теще.

— Теща ничего,— вяло сказал Васька,— только все меня за руку берет. Задушевная!

— А ты держись! — сказал Ханин, помолчал и засмеялся.

— Чего, Носач, потешаетесь? — спросил Васька.

— А ничего,— сказал Ханин,— мне на секунду показалось, что ты не очень хочешь туда ехать.

— Пустяки,— сказал Васька и стал надевать перед зеркалом фуражку.

Фуражка у него была новая, и надевал он ее долго: сначала прямо, потом несколько наискосок и назад. Ханин следил за ним, поднял руку и крикнул:

— О-то-то! Хорош!

— Хорош?

— Хорош,— сказал Ханин.

— Ладно,— сказал Васька.— До свиданьица!

Он подошел к Лапшину, подщелкнул каблуками и козырнул, глядя вбок.

— Будь здоров, Вася! — сказал Лапшин и подал Окошкину руку.

— Не поминайте лихом! — сказал Васька, по-прежнему глядя вбок.

— Чего там! — сказал Лапшин.

Попрощавшись с Ханиным, Васька взял корзину, чемодан и постель. Лицо у него сделалось совсем обиженное.

— Легкой дороги! — сказала Патрикеевна из ниши и захохотала.

— Счастливо оставаться! — ответил Васька.

Лапшин и Ханин сидели на своих стульях. Ханин морщил губы.

— Заходи в гости! — сказал Лапшин.

Васька ушел, и Патрикеевна сказала:

— Баба с возу — кобыле легче.

Она достала из шкафа постель Ханина, уложила ее на пустую кровать и повесила в изголовье бисерную туфлю для часов.

— А на него я жаловаться буду,— сказала она,— напишу куда следует. Повыше групкома тоже есть начальство.

Солнце ярко светило во все большие окна, с улицы доносилась глухая музыка, и настроение у Лапшина было и приподнятое и печальное. Он сидел на венском стуле, подобрав ноги в новых сапогах, и жевал мундштук папиросы. А Ханин расхаживал по комнате с рюмкой коньяку, которую все собирался выпить, и говорил:

— Я люблю, чтобы в праздник меня помяли, люблю устать, люблю, когда колонна останавливается и девушки танцуют. Налить тебе коньяку, Иван Михайлович?

— Нет,— сказал Лапшин.

И ему вдруг захотелось не видеть Ханина и остаться в комнате совсем одному, сесть у стола, упереться лбом в холодную клеенку и помолчать.

Четвертого мая Ханин выклянчил у Лапшина разрешение поехать с Бычковым на операцию. Лапшин сам не поехал — экзаменовал в школе начальствующего состава, потом допрашивал, потом совещался у начальника и пришел к себе в кабинет только во втором часу ночи. Открывая дверь, он услышал, что звонит телефон, но когда вошел и взял трубку, оказалось, что уже разъединили.

На столе лежали непрочитанные в суете дня сегодняшние газеты; Лапшин сел в кресло, наморщил лоб и стал читать.

Зазвонил внутренний телефон.

Читая, Лапшин снял трубку и сказал, что слушает.

— Иван Михайлович,— сказала телефонистка Верочка,— вас Бычков нашел?

— А ищет? — спросил Лапшин.

— Все время ищет.— Она включила кого-то и выключила. Лапшин слышал ее говорок: «Милиция, милиция. Четыре? Даю».— Вы слушаете? — громко спросила она.— Мне кажется, что-то случилось.

— Ладно,— сказал Лапшин,— посмотрим. Я теперь буду в кабинете.

Он проглотил скопившуюся вдруг во рту слюну, повесил трубку и стал ходить по комнате. Вынул часы, положил их на стол и косился на циферблат. Прошло три минуты, семь. Лапшин вызвал секретаря и велел ему послать машину с дежурным по тому адресу, куда уехал на операцию Бычков. Пришел начальник и спросил:

— Чего у тебя, Иван Михайлович?

— А черт его знает,— сказал Лапшин.— Шухер, кажется, подняли на проспекте Маклина.

— Ишь ты! — сказал начальник.

— Тут один дядька поехал,— сказал Лапшин,— Ханин, знаешь? Я тебе говорил — пишет он чего-то про нас.

— Ну?

— Он смелый человек, но штатский,— сказал Лапшин,— в очках. . .

— Ат, ей-богу! — с досадой сказал начальник и стал читать газету.

Зазвонил телефон. Лапшин спокойно взял трубку и узнал голос Бычкова.

— Ну? — угрожающе спросил он.

— Товарищ начальник, Ханина ранили в живот,— сказал Бычков,— положение опасное.

— Что? Ханина ранили в живот? — повторил Лапшин.— Ну?

— Я сам в клинике,— говорил Бычков,— положение очень опасное. Приезжайте, пожалуйста, очень опасное положение!

Лапшин повесил трубку и подумал.

— Кто вам разрешил посылать журналиста на такое дело? — фальцетом спросил начальник.— Я вас под суд отдам!

— Слушаюсь,— сказал Лапшин.— Можно идти?

— Можете!

Лапшин сделал кругом, спустился вниз и сел за руль машины. Возле ворот клиники стоял Бычков в расстегнутом макинтоше и в кепке блином.

— Ну? — спросил Лапшин.

— Краденой обуви не оказалось,— говорил Бычков, идя чуть сзади Лапшина по дощатому узенькому тротуару во дворе клиники,— ни одной пары, перепрятали. Так. Тогда я беру в тумбочке враз четыре паспорта, один стертый, и документики,

— Короче! — сказал Лапшин.

— Пока я шурую,— заторопился Бычков,— этот кулак просит разрешения с ребенком проститься. А Ханин ему: «Пожалуйста!» А он из-под ребенка браунинг и как начнет сажать! Я с антресолей ему на холку. Ну сбил, обезоружил. Так. Теперь сюда, в подворотню, товарищ начальник.

— Умирает? — не оборачиваясь, спросил Лапшин.

Они вошли в дверь с блоком и очутились в вестибюле клиники. Ярко блистали грушевидные лампы, и старик швейцар без ливреи, в одной фуражке с золотом и в деревенской рубахе, сидя на диване, вязал чулок.

Бычков скинул макинтош и кепку, положил на диван возле швейцара и разгладил ладонью волосы. Швейцар принес им халаты, и теперь сделалось видно, какое у Бычкова измученное и задерганное лицо.

— Я полностью несу ответственность,— тихо и быстро говорил он в спину Лапшина, когда они поднимались по лестнице,— полностью, лично я. Обманул меня враг...

— Ты замолчишь? — спросил Лапшин.

По длинному кафельному коридору, в конце которого поминутно трещали электрические звонки, Лапшин и Бычков дошли до двери с матовым стеклом и с цифрой «сорок». Лапшин сморщил лицо и отворил дверь, но палата была пуста, и он сразу же попятился.

— Ничего, ничего,— ласковым шепотом сказал Бычков.— Его в операционную взяли. Зайдем пока...

И он надавил в спину Лапшину и вошел сам за ним в маленькую палату.

Здесь все было прибрано и вещи расставлены с той вечной, ничем не колеблемой аккуратностью, какая бывает только в гостиницах да в больницах. Стояла кровать, тумбочка, и стул стоял нелепо, как не ставят в комнатах, в углу. На тумбочке была фаянсовая мисочка, из которой, видимо, поили Ханина. Она имела специальное название, но Лапшин так и не вспомнил это название, не успел. Заметив, что рядом с мисочкой лежат очки Ханина, сильно выпуклые стекла с одной торчащей оглоблей, Лапшин поглядел на очки и поискал по стенам и в углах, надеясь увидеть еще что-нибудь из знакомых вещей — трость или шляпу, но ничего больше не было. Только белый Бычков стоял посредине белой палаты, сунув руки в карманы штанов.

Оттого что в палате был всего один стул, ни Лапшин, ни Бычков не садились и простояли молча до тех пор, пока на высокой тележке не привезли Ханина.

С тележки свешивалась по обе стороны простыня, и Ханин был не то завернут, не то покрыт простыней весь, и санитары, и сестра, и врач — все, кто привезли его, удивились, увидев в палате посторонних людей, а врач властным голосом приказал им обоим выйти.

Они вышли и из коридора слушали, как, тяжело ступая, санитары что-то делали в палате, как двигали потом почему-то кровать и как врач тем голосом, которым разговаривают маляры или обойщики в комнате, покинутой хозяевами, приказывал что-то и обругал вдруг сестру.

Первой выкатилась с шипящим звуком тележка, потом вышли санитары, потом врач, с незакуренной папиросой в твердых плоских губах, и сказал, что пуля извлечена, швы наложены, но положение тяжелое и что, если Лапшину угодно, он может остаться хоть до утра. Говоря, он глядел на орден Лапшина и слегка двигал бровями.

Ханин лежал на спине без подушки, покрытый до плеч простыней, и казался мертвым. Лицо его странно выглядело без очков и имело новое, страдающее и детское выражение.

Лапшин взял себе из угла стул, отпустил Бычкова и просидел не двигаясь, пока не взошло солнце. Ханин очнулся, его тошнило. Лапшин с медленной и ловкой осторожностью много раз раненного солдата обтирал лицо Ханина, подставлял тазик и, когда сестра выходила, считал Ханину пульс.

Окончательно очнувшись, Ханин сказал:

— Когда я был маленьким, сестра меня пугала: не сердись, а то ты лопнешь и обваришь себе ноги! Теперь я знаю, что это такое. Надень-ка на меня очки!

Лапшин, сложив губы трубочкой, надел на Ханина очки и велел ему молчать. Ханин закрыл один глаз и сказал:

— Старик развалился на части. А какой был достойный, почтенный старик!

Отдышавшись, он добавил:

— Иди домой, Иван Михайлович! Черт бы подрал твоих разбойников! Иди, иди!

Сестра зашипела на него. Он замолчал и закрыл под очками глаза. Лапшин еще посидел, а приехав домой, позвонил Адашовой и рассказал ей все. Уже наступил день, гремели трамваи, и Патрикеевна, пока он разговаривал, стояла с корзинкой в руке — собралась на рынок. Повесив трубку, Лапшин стал снимать сапоги, а Патрикеевна смотрела на него со злобой.

— Ну чего смотришь? — кряхтя сказал он.— Иди себе, иди, бабам на рынке расскажи...

Сердце тяжело бухало у него в груди, и, когда Патрикеевна ушла, он сделал себе холодный компресс и положил на грудь. Вода текла под мышкой и по животу. Лапшин кряхтел от ощущения пропасти, в которую падал вместе с перебоями сердца, и, морща лоб, разглядывал потолок, по которому бродили солнечные пятна.

Позвонила Адашова и сказала, что ее не пускают в клинику и что она сейчас приедет к Лапшину.

Придерживая рукой мокрую тряпку на сердце, он прибрал комнату, подмел, застелил постель и на электрической плитке стал жарить яичницу, чтобы накормить Наташу, когда она приедет. И когда она приехала, он был уже в гимнастерке и в портупее, и глаза у него были ясные и яркие как всегда, и сапоги его поскрипывали, и нельзя было подумать, что он болен и что ему плохо.

Он думал, что она заплачет, или ей сделается дурно, или она начнет упрекать его, но ничего подобного не произошло. Правда, подбородок у нее вздрагивал, и она сидела съежившись, в позе, необычной для нее, и глаза у нее имели странное выражение — растерянное и тоскливое, но спрашивала она только о подробностях самого ранения, как и куда попала пуля, как ее извлекли, сколько длилась операция, много ли Ханин потерял крови, что он чувствует сейчас, а главное — когда к нему наконец пустят.

— Я бы с ним посидела,— говорила она,— я умею ходить за больными. У меня отец в крушение попал, и я все ему делала не хуже, чем фельдшерица... И я бы ему болтать не давала, он болтает, наверно, много...

На ее лице было детское, умоляющее выражение. Она встала и посидела на кровати Ханина.

— Это здесь он спал? — сказала она.— Но он же очень длинный, у него ноги, должно быть, торчали.

И она попробовала, пружинит ли сетка.

Потом вдруг она потянула пальцами Лапшина за рукав гимнастерки и сказала:

— Вы только не мучайтесь, Иван Михайлович. Вы же не виноваты, вы нисколько не виноваты. И все это кончится благополучно, вот посмотрите!

И она еще раз потянула его за рукав.

— Покушайте,— сказал Лапшин.— Яичница простыла.

Постучав к Ашкенази, он рассказал ему о случившемся, и они втроем пошли в клинику. Адашова шла впереди, сунув руки в карманы своей вязаной кофточки, и часто встряхивала головой, а Лапшин слушал болтовню Ашкенази и глядел на Наташу, на ее независимую и легкую фигуру, на ее тонкую шею, на ее заштопанный чулок.

Но в клинике присутствие духа покинуло ее. Она сжалась, побледнела, и когда надевала халат, то долго не могла попасть в рукава и завязать тесемки. В палату она вошла первой и выглянула оттуда порозовевшей, испуганно-счастливой.

— Ничего,— сказала она Лапшину, близко заглядывая ему в глаза,— честное слово, ничего. Войдемте все, только ненадолго, а потом уж я совсем с ним останусь. Только ненадолго, да?

За эти несколько минут она забрала всю власть над Ханиным себе и всем распоряжалась.

Ханин по-прежнему лежал на спине, без очков, близоруко моргал и просил шипящим голосом:

— Дайте покурить! Дайте немножко покурить! Наташка, Наташенька, один раз только затянуться...

— Нельзя, миленький! — почему-то шепотом говорила Наташа.— Ну нельзя...

Она уже что-то делала в палате, мыла какой-то стакан, потом ушла и принесла вату и таз, чтобы вытереть Ханину лицо.

— Я не люблю мыться,— говорил он,— я не считаю это нужным. И все равно, роковая развязка близится.

— Теперь уходите,— сказала Наташа Лапшину.— И вы, доктор, уходите. Я сама теперь здесь буду. Я себе тут кресло поставлю.

— Покурить, сволочи! — сказал Ханин жалобно.— Ну Иван Михайлович!

Приехав в управление, Лапшин прямо прошел к начальнику и доложил ему про Ханина.

— Цветов надо ему послать,— сказал начальник.— Неудобно, на нашем деле пострадал. Как ты считаешь?

— Можно,— кисло сказал Лапшин.

— Не любит?

— Да нет, можно,— сказал Лапшин.

— Ерунда получается,— сказал начальник.— Мне уже из Москвы звонили, из газеты. Что да как? Ерундистика!

Помолчали.

— А на меня ты не обижайся,— сказал начальник.— Очень я погорячился вчерашний день. Потом разберемся.

— Так точно,— сказал Лапшин.

Половину дня он проработал спокойно, но потом начал волноваться так, как не волновался уже много лет. Когда-то, еще во время войны, он был тяжело контужен, не лечился, и теперь раз в три-четыре года его мучили припадки, наступление которых он точно распознавал и которых мучительно стыдился. При полной ясности сознания у него вдруг начинала неметь левая нога, в голове подымался треск, горело лицо, и откуда-то изнутри шли потрясающие все тело короткие, сильные, болезненные спазмы.

Допрашивая знахаря Бочарова, он почувствовал приближение припадка, позвонил и, когда Бочарова увели, запер за ним дверь на ключ и лег на диванчик в нелепой, навсегда установленной позе, про которую он думал, будто она помогает. Секретарь отворил снаружи своим ключом дверь и, поняв в чем дело, поставил Лапшину воду, подтянул шнур с кнопкой для звонка поближе и, как было установлено, оставил его одного.

«Сорок восемь, сорок семь, сорок шесть,— считал Лапшин, чтобы успокоиться,— сорок три, сорок два. . .»

Его передернуло, он мысленно выругался и со злобой засопел носом. И вдруг, первый раз за всю свою жизнь, он с отчаянием и с болью и со страстью захотел, чтобы сейчас с ним здесь была женщина, которую он любил, чтобы она села рядом с его беспомощным, грузным, страдающим телом, чтобы она расстегнула ему ремень, сняла револьвер и расстегнула ворот гимнастерки, разула бы его, подставила под висящую ногу стул и сделала все то, что может сделать только любящая женщина и чего никогда никто ему не делал.

«Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать,— считал он,— тринадцать, двенадцать. . .»

Его подкинуло, он стал сползать с диванчика, но уперся пальцами в пол и опять улегся в нелепой позе и опять стал считать от тысячи назад.

«Я, конечно, хуже его,— думал он,— я ничего не знаю, а он знает много и видел много, и вообще он человек замечательный, умный человек, честный, а я что? Я себе работаю и работаю. . . И, конечно, он опасно раненный, и вообще он известный журналист, и его жизнь в опасности, а моя вне опасности. . .»

Секретарь сунул голову в дверь и сказал, что доложит начальнику и позовет доктора.

— Стрелять буду,— сказал Лапшин,— как, как, как. . .

Дверь захлопнулась. Он встал, лег животом на стол и снял телефонную трубку.

«А моя вне опасности,— рассуждал он, стыдясь сознаться себе, что звонит в клинику не потому, что хочет узнать, как здоровье Ханина, а потому, что хочет услышать голос Адашовой.— Она скажет — и все,— думал он,— я же понимаю».

Телефонистка Лебедева, которую Лапшин узнал по голосу, спросила номер, но он не мог назвать, заикался, и она поняла, зная о Ханине, что ему нужна клиника. Он лежал животом на столе, сопел носом и слышал, как она вызывала сначала Бычкова, чтобы узнать клинику и номер палаты, потом коммутатор клиники, потом когонибудь из палаты. Подошла Наташа. Лебедева ей сказала, что с ней будет говорить Лапшин, и выключилась.

— Ничего, все хорошо,— говорила Наташа.— Вы слушаете, Иван Михайлович?

— Да,— с силой сказал он.

— Были врачи,— думая, что он плохо слышит, громко говорила Наташа,— все идет хорошо, спокойно. Вы заедете?

— Да,— сказал он.

— Есть ему и пить нельзя и долго будет нельзя,— продолжала она.— Я на репетицию не поеду и все время тут буду, мне позволили. . .

Он тихонько повесил трубку и стал сползать со стола, чтобы лечь на диванчик, но, лишившись опоры, опустился прямо на пол, на паркет, дурно пахнущий мастикой, и опять принял ту нелепую позу, которая, по его мнению, ему помогала. В голове у него стоял треск,

похожий на треск гранат, судороги сотрясали все его большое и сильное тело, он ловил ртом воздух, и в ярко-голубых глазах его было сосредоточенное выражение — он старался не потерять сознания и не застонать.

Через несколько минут отворилась дверь и вошел начальник. Увидев злобные глаза Лапшина, он сказал ему:

— Но, но, не дури!

И, усевшись возле него на корточки, стал делать то, чего никогда не делала Лапшину женщина: он снял с него сапоги, расстегнул гимнастерку, ремень, портупею, погладил его по голове и подложил ему под затылок свернутый плащ. Постепенно в кабинет набивался народ, и Лапшин видел, как плачет Галя Бычкова и как ей что-то говорит, прогоняя ее, бледный Васька Окошкин.

Потом пришли врач и санитары, Лапшина уложили на носилки и унесли. В больнице он пролежал два дня, и за это время у него побывали все, кроме Наташи и Ханина. Из больницы он поехал прямо в клинику, сел в Наташино кресло и долго с удовольствием глядел на небритого, худого и веселого Ханина. И на Наташу он тоже глядел с удовольствием и угощал ее купленными по дороге слоеными пирожками.

17

Недели через две, поздней ночью, когда Лапшин, лежа в постели, читал описание Бородинского боя, вдруг явился Окошкин, оживленный, с бутылкой портвейна в кармане и с коробкой миндального печенья в руке.

— Зашел на огонек,— моргая от яркого света, сказал Васька,— старых друзей проведать. Как живете, Иван Михайлович?

— Явился, барин! — сказала из ниши Патрикеевна.— Без вас ничего жили, с вами хуже.

— А ты как? — спросил Лапшин, точно виделись они раз в год, а не каждый день.

Васька, раскачиваясь на стуле, сказал, что живет он чудно, но что есть неувязки.

— Не качайся,— сказал Лапшин,— в глазах рябит.

Ему было очень интересно, что за неувязки у Васьки, но он не спрашивал его и молча пил отвратительный портвейн.

— Чудная штука! — говорил Васька.— Верно, Иван Михайлович? Ароматная, легкая. Я слышал, будто английские лорды эту штуку тяпают по рюмочке после обеда. А у нас бутылка семь рублей, довольно дешево!

— Вряд ли тяпают,— сказал Лапшин,— уж тогда я на них удивился бы. Политура — и то лучше.

Они погрызли миндальное печенье. Васька снял наконец фуражку, побродил по комнате, повздыхал и спросил, что Ханин.

— Да прыгает,— сказал Лапшин.— Ты меня давеча утром уже об этом спрашивал. . .

— Влип парень! — сказал Васька.— Подумать только, в живот схватил ранение!

— Ну? — спросил Лапшин.

— Да я так просто,— сказал Васька.— Чего вы нукаете?

Лапшин улыбнулся, сунул за щеку два миндальных печенья и взял в руки описание Бородинского сражения. Васька еще покачался на стуле и пошел в гости к Ашкенази. Вернувшись, он сказал, что все в порядке, но что вредный старик спит и в рецепте ему отказал.

— В каком рецепте? — спросил Лапшин, не отрываясь от книги.

— Да нервы у меня,— сказал Васька.— Организм расшатался.

— Поди к черту! — басом сказал Лапшин.— Нервы у него. . .

Зачитавшись, Лапшин не заметил, что Васька разулся и лег на кровать Ханина. Он лежал, заложив руки под голову и задрав ноги в вишневых носках. Лицо у него было грустное, он глядел в потолок и вздыхал.

— Чего, Вася? — спросил Лапшин.— Худо, брат, тебе?

— Худо, Иван Михайлович,— виновато сказал Васька.— Верите ли, пропадаю!

— Ну уж и пропадаешь! — сказал Лапшин.

— Да заели! — крикнул Васька.— На котлеты меня рубят.

Быстро усевшись на кровати Ханина и вытянув вперед голову, он стал рассказывать, как жена и теща подсмеиваются над ним за то, что он помогает сестре, как его, Ваську Окошкина, заставляют по утрам есть овсяную кашу, и как они водили его в гости к тещиному брату, служителю культа, и как этот служитель куль-

та ткнул Ваське в лицо руку, чтобы Васька поцеловал, и что из этого вышло.

— Чистое приспособленчество! — скорбно говорил Васька.— Такую мимикрию развели под цвет природы, диву даешься, Иван Михайлович. Ну не поверите, что делают! И вещи покупают, и все тянут, и все мучаются, и все кряхтят, и зачем, к чему — сами не знают. И едят как-нибудь, и мне в управление ни-ни! Булочку дадут с собой, а там, говорят, чаю. Чтоб я пропал!

— Ошибся в человеке? — спросил Лапшин.

— А хрен его знает! — сказал Васька.— И он стал прыгать по комнате, натягивая на себя сапоги.

— Главное дело что,— говорил он, обувшись,— главное дело — это как они меня терзают. Ну все им не так! Вилку держу — не так, консервы доел — не так, на соседа поглядел — не так. И всем я плох. Вычитала теща, что уполномоченные бывают сами из жуликов, и ко мне с подходцем: «А вы сами не жулик бывший?» — «Сами вы, говорю, знаете кто?»

— Кто? — спросил Лапшин.

— Ладно,— сказал Васька,— спите, Иван Михайлович! Говорить — только нервы портить.

Он доел печенье, допил портвейн, еще раз со скорбью оглядел комнату и уже из двери сказал:

— Поверите, гимнастерку на работе чернилом замазал — боюсь домой идти. Что с ребенком сделали, а?

— Они тебя вышколят,— из ниши сказала Патрикеевна,— шелковый будешь.

Васька махнул рукой и ушел.

Видеть Адашову Лапшину не хотелось, и потому у Ханина он бывал в те часы, когда в театре шли репетиции и когда встретить Наташу он не мог. Но во всем том, что окружало Ханина — в мелочах, в пустяках,— Лапшин чувствовал ее присутствие: то на тумбочке лежала книжка, о которой она, в свое время, говорила Лапшину, то в вазочке, знакомой ему, был налит домашний компот, то на изголовье кровати висел шарфик, принадлежавший ей... И самое ее имя Ханин вспоминал куда чаще, чем раньше, и совсем иначе, чем раньше,— с плохо скрываемым раздражением и с какой-то постной миной при этом. И раздражение и постное лицо были Лапшину оскорбительны. Он сопел носом, крякал и старался не глядеть на Ханина,

Ханин поправлялся, и обычно они сиживали в парке клиники на старой дубовой скамье возле кирпичной стены. Носил Ханин табачного цвета застиранный, с клеймом, халат и шлепанцы, а голову повязывал от солнца носовым платком с четырьмя узелками по углам. Безделье мучило его больше, чем рана, он говорил Лапшину дерзости, бранил врачей, кричал на санитарок, которые его обслуживали. Все ему не нравилось: кормили плохо, постель была неудобная, ординатор — дубина и самодовольный дурак, вчера в палате перегорела лампочка, и два часа не шел монтер. . .

— Вредный ты какой сделался! — сказал ему как-то Лапшин.— Жужжишь, ворчишь. . .

— Я не могу, когда на меня молятся! — крикнул Ханин.— Я от нее на луну уеду.

От того, что́ он сказал, ему стало стыдно. Он отвернулся, щелкнул тростью по скамье и добавил мягко:

— Улетит мой летчик без меня. Что тогда будет?

— Конец света будет,— сказал Лапшин.

В другой раз Ханин стал жаловаться на то, что ничто так не портит мужчину, как любовь женщины.

— Я тебя не понимаю,— сказал Лапшин.

— Нашего брата нельзя любить безрассудно,— говорил Ханин,— нельзя относиться ко мне так, будто я чудо из чудес. Живу я здесь долго, капризничаю, а она мне утверждает, что я самый лучший, прелестный, умный, талантливый. И что бы я ни сказал — все хорошо, умно, замечательно. . . Ты слушаешь?

— Да,— сказал Лапшин,— но мне пора ехать.

— Посиди! — сказал Ханин.— Одним словом, мне это немножко поднадоело.

— Не стоит об этом говорить,— сказал Лапшин, вставая со скамьи.

Ханин оперся на трость и тоже встал.

— Погоди, погоди,— сказал он,— погоди, Иван Михайлович!

— Я эти твои разговоры отношу за счет болезни,— сказал Лапшин,— они на тебя не похожи.

Они медленно шли по узкой дорожке парка: Ханин впереди, Лапшин сзади.

— Ты попробуй прижимать рану ладонью,— говорил Лапшин.— Мне это когда-то очень помогало. Свободнее ходил.

— Привези мне марок почтовых,— сказал Ханин,— буду хоть письма писать, что ли. Ладно?

— Ладно,— сказал Лапшин.— Привет Наташе.

Он пожал руку Ханину, но Ханин не выпустил сразу его руки из своей.

— Что? — спросил Лапшин.

— Почему же ты мне сразу не сказал? — говорил он, качая своей птичьей головой.— Сказал бы сразу — и вся недолга. Я только сейчас понял.

— Будь здоров! — сказал Лапшин и выдернул руку. Лицо у него было спокойное, и глаза смотрели прямо.— Так, значит, марок?

— Марок-то марок,— сказал Ханин,— да не в них дело.

— Если бы ты не болел так долго,— сказал Лапшин с неудовольствием,— то язык бы у тебя был покороче. Иди, ложись!

Козырнув, он зашагал по дорожке, сдвинул назад кобуру и исчез в калитке. В автомобиле он думал о том, что тяжело будет, когда Ханин опять переедет к нему, и что было бы отлично, если бы Ханин переехал из клиники не к нему, а к себе. Но от этих мыслей ему сделалось неловко, и он тут же твердо решил, что обязательно перевезет Ханина сам, и что Ханин обязательно будет жить у него, и что все остальное — вздор. Решив так, он почувствовал облегчение и повеселел, а потом стал думать про Ваську Окошкина и еще больше повеселел.

В управлении его вызвали к начальнику, и начальник предложил ему идти первого в отпуск.

— Да нет, не пойду,— сказал Лапшин.— Пускай уж мой Ханин поправится. Неловко как-то. Попозже пойду.

На лестнице он встретил Ваську Окошкина.

— Ну что, Вася? — спросил Лапшин.— Как поживаешь?

— Ничего, товарищ начальник! — вяло сказал Окошкин.— А вы как?

— И я ничего.

— Ну что ж,— сказал Окошкин,— надо бежать.

— Беги, Вася,— сказал Лапшин,— заходи в гости.

Через несколько дней Лапшин перевез к себе Ханина, и комната его, благодаря постоянному теперь присутствию Наташи, резко изменилась. Больше не пахло сапогами, буфет Наташа передвинула, люстру сняла и

вместо нее повесила большой синий абажур. И в двух банках от варенья теперь постоянно стояли цветы. Патрикеевне все это не нравилось. Наташу она не уважала и, считая, что Ханин «закрутил», все свое внимание перенесла на Лапшина. Несколько дней подряд она варила его любимые свежие щи и покупала ему язык, которого Ханин не ел. Наташе она говорила «вы» и за глаза называла «эта» и «барыня».

А у Лапшина теперь совсем не было своего дома.

Сидеть с Наташей и Ханиным ему не хотелось, и он часто ночевал на диванчике в кабинете. Потом поехал в Карелию, потом в Мурманск, потом еще раз в Мурманск. Жил он там в «Арктике», в плохом номере, слушал патефон соседа и гулял белыми ночами по дощатым тротуарам и по скалистым переулкам странного северного города. С собой у него была книга об истории Парижской коммуны, он понемногу читал и с каждым часом чувствовал себя все свободнее и свободнее от того, что так мучило его раньше. Глядя белой ночью в окно на смутные очертания далеких рыжевато-серых гор, и на воду, и на застывшие в ней корабли, и на розовое, точно дымное небо, он думал о том, как наступит осень и как он изменит свою жизнь, как начнет заниматься, как уплотнит дни и как два раза в пятидневку обязательно будет преподавать в своей бригаде. И его охватывало беспокойство, он вынимал блокнот и, потирая макушку ладонью, распределял часы, дни и месяцы, зачеркивал и вновь распределял, стараясь составить весь план так, чтобы он был и гибок, и точен, и выполним, и широк.

Засыпал он обычно поздно и спал спокойным и легким сном — как засыпал на спине, так и просыпался.

В конце июля Ханин уезжал в Москву, а оттуда на Дальний Восток. С полетом у него не вышло — он опоздал, летчик уже улетел.

Опять он ходил по вагону, как по своей комнате, и опять лицо его выражало оживление, так свойственное людям, уезжающим надолго. Он много говорил, смеялся, стучал палкой, и Лапшину приятно было думать, что сейчас Ханин опять начнет жить привычной для него и любимой им жизнью.

— Поедем со мной,— говорил Ханин,— а, Иван Михайлович? Поедем, милый! У меня много друзей по все-

му Союзу, везде нас накормят, и спать положат, и пирожков на дорогу испекут. Будем ехать, и ехать, и ехать, а? Я тебе рыбу покажу, океан покажу, леса покажу, озера. Со стариком одним познакомлю. Поедем! Вели ему, Наташка, чтобы он ехал!

— Да ну что! — сказала Наташа и отвернулась.

Лицо у нее было злое, и Лапшину на секунду показалось, будто Ханин нарочно так много говорит.

— Ты глупый или умный? — вдруг спросил Ханин.

— Я средний,— улыбнувшись сказал Лапшин.

— Вероятно, ты умный,— сказал Ханин,— но я не понимаю твоего молчания. Когда ты молчишь, я не знаю, что о тебе думать. Иногда я думаю, что ты железный.

— Не знаю, почему железный? — сказал Лапшин.

Они пошли втроем по перрону в сторону паровоза.

— Ну? — спросил Ханин.

— Один адвокат, которого я допрашивал,— все еще улыбаясь, говорил Лапшин,— видный дядька, сказал моему начальству, что я посредственность. Я тогда подумал: «Посредственность посредственностью, а ты, индивид, мне во всем сознался и сам подписал своей рукой, что, дескать, сознаюсь, я действительно хабарник, продажная шкура и предатель». А?

Он засмеялся, покрутил головой и добавил:

— Приятно мне, помню, сделалось.

— Какой паровоз здоровый! — сказал Ханин.— Надо бы как-нибудь на паровозах поездить. Верно, Наташа?

Она промолчала.

— Ну, пора! — сказал Ханин.— Пора в вагон лезть. Хватит, поговорили. Спасибо тебе, Иван Михайлович, и тебе, Наташа.

— Когда приедешь? — спросил Лапшин.

— Года через два.

— Ну ладно,— сказал Лапшин.— Будь здоров!

— И ты будь здоров,— сказал Ханин, закрывая один глаз.— И постарайся, чтобы тебя не убили. И за Наташей приглядывай.

Поезд двинулся. Ханин встал на подножку, и Лапшин прошел несколько шагов за вагоном. Но Наташа осталась, стояла у столба, и Лапшин, махнув Ханину рукой, вернулся к ней.

— Ну что? — спросил он, сочувственно глядя на нее.— Пойдем?

— Теперь я пропаду,— сказала она в автомобиле. И, закрыв лицо ладонями, тихо заплакала.

— Я люблю его,— говорила она,— я так люблю его! Мне очень плохо, Иван Михайлович. Ведь он даже письма не напишет.

Лапшин молчал, жалея Наташу.

Перестав плакать, она разгрызла орех, вздохнула и сказала:

— Вот вы счастливый человек. У Ханина — Лика, у меня — Ханин, а у вас хоть бы что!

— Это верно,— сказал Лапшин.

— Вы будете ко мне приходить? — спросила она, когда он довез ее до дому.

— Зайду как-нибудь, спасибо,— сказал Лапшин и, захлопнув дверцу, козырнул.

Она пошла в ворота, а он поглядел ей вслед, натянув на руку перчатку, и стал разворачивать автомобиль. По дороге он купил боржому. Дома при свете лампы под новым абажуром Патрикеевна вязала Лапшину шерстяные носки. Кровать, на которой когда-то спал Васька, а потом Ханин, была уже убрана.

— Купить бы нам диванчик,— сказала Патрикеевна.— Все как у людей было бы.

— Купим,— сказал Лапшин, садясь к приемнику,— разбогатеем — купим. Пока что у меня шестьсот рублей долгу поднабралось с болезнями с этими да с цветами...

— Провались ты! — сказала Патрикеевна и сделала вид, что плюнула.

— Сокращаться надо, сокращаться,— сказал Лапшин.— Всякие ветчины пока бросим.

— Ну вас! — сказала Патрикеевна и, швырнув вязание, ушла к себе в нишу. Ей сделалось очень обидно, что у Лапшина мало денег и что на ее долю перепадать будут гроши.

Лапшин с опаской взглянул на вязание, выключил радио и засвистал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

— Последнее просвистите! — сказала Патрикеевна из ниши.— Рассвистались!

Он замолчал и стал раздеваться. На чай никакой надежды не было.

18

Дождливым августовским вечером, когда Лапшин и Ашкенази играли в шахматы, пришел вдруг Васька Окошкин. Встряхнув макинтош, он развесил его на спинку стула, вытер душистым платком смуглое лицо и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Остались от козлика рожки да ножки.

— Рожки да ножки,— басом повторил Лапшин.— Рокируюсь, доктор!

Ему очень хотелось узнать, что случилось с Васькой, но он не подал виду.

Васька вел себя неспокойно, скрипел стулом, потом стал рыться в буфете, и в комнате запахло валерьянкой.

— Рожки да ножки,— спел Лапшин, кончая игру и ссыпая фигуры в коробку.

Ашкенази ушел.

— Ну, Вася,— сказал Лапшин,— угощу я тебя чаем с хлебом и с маслом.

— Иван Михайлович,— сказал Васька,— я тебя попрошу, пусти меня к себе пожить, сделай одолжение!

— А что?

— А то,— сказал Васька,— не могу я больше эти Вальпургиевы ночи переносить! Пьют из меня кровь две ведьмы. Ну сами поглядите, что от меня осталось...

— Довольно прилично выглядишь,— сказал Лапшин,—но это дело девятое.

— Правильно,—сказал Васька.

Он откусил огромный кусок хлеба с маслом и положил в стакан три куска сахару, потом, вопросительно взглянув на Лапшина, положил четвертый.

— Ничего,— сказал Лапшин,— можно.

— Чума их задави! — сказал Васька.— Зато маникюр мне делали по два рубля за штуку. Что я, на сахар себе не зарабатываю, а? Ну люблю сладкий чай, ну бейте, ну, эх!

Отодвинув от себя стакан, он сел на подоконник и стал глядеть на улицу.

— Ладно, Окошкин, чего так болезненно переживать! — сказал Лапшин.— Ну, наскочил на плохую женщину, подумаешь — делов! Иди, пей. Развелся ты или как?

— Убежал,— сказал Васька.— Они меня за селедка-

ми послали, на трешку селедок купить. Я трешку в кулак — и ходу. Хрен вон им, а не селедки!

Отпивая большими глотками чай, он с жадностью откусывал хлеб с маслом и говорил, как его мучают, как ему не дают есть, как ему приказали вывести в тещиной комнате клопов, как он уронил вазочку и какой был потом скандал.

— Ладно,— сказал Лапшин,— надоело. Только уж живи либо тут, либо там. . .

— Конечно,— согласился Васька.

Пришла с собрания Патрикеевна и, узнав, что Васька опять здесь будет жить, неожиданно обрадовалась. Ей пришло в голову, что теперь-то Васька должен платить за стол и что ей, пожалуй, тоже перепадет.

— Так что, койку принести? — спросила она.

— Пойдем принесем,— сказал Васька.

Когда расставляли койку, зазвонил телефон, и женский голос спросил у Лапшина, не здесь ли Окошкин.

— Здесь,— сказал Лапшин, передавая трубку Ваське.

Васька долго слушал молча, потом сказал:

— Не тарахтите, пожалуйста, как два мотоциклета.

Потом через несколько минут опять сказал:

— Попрошу террор не наводить.

И наконец, когда Лапшин прочитал передовую в газете, Васька произнес:

— Никаких претензий я к вам не имею, но с вами развожусь. Да! Хватит, подоили! Да! Так моей бывшей жене и передайте. Да! С приветом! Окошкин.

Повесив трубку, Васька сел на кровать к Лапшину, длинно и с облегчением вздохнул и сказал:

— Все в порядочке.

— Почитай лучше книжку,— сказал Лапшин.— Какой-то ты, действительно, нервный стал. . .

Они почитали еще с полчаса, потом Лапшин спросил, можно ли гасить свет. Но Васька уже не ответил — спал. На нем была новая нижняя рубашка, белая с розовым, и Лапшину сделалось смешно и немного жаль Ваську.

1937


ЖМАКИН

1

Партия была небольшая — восемь человек. Шли молча и быстро, чтобы не замерзнуть. Дыхание из пара на глазах превращалось в изморозь. Мороз был с пылью — пыльный мороз,— любой бродяга тут начинает охать. И деревень не попадалось — только кочки, покрытые голубым снегом, да мелкие сосенки до пояса, не выше.

Захотелось есть. Жмакин вытащил из кармана хлеб, но хлеб замерз — сделался каменным. С тоской и злобой Жмакин закинул хлеб подальше в снег. Под ногами все скрипело. День кончался. Ничего не было слышно, кроме мертвого скрипа,— ни собачьего бреха, ни голосов. К вечеру краски сделались фиолетовыми,— пыль сомкнулась в сплошной туман. Лица у всех были замотаны до глаз — у кого портянкой, у кого платком.

К ночи вошли в городок. В морозном тумане едва мерцали желтые огни. Пахло дымом, навозом, свежим хлебом. В большой комнате Жмакин разулся и заплакал. Весь мир был проклят, все надо было поджечь и уничтожить, всю эту вонючую рвань, и все города, и села, и хутора.

Люди спали на полу — вповалку. В углу на месте бывшей иконы светил фонарь «летучая мышь». Пышная, чистая изморозь пробивалась в щели меж бревнами и как бы дышала холодом, морозной, звенящей пылью. Люди спали тяжело — со стонами, с руганью, с назойливым бредом. Под фонарем сидел рыжий старик и чинил ботинок. Жмакин глядел на него, пока не уснул. Во сне не мог согреться и думал: «Уйду». Казалось, что уже ушел. Просыпался, но было то же — комната, изморозь, фонарь, старик. А во сне опять шел по длинной дороге и видел на горизонте две горы — ровные, одинаковые, невыразимо печальные.

Утром он стоял в очереди, но потом надоело, обошел очередь и положил руки на стол перед военным. Военный поднял глаза — всматривался долго, почти изумленно сказал:

— Никак, Жмакин?

— Он самый,— сказал Жмакин.

Военный разглядывал Жмакина в упор. Такие гуси редко сюда залетали. Очередь волновалась. Но постепенно стихли — в поведении Жмакина чувствовали обещание зрелища, да и все равно — куда было торопиться в этой забытой стороне?

— Будешь работать? — спросил начальник.

Жмакин смотрел на него, прищурившись зелеными глазами, с непонятным выражением участия.

— Может, буду,— сказал он наконец.

— Ты что умеешь?

— Могу портсигар принять или часы за десять секунд,— сказал Жмакин.— Не потребуется?

Выражение брезгливого участия по-прежнему было в его глазах. Лицо начальника напряглось. Очередь была готова засмеяться в любую секунду, но еще не смеялась.

— Могу работать на несгораемых шкафах,— продолжал Жмакин со скукой в голосе.

Эту скуку начальник знал очень хорошо: так держаться на допросах — высший шик в блатном мире.

— А еще что?

— Многое могу,— сказал Жмакин. У него пропало желание смешить очередь. «Обормоты,— вдруг с презрением подумал он,— паразиты».

Начальник молчал. Теперь дело было за ним — сейчас он мог уничтожить Жмакина, но ему не хотелось. Да и незачем было. Зеленые глаза Жмакина выражали мертвую скуку.

— Болен?

— Нет,— сказал Жмакин,— здоровее вас.

— В лес пойдешь?

— Это зачем?

— На лесозаготовки.

— В лес я не пойду,— сказал Жмакин,— пусть медведь в лес идет.

— Так. Ну, а на молочную ферму?

— Я коров боюсь.

Очередь засмеялась. Жмакин в бешенстве повернулся. Он в самом деле с детства боялся коров.

— Чего ржете? — крикнул он.— Вы, рвань!

Лицо его дрожало. Теперь было понятно, почему блат окрестил Жмакина двойной кличкой: Каин-Псих. Глаза его сузились, одно плечо выдалось вперед. Очередь шарахнулась кто куда. Начальник следил с любопытством.

— Пошел вон,— сказал он наконец Жмакину.

Жмакин вышел без шапки, скрипя зубами. Его трясло. Поостыв, он зашел в кооператив и, сунув руку в коробку от печенья, что стояла на прилавке, вытащил пригоршню хлебных ордерочков. Местный поп купил ордера здесь же возле кооператива. Тогда Жмакин, плюнув на воровской закон — второй раз не ходить, опять вошел в лавку и опять взял ордеров, да притом он их посчитал. Двадцать один пуд хлеба. Он дрожал мелкой веселой дрожью. Он любил эту дрожь — это была рабочая дрожь. В чужих квартирах, в магазинах ночью она была с ним, она помогала ему,— он весь вытягивался, как струна, его слух обострялся необыкновенно, зрение делалось точным. Если дрожь эта возвратилась — значит, все в порядке, значит, можно еще жить.

Ночью он продал талоны хозяину избы за тридцать рублей. Хозяин сказал ему, как надо идти, чтобы миновать кордоны. Видно было, что он провожал не первого. Когда все заснули, Жмакин взял у соседа ватник и у рыжего старика валенки, потом какую-то рыбу. Больше не было блатных законов, он преступил последний — взял у своего. За это полагается убивать. Сердце его стучало, ладони были мокры от пота. На улице он переобулся — замотал ноги газетами,— теплее. Все было в порядке — ни луны, ни часовых. Впереди лежало более трехсот километров волчьего пути. Он готов был принять смерть.

— Рвань,— сказал он, вспомнив шпану, с которой ехал, шел и жил.

За околицей он пошел ровнее, спокойнее. Было время подумать. Он уже поостыл, злоба пропала, ровный путь лежал впереди. Вот и старая кузня. Здесь хозяин велел сворачивать. Жмакин ступил в снег. У кузни он остановился, оттянув дверь и понюхал. Изнутри тянуло морозом и едва уловимым запахом ржавого железа и жирного угля. Кусок доски отскочил. Тоненький, как посошок. Он взял его с собой и пошел, переваливаясь, покручивая посошком, позевывая.

2

На одиннадцатые сутки пути начались галлюцинации. Четыре раза он слышал волчий вой, на пятый воя не было, а слышался. Жмакин заткнул уши под шапкой ватой, надерганной из пиджака. Но вой все слышался. Тогда Жмакин покорился. «А хотя бы и так,— думал он себе в утешение,— хоть бы и не на самом деле. Еще лучше. Настоящий повоет, повоет, а потом придет и съест. А этот только воет. Пусть».

Но как-то на снегу, озаренном бледной лунной радугой, возникла волчья стая. Жмакин посчитал — волков было пять. Он повернул влево — и волки пошли влево. Он повернул направо к холму — и волки повернули к холму. Он побежал, задыхаясь и обжигая легкие тридцатиградусным морозом. Он бежал, пока совершенно не изнемог. Обессилев, он обернулся. Волков не было. Он посмотрел вперед. Они стояли на точно таком же расстоянии, что и раньше. Жмакин протер глаза,— волки исчезли. Потом опять появились. Потом вновь исчезли.

Утром он увидел хутор. Хутора на самом деле не было. Потом ему стало казаться, что он в Ленинграде. Или во Владивостоке. Он лежал на снегу, ему делалось все теплее и теплее, как в бане. Но он поднимался и шел дальше. Все эти хитрости он уже разгадал и ко всему относился подозрительно.

Подозрительно он отнесся и к настоящим волкам. Они бежали, как собаки, только головы держали иначе. Он не обращал на них внимания. Они были его вымыслом, он привык уже к таким вещам, но подозрительность спасла его. Нет-нет да и поглядывал он на них. Они шли с каждой минутой все ближе. Тогда внезапно он понял, что это — волки, а не вымысел, и что надо драться. Он понял, что от них не убежать. И посчитал: раз, два, три. Посчитал еще раз: три. И еще. Они были совсем близко. Он стоял на самой опушке леса. Страх пропал, он оперся спиной на сосну как можно крепче и вынул финский нож. Волки были совсем близко. Бока их запали, жалко и нелепо выглядели их голодные, осатаневшие морды. Самый матерый зверь шел впереди. Жмакину казалось, что они должны остановиться «перед этим», но они не остановились. Матерый вдруг сразу прыгнул, так что полетел снег. Жмакин защитил лицо левой рукой, а правой — ножом ударил и почувство-

вал, что попал. Шкура пропоролась, и волк взвизгнул. Жмакин ударил еще раз и бил, не останавливаясь, в морды, в бока, в животы, в лапы. Один из волков повис на его плече, рвал зубами кожух, ватник и не мог добраться до тела — сваливался. Жмакин поддал его ногой, как поддают злого пса. Но тот — матерый, раненый, уже хрипящий — вновь кинулся к горлу, и Жмакин опять ударил его ножом и, не видя, почувствовал, что теперь остались только два, что матерый кончен. Он все бил и бил ножом,— руки его были разодраны зубами и лицо было в крови, но он не слабел, наоборот,— ему казалось, что весь он сделался теперь тяжелым, как из железа, и что каждый его удар убивает. Но он убил только одного волка, а двух искалечил, и они ушли. Да и первый, матерый, еще не был убит — он бился и грыз снег, вывернув шею. Крови было очень мало, он все взрывал лапами, и спиной, и боками снег и хрипел, как хрипят неумело заколотые свиньи. Жмакин стоял у своей сосны и смотрел на зверя молча, не двигаясь. Кровь заливала ему глаза и замерзала на лице,— он нашел в кармане тряпку и отер лицо. На лбу кожа свешивалась клочьями; еще не чувствуя боли, он сложил пальцем лоскутья и надвинул шапку пониже, чтобы закрыть рану и чтобы кровь не мерзла. Потом, трудно передвигая искусанные волками ноги, он подошел к издыхающему зверю и сел на взрыхленный борьбою снег. Волк все еще бился и хрипел. Тогда Жмакин, перевалившись на бок,— лень и усталость не позволили ему встать,— замахнулся и ударил зверя ножом в напруженную хрипящую глотку. Мгновенная судорога свела тело волка. Он вытянулся и закусил длинный, багровый еще язык.

Жмакин встал и короткими шагами пошел в лес. Там его вырвало. Он утер навернувшиеся слезы и заплакал во второй раз за свою взрослую жизнь.

3

А тайга все тянулась. Особенно страшны были тихие, бессолнечные, мглистые дни с падающим снежком, с сорокаградусным морозом, с охающими, стонущими, щелкающими деревьями. Все вымерзло. Все погибло. Только один Жмакин шел — несмелой походкой — отсчитывал шаги: еще десять или еще двадцать. Пройдя, добавлял —

пять или семь. Так казалось легче. Думать он уже не мог — обо всем передумал, да и боялся — мысли какие-то появлялись подплясывающие, сумасшедшие. «Психую»,— решал он и вновь отсчитывал шаги или деревья или просто считал через один — семь, девять, одиннадцать, тринадцать — и торопливо — четырнадцать, потому что тринадцать — плохая цифра, на ней можно упасть и замерзнуть или помешаться, запсиховать до конца.

Путь был бесконечен. Иногда ему казалось, что он прошел тридцать верст,—оказывалось семь. Остальное кружил. И все оставалось двести километров,— они не уменьшались.

Ноги, руки и лицо распухли, кожа лопалась, он стал безобразным, похожим на утопленника. Его больше не пускали в избы. Он ночевал в холодных банях, пахнущих сырыми головнями и мыльной плесенью. Дети шарахались от него, собаки рвали ошейники и хрипели, роняя с морд пену. Попадая в тепло, он мучился больше, чем на морозе. Его жгло от тепла,— он выл и стонал, казалось, что трещат кости. Ни до этого, ни после он не думал, что могут быть на свете такие мучения. Но призрак шумного, огромного города, грохочущего и веселого, в оранжевых зимних закатах, в голубых искрах трамвайных разрядов, в сияющих электричеством витринах, призрак всего этого великолепия — и сфинксов на гранитной набережной и музыки в пивных, призрак все время, непрерывно, ежесекундно был перед ним, требовал его, и он только покорялся и день за днем, неделю за неделей шел на юг.

Иногда он спал в лесу. Для этого он нарезáл ножом сосновых ветвей — очень много — и устраивал из них большое птичье гнездо, потом выкапывал в снегу яму, укладывал туда это гнездо, закрывал крышей из сосновых ветвей, заваливал всю берлогу снегом и тогда ложился, предварительно разувшись. От его дыхания сосновая смола начинала издавать легкий, прозрачный, словно летний запах. Но мороз пробирался под одежду, и это был не сон, а забытье вроде того, что испытывает пьяный. Все было тревожно вокруг. Мог прийти зверь и взять его сверху — навалиться и порвать опухшее горло. И ему было бы уже не справиться — так он ослабел. Даже финку он не мог теперь как следует сжать рукою,— вздутые отмороженные пальцы никуда не годились. Он забывался, потом, вздрогнув, открывал глаза.

Все было тихо — на много верст вокруг, все лежало под снегом, все замерло, застыло, спряталось. Внезапно он пугался своего одиночества, начинал часто дышать, сердце его колотилось. На четвереньках, разутый, он выползал из своей берлоги и оглядывался вокруг. Трепетали и взвивались на черном небе бесконечные молнии, стрелы и радуги северного сияния. Нестерпимо сверкал снег. От деревьев падали огромные, крутые тени. И ничего решительно не было слышно. Он не дышал десять секунд, двадцать. Нюхал. Прислушивался. Он уже казался себе зверем — больным, умирающим. Иногда он думал: «Пора умереть, пора». Но непреодолимая сила несла его на юг, к станции железной дороги, к городу, огромному, гудящему веселым, всегда праздничным шумом.

Однажды, уже незадолго до конца пути, его пустил обогреться и переночевать высокий костистый мужик с умным и чистым лицом. Жена мужика дала ему ветошки, мыла и золы из подпечка, чтобы он вымылся в бане. Он был очень счастлив. Потрескавшаяся, кровоточащая кожа болела нестерпимо, но он мылся и парился и охал тем банным настоящим голосом — с дурнотою и всхлипами, которым охают все искренние любители русской бани. После бани старуха бабка дала ему миску наваристых рыбных щей. Он сидел за чистым, выскребенным столом, сам чистый, и ел, скрывая свое счастье и показывая на лице суровость и утомление баней. Потом уже со всей семьей он пил чай и степенно что-то рассказывал — врал и не глядел на хозяев, потому что врать ему не хотелось.

Утром, распрощавшись и поблагодарив и дав детям последние три рубля на конфеты, он вышел из избы и сразу же столкнулся с милиционером. Милиционер был молодой и посинел, дожидаясь его здесь на морозном ветру. Он поднял винтовку, но Жмакин ударил рукой по стволу, сшиб милиционера с ног и под чей-то длинный, захлебывающийся вопль кинулся в хлев, там взял нож в зубы, разворошил соломенную крышу, выбросился наверх, спрыгнул в мягкий сугроб и побежал круглыми резкими зигзагами к близкому спасительному лесу. Сзади щелкнул выстрел, но тут не было слышно. Жмакин побежал еще быстрее, бросаясь из стороны в сторону, совсем как заяц. Теперь уже пули стали слышны — они визжали совсем близко. Но и лес тоже был

близок. Он бежал еще и по лесу не меньше, чем километр, и упал, только совсем обессилев. Падая, он зацепил рукояткой финского ножа о пень и сильно порезал себе рот. Но это все ничего. Лежа, он засмеялся. Милиционер был дурак,— разве так можно взять настоящего вора? Он опять засмеялся: и такой синий. Сколько времени он простоял в своей дурацкой засаде возле крыльца,— может быть, всю ночь?

Жмакин лизнул снегу. До станции было уже близко — день пути.

Опять призрак города встал перед ним. Он зажмурился и еще лизнул снегу. Порезанную губу стало жечь — кровь все еще лилась.

4

Он подошел к поселку со стороны станции — железнодорожных путей. Было утро — рассвет мутный, морозный, и красные товарные вагоны были в гроздьях инея — изморози, пакгауз был в огромной снеговой шапке, и станция была под снегом и сами рельсы, которые столько раз представлялись ему в эти мучительные дни. Но это были рельсы, и пакгауз, и станция с колоколом, и столбы, и провода,— все это было настоящее, железнодорожное, и теперь все это — тайга, ночи в берлогах, волки,— все это решительно кончилось, совершенно кончилось.

Он устал до изнеможения и был очень голоден. На станции был буфет, но ему там ничего не удалось украсть, и он пошел в город, едва передвигая разбухшие, саднящие ноги. В Дом крестьянина его пустили,— он зарос бородой, и на нем был кожух. Могли подумать, что он крестьянин.

— Документы у брата,— сказал он,— а брат в райисполкоме.

Ему дали койку с бельем, пахнущим карболкой, и с одеялом и подушкой. Ему было странно ко всему этому прикасаться. На тумбе возле койки лежала подсохшая корка ржаного хлеба. Он сжевал ее кровоточащими деснами. Вымылся в бане, выстирал там свое белье, выжал почти досуха и повесил на горячую трубу досушиваться. Белье досушивалось, а он дремал, сидя в предбаннике и положив ладони на острые колени.

Влажное тепло волнами ходило возле него. Раны и кости и ссадины — все болело и ныло, но ему было сладко и легко, и город был в его воображении совсем близко — рядом. Протяни руку, и будет город, и он был в городе хозяином — ходил свободно и всюду, и вовсе не оглядывался и не боялся, и жил не на малине, а в настоящей квартире, и начальник седьмого отделения Иван Михайлович Лапшин, повстречавшись с ним на улице, вежливо и спокойно козырнул ему рукою в черной кожаной перчатке.

Ночью в Доме крестьянина он вышел из комнаты как бы по нужде — без брюк и без пиджака, но в уборную не зашел, а снял отмычкой замок с кладовой, куда приезжие сдавали вещи, навесил замок, как бы он был не взломанный, затворил за собой дверь и, ощущая рабочую дрожь и точность в движениях, выбрал из сундучков и баулов три чемодана побогаче, взломал их и стал надевать на себя костюмы — один за другим четыре костюма. Тут были и паспорта, и удостоверения каких-то геологов, и деньги — это было удачей, но он нисколько не думал об удаче — об этом не следовало думать, он лишь точно и беззвучно работал и не торопился,— хороший вор не должен ни радоваться, ни огорчаться, ни спешить. Не спеша, он вышел из кладовой и совсем закрыл замок, потом привернул фитиль в лампе, что горела в коридоре, и свернул в кухню. Жирная стряпуха спала на лавке, одеяло с нее свалилось. Была поздняя ночь — ходики показывали два, третий. Стряпуха вдруг села на лавке. Лицо ее было смято, она что-то почмокала, прежде чем спросить:

— Уезжаете?

— Нет,— сказал он,— не уезжаю. Депешу надо отправить, иду на станцию.

Улыбочка была на его лице.

Стряпуха сняла засов. Он рванул,— дверь примерзла. Рванул еще, и пурга ударила в разгоряченное лицо. Какая-то собака бросилась ему под ноги, вокруг все шуршало, и было еще слышно сухое похрустывание. Собака ластилась к нему и прыгала, повизгивая. Он не торопясь пошел по дороге в ботинках и калошах, разыскивая глазами хоть одно светлое окно. Пурга выла в проводах, и чем дальше он шел, тем легче и свободнее ему становилось на сердце. Потихонечку он запел:

Пусть же кони с распущенной гривой...

Никакого страха в нем не было и никакой осторожности. В вагоне он говорил девушке, лежавшей против него на полке:

— Никогда чемоданов не вожу, все на себе. Четыре костюма надел — видите, как капуста. . .

Девушка смеялась, и пассажиры добродушно посмеивались. В вагоне было уютно и жарко, играли в шашки, в домино, пили чай. Окна совсем замерзли, и целый день был в вагоне теплый полумрак,— тайга не лезла сюда и никому не мешала. Моряк с длинным белым лицом часто заводил патефон, и все слушали «Румбу», «Парадиз», «Лимончики». И Жмакину почему-то хотелось врать про себя. Все много рассказывали, и интересно рассказывали — и толстый агроном, и моряк — владелец патефона, и маленький старик в золотых очках, и даже его жена — старушка — и та рассказывала.

Жмакину было обидно.

Он мог рассказать такое, что все бы они раскрыли рты, но это рассказывать было нельзя, и он молчал, иронически поддакивая и поглядывая своими зелеными острыми глазами. И чем больше он слушал, тем сильнее хотелось ему говорить о себе, о том, что он видел и переживал за свою двадцатидвухлетнюю жизнь. Хотелось сказать им, что все они щенки — и старик в золотых очках тоже щенок, и что они, в сущности, при нем не имеют даже права рассказывать. Ему было просто противно слушать, как толстый агроном, потягивая чай из кружки, рассказывал, что однажды на охоте заблудился и двое суток ел какие-то ягоды и корешки, и было обидно, что девушка слушает, и моряк слушает, и старушка сочувственно охает. Потом врач из соседнего отделения зашел к ним — сел на край лавки и курил, и все слушали, как он выезжал на роды и что из этого вышло. Он говорил приятным низким голосом и поглядывал на всех с выражением превосходства (так казалось Жмакину), и все восхищались мужеством врача и выражали удивление, что до сих пор живут такие дикари, как в рассказе доктора.

Наконец все устали и уснули. Была ночь, паровоз ревел где-то очень далеко в морозной мгле, и вагон раскачивался. А Жмакин не спал и думал. Он казался себе лучше, чем все они. Теперь те недели в тайге казались ему замечательными, и сам он рисовался себе героем — точно он и не плакал тогда и не шептал полузабытые

детские молитвы, точно он и не превращался в животное, а всегда был смелым, сильным, решительным, с ножом в руке, с песней... И мир представлялся ему очень несправедливым,— они, и доктор, и агроном, и старик в очках, могли хвастаться и рассказывать, а он, переживший куда больше, ничего не мог рассказать, не мог никого удивить, поразить. Своим, блату, рассказывать было неинтересно, там не удивлялись и не верили, потому что и про волков и про все решительно рассказывали кому только не лень, ложь была в почете,— умение врать ценилось и в тюрьме, и на воле, и на этапе— везде. Но ведь волки, и страшные эти недели, и галлюцинации — все это было в действительности, так почему же он не мог рассказать это здесь, в вагоне, и старику, и агроному, и девушке,— он уже знал, что ее зовут Катя Малышева; она спала тихо, едва дыша, и лицо ее было спокойно и розово во сне,— он долго на нее смотрел. «Расскажу,— решил он,— будь что будет!»

Но ему все не спалось, он слез со своей полки и пошел по проходу. Поезд притормаживал. Проводник побежал в тамбур с фонарем. Жмакин вошел в уборную и пригладил волосы перед зеркалом. Весь лоб был в шрамах, еще свежих, кожа плохо срасталась, он слишком долго голодал. «Жмакин»,— сказал он перед зеркалом и насупился, чтобы видеть себя серьезным. Потом он оскалился, изображая, как артист, какое-то грозное-грозное чувство, и сделал движение вперед, к самому зеркалу, но зеркало тотчас же запотело, и он ничего не увидел. Поезд остановился, проводник постучал в дверь:

— Гражданин! На остановке...

— Я не пользуюсь,— сказал Жмакин,— я причесываюсь.

И, точно проводник мог видеть, он причесался украденным вместе с одним из костюмов гребешком.

Потом он долго разглядывал себя — свое лицо с бородкой, узкие злые брови, решительные и острые глаза. Что-то понравилось ему, он сказал «ах ты, Каин» и вышел из уборной. Поезд все еще стоял, в тамбуре носились белые свежие снежинки. Проводник сердито кашлял.

— Все задувает,— сказал Жмакин,— вот погодка.

Ему хотелось поговорить.

— Задувает,— сказал проводник,— в пятом вагоне чемодан задули у пассажира.

В тамбур влез летчик, открыл ногой дверь и, грохоча чемоданом, пошел по вагону. Жмакин из своего отделения видел, как он, стоя в проходе, снимал кожаное пальто на меху и перепоясывался. Он что-то тихонько насвистывал одними губами. Выражение его лица было праздничное, немного даже глуповатое.

— У кого это чемодан сперли? — спросил он издали, заметив, что Жмакин смотрит на него.— Не слышали?

— Не слышал.

Хлопнула дверь из тамбура. По вагону шли стрелок железнодорожной охраны и штатский в высоких сапогах и в шубе нараспашку. Лицо у штатского выражало раздражение. «Сейчас возьмут»,— решил Жмакин и полез в карман за папиросой. Страха не было, даже сердце не забилось чаще. «Возьмут, довесят еще пять лет — будет десять»,— думал он, закуривая и не пропуская ни одного движения штатского. Штатский остановился возле него. Стрелок стоял немного сзади, от него несло холодом, снегом.

— Через ваш вагон никто не проходил? — спросил штатский.— С желтым чемоданом?

Жмакин молчал.

— Нет,— сказал он наконец,— не упомню.

Он еще не верил своему счастью. Ему хотелось сделать приятное штатскому.

— Один тут проходил,— будто вспомнив, сказал он,— но не сюда, а отсюда.

Штатский пошел дальше. Жмакин показал ему вслед кукиш. И тотчас же он обессилел и полез наверх спать.

5

Вечером на следующий день он рассказывал о своем побеге. Но побега не было. Были какие-то медикаменты, которые нужно было доставить,— такое вранье, что он сам запутался. В вагоне было нестерпимо жарко; все пассажиры уже перезнакомились, и летчик успел стать своим человеком. Он слушал, положив локти на обе полки, и лицо его выражало сочувствие, немножко даже жалостливое. Слушая, он волновался, расстегнул ворот гимнастерки и иногда говорил «во-от», или «хорошее дело», или «шут тебя дери», или что-нибудь еще в этом роде. Катя Малышева тоже слушала, уперев под-

бородок в ладони и свесившись с полки, глаза ее ровно и настойчиво светились, потный нос блестел. Слушал и толстый агроном, и старик в золотых очках, и его старушка, и врач из соседнего отделения, и было ясно, что все они сочувствуют Жмакину, а главное — верят ему с начала до конца. Да и почему им было не верить ему? Он говорил настойчиво, с той страстной нервностью жестов и интонации, за которую блат окрестил его «Психом», с многочисленными смешными и страшными подробностями, говорил, то посмеиваясь сам, то пугаясь уже пережитого, ввертывая ловкие, «тонные» круглые слова,— ему просто нельзя было не верить.

— Ну и что же — передали? — спросил моряк, когда Жмакин кончил рассказывать.

— Что?

— Да ну то, что несли...

— Это? Да, передал,— сказал Жмакин, вдруг щурясь,— как же не передать!

Летчик покрутил головой и сел. Он был просто потрясен.

— Да-а-а,— протянул он,— бывает, бывает.

Все вдруг заговорили негромко, оживленно, но никто уже не вспоминал,— после такого повествования невозможно было рассказать какую-либо историйку охотничью, докторскую. Все были подавлены величием того, что совершил этот остроглазый парнишка, и Жмакин слышал осторожный и назидательный шепоток доктора:

— Вот ищем мы героев, фотографируем, читаем... А рядом с нами едет доподлинная героическая натура, и никто о нем никогда ничего не узнает... А? Это жаль, жаль...

Потом зашипел что-то старик в золотых очках, и агроном громко сказал:

— А не выпить ли нам всем по маленькой в знак взаимного уважения и начавшегося знакомства? Давайте, товарищи, слезайте сверху, объединимся и выпьем.

На маленьком столике уже была постлана салфетка и стояла нехитрая вагонная посуда: эмалированные кружки, граненый зеленого стекла стакан, серебряная червленая чарочка. Моряк открывал консервы, старуха разрезала свою курицу, что-то нежно ей приговаривая, доктор, прищурив один глаз, заглядывал в жестяную фляжку — старался, видимо, определить, много ли там водки.

Жмакин, не торопясь, слез со своей полки и пошел в вагон-ресторан. Он понимал, что выпивку эту затеяли спутники в его, Жмакина, честь, и странное чувство и неловкости, и гордости, и радости, и благодарности волновало его. Что-то было не так во всем этом — он знал, что солгал им в главном — в цели своего путешествия через тайгу, но ни в чем ином он не солгал — ни в выносливости, ни в мужестве, ни в настойчивости, ни в муках, которые он перенес, ни в риске, которому он подвергался. Э, да что! Если б знали они, что он не мог даже выйти на дорогу, что в него, кроме всего прочего, стреляли,— тогда бы они поняли, что значит настоящий человек.

Состав било и валяло из стороны в сторону. В тамбурах вился снег. На все деньги, какие у него были, он купил водки и закусок и пошел к себе в вагон. Катя Малышева уже сидела внизу и обгладывала куриную лапку. У нее было злое лицо, и она всем грубила. Жмакин пил и молчал. Летчик все с ним чокался и уговаривал идти в авиацию.

— Я и так авиатор,— сказал Жмакин с вызовом и понял, что пить ему не следует.— Все мы авиаторы,— добавил он испуганно,— летаем с места на место.

Агроном оказался из тех, которые, выпив две рюмки водки, начинают петь, и не потому, что им хочется, а потому, что они считают, будто так обязательно нужно. Он похлопал доктора по колену и запел:

Сильва, ты меня не любишь,
Сильва, ты...

— Давайте лучше патефон заведем,— предложил моряк, и все опять слушали «Румбу», а доктор дирижировал пальцем и вдруг сказал:

— Воображаю, как это негры разделывают где-нибудь в тропиках, а?

И, помолчав, добавил:

— Прелестная вещь юг.

Выпивка явно не удавалась. Все говорили — эх, люблю выпить,— и никто толком не пил, предлагали петь и не пели, нарочно смеялись, но смешно не было. Жмакин сидел насупившись, глотал рюмку за рюмкой и с каждой минутой раздражался все больше.

Ему казалось, что его арестуют именно сейчас. Подойдет штатский в высоких сапогах и выведет его на какой-нибудь полустаночек. И все эти будут сидеть попрежнему в вагоне, а доктор скажет:

— Да-с..,

И значительно покачает дурацкой своей головой. А поезд будет гудеть и грохотать, и с каждой минутой этого гула и грохота все ближе и ближе будет огромный прекрасный город.

Он выпил еще рюмку и съел кусок рыбы. Катя Малышева смотрела на него в упор, не отрываясь. Он глупо ей подмигнул и вдруг почувствовал желание сказать, что он беглый вор по прозвищам Каин и Псих, что у него семнадцать приводов и одиннадцать судимостей и что ему плевать и на доктора, и на летчика, и на старика с его очками, и на Катю, что он сам по себе и они сами по себе. Но он ничего этого не сказал, а только обвел всех злыми, светлыми глазами и как-то очень неожиданно, неприятным, металлическим тенором запел:

Мы повстречалися с тобой
На вечериночке...
В кино я шел тогда...

Что-то шальное появилось в его лице, тонкие брови поднялись, голову он слегка откинул, и выражение глаз ежесекундно менялось — от злого к грустному, от грустного к бесшабашному, и наконец все это замерло, и лицо сделалось наглым, вызывающим и в то же время мертвым,— все шрамы выступили, рот чуть скосился, кровь отлила от загрубелой кожи, и только один какой-то мускул играл возле виска, мелко бился, подрагивал, дергался.

— Что же вы не подпеваете? — перестав петь и слегка задыхаясь, сказал Жмакин.— Песня хорошая...

Но сам больше петь не стал, выпил рюмку водки, закусил и, словно бы обдав всех наглым своим, но уже и равнодушным взглядом, полез на полку, укрылся с головой пиджаком и сразу же заснул или прикинулся спящим.

Агроном проглотил еще рюмку, квакнул, поперхнувшись, ткнул пальцем наверх в спящего Жмакина и, покрутив головой, пошел в ресторан — выпить как следует. Он был человеком простым, открытым и веселым и не любил непонятное. Доктор махнул рукой, притопнул каблуком и, сделав озорное лицо, побежал трусцой вслед за агрономом. Остальные легли спать. Не спала только Катя Малышева. Возле тамбура было свободное заиндевелое большое окно. Она подошла к нему, уперлась в него лбом, закрылась ладонями от вагонного све-

та и долго смотрела в беловатую, искристую, снежную мглу. . .

Потом к ней подошел Жмакин. Лицо его казалось темным, только в глазах поблескивало. Она взглянула на него и опять отвернулась. Он видел ее гибкую шею в растянутом вороте заштопанного свитера и нежное ухо, выглядывающее из-под ситцевого платка, видел ее смуглые руки, которыми она закрывалась от света, и думал о том, что мог бы ей порассказать еще про себя и сломать то небольшое уже сопротивление, на которое ее сейчас хватит. Но рассказывать свое, да не про себя ему почему-то не хотелось, и он молчал, продолжая неприязненно смотреть на Катю. Потом спросил:

— Вы ленинградская?

— Да,— сказала она, поворачиваясь от окна. Ее нос смешно побелел,— она все время прижималась им к стеклу.

— Учитесь там?

— Учусь,— сказала она, поправляя обеими руками платок.

Он поглядел на ее локти, и ему очень захотелось вытолкнуть ее из вагона и остаться с нею где-нибудь в пурге. А потом отдать ей все пиджаки и замерзнуть, чтобы она видела, какой он. Но он только спросил, где она учится, и так как спрашивать было уже нечего — закурил папиросу.

— Послушайте,— сказала она,— вот вы рассказали замечательную историю. Ее никто не узнает, вероятно. У меня в Ленинграде живет один знакомый парень — он работает в газете «Смена», он журналист. Хотите, я его к вам приведу, и он напишет об этом? Ну, такую статеечку, знаете?

— Вряд ли напишет,— сказал Жмакин.

— Нет, обязательно напишет. Ведь это все-таки героизм. . .

— Да? — спросил он.

— Конечно.

— А что бы я оказался жуликом,— пошутил он,— тогда как?

— Жуликом?

— Так точно,— сказал он,— вором.

Она молчала, весело и широко глядя на него чистыми большими глазами.

Жмакин засмеялся.

— Ну ладно, ладно,— сказал он,— запишите мой адресок и приходите. Получится статейка...

И опять засмеялся.

Она записала адрес тюрьмы; вместо номера дома и вместо квартиры — номер той камеры, в которой он когда-то сидел.

— Заходите,— сказал он,— если застанете, буду рад. И ваш адресок мне дайте.

Рано утром поезд подошел к Ленинграду. Настроение у Жмакина было скверное, болела голова, и когда все вышли на перрон, то вдруг показалось, что ничего здесь хорошего нет, что не стоило так мучиться и что хорошего, конечно, никогда ничего не будет. Он шел вместе с летчиком. Летчик тащил два чемодана, и полное лицо его было восторженным и потным. Жмакин предложил помочь. Они уже вышли на площадь.

— Да-а, городочек,— тянул летчик,— это городок!

Жмакин взял чемодан летчика, немного поотстал и на Старо-Невском вошел в знакомый проходной двор. Злоба и отчаяние переполняли его. «Рвань,— бормотал он, скользя по обмерзшим булыжникам,— иди в авиацию!» Поднявшись на шестой этаж чужого дома и послушав, тихо ли, он одним движением открыл чемодан, выложил все вещи в узел, покрутился по переулкам и уже спокойно, валкой походочкой, дымя папиросой, пошел в ночлежку на Стремянную.

6

Осторожно он стал нащупывать старых друзей. Он делал это не спеша, сдерживая себя, без единого необдуманного шага. Выяснилось, что первый и давний друг его Филька Кочетов расстрелян еще в тридцать третьем году за бандитизм. Тогда он пошел к Филькиной матери. Старуха жила на Васильевском острове на Малом проспекте в старинном доме с четырьмя колоннами по фасаду. В загаженном, вонючем дворике на него набросилась собака. Он пнул ее ногою и поднялся на крыльцо. С поднятым воротником заграничного пальто, с шарфом, замотанным вокруг шеи, в светлой пушистой кепке он выглядел не то кинематографическим артистом, не то иностранцем, и старуха никак не хотела его узнать, а когда узнала, то заплакала и обняла. Она

худо видела и была страшна со своими крашеными волосами, с огромным беззубым ртом, с парализованной половиной лица. Он ничего не понимал из ее слов. От нее скверно пахло нечистой одинокой старостью. Она почти сразу же попросила у него денег, и он неожиданно для себя вдруг сказал ей, что она сама виновата в Филькиной судьбе. Она опять захныкала, но он ударил кулаком по столу и своим бешеным срывающимся голосом крикнул, что он все помнит, что он помнит, как она радовалась чистой Филькиной работе и как покупала барахло на ворованное, как она скаредничала и гнала Фильку работать в самое неподходящее время.

— Забыла, стерва,— кричал он, наступая на нее и брызгаясь слюной,— а я помню! .. Забыла, как подбивала его за границу идти, забыла? Все ты! Из-за тебя его шлепнули, сучья лапа, все тебе мало, хапуга. . .

Она хватала его за протянутую к ней сильную руку, а он все шел и шел, пока она не свалилась в какое-то креслице. Тогда, замахнувшись, он плюнул и ушел — слепой от бешенства — плечом вперед, как всегда в припадках ярости.

Весь день он пил — справлял тризну по расстрелянном друге, и ночью пошел на грабеж один — пьяный, без оружия, щуря в темноте свои зеленые глаза и сжимая кулаки. Город был ему чужим,— он еще не знал в своей жизни такого одиночества. Грабеж не удался — некого было грабить, он продрог до костей и пошел в «шестерку» — в ресторанчик-подвал на канале Грибоедова, чтобы согреться.

Знакомый по прошлым годам гардеробщик снял с него пальто, испуганно и приветливо улыбаясь. Он швырнул кепку, не оглядываясь назад, обдернул пиджак и медленно вошел в зал. Все было так же — и буфетная стойка, и папиросный дым, и морячки в тигровых джемперах, и дирижер-дурак с толстым бессмысленным лицом. Жмакин пошел по проходу. «Возьмут? — спрашивал он себя.— Или не возьмут?» Ему не было ни страшно, ни весело, азарт былых годов кончился, видимо, навсегда. Он еще раз прошелся между столиками. Тут не могло обойтись без уголовного розыска. Но кто? Может быть, новые? Он шел от столика к столику,— все было занято. Тогда он подошел к буфетной стойке и ткнул пальцем в большую стопку. Буфетчик налил. Он поднял стопку почти ко рту и даже немного

запрокинул голову, но вдруг заметил невдалеке нечто страшно знакомое, заметил и тотчас же потерял. Так и не выпив водку, он поставил стопку на поднос и принялся разглядывать пьяные, красные, возбужденные лица,— от одного столика к другому. Но то знакомое исчезло, и он, решив, что ошибся либо привиделось, нащупал сзади себя на подносе водку и совсем было пригубил, как то знакомое вновь мелькнуло, но уже больше не скрылось,— он успел заметить два совершенно веселых глаза, которые смотрели на него из-за горшка с белыми искусственными цветами.

Тогда, медленно бледнея, он выпил свою водку, закусил маринованным грибом, расплатился и, чувствуя слабость в коленях, пошел к столику с искусственными цветами. У него недостало сил смотреть прямо перед собой, и он глядел вниз, на нечистую скатерть, на коробку дешевых папирос и на бутылку боржома, не допитую и до половины.

— Ну садись, Жмакин,— сказал ему знакомый негромкий голос.

Он сел и наконец взглянул на Лапшина. Те же светлые волосы, те же живые и веселые ярко-голубые глаза и то же умение скрипеть поминутно какой-то кожаной амуницией даже в том случае, если на нем было штатское.

— Сорвался? — спросил Лапшин.

— Что вы!

Это у него была такая манера в разговорах с большими начальниками — прикидываться простачком-дурачком, польщенным, что такое большое начальство шутит.

Он уже овладевал собою понемногу. Слабость в коленях прошла. Конечно, он правильно сделал, что подошел,— бежать от Лапшина бессмысленно.

— Значит, не сорвался?

— Что вы!..

Надо было оттянуть время и придумать — но что?

— Значит, за пять лет всего просидел полтора?

— Что вы...

— Так как же?

— Гражданин начальник...

— Выдумывай побыстрее!

— Я из лагерей в командировку прибыл...

Лапшин не глядел на него — глядел в стакан, в котором быстро и деловито вскипали пузырьки. Жмакин врал.

Конечно, Лапшин не мог поверить, да он и не поверил. Настолько не верил, что даже документы не спросил.

— Ах ты Жмакин, Жмакин,— сказал он вдруг веселым голосом с растяжкой и с небрежностью,— ах ты Жмакин. . .

Несколько секунд они оба глядели друг на друга.

— Ах ты Жмакин,— повторил Лапшин, но уже с какой-то иной интонацией, и Жмакин не понял, с какой.

И опять они помолчали.

— Дружков-корешков видел?

— Нет, гражданин начальник,— сказал Жмакин искренне.

— Кочетова твоего мы расстреляли,— сказал Лапшин,— и Хайруллина расстреляли. Слышал?

— Про Кочетова слышал, а про Хайруллина нет.

Лапшин все смотрел на него.

— Жалко было Кочетова,— говорил он,— да уж знаешь, такое дело. . .

— Пожалел волк овцу,— пробормотал Жмакин,— какие уж там жалости. . .

— Дурак ты, Жмакин,— вразумительно сказал Лапшин и, поднимаясь со стула, добавил: — Пойдем, я тебя посажу.

Они вышли вместе. Тротуар был мягкий, за какой-нибудь час очень потеплело: повалил веселый, чистый снег. Жмакин шел впереди. Лапшин немного сзади. На улице стало заметно, что он уже немолод, что ему в легком кожаном пальто холодновато, что он устал.

Возле аптеки, что на углу проспекта 25 Октября и улицы Желябова, Жмакин вдруг остановился.

— Гражданин начальник,— сказал он сиплым от волнения голосом,— отпустите меня. Я в тюрьме удавлюсь.

— У нас в тюрьме нельзя вешаться,— сказал Лапшин,— мы запрещаем. Ты что, не знаешь?

— Знаю.

— Ну, пошли!

Так молча, под снежком, дошли до арки. Площадь открылась Жмакину, и он замедлил и без того небыстрый шаг. Фонари горели через один,— молочный свет был точно бы чем-то свеж, и приятно было, что возле светящихся шаров пляшут снежинки. Дворец, ленивый и темный, запорошенный по карнизам снегом, почти совершенно сливался с черным, глухим небом. С улицы Халтурина мягко и плавно вылетел на площадь автомо-

биль и, заливая белыми фарами снежный пухлый покров, описал стремительную дугу.

— Отпустите меня, начальничек,— сказал Жмакин.

Лапшин молчал, вобрав голову в плечи и глядя на Жмакина из-под лакового козырька форменной фуражки. Снежинки садились на небритую его щеку возле уха.

— Ах ты Жмакин,— сказал он прежним тоном с той же растяжечкой,— либо ты дурак, либо действительно сволочь. Ведь расстреляем тебя рано или поздно. Расстреляем,— сказал он,—а?

— Отпустите,— повторил Жмакин. Отчаяние охватывало его. Он не мог больше представить себя в тюрьме.— Отпустите,— почти крикнул он,— начальник!

— Куда же тебя отпустить? — спросил Лапшин.

— Куда? На волю.

— А зачем тебе воля?

Жмакин молчал.

— Да и хватит тебе воли,— уютно зевнув, сказал Лапшин,— нагулялся, довольно! Пора и честь знать.

Он мелко потопал башмаками, сбивая снег, и пошел вперед к ярко освещенным дверям управления. И тут Жмакин решил бежать — и сразу же, не дожидаясь даже, пока решение окончательно созреет и укрепится, побежал, повинуясь только чувству отчаяния и страха перед тюрьмой. Он знал, что ему не убежать, знал, что площадь безлюдна, и как бы даже чувствовал, что Лапшин вынимает сейчас, сию секунду, дареный с золотою дощечкой маузер и целится в него, в Жмакина, еще бегущего, петляющего по белому снегу, и что сейчас он, Жмакин, рухнет лицом в свежий снег, но сзади почему-то было тихо и даже не было трели свистка, а он все бежал — огромными смешными прыжками — и слышал только гудение в ушах да грохот своих шагов. Он бежал от арки к Капелле, в спасительный мрак, и знал, что как только очутится за углом,— его не поймают и не убьют, и он опять будет на свободе и никакая тюрьма не будет ему страшна. Но на самом углу он поскользнулся и упал, подбородком ударившись о какой-то камень, и думал уже, что погиб, потому что Лапшин не мог тут не попасть в него. А выстрела опять не было. Он подождал и начал осторожно подниматься, все еще не веря себе, и тут нечаянно увидел далекую, уже маленькую фигурку Лапшина. Лапшин стоял в той же покойной и лениво-усталой позе, вобрав голову в плечи и су-

нув руки в карманы кожаного пальто, и было очень ясно, что он даже и не собирался ни свистеть, ни тем более стрелять — он просто смотрел вслед Жмакину, даже без особого любопытства. И когда Жмакин встал на ноги, он увидел, как Лапшин повернулся и небрежно, с прохладцей вошел в двери управления.

Жмакин опять побежал — и остановился. И еще побежал. Все стало непонятно ему, все точно бы перевернулось. Он перебежал через какой-то мостик, через проходной двор — попал в переулок и, не торопясь, вышел на улицу Желябова. Тут он сел на крыльцо,— ноги подломились. «Так что же это?» — спросил он себя и не ответил. «Что же? — во второй раз спросил он, растирая лицо ладонями.— Может быть, ему никак нельзя было стрелять на улице?» Но это был не ответ. «Может быть, я такой уж ничтожный вор, что и пулю жалко тратить,— думал Жмакин,— или он маузер дома оставил? Как же, оставил!» — усмехнулся Жмакин и сплюнул черной слюною,— рот был полон крови, он расшибся, падая. Злоба поднялась в нем, он еще плюнул и поднялся. Надо было где-то ночевать, надо было жить и завтра и послезавтра. Он пошел, едва волоча ноги, поминутно сплевывая. Опять перед ним был проспект 25 Октября. Трамвай-мастерская стоял на перекрестке,— большие окна уютно светились. Жмакин заглянул внутрь: там были верстаки, на одном верстаке спала баба в тулупчике, и в ногах у нее пылал зеленым венчиком примус, на примусе кипел чайник. У другого верстака, у тисочков, стоял здоровый сивоусый дядька в железных очках и делал какую-то мелкую работу. Сложив губы трубочкой, он что-то маленько присвистывал и с удовольствием наклонял голову к своей работе — то слева, то справа. А вокруг трамвая, на рельсах работали бабы — все в тулупах, в платках, в валенках, разгребали снег и орали друг на дружку, как галки весною; тут же была лошадь, впряженная в специальную повозку для ремонта проводов,— наверху что-то мастерили, а лошадь сонно и вкусно перебирала замшевыми теплыми губами, и от нее шел такой замечательный запах кожаной упряжи и острого пота.

Жмакин постоял возле лошади, обошел трамвай кругом и, ни о чем не думая, влез на площадку. Здесь стояли ведра, метлы, какие-то палки непонятного назначения. Он откатил дверь и сказал дурашливым голосом:

— Э, хозяин, пусти Христа ради погреться.

— Погрейся Христа ради,— сказал сивоусый, не оглядываясь.

Жмакин сел на скамью в угол, поглядел на крепкие колени спящей на верстаке бабенки, надвинул кепку пониже и уснул сразу же мертвецким сном. Часов в шесть утра его выгнали из трамвая. В вагон битком набилось женщин, от них несло холодом, примус уже не горел, и сивоусый, надсаживая глотку, что-то командовал горланящим бабам.

Жмакин вышел, шатаясь, на улицу. Дул ветер, и ему сделалось отчаянно холодно. К тому же он никак не мог закурить, спички фыркали и не загорались, и голова спросонья была тяжелой, дурной.

Трамвай заскрежетал, голубые искры вспыхнули на проводах, колеса забуксовали, из открытой двери донесся обрывок песни,— женщины запели, усевшись на верстаки, веселыми, шальными от ветра и от работы голосами:

...Чтобы с боем взять Приморье...

Дверь захлопнулась, и трамвай ушел.

Улица теперь была пуста,— наступило предрассветное, самое мерзкое для бродяг время. Вот промчался автомобиль «скорой помощи», кто-то там подпрыгивал за едва освещенным матовым стеклом, еще раз взвыла сирена, и все совсем стихло.

Жмакин наконец закурил и пошел к Садовой. Возле Гостиного длинная и худая, в смешных коротких ботах и шляпке бадейкой, стояла немолодая уже и не очень трезвая женщина. Он пошел с ней. Она торопливо и пьяно ему жаловалась на какого-то шофера, а он не слушал ее и равнодушно думал: «Утоплюсь».

— Дай ему три рубля,— сказала она про дворника,— знаешь, нельзя!

И глупо засмеялась.

Комната была маленькая. Женщина сняла шляпу и села на кровать, внезапно раскиснув.

Он стоял не раздеваясь.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Люся,— не сразу ответила она.

— Почем ходишь? — спросил он.

— Нипочем, — ответила она, — дурак!

Он все стоял. У нее было пьяное накрашенное лицо

и жидкие спутанные желтые волосы. Он зевнул два раза подряд.

— Противный,— говорила она,— противный, сволочь. . .

Начиналась истерика. Она не то плакала, не то смеялась. Жмакин ничего не понимал, ему страшно хотелось спать и хотелось ударить ее как следует, чтобы она не выла таким мерзким голосом. Но она уже топала ногами в коротеньких ботах и захлебывалась. Он ждал. Потом, зевая, вышел на кухню, чиркнул спичку, нашел черную дверь, спустился по лестнице и, показав дворнику кукиш, пролез в калитку. Трясясь от озноба, он доехал до Финляндского вокзала, сел в поезд и задремал. Поезд был круговой, сестрорецкий. Топились чугунные печи. Три часа сна, потом еще билет и еще три часа сна. Уже засыпая, он зевнул от блаженства.

Все его тело затекло, когда он вышел на перрон. Он шел спотыкаясь и разминался на ходу, выделывая замысловатые движения, чтобы не ныла спина, не болела шея, чтобы вернуть себе легкость, четкость, чтобы голова стала ясной. В трамвае он вытащил кошелек у кашляющего мужчины и удивился неудаче — в кошельке был рубль, ключик и двадцатикопеечная марка. Он опять влез в трамвай и взял бумажник — уже удачнее, но тоже не очень — семьдесят рублей и паспорт. Все это была не работа. Он немножко прошелся и вскочил на ходу в автобус; здесь, проталкиваясь к выходу, он запустил два пальца в теплый мех хорьковой шубы, нащупал карман, взял пачку, толкнул, извинился и спрыгнул возле улицы Жуковского. В пачке было триста — сто штук по три рубля — ответственная получка. В почтовом отделении на Невском Жмакин запечатал в конверт украденный паспорт, написал адрес по прописке, наклеил марку и опустил в почтовый ящик. В паспорт, внутрь, он заложил еще записочку: «С благодарностью за деньги и с извинением. Впредь не зевайте». Но все это было не смешно и не развлекало, а наоборот — настроение с каждой минутой ухудшалось, и гнетущая скука наваливалась все больше. С почты он пошел в баню и там, моясь, разговаривал с коренастым смуглым парнем. Они говорили ни о чем — просто невинный банный разговор: что вода-де недостаточно горяча, что мало шаек, что под выходной день сюда вовсе нельзя ходить;

но собеседник Жмакина говорил очень уверенно, и уверенность эта и спокойствие почему-то раздражали Жмакина,— он повышал тон, и наконец разговаривать стало вовсе невозможно. Собеседник взглянул с удивлением на Жмакина и ушел париться, а Жмакин поглядел ему вслед с ненавистью.

Обедал он в столовой бывшая «Москва» — сидел возле окна и, мелко ломая хлеб, глядел на улицу, на потоки людей, на крыши трамваев, покрытые снегом. Даже сквозь стекла было слышно гудение толпы, сигналы автомобилей и автобусов, звонки трамваев. Жмакин выпил рюмку водки, понюхал корочку. Воздух за окнами сделался зеленым, потом синим, потом стал чернеть, и все четче выступали огни. «Утоплюсь,— опять подумал Жмакин,— надо». Ему хотелось плакать, или ломать посуду, или ругаться в веру, в божий крест, или, может быть, порезать кого-нибудь ножом. Он ел мороженое. Кто-то остановился перед ним. Он взглянул круглыми от ненависти глазами — это был нищий, маленький, оплывший старик во всем рваном и сальном и в опорках. Жмакин вынул пятак и положил на край стола. К нищему, помахивая салфеткой, уже шел официант — гнать взашей.

— Леша,— сказал нищий ровным голосом,— не узнал меня?

И Жмакин узнал в нищем ямщика Балагу, самого крупного скупщика краденого золота и серебра, знаменитого Балагу, грозу и благодетеля петроградских жуликов...

— Он будет обедать,— сказал Жмакин официанту,— дай водки, студня, хрену, пива дай...

Он вдруг обессилел. Балага уже сидел перед ним и чмокал беззубым мягким ртом. Из его левого глаза катились одна за другой мелкие старческие слезы. Водку он не стал пить и пива не пил, а в суп накрошил хлеба и ел медленно, вздыхая и охая. Потом вдруг сказал:

— Околеваю, Леша.

И опять принялся хлебать суп.

— Где Жиган? — спросил Жмакин.

— Сидит.

— А Хмеля?

— На складах работает на Бадаевских,— чавкая говорил старик,— я у него был. Пять рублей дал, и валенки, и сахару...

— Ворует,— спросил Жмакин,— или в самом деле?

Старик не отвечал, чавкал. Лицо его покрылось потом, беззубые челюсти ровно двигались.

— А Лошак?

— Лошак в армии.

— В ополчении?

— Зачем в ополчении? Он паспорт имеет. В армии честь по чести.

— Продал?

— А чего ж,— сказал старик, и глаза его вдруг стали строгими,— все равно конец. Кого брать? Инкассаторов? Банк? Кассира? С ума надо сойти.

Он опять стал есть. Жмакин выпил еще водки и, не закусывая, закурил папиросу. Старику принесли биточки, он раздавил их вилкой, перемешал с гарниром, полил пивом и стал есть, с трудом перетирая беззубыми челюстями.

— А ты сам, Балага?

Старик тихонько засмеялся.

— Я?

— Ты.

Старик все посмеивался. Слезящиеся глаза его стали озорными.

— Я божья коровка,— сказал он, жуя,— я, брат, ищу, как бы потише сдохнуть. Пять лет в лагерях отстукал,— выпустили ввиду старости. Вот хожу — прошу. Лешка Жмакин пятачок дал, я не обижаюсь. И копейку возьму. Мне что?

— А Хайруллин? — нарочно спросил Жмакин.

— Шлепнули.

— А Ванька Сапог?

— За Ваньку не знаю. То ли ворует, то ли сидит.

— А Свиристок?

— Свиристок кончился.

— Как кончился?

— Утопился. Я его и опознал. Лапшин меня вызвал. Лежит — раздутый, кожа облезла. Лапшин говорит: «А ну-ка, Балага, погляди, не Свиристок ли?» Я поглядел и докладываю: «Так точно, Свиристок». Он открытку Лапшину написал: «Надоело все к чертовой бабке, решаюсь жизни, ввиду чего и пишу вам. К сему Свиристок».

— Давай выпьем,— сказал Жмакин, наливая себе и Балаге,— чтобы Свиристок легко в аду пекся.

— И без нас испечется,— сказал Балага,— а мне пить нельзя по болезни.

— Бережешься?

— Берегусь.

Жмакин выпил один, пополоскал рот и опять не закусил. Свиристок представлялся ему живым, вихрастым, с ленивой своей усмешкой на полных розовых губах. Этого не могло быть, чтобы он сделался синим и раздутым. Кто-кто, да не Свиристок. Он пел песни, носил стального цвета тройку, показывал фокусы — и вдруг синий и раздутый. Жмакин почувствовал, что может заплакать. «Слабею что-то,— подумал он.— Эх, сволочи, до чего довели парня!»

— А почему он в коммуну не пошел?

— Говорят, был, да ляпнул там чего-то.

Они помолчали.

— Закажи-ка мне еще биточки,— попросил Балага,— накушаюсь напоследок.

Жмакин заказал. На улице уже горели фонари.

— А ты никак сорвался? — спросил Балага.

Жмакин кивнул, глядя в окно.

— Издалека?

— Хватит.

— Слышь, Лешка,— сказал вдруг старик,— бросай ремесло.

— Как бросать?

— Бросай, говорю, и конец. Пропадешь. Иди работай.

— Ты что, с ума сошел? — спросил Жмакин.— Одурел?

Но Балага смотрел серьезно и как-то даже просительно.

— Дурья твоя голова,— раздельно сказал он,— ремесло ведь кончилось, разве не видишь? Нету ремесла. За кассира, за банк расстреляют. Ведь расстреляют, а жизнь молодая! Да и с кем работать сейчас, Лешка?

— Что ж, жуликов нет?

— Есть, отчего же нет, сегодня начал работать, а завтра его посадили. Сморкачи, хулиганы, а не жулики. Один будешь, Лешка, баба продаст, все продадут. И дрожать будешь, как собака, веселья нету, малины нету, дружков-корешков нету, в ресторанчик тоже не пойдешь; выпьешь под воротами — вот и вся радость.

И так-то, пьяненький, от отчаянной жизни пойдешь глушить кассира — и точка. Налево.

— Брешешь, Балага,— сказал Жмакин,— слегавился, старый черт!

— Чего мне брехать из могилы-то,— усмехнулся Балага,— только мне виднее — всего и делов.

— Что же делать? — спросил Жмакин.

— Иди к Лапшину, винись.

— А дальше?

— Поедешь в лагеря — копать.

— Это медведь поедет копать,— сказал Жмакин,— я не поеду.

— Гордый?

— А чего ж!

— Ну утопишься,— сказал Балага,— или сдохнешь под мостом — там выберешь.

— На мой век дураков хватит,— сказал Жмакин,— будьте покойны.

— Это чтобы по карманам лазить? Хватит. Да какая радость-то? Все равно — лагеря.

— Убегу.

— Куда?

— Сюда.

— Опять посадят.

— И опять убегу.

— Дальше Советского Союза не убежишь, вернут в лагеря, и будешь работать или сдохнешь, дурак ты!

— Не буду работать.

— Почему?

— А почему ты не работал?

Балага усмехнулся.

— Зачем же мне было работать?

— Может, ты в комсомол вступил,— спросил Жмакин,— или в пионеры? Гладко больно чешешь.

Балага плюнул и встал.

— Давай денег,— сказал он,— чего дурака учить!

— У меня деньги-то нечистые,— усмехнулся Жмакин,— зачем они тебе?

— Давай, давай.

— Сколько же тебе дать?

— Сколько не жалко.

— Мне ничего не жалко,— сказал Жмакин серьезно,— мне и тебя не жалко, а потому денег я тебе не дам. Пожрал и беги, старая холера, хватит, заработал.

— Чего ж я заработал,— плачущим голосом спросил Балага,— супу да биточки?

Жмакин, прищурившись, глядел на Балагу.

— А ты цыпленочек, я примечаю,— сказал Балага,— ох, сынок. . .

— Иди, иди. . .

Балага пошел, прихрамывая, оглядываясь. Жмакин выпил еще стопку и обогнал Балагу на лестнице,— чтобы чего не вышло, лучше было выходить первым.

7

И все-таки надо было жить.

Надо было где-то ночевать и не очень мозолить глаза разному начальству; надо было с кем-то разговаривать и радоваться, что опять в этом огромном городе, и что никакие пути не заказаны, и что сам себе хозяин; надо было разыскивать старых друзей — довольно уже просто так прогуливаться.

И Жмакин разыскал Хмелю.

Хмеля жил на Старо-Невском в доме, что выходит одной стеною на Полтавскую, и Жмакину пришлось излазить не одну лестницу, пока он нашел нужную квартиру. Он приехал днем, и по его предположениям Хмеля должен был быть дома; но Хмеля был на работе, и на его двери висел маленький замочек. Пришлось приехать во второй раз вечером. Дверь из Хмелиной комнаты выходила в коридор, и матовое, в мелких пупырышках дверное стекло теперь уютно светилось. Томные звуки гитары доносились из-за двери.

Жмакин постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Странное зрелище предстало перед его глазами: в комнате, убранной с женской аккуратностью, на кровати, покрытой пикейным одеялом, полулежал высокий очкастый Хмеля и, зажав зубами папиросу, не глядя на струны, играл печальную мелодию.

— Старому другу! — сказал Жмакин.

— Здравствуйте,— видимо не узнавая, ответил Хмеля и, прихватив струны ладонью, положил гитару на подушку, но не встал.

— Не узнаешь?

— Узнаю,— нехотя сказал Хмеля и поднялся. Лицо его не выражало никакой радости. Он даже не предложил Жмакину снять пальто.

— Сесть-то можно? — спросил Жмакин.

— Отчего же, садись.

Жмакин сел, усмехаясь от неловкости и оттого, что надо было хоть усмехнуться, что ли. По стенам висели фотографии. На столе стопкою лежали книги, и в шкафчике виднелась банка с какао «Золотой ярлык».

— Культурненько живешь,— сказал Жмакин,— у нас в лагерях красный уголок и то без какао. А у тебя красный уголок, да еще и с какаом. Интересно!

— Ничего интересного,— сказал Хмеля, покашливая.

Он не садился — стоял столбом посредине комнаты.

— Может, поговоришь со мной? — спросил Жмакин.— Как-никак годов пять не видались. То ты в лагерях сидел, то я. Раньше встречались не так.

— Да, не так,— согласился Хмеля,— это верно.

Лицо его ничего не выражало, кроме скуки.

Тогда Жмакин, сдерживая начинающийся припадок бешенства, предложил выпить. Водка у него была с собой в кармане и закуска тоже — коробка сардин.

Они сели за стол, накрытый скатертью, вышитой васильками, и налили водку в два стакана. Хмеля пил попрежнему — ловко и быстро, и по-прежнему лицо его не менялось от водки.

— Значит, работаешь? — спросил Жмакин.

— Выходит, так.

— А у меня дельце есть.

— Хорошее?

Жмакин улыбнулся. Работа работой, а дело делом. Хмеля смотрел на него в упор.

— Какое же дело? — спросил он, покашливая и наливая водку.

— Магазин брать. По наводке. Приказчик свой, сторож свой, дело наивернейшее, и тысяч на сорок товару. Трикотаж, сукно, шелк, обувь. Сделали?

— Нет, не сделали,— сказал Хмеля, точно не замечая протянутой руки.

— Почему?

— Да ну что, Жмакин, нам с тобой говорить,— лениво сказал Хмеля,— давай выпьем!

— Хмеля,— сказал Жмакин,— ох, Хмеля.— Он поставил стакан и убрал протянутую руку. — Продаешь?

— Нет.

— Ой, продаешь!

— Покупаю, Жмакин,— сказал Хмеля грустно и подергал длинным белым носом,— покупаю, и задорого.

— Что покупаешь?

— Все.

Он замолчал и опустил голову.

— Да ну тебя к черту! — крикнул Жмакин.— Не крути мне. Что ты покупаешь?

— Разное.

— Ну что, что?

— Три года на канале покупал,— сказал Хмеля,— по четыреста процентов выработки плачено, а на канале знаешь какой процент? — Он вздохнул и посмотрел пустой стакан на свет.— И купил. На! — Он порылся в кармане, вынул паспорт и протянул его Жмакину.— Чего смотришь? — вдруг изменившись в лице, крикнул он.— Чего разглядываешь? Думаешь, ксива? Не видал ты такого паспорта, Псих, в своей жизни. Все чисто. На, гляди! Хмелянский Александр Иванович, год рождения, на! Видал? И не Хмеля! Никакого Хмели здесь нет. И попрошу,— он стукнул ладонью по столу так, что зазвенели стаканы, но вдруг смутился и, забрав у Жмакина паспорт, отошел к шкафчику.— Да чего говорить,— сказал он,— как будто я виноват. «Продаешь?» А того не понимаете. . .— Он что-то забормотал совсем тихо и улегся на свою белоснежную постель с сапогами, но тотчас же сбросил ноги и сердито выругался.

— На сердитых воду возят,— сказал Жмакин,— шагай сюда, выпьем еще, Александр Иванович Хмелянский.

Хмеля сел к столу. Волосы его торчали смешными хохолками.

— Итого, перековали тебя чекисты? — спросил Жмакин.— Все в порядке?

— Все в порядке.

— А рецидивы бывают?

— Ничего подобного,— сказал Хмеля,— я, брат, строгий.

Он взглянул на Жмакина из-под очков и хитро улыбнулся.

— Законники,— сказал он,— юристы.

— И провожали из лагерей-то,— спросил Жмакин,— с оркестром?

— С оркестром. Костюм дали,— добавил Хмеля,— ботинки, рубашку.

— А здесь как же?

— Ничего.
— Ты за какой бригадой сидел? У Лапшина сидел?
— Сидел.
— А когда вернулся — был у него?
— Нет. В кинематографе встретил.
— И что он?
— Подмигнул мне.
— А еще?
— Велел зайти. Я, конечно, зашел. «Все, спрашивает, в порядке?» — «Все в порядке»,— говорю. Посмотрел мой паспорт. Спрашивает: «Балуешься?» Я говорю: «Нет, гражданин начальник, с нас довольно».— «Да, говорит, действительно, должно быть довольно. Ну что, говорит, иди, Хмелянский, будь здоров». Я ему: «Слушаю, товарищ начальник, до свиданьица». А он мне: «Нет уж, говорит, Хмелянский, зачем до свидания, наши свидания, говорит, авось кончились. Будь здоров!»
— С тем и пошел? — спросил Жмакин. Ему вдруг стало жарко до того, что весь взмок.
— Да,— медленно и важно сказал Хмеля,— с тем и пошел. Может, чаю хочешь? — неожиданно спросил он.
Жмакин молчал.
— Ты ему теперь позвони, Лапшину,— сказал он погодя,— позвони, что, дескать, Лешка-Псих в Ленинграде, сорвался из лагерей. Также Каин, и Жмакин, и Володеев. Позвонишь?
— Позвоню,— в упор глядя на Жмакина, сказал Хмеля.
— Неужто позвонишь?
— Позвоню,— отводя взгляд, повторил Хмеля.
— За что же это, Хмеля? Чем я перед тобой провинился?
— Передо мной ты не провинился,— с трудом сказал Хмеля,— но как же я могу? Вот, к примеру, я работаю на Бадаевских складах, на разгрузке продуктов из вагонов. И вдруг, допустим, я узнаю — дескать, подкопались и делают нападение на наше масло. Как я должен поступать?
— Хмеля,— сказал Жмакин,— мы ж с тобой в одной камере одну баланду одной ложкой жрали. Кого продаешь, Хмеля?
— Лучше бы ты ушел от меня, Лешка,— сказал Хмеля со страданием в голосе,— ну чего тебе от меня надо?

— А где я ночевать буду? — спросил Жмакин.

— Где хочешь.

— Я здесь хочу,— криво усмехаясь, сказал Жмакин,— во на той кровати.

— Здесь нельзя.

— Почему?

— Не могу я жуликов пускать,— с тоской и страданием крикнул Хмеля,— откуда ты взялся на мою голову? Уходи от меня...

— Гонишь?

— Разве ж я гоню...

— Конечно гонишь...

— А чего ж ты мне — продаю, да легавый, да ксива...

— Ну, раз не гонишь, я у тебя останусь на пару дней, пока квартиру найду.

— Нельзя у меня,— упрямо сказал Хмеля,— говорю нельзя, значит нельзя.

— Да тебе же выгодней,— все так же криво улыбаясь, сказал Жмакин,— напоишь меня горяченьким, я спать, а ты в автомат и Лапшину. Меня повязали, тебе благодарность — всем по семь, а тебе восемь. Четыре сбоку, ваших нет.— Он скорчил гримасу, допил водку и, глумливо глядя на Хмелю, снял пальто.— Для твоей выгоды остаюсь.

Хмеля смотрел на него из-под очков с выражением отчаяния в близоруких светлых глазах.

— Уходи,— наконец сказал он.

— Не уйду.

— Уходи,— еще раз, уже со злобой, сказал Хмеля,— уходи от меня.

— Не уйду! Понравилось мне у тебя в красном уголке...

— Это не красный уголок,— дрожащим голосом сказал Хмеля,— какие тут могут быть пересмешки...

— А вот могут быть!

Бешенство заливало уже глаза Жмакину. Он ничего не видел. Руки его дрожали. Выдвинув плечо вперед, он пошел вдоль стены, нечаянно сшиб столик, что-то разбилось и задребезжало; он с маху ударил ладонью по фотографиям, стоящим на этажерке,— это была старая, неутолимая страсть к разрушению. И Хмеля понял, что сейчас все нажитое его пóтом будет изломано, разбито, исковеркано, уничтожено — будет уничтожена первая в

его жизни трудом заработанная собственность — тарелки, которые он покупал, гитара, которой его премировали, красивый фаянсовый чайник с незабудками — подарок приятеля. . .

И, поняв все это, Хмеля схватил первое, что попалось под руку,— столовый тупой нож, взвыл и сзади ножом ударил Жмакина, но нож даже не прорвал пиджак, а Жмакин обернулся, и в руке его блеснула узкая, хорошо отточенная финка.

— Резать хочешь? — спросил он, наступая и кося зелеными глазами.— Меня резать. . .

Левой рукой, кулаком, он ударил Хмелю под челюсть,— Хмеля шлепнулся затылком о беленую стенку и замер, потеряв очки. Его светлые близорукие и маленькие глаза наполнились слезами, он поднял ладони над головою, пытаясь защищаться, и в Жмакине вдруг что-то точно оборвалось: он понял, что с Хмелей уже нельзя драться и что это была бы не драка, а простое убийство. Матерно выругавшись, Жмакин перекрестил острием ножа подошву ботинка — по блатному обычаю, скрипнул зубами, накинул пальто и вышел во двор. Ноги его разъехались на обмерзшем асфальте, и ему внезапно сделалось смешно. Посвистывая, он добрался до трамвая и поехал куда глаза глядят — коротать ночь. Но эта ночь была очень плохой. Город, который мерещился ему в тайге, изменился. В нем некуда было деться, дома были сами по себе, а он, Жмакин, сам по себе. Пока что ему оставались дачные поезда, но они не ходили ночью. И Жмакин почувствовал, что устал и что, пожалуй, надо торопиться.

Четыре дня подряд тянулись неудачи, одна другой глупее, позорнее, мельче.

Он ничего не мог взять, точно кто-то колдовал над ним: женщина, к которой он почти совсем забрался в сумочку, внезапно и резко повернулась, ремешок лопнул, и военный, дотоле читавший спокойно газету, понял — шагнул к Жмакину. Пришлось выпрыгивать из трамвая на полном ходу. В другом трамвае его простонапросто схватили за руку, он рванулся так, что затрещала материя, и убежал. Потом вытащил из бокового кармана, вместо бумажника, сложенную во много раз клеенку. Потом вытащил бумажник, но без копейки денег. И, наконец, срезал часы, за которые никто не давал

больше десяти рублей. Так тянулось изо дня в день. Нервы напряглись — он уже не очень себе доверял. Призрак тюрьмы становился реальным,— Жмакина могли взять в любую минуту.

Однажды на улице он столкнулся, ударился грудью об уполномоченного Окошкина, сломал о его кожаное пальто папиросу и, заметив, что Окошкин узнал его, рванулся во двор. Двор был непростительной, катастрофической оплошностью, ловушкой. Жмакин поднялся на шестой этаж и, понимая, что пропал, попался — длинно позвонил в чью-то неизвестную квартиру. По лестнице уже поднимался Окошкин, сапоги его часто поскрипывали, он бежал. Жмакин все звонил, не отнимая палец от звонка. Дверь отворилась, он отпихнул рукою какую-то крошечную старуху, пробежал по коридору, заставленному вещами, на звук шипящих примусов, очутился на кухне и через черную дверь спустился вниз во двор. Если бы старуха спросила — кто там? — все было бы кончено, он попался бы. Теперь Окошкин был в дураках. Раскачиваясь в шестом номере автобуса, Жмакин представлял себе лицо Окошкина и как он сморкается и встряхивает головой,— это было смешно и приятно.

На углу Невского и улицы Восстания он выскочил.

Этот город был ненавистен ему, он понял это внезапно и очень точно, понял, что город как бы организовался, чтобы его, Жмакина, посадить в тюрьму, послать в лагеря, что эти дома, и улицы, и магазины ему, Жмакину, враждебны. На секунду он уловил даже как бы выражение лица города, смутное, предостерегающее, суровое. Он потер щеку шерстяной перчаткою и еще поглядел,— все ерунда, город как город, пора пообедать, что ли! Но обедать он не шел, а стоял на морозе возле айсора, чистильщика сапог, и глядел, прищурив глаза, скривив бледное красивое лицо, сжав зубами незакуренную папироску. Был шестой час дня. Уже стемнело, и народ двигался с работы сплошной стеною, город гудел и грохотал. Все разговаривали и смеялись, трамваи трещали звонками, какой-то парень, стоявший дотоле возле парадного, неподалеку от Жмакина, перекинул портфель из руки в руку и сделал движение вперед к румяной девушке в шапке с большим помпоном. Она засмеялась, откинув назад голову и блестя зубами, и точно припала к плечу парня. Он крепко, легко и ловко взял ее под руку. Жмакин видел, как толпа в мгновение

проглотила их обоих, даже помпон пропал — ничего не осталось; опять шли люди с портфелями, смеялись и болтали, а он глядел на них и грыз мундштук папиросы.

Потом он поехал в поезде искать комнату, вылез в Лахте и стал стучаться в каждый дом подряд. Был тихий морозный вечер. На шоссе стайками гуляла молодежь. Две гармони не в лад играли марш. Две девушки в платках по самые брови таинственно на него поглядели. Еще одна неумело проехала на лыжах, кокетливо засмеялась, потеряла палку, охнула и, заверещав, упала в канаву. Жмакин помог ей выбраться и спросил про комнату.

— Да вон, Корчмаренки будто сдают,— сказала она, отряхивая снег,— идите сюда по-над забором влево.

Он пошел, невольно подчиняясь маршу, доносившемуся с шоссе, подсвистывая, потирая озябшие уши. Во дворе у Корчмаренко лаял простуженным голосом цепной пес. Жмакин свистнул ему и вдруг заметил, что пес с бородой и борода у него покрылась инеем. Он усмехнулся и, прежде чем стучать, заглянул в окно, незавешенное и незамерзшее, видимо потому, что была открыта форточка.

Корчмаренки, сидя за большим, покрытым розовой клеенкой столом, пили чай. Кипел самовар. Какой-то парень здесь же что-то читал из маленькой книжечки, все смеялись, даже старуха, сидевшая у самовара, смеялась, закрывая глаза платочком. Сам Корчмаренко, здоровенный всклокоченный детина с пухом в волосах и в бороде, хохотал страшно, потом вдруг замирал, делая несколько даже страдающее лицо, и потом хохотал с новой силой, да еще и бил кулаками по столу. . .

«Во идиот!» — подумал Жмакин.

Молодая женщина с ребенком на руках стояла возле стола и тоже смеялась до слез, глядя на Корчмаренку. Наконец парень кончил читать, спрятал книжечку в карман, потом поднял палец и что-то сказал, нет, вернее из прочитанного, потому что всклокоченный Корчмаренко вновь начал прыгать, стонать и выкрикивать так, что затрясся дом.

Жмакин постучал.

Ему открыла старуха, та, что сидела у самовара, и сказала, что комната, действительно, есть, в мезонине. Жмакин попросил показать. В переднюю вышел сам

Корчмаренко, наспех расчесывая бороду, и спросил, откуда Жмакин.

— Как откуда?

— Ну, откуда, одним словом. Где работаете?

В передней очутилась вся семья, и все глядели на Жмакина.

— Работаю особоуполномоченным по пересылке грузов,— вяло лгал Жмакин, не зная, что говорить дальше,— работаю на узлах...

— На каких узлах? — спросил парень, тот, что читал книжку.

— Да уж на железнодорожных,— сказал Жмакин,— на каких больше?

— Значит, ездите? — спросил Корчмаренко.

— Не без этого.

— Теперь все ездиют,— сказала старуха, и Жмакину показалось, что она намекает.

— Как — все? — спросил он щурясь.

Но старуха не ответила, спросила, женат ли он и есть ли у него дети.

— Ни того, ни другого,— сказал Жмакин усмехаясь. Ему сделалось смешно от мысли, что он может быть женат и дети...

— И хорошо,— говорила старуха,— комнатка маленькая, лестница крутая, с детьми никак нельзя. Мы уж так и уговорились, ежели с детьми — то нельзя. Ну, а как женитесь? — спросила она.— Да как пойдут детишки?

— Могу дать подписку.

Корчмаренко захохотал, ему показалось это очень смешным.

— Так можно посмотреть комнату? — спросил Жмакин. Ему уже надоел весь этот разговор.

Его повели всей семьей наверх по темной, скрипучей, очень крутой лесенке. Комнатка оказалась прехорошенькой, теплой, сухой, чистой, оклеенной голубыми в цветочках обоями.

— Койка останется? — спросил Жмакин.

— И койка, и стол, и стул, и шкафчик,— сказала старуха,— и занавеску тебе оставим,— она внезапно перешла на «ты»,— и белье постираем. Чего уж, раз холостой.

— А сколько положите? — спросил Жмакин.

— Да рубликов семьдесят надо,— сказала старуха,— с обмеблированием.

— Да чего,— сказал Корчмаренко,— семьдесят рубликов. . . Вы, мамаша, Кащей. Дорого!

— А сколько? — спросила старуха.

— Он парень ничего,— сказал Корчмаренко,— свой. Мы, с другой стороны, люди зажиточные. Комнату сдаем неизвестно по какой причине,— всегда здесь жилец, а теперь возьми ноги в руки да и смотайся во флот. Федю Гофмана не знали?

— Не знал.

— Он теперь трудовому народу служит,— сказал Корчмаренко,— комната пустая. А уж он вернется, мы тебя, извини, попросим. Федя, уж он у нас свой. Уж ты не обижайся.

— Я не обижусь.

— А мы с тебя возьмем, сколько с Феди брали. Мамаша, сколько мы с Феди брали?

— Уж с Феди возьмешь,— сказала старуха,— от него дождешься.

— Так как же?

— Он человек молодой,— улыбаясь, говорила старуха,— он мне так и наказал: бабушка, ты у меня денег не спрашивай, мне и на свои расходы не хватает, а у тебя дом собственный, с налогом сама управишься.

— Ну и Федька, какой ловкий! — крикнул Корчмаренко.— Ах, собачья лапа!

И топнул ногой.

Договорились по сорок рублей, но со своим керосином. Про керосин придумала старуха. За стирку тоже отдельно и за уборку в комнате — пять рублей в месяц. Жмакин заплатил семьдесят рублей вперед задатку и уехал в город, якобы за вещами. Ночевал он опять в поезде и весь следующий день «работал». В одном «Пассаже» ему удалось срезать четыре сумочки. Три из них он выбросил, в самую лучшую сложил деньги и документы, завернул ее в бумагу и отдал на хранение. Он совершенно потерял страх,— ему до одури хотелось наконец поспать в постели, он рисковал, как никогда еще в своей жизни, и ему везло до того, что от одного только везения могло стать страшно.

Когда вечером, уже незадолго до закрытия, он пришел опять в «Пассаж», то за стеклом внутри шляпного отдела увидел стоящего к нему спиною Окошкина. Видимо, весть о его сумасшедшей деятельности уже достигла розыска, Лапшин понял, чья здесь рука, и вы-

слал Окошкина — своего ученика. Но Окошкин не видел Жмакина — стоял к нему спиною, и Жмакин не мог отказать себе в удовольствии срезать еще одну сумочку у женщины с зеленым перышком на шляпе. Это было совсем близко от Окошкина — выше этажом — в обувном отделе, и Окошкин мог войти сюда, улыбаясь своими белыми зубами, и взять Жмакина. Но он по-прежнему стоял и смотрел, как женщины примеряют шляпы, и не видел Жмакина, лениво шагающего за его спиною по мокрому кафельному полу. «Окошкин! — хотелось крикнуть Жмакину.— Гражданин начальник!» Или постучать пальцем в зеркальное стекло. Но он прошел незамеченным, взял из камеры хранения пакет и вышел на улицу. На лестнице в Стоматологическом институте он подсчитал дневную выручку. Две тысячи рублей без нескольких копеек. Он подмигнул самому себе.

В Гостином он купил чемодан попроще, белья, бритвенный прибор, готовые брюки, английских булавок и два галстука. Захватил бутылку водки, сахару, масла, колбасы, консервы и варенье, сел в поезд и поехал в Лахту.

«Ничего, проживем,— думал он, покуривая в тамбуре и поплевывая,— посмотрим, кто кого. Как-нибудь, как-нибудь. . .»

Болота, покрытые снегом, едва освещенные бледною луною, холодные и неуютные, кружились перед ним. Его передернуло, он вспомнил те давние странствия. «Как-нибудь, как-нибудь,— бормотал он, стараясь попасть в лад с поездом,— как-нибудь, как-нибудь!»

8

Ему отворила старуха, веселая как накануне, с засученными рукавами, простоволосая. Из кухни несло запахом постного масла, там что-то жарилось, шипело и трещало. По всему домику ходили красные отсветы. Везде топились печи, блестели свежевымытые полы,— казалось, что наступают праздники.

— Да никакие не праздники,— сказала старуха Жмакину,— сам приказал оладьев печь,— други к нему придут. Дормидонов — мастер и Алферыч — Женькин крестный.

— А кто этот Женька?

— Вот уж здравствуйте,— засмеялась старуха,— не

знает, кто Женька! Внучок мой, который лампу вчера держал, он и есть Женька. Самому — сын.

Жмакин потащил чемодан наверх по скрипучей лестнице. В комнатке было темно, за окнами — маленькими, заиндевелыми — лежали уже снега — сплошные, насколько хватало глаз. Он постоял в темноте, не снимая пальто, отогреваясь, привыкая к дому, к хозяйственным шумам, к властно-веселым окрикам старухи снизу. Потом заметил, что и у него здесь топится печка, открыл дверцу и сел на корточки — протянул руки к огню. Дрова уже догорали, горячие, оранжевые уголья полыхали волнами почти обжигающего тепла. Сделалось жарко. Не вставая, он сбросил пальто, кепку, устроился поудобнее и все слушал, разбивая кочергой головни и покуривая папиросу. Было слышно, как кто-то, вероятно не старуха — слишком легки были шаги,— а та молодая с ребенком выходила в сенцы, как она набирала там из обмерзшей бочки ковшиком воду и возвращалась и как она однажды разлила,— вода шлепнулась, и старуха сказала басом:

— Лей, не жалей.

А молодая тихо и ясно засмеялась.

Потом пришел Женька и разыграл целую сцену: будто бы он наступил впотьмах на кошку, и кошка будто бы рявкнула исступленным, околевающим голосом, и как он, Женька, сам испугался и заорал, и как пнул кошку, и кошка еще раз рявкнула.

На весь этот страшный шум выскочила старуха, потом наступило молчание, старуха плюнула, сказала: «Тьфу, чертяка!» — и хлопнула двумя дверьми, и наступила тишина. Потом Женька начал один смеяться. Жмакин уже понял, что Женька был в представлении и за кошку и за самого себя, и ему тоже стало смешно. Он засмеялся и икнул. А внизу в темной передней Женька крутился, охал и обливался слезами от смеха. Опять заскрипели двери, в переднюю вышла старуха, и Женька рявкнул, будто бы старуха наступила на кошку. Старуха вскрикнула и шлепнула Женьку чем-то мокрым, очень звонко и, наверное, больно, потому что Женька завизжал. Жмакин икнул уже громко, на всю комнату. Икая, он спустился вниз — попить; икая, заглянул на кухню — попросил лампу и с лампой пошел опять к себе. Пока он раскладывал вещи, Женька внизу возился у приемника, в доме возникала то далекая музыка, то

какие-то фразы на нерусском языке, то вдруг знакомый мотив.

Печка истопилась, Жмакин закрыл вьюшку, причесался перед зеркальцем, открыл водку и выпил из розовой чашечки, стоявшей на подоконнике. Мерная, торжественная музыка разливалась по дому. Жмакин почитал обрывок газеты, в которую были завернуты консервы, еще погляделся в зеркало. «Ну что,— подумал он, точно споря,— живу ведь? И ничего!»

Он прошелся по комнате из угла в угол, сунув руки в карманы новых брюк и посасывая папиросу. Особое удовольствие ему доставляло смотреть на постель, на которой он будет нынче спать. «Чудная постель,— думал он.— Завтра никуда не пойду. Отосплюсь. А потом пойду в кино. И ничего не буду делать. И спать буду, спать. Эх, хороша кровать!»

Но его что-то беспокоило, он долго не мог вспомнить что, и наконец вспомнил — паспорт, вот что. Надо было сделать ксиву — вытравить из какого-нибудь украденного паспорта настоящую фамилию, переправить что-нибудь в номере и в серии, вписать якобы свою фамилию. Он сел за столик, разложил все три украденные сегодня паспорта и стал раздумывать — как бы вышло попроще. Но он никогда еще не подделывал документы и хоть кое-что об этом слышал — ничего толком не знал. Пришлось выпить еще немного из розовой чашки. Он посвистывал и разглядывал: имя, отчество, фамилия — все чужое. Мощная, грохочущая музыка лилась по дому. Жмакин взял карандаш и на газете стал подделывать почерк того неизвестного, который заполнял графы паспорта. Ничего не вышло. Он нарисовал чертика, потом сову, потом зайца, почесал карандашом щеку, и два паспорта, предназначенные к отправке владельцам, спрятал в чемодан, а третий, предназначенный к переделке, сунул в карман пиджака. Лестница заскрипела — вошел Женька.

— Переехали? — спросил он.

— А чего ж,— ответил Жмакин.

Женьке было лет четырнадцать-пятнадцать. Он был в красной футболке, в синих брючках и в валенках. Он еще краснел и опускал глаза, но уже выставлял вперед ногу, вскидывал голову и старался смеяться поненатуральнее — каким-то кашляющим басом.

— Может, в шахматы сыграем? — спросил он.

Жмакин помолчал. Он все разглядывал Женьку — с горечью и с завистью.

— Или в шашки? — упавшим голосом сказал Женька.

— А ты уроки выучил? — вдруг неизвестно почему спросил Жмакин.

— Здравствуйте,— сказал Женька,— а чего я с Морозовым целый день делал?

— Чертей небось гонял,— сказал Жмакин,— хулиганил где-нибудь возле станции?

— И не хулиганил,— покраснев, сказал Женька,— я как раз хорошо учусь.

— А может, как раз плохо?

— Нет.

— Хорошо?

— Да.

Женька опустил голову. Он был явно обижен.

— Пионер?

— Да.

— Что ж вы там, пионеры, вокруг елочки ходите, что ли? — спросил Жмакин.

— Вокруг елочки? — очень удивился Женька.— Почему вокруг елочки?

— А чего ж вам больше делать?

Женька даже не ответил. На секунду он вскинул голубые удивленные глаза, потом отвернулся. Потом слегка покачал головой. Еще раз взглянул на Жмакина и тихо, но раздельно и твердо сказал:

— А если вы комсомолец, то мне странно, что вы так говорите.

— Я пошутил,— серьезно сказал Жмакин.

— Пошутили?

— Ну конечно пошутил.

— Раз пошутили, тогда другое дело,— повеселевшим голосом сказал Женька,— может, сыграем в шахматы?

— Сыграем! Тащи.

— А может, вниз пойдем? Там приемник.

— Ну пойдем.

Они сели возле ревущего приемника и сразу же задумались и замолчали, как полагается всем шахматистам.

— Д-да...— порою говорил Жмакин.

— Уж конечно да,— отвечал Женька.

И замолчали.

Финляндия ревела им в уши, потом хлопнула дверь, пришли и хозяин и гости,— они не слышали и не видели.

— Так, так, так,— говорил Жмакин.

— Да уж конечно так, так, так,— отвечал Женька. Он раскраснелся, открытое, розовое, детски-припухлое его лицо покрылось мелкими капельками пота.

— Рокируюсь,— говорил он, раскатисто нажимая на эр.

— Рокируйся,— в тон ему отвечал Жмакин.

Только теперь он заметил и окончательно понял, что пришли гости. Они сидели за овальным столом и мирно беседовали в ожидании ужина. Дормидонов был очень велик ростом и очень широк в плечах, и выражение лица у него, как у всех слишком уж рослых людей, было немного виноватое. Лицо у него было розовое, большое, чистое, и над крепкими, суховатыми губами торчали маленькие колючие усы. Второй гость — Алферыч — был тоже велик ростом, но как-то казался у́же, складнее, проворнее. В лице у него было что-то очень деловитое и вместе с тем достаточно озорное, так что казалось — он вот-вот выкинет такое коленце, что все просто-таки умрут, а он ничего не выкидывал, наоборот, был очень серьезным, малосмешливым и прилежным человеком.

Гости молчали, говорил и смеялся один Корчмаренко. Он бил ладонью по столу, толкал кулаком в бок Алферыча, подмигивал Дормидонову и, странно вытягивая шею, кричал в кухню:

— Граждане повара, каково там кушание?

А из кухни отвечали:

— Сейчас, гости дорогие, сейчас, милые!

Жмакин поднялся, чтобы уйти к себе, но Корчмаренко его не пустил.

— Ничего, ничего,— говорил он,— оставайся. Успеешь отоспаться — молодой еще. Кабы жена была, ну, дело другое.

И смеялся, сотрясая весь дом.

Жмакин тоже присел к овальному столу.

— И пить будем,— сказал Корчмаренко,— и гулять будем, а смерть придет — помирать будем. Верно, Алферыч?

Алферыч взглянул озорными глазами на Жмакина и, вздохнув, сказал:

— Не без этого, Петр Игнатьевич.

Потом Корчмаренко вынес из соседней комнаты скрипку, поколдовал над ней, отвел бороду направо и, взмахнув не без кокетства смычком, сыграл мазурку Венявского. Играл он хорошо, лицо у него сделалось вдруг печальным, большой курносый нос покраснел. Дормидонов слушал удивленно, почти восторженно, Алферыч задумался, выдавливал ногтем на скатерти крестики. Жмакин слушал и жалел почему-то себя. Из кухни вышла Клавдя, дочь Корчмаренки — розовая от жара плиты, миловидная, прислонилась спиной к печке, сразу же заплакала, махнула рукой и ушла.

— Эх, Клавдя,— с грустью сказал Корчмаренко,— сама мужика выгнала и сама жалеет. А мужик непутевый, дурной. . .

Он вдруг зарычал, как медведь, налился кровью и захохотал.

— Как она его метелкой,— давясь от смеха, говорил он,— и слева, и справа, и опять поперек. А я говорю — правильно, Клавдия! Так и выгнала!

Он вскинул скрипку к плечу, прижал ее бородою и начал играть что-то осторожное, скользящее, легко, бросил на половине, чихнул и, угрожающе подняв скрипку над головой, пошел в кухню. Через секунду из передней донесся его уговаривающе-рокочущий бас и всхлипывания Клавди, потом слова:

— Ну и пес с ним, коли он такой подлюга, подумаешь, невидаль. . .

Ужин был обильный, вкусный, веселый. Много пили. Клавдя развеселилась и сидела рядом со Жмакиным; он искоса на нее поглядывал, и каждый раз она ему робко и виновато улыбалась. Пили за хозяина, он смущался, тряс большой, всклокоченной головою и говорил каждый раз одно и то же:

— Чего ж за меня, выпьем за всех.

Говорили про завод, про техника Еремкина, про бюро технического нормирования, про то, что всю фрумкинскую компанию надо с завода гнать в три шеи. Жмакин чокнулся с Клавдией, и они выпили отдельно.

— Ты партийный,— сказал Дормидонов Корчмаренке,— тебе начинать. Поставь вопрос на производственном совещании.

— Тут дело не в партийности,— сказал Корчмаренко,— при чем тут партийность. Пожалуйста — выступай!

Они заспорили.

Жмакин вдруг очень удивился, что Корчмаренко партийный.

Пришла старуха с огромным блюдом горячих оладий и села между Жмакиным и Алферычем. Жмакин все больше пьянел. Старуха положила ему на тарелку оладий, сметаны, какой-то рыбы.

— Не могу, наелся,— говорил Жмакин и проводил рукою по горлу,— мерси, не могу.

Но старуха отмахивалась.

Он налил ей большую стопку, чокнулся и поклонился до самого стола.

— Вашу руку,— сказал он,— бабушка!

Он пожал ее руку и еще раз поклонился, потом выпил с Клавдией. Теперь ему казалось, что он уже давно, чуть ли не всегда, живет здесь, в этом домике, участвует в таких разговорах, слушает радио, играет в шахматы.

— Позвольте,— сказал он и протянул руку с растопыренными пальцами над столом,— позвольте, я не понимаю, в чем у вас спор.

Ему объяснили.

— Ну хорошо,— сказал он,— а дальше?

— Ну и все,— сказал Корчмаренко.

— Я беспартийный человек,— сказал Жмакин,— не понимаю.— Ему очень хотелось, чтобы все его слушали, хоть говорить было нечего.— Не понимаю,— повторил он.

— Э, брат! — засмеялся Корчмаренко.

Жмакин вдруг увидел, что Корчмаренко трезвый, и ему стало стыдно, но в следующую секунду он уже решил, что пьян-то как раз Корчмаренко, а он, Жмакин, трезвый, и, решив так, он сказал: «Э, брат» — и сам погрозил Корчмаренке пальцем. Все засмеялись, и он тоже засмеялся громче и веселее всех и грозил до тех пор, пока Клавдия не взяла его за руку и не спрятала руку с упрямым пальцем под стол. Тогда он встал и, не одеваясь, без шапки, вышел из дому на мороз, чтобы посмотреть,— ему казалось, что надобно обязательно посмотреть, все ли в порядке.

— Все в порядке,— бормотал он, шагая по скрипящему, сияющему под луной снегу,— все в порядочке, все в порядке.

Мороз жег его, стыли кончики пальцев и уши, но он не замечал,— ему было чудно, весело, и что-то лихое и вместе с тем покойное и простое было в его душе. Он

шел и шел, дорога переливалась, везде кругом лежал тихий зимний снег, все было неподвижно и безмолвно, и только он один шел в этом безмолвии, нарушал его, покорял.

— Все в порядке,— иногда говорил он и останавливался на минутку, чтобы послушать, как все тихо, чтобы еще большее удовольствие получить от скрипа шагов, чтобы взглянуть на небо.

Но вдруг он замерз и задрожал.

И сразу повернул назад. Теперь луна светила ему в лицо. Он бежал, выбросив вперед корпус, отсчитывая про себя:

— Раз и два и три, раз и два и три!

У дома на него залаял пес.

— Не сметь,— крикнул Жмакин,— ты, мартышка!

Дверь была приоткрыта, и на крыльце стояла Клавдя в большом оренбургском платке. Она улыбалась, когда он подошел.

— Я думала, вы замерзли,— сказала она,— хотела вас искать.

— Все в порядке,— сказал он,— в полном порядочке.

У него не попадал зуб на зуб, и он весь просто посинел — замерз так, что не мог вынуть из коробка спичку, не гнулись пальцы.

— Давайте я вам зажгу,— сказала она,— вон у вас пальцы-то пьяные.

— Просто я замерз,— сказал он.

Они стояли уже в передней. Там за столом все еще спорили и смеялись. Из кухни прошла старуха, усмехнулась и шальным голосом сказала:

— Ай, жги, жги, жги!

Она тоже выпила.

— Клавдя,— сказал Жмакин,— я тебе хочу одну вещичку подарить на память.— Он вдруг перешел на «ты».— Она у меня случайная.

Клавдя молчала.

— Постой здесь,— сказал он и побежал к себе по лестнице.

В своей комнате он вынул из чемодана самую лучшую сумку, украденную днем, вытряхнул из нее деньги, подул внутрь, потер замок о штаны, чтобы блестел, и спустился вниз. Клавдя по-прежнему стояла в передней.

— На память от друга,— сказал Жмакин,— бери, не обижай.

Она смотрела на него удивленно и сумку не брала.

— Бери,— сказал он почти зло.

— У меня же есть сумка,— сказала она.

— Бери! — крикнул он, выдвигая вперед плечо, как всегда в минуты бешенства.

— Да есть же у меня сумка,— кротко сказала Клавдя.

— Бери!

Он уже косил от бешенства.

— Задаешься?

Клавдя молчала.

— Фасонишь?

Он швырнул сумку об пол, но тотчас же поднял ее, побежал на кухню и сунул в плиту, в раскаленные, оранжевые угли. Сумка сразу же вспыхнула. Когда он обернулся, Клавдя стояла за его плечом.

— От дурной,— укоризненно сказала она,— ну просто бешеный.

Он пошел в столовую и сел на свое место. Корчмаренко густым басом вспоминал про войну, про Мазурские болота и про капитана Народицкого.

— Лютовал,— говорил Корчмаренко,— ох лютовал. Но ничего, прибили погоны гвоздями, будет помнить!

Жмакин налил себе водки, выпил и спросил:

— А кто из вас знает тайгу?

Никто не знал. Ему очень хотелось говорить. Он чувствовал, что у кафельной печки стоит Клавдя.

— Все мы нервные,— сказал он,— все подпорченные. У кого война, у кого работа. Вот, например, я, молодой, а уже психопат. И сам знаю, а не могу удержаться. Работал на Дальнем Севере, и, понимаете, происходит такая история. . .

Он опять рассказал о побеге, о волках, о ночевках в ямах. Старуха тихонько плакала. Корчмаренко вздохнул. Жмакин не оборачивался — он знал, что рассказывает хорошо и что Клавдя слушает и жалеет его.

— Еще не то бывает,— сказал он значительно и опять выпил.

Ему очень хотелось рассказать, как страшно и одиноко в Ленинграде, как он бежал от Лапшина, как ходит за ним по пятам Окошкин, но это уже нельзя было рассказать, и тогда, таинственно подмигнув, он рассказал о себе так, как будто бы он был Лапшиным: как он, Лапшин, ловил некоего Жмакина, и как он этого Жма-

кина поймал и привел в розыск, и как Жмакин просил его отпустить, и как он, Лапшин, взял да и не отпустил.

— И очень просто,— говорил Жмакин, чувствуя себя как бы Лапшиным,— их не очень можно отпускать. Это народ такой. Вот у меня был случай. . .

И он рассказал про себя, как про Окошкина, как он, Окошкин, ловил одного жулика по кличке Псих и как этот Псих забежал на шестой этаж, позвонил, проскочил квартиру, да по черному, и поминай как звали.

— Ушел? — спросил Корчмаренко.

— И очень просто,— сказал Дормидонов.

— Во, черти! — восторженно крикнул Корчмаренко, захохотал и хотел шлепнуть ладонью по столу, но попал в тарелку с чем-то жидким и всех обрызгал. После этого он один так долго хохотал, что совсем измучился.

— Вы что ж, агентом работали? — спросил Алферыч, пронзая Жмакина озорным взглядом.

— Разное бывало,— сказал Жмакин уклончиво.

Потом Корчмаренко играл на скрипке, и все сидели рядом на диванчике и слушали. А когда гости уже совсем собрались уходить, Корчмаренко предложил спеть хором, и Клавдя начала:

Среди долины ровныя
На гладкой высоте... 11

Спели и разошлись. Но Корчмаренко еще не хотел спать и не пустил Жмакина. Они сели за шахматы. Оба закурили и насупились.

— Спать, греховодники, спать,— говорила старуха,— спать.

— Ничего, завтра выходной,— бурчал Корчмаренко.

Старуха вдруг дотронулась до плеча Жмакина.

— Дай-ка, сынок, паспорт,— сказала она,— я завтра раненько сбегаю, да и пропишу.

Он хотел сказать, что паспорт у него на работе, но взглянул на Клавдю — и не смог. Что-то в ней изменилось,— он не понимал что; она смотрела на него иначе, чем раньше,— не то ждала, не то усмехалась, не то не верила.

— Поднимись, принеси,— сказала старуха,— не то утром разбужу. . .

Уже поздно было говорить, что паспорт на работе. Он сунул руку в боковой карман пиджака и вынул краденый паспорт, но все еще медлил, затрудняясь все больше и больше. Он даже не помнил имени в паспор-

те... А год рождения? Он открыл паспорт и прочел: Ломов Николай Иванович, 1912 — приблизительно подходило. Теперь прописка.

— Чего ищешь? — спросил Корчмаренко.

— Да тут фотография была,— сказал Жмакин,— как бы не потерялась...

Он запомнил и прописку.

Старуха взяла паспорт.

Это была верная гибель, то, что он делал. Через три дня самое большее его возьмут. Разве что Ломов Николай Иванович дурак и не заявил. Нет, конечно, заявил.

Он не доиграл партию и ушел к себе. Надо было спать. Три дня можно спать спокойно. А дальше конец. Он разделся, лег. Сколько времени он не спал в постели? И тотчас же заснул.

9

Он проснулся в два часа пополудни — легкий, отдохнувший, выспавшийся, охнул, зевнул, попрыгал по комнате, выглянул в окно: солнце светило, был морозец, молодежь косячком шла на лыжах, новенький, сияющий грузовичок бежал по дороге.

Сразу же явился Женька с шахматами и, смешной на тонких ногах, обутых в отцовские валенки, стоял посредине комнаты, щурился на солнце и ждал, пока Жмакин мылся, причесывался, пил чай.

— Будешь со мной пить? — спросил Жмакин.

— Спасибо,— сказал Женька.

Он пил и рассказывал о модели шаропоезда, которую строит «некто Илька Зайдельберг».

— А Клавдя где? — спросил Жмакин.

— Пошла с ребенком гулять,— ответил Женька и опять стал рассказывать о шаропоезде.

Они играли в шахматы, и Жмакин прислушивался к тому, что делалось внизу. Хлопала дверь — Корчмаренко таскал в кухню наколотые дрова и переругивался со старухой. Потом вдруг сложенные дрова с грохотом обрушились.

— Шах королю,— сказал Женька.

— А где нынче Клавдин муж? — спросил Жмакин.

— Шах королю,— повторил Женька.

— Сдаюсь! — сказал Жмакин.— Где Клавдин муж, Женька?

— По-нарочному сдались,— сказал Женька,— вы ж могли во как пойти.— Он показал, как мог бы пойти Жмакин.— Верно?

— Верно,— согласился Жмакин,— она что, с мужем не живет?

— Кто она?

— Да Клавдя.

— Ах, Клавдя? Нет, не живет,— рассеянно сказал Женька,— у нее муж пьяница, она его выгнала вон.

— Здорово пил?

— Ну, говорю, пьяница,— сказал Женька,— орал тут всегда. Босяк! — Он кончил расставлять фигуры, помотал над доскою пальцами, сложенными щепотью, и сделал первый ход. Глаза у него стали бессмысленными, как у настоящего шахматиста во время игры.— Босяк,— повторил он, уже с иным, сокровенно-шахматным смыслом, — босяк...

Всю игру он повторял это слово на разные лады, то задумчиво-протяжно, то коротко-весело, то вопросительно.

— И что ж, она не работает? — спросил Жмакин.— Так и живет?

— И живет,— сказал Женька,— и живет.— Его глаза блуждали.— И живет,— без всякого смысла говорил он,— и живет!

Жмакин с трудом удержался от желания шлепнуть Женьку ладонью по круглой голове. Наконец доиграли. Солнце светило прямо в лицо. Женька сидел розовый, курносый, вопросительно склонив белобрысую голову набок.

— Еще? — подлизывающимся голосом спросил он.

— Будет,— сказал Жмакин и лег на кровать, подложив руки под голову.

Тогда Женька стал играть сам с собою. Он сопел и хмурился. Его волосы золотились на солнце.

— Женя,— спросил Жмакин,— а где Клавдя работает?

— На «Красной заре»,— сказал Женька,— на заре. И на заре и на...— Он помолчал.— На Красной заре и на Красной заре, на Красной заре и на Красной заре,— лихорадочно быстро забормотал он,— на Красной заре...

— А как же ребенок?

— Что?

— Я спрашиваю — ребенок как?

— Какой ребенок?

Жмакин отвернулся к стене. Женька ничего не понимал. Он все еще бормотал про Красную зарю. Потом пришла Клавдя. Жмакин спустился вниз. Корчмаренко, старуха и Клавдя — все втроем — раздевали девочку. Корчмаренко держал ее под мышками, Клавдя снимала малиновые рейтузы, а старуха возилась с туфлями. Девочка не двигалась — красная, большеглазая, строгая, только зрачки ее напряженно и смешно оглядывали всю эту суету.

— Какова невеста,— крикнул Корчмаренко, завидев Жмакина,— видел таких? Буся, буся, бабуся! — бессмысленно и нежно заворковал он, прижимаясь к внучке бородатым лицом.— У-ту-ту, у-тутушеньки...

— Папаша, не орите ей в ухо,— строго сказала Клавдя,— опять напугаете.

Девочку раздели, и она, переваливаясь с боку на бок, мелкими, аккуратными шажками пошла вон из комнаты.

— У-ту-ту, у-тутушеньки! — вдруг крикнул Корчмаренко и сделал такой вид, что сейчас прыгнет.

— Папаша! — строго сказала Клавдя. Она, с улыбкою глядя на семенящую дочь, шла за ней — несла ее верхнее платье.

— Большая,— сказал Жмакин.

— А чего ж,— ответила Клавдя.

— На вас похожа?

— Вся в отца,— сказал Корчмаренко,— такой же бандит будет.

Они вышли в переднюю за девочкой.

— Долго ж вы спите,— сказала Клавдя, по-прежнему следя за дочерью,— я думала, до вечера не проснетесь.

— А чего ж,— передразнивая Клавдю, усмехнулся Жмакин.

Она коротко взглянула на него и тотчас же вся покраснела.

— Может, в шахматы сыграем? — предложил Корчмаренко.

Жмакин отказался. Он немного поболтал со старухой в кухне, дожидаясь, когда выйдет Клавдя. Но она как нарочно долго не выходила; было слышно тоненькое пение — она пела дочке и не выходила ни в переднюю,

ни в кухню. Он постоял в передней, потом сразу вошел к ней в маленькую, тепло натопленную комнату. Клавдя с дочкой сидели на полу, на коврике, возле избы, выстроенной из кубиков. В избе был слон — голова его с блестящими бусинками-глазами торчала в окошке, у хобота был насыпан овес.

— Заходите, заходите,— сказала Клавдя, опять краснея и стараясь закрыть юбкой ноги,— мы здесь дом построили.

— Клавдя,— сказал Жмакин,— поедем сегодня в город, в театр?

Она молчала, потом осторожно отвернулась.

— Не хочешь? — спросил он.

— Почему,— сказала она,— только в какой театр?

— В любой.

— У вас билетов еще нет?

— Купим,— сказал он,— в чем дело! Пара пустяков.

Он стоял, не зная, что делать в этой маленькой, ярко освещенной и тепло натопленной комнатке. Даже руки ему было некуда девать. Девочка смотрела на него серьезными круглыми глазами.

— Как тебя зовут? — спросил он, садясь на корточки и разглядывая ребенка так же, как разглядывал бы мышь или ящерицу.

— Мусей ее зовут,— сказала мать.

Жмакину показалось, что он уже достаточно поговорил с девочкой; он поднялся и спросил, не пора ли уже собираться. Сговорились, что он будет ждать Клавдю на станции; вместе выходить не стоило — Корчмаренко задразнил бы потом.

— Он привяжется, так не спасешься,— сказала Клавдя, не глядя на Жмакина,— засмеет до смерти.

— Ну да,— сказал Жмакин, чтобы хоть не молчать.

Она погладила дочку по голове, потом спросила:

— Вас звать Лешей, а в паспорте написано Николай. Почему это?

— С детства Лешей звали,— спокойно сказал он,— сам не знаю почему.

Она все гладила дочку по голове.

— Ну ладно, идите,— наконец сказала она,— уже время собираться.

— Да, время.

Он побрился у себя в комнате, пригладил волосы перед зеркалом и ушел на станцию. Уже звезды просту-

пали, все было тихо вокруг, все присмирело, только снег едва поскрипывал под ногами.

Жмакин шел, потряхивая головою, чтобы не думать ни о чем. А вдруг он встретит Лапшина в театре? Или Окошкина? И, усмехаясь, он представлял себе, как все это будет выглядеть в глазах Клавди. Но ему совсем не хотелось усмехаться. Он вздохнул, сплюнул. В калитке показалась кошка, видимо, хотела перебежать дорогу. Он крикнул на нее, хлопнул в ладоши и побежал вперед сам, чтобы она не успела, потом оглянулся и обругал ее, уже сам стыдясь позорного своего поведения. К тому же кошка была с белыми пятнами, так что и беспокоиться не стоило. «Чем кончится вся эта волынка,— думал он, покуривая, на станции,— когда она кончится?» Уже зажигались в домах огни. Тихо, мерно, уютно гудели в морозном воздухе провода. Он приложился ухом к телеграфному столбу, как делывал в детстве,— гудение усилилось, стало мощным, вибрирующим. «Эх, ты, Жмакин, Жмакин,— с тоскою и злобой думал он,— пропала к черту твоя жизнь, расстреляют, отправят пастись на луну. Сегодня еще переночую и завтра переночую, а послезавтра уже надо уходить, иначе возьмут. А может, не возьмут? Нет, возьмут, обязательно возьмут. И Лапшин спросит: — Ну что, брат, почудил?»

Он сжал кулаки в карманах пальто и оглянулся,— на мгновение показалось, что они уже приближаются, что они сейчас возьмут, сию секунду! Но их не было, по перрону шла Клавдя в белом беретике, в шубе с маленьким воротничком, в постукивающих ботах. От растерянности он пожал ее руку. Поезд, лязгая замерзшими буферами, остановился. Они влезли в вагон, набитый до отказа. Клавдю прижали к Жмакину. Он обнял ее одной рукою, она робко взглянула на него, но ничего не сказала. Их слегка покачивало, свечи едва мерцали в грязных фонарях, пахло военными шинелями, духами, пивом, вагоном. Жмакин поглядел на нее сверху — она точно бы дремала.

— Клавдя! — негромко позвал он.

Она опять робко на него поглядела и медленно улыбнулась. «А что, если ей все сказать,— подумал он,— сказать как, почему? И со слезой? Пожалобнее».

— В какой же театр поедем? — спросила она.

— В любой,— сказал он с таинственной интонацией в голосе,— в какой хочешь.

— Ах ты, Леша-Николай,— ответила она и сильно, с ловкостью высвободилась из его руки. Выражение ее лица было по-прежнему робким.

Нужно еще было придумать, в какой театр пойти. Он не знал театров, а у Клавди спрашивать, казалось, не следовало.

В Мюзик-холле уже не было мест. Театрик в «Пассаже» показался им обоим скучным, а Жмакину очень хотелось, чтобы это их посещение театра оказалось праздничным и как можно более шикарным.

Возле «Пассажа» на улице Ракова они постояли, подумали. Клавдя улыбалась. Жмакин хмурился.

В Михайловском тоже не было билетов. Жмакин долго приставал к кассирше и лгал, что приезжий, но кассирша даже не слушала, пила в своем окошечке чай и разговаривала по телефону. Клавдя все улыбалась, глядя на Жмакина.

У бывшей Думы Жмакин нанял такси, и они поехали в Мариинский театр. Клавдя сидела в уголочке, глаза ее непонятно блестели. Жмакин подвинулся к ней совсем близко и со зла обнял ее тем привычным жестом, которым обнимал уже многих девок в своей жизни. Она ничего не сказала, отодвигаться ей было некуда,— единственное, что она могла сделать, это дать ему по морде, но она этого не делала. Свободной рукой он погладил ее по колену и немного выше — там, где кончается чулок. Юбка была из тонкой шерсти, и он ясно чувствовал конец чулка, потом гладкую кожу, потом резинку трусиков.

— Пусти-ка,— сказала она.

Он с трудом оторвал руку от ее колена, она что-то поправила, резинка щелкнула, и такси сразу остановилось. Это был Мариинский театр. Расплачиваясь с шофером, он внезапно вспомнил, что здесь года четыре назад брал в угловом доме квартиру и что дело оказалось хорошим — легким и удачным. Он посмотрел на дом. Отсюда были видны два угловых окна на третьем этаже.

Он улыбнулся, забыв про Клавдю и про театр. Три шубы взяли, пять костюмов, нажрались шоколаду...

Ах, шоколад мой американский,
А я Гаврюшенька Таганский,
Гаврюшку шлепнули, а я остался.
Не плачь, Гаврюшка, что ты попался.

Жмакин вздохнул, они вошли в театр. Старая женщина в башлыке продавала два билета.

Ах, шоколад мой американский...

— Был у меня товарищ,— сказал он Клавде,— Гаврюшкой звали... Такой деловой парень...

Она молча и деловито снимала шубу, разматывала пуховый платок. Щеки ее были розовы с холоду, глаза блестели, и пахло от нее морозом.

— Ну?

Он взял ее под руку и крепко прижал к себе. Она засмеялась.

— Ну что ты говорил про Гаврюшку,— спросила она,— досказывай.

— Не хочу. Сдох — и баста.

Жмакин тоже улыбался. Они зачем-то подымались по лестнице, хотя места были в партере. Их обогнал человек в гимнастерке военного образца, в сапогах с узкими голенищами. На бегу он обернулся, и Жмакин замер. Это был Окошкин.

— Чего ты? — спросила Клавдя.

Он молчал. Сапоги поскрипывали уже совсем наверху. Или не Окошкин? Если Окошкин, почему без портупеи?

— Чего ты? — дергала за локоть Клавдя.

— Паренек один знакомый,— почти спокойно сказал он,— давно знакомый. Погоди! — быстро добавил он.— Постой здесь!

И побежал по лестнице, оставив Клавдю внизу. Он должен был знать, Окошкин это или нет. Обязательно. Если Окошкин... Но что, если? Что он может сделать? Уйти? Да, конечно, уйти. Но что сказать Клавде? Леший с ней, не все ли равно! Да, но что ей сказать? Черт ее не возьмет. Но все-таки, что же ей сказать? «Клавдя, — скажет он, — понимаешь какое дело». — «Какое?» — «Это Окошкин». Уши совершенно как у него прижаты. Нет, вовсе даже в штатском! А этот с пробором? Нет, это другие. А вот тот, что обогнал на лестнице...

Он продирался сквозь людей, сквозь надушенную, праздничную театральную толпу. Он непременно должен был знать, Окошкин то был или не Окошкин. Вот тот, который обогнал его на лестнице, с таким носом — Окошкин? Еще одна лестница. На бегу он сунул голову

в ложу. Здесь лежали шубы, не в самой ложе, а в комнате за нею. Две дамские шубы и каракулевая жакетка. Эх, Клавде бы такую жакетку! Он услышал бой сердца и звонок, наверное уже не первый звонок. Из ложи доносились голоса, театр шумел и сверкал,— Жмакин все еще разглядывал круглые пуговицы жакетки. Потом немножко поднял голову. Голые спины женщин и опять театр, противоположная сторона — ложи и часть партера... Какая-то дамочка смеялась маленьким круглым ртом. Взять? Он сделал легкое движение к жакетке, даже не само движение, а начало его, просто сократились мускулы, приготовившись к движению. Зекс! А если Окошкин? А куда потом деть жакетку? На номер? Зекс, Каин! Он вынул голову из приоткрытой двери, огляделся... Нет, нельзя, нельзя. Коридор уже почти совсем опустел. Старик в галунах смотрит. Нельзя. Он пошел по коридору развинченной походкой — так он любил ходить в минуты особого душевного напряжения. И кто был этот человек в сапогах — Окошкин или нет? Клавдя по-прежнему стояла на лестнице, лицо у нее было растерянное. Он подошел к ней вплотную, увидел ее лоб, ее подбритые брови, ее волосы. Уже совсем пусто было вокруг, только одиночки торопливо пробегали в зал. Теперь он заметил, что лицо у Клавди вовсе не растерянное, а испуганное.

— Все в порядке,— сказал он,— слышь, Клавдинька.

Он в первый раз ее так назвал, и она еще больше испугалась.

— Ну тебя,— сказала она,— дурной!

Взяла его под руку, и они пошли в зал. Дирижер уже стоял за пультом и стучал палочкой. На них шикали. Жмакин огрызнулся на кого-то и наступил на ногу лысому бородатому человеку. Блестели красные пожарные лампочки. Пахло духами, людьми, мехом, краской, клеем. Все шелестело вокруг. Занавес дрожал. Все застывало, напрягалось, приготавливалось для ожидания. Гремела увертюра. Жмакин никуда не смотрел — он закрыл глаза. Наверное, полчаса протянется первое действие. За это время никто не возьмет. Это время можно сидеть спокойно. Можно думать. Можно слушать. Сейчас петь начнут. Можно Клавдю за руку взять. Это время Окошкин тоже не двигается. Слушает, смотрит. Может, глаза закрыл, жаба! Погоди, дай срок, разочтемся на узкой дорожке.

Он сжал Клавдину руку. Тореадор, Тореадор! Дай срок, дай срок! Он вдруг подумал о кокаине — как было бы хорошо сейчас, и все забыть, к черту совсем. Он еще сильнее сжал руку Клавди. Рука была влажной, теплой, и шея Клавди была совсем близко, и вся она становилась с каждой секундой все покорнее и покорнее, а он все больше делался хозяином. Что она, жалеет его или боится, что он пьян, что скандал подымет? Он почувствовал необходимость выяснить все сразу и нагнулся к ее уху, но ничего не выяснил и только сказал:

— Клавдинька!

Она не ответила, но он по ее лицу понял, что она слышала. А на сцене что-то творилось, все пели вместе, и женщина с цветком в волосах красиво и ловко танцевала.

В антракте он никак не мог решиться — что делать: то ли остаться на своем месте в зале, то ли выйти в фойе. И там и тут его мог увидеть Окошкин и взять. Потом он решил, что все равно — возьмет или не возьмет, но это должно так случиться, чтобы Клавдя не видела, и поэтому он отделался от Клавди и пошел по фойе один, стараясь глядеть всем прямо в глаза,— будь что будет. Народ гулял по кругу, Окошкина здесь явно не было. Тогда Жмакин пошел в буфет и у стойки выпил несколько рюмок водки и коньяку и даже вина. Он очень волновался и все думал, что же будет с номером от пальто, если его возьмут. Потом решил, что умолит Окошкина разрешить оставить номер на вешалке.

— Еще стопку,— сказал он буфетчице и поглядел на нее так, как если бы она была Окошкиным.

Буфетчица налила.

Он выпил, расплатился и, поеживаясь, встал в сторонке. Ему сделалось совсем невыносимо. Ах, если бы кокаину или морфию! Поеживаясь, сунув руки в карманы штанов, он отправился бродить по театру и сразу же у двери буфета увидел Клавдю в целой компании девушек и парней. Пройти мимо уже было нельзя, потому что Клавдя увидела его и позвала, и ему пришлось подойти. Девушки и парни были с той фабрики, на которой Клавдя раньше работала, и все они с любопытством оглядывали Жмакина. Одна девушка что-то сказала другой, когда он подходил, наверное про него, и обе засмеялись. Какой-то парень, веселый, с плутовским лицом, глядел на Жмакина очень неодобрительно. Клавдя

стала знакомить Жмакина со всеми и сама покраснела. Он вынул одну руку из кармана, но так же сутулился и за все время разговора ничего не сказал. Они все стояли у двери в толпе, и тут должен был пройти Окошкин — взять Жмакина на глазах у всех. «Не дамся,— вдруг подумал он,— зарежусь и его порежу. И сам зарежусь и его...» Он попробовал в боковом кармане нож. Толпа все шла и шла, и было много людей с гладкими волосами, блондинов, как Окошкин, и каждую секунду Жмакин готов был уже вынуть нож и ударить Окошкина — правой рукой от левого плеча наотмашь под дых — насмерть.

Я жулик и карманник
И очень веселый молодец,
Но, к моему сожалению,
Мне приходит конец.

Окошкин не шел. Клавдя что-то рассказывала своим подругам и вся разрумянилась, но глаза ее то и дело с беспокойством останавливались на Жмакине. Наконец зазвонил третий звонок. Побежали. На бегу она спросила, что с ним делается.

— Ничего,— сказал он,— ничего, Клавдинька.

Впереди было еще самое меньшее полчаса. Это казалось ему очень много. Он опять взял Клавдю за руку и сел к ней поближе; она была разгоряченная, от нее шло спасительное райское тепло, а он мерз и все время чувствовал нож в боковом кармане. Он прижался к ней совсем близко и чувствовал рукой ее грудь, ее тело, тело матери — большое, чистое, горячее.

— Послушай-ка, Клавдинька,— прошептал он ей и ничего больше не сказал, показалось, что это уже все.

Потом он с опаской стал ждать конца действия. Он ничего не понимал из того, что происходило на сцене, но ему казалось, что, как только все запоют вместе и оркестр очень громко заиграет, действие кончится.

Назад они ехали тоже в такси, и не до вокзала, а до самой Лахты. Было очень холодно. Шофер попался старый и рассерженный. Тотчас же за лесопильным начало сильно трясти, расхлябанный автомобиль так грохотал, что говорить сделалось решительно невозможно. Клавдя сидела в уголку, поджав ноги и глядя на прыгающие за слюдяным окном снега, на желтую луну, на убегающие назад огни города. Жмакину было плохо. Он закрыл глаза, спрятал руки в карманы, надвинул кепку

поглубже. Несомненно, он вел себя глупо, глупее глупого. Клавдя подозревала. Зачем он швыряется деньгами? Вот нанял такси и заплатит рублей сорок, никак не меньше. Что она думает о нем, сидя в углу? Он покосился на нее уже враждебно. Или накупил в магазине вина и закусок и дорогих невкусных папирос. И сыру, которого терпеть не может. Зачем? Корзина стояла в ногах, он слегка уперся в нее носком сапога, ее легко раздавить. Автомобиль вдруг стал точно приседать на левую сторону, потом остановился. Шофер велел вылезти. Клавдя уронила перчатку и нагнулась, чтобы ее поднять. Шофер прикрикнул.

— Что? — спросил Жмакин.

— Поторопиться прошу,— сказал шофер, сбавляя тон.

— Просишь? — спросил Жмакин.

— Так точно, прошу,— роясь в инструментах, сказал шофер.

Жмакин ему нарочно не помог менять резину.

— Мы пойдем,— сказал он,— а вы нас догоните.

И, крепко взяв Клавдю под руку, пошел. У столбиков Клавдя неожиданно и тяжело на него оперлась. Попрежнему она даже не взглянула на Жмакина. Они шли молча. Да и о чем им было говорить? Он спросил у нее, холодно ли ей. Она сказала: «Да, немножко холодновато». Но когда он предложил ей свой теплый шарф, она отказалась. Он старался вести ее побыстрее, чтобы она не очень застыла, но она точно упиралась.

— Устала? — спросил он.

— Нет,— не сразу ответила Клавдя.

Наконец машина догнала их. Они опять сели. Он вдруг почувствовал, что Клавдя дрожит.

— Ну вот,— сказал он,— видишь, теперь простудишься.

Он поднял повыше ей воротник, застегнул пуговицу у горла и обнял ее за плечи. Она прижалась к нему, и он почувствовал, что она вовсе не дрожит, а что плечи ее вздрагивают, что она плачет. С беспокойством, со злобой и с жалостью — на него всегда слезы женщин так действовали — он спросил ее, что с ней. Она не отвечала. Потом высвободилась от него, вытерла лицо перчатками, высморкалась и опять стала смотреть в прыгающее слюдяное окошко. Жмакин молчал, ничего не понимая. Так они доехали до дому. Пока он расплачи-

вался с шофером, она отворяла двери своими ключами. Он поднялся в мезонин. В печке еще тлели уголья. Он подбросил дров, засветил лампу, сел на постель не раздевшись, почувствовал себя очень усталым. Клавдя ходила внизу, умывалась, он слышал плеск воды в кухне и бренчание рукомойника. Потом зашла к нему. Он встал ей навстречу. Она сильно напудрилась и переоделась в домашнее застиранное платье с пояском на пуговках. На плечах у нее был платок.

— Застыла?

Она молча улыбалась. Он подошел к ней вплотную, напряженный, измученный до той черты, за которой начинается сумасшествие, поглядел на нее, потом сказал:

— Давай покушаем.

Она ответила:

— Давай.

Села, сбросила с одной ноги туфлю и спрятала ногу под себя. Он снял пальто, расставил на столике еду, налил водки в розовую чашку, но Клавдя пить не стала.

— И ты не пей,— сказала она, отодвигая от него чашку.

Но он выпил и эту чашку и еще две. Он очень волновался. Ему все время казалось, что Клавдя встанет и уйдет.

— Ты не скучай,— говорил он ей,— ты кушай. Ты не смотри на меня, что я не кушаю, я когда пью, я не могу кушать. На-ка, съешь яблоко.

Она не ела и улыбалась.

— Что ты улыбаешься,— спрашивал он раздраженно,— чего нашла смешного?

— Так,— отвечала Клавдя.

Водка согрела его, он раздражался все больше, ему не нравилось, что Клавдя улыбается.

— Ничего смешного,— говорил он, наливая в чашку портвейн,— на, выпей.

— Не хочу.

— Дамское же, сладенькое.

— Не буду.

— Тогда я выпью.

— Пей, если дурной.

Он выпил сладкое противное вино и закурил папиросу. Он косил немного. Алкоголь сделал его вдруг настороженным, подозрительным.

— Ты за мной не следи,— сказал он,— не следи, что у меня много денег. Я на транспорте премию получил и теперь гуляю. Как ты считаешь,— могу я гулять на премию?

Клавдя перестала улыбаться.

— Можешь, Коля,— сказала она твердо.

Он взглянул на нее, ему показалось, что она издевается над ним,— почему Коля? И встретился с ее глазами. Теперь он вспомнил, почему Коля.

— А как твоего мужика звали,— спросил Жмакин,— которого ты метлой? Как его звали?

— Алексеем. Лешей.

Он засмеялся и покрутил головой. Клавдя сидела серьезная, кутаясь в платок.

— Дочка спит?

— Спит.

— А мы гуляем,— сказал Жмакин,— верно? Все спят, а мы гуляем. И дочка спит, и гражданин Корчмаренко спит, и Женька спит. А у нас жизнь вся в огнях.

— Где же ты огни увидел? — спросила Клавдя.

— Все в порядке,— сказал Жмакин,— все, Клавочка, в порядке.

Она внимательно на него посмотрела, потом вздохнула.

— Пьяненький?

Встала, подошла к нему, взяла его за волосы и отогнула ему голову слегка назад.

— Псих ты,— медленно говорила она,— что ты за человек такой? Пьяный, совсем пьяный. . .

Он закрыл глаза. Ему сделалось легко, немного качало.

— Клавдя,— сказал он, опять открыв глаза,— Клавдинька. . .

Ему захотелось плакать. Она гладила его по лицу, потом он почувствовал, что она целует его мягкими, горячими, раскрытыми губами в щеки, в переносицу, в висок.

— Клавдя,— говорил он тихо и покашливал,— Клавдинька, выходи за меня замуж. А? Я тебя с дочкой возьму. И поедем куда-нибудь. На линию.— Он вспомнил это слово и убежденно его повторял.— На линию поедем. А? И на линии, знаешь? Устроимся. Чего тебе здесь?

Он налил себе еще из бутылки и выпил, потом протянул Клавде яблоко.

— На.

Она взяла, смеясь.

— Ешь.

Она откусила.

Жмакин потирал лицо ладонью. Мысли разбегались, он не мог их собрать.

— Я, Клавдя, напился,— сказал он,— но это ничего не значит. Все будет в порядочке... Выйдешь за меня?

— Нет,— сказала она серьезно.

— Почему?

— Не выйду,— сказала она,— ты пьяненький и болтаешь пустяки разные. Иди лучше спать ложись, и я пойду. Ночь уже.

— Ты не пойдешь,— сказал он.

— Почему?

— Ты здесь ляжешь.

Он поднялся и с трудом подошел к ней. Она молчала. Жмакин неловко обнял ее за шею и поцеловал в горячий рот.

— Клавка,— сказал он,— живо!

— Не дури,— строго ответила она,— сумасшедший! И отошла к печке. Он смотрел, как она швыряла дрова в огонь, как заглянула — хорошо ли горят, как поднялась и поправила платок на плечах. Он сел на постель. Его раздражало Клавдино спокойствие, ее уверенность, неторопливые и плавные движения.

— Поди сюда,— сказал он.

Она подошла. Кровать была невысокая. Жмакин, не вставая, обнял ноги Клавди выше колен. Она уперлась ладонями в его плечи. Он уже ничего толком не соображал, но она все же вырвалась от него и прикрутила фитиль в керосиновой лампе, потом дунула в стекло. Сразу обозначился серебристый квадрат окна. В комнате стало теплее и тихо сделалось так, что Жмакин услышал, как Клавдя расстегивает на себе какие-то кнопки. Одна не расстегнулась, и Клавдя дернула материю с такой силой, что материя разорвалась. Он сидел в той же позе, упираясь руками в колени и глядя в темноту, туда, где, вероятно, раздевалась Клавдя. Она сбросила туфли. Потом он услышал шелестящий, легкий звук снимаемых чулок. Потом что-то стукнулось едва слышно,— вероятно пряжка от подвязки, и тотчас же

Клавдя оказалась перед ним, но он ее не увидел, она встала на кровать, отбросила ногой одеяло и легла, закрывшись до горла.

— Ну,— сказала она,— Коля!

Он разделся и лег с ней рядом, не веря всему тому, что произошло, и немножко уже презирая Клавдю, как привык презирать тех женщин, которые ему отдавались.

— Коля,— говорила она едва слышным шепотом и целовала его в грудь, в шею, в плечи.

Он слышал и не слышал чужое имя, которое она произносила, видел и не видел ее белое, искаженное лицо. Потом она замолчала. Глаза ее раскрылись и вновь закрылись. С каждым мгновением все ближе становилась она ему. Она была близка и дорога ему даже тогда, когда все совершенно исчезло, когда исчез он сам,— она существовала. Он был уже трезв. Ни о чем не думая, легкий, невероятно счастливый, он целовал ее плечо еще дрожащими губами. Потом он закрыл глаза. Он не был более одинок. Сердце его билось все ровнее и спокойнее, он лежал навзничь, вытянувшись, и чувствовал себя и сильным и добрым — таким, за которым не страшно.

Клавдя вдруг приподнялась на локте и наклонилась над ним. Ее волосы коснулись его лица. Она дышала горячим открытым ртом, он не видел ее, но понимал, что она прекрасна, и обнял ее за шею обеими руками. Он не поцеловал ее, а только прижал ее лицо к своему и заснул так мгновенно, на секунду, и так же проснулся — с тем же чувством легкого и милого счастья. Она принадлежала ему, а он все не мог поверить этому. Она понимала это и, ничего не говоря, без слов, сама собою доказывала ему, что он не прав, что она вся здесь, что больше ничего не остается, что ничего решительно не скрыто от него, что он единственный и настоящий хозяин. Непонятным своим женским чутьем она угадывала, что ему неприятно имя Николай, и перестала его так называть. Он был горд, зол и одинок, и, несмотря на жалость к нему, она ничем не показала, что жалеет его и понимает, как ему плохо.

Так прошла почти вся ночь. Под утро Клавдя встала, накинула на голое тело платье и босиком пошла вниз посмотреть на дочку. Дочка спала с бабушкой, и там все было благополучно. Клавдя вернулась, но Жмакин не мог ее отпустить, и она опять легла к нему. Он был

теперь не одинок, так казалось ему порою, но тотчас же он чувствовал себя таким одиноким, каким никогда еще не был. И это чувство одиночества возникало из-за Клавди, из-за того, что он все ей лгал и думал, что она верит его лжи. А она не верила, но не смела сказать, что не верит, чтобы не оскорбить его или не напугать,— он был еще далек ей, хоть она и знала, что он будет ей близок, что он раскроется, что она заставит его все рассказать, и если это рассказанное окажется плохим, то она заставит его все переменить. Огромная сила любви и нежности к нему могла сокрушить горы, и Клавдя уже ничего решительно не боялась; нужно было только немного выждать, и все тогда наладится, и все будет превосходно, отлично. Она знала, что он счастлив с нею и благодарен ей и удивлен, что такое бывает на свете,— у него еще не было своей женщины, своей любви,— что это только сейчас ему открылось, что он плохо верит всему этому. «Ничего,— думала она, целуя его и разглаживая ему волосы и глядя в его зеленые, потерянные сейчас глаза,— ничего, все будет иначе, все будет лучше, все будет прекрасно»...

Она ушла, когда уже рассвело,— ослабевшая, со звоном в ушах, счастливая. Она оставила его спящим. Он лежал навзничь, его рот был полуоткрыт, светлые, тонкие волосы спутались. Она укрыла его одеялом по голую татуированную грудь, поплакала немного и пошла.

Днем она его кормила. Дом был пуст, все разошлись — Корчмаренко на завод, Женька в школу, старуха уехала в город за мясом. Жмакин и Клавдя остались вдвоем.

Он еще спал, пока она жарила ему большую сковороду картофеля. Она начала жарить вчерашний вареный картофель целиком, но потом передумала и, обжигая пальцы, порезала каждую картофелину на ломтики, так чтобы жареные ломтики были тонкими и рассыпчатыми. Почистила селедку, посыпала ее резаным луком и заправила постным маслом с горчицей. Приготовила чай, наколола сахар. Вынула из горки розовую скатерть, покрыла стол и пошла наверх будить Жмакина. Солнце светило ему в лицо, но он спал.

Они сидели за столом друг против друга, и им совершенно нечего было сказать друг другу. Жареный карто-

фель еще шипел на сковороде. Голова у Жмакина была мокрая. Он ел, опустив глаза, держал ломоть хлеба у подбородка — по-крестьянски. Она украдкой поглядывала на него, и он на нее, но оба по-разному. Она была в клетчатом стареньком платье, немного севшем от стирки и обтягивающем, и он видел ее широкие плечи и высокую грудь, а когда она выходила на кухню, он видел ее прямые уверенные ноги с узкой ступней и ее бедра и не мог поверить, что она была с ним в одной постели и принадлежала ему, и была раздета, и он мог делать с ней что ему вздумается. Клавдя же, глядя на него, была решительно убеждена в том, что произошло, и видеть его ей доставляло радость, потому что он ей принадлежал и потому что она решительно все помнила, даже такие подробности, которые помнят и могут помнить только очень любящие женщины; ей доставляло радость видеть его еще и потому, что он был смущен и неуверен и даже растерян сейчас, а все это были признаки любви, потому что если бы он ее не любил, то зачем было бы ему теряться от звука ее голоса, или не поднимать на нее глаз, или отвечать на ее вопросы невпопад.

Он пил много чаю и между глотками размешивал ложечкой в стакане, куда он забыл положить сахар. Она сказала ему об этом, он ничего не ответил. Потом ушел к себе наверх и долго ходил там из угла в угол, а Клавдя слушала — сидела в своей комнате на полу, на лоскутном Мусином коврике, и напряженно вслушивалась, ни о чем не думая, только представляла его себе.

Уже под вечер он спустился из мезонина и вышел на крыльцо. Она выскочила за ним без пальто, даже без платка. Морозило, и небо было красное, предвещавшее стужу. Жмакин стоял на сложенных у крыльца столбах и курил. Небо было такое красное, что походило на пожар, и рядом за забором что-то визжало так, что Клавде вдруг сделалось страшно.

— Николай! — крикнула она.

Он услышал и подошел. Пальто на нем было расстегнуто, он косил и вдруг неприятно и коротко улыбнулся.

— Свинью бьют,— сказал он и кивнул на забор,— бьют, да не умеют... Вот она теперь убежала и блажит...

Он говорил, не глядя на нее, и она поняла, что он пьян.

— Напился,— сказала Клавдя с укоризною,— один напился! Стыд какой!

Она дрожала от холода и от обиды. Неужто ему так худо, что он напивается в одиночку?

— Пойдем,— сказала она,— ляжь! Я тебя уложу! Куда ты такой...

Жмакин засмеялся.

— Я свободная птица,— сказал он,— меня на сало нельзя резать. Куда хочу, туда лечу. А ты иди в дом, застынешь!

Он легонько толкнул ее, и она увидела в его помертвелых от водки глазах выражение страдания.

— Пойдем, ляжешь, Коля,— дрогнувшим голосом сказала она,— пойдем, Николай.

Она взяла его за руку, но он вырвался и зашагал к шоссе. Не раздумывая ни секунды, Клавдя вернулась в дом, надела шубу, повязалась платком и побежала за Жмакиным по шоссе. Он шел к станции, черная маленькая фигурка на сверкающем багровом закате, слишком свободно размахивал руками и был до того несуразен и жалок, что Клавде показалось, будто у нее разрывается сердце от сострадания к нему. Несколько раз она его окликнула, но он не слышал, все шел вперед. Наконец она его догнала, совершенно уже задыхаясь, и схватила за рукав. Он лениво улыбался. От морозного ветра его искалеченное севером лицо пошло пятнами.

— Пусти! — сказал он.

Клавдя молчала, задыхаясь.

— Пусти! — повторил он, потряхивая рукою.

Мимо проезжал обоз — сани, покрытые рогожами, скрипя полозьями, тащились к Ленинграду.

— Посторонись,— сказал Жмакин Клавде и, схватив ее за руку, отодвинул в сугроб, иначе лошадь ударила бы ее оглоблей.

Клавдя посторонилась и еще раз почувствовала, какой он сильный, Жмакин, какие у него сильные пальцы, и все вспомнила. Она еще задыхалась от бега по шоссе и от ветра, хлеставшего в лицо, у нее звенело в ушах, а тут скрипели полозья, и они оба, и Клавдя и Жмакин, стояли в сугробе, и он мог уйти и пропасть. Она знала, что без нее теперь он может пропасть, она должна была его не пускать, пока все не образуется, она не знала —

ни что могло образоваться, ни как его удержать, у нее не было таких слов, которые бы его удержали, но она непременно должна была его удержать, и она его держала просто рукою, вцепившись в него, и говорила:

— Ты не ходи, Николай. Ну зачем тебе в город? Чего ты там потерял? Ты же пьяный. Гляди, едва ноги держат. Пойдем домой, ляжешь. Выспишься, а там видно будет. Но только сначала выспись. Нельзя пьяному. Слышь, Коля!

Она теребила его, стоя в сугробе и чувствуя, как мокнут чулки, и никуда не шла, хотя обоз уж давно проехал, боялась просто переменить позу, боялась выпустить его рукав из своих замерзших пальцев, боялась, что он отвернется и, не видя уже ее лица, уйдет и исчезнет навсегда.

— Не ходи ни за что,— говорила она,— ты же скандальный, еще напьешься, скандал устроишь и попадешь в милицию.

— В милицию? — спросил он.

— Да, в милицию,— говорила она,— и протокол там на тебя напишут...

— Протокол,— вдруг перебил он ее и близко взглянул ей в лицо,— протокол...

— Да, протокол,— говорила она, думая, что напугала его,— протокол именно напишут и перешлют на работу, на твой транспорт...

— Дура ты, дура,— тихо и почти ласково сказал Жмакин,— чем меня пугаешь, чем меня на пушку берешь...

Он глядел на нее трезвыми глазами, и только лицо его, покрытое пятнами, было пьяно, в испарине, напряжено, измучено.

— Хочешь, я тебе все скажу? — спросил он быстрым шепотом.

— Не надо! — так же быстро и испуганно сказала она.— Ничего мне не говори.

— Я — вор! — сказал он, глядя в упор на Клавдино внезапно застывшее лицо.— Я вор-рецидивист, слышишь, у меня судимостей несчетное количество, меня давно расстрелять пора к чертовой матери, слышь, Клавдя?!

Он видел, как она бледнела, и мысль о том, что эта женщина, единственная, которую он любил в мире, сейчас повернется и уйдет и сама выбросит его вещи из комнаты,— мысль эта доставляла ему такую острую

боль и вместе с тем такую радость, которой он в своей жизни еще не испытывал. Он знал, что сейчас начнется у него последнее в жизни одиночество и что с уходом Клавди у него не будет никакой ответственности ни перед кем, что в сегодняшнюю ночь он натворит таких дел, которые не снились никаким Лапшиным за всю их многолетнюю практику, что он совершит нынче любое убийство — двойное или тройное, как пишут в протоколах, что он заплатит за свою собачью жизнь, за свою смерть и за то, что Клавдя ему принадлежала и перестала принадлежать, за все унижения, и за голод, и за тюрьмы, и за побеги, и за своего мерзавца отца, и за мать-потаскуху, за все и как следует, сполна.

И те слова, которые он сейчас говорил Клавде, были началом его расплаты с людьми, вытолкнувшими его из своей среды, он сейчас ничего не стеснялся, не кокетничал, и не позерствовал, и не играл. Он был тем, чем был на самом деле, он был вором-рецидивистом, много раз судившимся, человеком надломанным и надорванным, он уже ненавидел Клавдю,— она в эти несколько секунд с момента его сознания стала ему врагом, как все те, которые знали, кто он на самом деле, и он ей говорил, как своему врагу, да еще такому, которому правдой можно только досадить.

Они всё стояли на дороге. Солнце уже догорело, и ветер потрясал деревья, с них сыпался снег. Были синие, холодные, ветреные сумерки. Мимо очень быстро проехала красивая легковая машина, освещенная внутри, и Жмакин с ненавистью взглянул ей вслед — в затылки людей, едущих в машине, и опять стал говорить Клавде про себя и про нее, и так как говорить ему было, в сущности, уже нечего, то он вдруг стал бранить Клавдю и издеваться над ней, а она все слушала и только изредка бормотала едва слышно:

— Что ты говоришь, что ты говоришь, ну как тебе только не стыдно. . .

Ему было очень стыдно, и только поэтому он мог говорить ей о том, что она легла с ним в постель, рассчитывая заработать на нем как на премированном, загулявшем молодом парне.

— Да не вышло,— говорил он срывающимся голосом,— не вышло, дорогая. Впуталась только в грязную историю. Вот начнут тебя катать по розыску, узнаешь, почем фунт лиха. Ко-оля, Нико-ола! — кричал он исступ-

ленным голосом, передразнивая Клавдю.— А какой я к чертям собачьим Коля, когда я всю жизнь Алешкой был. Заработала на Коле, убила бобра, стерва... В театр ее води, сушки ей разные... Может, тебе туфли купить,— спрашивал он,— или шубу? Жмакин может, у него деньги, слава господу, не казенные...

Она плакала. Из ее широко открытых глаз катились слезы, и она не смахивала их и не вытирала, а все глядела ему в лицо с выражением ужаса и сострадания.

— Ну чего? — спрашивал он.— Чего ревешь? Обидели? На любимую мозоль наступили? Все вы бабы...— Он назвал слово, и ему этого показалось мало, он еще уродливо и длинно выругался и опять крикнул, кто она, Клавдя, и кто все женщины, а затем стал убеждать Клавдю пойти с ним к милиционеру — всего только до станции, и сдать его милиционеру под расписку.

— Я не побегу,— говорил он,— ей-богу, не побегу, никак не побегу, а тебе безопаснее. В случае чего записочку — все в полном порядке. Еще похвалят, коробочку пудры подарят, будьте любезны за здоровье преподобного Жмакина. Ну, веди,— кричал он,— веди меня, давай, показывай сознательность!..

Он толкнул ее в плечо и дернул за шубу и за конец головного платка, но она не шла, смотрела на него с тем же выражением ужаса и сострадания в глазах.

— С ума ты сошел,— сказала она, почти не разжимая рта,— ну куда я тебя поведу, куда?

Он молчал, потрясенный интонацией ее голоса,— она точно не слышала всего того, что он ей рассказал о себе.

— Ладно,— сказал он,— иди, и я пойду.— Он почувствовал себя вдруг очень усталым.— Иди домой, а я уеду.

— Куда ты уедешь?

Клавдя подошла к нему совсем близко и взяла его пальцами за лацканы пальто.

— Куда ты поедешь,— во второй раз спросила она,— воровать поедешь?

Он молчал.

— Я тебя не отпущу,— сказала она совсем ему в лицо,— тебя из дому не пущу, понял?

Она дернула его за лацканы, и он увидел ее глаза совсем близко от себя. Она дышала часто, и слезы все еще катились по ее щекам.

— Лешка ты, или Николай, или черт, или дьявол,— говорила она,— ты мне все скажешь, и я за тобой в лагерь поеду, а сейчас я тебя никуда не пущу. Слышишь? И не ты будешь меня выбирать, а я тебя выбрала, понял, и теперь ты от меня никогда не уйдешь, а если уйдешь, так я найду, понял? Я тебя выбрала,— повторила она со страшной силой,— и я знала, что ты мне врешь, и я все понимаю, почему ты кричал сейчас, и все равно тебя не пущу; вот если убьешь, тогда уйдешь. Ну пойдем,— говорила она и тянула его за собой по дороге,— пойдем, дай руку, я тебя за руку возьму, ты же пьяный, погляди на себя, какой ты... Ну иди же, иди, не упирайся...

В ней точно что-то прорвалось, и она, доселе молчаливая, сейчас говорила, не переставая ни на секунду, и тянула его за собою и в то же время прижималась к его плечу, и заглядывала ему в глаза, и даже смеялась, но слезы все текли из ее глаз, и спазмы порою прерывали голос.

Так, почти силой, она довела его до дома и проводила наверх в комнату, сняла с него, обессилевшего, пальто, шарф, кепку, уложила его и еще что-то кричала вниз веселому Корчмаренке, и голос у нее был такой, будто ничего, в сущности, не произошло.

Клавдя опять была у Жмакина. Ночь кончалась, наступало утро. Клавдя, измученная, уснула. Жмакину захотелось пить. Голый, в одних трусах, он спустился ощупью из мезонина, пробрался в кухню, разыскал ковшик и зачерпнул воды из бочки. Он пил жадно и медленно, ковшик был неудобный, вода проливалась и текла по голой груди, по животу. Ему сделалось холодно, он повесил ковшик и вышел из кухни. В передней стоял Корчмаренко. Огромный, он одной рукой поддерживал сползающие кальсоны, в другой у него была свеча. Он был всклокочен и, видимо, выскочил из своей комнаты, заслышав скрип ступеней. «Сейчас врежет»,— спокойно подумал Жмакин и крепче уперся в пол ногами, приготовляясь к драке. Но Корчмаренко не двигался с места и не проявлял даже никаких признаков раздражения. Потом он сунул толстую руку за ворот рубашки и с хрустом почесался. Жмакин моргал. Узкое красное пламя свечи слепило его.

— Ну? — спросил Корчмаренко.

— Чего ну?

— Выбрала? — Корчмаренко кивнул головой на лестницу мезонина.

— Чего выбрала?

— Пошел чевокать,— опять почесываясь, сказал Корчмаренко,— другой бы батька на моем месте так бы тебя шмякнул, а я, видишь? Добродушный.

Жмакин молчал.

— Хочешь пива выпить? — спросил Корчмаренко.— У меня есть пара бархатного...

Жмакин наконец перестал моргать и уставился на Корчмаренку. Но тот внезапно повернулся спиною и, шлепая огромными, немного вывороченными ступнями, пошел в комнату.

— Иди! — сказал он, не оборачиваясь.— Иди, потолкуем.

Жмакин пошел. Корчмаренко зажег керосиновую лампешку, вынул из буфета пиво и разлил в два стакана. Подавая стакан Жмакину, он взглянул ему в глаза, потом оглядел все его крепкое, мускулистое тело и сурово сказал:

— Ничего бычок, подходящий.

И, чокнувшись, добавил:

— Я здоровье обожаю,— говорил он,— и человеческий ум за то, что он беспредельно может узнавать. Мне знаешь какой сон всегда снится? — Он наклонился к Жмакину.— Мне всегда один сон снится — будто бы гора вся в снегу и снег блестит. Эх, брат, вот это сон.— Он засмеялся и шлепнул Жмакина ладонью по голому плечу.— Пей.

Они выпили по второму стакану.

— Хорошее пиво,— сказал Корчмаренко,— верно, хорошее?

— Ничего! — сказал Жмакин.

Они помолчали. Корчмаренко сдул на пол пену со своего стакана и, не глядя на Жмакина, спросил:

— Женишься?

— Она не пойдет,— сказал Жмакин.

— Почему ж это не пойдет?

— Не хочет.

В соседней комнате сонно вздохнул Женька.

— А ты все равно женись,— сказал Корчмаренко,— слышь? Другой такой в целом мире не найти. Как мать-

покойница — жинка моя. Знаешь, какая была? — Он усмехнулся.— И вредная, и веселая, и бранилась, и песни пела. Клавку родила, и молока столько, что еще двоих чужих выкармливала. Не пропадать же молоку.

— Верно,— сказал Жмакин.

— То-то, что верно. Я через нее учиться начал, от стыда. А то я такой был байбак.

Он помолчал, опустив голову и почесываясь.

— А знаешь, как померла? Лежит, умирает, а мне так говорит: «Ты, говорит, конечно, как хочешь — можешь жениться, можешь не жениться, но лучше не женись. Разве после меня можно с какой ни есть раскрасавицей жить?» И сама смеется. Мучается, знаешь, кривится, а смеется. Характер такой. Всего и осталось, что глаза и зубы, а смеется. Все ей смешно. «Не женись, говорит, перетерпишь как-нибудь. Дров, говорит, побольше коли. А не женись. Я, говорит, тебя опоила, медведя, других таких на свете нет, как я, я, говорит, ведьма, а ты и не знал... Ну, хоть бы ты и знал, все равно бы не поверил. И если женишься, все равно погонишь через месяц или через год». И потом так вот покривилась и говорит и уже не смеется: «Я, говорит, не хочу, чтобы ты женился. Мне, говорит, очень противно и гадко даже подумать, не женись и все». И действительно, одна она такая была на целый мир. Вот теперь Клавка вся в нее. Знаешь, почему она мужа погнала? Выйти-то замуж вышла, а потом он ей сразу опротивел. Вот она его и начни гонять. И туда и сюда. А он пить, а он хулиганить. Она его и выгнала. Вот какая Клавдя моя...

Он помолчал.

— Холодно голому?

— Ничего,— сказал Жмакин,— потерпим!

— Ты на ней женись,— строго сказал Корчмаренко,— она очень сильной души девка. Не веришь?

— Верю.

— Это ничего, что я отец. Я и мужем тоже был. Я понимаю. Я, брат, тебе все с чистым сердцем говорю. Ты человек характера скрытного, да и врешь коечего, нет?

— Нет,— сказал Жмакин.

— А мне сдается, врешь, но это пустяки. Клавка лучше меня людей понимает. Она знаешь как понимает?

Она тихая, тихая, а на самом деле... Чего она — спит сейчас?

— Спит,— сказал Жмакин.

— Ну иди и ты спи,— сказал Корчмаренко,— допьем напоследок.

Они выпили еще по полстакана. Корчмаренко потушил керосиновую лампу и сказал уже в темноте:

— А как вспомню, как вспомню... Не надо было ей помирать.

Он зашлепал босыми ногами.

10

Жмакин проснулся оттого, что Клавдя глядела на него.

— Что? — спросил он.

— Пойди в милицию,— сказала она,— иди куда там надо. Скажи — явился добровольно. Ничего не таи, выложи все. Слышишь, Леша?

— Слышу,— угрюмо ответил он.

Она отвела волосы с его лба. Жмакин не глядел на нее.

— А дальше? — спросил он.

— Дадут тебе пять лет или десять,— я за тобой поеду. Я всю ночь думала. В лагерь пошлют — в лагерь наймусь. Что, там вольные не нужны? Слышишь, Лешка?

— Ты за мной не поедешь,— сказал он тихо,— не верю я тебе. Это сейчас у тебя в голове такая смесь пошла, а назавтра уже и не хватит. «Явись, явись добровольно!» — Он оттолкнул ее от себя и сел в постели.— Я-то явлюсь, меня-то запрячут, а ты — то да се, да маленький ребенок, и до свиданьица, Лешка, вам привет от Клавки. Как-нибудь обойдемся без покаяния,— коли ежели нужен, изловят и отправят по назначению.

— По какому назначению?

— На луну.

Он лег на спину и закрылся одеялом до горла.

— И не учи меня,— опять заговорил он,— перековка, то, другое. Сам сдохну. Надоели вы мне все, чтоб вас черт драл,— почти крикнул он,— ну жулик и жулик, ну вор и вор, и кончено...

— Не кончено,— крикнула Клавдя,— не кончено, дурак ты!

Она смотрела на него со злобой, с ненавистью. Губы у нее дрожали. Потом она отвернулась от него и тихо спросила:

— Ты мне не веришь?

Он молчал.

— Не веришь? — опять спросила Клавдя.

— Не верю.— Ему было трудно это сказать, но он сказал и еще повторил громко и внятно: — Не верю я тебе и никому не верю, и никогда не поверю.

— Почему?

— Потому что все сволочи и шкуры.

— А ты — хороший?

— Я жулик.

Клавдя замолчала.

— «За тобой, в лагери»,— передразнил Жмакин,— какая святая нашлась. Варвара-великомученица.

Клавдя внезапно улыбнулась.

— От дурной,— сказала она,— ну просто психопат! Оделась и ушла.

Он пролежал в постели до двух часов дня. Дом опустел. Жмакин лежал, курил, думал. В два внизу постучали. Жмакин надел штаны, сбежал вниз и с маху отворил дверь. Вошел милиционер.

— Ломов Николай Иванович здесь проживает? — спросил милиционер.

— Здесь,— сказал Жмакин,— только он вышел неподалеку. Я сейчас за ним смотаюсь. Вы посидите, погрейтесь.

Милиционер потопал сапогами и вошел в комнату. Это был рослый, очень здоровый человек с солидностью в манерах. Пока Жмакин одевался у себя наверху, он слышал, как милиционер сморкается и покашливает. Надо было еще взять деньги и паспорта — те, другие, краденые. Но тут же ему стало все равно. Он натянул пальто, прошелся по комнате и спустился вниз.

— Так я пошел,— сказал он милиционеру.

— Идите,— солидно ответил милиционер.

Жмакин отворил дверь и вышел на крыльцо. День был мягкий, пасмурный, серенький,— вчерашний красный закат наврал. Летели крупные хлопья снега. Жмакин закурил, стоя на крыльце и всматриваясь в конец улочки: нет, Клавди не было видно.

Я плейтую и плейтую,
И всю жизнь мне плейтовать,
И никто не пожалеет,
Когда буду подыхать.

На ступеньках крыльца лежал чистый снег. Жмакин медленно спускался. «Теперь подождешь Ломова,— подумал он без злобы, просто так.— Ломов не скоро к тебе явится». Клавдя не показывалась. Жмакин миновал лавку, потом вернулся и заглянул внутрь,— Клавди там не было. Он зашагал по шоссе. Оно было пусто. Все кончилось. Железнодорожные рельсы чернели из-под свежего снега. Вдали шумел поезд. Жмакин встал на колени в снег и прижался шеей к рельсу. Поезд стал еще слышнее. Он поправил колено — было больно упираться в шпалу. «Машинист увидит,— уныло подумал он,— наверняка увидит». Машинист действительно увидел его — дал два коротких предостерегающих гудка. Жмакин встал и пошел в лес. Ему казалось теперь, что он как кусок бумаги — плоский, бессмысленный, жалкий. Он шел по лесу, размахивая руками. Потом он забормотал. Первый раз он подумал про себя, что он страдает и что он несчастен. Главное, ему решительно ничего больше не хотелось: ни отомстить, ни ударить, ни напиться. Ничего. Он вдруг стал задыхаться и сел на груду валежника. Валежник был гнилой и провалился под ним, ноги нелепо поднялись в воздух, пальто зацепилось за ветки,— очень трудно было подняться. Он пошел дальше, глубже, снег засыпался в туфли. Его поразило: а Клавдя? Волна невыразимой нежности обдала его. Он вспомнил все. Он вернулся, потом опять пошел в лес, потом попал к оврагу и стал слушать: какая-то птичка попискивала. Он собрал немного рассыпающегося в руках снега и швырнул в сторону писка. Птичка все попискивала.

— Все в порядке,— сказал он, согревая дыханием озябшие руки,— в полном порядочке.

И пошел к станции.

Но он запутался и не попал к станции, а вышел на шоссе и по шоссе добрел до Новой Деревни. Он даже не заметил, как добрел,— все время думал о Клавде и о том, что теперь уже все кончено. Он не мог прийти в этот дом,— сейчас там уже все знают, что он жулик и жил по украденному паспорту. Да, Клавдя! Каждую секунду образ ее возникал перед ним. Вот и город. Он

заметил, что уже город, только возле буддийского храма. Горели фонари. Он внезапно очень продрог и подумал, что пойдет в баню и там отогреется. «Вымоюсь, выпарюсь, согреюсь,— думал он,— может, чего надумаю».

Ему опять негде было выспаться. Все начиналось с начала. Дома и люди, и трамваи, и свет в окнах, и милиционеры, и командир, обогнавший его, и седой старик — все это его враги. Он так больше не мог.

— Кончено,— сказал он себе,— амба!

Надо было придумать смерть. Он шел и думал. А Клавдя? Что Клавдя? Надо бы отравы. Он думал об отравах. Какие они бывают? Сулема, что ли? Такая розовенькая. Не дадут сулемы. Если бы был наган, ах, хорошо! Наган — это очень хорошо, превосходно. Стрелять надо в сердце и обязательно из левой руки, уж это точно. Из правой можно не попасть. Опять Клавдя что-то ему говорила. Или, например, Окошкин. У него и маузер, и кольт, и наган. Не говоря о Лапшине. Или из винтовки. В ствол наливается вода. Надо разуться. Как Клавдя интересно разувалась — как-то совсем незаметно. Надо разуться. Ствол надо взять в рот и пальцем ноги нажать крючок. Тоже наверняка.

Он вошел в аптеку и спросил сулемы. Ему не дали. Он долго смотрел лекарства и мыла в витрине. И духи. Ни разу не сообразил подарить Клавде духи. Или коробку с мылом и с пудрой. Вот эту, за сорок пять рублей шестьдесят копеек. Кто это придумал шестьдесят копеек? Он увидел бритвы «жиллет» и долго на них смотрел. Потом вспомнил все. Это очень хорошо укладывалось. Он и согреется, и не надо идти в чужой двор,— очень ловко придумал.

Он купил коробочку лезвий «жиллет» и порошков от головной боли. У него болела голова. Тут же он подумал, что это смешно — проглотить лекарство, а потом зарезаться. И выкинул из трамвая порошки.

Баня была новая, отличная, с колоннами из мраморного, похожего на асфальт материала, с яркими лампами, заключенными в матовые цилиндры, со злым швейцаром в галунах.

— А буфет у вас имеется? — спросил Жмакин, внезапно подумав о водке.

— Наверх и налево,— нелюбезно ответил швейцар.

В буфете Жмакин сел за столик и заказал себе стопку и бутерброд с икрой. Он был один в высокой комнате со стойкой — больше посетителей не было. С голоду и от усталости его разобрало после первой же стопки. «Слаб стал,— укоризненно думал он,— не человек стал, мочалка стал. Пора, пора!»

Ему принесли еще водки, он выпил еще и еще одну стопку заказал. «Теперь сделано,— решил он,— теперь в порядочке».

Но все еще сидел, слабо шевеля губами, прощаясь с чем-то, с каким-то хутором, возникшим вдруг в мозгу, с тихим вечерним полем под мелким дождиком, с уютной комнатой, в которой он юношей играл в шахматы.

Миловидная официантка подошла со сдачей. Он взглянул на ее розовое, сомлевшее от скуки лицо, сделал губами стреляющий звук и поднялся, загремев стулом.

Он был полон чувства свободы.

«Без сожаленья, без усмешки,— в стихах думал он,— недвижим, холоден как лед».

Это была особая стадия опьянения: он сделался таким решительным теперь! Он поднимался по лестнице как никто — уверенно, легко. Ноги сами несли его. И он потешался: Лапшин-то, Лапшин! Пожалуйста, берите Жмакина. Вот он. Хоть пять лет, хоть десять, хоть на луну, хоть налево. И Клавдя! «В лагерь с тобой, туда-сюда!» Извиняюсь, вы свободны. Нам с вами не по дороге. Вам направо, мне — налево. . .

А вдруг здесь возьмут?

Опираясь на перила, он подумал.

Вдруг сюда пришел Лапшин? Или Бычков захотел помыться в баньке? Или Окошкин?

«Без сожаленья, без усмешки,— повторил Жмакин стих,— без. . .»

Нет, не может быть такого случая.

Он вошел в комнату для ожидающих своей очереди.

В ванные кабинки была очередь, небольшая, человек семь. Было жарко, из открытой двери тянуло банным духом, паром, слышался плеск воды, голос банщика:

— Ваши сорок минут кончились, поторопитесь. . .

Жмакин сел на скрипящий стул под часами-ходиками, громко отстукивающими время. Комната была окра-

шена голубовато-зеленой краской. Банщик был в халате и в русских сапогах, с длинным острым лицом. Они оба внимательно поглядели друг на друга. «Ихний,— подумал Жмакин,— лапшинский». Ему сделалось ясно, что банщик — подставное лицо, что на самом деле он вовсе и не банщик, а, скажем, помощник уполномоченного. «А если даже и банщик — то все равно легавый,— думал он,— все они сейчас слегавились». И, встретившись еще раз глазами с банщиком, он ему подмигнул, как жулик жулику — весело, нагло, а в то же время как бы вовсе и не подмигивая.

Настроение у него все поднималось. Рядом сидел человек — тупоносый, обросший щетиной, ковырял в зубах спичкой и читал маленькую книжечку. Он отгораживал от Жмакина входную дверь и сидел в напряженной, не очень удобной позе, видимо рассчитывая взять Жмакина в ту же секунду, когда он встанет, чтобы убежать. «А я вас всех обману,— думал Жмакин, глядя на тупоносого с чувством собственного превосходства и презрения к нему,— я вас всех обдурю, да еще как. Не судить вам меня и не выслать, и над тюрьмой над вашей я смеюсь». Он немножко засвистел сквозь зубы, потому что тупоносый на него покосился, а ему необходимо было показать полную свою независимость. Тотчас же он увидел некоторую растерянность в глазах тупоносого, но приписал ее испугу оттого, что он, Жмакин, раскрыл игру тупоносого, и отвернулся с чувством удовлетворения.

Ожидающие очереди сидели почти полукругом, и Жмакин был вторым от правого конца полукруга. Он закурил и, отмахивая дым ладонью, с точностью выяснил, что все ожидающие очереди имеют отношение к уголовному розыску. «Психую»,— на секунду подумал он, но не додумал до конца, отвлеченный видом толстого человека в черном пиджаке и в черном галстуке. Человек этот внимательно и строго глядел прямо в лицо Жмакину своими выпуклыми без блеска черными глазами и одновременно, не отрывая взгляда от Жмакина, шептал на ухо своему соседу — маленькому горбуну, тоже поглядывавшему на Жмакина. И горбун и толстый в черном чем-то его поразили, он затаил дыхание и отвернулся от них, раздумывая. Они не могли быть оперативными работниками, он понимал это. Кто же они в таком случае? Может быть, это те, которые занимаются

наукой, печатают пальцы заключенным и считают приводы и судимости? Интересно стало поглядеть, как будут крутить Жмакину руки.

— Следующий! — сказал банщик.

Из коридорчика бани вышел распаренный дядька и валкой походочкой прошел мимо Жмакина, но не спустился по лестнице, а встал на площадке и закурил. «Грубоватый приемчик»,— подумал Жмакин и постарался подавить неприятную пляшущую дрожь, которая то начиналась в нем, то сама исчезала, но справиться с которой он не мог.

— Следующий! — повторил банщик.

Жмакину кровь кинулась в лицо,— он встал и неожиданно для себя произнес:

— Следующая моя.

Ему показалось, что все стали переглядываться и улыбаться, и что заскрипели стулья, и ходики защелкали чаще и громче, но на самом деле ничего этого не было, и он вдруг понял, что сходит с ума.

— Восьмой номер,— вслед ему сказал банщик.

— А где восьмой? — машинально спросил он.

— Вот восьмой,— с насмешкой сказал банщик и, обогнав его, раскрыл перед ним дверь.

— Это восьмой?

— Да, это восьмой.

Жмакин молча, как бы в раздумье, стоял перед раскрытой дверью.

— Не нравится? — спросил банщик.— Извиняюсь, у нас все кабинки одинаковые.

Жмакин сдержался, чтобы не ударить банщика снизу вверх под челюсть, и вошел в кабину. Крючок, вырванный с мясом из двери, лежал на решетчатом полу. Жмакин нагнулся, поднял его, подбросил на ладони. Он опять дрожал. Дверь была полуоткрыта. Он думал, морщась от напряжения, зажав крючок в вспотевшей ладони. Потом сообразил. Вынул из кармана финский нож, наметил в двери дырку повыше того места, где раньше был крючок, и стал ввинчивать в дерево основание крючка. Он делал это медленно и с ненужною силой, весь обливаясь едким, мучительно обильным потом и мелко дрожа. Он дрожал до того, что вдруг застучали зубы — сами собою, и он не мог сделать так, чтобы это прекратилось. «Или с голоду, или что такое,— силился

он объяснить себе свое состояние,— или они меня сейчас возьмут. . .»

Завинтив крючок до отказа, он попытался закрыться в кабинке, но дверь набухла, и крючок не лез в петлю. Надо было посильнее захлопнуть. Быстро раскрывая дверь, для того чтобы потом с силой притянуть ее к косяку, он внезапно увидел в коридоре того толстого в черном. Жмакин не закрыл дверь и вгляделся. Толстый стоял на белом кафеле, и сзади него тоже был кафель, и сам он — смуглый, в черном — казался вырезанным из бумаги.

— Послушайте,— сказал толстый своим приказывающим голосом и, выбросив короткую руку из-за спины, сделал шаг к Жмакину. Но Жмакин с размаху захлопнул дверь и забросил крючок. Сердце у него колотилось. Он слышал сухие шаги по кафелю за дверью.

— Послушайте,— повторил толстый и стукнул в дверь.

— Да,— сказал Жмакин.

— Извините, нет ли у вас папироски?

— Папироски у меня нет,— солгал Жмакин,— чего нет, того нет.

Толстый не отходил от двери.

Переждав еще несколько секунд, Жмакин пустил воду в ванну и стал раздеваться. Ужасный страх мучил его. Он обливался потом. Из ванны поднимались клубы пара. Все было враждебно ему, весь мир ополчился против него, все желали ему гибели, все ликовали, что его сейчас возьмут. Толстый стоял за дверью. Банщик распоряжался людьми там, в той странной зелено-голубой комнате. Сейчас здесь будет Окошкин. Вода с хрипом и клокотаньем вырывалась из труб. Он взглянул наверх. Красная лампочка едва мерцала в сыром горячем воздухе. «И подыхать в темноте,— со злобою и отчаянием подумал он,— как свинья». И ему представилась та свинья, которую неумело и нелепо резали давеча на Лахте, и красный закат, и лицо Клавди, залитое слезами. «Конец, точка, амба! — думал он, прислушиваясь сквозь вой воды ко всем шумам бани.— Сейчас войдут!» Хлопнула дверь на пружине. И еще раз. «Поперек горла кое-кому Жмакин». Он почти реально видел Окошкина с его легкой походочкой и легкой усмешкой, с его румянцем, молодым, детским еще румянцем, с его

узкой, перетянутой английским ремнем талией... Даже остроносые сапоги — их поскрипывание слышалось ему.

— Последнего жулика так не возьмешь,— бормотал он,— ни-ни! Слегавились, сволочи, один Лешка не слегавился и не продал и не продаст...

Он рвал на клочки паспорта, которые были в кармане, и все это выбрасывал в маленькую фортку. Потом мокрыми руками он разорвал деньги и тоже выбросил их в фортку.

Я прошу вас, грубый фрайер,
Выйти мне навстречу,
Я марвихер, жулик, мальчик...

У него темнело в глазах от головной боли, от духоты и от желания иметь револьвер, чтобы сначала «накрошить» всех тех, которые там собираются.

Тюрьма, тюрьма! Твои оковы,
Твои железные замки,
Твои решетки, и засовы,
И часовые, и штыки...

Наконец он нашел в кармане пиджака пакетик с бритвами «жиллет» и сорвал обертку. Каждая бритва была в отдельном конвертике из пергамента, и чувство злобы на всю эту аккуратность охватило Жмакина. Он выбрал одно лезвие и, чтобы не порезать пальцы, снял конвертик только с половины лезвия, на второй же половине устроил из бумаги нечто вроде ручки, какая бывает у чинки для карандашей.

Вода уже была налита; он попробовал, не слишком ли горяча, ногою, добавил холодной и, опираясь одной рукой о стенку, а в другой — в пальцах — держа бритву, встал в ванну. Воды было по колено, и, стоя, он увидел свой живот, втянутый и розовый от жары, увидел напруженные мускулы ног. Тотчас же ему вспомнилась Клавдя, и его охватило такое отчаяние и такая жалость к самому себе, что на глазах появились слезы. Потом ему показалось, что Клавдя говорит голосом Лапшина, с его растяжечкой:

— Ах ты, Жма[illegible], Жмакин!

И опять:

— Ах ты, Жмакин!

Но тут же он вспомнил, что за ним следят и могут его взять, подумают, что он уходит в окно, и он решил,

что для того, чтобы привести в исполнение задуманное дело, надобно хотя бы свистеть до тех пор, пока хватит сил, тогда они убедятся, что он здесь, и будут спокойно ждать его выхода.

И он засвистел, ровно и не напрягаясь, легонький и вместе с тем вызывающий какой-то мотивчик, какую-то всеми забытую одесскую босяцкую песенку со странными, лихими и наглыми словами:

Тетя, кинь пижона и возьми меня,
Тетя, я веселый буду для тебя,
Я не сын, не дочка буду для тебя,
Тетя, кинь пижона — выйди за меня.

Опершись левой ладонью на борт ванны и подняв над головою лезвие, он лег и закрыл глаза. Слезы проступили на ресницах. Он вытянулся так, что хруст прошел по всему телу, и поднес левую руку ладонью к самому лицу. Он сжал кулак. Голубая вена выступила с тыльной стороны запястья. Жмакин все свистел:

Тетя, я хороший, вежливый я буду,
Тетя, никогда я это не забуду...

Он опустил руку неглубоко в воду над грудью, приставил к тому месту, которое только что разглядывал, к голубоватой вене, лезвие и, сделав круглые глаза, не переставая свистеть, полоснул лезвием что было силы сверху вниз. Боли не было, и он только сбился немного в свисте — повторил куплет:

Тетя, я хороший, вежливый я буду,
Тетя, никогда я это не забуду...

Круглыми глазами он смотрел, как вода сразу же стала превращаться в розовую.

Я хороший мальчик, вам будет приятно,
Если уж возьмете, не уйду обратно,
Я люблю кофейни, крымское винишко,
Не судите строго вашего сынишку...

Переложив лезвие под водой из правой руки в левую, он крепко прижал локоть левой к груди и опять полоснул, и опять не почувствовал никакой боли. Вода все с большей и большей быстротой превращалась в красную, а Жмакин еще ничего почти не чувствовал, кроме легкого онемения в плечах и в кистях рук. «Сначала бы с ногами управиться»,— спокойно подумал он

и, усевшись в ванне, принялся поднимать и подтягивать к себе ногу так, чтобы перерезать вену возле щиколотки. Но едва только он начал резко двигаться, слабость и немота вдруг до того усилились, что он на мгновение даже замер. Отвалившись назад, он уронил руки вновь в воду, и вода опять стала краснеть с каждой секундой все сильнее и ярче. Но он нашел в себе силы еще раз сесть и, преодолевая начавшуюся резкую, отвратительную тошноту, нагнуться вперед и совершенно уже немеющей рукой, пальцами, сжимающими лезвие, дотронуться до ноги. Но вода стесняла резкость движения, и он не мог понять, где вена, полоснул просто так, наугад, и еще раз наугад, и еще, и успел сам себе удивиться. Теперь там тоже вода начала краснеть. Несколько секунд он смотрел, потом в глазах у него зарябило. Надо было свистеть, но он уже не мог. На него шла Клавдя в застиранном, узком ей платье. И Лапшин шел. И где-то пели, кричали, смеялись, что-то рушилось, ломалось, клокотала и брызгала вода. Балага протянул ему руку лодочкой. Он брезгливо закрыл мутнеющие глаза.

— Амба! — сказал он.— Привет от Жмакина.

11

Он очнулся в чем-то белом, ярком, твердом и с ненавистью обвел зелеными, завалившимися глазами часть стены, сверкающий бак, узкую, сутуловатую спину в халате.

Никто не обращал на него внимания.

Напрягая нетвердую еще память, он осторожно вспомнил все то, что произошло с ним в бане. Кажется, он попытался покончить жизнь самоубийством?

Терзаясь стыдом, слабый, зыбкий, с неверным взглядом косящих глаз, он лежал на тележке в перевязочной и заклинал: «Умереть! Ах, умереть бы! Умереть, умереть. . .»

Кого-то вносили и уносили, на его зелено-серое лицо падали блики от стеклянной двери, и эти блики еще усиливали его мучения. К тому же он был безобразно, нелепо голым и таким беспомощным и слабым, что даже не мог закрыть себя краем простыни. «Ах, умереть

бы,— напряженно и страстно, с тоской и стыдом думал он,— ах, умереть бы нам с тобою, Жмакин. . .»

Он слышал веселые голоса и даже смех, а потом сразу услышал длинный, захлебывающийся, хриплый вой. . .

— Но, но,— сказал натуженный голос,— тихо мне.

Вой опять раздался с еще большей силой и вдруг сразу смолк.

— Поздравляю вас,— опять сказал натуженный голос.

Сделалось очень тихо, потом раздались звуки работы: топанье ног, шарканье, отрывистое приказание; потом мимо голых ног Жмакина проплыла тележка с чем-то, покрытым простыней. «Испекся»,— устало подумал Жмакин и позавидовал спокойствию того, кто был под простыней.

— Ну, Петроний,— сказали совсем близко от него.

Он скосил глаза.

Высокий сутуловатый человек, еще молодой, с худым и потным лицом, в величественной белой одежде, измазанной свежей кровью, стоял над ним и, слегка сжимая ему руку, считал пульс.

— Ну чего? — сказал он, заметив взгляд Жмакина и продолжая считать.

— Ничего,— слабо сказал Жмакин.

— Вот и ничего,— сказал врач и ловко положил руку Жмакина таким жестом, будто это была не рука, а вещь.— Как фамилия? — спросил он.

— Бесфамильный,— сказал Жмакин.

Врач еще поглядел на него, устало усмехнулся одним ртом и ушел. А Жмакина повезли на тележке в палату. Здесь было просторно, и свет не так резал глаза, как в перевязочной. Он полежал, поглядел в огромное, без шторы, окно, подумал, морща лоб, и уснул, а проснувшись среди ночи, слабыми пальцами снял повязку с левой руки и разорвал свежий шов. Простыня стала мокнуть, а он начал как бы засыпать и хитро думал, засыпая под какой-то будто бы щемящий душу дальний звон и как бы качаясь на качелях. . . Он думал о том, что всех обманул и убежал и что теперь его уже поймать никому никак. А душу все щемило сладко и нежно, и он все падал и падал, пока звон не сомкнулся над ним глубоким темным куполом и пока его не залила черная, прохладная и легкая волна. Тогда

он протяжно, с восторгом, со стоном выругался, и к нему подошла сестра.

— Что, больной? — спросила она.

Жмакин молчал. Глаза его были полуоткрыты, зрачки закатились.

Сестра поджала губы и монашьей, скользящей походкой побежала в дежурку. Минут через десять Жмакина с перетянутой ниже локтя рукой положили на операционный стол. Белки его глаз холодно и мертво голубели. Он лежал на столе нагой, тонкий, с подтянутым животом и узким тазом, подбородок его торчал, и в лице было лихое, победное выражение.

Ему сделали переливание крови и отвезли в маленькую палату для двоих. На рассвете он очнулся. В кресле возле него дремала сиделка. Старичок, что лежал на второй кровати, умер, пока что кровать заставили ширмой.

— Уберите,— сказал Жмакин сиделке.

Она проснулась, что-то пробормотала и опять уснула. Потом пришли санитары и, смущаясь, торопливо и неуверенно унесли тело вместе с кроватью. Жмакин лежал с открытыми глазами и глядел на мутное окно, на голые ветви деревьев, на спящую санитарку.

Утром санитары поставили новую кровать на место прежней, а на кровать положили парня лет двадцати пяти. У него была раздроблена нога, и звали его Неверов. Санитарка под секретом рассказала Жмакину, что парень этот, Неверов, испытывал какую-то машину, которую сам построил, и что эта машина испортилась и расшибла его самого.

— Небось больше не будет,— сказал Жмакин.— Изобретатели!

Неверов лежал важный и строгий и, несмотря на сильные страдания, совсем не стонал. Лицо у него было детское, пухлое, не успевшее похудеть, только брови были взрослые — густые и сросшиеся у переносицы. Жмакин видел, как в середине дня Неверов, лежа на спине и не закрыв лицо, вдруг закуксился и заплакал, и плакал долго, не утирая слез и беззвучно. . .

— Болит? — спросил Жмакин.

— Нет,— продолжая плакать, сказал Неверов,— не болит.

Вечером ему, точно мертвому, прислали много белых, печальных цветов.

— Не надо мне вашей чуткости,— сказал Неверов в потолок,— не надо мне...

И ночь он тоже не спал — шевелил губами и строго глядел в потолок. А когда Жмакин встал с постели, чтобы взять себе с тумбы у Неверова папиросу, тот сказал:

— Вы что, самоубийца?

Жмакин молчал.

— Глупо,— сказал Неверов и враждебно поглядел на Жмакина.— Небось из-за женщины?

— Нет.

— А из-за чего?

— Иди ты, знаешь куда? — сказал Жмакин и, шлепая босыми ногами, отправился к себе.

Утром к Жмакину пришел квартальный. Это был здоровый украинец, с обветренным сизым лицом, хорошо пахнущий мылом и морозом. Поверх милицейской формы, ремней и нагана на нем был халат, и халат его, вероятно, стеснял, потому что квартальный держался очень неестественно, подбирал под себя ноги, говорил тонким голосом и всячески подчеркивал, что он здесь небольшой человек и охотно подчиняется всем больничным правилам.

— Как будет фамилия? — спросил он, присев на край кресла и деловито глядя в лист бумаги, разложенный на папке.

— Бесфамильный,— сказал Жмакин.

Квартальный быстро и укоризненно взглянул на Жмакина, как бы призывая его относиться с уважением к обстановке, в которой они находятся, но встретил насмешливый и недобрый взгляд Жмакина и вдруг сам густо покраснел.

— Фамилия моя будет Бесфамильный,— повторил Жмакин.

— Отказываетесь дать показания?

— Вот уж и отказываюсь,— сказал Жмакин,— никак я не отказываюсь.

— Имя, отчество.

Жмакин сказал.

— Адрес?

— Не имеется...

Квартальный покашлял в сторону.

— Бросьте, товарищ милиционер,— сказал со своей койки Неверов,— разве не видите — он над вами издевается.

— Заткнись, учитель,— крикнул Жмакин,— с тобой здесь не говорят!

Он помолчал и сказал, глядя в сизое лицо квартального:

— Пиши! Довел меня до ручки начальник бригады уголовного розыска Лапшин Иван Михайлович. Записал?

— Товарищ Лапшин? — удивленно и грозно сказал квартальный.

— Он.

— Ладно,— сказал квартальный,— когда такое дело, я товарищу Лапшину лично позвоню.

Лицо его выражало возмущение, он встал и, скрипя сапогами, ушел из палаты. А Жмакин нажал кнопку звонка и не отпускал ее до тех пор, пока не прибежала сиделка.

— Дадут здесь когда-нибудь завтрак? — срывающимся от бешенства голосом спросил Жмакин.— Или больные подыхать должны?

— Выпишите его из больницы,— сказал Неверов сиделке,— он кусается.

Он спал и проснулся оттого, что его окликнули по фамилии. Были сумерки, и, привстав в постели, Жмакин не тотчас узнал тяжелую фигуру Лапшина. Спросонья Жмакина разморило, он был потен, сердце его тяжело билось. Неверов спал, накачанный морфием, среди своих белых покойницких цветов.

— Здравствуй, Жмакин,— сказал Лапшин и грузно опустился в кресло.

— Здравствуйте, товарищ начальник, — сказал Жмакин.

— Болеешь?

— Да, выходит так.

— Табак здесь нельзя курить?

— В рукавчик можно,— сказал Жмакин,— осторожненько.

— Тогда не буду,— сказал Лапшин.

Он молчал, и в сумерках нельзя было понять — серьезно его лицо или он улыбается.

— Так-то, Жмакин,— сказал Лапшин, и Жмакин уловил в его голосе оттенок брезгливости.

Опять замолчали. Неверов тяжело всхлипнул во сне и заметался на кровати.

— Что за человек? — спросил Лапшин.

— Герой человек,— напряженно усмехнувшись, сказал Жмакин,— чего-то там испытывал, машину какую-то, она его и покалечила. Теперь лежит — психует.

— Ишь,— неопределенно сказал Лапшин.— А ты здесь за кого? — спросил он вдруг

— За человека,— сказал Жмакин.

— А,— ответил Лапшин.— И женат? Я слышал, женат. Идет такой слух, будто в Лахте ты женился. С ребенком взял. Верно или нет?

Сердце у Жмакина заколотилось, но он зевнул с видимым равнодушием и выждал немного. «Куда бьет,— подумал он,— ну ладно, поглядим».

— Я не женат,— сказал Жмакин,— но с девочкой с одной спутался, это верно.

Лапшин удовлетворенно кивнул головой.

— Клавой звать,— продолжал Жмакин,— ничего девочка, порядочная. Семья у ней, папаша, все честь по чести. Некто Корчмаренко — папаша, представительный мужик, член партии. . .

— Какой партии? — спросил Лапшин.

— Как какой? Коммунистической партии,— сказал Жмакин,— можете проверить. . .

— Да, да,— сказал Лапшин,— ну?

— Всего и дела,— сказал Жмакин.

Лапшин вздохнул, почесал голову и быстро спросил:

— Жмакин, ты что про меня врешь?

— Да со скуки,— сказал Жмакин,— скучно мне, товарищ начальник.

— Будешь работать?

— Не буду,— сказал Жмакин.

— Ну и расстреляем к черту,— сказал Лапшин холодным и злым голосом,— паразит какой принципиальный нашелся. Не буду, не буду. . . Отец и мать работали?

— Матка моя, извиняюсь, была проститутка,— сказал Жмакин,— называлась Вера-Кипяток,— не слыхали? А папаша у меня был мерзавец. . .

Лапшин молчал.

Жмакин сел в постели и засмеялся.

— Я имею наследственность — не дай бог,— сказал он,— с меня взятки гладки. Один научный работник в

одном детском доме при виде меня прямо-таки головой покачал. Не верите?

— Верю.

— Вот какие дела,— сказал Жмакин.

— А почему ты зарезался? — спросил Лапшин.

— Надоело.

— Что же тебе надоело?

— Жить так надоело.

— Вон что,— как бы с сочувствием, но и с прежней своей брезгливостью произнес Лапшин,— стало быть, не хочешь больше жить?

— Не хочу.

— Ты не обижайся,— сказал Лапшин,— я к слову.

В палате совсем стемнело. Лапшин поднялся, разыскал ощупью выключатель, зажег свет и опять сел. Неверов застонал и закричал во сне. Жмакин с ненавистью покосился на его постель.

— Ну, Алексей,— твердым и властным голосом вдруг сказал Лапшин,— давай рассказывай все твои обиды. С чего у тебя началось?

— Что началось?

— На дело с чего пошел?

— На дело? — усмехнувшись, спросил Жмакин.— На дело я пошел, товарищ начальник, исключительно с недоедания.

— Ну-те,— подбодрил Лапшин.

— А чего говорить,— сказал Жмакин,— чего время портить. Ладно.

— Ты ж в комсомол должен был вступить,— сказал Лапшин,— а, Жмакин?

— Может, теперь примете?

Жмакин засмеялся, вытер рот ладонью и покрутил головой...

— Ладно,— сказал он,— спасибо, товарищ начальник, что зашли. Денька через три выпишусь из больницы, заявлюсь к вам, сажайте. Кончился Лешка Жмакин. А беседы наши ни к чему. Вы, начальник,— железный человек, я — жулик, слабый мальчик. Пути у нас разные. Подарите трояка на папиросы — курить нечего и на трамвай нет к вам ехать. Последний раз на трамвае, там на автомобиле будете катать. Верно?

Лапшин спокойно вынул бумажник, достал из бумажника новенькую трешку и положил ее на тумбочку. Потом наклонился к Жмакину и спросил:

— Ты Наума Яковлевича Вейцмана знаешь?
— Какого Вейцмана?
— Такого Вейцмана.
— Вейцмана я знаю,— страшно бледнея, сказал Жмакин,— я, товарищ начальник, его очень сильно знаю...
— Ну? Что за человек? Хорош? Плох?
— Гад,— сипло сказал Жмакин.
— Почему гад?
— Говорю, гад,— крикнул Жмакин,— и точка! Чего вы меня пытаете? Раз говорю, значит знаю.
— Что ты знаешь?
— Все знаю.
— Ты его видел?
— Видел.
— Он у меня сидит.
— За что?
— За хорошие дела.
— Бросьте шутить, начальничек,— сказал Жмакин,— странные шутки ваши.
— Я не шучу,— спокойно сказал Лапшин.
— Добили меня,— сказал Жмакин,— не знаю теперь, что делать.
— Поправляйся,— сказал Лапшин, вставая,— там поглядим. Поправишься, приходи ко мне.
— В тюрьму?
— И в тюрьме люди живут.
— А Клавку мою вы вызывали?
— Зачем мне твоя Клавка,— сказал Лапшин,— и без нее тебя нашли.
— Сам нашелся.
— Все едино,— сказал Лапшин,— сам нашелся, мы нашли. Ну, будь здоров.
— Доброго здоровья,— сказал Жмакин.

Проснулся Неверов. Жмакин, сидя в постели, пил чай из большой кружки.
— Здорово, Неверыч,— сказал он.— Как делишки?
— Ничего,— сказал Неверов.
— Неверыч,— сказал Жмакин,— слушай блатной стих. Хочешь?
— Валяй,— сказал Неверов.

— Ладно, не буду,— сказал Жмакин,— ты и так не жилец.

— Как раз жилец,— сказал Неверов.

— А по-моему, умрешь,— сказал Жмакин,— лично мне кажется, тебе никак не выжить.

— Иди ты,— сказал Неверов.

Попили чаю, покурили. Все тише и тише становилось в клинике, только в конце коридора иногда трещали электрические звонки.

— Так-то, Неверыч,— сказал Жмакин,— ты на меня не обижайся. Ты псих, я псих, людям знаешь как живется? Лихо.

— Да?

— А чего,— сказал Жмакин,— дурак пляшет, дураку что... Но я лично не пляшу. Ты женатый, Неверыч?

— Нет, не женатый,— сказал Неверов.

— Балуешься?

Неверов промолчал. Ему странно было глядеть на Жмакина и слушать его.

— Я тоже не женатый,— сказал Жмакин,— но есть у меня одна девчонка... Клавочка...

Он покрутил головой и сел на край постели Неверова. Волосы его спутались, зеленые глаза блестели, как у пьяного, лицо было бледно.

— Я сам лично жулик,— сказал он,— но это ничего. Люди всякие бывают. Я именно и есть такой всякий человек. Понял? Так вот, Неверыч, Клавка. Что это я начал?

— Тебя как звать? — строго спросил Неверов.

— Жмакин моя фамилия.

— Иди, Жмакин, спать,— сказал Неверов,— не нравишься ты мне сегодня. Бешеный какой-то.

— Ну да!

— Иди, иди,— сказал Неверов,— я психопатов не люблю.

Но Жмакин не ушел. Поджимая под себя босые ноги и кутаясь в одеяло, он рассказывал про себя, про Клавдю, про Лапшина, про Хмелю и про многое другое. Речь его была почти бессвязна, движения резки и отрывисты, глаза блестели. Потом он стал заговариваться. Наконец заплакал. Неверов позвонил, прибежала сиделка, потом сестра. Жмакин, босой, с одеялом в руках, ходил по палате, плакал навзрыд и говорил такой вздор, что никто его не понимал. Позвали врача.

— Ах, я не сумасшедший,— внезапно о чем-то догадавшись, воскликнул Жмакин,— какой я сумасшедший. Я расстроился, мне больно, сердце у меня щемит.

И, встав в позу, жалкий, худой и желтый, он прочитал стих:

В саду расцветают черешни и вишни,
И ветер стучится в окно,
А я, никому здесь не нужный и лишний,
По шпалам шатаюсь давно.

— Вот каким путем,— сказал он,— вот таким именно путем.

Его начали уговаривать, он сжался, сел на свою постель и заплакал.

— Не в том дело,— говорил он, кося зелеными, запавшими, тоскующими глазами,— слышь, вы? Не в том же... Щемит сердце у меня...

Под утро два дюжих санитара положили Жмакина на носилки и понесли по коридорам клиники. Он лежал на спине, лицо у него было покорное, в глазах стояли слезы, всем встречным он виновато улыбался. Возле подъезда, под медленно падающими хлопьями снега, урчала коричневая машина санитарного транспорта. Носилки со Жмакиным вдвинули в машину, один санитар сел напротив и положил руку Жмакину на грудь. Жмакин вздрогнул и испуганно улыбнулся, машина двинулась по снежным ухабам. Жмакин сел, но санитар вновь его уложил.

— Хорошо, хорошо,— сказал Жмакин и закрыл глаза.

12

На третьей неделе жизни Жмакина в больнице для душевнобольных к нему приехал Лапшин.

Жмакин вышел к гостю в комнату для свиданий. Лапшин сидел на стуле, широко расставив колени, в одной руке держал пакетик, в другой незакуренную папироску. Лицо его, сизое от мороза, выражало добродушное любопытство. В комнате было пусто и холодно, дежурный санитар со строгими глазами прогуливался возле стены.

— Да вот, запсиховал,— виновато и медленно сказал Жмакин,— получилась петрушка.

Он присел рядом с Лапшиным. За это время лицо его пожелтело и округлилось, выражение глаз стало туповатым, и от прежней резкости и порывистости не осталось и следа.

— Болеешь? — сказал Лапшин.

— Вроде того,— сказал Жмакин.

Ему, как во все эти дни, хотелось плакать, и тоска щемила душу; он отвернулся от Лапшина и глазами, полными слез, стал смотреть в окно. Лапшин напряженно посапывал за его спиной. Пока Жмакин плакал, пришел на свидание сумасшедший шахматист Кристапсон, потом пришел жалкий человечек Ваня Некурихин, заболевший манией величия, потом пришел толстый и бурно веселый отец большого семейства Александр Григорьевич, коллекционер, очень надоедливый и шумный. Кристапсон, розовый, гибкий, с блестящими глазами, принялся что-то объяснять своей миловидной жене, Александр Григорьевич бурно здоровался с семьей, Ваня Некурихин скомандовал: «Смирно!» — и тотчас же так разбушевался, что его увели. Народу было все больше и больше, комната свиданий гудела ульем.

— Ну ладно,— сказал Лапшин,— возьми гостинцев. Мне ехать пора. Тут сотня папирос, лимон, чай да леденцы.

Он подал Жмакину горячую сильную руку, поднялся и обдернул гимнастерку.

— Клавдю к тебе прислать? — спросил он.— Была она у меня. Ничего.

— Не надо,— с трудом сказал Жмакин.

— А может, прислать?

— Не надо,— вздрагивая подбородком, повторил Жмакин.

— Не надо, так не надо,— сказал Лапшин.

К весне безразличие и тупость стали покидать Жмакина. Он вдруг заметил погоду, заметил соседа по койке, заметил врача, который его лечил, походил по коридору, поглядел на Кристапсона, поспорил с санитаром. На прогулке он больше не сидел в шезлонге и не плакал, а ходил вместе со всеми валким, не совсем твердым шагом, вдыхал холодный воздух, прислушивался к даль-

ним гудкам автомобилей, к скрежету трамваев за высокой кирпичной стеной...

Морозило, суетливо кричали галки. Жмакин ходил по парку, задирал голову, глядел вверх. С высоких сосен мягко облетал пушистый снег. Похожий на шимпанзе кривоногий психиатр, стоя с ним рядом, негромко говорил ему:

— Все пройдет, все образуется. Когда вас выпишут отсюда, позвоните мне по телефону. Я очень люблю разговаривать со своими бывшими больными. Не пейте водки. Если вы забежите ко мне, мы поболтаем. Курить надо не много, чуть-чуть. А лучше и совсем не курить. Вы кто по специальности? Вор?

— Так точно,— сказал Жмакин.

— Хорошо бы бросить,— сказал психиатр,— вы нервный субъект, надо бросить. Перенапрягаетесь.

— Мы в тюрьме отдыхаем,— сказал Жмакин,— наше дело имеет отпуск.

— Это верно,— сказал психиатр.

Они еще походили, потом посидели на скамейке. К ним подсел Подсоскин, седенький музыкант, автор всего написанного композитором Чайковским.

— Ну что, молодые люди,— сказал Подсоскин,— дышим?

— Дышим,— ответил Жмакин.

— Дышите, дышите,— сказал Подсоскин,— вода и камень точит. Я вам всем горлышки перегрызу, в могиле не подышите.

Врач сидел нахохлившись в своей меховой круглой шапке. Коричневые его глаза поблескивали как у зверя.

— Подсоскин сутяга, Подсоскин жулик,— скрипучим голосом опять заговорил музыкант,— но у Подсоскина выдержка, терпенье и бешеный темперамент. Для Подсоскина нет невозможного. Так-то вот!

Он со значительным видом выставил вперед челюсть и ушел. Жмакин уныло смотрел ему вслед. А вечером он вновь лег в постель, подложил руки под голову и задумался. И ночью опять плакал.

Наступила весна.

Как-то ранним апрельским утром Жмакин, гуляя по больничному парку, забрел в мастерские, в которых работали некоторые больные.

Слесарная, в которую он вошел, была длинным светлым и узким сараем. Здесь работало всего двое: высокий, бледный старик в спецовке и юноша с выпуклым лбом, синеглазый, в толстовке и в сапогах.

— Милости прошу к нашему шалашу,— сказал юноша в толстовке.

— А чего у вас в шалаше? — спросил Жмакин улыбаясь.— Какой ремонт делаете?

— По хозяйству,— сказал бледный старик,— хурдумурду починиваем. Паять-лудить. . .

Жмакин, по-прежнему улыбаясь и вспоминая детство, взял с верстака кровельные ножницы, щелкнул ими и швырнул на кучу обрезков жести. Старик заспрашивал, где он работал, какого разряда, давно ли психует. Жмакин аккуратно на все ответил и все наврал.

— Давай у нас пока что работай,— сказал старик,— копейку зашибешь. Слесаря чего-то никак не психуют, некому работать. Агенты по снабжению — те сильно психуют, как я заметил. Счетоводы психуют. А наш брат редко. Был один хороший слесарь — поправился. Теперь вот я остался да Андрейка. А меня Пал Петрович звать.

Старик говорил круглым говорком, а Жмакин, слушая его, развернул тисочки, зажал в них железинку и от нечего делать стал ее обтачивать напильником. Руки у него были слабые и неловкие, но ему казалось, что работает он отлично и что старик с Андрейкой должны на него любоваться. Напильник поскрипывал, Жмакин посвистывал. Посредине сарая догорала чугунная буржуйка, дышала жаром, а из раскрытой настежь двери несло острым апрельским воздухом, запахом тающего серого снега, сосен, хвои.

— Чего свистишь? — сказал старик.— Нечего тут высвистывать. Петь пой, а свистеть нечего.

— Ладно,— сказал Жмакин,— петь я тоже могу.

И, прищурившись на тисочки, на напильник, он запел, и пел долго, думая о себе, о своем детстве и испытывая чувство торжественного покоя.

Каждый день он стал бывать в слесарной. Работал он мало, только для удовольствия и еще для того, чтобы не чувствовать себя больным. Былое ремесло возвращалось к нему. Пальцы стали гибче, сильнее, металл делался послушнее, инструмент покорнее. И со стариком

Пал Петровичем наладились отношения. И с Андреем тоже.

В первую получку Жмакину дали четырнадцать рублей с копейками. Он улыбнулся, с интересом разглядывая червонец и рубли. На эти деньги можно было купить порядочно дешевых папирос, но он купил три коробки дорогих, купил конвертов, марок и бумаги и написал два письма. Одно Клавде, другое Лапшину. Клавде он написал, что жив и поправляется, чтоб она его забыла и что вот какая на эту тему есть песня, стишок.

Стишок был такой:

В больнице у Гааза на койке больничной
Я буду один умирать,
И ты не придешь с своей лаской обычной,
Не будешь меня целовать.
Я вор, я злодей, сын преступного мира,
Я вор, меня трудно любить,
Не лучше ли, детка, с тобой нам расстаться,
Не лучше ль друг друга забыть?

Лапшину он написал, что его пока что не выпускают из больницы, но что на днях он выйдет и заявится в управление. Но Лапшин приехал сам, опять привез лимон, леденцов и папирос.

— Ну как? — спросил он, когда они сели на скамью в парке.

— Можно в тюрьму,— сказал Жмакин, косясь на Лапшина.— Был такой случай. Медвежатник, некто Зускин, из Одессы, шкаф вскрыл несгораемый. Не в цвет дело вышло. Подняли по нем ваши дружки стрельбу. Подранили. Он, конечно, свалился. Его в больницу. Лечили, говорят. Бульончик, сухари, киселек. Чуткость такая была, спасенья нет. Он даже стих написал, на память персоналу. Вылечили. А потом десять лет строгой изоляции.

— Бывает,— сказал Лапшин равнодушно.

— То-то что бывает,— подтвердил Жмакин.

Они поглядели друг на друга, покурили; Жмакин сплюнул, Лапшин зевнул. Яркое весеннее солнце пекло им лица, от воздуха клонило ко сну. Уже набухали почки, пахло землей, березой.

— Давай съездим,— сказал Лапшин,— тебе полезно по улицам проехаться.

— Ох, об моем здоровье у вас сердце болит,— сказал Жмакин.

Лапшин, усмехаясь, зашагал по аллее. Жмакин шел рядом с ним, неприязненно на него косясь. Жмакина отпустили на два часа. У ворот больницы стояла машина. Лапшин, крякнув, сел за руль, машина двинулась весело, разбрызгивая весенние сияющие лужи.

— Начальничек,— сказал Жмакин,— за каким чертом вы до меня ездиете?

— Поглядишь,— сказал Лапшин.

— Вейцмана погляжу? — спросил Жмакин.

— А хоть бы и Вейцмана.

— Подходики,— сказал Жмакин,— кабы вы молодой были, а то ведь слава богу.

Лапшин сильно вывернул руль, объезжая колдобину, и не ответил.

— Не надо ко мне подходить,— опять заговорил Жмакин,— я больной человек, чего вы меня тревожите? Папироски, лимончики. В тюрьму так в тюрьму. Воспитание ребенка. Я не ребенок, я жулик.

— Правильно,— сказал Лапшин.

В управлении он своим ключом отпер кабинет, аккуратно повесил плащ на распялочку, сдвинул кобуру назад и еще проделал целый ряд хозяйственных дел. Жмакин взглядом следил за ним, ожидая подвоха. Вдруг Лапшин подмигнул ему:

— Ладно, Жмакин,— сказал он,— не сердись, печенка лопнет. . .

Засмеялся и позвонил.

— Давайте его сюда,— сказал он секретарю,— а нам чаю давайте, мы со Жмакиным чай будем пить. Будешь, Жмакин, чай пить?

— Буду,— веселея, сказал Жмакин.

Секретарь вышел. Лапшин велел Жмакину сесть рядом с собой и молчать. Жмакин покорно сел. Лапшин задумался, потирая щеки ладонями, большое свежее лицо его сделалось грустным. Тикали часы в деревянной оправе. Под большим зеркальным стеклом на сукне стола были разложены фотографии — незнакомые, суровые военные лица.

— Это дружки мои,— сказал Лапшин, заметив взгляд Жмакина,— ни одного в живых не осталось. Боевые дружки, не штатские.

И он с серьезным вниманием, несколько даже по-детски, склонил свою голову к фотографиям. Жмакин

тоже глядел, чувствуя неподалеку от себя широкое, жиреющее плечо Лапшина...

Привели Вейцмана.

— Садитесь, Вейцман,— сказал Лапшин.— Следствие закончено, я вызвал вас побеседовать.

— Слушаюсь,— сказал Вейцман и покашлял в серый кулак с отросшими, нечистыми ногтями.

13

— Поглядите на этого товарища,— сказал Лапшин и, скрипя стулом, повернулся к Жмакину,— не упомните?

Вейцман поднял желтое лицо и, как засыпающая птица, взглянул на Жмакина. Жмакин, бледнея, выдержал взгляд.

— Не припоминаю,— произнес Вейцман металлическим голосом, тем самым, которым он когда-то разговаривал на собраниях.

— Постарайтесь,— велел Лапшин.

— Я работал в разных местах, у меня было много рабочих и служащих, не припоминаю...

— Это был случай исключительный,— сказал Лапшин,— надо помнить...

Вейцман поморгал, покашлял опять в кулак. Он, видимо, действительно не помнил.

— Сейчас я вам поднапомню,— сказал Лапшин и, зазвенев связкой ключей, принялся рыться в левом ящике стола.

Пока он рылся, Жмакин поглядел на Вейцмана. Он отлично знал этот тип заключенных — не раз их видел. Эти люди во всем сознались, и все им стало скучно и безразлично. Судьба их не принадлежала им самим. В камере такие, как Вейцман, помалкивали, на допросах были сонливы...

— Вот,— сказал Лапшин,— оно самое.

Он еще полистал вперед и назад и, назидательно подняв кверху палец, прочитал басом:

— «Я, Вейцман, показываю также, что, будучи заведывающим гаража № 16 Облрыбаксоюза начиная с июля месяца того же года, систематически травил работников гаража Алексеева, Спиркова и Жмакина, выступивших с самокритическими выступлениями...» Высту-

пивших с выступлениями,— укоризненно произнес Лапшин,— а еще высшее образование.. Так. «Монтер Жмакин был мною дисквалифицирован, и мною же были похищены аккумуляторы, находившиеся на заливке у Жмакина. Семь аккумуляторов я вывез из гаража на персональной моей машине, а два вынес в пакете. Через несколько дней, точно не помню когда, я вызвал упомянутого Жмакина к себе в кабинет и категорически предложил ему сдать аккумуляторы...»

— Четырнадцатого августа,— сказал Жмакин, с ненавистью и ужасом глядя на сонного Вейцмана,— после перерыва он меня вызвал...

— Ладно,— сказал Лапшин,— неважно! «Категорически предложил ему сдать аккумуляторы. Жмакин, волнуясь, сообщил, что сдаст в ближайшие дни. На следующее утро я передал дело в товарищеский суд, на председателя коего нажал. Во время заседания товарищеского суда я сообщил, что имею новые данные, и предъявил суду расписку, в которой было написано, что шофером поликлиники номер два приобретены девять аккумуляторов у Жмакина, с адресом последнего и с суммой — точно не помню какой. Шофер этот за неделю до суда умер, и потому я находился в безопасности. По решению суда Жмакина сняли с работы, а комендант общежития предложил ему освободить койку, что Жмакин и выполнил. Таким путем я дискредитировал вожака лиц, выступавших против меня. Несколько раз меня вызывали органы следствия, но я имел неопровержимые данные, и кроме того осенью Жмакин бросился возле гаража на меня и стал меня душить, что еще подкрепило мой авторитет... На суде Жмакин был нетрезв и угрожал мне неоднократно, что произвело на судей неблагоприятное впечатление. Суд приговорил Жмакина к году принудительных работ. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Алексеев же и Спирков вскоре после суда явились ко мне и попросили у меня прощения за свои выпады, мы поцеловались и решили вместе бороться с неполадками в работе гаража...» Правильно?

— Правильно,— сказал Вейцман и как бы в задумчивости покачал головой.

Лапшин молча закрыл папку, сунул ее в ящик стола и щелкнул ключом. Лицо его выражало усталость, точно он читал эти показания не пять минут, а по крайней

мере сутки. Жмакин осторожно поднялся, подошел к окну и, ничего не видя, стал глядеть на площадь Урицкого, на дворец, на трибуны и на кучи ноздреватого, еще не вывезенного талого снега.

— Ладно,— сказал Лапшин за спиною у Жмакина,— идите.

Жмакин обернулся и быстро оглядел длинную фигуру Вейцмана. Такая же гимнастерка из саржи, и галифе, и остроносые, фасонные сапоги с ремешком под коленями. Хлопнула дверь. Жмакин опять отвернулся к окну. Было слышно, как сзади ходит по кабинету Лапшин, как он ступает на пятки и отфыркивается по своей манере. Потом он подошел совсем близко к Жмакину и положил руку ему на плечо.

— Что ж теперь будет? — спросил он каким-то необыкновенным голосом.

— Ничего не будет,— сдерживаясь, сказал Жмакин,— Вейцмана налево, а меня в тюрьму.

— Брось, Жмакин,— сказал Лапшин и надавил ладонью на плечо Жмакину.

— Чего бросать-то,— уныло отозвался Жмакин,— вы мои дела, начальничек, как следует знаете. Кражи были? — Были. Побеги были? — Были. Теперь сажайте, больше не побегу, был попрыгушка, да весь вышел. Можете получать Жмакина без риска для жизни. . .

Он усмехнулся, закрыл рот рукою и заплакал, а Лапшин стоял, не двигаясь, несколько позади и сосредоточенно морщился.

В шесть часов пополудни он вышел из здания управления, свернул под арку Главного штаба и тихим шагом свободного человека побрел по улице. Наступила весна, было еще совсем светло и, как всегда весною, особенно шумно, многолюдно, весело и просто. Жмакин купил подснежников, сунул букетик в петлицу и внезапно почувствовал беспокойство и вместе с тем радость, что вот он опять на улице, что его толкают, что пахнет весной и что ему, в общем, пока что никакие пути не заказаны.

Две девушки в белых беретиках о чем-то смеялись, он обогнал их и заглянул им в лица. Они опять засмеялись, уже ему; он приостановился, несколько шагов прошел рядом с ними и перекинулся парой слов — вольных, ни к чему не обязывающих, веселых.

Но тотчас же ему взгрустнулось, вспомнилась Клавдя, он зашагал быстрее, кося глазами на витрины, думая: «Выпью, закушу, завью горе веревочкой. . .»

Выпил в одном подвальчике, потом в другом. Добродушные пьяницы, пропившиеся до того, что стали уже тихими, пригласили его за свой столик. Жмакин со скуки сказал им, что работает воспитателем в детдоме.

— И тяпаешь?

— Тем не менее,— сказал Жмакин.

— А что,— подтвердил лысый пьяница,— правильно, я слыхал, французские дети все напропалую пьют. Поихнему шнапс. . .

Опять Жмакин побрел по улицам. Вытерпел в кинематографе картину с такой пальбой, что сосед Жмакина, коренастый командир, два раза сказал:

— Ух ты!

После кино решил в свой сумасшедший дом не ходить, а прошататься по старой памяти до утра. Денег было совсем немного, он пересчитал их в подворотне, но на выпивку достаточно.

Расстегнул пальто и, курлыкая песенку, спустился вниз в подвальчик, давно и хорошо знакомый. Ливрейный швейцар отворил ему дверь и низко поклонился.

— А, Балага,— вяло сказал Жмакин, но подал руку и поглядел в набрякшее и нечистое лицо старика.

— Все ходите,— почему-то на «вы» сказал Балага.

— Хожу.

— А был слушок, что вас взяли.

— Возьмут,— уверенно сказал Жмакин и не торопясь сел за столик под гудящим вентилятором.

Официанту он велел подать вина и фруктов. Тот принес стопку водки и огурцов. Жмакин потребовал еще пива.

— Верное дело,— сказал официант.

Охмелев, Жмакин послал официанта за Балагой. Тот подошел в своей ливрее, полы ее волочились по грязному, усыпанному опилками кафелю.

— Садись,— велел Жмакин.

— Нам нельзя,— сказал Балага,— мы теперь при дверях. А часиков, скажем, в двенадцать мы в туалет перейдем в мужской. А сюда один мужчина покрепче станет. На случай кровопролития.

— Так,— сказал Жмакин.— Выпей.

— Не пью,— смиренно сказал Балага.

— А какие новости на свете?

— Разные,— сказал Балага.

— Ну примерно?

Балага вытер слезящиеся глаза и попросил в долг пять рублей.

— Бог подаст,— сказал Жмакин,— говори новости.

Вентилятор назойливо гудел. Жмакин захлопнул дверцу вентилятора и сурово приказал:

— Садись и не размазывай.

— Корнюха сорвался,— не садясь, свистящим голосом сказал Балага,— большие дела делает.

Жмакин молча глядел на Балагу.

Балага тоже замолчал, к чему-то примериваясь.

— Ба-альшой человек,— сказал Балага.

— А где он?

— Прогуливается,— сказал Балага,— город велик.

— Ох, Балага,— негромко пригрозил Жмакин,— хитришь...

Балага подмигнул и ушел к своей двери. Жмакин сидел не двигаясь, пил пиво, поглядывал на Балагу. В двенадцатом часу ночи Балага подошел опять к нему и сказал:

— Иди до гостиницы бывшей «Гермес»,— там он прогуливается. Какой мой процент будет с дела?

— Фигу с маслом,— сказал Жмакин, пошатываясь встал, расплатился и вышел.

Возле «Гермеса» действительно прогуливался Корнюха. Он был в хорошем макинтоше и в руке имел трость с набалдашником. Из кармана макинтоша торчали перчатки. Молча он подал руку Жмакину. Пошли рядом. Корнюха попросил Жмакина зайти в магазин купить водки,— сам он боялся. Жмакин вынес, Корнюха выпил в подворотне, сплюнул и помотал головой. У него было чистое румяное лицо и большие, навыкате, глаза, характерные тем, что не имели никакого выражения. Голос у Корнюхи был негромкий и тоже без выражения.

— Ну? — спросил Жмакин.

— Как видишь,— сказал Корнюха,— три вытерпел, на четвертый — драпанул, семь за мной осталось, плюс вышка.

— За что?

— Стрелка убил,— осторожно сказал Корнюха.

— Насмерть?

Корнюха промолчал.

— Батьку моего в Казахстане шлепнули,— без выражения сообщил Корнюха,— получил письмо. Завинчивают нашего брата на последнюю гайку. Ты, я слышал, вроде резался?

Не торопясь, Корнюха рассказал, за что расстреляли отца. Жмакин внимательно слушал, надвинув кепку пониже. Шли переулочками, не по тротуару, а по булыжной мостовой. Поддувал сырой, но не холодный весенний ветер. Из-за угла выпорхнула великолепная машина и, ослепительно сияя фарами, промчалась мимо. В машине сидел седой военный, дремал.

— Катаются,— сказал Корнюха.

— Мало ли что,— не сразу ответил Жмакин.

Они немного поговорили о том, как Корнюха бежал, потом вспомнили лагерь, в котором однажды вместе рыли котлован. Жмакин тогда филонил, а Корнюха вытягивал до восьмисот процентов нормы.

— Были и мы ударниками,— сказал Корнюха,— знаем, слышали, в другой раз не накроешь.

— А чего накрывать-то? — спросил Жмакин.

Корнюха опять промолчал, не в первый уже раз за этот вечер. Довольно долго шли молча, Жмакин от вдруг напавшей тоски стискивал зубы.

— Это все мелочь,— ленивым голосом сказал Корнюха,— теперь я буду кое-кого убивать. Сначала по миру пустили, потом батьку шлепнули. Померяемся.

Остановившись посредине мостовой, он слегка обнял Жмакина за плечи и сказал ему в самое лицо:

— Надо банду сделать, слышь, Жмакин.

— Какую такую банду?

— Обыкновенно. Настоящую банду. Дисциплинку заведем, люди знают, со мной шутки плохи. Уйдем в лес, подпалим кое-чего. У меня наколот один старичок из пригграничных жителей. Ежели что — уйдем.

— Ну да,— сказал Жмакин.

— А чего ж не уйти? Уйти не хитрость. . .— Он замолчал на секунду, вглядываясь в Жмакина.

— Не узнал? — спросил Жмакин.

— Чего ты кислый какой-то,— сказал Корнюха,— может, ты покамест ссучился?

— Как раз нет,— сказал Жмакин и подумал, что Корнюхе решительно ничего не стоит убить его и сбросить вниз, в канал,— прохожих нет, вокруг тихо, убьет,

пожалуй.— Беспокойный ты стал,— добавил Жмакин,— а, Корней?

И вновь они неторопливо зашагали над тихим каналом. Корнюха медленно говорил про оружие, про боеприпасы...

— Да я ведь не бандит,— сказал Жмакин,— я рецидивист хороший, а бандит из меня еще и не выйдет.

— Выйдет,— с вялой уверенностью произнес Корнюха,— невелика хитрость. Я стрелку как воткнул под дых,— он и не заметил, что на свете не живет. Тихонечко все произошло. И стрелочника одного на севере...

— Тоже? — спросил Жмакин.

— Что значит тоже? — вялым голосом произнес Корнюха.— Мне, дорогой, обратного хода нет. Так на так вышка, вершок больше, вершок меньше — все равно вышка. Теперь и посчитаюсь, хотя удовольствие получу.

Он остановился, закурил, натянул перчатки и, ткнув Жмакина пальцем в грудь, сказал:

— Будешь у меня главный человек. Тебе тоже обратного хода нет. Посчитаемся за наши жизни. Я тебе доверяю.

— Доверяю, доверяю,— с внезапной злобой в голосе сказал Жмакин,— что значит доверяю? Нужна мне твоя банда...

— А нет, не нужна? — усмехнувшись, произнес Корнюха.— Куда ж тебе идти, как не к нам? К Лапшину, виниться? А кто тебе жизнь поломал?

— Я все равно не бандит,— глухо сказал Жмакин,— я людей резать не могу...

Корнюха негромко засмеялся, покачал головой и пошел, не дожидаясь Жмакина, постукивая палкой.

— Песня имеется,— сказал он, оборачиваясь на ходу,— наша дорогая, блатная, знаешь? «Ты же поздно или рано все равно ко мне придешь». Эх, браток! — Он вернулся и, как давеча, поглядел Жмакину в лицо.— Придешь, и шлепнут нас вместе.

Жмакин молчал, потупившись. Сердце у него глухо билось. Он уже не слышал слов Корнюхи, он мучительно вспоминал телефон Лапшина. Наконец вспомнил.

— Думай, думай,— сказал ему Корнюха,— ничего другого не надумаешь.

Опять надолго замолчали.

— Револьвер у тебя один? — спросил Жмакин.

— Один,— сказал Корнюха,— паршивенький. Это как раз дело девятое, достанем.

— Трудно.

«Будет отстреливаться или не будет? — осторожно, успокаивая себя, думал Жмакин.— Будет, собака. Руку все в кармане держит».

Он зашел справа и скосил глаза на карман Корнюхи. Но не понял, какой револьвер, и попросил показать.

— Да коровинский пистолетик, пустячный,— сказал Корнюха,— чего на улице рассматривать. . .

Брели по Советскому проспекту. Корнюха рассказывал, как убил сторожа-стрелочника. Вытянул руку, округло сложил пальцы и, усмехнувшись, произнес:

— Только тряхнул, он сразу и готов.

— Лихо,— сказал Жмакин.— Надо бы нам, пожалуй, выпить?

— Я в кабак не пойду,— сказал Корнюха,— ты зайди сам, попроси навынос. А то меня сразу могут наколоть. . .

Добрели до пивной. Жмакин проводил глазами Корнюху и шмыгнул внутрь — к автомату. Наконец телефонистка соединила. Он опустил гривенник и услышал сонный голос Лапшина.

— Ладно,— сказал Лапшин,— вы идите по Советскому, потом мимо Таврического, понял?

— Есть, товарищ начальник,— сказал Жмакин.

— По мостовой идите,— говорил Лапшин.— Моя машина будет идти без фар, на полуфарках. Он стрелять хочет?

— Наверное, так.

— Отойдешь в сторону,— сказал Лапшин,— он тебя очень просто может кончить. Погоди, постой!

— Слушаю.

— И не кидайся черту на рога.

Забыв про водку, Жмакин хотел было выйти, но решил, что лучше оттянуть время, и, не торопясь, выпил кружку пива. Как он ни медлил, прошло всего четыре минуты.

Корнюха стоял, не двигаясь, в подворотне.

— За смертью тебя посылать,— сказал он,— принес?

— Не отпустили.

Опять зашагали по мостовой. Время шло нестерпимо медленно.

— Где же ты спать будешь? — спросил Жмакин на тот случай, если Корнюха исчезнет до появления Лапшина.

Корнюха ответил, что спать он будет где придется.

Одна за другой на полном газу промчались мимо две машины. На обеих сияли фары.

— Чего испугался? — спросил Корнюха.— Думаешь, задавят?

От кружки пива Жмакин вновь захмелел. Он все еще шел справа и все поглядывал на оттопыренный Корнюхин карман. Корнюха легонько посвистывал.

— Корней,— сказал Жмакин, сдерживая шальные нотки в голосе,— я не согласен.

— На что не согласен?

— К тебе в банду поступать.

— Подумай, дурашка,— лениво отозвался Корнюха,— подраскинь мозгами. . .

Сзади по мокрому асфальту зашипели автомобильные шины. Машина, пришептывая выхлопом на малом ходу, проскочила мимо и скрылась, подмигнув красными стоп-сигналами.

«Не заметил,— с отчаянием подумал Жмакин,— прохлопал спросонок, болван».

— Думай, думай,— опять сказал Корнюха,— силком замуж не беру.

— А? — спросил Жмакин.

Та же машина с потушенными фарами, на одних подфарках небыстро шла навстречу.

— Носит их, чертей,— пробурчал Корнюха с неудовольствием, уступая дорогу.

Автомобиль опять проскочил, но тотчас же со скрежетом затормозил. Корнюха обернулся, вытянул шею и, выбросив руку из кармана, побежал вперед по сырому асфальту.

— Стой! — крикнул сзади Лапшин.

Рассекая грудью воздух, Жмакин уже бежал за тяжелым и неповоротливым Корнюхой. «Убьет»,— коротко подумал он и еще наддал ходу. Сердце у него падало, в груди делалось пусто и тошно, как на качелях. На бегу Корнюха выкинул назад руку и выстрелил. «Хрен вот тебе»,— со злорадством подумал Жмакин, наддал еще ходу и, неожиданно даже для самого себя, схватил Корнюху за макинтош. Корнюха опять выстрелил и опять не попал. Жмакин ударил его в шею и вместе

с ним рухнул на асфальт. В ту же секунду Корнюха схватил его за горло. Жмакин высунул язык, захрипел, извернулся, и, не сбей Лапшин с него Корнюху, жить бы ему осталось совсем немного. Но его подняли, встряхнули. Он сплюнул кровь, потрогал себе лицо. Потом сказал:

— За сонную артерию схватил, собака!

— Подковался в медицине, доктор,— сказал Лапшин, тяжело дыша.

Жмакин еще сплюнул. По улице сбегались милиционеры, дворники. Корнюха, связанный, сидел в машине.

— Все в порядочке,— сказал Лапшин козырнувшему милиционеру,— можете идти.

Милиционер ушел. Четыре дворника стояли смирно.

— Ну, поедем, что ли, Жмакин,— сказал Лапшин,— спать пора.

И, скрипя ремнями, пошел к машине.

Весь следующий день до поздней ночи Жмакин пробыл в управлении. Шатался по темноватым, мрачным коридорам, дремал на скамье в комнате ожидания, бранился со старухой, которой, закуривая, нечаянно подпалил конец головного платка, закусывал в буфете.

Уже ночью за ним пришел Окошкин.

В коридоре они встретили Лапшина. Глаза у Лапшина хитровато поблескивали, он, видимо, только что побрился, щеки были слегка припудрены, и пахло от него чуть-чуть одеколоном. И во всем его облике было нечто торжественное, приподнятое и в то же время слегка глуповатое.

— Ну, Жмакин? — неожиданно спросил он, натягивая кожаные перчатки и быстро спускаясь по лестнице впереди Жмакина.

— Теперь меня из сумасшедшего дома выгонят,— сказал Жмакин,— кончилось счастье. Отпросились-то на два часа.

— Как-нибудь,— сказал рассеянно Лапшин.

— Чего как-нибудь,— сказал Жмакин,— диетический был режимчик, санаторно-курортный. Не каждый день Жмакин в санаториях проживает...

Они сели в автомобиль молча и молча поехали.

— В НКВД? — робко спросил Жмакин.

— Туда.

— Что я, политический сделался? — уже с испугом спросил Жмакин.

— Помолчи,— сказал Лапшин.

На площадке лестницы в самом здании Лапшин остановился и сказал, сердито глядя на Жмакина:

— Держись, пожалуйста, в рамках. К большому начальнику идешь, ты таких не видел и не увидишь.

Они пошли молча по коридору — Лапшин впереди, Жмакин сзади. В большой приемной Жмакин сел на край стула. Его вдруг начало познабливать, он зевал с дрожью и искоса следил за Лапшиным, читавшим газету. Но и Лапшин не очень внимательно читал, он о чем-то сосредоточенно и напряженно думал, устремив глаза в одну строчку. Наконец низенький широкоплечий адъютант крикнул:

— Товарищ Лапшин!

И глазами показал на тяжелую дверь.

— Ты тут сиди,— шепотом сказал Лапшин, обдернул гимнастерку и щеголеватой походкой военного, слегка выдвинув вперед одно плечо, пошел к двери и скрылся за портьерой.

Мелко трещали телефонные звонки; адъютант порой брал две трубки сразу и разговаривал очень тихо, убедительно двигая широкими бровями. Жмакин все зевал, потрясаемый какой-то собачьей дрожью. Опять зазвенел звонок. Жмакин взглянул на адъютанта, адъютант сказал: «Идите», и Жмакин пошел к тяжелой, плотно закрытой двери, неверно ступая ослабевшими ногами.

Двери открылись странно легко, и Жмакин вошел в небольшой скромный кабинет. Посредине кабинета, слегка расставив ноги, стоял Лапшин со стаканом чаю в руке и ободряюще улыбался, а возле стола, подперев подбородок руками, читал бумаги в знакомой Жмакину папке невысокий, узковатый в плечах человек. Услышав шаги, человек быстро поднял голову и, обдав Жмакина блеском небольших светлых глаз, спросил, закрывая папку:

— Жмакин?

— Так точно,— по-военному ответил Жмакин и составил ноги каблуками вместе.

Секунду, вероятно, длилось молчание, но эта секунда показалась Жмакину такой огромной, что он весь вдруг

вспотел и задохнулся. А начальник все улыбался и смотрел на него с выражением веселого любопытства.

— Ну садитесь,— сказал он и показал глазами на стул, стоявший совсем рядом с его стулом. Стулья эти стояли так близко один от другого, что, садясь, Жмакин дотронулся своим коленом до колена начальника. Начальник взял закрытую было папку, полистал и спросил у Жмакина:

— Что же вы к нам не пришли, когда вас там травили? Мы бы как-нибудь размотали. Не так уж это и сложно, а, товарищ Лапшин?

— Восемь месяцев мотал,— сказал Лапшин.

— Так чего же вы все-таки не пришли? — опять спросил начальник.

— Постеснялся,— тихо сказал Жмакин.

— Постеснялся,— повторил начальник,— ты видел таких стеснительных, товарищ Лапшин?

Посмеиваясь, он встал, прошелся по кабинету и, остановившись против Лапшина, начал ему рассказывать тихим голосом что-то, видимо, смешное. Он рассказывал и поглядывал на Жмакина, и Жмакин, встречая прямой и яркий свет его глаз, чувствовал себя все проще и проще в этом кабинете.

— Ну что ж,— кончая разговор с Лапшиным, сказал начальник,— картина у тебя, Иван Михайлович, намечена правильная. . .

Еще пройдясь по кабинету, он поговорил по телефонам,— их было штук семь-восемь и все разные, потом почесал ладонью лысеющий затылок и сел опять возле Жмакина. Лапшин тоже сел и закурил папироску.

— Так что же, Жмакин, погулял, пора и честь знать,— сказал начальник,— верно? Или как?

— Ваше дело хозяйское,— сказал Жмакин и съежился; он только сейчас начал понимать, что в его судьбе с минуты на минуту должен произойти какой-то страшно важный и решающий перелом.

— Чего же хозяйское,— сказал начальник,— никакое не хозяйское. У нас есть законы, и надо законам подчиняться. . . Тебя приговорили к заключению, ты бежал, верно?

— Это так,— согласился Жмакин,— бежал. . . Два раза бегал.

— Пять раз,— сказал Лапшин.

— Виноват, ошибся.

Начальник засмеялся, покрутил головой и спросил:

— Как же ты бегал?

— Разные случаи были,— сказал Жмакин,— тут имеется техника довольно развитая. Один раз, например, в пол убежал.

— Как так в пол?

— В вагонный пол. Вагон был не международный, попроще... Мы пропильчик сделали в полу. Так называемый лючок. Значит, на ходу поезда спускаешь туда ноги, руками за край лючка держишься и постепенно опускаешься ровно спиной к шпалам. Но ровно нужно. А то, если перекривишься, что-нибудь оторвет. Башку свободно можно оторвать. Ну, так опускаешься, опускаешься, а потом хлоп на шпалы. И лежишь ровненько-ровненько. Ну, конечно, легкие ушибы, это всегда получишь.

— Интересно,— сказал начальник,— я в шестнадцатом году из вагона уборной в окно прыгал. Покалечился.

— Небось не разделись,— сказал Жмакин.

— Не разделся,— несколько виновато сказал начальник.— А надо было раздеваться?

— Ясное дело,— сказал Жмакин,— обязательно надо. Решетка куда была вывернута, внутрь или наружу?

— Внутрь.

— Конечно, крючки получились. Сразу вы и повисли. Раз такое дело, прыгать надо вперед, с ходу, а не с крючка. Хорошенькое дело одетому в окно прыгать. Рассказать — никто не поверит.

Начальник поглядел на Жмакина, закурил папиросу и сказал:

— А ты — хитрый, я замечаю.

— Такая специальность,— сказал Жмакин.

— Мать померла?

— Померла. И отец помер.

— Кем были?

— Текстильщики оба. Мать гулящая сделалась, проститутка была,— сказал Жмакин.— Да и, с другой стороны, нельзя винить, капиталистическая обстановка, задыхались люди.

— Ишь ты,— сказал начальник,— ты у нас сознательный. А жена есть? Дети?

— Есть и жена и ребенок.

— Не ври, Жмакин,— строго и недовольно сказал Лапшин.

— Я не вру,— краснея, твердо сказал Жмакин,— дочка не родная, но дочка. А жена, конечно, гражданская.

— Кто такая?

— Как — кто? Работница,— сказал Жмакин,— честная девушка.

— И как же ты думаешь жить? — опять спросил начальник.

Жмакин молчал.

— В лагерь не поедешь?

— Нет,— сказал Жмакин,— переутомился. Пошлете — зарежусь. Товарищ Лапшин знает.

— Ты только нас не пугай,— сказал начальник.

— Кого мне пугать,— уныло ответил Жмакин и отвернулся.

Начальник и Лапшин переглянулись.

— Ну ладно, бери, Иван Михайлович,— сказал начальник,— на твою личную ответственность. Может быть, и выйдет дело.

Жмакин глядел на обоих, ничего не понимая и страшно волнуясь.

— И напиши в Верховный суд что полагается,— сказал начальник,— и прокурору напиши попробуй. Случай, действительно, исключительный. . .

Начальник походил по комнате. Лапшин поднялся. Жмакин тоже встал.

— Так-то, Жмакин,— сказал начальник.

— Слушаюсь, товарищ начальник,— сказал Жмакин.

— Нечего слушаться, иди да гляди. . . Будь здоров. . .

Из угла комнаты он серьезно и спокойно смотрел на Жмакина. Его бледное, худое лицо было утомлено, на алых нашивках поблескивали темно-рубиновые знаки различия. Жмакин повернулся кругом и вышел в приемную. Через несколько минут за ним вышел Лапшин. Они молча и быстро спустились вниз, молча сели в машину, и только когда машина тронулась, Жмакин спросил:

— Что же теперь будет, товарищ начальник?

— Либо будет, либо нет,— сказал Лапшин,— там поглядим. . .

И ловко проскочил между двумя грузовиками.

14

На проспекте 25 Октября возле бывшей Думы, где нынче Городская железнодорожная касса, Жмакин вылез из машины и пошел бродить по тихим, сырым улицам любимого города. Уже наступали белые ночи, и светало рано. Жмакин побрел по каналу Грибоедова, переулком, мимо желтого петербургского придавленного здания, горбатым мосточком и на Марсово поле. Почки на деревьях, рассаженных геометрически правильно, уже набухли, и в короткой предутренней тишине какая-то птичка восторженно подсвистывала и попискивала, устраиваясь в голых необжитых ветвях. Пахло корьем, мокрой землей, прошлогодними листьями, с Невы порывами летел свежий, сырой ветер, было тревожно и неуютно, и чувствовалась, как всегда весной в Ленинграде, близость моря.

Жмакин посидел на лавочке, подумал, раскурил на ветру отсыревшую папиросу, насунул кепку поглубже, спрятал под ней уши.

Волнуясь, несколько раз пыхнул дымом, бросил папиросу и встал.

На асфальтовой автомобильной аллее встретил милиционера и с силой и со страстью и с ясностью в первый раз подумал о том, что теперь-то его не могут арестовать.

Милиционер шел на него, спокойно громыхая тяжелыми юфтевыми сапогами, поглядывая из-под каски по сторонам,— угловатый, косая сажень в плечах — страж порядка на огромной площади.

Разминулись и пошли каждый своим путем — Жмакин к Неве, милиционер к Лебяжьей канавке, к Летнему саду.

«Так,— думал Жмакин, приводя в порядок впечатления и события всего сегодняшнего дня,— так. Предположим, и на работу даже поставят. И создадут мне условия. Но буду ли я работать? Для них я так себе, бывший жулик, но на самом-то деле я довольно-таки загадочный тип. Что мне надо? Чего я хочу? Спокойствия и безмятежности? Эдак и протухнуть недолго с ихним спокойствием. Эдак мы с тобой, Жмакин, в два счета постареем, зубы выкрошатся и тому подобное. В общем и целом, они передо мной извинились. Показали мне Вейцмана. Вот, дескать, Вейцман, а вот, дескать, мы.

Ничего общего. Но моя-то жизнь, как-никак, уже поломанная. Уже я не тот человек. Ну что я тут? Ну, монтер! Так ведь это грошовая жизнь, без шику. Это папиросы за тридцать копеек курить. А если меня от таких папирос воротит? Извините, товарищи! Хоть день, да мой! Зато какой день. . .»

И с той легкостью в мыслях, которая свойственна людям слабовольным, он вдруг стал думать о том, что неплохо было бы совершенно одному, без дружков и помощников, обчистить магазин, например, Мосторга и взять ценностей тысяч на триста и махнуть на юг, в Крым, в Одессу. . .

— Листья падают с клена,— засвистал он, вспомнив Одессу.

Несомненно, он был в полной безопасности. Сам большой начальник говорил с ним не как с заключенным. Так с заключенными не разговаривают. И Лапшин его все тянет, тянет. Лимончики возит.

«А Клавдя?» — вдруг подумал он.

И, стоя над черной, холодной Невой, подставляя разгоряченное лицо холодному ветру с моря, он стал думать о Клавде, вспоминать ее, умиляться чему-то, каким-то полузабытым ее словам, жестам, звукам ее голоса. И так как он был не совсем здоров, слаб, измучен и, главное, растерян, он вдруг решил ехать к ней сейчас же, сию же минуту, но тотчас отменил свое решение и совсем наконец запутался.

В поезде он не думал, о чем будет с ней говорить и как произойдет встреча, а когда выскочил на знакомый перрон, то почувствовал ужасное волнение и страх и неуверенность. . .

«Выгонит,— страшась, думал он,— не выйдет ко мне, или скажет мне. . . Что же скажет? . .»

В Лахте тоже была весна, и, как в городе, еще пожалуй острее, пахло морем, тянуло откуда-то смолою и запахом тающего снега,— здесь он белел еще до сих пор. . .

Вот и знакомый домик, вот и собака залаяла.

Он стукнул в окно, в ее комнату, и подождал, потом еще стукнул.

«Вставай, девочка, вор пришел»,— с отчаянием подумал он.

И она вышла, босая, чистыми узенькими ногами на скользкие, сырые доски крыльца, внезапно побледнела

и сбежала вниз, к нему навстречу, обняла его, прижалась к нему, заплакала, затрепетала, и он заплакал тоже скупыми, мучительными и радостными слезами.

— Ну чего,— шептал он ей,— ну ничего, ничего...

— Алешенька,— говорила она,— ох ты, мое горе, горе мое, бедный мой, маленький...

Она прижималась к нему все туже, все крепче, родная ему, растрепанная, чистая, дрожащая от сырости, от слез, от радости и страдания, и, захлебываясь, называла его такими словами, которых он никогда ни от кого не слыхал, и тянула его за собой, но тотчас же останавливалась, гладила его по лицу, потом вдруг повисла на нем, потом опять разрыдалась...

В комнате ничего не изменилось с тех пор, только висела его фотография в бархатной рамочке, и вид из окна стал другой — без снега.

Он снял пальто и шепотом сказал:

— Обокраду Мосторг, уедем к черту из этого города. Одно на одно. Какой есть, весь тут.

— Не обокрадешь,— сказала она, глядя сияющими глазами ему в лицо.— Ты и не вор вовсе. Мальчишка ты, вот что. Ей-богу, мальчишка.

Подошла к нему, обняла за шею и села на колени — в одном платье на голом теле.

— Псих ты.

— Я псих?

— Ты.

— Это верно,— сказал он,— есть маленько, растерял в дороге шестеренки.

— Кушать хочешь? — не слушая его, спросила она.

Оба пили чай с молоком и ели творог из глубокой тарелки, прислушиваясь к дыханию спящей девочки, и глядели друг на друга.

— Ну и вот,— сказал он,— водили меня к большому начальнику. То, другое. Брось, дескать, Жмакин, воровать, ты нам нужен, нам вообще люди нужны,— поспешно поправился он,— давай работать.

Клавдя, не слушая, глядела на него.

— Холодно,— сказала она,— застыла я.

— И Лапшин меня уговаривает,— продолжал Жмакин,— нудит, нудит, с ума можно сойти.

— Леша, я беременная,— тихо, по-прежнему сияя глазами, сказала Клавдя.

Он поставил кружку на стол, помолчал и нахмурился.

— И ничего такого не сделаю,— продолжала Клавдя,— рожу́. Ты убежишь, ребята помогут.

— Какие ребята?

— Комсомольские.

— А ты тут при чем?

— Как — при чем? При том, что я комсомолка.

— Ты?

— Я.

Смеясь, она наклонилась к его лицу и стала целовать его теплыми, сладкими от чая губами.

— Ты погоди,— сказал он,— ты не прыгай. И давно ты комсомолка?

— Четыре года,— целуя его, сказала она.

— А я не знал.

— Ты много не знал,— говорила она,— ты занят был. Переживания были. Теперь небось посвободнее.

Он засмеялся и сказал:

— Напишу теперь на тебя заявление в комсомол на твое прошлое с вором.

— Ну и что,— сказала она,— ну и пиши. Кабы ты от меня вором стал... Ты бывший вор, а теперь уж ты герой.

— Герой?

— Будешь,— сказала она,— я баба, я все знаю. Я без тебя, бывало, лежу и думаю: вот дадут ему орден за большой подвиг. Или он будет летчиком. Или в стратосферу полетит...

— На луну без пересадки,— хмуро сказал он.

— Дурак,— сказала она,— хватит. На луну, на луну. Не будет тебе никакой луны. А решил Мосторг брать — сама на тебя первая донесу, и когда шлепнут, не заплачу. Подыхай. Надоело.

Жмакин удивленно на нее покосился.

— И ничего особенного,— сказала она,— поплакала, будет. Черт паршивый, письма пишет...

Толкнув его ладонью в грудь, она встала, всхлипнула и вышла из комнаты. Тотчас же вошел Корчмаренко в пальто, из-под которого болтались завязки подштанников. Жмакин встал ему навстречу.

— Отыскался, сокол,— сказал Корчмаренко.

Лицо у него было набрякшее, борода мятая.

— Пойдемте выйдем,— предложил Жмакин,— тут ребенок спит.

Клавдя тоже вышла вместе с ними.

— Ничего, можно здесь, в сенцах,— сказал Корчмаренко,— там Женька спит, а наверху жилец.

— Ну-с,— вызывающе сказал Жмакин.— Об чем разговор?

— Обо всем,— холодно сказал Корчмаренко.— Ты что ж думаешь дальше делать?

— Что хочу,— сказал Жмакин.

— А что же ты, например, хочешь?

— Мое дело.

— Ах, твое,— тихим от сдерживаемого бешенства голосом сказал Корчмаренко,— твое, сукин ты сын?

— Попрошу вас не выражаться,— сказал Жмакин,— здесь женщины.

Клавдя вдруг засмеялась и убежала.

— Ну ладно,— тяжело дыша, сказал Корчмаренко,— давай как люди поговорим. Пора тебе дурь из головы-то выбросить.

Они стояли друг против друга в полутемных сенцах, возле знакомой лестницы наверх. Лестница заскрипела, кто-то по ней спускался.

— Федя идет,— сказал Корчмаренко,— давай, Федя, сюда, праздничек у нас, Жмакин в гости пришел.

— А,— сказал парень в тельняшке,— то-то я слышу разговор. Здравствуйте, Жмакин.

И он протянул Жмакину большую, сильную руку. Чтобы было удобнее разговаривать, все поднялись по лестнице наверх и сели в той комнатке, в которой Жмакин когда-то жил. Тут Жмакин разглядел Федю Гофмана, и тот разглядел Жмакина. А в комнате теперь было много книг, и на полу лежал коврик.

— Приезжал сюда товарищ Лапшин,— сказал Корчмаренко,— беседовал с нами. Большого ума человек, верно, Федя?

— Толковый мужик,— подтвердил моряк.

— Особенно долго беседовал он с Клавдей с нашей. И пришли мы все к такому заключению, что пора тебе пустяки бросать.

— Извиняюсь, что вы называете пустяками? — спросил Жмакин.

— Воровство и жульничество,— сказал Корчмаренко.— Хватит тебе. Пора работать.

Жмакин взглянул на Гофмана и вдруг заметил в его глазах презрительное и брезгливое выражение.

— Так,— сказал Жмакин,— ладно. Все?

— Все,— сказал Гофман,— довольно, побеседовали.

— А в итоге? — спросил Жмакин.

— В итоге — иди ты отсюда знаешь куда? — багровея, сказал Гофман и тяжело встал со своего места.— Сволочь паршивая. . .

— Но, но,— крикнул Корчмаренко.

— Спасибо за беседу,— кротко сказал Жмакин.

Он снизу вверх смотрел на высокого Гофмана и рассчитывал, куда можно ударить. Но Гофман сдержался. Жмакин повернулся на каблуках и сбежал вниз по лестнице. Дверь на улицу была открыта. Клавдя стояла на крыльце. Глаза у нее были пустые, измученные, и он сразу это заметил.

— Жуликом ты был, жуликом и останешься,— сказала она,— сломал мне жизнь. Иди, надоело!

Молча он глядел на нее.

— Не нужен ты мне, иди!

Он все стоял, бледный, косил глазами. Он так был уверен в ней. Только она одна оставалась у него. Теперь она отвернулась и заплакала.

На крыльцо вышел Гофман в тельняшке, с мокрыми, зачесанными назад волосами, с полотенцем в руке.

— Разговариваете? — спросил он.

И по тому, как он дотронулся до Клавдиного плеча, Жмакин понял, что этот человек любит Клавдю и ненавидит его, Жмакина.

— Ладно,— сказал он,— желаю счастья.

Помахал рукой и пошел по дороге.

А Клавдя бежала за ним, он слышал ее дыхание, но не останавливался. Она схватила его за руку и сказала:

— Не мучай меня, Леша.

— Я никого не мучаю,— сказал он, не глядя на нее,— я сам себя мучаю.

— И меня, и меня.

— И тебя,— сказал он,— и вот тебе слово: стану человеком — приду, не стану — не приду. Поняла?

Он был совершенно бледен, и голос его дрожал.

— К черту,— сказал он,— понятно? И этого холуя гони, я лучше его. Он вылитый жирафа. . .

Клавдя засмеялась с глазами, полными слез, и легонько толкнула его.

— Иди.

— Да, иду.

Еще они посмотрели друг на друга. Она была такая некрасивая в эти секунды, такая жалкая, синяя, измученная.

— Иди,— еще раз сказала она,— иди, маленький мой, иди!

Он пошел, совершенно обессиленный.

Обернулся.

Жалко улыбаясь, она глядела ему вслед. Такой он и запомнил ее и такой любил всегда, когда ее не было с ним.

А под вечер, свежепобритый, пахнущий паршивым одеколоном, с глазами, красными от бессонных ночей, он сидел в кабинете у Лапшина и сворачивал самокрутку из голландского табака.

Табак был душистый, но слабенький, и Лапшин, немножко покурив, сказал:

— Назад подарю. Я люблю такой табак, чтобы душил. А это не табак. Баловство.

— Слабенький,— произнес Жмакин.

Еще покурили, помолчали.

— Ну вот что, Жмакин,— сказал Лапшин,— теперь тебе к старым делам возврата нет. Надо на работу становиться.

— А может, я тую работу обокраду? — сказал Жмакин.

— Не обокрадешь.

— Доверяете?

— Более или менее,— сказал Лапшин.

Жмакин усмехнулся.

— Странное дело,— промолвил он,— давеча мне Корнюха доверял, сегодня — вы. И как доверял...

Он выпустил к потолку струю дыма, поморщился и сказал:

— Ладно, товарищ начальник. Покончили. Ваше слово.

Лапшин ходил по кабинету из угла в угол.

— В Арктику я тебя не пошлю,— говорил он пофыркивая,— не тот ты человек...

— А в счетоводы я и сам не пойду,— сказал Жмакин,— тоже не тот человек.

— Погоди. Арктика, следовательно, отпадает. Счетовод из тебя не выйдет по причине малограмотности... Директором завода тебя, сам понимаешь, не назначат...

— Да уж куда мне,— опять с усмешкой согласился Жмакин.

— А мог бы? — спросил Лапшин.

Он помолчал, глядя на Жмакина со странным выражением жалости и презрения. Потом, внезапно покраснев, заговорил сухим, военным голосом. Говорил он долго, и Жмакин не сразу понял, о чем идет речь. С каждым словом Лапшин все больше горячился и, наконец, хлопнул широкой ладонью по столу, возле которого сидел Жмакин, но тотчас же успокоился и тихим голосом сказал:

— Не крути, Жмакин. Я тебя в люди тяну, я тебя и застрелю, если понадобится. Понял?

— Понял,— кротко сказал Жмакин.

— Теперь расскажи, как с Корнюхой дело обстояло.

— Чего дело,— сказал Жмакин.— Балага, старичок там замешанный, я вам давеча позабыл сказать. А Корнюха — что ж... Таких кончать надо.

— А каких не надо?

— Ваше дело хозяйское,— сказал Жмакин,— вы сами знаете.

Они помолчали. Лапшин прошелся еще по комнате. Потом пододвинул Жмакину бумагу и чернила. Жмакин спросил, что писать. Лапшин сказал: «Все, что про Корнюху знаешь и про его ребят». Жмакин медлил. Тогда Лапшин спросил:

— Ты за советскую власть или против?

— За,— сказал Жмакин.

— То-то! Пиши.

— А при чем тут Корнюха? — спросил Жмакин.

— Корнюха — политический бандит,— сказал Лапшин.— Что ты прибедняешься?

Жмакин писал долго, снял пальто, повесил на вешалку и опять сел писать. Пока он писал, Лапшин разговаривал с кем-то по телефону. Жмакин не понял, с кем, но понял, что разговор касается его, Жмакина. Кончив, он подписался: «К сему А. Жмакин» и сделал росчерк, похожий на гуся. Лапшин, чему-то усмехаясь, стал читать, потом спрятал написанное в ящик.

— Расстреляете? — спросил Жмакин.

— Видно будет,— сказал Лапшин.— Сначала поговорим, потом судить будем.

Все еще улыбаясь, он глядел в лицо Жмакина.

— Чего вы? — спросил Жмакин, стесняясь и розовея.

— Не красней,— сказал Лапшин,— правда на свете одна, двух правд нету...

И пошел отворять дверь.

15

— Пожаловал,— сказал он в дверях,— какой такой иностранец. А мы тут твой табак курили да ругали...

— А что, плох? — спросил вошедший.

— Да так себе табачишко,— говорил Лапшин, с удовольствием поглядывая на гостя.— Ну-ну, покажись... То-то приоделся...

— Помаленечку,— говорил гость, снимая великолепное пальто и аккуратно сворачивая кашне,— и сам приоделся и Иван Михайловичу привез. На-ко...

И он вынул из кармана маленькую коробочку.

— Бритву привез? Ай молодец,— сказал Лапшин,— я сколько годов хорошую бритву ищу. Ну спасибо...

Пока Лапшин разглядывал подарок, а гость ему объяснял, как с этим подарком обращаться, Жмакин исподлобья рассматривал и оценивал гостя. Человек этот был среднего роста, тяжеловат, еще молод и имел во всем своем облике нечто удивительно уютное, слаженное и устроенное. Вот вынул он из кармана зажигалку, щелкнул — и здорово получилось. Заправил папиросу движением языка, прищурил один глаз — и всем стало понятно, что курить ему вкусно, дым теперь вовсе не мешает, а что касается до бритвы, привезенной из Америки, то нет ничего проще и легче, чем эту бритву разобрать и собрать вновь. И слова, которыми он пользовался, тоже были удобные, ясные и плотные. «Ничего дядька»,— подумал Жмакин и взял со стола зажигалку. «Дядька» поглядел на Жмакина бурым медвежьим оком. Жмакин попробовал щелкнуть. Ничего не вышло. У Лапшина тоже ничего не выходило из сборки и разборки бритвы.

— Ну ладно, потом,— сказал он,— садись, Федор Андреевич. Рассказывай. Понравилась Америка? И познакомься. Жмакин некто.

Познакомились, сели. Урча, Федор Андреевич рассказывал про Америку и собирал бритву. Собрал, разобрал. Руки у него были короткопалые, темные, рабочие и, видимо, чрезвычайно сильные. Собрав и положив бритву в футляр, он еще боком пригляделся к Жмакину, потом спросил:

— Он и есть?

— Он самый,— сказал Лапшин.— Но я тебя должен сразу предупредить: жулик.

— Воровали? — спросил Федор Андреевич.

— Приходилось,— сказал Жмакин.

— Вор хороший,— сказал Лапшин,— ловкач парень.

— Специальность имеет? — спросил Федор Андреевич.

— Имел,— сказал Жмакин,— слесарил немного, монтер также.

— Будете воровать или работать будете?

Жмакин молчал.

Лапшин глядел на него с любопытством.

— Я спрашиваю,— перейдя на «ты», сказал Федор Андреевич,— будешь воровать или работать будешь? За воровство посажу немедленно. Будешь работать, как человек,— выдвину, помогу, материально обеспечу — лучше не надо.

Потея от напряжения, Жмакин поднял голову и встретился взглядом с холодными, неприязненными глазами.

— Только сразу и без дураков,— сказал Федор Андреевич.

— Ладно,— сказал Жмакин.

— Что значит ладно? Тебя никто не неволит,— сказал Лапшин,— не хочешь, не надо.

— Хочу,— с трудом сказал Жмакин.

— Слово?

— Слово, товарищ начальник,— сказал Жмакин и опять взглянул на Федора Андреевича.

Тот уже писал в блокноте размашистым, крупным почерком. Потом оторвал бумажку и протянул ее Жмакину.

— Завтра в десять придешь по этому адресу. Записка вместо пропуска. Звать меня Пилипчук. . .

— Паспорта у меня нет,— сказал Жмакин.

Лапшин и Пилипчук переглянулись.

Жмакин встал.

— И жить мне негде,— сказал он.

Пилипчук опять вынул блокнот и написал вторую записку.

— О,— сказал он,— иди сейчас туда, там будешь спать. Потом подумаем.

— Да прямо иди, никуда не заворачивай,— сказал Лапшин,— завернешь — пропадешь.

Жмакин оделся, нахлобучил кепку.

Лапшин вывел его в коридор. Здесь было полутемно.

— Погоди,— сказал Лапшин,— возьми денег.

Он вынул бумажник, бережно отсчитал три пятерки, потом еще одну рублями и протянул деньги Жмакину. Жмакин не брал.

— Возьми, ничего,— сказал он Жмакину,— после получки отдашь.

— Спасибо, товарищ начальник,— сказал Жмакин,— только я не возьму.

— Ну и дурак,— сказал Лапшин и спрятал деньги в бумажник. Потом подал Жмакину руку.— Звони, коли что. Иди!

Не торопясь, Жмакин пошел по коридору и лестнице. Не торопясь, спустился вниз, вышел на площадь и по Зимней канавке к Неве. Где-то далеко играла музыка. Жмакин закурил, потер ладонью щеку, прочитал под фонарем адрес на записке, застегнул пальто и быстро зашагал на Васильевский остров, на Вторую линию, дом номер девяносто три, гараж.

В проходной гаража Жмакин показал записку дежурному. Тот повертел ее в руках и ушел. Вернулся он вместе с небольшим старичком. Старичок надел пенсне, слегка закинул назад голову, осматривая Жмакина, и повел за собой в деревянную часовню. Ворота в часовне были закрыты и забиты наглухо войлоком, и действовала одна только калитка, такая низкая, что Жмакину пришлось нагнуться. Старичок проворно захлопнул за собой калитку и сказал Жмакину:

— Располагайтесь!

Жмакин не торопясь огляделся. Часовня была превращена в квартирку, странную, но уютную, немного только уж слишком заставленную вещами. Посредине из купола спускалась лампа под самодельным абажуром. Стол был накрыт скатертью, белой и чистой. Было много книг на простых деревянных покрашенных пол-

ках, был чертежный стол, телефон висел на стене, пахло ладаном, застарелым свечным воском и табаком.

— Интересная квартира,— произнес Жмакин.

— Да,— равнодушно сказал старик и, поправляя пенсне, слегка закинул назад голову, осматривая Жмакина по-стариковски сверху вниз.

Жмакин снял пальто, кепку, повесил на гвоздик, сел за стол. Старик представился — назвал себя Никанором Никитичем.

— Алексей,— сказал Жмакин.

Сидели молча. Никанор Никитич покашливал, Жмакин барабанил пальцами по столу, не находя темы для разговора. Старик предложил чаю, Жмакин отказался.

— А вещички ваши? — спросил старик.

— У меня нету вещей,— сказал Жмакин.

Старик подвигал бровями.

— Так, так,— сказал он,— может быть, желаете соснуть?

— Вы не пьете? — спросил Жмакин.

— Иногда,— сказал старик.

Жмакин поднялся, достал из бокового кармана пальто бутылку и откупорил, ударив по донышку. Никанор Никитич поставил две рюмки и баклажанную икру. Выпили.

— Если в записке не написано,— сказал Жмакин,— то вот я вам говорю: я вор-профессионал. Много лет воровал. Теперь кончено, крышка. Буду в люди пробиваться. Это чтобы вы не думали, что я скрываю. А выпивать — тоже крышка. Последний раз. Не верите?

— Так, да, так,— неопределенно сказал старик.— А у меня, знаете ли, тоска.

— Почему? — спросил Жмакин.

— Сынишка погиб,— сказал старик.— Живу теперь один.

Понюхав корочку хлеба, он сбросил пенсне и рассказал, что сын погиб, работая шофером на грузовике,— машина потеряла управление и с ходу свалилась под откос.

— Практику отбывал мальчик,— глядя поверх Жмакина, говорил Никанор Никитич,— учился в автодорожном институте. Вот фотографии. . .

И он, морщась, точно от боли, стал показывать Жмакину карточки одну за другой.

— Я в провинции жил, и вдруг телеграмма. Такой удар, такой удар. И никого у меня, знаете ли. Один, как перст. Я по специальности педагог. Русский язык преподаю. Ну-с, приехал на похороны. Лежит мой мальчик в гробу. Что делать? Я, знаете ли, засуетился. Заболел. И без меня его похоронили. Это было очень, очень тяжело. Ну-с, и вот тут появился товарищ Пилипчук, тот, который вас ко мне прислал. Вы его хорошо знаете?

— Нет,— сказал Жмакин.

— Светлая личность,— воскликнул старик,— большой души человек. Он меня не выпустил и поселил тут. Странно,— педагог, и вдруг гараж. И, знаете ли, привык я. Не понимаю сам, но привык. В школе преподаю. А по вечерам тут, в гараже. Преподаю русский язык, грамоте подучиваю. Кое-кто сюда в часовню ко мне ходит. Вокруг люди, машины фырчат, шум вечно, и так внимательны ко мне, так внимательны. Особенно сам товарищ Пилипчук. Заходит ко мне. Вот он сейчас из Америки приехал. Сразу ко мне зашел.

— А Пилипчук коммунист? — спросил Жмакин.

— Да, он состоит в партии,— сказал старик.

— А ваш сын?

— Состоял в ленинском комсомоле.

— Давайте еще выпьем,— предложил Жмакин.

— Давайте,— сказал Никанор Никитич.

Еще выпили.

— Я пару дней назад,— сказал Жмакин,— одного кореша своего уголовному розыску выдал.

— Что значит кореш? — спросил старик.

— Вроде приятель,— сказал Жмакин,— мы с ним в заключении находились. Некто Корнюха. Людей, собака, стал убивать.

— Ай-яй-яй,— сказал старик.

— Выдал к черту,— сказал Жмакин,— может, кто меня и считает теперь, что я ссучился, но я плюю. Верно?

— А что такое ссучился? — опять не понял Никанор Никитич.

Жмакин объяснил.

— Так, так,— сказал старик,— это жаргон?

— Жаргон.

Не торопясь, Никанор Никитич собрал со стола фотографии и включил электрический чайник. Чайник за-

шумел. На стене мерно и громко тикали пестрые ходики.

— Хочете, я спою? — спросил Жмакин.

— Пожалуйста,— согласился Никанор Никитич.

— Нет, не стоит,— сказал Жмакин,— я лучше еще выпью. Вам, старичку, не надо, а я выпью. Выпью и спать лягу. Интересно в часовне небось спать. . .

Он выпил еще водки, потом еще. Глаза у него посветлели. Он много говорил. Никанор Никитич молча слушал его, потом вдруг сказал:

— Вы долго страдали, голубчик?

— Смешно,— крикнул Жмакин,— что значит страдание! Что значит страдание, когда я зарок дал с Клавкой не видеться, пока человеком не стану. А она беременная. А там Гофман Федька.

— Не понимаю,— сказал Никанор Никитич.

— Не понимаешь,— со злорадством произнес Жмакин,— тут черт ногу сломит. Не понимаешь! Корнюху взяли, так? Теперь его, может, сразу налево? Так?

— Убийц надо казнить,— сказал Никанор Никитич,— это высшая гуманность.

— Чего? — спросил Жмакин.

Старик повторил.

— Ладно,— сказал Жмакин,— это вы после расскажете. Гуманность. С чем ее едят?

— Все не так уже сложно,— сказал старик.— То, например, что вас не посадили в тюрьму, есть, на мой взгляд, проявление гуманности.

— А Вейцман? Я не говорил про Вейцмана.

— Вы неправы,— сказал старик.— Дело не в этом.

Они заспорили. Жмакин кричал, плевался.

— Да вы, батенька, пьяны,— с неприязнью сказал Никанор Никитич.

— Пьян, да на свои,— сказал Жмакин.

Никанор Никитич уложил его спать в алтаре на раскладушку. Раскладушка скрипела, и Жмакину казалось, что ветхая материя вот-вот расползется. Во дворе гаража выли и гремели тяжелые крупповские пятитонки. Часовенка содрогалась. Заснуть Жмакин не мог, ворочался, от водки сердце падало вниз. Никанор Никитич шелестел бумагой. Потом и он улегся. Жмакин лежал на спине, сложив руки, глядя в сереющие узкие окна.

Утром, когда он во дворе из шланга сильной струей окатывал машину, к нему подошел Пилипчук в желтой облезшей куртке, с папиросой в крепких зубах. Поздоровались. Жмакин неловко еще таскал за собой кишку шланга. Пилипчук молчал, потом взял у Жмакина из рук шланг и стал показывать.

— Под низ бей,— говорил он, щурясь от мелких водяных брызг,— кузов и так не грязен. Погляди, что под низом делается. На!

Жмакин принял брандспойт, негромко сказал:

— На интересную работку меня подкинули.

— А что, не нравится?

Не отвечая, Жмакин обошел машину, поддернул кишку и под таким углом направил струю воды, что целый сноп брызг рикошетом залил штаны Пилипчуку. Кося злобными глазами и бледнея, Жмакин глядел на директора, как тот перчаткой сбивал брызги со штанов. Но скандала не произошло. Пилипчук ушел, не сказав ни слова.

Целый день Жмакин мыл машины, все больше и больше озлобляясь. Машины были грязные,— работали по снабжению города овощами. В кузовах внутри плотно налипала земля, капустные подгнившие листья, сор. Нужно было лезть внутрь, скрести, чистить и только потом отмывать. И ни одного мужчины. На этой работе в гараже у Пилипчука работали только женщины. И работали лучше и ловчее Жмакина.

Молодой парень в красноармейской шинели — шофер-загонщик, на обязанности которого лежала «загонка» вымытых машин в гараж, дожидаясь очередной машины, подошел к Жмакину перекурить. Жмакин злобно выругался.

— Сердитый,— сказал шофер.

Двигая желваками под бледной кожей, Жмакин продолжал работать — еще отворотив кран шланга, сбивал с покрышек налипшую и присохшую за ночь грязь.

— Ох, сердитый,— повторил шофер,— чего такой сердитый, дядя?

— Уйди,— сказал Жмакин.

Парень не ушел. Жмакин повторил давешний номер, но так, что шофера окатило с головы до ног. Шофер подошел к Жмакину вплотную и сдавленным голосом спросил:

— Сдурел, малый?
— Уйди,— сказал Жмакин.
— Набью морду,— сказал парень.
Молча Жмакин поднял шланг и направил струю воды снизу вверх в лицо шоферу. Шофер, захлебнувшись и кашляя, кинулся на Жмакина, но Жмакин бил в него водою, отступая шаг за шагом. Со всех сторон бежали женщины, работавшие на мойке машин. Шофер, совершенно мокрый, с перекошенным от злобы лицом, опять кинулся на Жмакина, но тот стоял, прислонившись спиной к радиатору автомобиля, и с радостной яростью хлестал из шланга. Наконец кто-то догадался и перекрыл воду в шланге, повернув кран. Но Жмакин поднял над головой медный ствол шланга и хрипло сказал:
— Не лезь, убью.
Уже порядочная толпа собралась вокруг шофера и Жмакина. Все молчали. Было понятно, что затевается нешуточная драка. Шофер вдруг плюнул и ушел. Жмакин, глупо чувствуя себя и порастеряв уже злобу, не двигаясь, стоял со своим оружием в руках и поглядывал на удивленные лица собравшихся женщин.
— Ты что, скаженный? — спросила самая молодая и бойкая женщина в вишневом платочке и в ватнике на крепком теле.
Кто-то засмеялся.
— Ну чисто бешеная собака,— сказала другая женщина и сделала такой вид, будто дразнит собаку.— На, укуси,— крикнула она, показывая свою ногу, обтянутую сапогом.— На, куси!
Все засмеялись.
— Брось свой пулемет,— сказала жирная старуха,— слышь, дядя! Все равно патронов нет.
— А красивенький,— крикнула длинная черная мойщица и блеснула глазами.
Опять засмеялись. Жмакин бросил шланг и с независимым видом, открыв перекрытый кран, вновь начал мыть машину. Женщины разошлись, только длинная мойщица с черными глазами стояла возле Жмакина и улыбалась.
— Глядите, дядя, меня не облейте,— сказала она.
— А не надо? — баском спросил он.
— Конечно не надо,— сказала она,— я могу через это воспаление легких схватить. . .
Он промолчал.

— Вы, наверное, отчаянный,— опять сказала девушка,— Да? Ох, вы знаете, я до того люблю шпану. Наша маловская шпана известная, но я всегда со шпаной раньше гуляла. Честное слово даю. Мальчишки должны быть отчаянные. Верно? А не то что этот Васька.

— Какой Васька?

— Да загонщик Васька. Сразу напугался. Я, мол, сознательный.

— А может, он в самом деле сознательный,— сказал Жмакин.

— Сознательный.

— А тебя как зовут?

— Женька,— сказала девушка,— а вас как?

— Альберт,— сказал Жмакин,— пока до свиданья.

И повернулся к черненькой спиной.

Минут через пятнадцать мокрый Васька вернулся к машинам. Лицо его было сурово, белесые брови насуплены. Когда Жмакин на него посмотрел, он отвернулся.

— Где же твоя милиция? — спросил Жмакин.

Васька, не отвечая, влез в машину, включил зажигание и нажал стартер. Стартер не брал. Васька опять нажал. Опять не взяло.

— Не любишь ручкой,— сказал Жмакин.

— На, заведи,— коротко сказал Васька и протянул из окна кабины Жмакину ручку.

— Сам заведешь,— сказал Жмакин.

Несколько минут он смотрел, как мучается Васька,— в одно и то же время надо было заводить ручку и подсасывать воздух,— Васька бегал к кабине и каждый раз не успевал. Мокрую шинель он сбросил и бегал в одной, тоже мокрой, гимнастерке, от которой шел пар. На одиннадцатый раз Жмакин сунул руку в окно кабины и подсосал воздух, в то время когда Васька заводил. Васька сел за руль и угнал машину на профилактику, потом вернулся за другой. Мокрая его шинель лежала на старом верстаке. За тяжелыми пятитонными машинами пели женщины-мойщицы. Больше готовых к угонке машин не было, Васька сел на верстак и сказал Жмакину:

— Директор меня убедительно попросил, чтобы я с тобой подзанялся. Ты будешь, Жмакин?

— Я?

— Директор говорит, так что с тебя спрашивать нечего, бо ты сегодня директора тоже плесканул.

— Было дело,— сказал Жмакин.

— А ты чего такой нервный? Больной, что ли? Директор говорил — больной.

— Немножко есть,— сказал Жмакин.

Ему вдруг сделалось стыдно простодушного этого парня. Васька неловко переобувался — завертывал ноги сухими частями портянок и кряхтел.

— Да, бывает,— покряхтывая, говорил Васька,— у нас раньше работал тут бригадиром один усатик — здоровый дядя, как напьется, так сейчас представлять. Я, кричит, кто? И с ума сошел. Очень просто. Представилось ему, что он не больше не меньше как гриб. Так и доктор сказал: особое помешательство. Не веришь?

Они поговорили еще, и Жмакин опять взялся за шланг. До семи часов он мыл машины, а когда пошабашили, опять подошел Васька и сказал, что директор поручил ему заняться со Жмакиным практической ездой.

— А инструкторские права у тебя есть? — шуря глаза, спросил Жмакин.

— Да тут на дворе,— сказал Васька,— какие тут права? Научу загонять машины, вот и все права.

— Поглядим,— сказал Жмакин и пошел в душевую, не оглянувшись даже на Ваську. А Васька проводил Жмакина глазами, покачал головой и пошел в гараж как следует просушиться.

Опять наступил вечер, первый после рабочего дня за многие годы. Жмакин поел в столовой биточков, форшмаку, вымылся под душем, отскоблил от грязи казенные резиновые сапоги. На душе у него было смутно. К чему это все? И сапоги, и душ, и Васька-дурак? Но был тихий весенний вечер, небо было безоблачно, тянуло вечерней весенней, беспокойной сыростью. Сейчас бы идти, идти. Он почистился, пригладил волосы, надел пальто нараспашку, подмигнул Никанору Никитичу и вразвалку пошел к проходной. Его не выпустили. Он стал скандалить, требовать, орать.

— Да пропуска у тебя нет, беспокойный ты человек какой,— сказал Жмакину усатый дядька с винтовкой,— нет пропуска, понял?

Жмакин отправился к коменданту и не застал его, заместителя тоже не было. Тогда он стал искать выхода

другим путем — через забор или как-нибудь понезаметнее. Ходил злой, поплевывал под огромным кирпичным брандмауэром, потом возле высокой каменной стены, потом возле сараев, выстроенных друг подле дружки. Наконец нашел щель. Сунулся. Там внутри было забито и забросано ржавой жестью, трубами. Полез. Но дальше оказалась колючая проволока, Жмакин рванул об нее полу пальто и с яростным ужасом услышал жалобный треск рвущейся материи. Проклиная весь мир, в темноте и в грязи он долго выпутывался из проволоки, долго вылезал по гремящей жести и сложенным трубам; все это вдруг покатилось с грохотом вниз, Жмакин сорвал о кирпич кожу с ладони и ногами вперед, как на салазках, слетел в талый снег, в лужу. А тут, как нарочно, две женщины с носилками сваливали мусор. Одна из них вскрикнула, другая засмеялась.

— Ну чего,— крикнул Жмакин,— чего смешного?

Как был, в грязи, что-то шепча, он пошел в контору, прорвался мимо секретарши и влетел к директору в кабинет. Пилипчук, поставив перед собой судок с простывшим жирным супом, обедал и читал газету. Увидев Жмакина, он смешно открыл рот, но тотчас же сделался серьезным и спросил, в чем дело.

— Пропуск,— тяжело дыша, сказал Жмакин.

— Куда пропуск? — заглядывая в судок и вылавливая ложкой картофелину, спросил Пилипчук.

— На волю, куда же еще,— сказал Жмакин.

— А здесь тебе неволя? — спросил Пилипчук.

Жмакин молчал.

Директор, неприязненно глядя на Жмакина, предложил ему сесть. Жмакин сел. Пилипчук отставил от себя судок, снял с тарелки крышку и, сделав удивленное лицо, принялся за второе.

— Ну говори, говори,— произнес он, аппетитно жуя,— что ж ты молчишь?

— В город хочу выйти,— сказал Жмакин.

— Зачем?

— Да погулять.

— Не нагулялся еще?

— Вы меня не оскорбляйте,— мутно глядя в лицо директору, сказал Жмакин,— что вы мне тычете позорное прошлое?

— Ох ты,— сказал директор,— уже перековался. Уже прошлое. Нет, брат Жмакин, этот номер не прой-

дет. Ты, брат Жмакин, вор, и пока не станешь настоящим работягой — никто тебе не поверит. Какой интересный. Один день поработал, и уже — мое прошлое. Будто бы есть у тебя настоящее. Настоящее твое — знаешь что? Озлобленное хулиганство. Ты на каком основании загонщика сегодня водой облил? За что? Ты почему затеял драку, о которой весь гараж говорит? К тебе почеловечески, а ты как бешеная собака. Чем ты лучше Василия? Чем ты можешь похвастаться? Воровством? Хулиганством? Пьянством? Скажи пожалуйста, какой хват нашелся. Я перед Василием должен за тебя извинения просить, что, дескать, больной человек. С какой стати? Пропуск ему подай! Гулять ему надо! Поди посиди дома, о жизни своей подумай!

— Хватит, думал,— негромко и тяжело сказал Жмакин.

— Что хватит? — перегибаясь через стол и щуря медвежьи гневные глаза, заспрашивал директор.— Чего хватит? Видно, мало думаешь, Жмакин. Да чего говорить. Позвоню сейчас Лапшину, что ты не хочешь работать как человек, и дело с концом.

Он сорвал с телефона трубку, подул в нее и вызвал коммутатор милиции.

— Разве ж я не работаю? — спросил Жмакин.

— Филонишь,— коротко сказал Пилипчук.— Кабинет Лапшина дайте! — крикнул он в трубку.

— Товарищ Пилипчук,— сказал Жмакин.

— Чего?

— Не надо!

Жмакин показал рукой на трубку. В глазах у него выступили слезы.

— Лапшин,— крикнул Пилипчук,— здорово, Лапшин! Я по поводу Жмакина.

Гневно глядя на Жмакина, он кричал в трубку:

— А? Не слышу. Нет, в порядке. Показал класс работы. Что? Молодец парень. Мы из него сделаем такого шофера, что весь Союз удивится. Не веришь? Я тебе говорю! Нет, организованно держится. Теперь я за него ручаюсь. Партбилет мой? Не боюсь, не побелеет. Я тебе говорю — золото парень. Да, у меня он сидит. На, говори!

И резким движением он протянул Жмакину телефонную трубку через стол.

Что говорил Лапшин, Жмакин не слышал, а если и слышал, не понимал. На вопросы Лапшина он по-военному отвечал: «Слушаюсь, товарищ начальник». Его трясло. Повесив трубку, он увидел, что Пилипчука в кабинете нет. Прошла минута, другая. Прошло минут пятнадцать. В комнату заглянула стриженая секретарша и спросила, кого Жмакин ждет. Он объяснил. Секретарша передернула плечами и сказала, что товарищ Пилипчук уехал в Смольный на заседание.

10

В часовне шел урок. Никанор Никитич, мягко ступая в ночных туфлях, ходил возле стола, вздергивая голову и мечтательно говорил:

— В капиталистических странах техническая интеллигенция частично капитулировала, и, таким образом, электрификация. . .

Вокруг стола, с которого скатерть была снята, сидело человек семь народу. Писали диктант. Тут были два старых шофера, три грузчика, стрелок из военизированной охраны и уборщица — полная, неповоротливая женщина с усердными глазами.

— Перед «таким образом» какой знак препинания? — спросил шофер с круглой лысиной.

— Подумайте,— сказал Никанор Никитич и, наматывая на палец ленточку от пенсне, опять стал ходить из угла в угол.

Жмакин прошел к себе в алтарь, понюхал воздух, отдающий ладаном, и лег на раскладушку, неприятно под ним заскрипевшую. Ему надо было думать, и он, закрыв глаза, стал собираться с мыслями, но вдруг уснул и проспал до утра без снов, спокойно, ни разу не повернувшись. А утром съел бутерброд, купленный впрок, выпил стакан кипятку и, чувствуя себя сильным, крепким и бодрым, вышел на работу — мыть машины.

В перерыве он пообедал, а пошабашив и умывшись, сам сказал Василию:

— Начнем помаленьку?

— Можно,— сказал Васька.

Нарядчик — длинный и серьезный человек по фамилии Цыплухин — позвонил директору, спросил, можно ли дать трехтонку. Потом сказал:

— Бери девяносто шестьдесят два. Только имей в виду!

— Чего в виду, чего в виду,— закричал Васька,— чего вы пальцем грозите!

Они сели в кабину, Жмакин за руль, Васька сбоку.

— Теперь слухай,— сказал Васька,— гляди и слухай, какая тут картина. Ты что, в гаражах работал?

— Работал,— сказал Жмакин.

— Раз работал, значит повторим. Что мы имеем перед собой в кабине? Мы имеем рулевое управление, имеем два тормоза, ручной и ножной, имеем стартер — вон он, пупка, торчит, гляди. . .

— Вижу,— сдерживая презрение, сказал Жмакин.

— Дальше мы имеем конус, иначе сцепление, имеем акселератор и имеем рычаг скоростей. Вон оно яблочко. Повтори.

Жмакин повторил по возможности более равнодушным голосом. Васька два раза его поправил, он стерпел. К Ваське не поворачивался — глядел прямо перед собой в смотровое стекло. Васька велел ему плавно выжать конус и поставить первую скорость, потом вторую, потом третью, потом четвертую. После этого он начал рассказывать о сцеплении.

— Может, поедем? — раздувая ноздри, спросил Жмакин.

— Быстрый какой,— сказал Васька.— Меня знаешь сколько долбили теоретически, пока я до практики дошел. Итак, в чем же заключается сцепление?

Жмакин смотрел перед собой и не слушал. Васька раскраснелся, с каждой минутой говорил все увлеченнее и вдруг заставил Жмакина выйти из машины и поднять капот.

— Теперь гляди сюда,— приказывал он,— наклонись, не стесняйся спинку погнуть. Шоферское дело знаешь какое? С ума можно сойти.

Из гаража вышел Цыплухин и позвал Ваську. Жмакин сел в кабину, захлопнул дверцу, поднял опущенное стекло и, сжав зубы, включил зажигание. Потом нажал стартер, выжал конус, поставил скорость и дал газу. Грузовик, как жаба, прыгнул вперед. Раздувая ноздри, Жмакин на первой скорости стал разворачивать машину. На секунду он увидел Ваську, бегущего навстречу, потом Васька пропал, и навстречу побежала каменная стена гаража. Жмакин сильно вертел рулевую баранку,

но стены были везде. Тогда он рванул тормоз. Машина остановилась в двух шагах от стены, задрав радиатор,— передними колесами Жмакин успел въехать на кучу щебня.

Он заглушил мотор, вздохнул и закурил.

Через секунду к машине подбежал Васька. Пот катился с него градом, на лице была ярость. Жмакин запер кабину изнутри и сказал Ваське через стекло, что машина побежала сама.

— Врешь нахально! — крикнул Васька и затарабанил в стекло кулаком.

— Успокойтесь,— сказал Жмакин.

Васька походил вокруг машины, покурил.

— Ну, теперь заходи,— сказал Жмакин,— только не верещать. Подумаешь, делов.

— Поставь задний ход,— сухо сказал Васька.— Теперь пять. Да не рви конус, черт паршивый.

Жмакин схватился за руль.

— Пусти руль,— сказал Васька.

Машина попятилась на кирпичный брандмауэр.

— Разобьешь машину,— в отчаянии закричал Васька,— пусти руль!

— Не пущу,— сказал Жмакин,— а ты пусти. Иначе разобью.

Васька со стоном отпустил. Жмакин быстро вывернул руль и схватился за тормоз. Машина остановилась.

— Ну ученичок,— сказал Васька,— с ума сойти можно.

— То ли еще бывает,— заметил Жмакин.— Давай покурим.

Они закурили, косясь друг на друга. Жмакин покрутил головой и засмеялся.

— Чего ты? — спросил Васька.

— Потеха, ей-богу,— сказал Жмакин.

Докурив, он велел Ваське вылезать из машины.

— Новости,— сказал Васька.

— Вот тебе и новости,— сказал Жмакин, без вас обучимся. Вытряхивайся.

Но Васька не вылез. Жмакин вновь завел машину и поехал крутить по двору. Машина уже слушалась его, он сидел торжествующий, но бледный. Когда Васька хватался за руль, он бил его по руке и говорил: «Не лапай, не купишь». Крутили долго. Жмакин ездил между зданиями гаражей, объезжал кладбище грузовиков, пя-

тился, разворачивался, тормозил, и под конец так ловко, что Васька выразил ему одобрение, после чего Жмакин немедленно высадил его и начал ездить один.

Уже стемнело, когда они загнали машину в гараж.

— Мерси,— сказал Жмакин,— как получу права, так тебе сразу угощение.

— Знаешь, тебе до прав еще плясать,— сказал Васька.

— Посмотрим,— сказал Жмакин.

Прошла неделя,— директора он не видел. По утрам он мыл машины, вечерами Васька обучал его практической езде. По двору Жмакин ездил уже отлично. На второй неделе он, высадив по обыкновению Ваську из кабины, с ходу загнал трехтонку задом в гараж. Васька, увидев это, закрыл руками лицо. Жмакин, не смущаясь, выехал вновь во двор и вновь загнал машину задом в гараж.

— Да не гони, черт,— кричал Васька,— куда ты гонишь?

В это время во дворе появился Пилипчук. Он шел в сапогах, в желтой обшарпанной кожаной тужурке, в руке у него был сложенный портфель. Загнав машину, Жмакин вылез из кабины, но раздумал и выехал навстречу директору.

— По городу ездил? — спросил Пилипчук.

— Нет, не ездил,— сказал Жмакин.

— Ну поедем,— сказал Пилипчук и сел рядом со Жмакиным.— Повезешь меня домой.

— Да у меня ж прав нет,— робея, сказал Жмакин.

— Как-нибудь,— сказал Пилипчук.

Стрелок, увидев директора, отворил ворота и не спросил пропуск. Жмакин, осторожно объезжая колдобины, поехал по Второй линии.

— Медленно едешь,— сказал Пилипчук.

Жмакин нажал железку сильнее. Грузовик заскакал. Поехали по Среднему проспекту, потом по Девятой линии к мосту. Пилипчук насвистывал, глядя вперед и спрятав руки в карманы, точно его вез настоящий шофер.

— Арестуют меня за такое дело,— сказал Жмакин.

— Как-нибудь,— опять ответил директор.

На площади Труда Жмакин зазевался и едва не уда-

рил радиатором в подводу, но Пилипчук вовремя схватил руль и вывернул передок. Молча поехали дальше. Васька в своей шинели сидел сзади в кузове, спиной к кабине, и пел песню, вспоминая те времена, когда он был грузчиком.

— Мотор совсем не знаешь? — спросил Пилипчук.

— Маленько знаю,— сказал Жмакин.

— Подзаймись,— сказал Пилипчук,— через неделю-две можешь, пожалуй, получить права.

Возле Мойки директор вылез.

— Товарищ директор,— внезапно осмелев, спросил Жмакин,— можно мне немного за город поехать? Немного подучиться.

— Одному?

— Зачем одному? С Василием.

— Попробуй,— сказал Пилипчук.

Василий перелез к Жмакину, Жмакин развернулся и поехал на Петроградскую. Здесь совсем уже была весна. Васька опустил боковое стекло, высунул голову. Он все пел, не мог остановиться. Еще не стемнело, воздух был чист и прозрачен, вода за деревянными перилами моста была такого розового цвета, что больно глядеть. Жмакин сидел за рулем по Васькиной инструкции — в свободной позе, как в кресле.

— Жмакин, а Жмакин,— сказал Васька, поворачиваясь своим курносым лицом к нему,— это правда или неправда, люди говорят про тебя?

— Чего про меня люди говорят?

— От, например,— смущенно сказал Васька,— что ты будто бы из жуликов? Небось врут.

— Врут, суки,— невозмутимо сказал Жмакин.— Ты, браток, не слухай. Мало ли чего говорят. Про тебя такое, брат, треплют, что спасения нет.

— Чего про меня треплют? — быстро и испуганно спросил Васька.

— У-у, братуха,— сказал Жмакин. Он никак не мог придумать, что бы врали про Ваську, а только, усмехаясь, покачал головой.

Проехали Новую Деревню.

Теперь перед ними лежали болотца, подернутые легким туманом — серебристым, сглаживающим очертания, неясным и призрачным. Где-то далеко неярко и ласково теплился желтый огонек. Была прохладная майская белая ночь.

— Во, природа,— значительно произнес Васька.

Машина плавно бежала по дороге возле бесконечного ряда столбов, беленных известью. Неожиданно сзади вынырнул поезд — черный, длинный, с темными окнами, завыл и стал обгонять. Железнодорожный путь лежал рядом с шоссе. Жмакин поднажал железку, грузовик вырвался вперед и пошел ровно с поездом, но поезд опять обогнал, громкая песня раздалась из последнего вагона, мелькнул красный огонек, и стало тихо.

Проехали мостик.

Тут было видно море и далекие неподвижные острия парусов на горизонте. Запахло рыбой. Горел костер, возле костра сидели люди, неподалеку старик в картузе смолил баркас.

Васька запел:

Лиловый негр вам подает пальто.

— Почему лиловый? — спросил Жмакин.

— А хрен его знает,— сказал Васька,— лиловый и лиловый.

В засыпающей Лахте Жмакин остановил машину и, сказав Ваське, что сейчас вернется, побежал по знакомым переулочкам. Все было тихо вокруг, печально, загадочно. Дорогу вдруг перебежала черная кошка. Жмакин с ожесточением плюнул, вернулся назад и побежал в обход мимо станции. Залаяла собака. Он окликнул ее негромко и услышал, как она застучала по забору хвостом. Он забыл, как ее звать.

— Жучка, Жучка,— шепотом говорил он,— Шарик...

Погладил по сырой шерсти и заглянул в Клавдино окно. Там сидел Гофман и что-то рассказывал. Лампа-молния горела на столе, покрытом плюшевой, знакомой-знакомой скатертью... Гофман был выбрит, в пиджаке с галстуком, лицо его, как показалось Жмакину, имело нахальное выражение. Жмакин зашел сбоку и заглянул в ту сторону, где стояла Клавдина кровать. Клавдя лежала на кровати, укрытая до горла своим любимым пуховым платком, беленькая, гладко причесанная, и улыбалась. Сердце у Жмакина застучало. «Дочка небось в столовой спит,— думал он,— небось мешает». Уже задыхаясь от неистовой злобы, не помня себя, он наклонился, взял кирпичину и отошел, чтобы, размахнувшись, швырнуть в окно, но вовремя одумался и так с кирпи-

чом в руках пошел назад по тихим и сонным переулочкам к шоссе. Возле шоссе он бросил кирпич в канаву, обдернул пальто, поправил кепку, придал лицу выражение деловитости и влез в кабину. Васька все пел.

— Повидал дамочку? — спросил он разомлевшим голосом.

— Какую дамочку? — сказал Жмакин.— За папиросами на станцию бегал.

И, развернув грузовик, он с такой стремительностью поддал газу, что Ваську откинуло назад, и сам Жмакин стукнулся головой.

— Полегче бы,— сказал Васька безнадежным голосом, зная, что Жмакин все равно не послушается.

— Ладно, полегче,— ответил Жмакин и, отчаянно нажав сигнал, повел машину в обгон осторожно плетущегося бьюика.

17

Почему он ревновал? Какие у него были основания? Не смыкая зеленых глаз, он лежал час за часом на своей раскладушке в часовне в алтаре. За узкими стрельчатыми окнами плыли легкие, розоватые утренние облака. Роса упала на булыжники двора, на железные крыши гаражей, на купол часовенки. Жмакин все лежал не двигаясь, смутно представляя себе красивое сухое лицо Гофмана и вспоминая, как тот поглядывал на Клавдю. Лежа на своей раскладушке, он думал о том, что происходит там сейчас, или вчера в это время, или позавчера, когда лил весенний дождь и он, Жмакин, беседовал с педагогом. Стискивая зубы, он придумывал самые оскорбительные фразы, он составлял их из бесчисленных, ужасных по своему безобразию слов. «Ладно,— думал он,— ничего». И, задыхаясь от душного, спертого воздуха часовни, от запаха ладана, от старческих вздохов и бормотания Никанора Никитича, он вертелся на скрипучей раскладушке, вскакивал, пил воду и все грозился кому-то, ругал, ненавидел и жалел себя. Уже и мысли у него не осталось, что Клавдя не изменяет ему. Почему бы, собственно, не изменить? Все люди на земле лучше, чем он, вор, непутевый бродяга, психопат и бездельник. Зачем он ей? Ей дядя нужен наподобие Гофмана, специалист, серьезный человек,

член профессионального союза. Небось у Гофмана целый бумажник напихан справками! Небось он трудовой список имеет, какой полагается. А у него, у Жмакина, что? Чужая койка в бывшей православной часовне?

И она, с его, Жмакина, ребенком, будет жить с Гофманом, будет жена Гофмана, и в паспорте ее зачеркнут фамилию Корчмаренко и напишут Гофман. Клавка Гофман.

Тряся головой, он вскочил, накинул пальто и вышел на крыльцо часовни.

Какое утро, сияющее и великолепное, наступало! Какой начинался день! И как хорошо и остро попахивало бензином на огромном, чистом дворе! Как ровно, в струнку стояли зеленые грузовики! Как солнце всходило!

«Ладно, ничего,— думал он, вздрагивая от утренней сырости,— найдем и мы себе под пару. Наслаждайтесь, любите! Мы тоже не шилом шиты, не лыком строчены. Насладимся любовью за ваше здоровье. Будет и наша жизнь в цветах и огнях. Оставайтесь с товарищем Гофманом, желаю счастья. Но когда Жмакин станет человеком,— извините тогда. Вы тут ни при чем. Не для вас он перековывался из жуликов, не для вас он мозолил свои руки, не для вас он мучился и страдал. Черт с вами».

А он действительно мучился и страдал. Не привыкший к труду, раздражительный и нетерпимый, он вызывал в людях неприятное чувство к нему, и его сторонились, едва поговорив с ним. Злой на язык, самолюбивый, он никому не давал спуску, задирался со всеми, все делал сам, никого ни о чем не спрашивал, и если говорил спасибо, то как бы подсмеиваясь,— говорил так, что уж лучше бы не говорил вовсе. Даже покорный и скромный Васька раздражал его. Он видел в нем не просто безобидного курносого и мечтательного парня, а соглядатая, кем-то к нему подосланного и подчинившегося ему, Жмакину, только внешне, потому что иначе каши не сваришь. Это и в самом деле было так: Васька хитрил со Жмакиным по совету Пилипчука.

— А чего,— сказал Ваське директор,— ты с ним осторожненько. Станет человеком, обломается. Это пока он такой индивидуальный господин.

И Васька действовал осторожненько, но Жмакин был хитрее Васьки и скоро раскусил дело. А раскусив, понял, что Васька сам по себе, и что вовсе Жмакин им не командует, и что как раз в подчиненном якобы Васькином положении — Васькина сила.

«Все воспитывают,— со злобной тоской думал Жмакин,— все с подходцем, ни одного человека попросту нету. . .»

Однажды он сказал об этом Лапшину. Лапшин наморщил лоб, усмехнулся и ответил:

— А ты будь как все. Сразу и перестанут воспитывать. Очень нужно.

— Под машинку постричься?

— Это как? — не понял Лапшин.

— Вы говорите «как все»,— щуря злые глаза, сказал Жмакин,— значит, как Васька или как Афоничев, или как вроде них.

— Почему,— все еще усмехаясь, сказал Лапшин,— будь лучше их.

— Как?

— Подумай.

Была белая, теплая летняя ночь. Лапшин и Жмакин сидели в садике на Петроградской стороне возле Травматологического института. Лапшин был в белом, даже сапоги на нем были белые, брезентовые. Несмотря на то что Лапшин усмехался, лицо его выглядело грустным и уже немолодым.

— Товарищ начальник,— сказал Жмакин,— я извиняюсь за один вопросик. Не обидитесь?

— Нет,— сказал Лапшин и закурил.

— Товарищ начальник,— сказал Жмакин, и голос его дрогнул,— как бы вы, допустим, поступили на таком деле: если бы вас баба обманула?

— Не знаю,— сказал Лапшин,— меня никто никогда не обманывал.

И отвернулся.

— Что же, вы скажете, может, что вы не влюблялись в девчонок?

Лапшин молчал.

Жмакину стало неловко, он покашлял и вобрал голову в плечи. Лапшин сидел боком к нему, и его простое лицо в сумерках белой ночи выглядело необыкновенно усталым и замученным.

— Работать надо, Жмакин,— вдруг подобранным голосом сказал Лапшин,— землю перепахивать. На каждом участке работы можно революцию сделать.

— Э! — сказал Жмакин.

— Я бы тебя за это «э» так бы жахнул мордой об стол,— внятно и злобно сказал Лапшин,— так бы жахнул... Если бы не был твоим следователем.

— Да жахайте,— виновато сказал Жмакин,— пожалуйста...

Опять замолчали.

— Какая такая может быть революция в нашем гараже,— сказал Жмакин,— объясните мне за ради бога.

— А Стаханов?

— Чего Стаханов? — не понял Жмакин.

— Почитай, узнаешь,— сказал Лапшин,— вырос дурак дураком...— Он сердито затянулся, далеко и ловко забросил окурок и встал.

Встал и Жмакин.

Медленно они шли по аллее, и оба чувствовали, что не договорили до конца.

— Так-то,— сказал Лапшин,— не тоскуй, Жмакин. Все по своим местам встанет.

— Может быть, и так,— вяло согласился Жмакин.

Возвращаясь по Кронверкскому домой на Васильевский, Жмакин обогнал ту черненькую высокую девушку с блестящими глазами, которая назвалась Женькой на мойке машин в первый день работы Жмакина. Она плелась позевывая, с сумочкой в обнаженной руке, в светлом платье, простоволосая. Было в ней что-то жалкое, и, вероятно оттого, что она показалась ему жалкой, он вдруг почувствовал себя таким одиноким, заброшенным и никому не нужным, что с неожиданной для себя лаской в голосе окликнул ее и взял под руку.

— Вот так встреча,— говорила она,— прямо как в кино. Верно? И вы вовсе не Альберт, да? Вы как раз Лешка Жмакин.

— Федот я,— сказал он, и оба засмеялись.

Она шла от подруги, у которой было заночевала, но, по ее словам, ребята начали безобразничать, и она решила уйти. От нее пахло вином, и чем дальше они шли, тем больше и острее Жмакин испытывал то чувство, которое прежде, до Клавди, испытывал всегда к женщинам: чувство презрительной и брезгливой жалости. Он вел ее под руку, она опиралась на него, он слышал, как

пахнет от нее пудрой и вином, прижимал ее голую руку к себе и испытывал тяжелое раздражение оттого, что не обогнал ее, а идет с нею, и оттого, что Клавдя бросила его, и оттого, что он одинок, заброшен и несчастен. «На,— думал он,— гляди со своим Гофманом. Плевал я. Вы там, мы тут. Без вас обойдемся. От, чем нам плохо? Раз, два и в дамки».

И, заглядывая Жене в глаза, он запел нарочно те лживые и паршивенькие слова, которые пел когда-то давно, в одну из самых отвратительных минут своей жизни:

Рви цветы,
Пока цветут
Златые дни.
Не сорвешь,
Так сам поймешь, —
Увянут ведь они.

Женя смеялась, а он, близко наклоняясь к ее миловидному круглому лицу, спрашивал:

— Правильно? А, детка? Верно я говорю?

У Народного дома они сели на лавку. Жмакин замолчал и подсунул свою руку под спину Жени.

— Не щекотать,— строго сказала она, и оба они тотчас же сделали такой вид, что пробуют, кто из них боится щекотки.

Немного поговорили о гараже, о том, что он «растет», потом Женя сказала, что ей надоело жить без красок.

— Жизнь должна быть красочная,— говорила она, слегла поднимая ноги и щелкая в воздухе каблуками,— мне хочется чего-то такого жуткого и захватывающего...

Жмакин слушал, сжав зубы, втягивая ноздрями запах пудры. «Красок ей надо,— думал он,— чего-то такого жуткого. Скажи пожалуйста».

Положенный срок прошел. Все вокруг было как полагается. И белая ночь, и парочки, целующиеся на скамьях, и предутренняя прохлада. Даже пиджак свой отдал Жене, на всех соседних скамейках мужчины были без пиджаков.

— Замуж я не хочу,— говорила Женя,— все бесцветно и серо...

Молча он прижал ее к себе, но она уперлась руками ему в грудь; он прижал сильнее, она согнула руки и тихим, как бы сонным голосом сказала:

— Не надо.

— Чего не надо? — грубо спросил он. И вдруг такая злоба наполнила его, что он отпустил ее и сразу совершенно спокойным голосом сказал: — Не надо, так и не надо.

— А? — не расслышала она, оправляя смятое платье.

— Не надо, так не надо,— раздельно и внятно повторил Жмакин.

— Вы какой-то странный,— жалобным голосом сказала Женя,— я просто даже не понимаю. . .

Он сидел, закрыв глаза, презирая себя, ужасаясь почему-то. «Никого не надо,— со страшной тоской думал он,— присушила, пропал теперь Жмакин. Нету нам с тобой, Жмакин, никаких других баб. А нашу бабу забрал Гофман. Забрал и смеется. . .»

Играя желваками, он раскрыл тупые глаза и поднялся. Женя, имея оскорбленное выражение, тоже поднялась и опять заговорила о том, что он странный.

— Не надо, так не надо,— в третий раз сказал он,— чего в самом деле. . .

И, почувствовав жалость к этой, как ему казалось, оскорбленной им девушке, он зарычал и сделал вид, что укусит ее.

Никанор Никитич не спал, когда Жмакин вернулся домой.

— Добрый вечер,— сказал Жмакин.

— Доброе утро,— сказал Никанор Никитич,— чайку не желаете?

Он отложил книгу, снял пенсне, видимо расположенный поговорить, и, улыбнувшись доброй улыбкой, подошел к Жмакину.

— Ну,— спросил он, упираясь пальцем ему в живот,— что?

Сели за стол пить чай.

— Как собака,— сказал Жмакин,— ладаном пахнет. Какая у нас жилплощадь. Верьте слову — все ладаном пропахло, даже чай.

— Я привык,— сказал Никанор Никитич.

— Никанор Никитич,— вдруг сказал Жмакин,— меня жена бросила.

Старик посмотрел круглыми глазами, потом ужаснулся, а Жмакину стало смешно.

— Я пошутил,— сказал он,— будь я проклят, пошутил. Никакой у меня и жены-то нет. Сам один. Сам себе хозяин, сам себе и хозяйка. Да. Надо работать. Выучусь на шофера, начну деньги загонять бешеные, оторву себе костюмчик сиреневый, ботинки с гамашами, а?

— Может быть, может быть,— растерянно сказал Никанор Никитич,— очень может быть.

Уже уходя спать, Жмакин спросил про Стаханова.

— Вы не знаете, кто такой Стаханов? — изумился Никанор Никитич.

— Знаю, но не все,— сухо сказал Жмакин.

— Ну, тогда садитесь,— сказал старик,— я вам попытаюсь изложить. Это не так просто, имейте в виду...

Оттопырив губы, он налил себе стакан крепкого чаю, придал лицу значительность и начал рассказывать.

Он уставал и изматывался еще и потому, что был плохо грамотен, а готовясь к сдаче шоферского экзамена, приходилось много читать и разбираться в кое-каких чертежах. Да и не только в чертежах. Надо было знать мотор, электрооборудование, смазку. Васька его обучал. Но самолюбие Жмакину не позволяло быть у Васьки учеником, он должен был Ваську поражать, удивлять, зная все вперед, да так, чтобы Васька терялся, ахал и разводил руками. И как только Васька понял, чего хочет Жмакин, он с удовольствием начал ахать и разводить руками,— в сущности, это было не так уж трудно, потому что Жмакин действительно его удивлял. Но и хвастался Жмакин тоже на удивление.

— Что, здорово? — спрашивал он у Васьки.— Я, брат, инженер буду, а не шофер. Вы ерунда, узкие специалисты, я дальше хочу пойти и пойду...

— А что ж не пойти,— поддакивал Васька,— у кого какие способности. Есть человек — орел, с ходу берет предмет. А есть — бревно. Долбишь, долбишь — ничего.

— Вроде меня,— хитро подмигивал Жмакин.

— Зачем вроде тебя. О тебе разговора нет,— как бы смущаясь, говорил Васька,— ты парень с головой...

— То-то,— говорил Жмакин, посмеивался и похлопывал смиренного Ваську по широкому плечу.

Целый день он мыл машины — зарабатывал. Денег было очень мало — в получку девяносто рублей, и от

невозможности выбросить по старой памяти рубль-другой на ветер он нередко злился.

— Работаешь, работаешь,— кричал он тихому и ни в чем не повинному Никанору Никитичу,— мучаешься, мучаешься, и что в результате? Не желаю!

Однажды, обозлившись после очередной получки, он поехал в кафе «Норд», сел за столик под белым медведем, нарисованным на зеленом стекле, почитал газету и с маху наел на двадцать семь рублей одних сладостей, решив, что теперь по крайней мере месяц не захочется сладкого. Осталось меньше семидесяти рублей. Два рубля он дал на чай, купил пачку папирос за пять и уткнулся в газету, а когда поднял глаза, то увидел, что в кафе входят Клавдя в миленьком синем платье и Федя Гофман — розовый, как поросенок, носатый и довольный. Жуя приторное пирожное с кремом, Жмакин спрятался за газету и взглядом, полным гнева, следил, как носатый и белобрысый Федя по-хозяйски выбирал столик и как улыбалась знакомой робкой улыбкой Клавдя. На ней были новые туфли с пряжками, и Жмакин сразу же подумал, что эти туфли купил ей Гофман. Жадными и злобными глазами он оглядывал ее фигуру и вдруг заметил уже округляющийся живот, заметил, что бока ее стали шире и походка осторожнее.

«Мой ребенок,— подумал Жмакин,— мой» — и, как бы споткнувшись, застыл на мгновение и усмехнулся, а потом тихим голосом подозвал официанта и заказал себе сто граммов коньяку и лимон.

Клавдя и Гофман сидели неподалеку от него, наискосок, в кабине, и не замечали, что он следит за ними, а он смотрел, и лицо у него было такое, точно он видел нечто чрезвычайно низкое и постыдное.

Гофман сидел вполоборота к нему, и особенное чувство ненависти в Жмакине возбуждала шея Гофмана, розовая, подбритая и жирная. «А ведь не толстый парень,— думал Жмакин,— даже худой, а вот наел себе загривок — не переплюнуть». И он представлял себе, как Гофман обнимает Клавдю и как Клавдя дотрагивается до этой розовой, жирной и подбритой шеи. Мучаясь, облизывая языком сухие губы, он с яростным наслаждением вызывал самые мерзкие образы, какие только могли возникнуть в мозгу, и примеривал эти образы к Клавде, и тут же грозил ей и ему, и придумывал, как он подойдет сейчас к ним обоим, скажет какое-то

главное, решающее слово на все кафе, а потом начнет бить Гофмана по морде до конца, до тех пор, пока тот не свалится и не запросит пощады.

Он выпил коньяк и заказал себе еще.

Гофман подпер лицо руками и говорил что-то Клавде, а она, роясь в сумочке, рассеянно улыбалась. Им принесли кофе и два пирожных.

«Небогато»,— со злорадством подумал Жмакин.

Уронив папиросы, он нагнулся, чтобы поднять их, и, когда брал в руки газету, увидел, что Клавдя смотрит на него.

«Поговорим»,— холодея и напрягаясь всем телом, как для драки, подумал он, но не встал, а продолжал сидеть в напряженной и даже нелепой позе — в одной руке палка с газетой, в другой — коробка папирос.

Она подошла сама и остановилась перед ним, робкая, счастливая, прелестная. Грудь ее волновалась, на лице вдруг выступил яркий и горячий румянец, и какая-то дрожащая, неверная улыбка появилась на губах.

— Лешенька,— проговорила она покорным и потрясающе милым ему голосом.

Он молчал.

— Леша,— опять сказала она, и он увидел по ее глазам, что она испугалась и что она понимает,— сейчас произойдет ужасное.— Леша,— совсем тихо, с мольбой в голосе сказала она.

Тогда, почти не раскрывая рта, раздельно и внятно на все кафе он назвал ее коротким и оскорбительным площадным именем. И спросил:

— Съела?

В соседних кабинах поднимались люди. Гофман встал и, обдергивая на себе пиджак, крупным шагом подошел к Жмакину. Явился откуда-то кривоногий швейцар. Все стало происходить как во сне.

— Тихо,— сказал Гофман,— сейчас же тихо.

— Я вас всех убью,— скрипя зубами и наклонив вперед голову, сказал Жмакин.— Я вас всех порежу...

В его руке уже был нож, и он держал его как надо, лезвием в сторону и книзу. Подходили люди. Женщина в зеленой вязаной кофточке вдруг крикнула:

— Да что же вы смотрите! Он же пьян!

— Отдать нож,— фальцетом сказал Гофман.

Жмакин поднял голову и поднял нож. И тут, неловко присев, Гофман отпрянул за Клавдю. Нож в занесен-

ной руке Жмакина дрожал. Он сразу не понял, что произошло. А когда понял, почти спокойно положил нож на стол, сказал «извините» и пошел к выходу. Его остановили. Он отмахнулся. Его опять остановили.

— Извините, товарищ,— сказал он,— мне идти надо.

И, чувствуя странную легкость в теле, вышел на улицу. Там его догнала Клавдя. Он посмотрел на нее, улыбнулся дрожащими губами. Она взяла его за руку и повела в «Пассаж».

— Ничего, ничего,— говорила она,— ничего, пойдем.

Он шел покорно, молча.

В углу возле автоматов они остановились.

— Ну,— сказала она,— что с тобой?

— Я тебя люблю,— ответил он, и губы у него запрыгали,— я тебя люблю,— повторил он со злобой, страстью и отчаянием, глядя в ее лицо,— слышишь ты? Я, я...

Спазмы мешали ему говорить.

— Не плачь,— голосом, полным нежности и силы, сказала она,— не плачь.

— Я и не думаю,— ответил он,— меня только душит...

И он показал на горло.

— Почистим желтые? — спросил вдруг из темного угла притаившийся там чистильщик сапог.

— Зачем ты с ним? — спросил Жмакин.— Зачем он тебе нужен?

— Он мне не нужен.

— Давай почищу желтые,— опять сказал чистильщик и ткнул Жмакина щеткой в ногу.— Почистим, хозяин?

Взявшись под руки, они вышли на улицу и сели в садике. Жмакин все еще задыхался.

— А Федьку кинула?

— Потеряла,— сказала она, прижимаясь лицом к плечу Жмакина.

Он засмеялся, потом закашлялся и сказал:

— Я б его зарезал. Но только курей я не могу резать, извиняюсь. Курица твой Федька.

Кашляя, он тряс головой и крепко сжимал ее холодную руку в своей горячей, уже загрубевшей ладони.

— И тебя б я тоже зарезал,— говорил он,— слышь, Клавдя...

— Ох, страшно,— смеясь и все теснее прижимаясь лицом к его плечу, ответила она.

Потом она стала расспрашивать; он отвечал ей про то, как живет, и что делает, и кто ему стирает белье. Мимо шла лотошница с мороженым, он подозвал ее и купил порцию за девяносто пять копеек. Но деньги он куда-то сунул и никак не мог найти. Лотошница стояла в ожидании, он все рылся по карманам. Клавдя поглядывала на него снизу вверх и облизывала мороженое.

— О, черт,— сказал Жмакин и принялся выворачивать карманы наружу. Денег не было.

Клавдя положила мороженое на бумажку, открыла сумочку и заплатила рубль. Лотошница дала ей пятак сдачи и ушла.

— История,— сказал Жмакин растерянным голосом,— тиснули у меня последнюю двадцатку. Я ее вот сюда пихнул, в кармашек.

Клавдя внезапно взвизгнула, захохотала и затопала ногами по песку.

— Ну чего ты, дура,— сказал он,— чего смешного? Залезла какая-то сволочь в карман и тиснула...

У нее по лицу текли слезы, она швырнула в песок недоеденное мороженое и так хохотала, что Жмакину сделалось обидно.

— Да брось ты,— сказал он,— дура какая.

И подумав, добавил:

— Очень даже просто. В «Пассаже» тиснули, в подъезде. Такая толкучка безумная, вот и тиснули. Ничего хитрого нет...

Он замолчал и долго сидел насупленный и сердитый. Потом развеселился, и опять они говорили, перебивая друг друга и смеясь неизвестно почему. Вечерело. Клавдя попросила его проводить ее в Лахту. Она встала первой, а он еще сидел и смотрел на ее ноги в узеньких новых туфлях.

— Федька справил?

— Какой ты, право, дурак,— поморщившись, сказала она.— Ну вставай, пойдем!

И потянула его за руку.

На вокзале они влезли в вагон посвободнее и встали в тамбуре. Клавдя дышала на него, и глаза у нее сделались робкими и печальными. Он держал ее руку в своей и перебирал пальцы.

— Теперь скажи,— велела она,— путаешься с бабами?

— Нет,— ответил он.

— И ничего такого не было?

— Одна была, Женька,— запинаясь сказал он,— но только я ничего такого не позволил себе. Ты что, не веришь?

— Дрянь какой,— сказала она,— сволочь паршивая. . .

Отвернулась и замолчала.

— Ну чего ты, Клавдя,— сказал он,— даже странно. Клавдя, а Клавдя?

Он дотронулся до нее, она ударила его локтем и всхлипнула.

— Чтоб я провалился,— сказал Жмакин,— чтоб мне руки-ноги пооторвало, чтоб я ослеп навеки. Слышь, Клавдя?

Она молчала.

— Играете со мной,— сказал он,— сами с Федькой путаетесь. Знаем ваши штучки!

Клавдя засмеялась со слезами в голосе, повернулась к нему, взяла его за уши и поцеловала в рот.

— Вор, жулик, бандит,— сказала она,— на что ты мне нужен, такая гада несчастная. . .

Поезд остановился.

Рядом стоял другой, встречный.

— Пойдем ко мне ночевать,— сказала Клавдя,— иначе я умру. Бывает, что среди ночи я проснусь и думаю, что если ты сейчас, сию минуточку не придешь, то я умру. С тобой так бывает?

— Нет, как раз так не бывает!

— А как бывает?

— Как-нибудь,— сказал он.

— А знаешь,— сказала она,— я тебя теперь все равно не отпущу. Я тебя сама выбрала. Понял?

Она говорила быстро, он никогда не видел ее такой.

— А мне отец знаешь что сказал, знаешь? Он сказал: «Клавка, рожай. Ничего. Прокормимся. Я заработаю. А ты маленько отойдешь — сама работать будешь. Бабка справится». Бабка тоже говорит — справлюсь, но плачет. В три ручья плачет. Стыдно ей, что без мужа.

— Я хвост собачий,— сказал Жмакин,— я не муж.

— Какой ты муж,— сказала Клавдя.

Они подошли к дому. На крыльце в рубашке «апаш»

сидел Федя Гофман, курил папироску и глядел на небо. Жмакин обошел его, как будто он был вещью, и вошел в сени. Навстречу стрелой вылетел Женька и повис на Жмакине. Потом вышел Корчмаренко и спросил у Клавди:

— Нашла?

— Нашелся,— розовея, сказала Клавдя.

Женька робко заговаривал со Жмакиным. Он, видимо, ничего не знал. Появилась бабка. Увидев Жмакина, она увела его в кухню и, называя Николаем,— по старому паспорту,— стала упрашивать записаться с Клавдей. А Клавдя стучала в кухонную дверь и кричала:

— Баб, не мучай его. Лешка, ты еще живой?

— Живой,— смеясь, отвечал он.

А бабка плакала и, утирая слезы концами головного платка, говорила ему, как сохнет и мучается без него Клавдя и что, какой он ни есть человек, пусть женится и дело с концом, а там будет видно.

— Эх, бабушка,— сказал Жмакин,— недалекого и вы ума женщина. Что, я не хочу жениться?

До ужина он сидел с Клавдей в ее комнатке и тихо разговаривал у открытого окна. Потом Клавдя принесла лампу и ушла собирать на стол, а он взял с подоконника книгу и тотчас же нашел в ней телеграмму на Клавдин адрес. Телеграмма была Клавде, а подпись такая: «Целую. Жмакин». «Что за черт,— подумал он,— когда это я депеши посылал?» В книге была еще одна телеграмма, а в ящике и на полочке под слоником целая пачка телеграмм, и все подписанные Жмакиным. Он совершенно ничего уже не понимал и все перечитывал нежные и ласковые слова, которые были в телеграммах. «Это кто-то другой под меня работает,— вдруг со страхом подумал он,— это она с кем-то путается, это она вкручивает, что ли?»

Вошла Клавдя. Лицо у него было каменное. Она поглядела на него, на телеграммы и вспыхнула. Никогда он не видал таких глаз, такого чистого и в то же время смущенного взгляда.

— Это что? — спросил он и постучал пальцем по столу.

— Ничего,— сказала она.

— Это что? — опять, но громче спросил он.

— Дурной,— сказала она и, глядя ему в глаза, добавила: — Это я сама писала.

— Как сама?

— А сама,— сказала она,— не понимаешь? Сама. Чтоб они все не думали, будто ты меня бросил. Я ж знаю, что ты не бросил,— быстро сказала она,— я-то знаю, а они не знают. И еще я знаю, что ты, кабы догадался, такие телеграммы обязательно бы посылал. Или нет?

Румянец проступил на его щеках.

— Да или нет?

— Я не знаю,— сказал он.

— А я знаю,— ответила она,— я все знаю. И когда я, бывало, помню, все про тебя думала, так читала эти телеграммы. . .

Он молчал, опустив глаза.

— Пойдем,— сказала она и взяла его за руку,— идем, там картошка поспела.

И они пошли в столовую, где ничего не изменилось, где, так же как зимой, гудело радио и где благодушный Корчмаренко читал газету и Женька занимался опытами по руководству «Начинающий химик».

18

К ужину подавали рассыпчатый отварной картофель в чугунке, сельдь, залитую прозрачным подсолнечным маслом и засыпанную луком, и для желающих водку в тяжелом старинном графине. Старик Корчмаренко со значительным видом налил сначала себе, потом Жмакину, потом вопросительно взглянул на Федю Гофмана. Не отрываясь от газеты, Федя Гофман накрыл свою рюмку ладонью.

— Читатель,— сказал Корчмаренко.

Женька влюбленными глазами разглядывал Жмакина. Окна были открыты настежь,— с воли в комнату вливался сырой вечерний воздух. Протяжно и печально замычала в переулке корова. Гукнул паровоз. Старуха с хлопотливой миной на лице подкладывала Жмакину побольше картошки. Все молчали. Федя Гофман стеснял и Клавдю и Жмакина, может быть безотчетно он стеснял и других. На лице у него было написано недоброжелательство, а встретившись нечаянно глазами со Жмакиным, он покраснел пятнами, и на висках у него выступил пот.

— Ну что ж,— сказал Корчмаренко,— выпьем по второй.

— Можно,— сказал Жмакин.

С третьей рюмки он на мгновение захмелел и сказал в спину уходившему Феде Гофману:

— А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют.

Федя дернул плечами и скрылся, а Корчмаренко спросил:

— Чего это случилось, а?

— У нее спросите,— ответил Жмакин, кивнув на Клавдю.— Она знает.

— Ладно,— сказал Корчмаренко,— потом на крылечке отдохнем.

Клавдя ушла к дочке, Женьку услали спать, а двое мужчин вышли на крыльцо курить табак. Корчмаренко молчал, пуская дым к светлому небу. Жмакин подозвал Кабыздоха и чесал ему за ухом. Оба молчали. В соседних домах уже не было света, все тише и тише становилось в поселке, только собаки порою побрехивали, да гукали на Приморке паровозы.

— Но, Жмакин? — спросил наконец Корчмаренко неуверенным голосом.

— Чего но? — отозвался Жмакин.

— Как вообще дела?

— Да никак,— сказал Жмакин,— в правительство пока что меня не выдвинули.

— А я думал, выдвинули,— сказал Корчмаренко.

— То-то что нет,— сказал Жмакин.

Помолчали.

Корчмаренко притворно зевнул.

— Спать, что ли, пойти,— ненатурально предложил он.

— Можно и спать,— согласился Жмакин.

— Ой, Жмакин,— кашляя, сказал Корчмаренко,— не выводи меня из себя.

— Да ну там,— усмехнулся Жмакин,— как это я вас вывожу. . .

— Воруешь?

— Нет.

— Работаешь?

— Да.

— Хорошо работаешь?

— А зачем хорошо работать? — сказал Жмакин. — Это нигде не написано, что надо хорошо работать.

— Значит филонишь?

— Филоню.

Молча и быстро они поглядели друг на друга.

— У, подлюга,— жалобно сказал Корчмаренко.

Жмакин рассмеялся, отпихнул от себя собаку и встал.

— Ничего, хозяин,— сказал он,— как-нибудь бочком и проскочим. Петушком.

Клавдя лежала уже в постели, когда он вернулся. Он снял башмаки, пиджак, аккуратно повесил брюки на спинку стула и спросил у Клавдии, была ли она у Лапшина. Она ответила, что была несколько раз.

— Понравился?

— Хороший человек,— сказала Клавдя.

— Все мы хорошие для себя,— сказал Жмакин,— я для себя, например, самый лучший.

— Вот и неправда,— не согласилась Клавдя,— ты для себя самый худший, а не самый лучший.

Он подумал и согласился.

Потом он лежал рядом с ней и, слушая, как наверху ходит Федя Гофман, говорил:

— А ему фигу с маком. Верно, Клавдя? А? Или ты уже, не дай бог, спишь?

В пять часов утра он, оставив ее спящей, уехал в город и, не заходя в часовню, пошел на работу — опять мыл машины, но, против обыкновения, ни с кем не ссорился, не задирал и был до того смирным, что Васька у него даже спросил:

— Чего это ты, Жмакин, такой тихий?

Под вечер во дворе возле слесарной мастерской Жмакин столкнулся с Женей. Оба разом остановились.

— Ну и ну,— сказала девушка,— носишься как очумелый.

На ней была синяя промасленная роба, и лицо у нее было в копоти и в масле.

— Ваську не видела? — спросил он.

— Нет,— сказала она,— я тоже как раз его ищу.

Еще постояли друг против друга.

— А ты зачем его ищешь? — спросил Жмакин.

— Кручу с ним,— ответила Женя.

Помолчали.

— Ничего, парень подходящий,— произнес Жмакин,— только жениться ему рано, ты ему голову не больно завертывай.

Женя фыркнула.

— Ну ладно,— сказал Жмакин,— некогда. Желаю счастья.

Он козырнул и ушел домой, в часовню. В часовне Пилипчук и Никанор Никитич пили чай и играли в домино, в козла. Жмакин козырнул директору и улегся на раскладушке в алтаре.

— Вам письмо, Жмакин,— сказал, покашливая, директор,— мы за вас тут расписались.

Жмакин вышел, шлепая босыми ногами. Пилипчук протянул ему большой твердый конверт со штампами и наклейками. Сделав непринужденное лицо, Жмакин вскрыл конверт и вынул оттуда несколько бумаг, сколотых булавкой. Бумаги были твердые, толстые, аккуратные, и на всех были фиолетовые печати и значительные подписи с энергическими росчерками и хвостами. От волнения у Жмакина тряслись руки, и глаза бестолково косили, так что он толком ничего не мог разобрать и разобрал только одни штампы и подпись прокурора республики. На другой бумаге сообщалось решение Верховного суда и было слово «отклонить», и Жмакин сразу же помертвел и выругался в бога и в веру, но Пилипчук взял у него из рук бумаги и мерным голосом все растолковал ему.

— Значит, дадут паспорт? — страшно расчесывая голую грудь ногтями, спросил Жмакин.— Или я ошибаюсь, товарищ Пилипчук?

— Несомненно дадут,— сказал Пилипчук,— тут имеется прямое на этот счет указание.

— Временный?

— Зачем же временный,— поблескивая медвежьими глазками, сказал Пилипчук,— получите отличный паспорт, постоянный.

— Интересно,— сказал Жмакин и ушел опять к себе в алтарь.

Тут на раскладушке он разложил на голом животе бумаги и конверт и стал, нахмуриваясь, вчитываться в драгоценные фиолетовые слова, рассматривать подписи, печати с гербом Союза и даже поглядел одну печать на свет. Все было точно, ясно и правильно, и эти бумаги вполне заменяли ему паспорт на сегодняшнюю ночь —

они даже были почетнее паспорта, потому что тут стояли подписи больших людей, и наличие таких подписей как бы говорило о том, что Жмакин чуть ли не коротко знаком и с прокурором Союза, и с председателем Верховного суда, и еще с разными значительными лицами, которые так тщательно занимались исследованием и рассмотрением его, Жмакина, жизни и судьбы.

«Чуть что — теперь к ним,— раздумывал Жмакин, глядя в потолок,— прямо в приемную и прямо к прокурору. «Извиняюсь, не помните ли вы одного некоего по фамилии Жмакин? Так я и есть тот самый Жмакин. Очень приятно!»

И ему рисовались необыкновенно сладкие и необыкновенно приятные картины — одна другой радужнее и умильнее: то он, Жмакин, где-то такое катит в машине с Верховным прокурором, вольно и непринужденно с ним беседуя. То Верховный суд в полном составе пришел в гости на квартиру к Жмакину, но не сюда, в алтарь, а на какую-то настоящую квартиру, в которой уже присутствует Лапшин, и вот все садятся за стол пить чай, и тут же лежат паспорта стопкой, как блины на блюде, и Жмакин сам себе заполняет паспорт...

...Проснулся он очень скоро, и сразу же схватился за бумаги и стал опять читать их и перечитывать, а потом написал в Лахту телеграмму и пошел ее отправлять на телеграф.

Уже ночь была — теплая и душная, и на улице дул горячий ветер, носил пыль. На Малом проспекте на углу возле папиросного ларька стоял знакомый человек; Жмакин заглянул сбоку поближе и узнал Балагу. Желтый свет изнутри ларька освещал мятое лицо Балаги, нечистую руку с отросшими ногтями и толстую махорочную самокрутку, которую Балага посасывал, беседуя с одноглазым инвалидом-ларечником. «Что такое,— с тревогой подумал Жмакин,— чего он тут ходит-бродит? В тюрьме бы ему, а он, вишь ты...»

Миновав один раз ларек, он вернулся и, слегка оттолкнув Балагу, спросил себе папирос «Блюминг», пачку за шестьдесят пять копеек.

— Лешенька,— приветливо и осторожно сказал Балага,— здравствуй, орел!

— А, Балага,— равнодушно ответил Жмакин и, взяв сдачу, пошел по Четвертой линии мимо тяжелых камен-

ных домов, нагретых за день солнцем и пышущих сейчас жаром, как из печки.

Расчет был правильный.

Балага, заметив равнодушие и незаинтересованность Жмакина, побежал за ним.

— Погоди, Леша,— крикнул он, ковыляя сзади и погромыхивая посошком по выщербленным плитам тротуара,— куда побежал, отец?

Жмакин остановился и, разорвав новую пачку папирос, закурил.

— Здравствуй, Лешенька,— сказал Балага.

— Здравствуй, Балага,— ответил Жмакин и не подал руки.

— Куда поспешаешь? — спросил Балага.

— Дело есть,— сказал Жмакин.

— Не сидел?

— Да как сказать,— неопределенно произнес Жмакин, понимая, что Балага осторожно прощупывает его.

— Так,— сказал Балага.

— Ну ладно,— сказал Жмакин,— будь здоров, Балага.

— Куда поспешать-то,— сказал Балага,— нам спешить-то некуда, Леша.

— Да как раз есть куда.

— Ишь ты,— произнес Балага почтительно и, как показалось Жмакину, нагло.

В больших черных воротах дома, около которого они разговаривали, на каменной тумбе сидел человек и тренькал на гитаре. Вокруг него несколько девушек и парней щелкали семечки и лениво пересмеивались и переговаривались разомлевшими от душной и пыльной ночи голосами.

— А ты сам не сидел? — спросил Жмакин.

— Сидел,— сказал старик,— как же не сидеть. Обязательно сидел.

— За что же ты сидел? — спросил Жмакин.

— А по подозрению,— произнес Балага и чему-то усмехнулся.— Пришли, забрали, да и посадили. Но пришлось отпустить. Прокурор, спаси его бог, заступился. За что, говорит, держите старого человека?..

— Отпустили?

— Почти что так.

— Что значит почти? — сказал Жмакин.— Или отпустили, или не отпустили...

— Поди ты какой прыткий,— сказал Балага,— все ему вынь да положь. Научился у товарища Лапшина.

— А? — быстро спросил Жмакин.

— Бе,— ответил старик и засмеялся.

— Ты что это крутишь, старая сволочь? — срываясь на фальцет, спросил Жмакин.— Ты что юлишь?

Старик молчал.

— Чего глядишь? — спросил Жмакин.— Чего вылупился?

— Корнюху ты продал? — спросил Балага.

— Я,— вдруг успокаиваясь, сказал Жмакин.

— Врешь,— сказал Балага твердо.— Я Корнюху продал, а не ты. Я давно в своей преступной жизни раскаялся, и давно меня товарищи милицейские простили...

— Полицейские тебя простили, а не милицейские,— произнес Жмакин,— знаем, слышали...

Он мотнул головой и зашагал прочь от Балаги, но Балага догнал его и пошел с ним рядом.

— Слышь, Алексей,— сказал он,— не беги от меня, я тебе всю правду скажу.

— Пошел ты вон.

— Сердитый,— сказал Балага,— слышь, Леша, Корнюху-то того... В газете было написано черным по белому. Приговор приведен в исполнение. Ох, страшно.

— Уйди,— широко шагая, сказал Жмакин,— уйди, а то двину.

Тут тянулся высокий большой забор, и возле забора мерно ходил часовой с винтовкой и в фуражке, низко надвинутой на глаза. Миновали забор, вышли к воде. От сонных барж потянуло смолою. Большой бородатый мужик, поставив ведро на дрова, глотал воду, как лошадь.

— Барочник,— сказал Балага,— барочный человек. У них в старое время золотишко водилось. Был один немец, тюкал их — красивый дом построил.

— Оставь ты меня к чертовой матери,— сказал Жмакин,— что ты увязался?

— Дай пятерку,— сказал Балага.

— На, держи,— сказал Жмакин и, сунув Балаге в руку кукиш, зашагал мимо решеток заброшенной набережной к себе на Вторую линию.

Но тотчас же он подумал о том, что Балага, наверное, идет по следу и что тут не без Корнюхиных дружков-корешков, что Балага наверняка хочет вызнать, где

Жмакин живет, и хочет продать его Корнюхиным корешкам за хорошие деньги, и что надо Балагу закрутить и обдурить,— и он сразу же сделал старый вольт — юркнул в подворотню и притаился, вжавшись с силой в ворота и подобрав живот. Через несколько минут по щербатому тротуару проковылял Балага, держа голову набок и подпираясь батожком. Пыльник из драной клеенки бил его по ногам, он шел, как бы принюхиваясь, и Жмакин вспомнил, что про Балагу когда-то говорили, будто он был при царе выдающимся филером и будто ему поручали разные серьезные дела.

«Позвонить, что ли, Лапшину»,— подумал Жмакин, но сразу же отмахнулся от этой мысли, решив, что Лапшин, пожалуй, засмеется, узнав, как Жмакин испугался Корнюхиных корешков... «Сам справлюсь»,— заключил он и пошел осторожно вперед, покуривая папироску и думая о том, что, кажется, обдурил Балагу. Но на углу возле старого, сгоревшего по фасаду дома он почти столкнулся с Балагой, шедшим ему навстречу. Увидев Жмакина, Балага заморгал и сделал вид, что удивился.

— Эдак я тебя и порежу, чего доброго,— как бы шутя, но и серьезно произнес Жмакин,— не лазай, старичок, где не надо.

— Да ты что, одурел? — спросил Балага.— Я где переспать ищу, а он — порежу.

— Знаем — переспать,— сказал Жмакин,— что, у тебя квартиры нету?

— Моя квартира, брат, сто первый километр,— сказал Балага,— выслали меня товарищ Лапшин и еще другие товарищи. Парий я, вот кто.

— Ну и вали на сто первый километр,— посоветовал Жмакин,— чего тебе тут колобродить.

И он пошел вперед, не поверив Балаге, но больше уже не скрываясь от него. Что в самом деле! На перекрестке сонно стоял милиционер в каске, в перчатках, при нагане. «Как-нибудь,— решил Жмакин,— депешку отправим и спать. А завтра паспорт получим и финку приобретем. А финку не приобретем — нож наточим. Покупайте нашу жизнь за бешеные деньги кто желает!»

На телеграфе он взял бланк и наново написал всю телеграмму. Телеграмма получилась путаная, в ней было очень много слов, так много, что телеграфистка — раздражительная, с бархоткой на обнаженной шее —

посоветовала переделать вдвое короче. Жмакин пыхтел, пыхтел и не смог. Тогда телеграфистка крикнула ему из своей загородки:

— Молодой человек!

Он подошел.

— В чем там у вас дело? — сказала она.— Объясните, я напишу.

— Дело ясное,— сказал он потея,— я находился в заключении, сейчас оправдан, и приговор мой отменен. Я сейчас равный гражданин.

— Не понимаю,— сказала телеграфистка, испуганно глядя на Жмакина.

— Был несправедливый приговор,— громко сказал Жмакин,— то есть он был справедливый, но не совсем.

— Ах, так,— сказала телеграфистка.

Написав, она прочитала Жмакину.

— Ладно,— сказал он,— еще напишите — вечно твой Алексей.

— Вечно твой Алексей,— противным голосом продиктовала себе телеграфистка.— Так. Семь рублей сорок три.

Жмакин заплатил и вышел.

В сенях телеграфа дремал Балага.

— Пойдем, Балага,— сказал Жмакин,— проводи меня, раз так.

— Раз как? — спросил Балага.

— У, песья морда,— сказал Жмакин,— сколь же тебе за это заплатят?

Балага не ответил и не поднялся с лестницы. Но на Среднем проспекте, возле аптеки по правую сторону улицы, Жмакин заметил его тень.

«Хорошие деньги обещали,— подумал он,— корешки прибыли, наверное, дай бог. Ну что ж, померяемся. Миллиарды в валюте обойдется вам жизнь бывшего жулика Алексея Жмакина».

19

На следующий день Жмакин получал паспорт в Областном управлении. Для этого он отпросился с работы, купил на завтрак пару московских пирожков с рисом и отправился на площадь Урицкого. Там в темных, заплеванных и грязных коридорах он бродил с одним пар-

нем и беседовал о разных вещах; парень был незнакомый, но Жмакиным овладело болтливо-суетливое настроение, и потому он разговорился. Говорили о разных пустяках, потом подвергли суровой критике порядки паспортного управления и удивительный тамошний бюрократизм, потом побеседовали о работе, кто где работает и как получается с заработками. Жмакин с маху соврал про себя,— вышло так, что в месяц у него заработок свыше двух тысяч рублей.

— Но-но, браток,— сказал парень.

— А чего,— сказал Жмакин,— очень просто. . .

Он хотел было объяснить, но побоялся запутаться и угостил парня московским пирожком. По ухваткам своего собеседника, по слишком солидному его тону и по некоторым словечкам Жмакин понимал, что имеет дело с бывшим жуликом, но из деликатности не подавал виду, что понимает, и сам, конечно, ничего о себе не говорил.

Наконец Жмакина вызвали в большую грязную комнату. Там сидел лысый человек со строгим лицом, в форме и при оружии. У него был сильный, застарелый насморк, он говорил в нос и часто с воем и грохотом сморкался. Жмакин сел против него и поджал ноги.

— Рецидивист? — спросил лысый.

Жмакин промолчал.

Лысый еще покопался в бумагах и спросил, сколько у Жмакина приводов и судимостей.

— Несколько,— с осторожной наглостью ответил Жмакин.

— Как это у них там в Москве все просто,— сказал лысый,— диву даешься.

— Именно бывает, что в Москве просто,— произнес Жмакин,— а на некоторых местах не просто. Как пишется, власть на местах.

Лысый сделал вид, что не слышал. Жмакин ждал. Несколько минут прошло в молчании.

Лысый с неудовольствием еще раз прочитал все бумаги Жмакина, потом сложил их и ушел с ними в соседнюю комнату, а уходя, запер ящик своего стола на ключ.

«От вредная сволочь»,— с ненавистью подумал Жмакин.

Он ждал, раздражаясь все больше и больше, глядел в окно, вздыхая, скрипел стулом. Наконец лысый вер-

нулся, жуя на ходу и помахивая небрежно сложенными бумагами.

— Придется вам завтра зайти,— сказал он, по-хозяйски садясь за свой стол,— я завтра с начальством побеседую, и тогда уточним вопрос.

— Мне завтра некогда,— сказал Жмакин.

Лысый взглянул на него как бы даже с удивлением.

— Некогда мне завтра,— повторил Жмакин.

Не глядя на Жмакина, лысый стал возиться в ящиках своего стола. Бумаги, присланные Жмакину из Москвы, лежали на столе возле чернильницы. Он взял их и поднялся.

— Бумаги-то вы оставьте,— сказал лысый.

Жмакин пошел к дверям.

— Гражданин Жмакин! — с угрозой в голосе крикнул лысый.

— Ладно, посмотрим,— сказал Жмакин,— посмотрим, кто кого будет уточнять: Москва вас или, может быть, вы Москву.

Отдышавшись в коридоре, он закурил и пошел к начальнику. Туда его не пустила секретарша.

— Занят, занят и занят,— сказала она,— завтра.

Он спустился вниз и позвонил оттуда Лапшину. Лапшина не было.

— Окошкин есть? — спросил Жмакин.

— И Окошкина нет,— ответили ему.

Он вышел на площадь. Пекло солнце, было жарко, душно, пыльно. Жмакину сразу захотелось и пить и есть. Он немного прошелся по улице. Денег во всех карманах было рубля три, не больше. Волоча ноги, он дошел до «Пассажа» и пошел бродить по магазину, чего-то опасаясь, постреливая зелеными злыми глазами и покусывая губы. Руки у него дрожали. Он ничему не сопротивлялся и ни о чем не думал, у него было такое чувство, будто его несет в летний день речная вода, быстрая и опасная. И странно и приятно. На одно мгновение чувство укора пронеслось в душе, но он легонько выругался про себя, и все прошло. По спине пробежала дрожь — старая, уже полузабытая. Тут было много женщин, разгоряченных, с блестящими зрачками, крикливых, жадных. Пышными ворохами лежали на прилавках полуразмотанные штуки только что привезенных материй. Пахло ландрином, по́том и пудрой. Жмакин все сильнее — плечом, боком — врезался в толпу, к при-

лавку,— напряженные его руки привычно и крепко искали. На него закричали, чтобы он не лез без очереди; он ответил, что ищет свою жену, сделал еще одно движение вперед, прижал высокую красивую женщину бедром и ловко расстегнул сумочку. Постреливая в лицо женщине глазами и спрашивая ее насчет какого-то маркизета, он вытянул двумя пальцами из ее сумочки деньги и начал пятиться из толпы к выходу. Денег было пятьсот рублей в заклеенной банковской пачке. Посвистывая и посмеиваясь, он зашел в цветочный магазин, выбрал венок на могилу, очень достойный и достаточно дорогой, попросил написать на дощечке «т. Иволгину» — Иволгиным звали лысого работника из паспортного отдела — и послал венок в управление Иволгину. Девушка в магазине удивилась, но Жмакин объяснил ей, что тот Иволгин, который лично примет венок, всего-навсего брат покойного и что самому покойнику лично, разумеется, он бы не стал посылать венок.

Из магазина он пошел в «Норд», поел, выпил коньяку и позвонил Лапшину. Лапшина все еще не было. Тогда он позвонил Иволгину и спросил ненатуральным голосом, получил ли тот венок. Иволгин что-то закричал, чихнул в трубку и опять закричал. Жмакин постарался засмеяться, но почему-то было не смешно; он повесил трубку и заказал себе еще коньяку. Коньяк показался отвратительным. Он вышел на улицу. Было все то же: жара, пыль, запах смолы от торцов. Он медленно зашагал на Васильевский, думая о том, что паспорт ему, конечно, не следует давать. Четыреста рублей еще лежали в кармане. Уже дойдя до моста, он вернулся в «Пассаж» и нашел коменданта.

— У вас найдены триста пятьдесят рублей,— сказал он,— вот они. Какой-то ворюга уронил. По-моему мнению, тут больше было, наверное рублей с полтысячи. Видите, пачка?

И он стал рассказывать вымышленные подробности так длинно, что комендант вдруг перестал ему верить, и Жмакин понял это.

На улице он почувствовал себя превосходным человеком. Он нисколько не думал о том, что сверх истраченной сотни оставил себе еще пятьдесят. Он думал только о том, что вернул деньги, и относился к себе с почтительным уважением.

— Ну что? — спросил его Васька, когда он вернулся домой в гараж.

Жмакин не ответил.

— Получил паспорт?

— Нет, пока что не получил,— сказал Жмакин медленно,— но так я думаю, что получу на днях.

— Чего на днях? — сказал Васька.— Тебе завтра необходимо права сдавать. Понял? Категорически.

— Иди ты! — лениво сказал Жмакин.

— А почему не получил? — спросил Васька.

— Не поспел.

— Что значит не поспел?

— Ладно, до свиданьица,— сказал Жмакин и пошел в часовню.

Никанора Никитича не было дома. Жмакин сонно побродил по комнате, потом стал звонить по телефону — искать Лапшина. Лапшин исчез, точно сквозь землю провалился. И Окошкина тоже не было. От скуки Жмакин присел за стол и принялся расписываться, подыскивая росчерк покрасивее и потруднее. Было душно, вдалеке за крышами гаража, за кирпичным брандмауэром, над Невою, ворчал и погромыхивал гром,— гроза шла стороною, не освежая воздуха. Все темнее делалось. Изжелта-серые тучи заволакивали вечернее небо. Невнятное беспокойство с каждой минутой больше охватывало Жмакина. И подписи получались одна хуже другой — несолидные, коротенькие, совершенно неразборчивые. Он кинул карандаш, потянулся, попрыгал по комнате, разминая затекшее потное тело.

Зазвонил телефон.

— Да,— сказал Жмакин,— кого надо?

— Жмакин? — спросил знакомый голос.

— В порядочке,— сказал Жмакин.— Добрый вечер, товарищ Лапшин...

От звуков покойного голоса Лапшина, от его лаконической обстоятельности он сразу же почувствовал себя увереннее и стал рассказывать о том, как ему не дали паспорта.

— Интересно,— сказал Лапшин,— очень даже интересно. Так ты заходи ко мне завтра часиков эдак в одиннадцать.

— Утречком?

— Утром.

Когда Жмакин повесил трубку, в комнате стало сов-

сем темно. Тяжелые капли дождя вдруг ударили в стекло. Кто-то застучал в дверь снаружи.

— Открыто,— крикнул Жмакин,— давайте!

Опять застучали.

Жмакин отворил дверь и попятился назад. На крыльце часовни стоял высокий незнакомый человек в милицейской форме, другой поменьше в кепке и в кожанке, а сзади был дворник гаража, толстый Антоныч.

— Вы Жмакин? — спросил высокий.

— Я,— слабея ответил Жмакин,— я и есть Жмакин.

— Пройдемте,— сказал высокий, слегка грудью напирая на Жмакина.

Они вошли в часовню и закрыли за собой дверь. Дворник зажег электричество. Жмакин взглянул в лицо высокому. Это был человек с выщербленными передними зубами, с бесстрастным и сухим загорелым лицом, со светлыми пустоватыми глазами. Загар у него был красный, не здешний, и лицо было спокойное, уверенное.

— Так,— промолвил он, оглядывая часовню,— вы, гражданин, сядьте, а мы произведем обыск.

— Ордер у вас имеется? — спросил Жмакин.

— Все у нас имеется,— многозначительно сказал высокий,— и ордер, и всякое прочее...

Растворив дверцу шкафа, высокий остановился как бы в раздумье и легонько засвистал.

— Это не мои вещи,— сказал Жмакин.

— У них у всех вещи чужие,— сказал тот, что был в кожанке,— у них своих вещей не бывает.

Тяжелой походкой парень в кожанке прошел в алтарь и начал там что-то двигать и ворочать. Высокий неторопливо рылся в вещах, не принадлежащих Жмакину. Дворник Антоныч сидел возле двери на скрипучей табуретке и, укоризненно вздыхая, курил козью ножку. На воле шел дождь, медленный, все начинался и никак не мог начаться по-настоящему.

Жмакин дрожащими руками вытащил папироску и закурил. Мысли мешались в его голове. Он то корил Лапшина за подлость, то прислушивался к неровному, робкому шуму дождя, то опускал глаза, чтобы не встретиться взглядом с Антонычем, то думал о том, как его поведут через двор и как все увидят конец его жизни.

— Ладно, хватит,— сказал высокий тому, что был в кожанке, и, повернувшись к Жмакину, добавил: — Собирайтесь.

Посасывая папироску, Жмакин собрал себе арестантский узелок: смену белья, мыло, носки, легонькое дешевое одеяло, купленное на заработанные деньги, и, изловчившись, новую бритву «жиллет», чтобы лишить себя жизни. Бритву с конвертиком он покуда зажал в кулаке. Потом он накинул на плечи макинтош, надел кепку поглубже, до ушей, перепоясался, точно готовясь к длинному этапному пути.

— Пошли! — приказал высокий.

Жмакин подчинился, как подчинялся в тюрьмах, на этапах, при арестах. Больше он уже не принадлежал сам себе, он опять перестал быть человеком свободным, тем человеком, которому никакие пути не заказаны. «Ну что ж»,— подумал Жмакин и зажал в кулаке бритву.

Вышли на крыльцо. Антоныч густо закашлял: перекурился своей махоркой. Двор был мокр от прошедшего дождя. Смеркалось, но тучи пронесло и вдруг посветлело. Пахло свежей водой. Мальчишка сторожихи страшно прыгал голыми ногами по лужам. Двор был пуст и как-то удивительно тих и чист.

Пока Антоныч закрывал на замок часовню, все ждали. Парень, что был в кожанке, стоял на крыльце, ступенькой ниже Жмакина, и вдруг Жмакин как бы узнал его. Он и точно знал его, этого парня с голосом без выражения и с несколько бараньими глазами. Где-то они несомненно виделись, и не раз виделись. . .

Но Жмакин не додумал, увидел во дворе Никанора Никитича. Педагог шел неторопливо, в черном прямом пальто с бархатным воротничком, в мягкой шляпе, с тросточкой, прицепленной за руку.

— Не надо закрывать,— сказал Жмакин,— хозяин идет квартирный.

Краска кинулась ему в лицо. Никанор Никитич шел по двору напевая. Ноги его ступали криво по крупным булыжникам. Пока он не видел еще Жмакина, но встреча должна была произойти с минуты на минуту.

— Пошли,— с тревогой и с перехватом в голосе сказал тот, что был в шинели, и, опередив Жмакина, пошел по двору.

— Живо! — приказал тот, что был в кожанке.

Жмакин съежился и пошел между ними, опустив глаза. Он не видел, но чувствовал, как миновали они Никанора Никитича. Он даже услышал его слабый старческий кашель и почувствовал запах нафталина от

его пальто. Потом, оглянувшись, он заметил Антоныча, объясняющего что-то старику.

«Кончено»,— решил Жмакин.

Но не все еще было кончено. В проходной бок о бок он встретился с директором Пилипчуком, и тот, не заметив сопровождающих Жмакина, остановил его и заговорил с ним.

— Да что это с тобой? — спросил он, вглядываясь в Жмакина.

— Разговаривать не разрешается,— тревожным голосом сказал тот, что был в шинели.— Проходите, гражданин.

Помаргивая, Пилипчук уступил дорогу.

— Пока,— сказал Жмакин.

Они вышли. Возле ворот стоял легковой автомобиль. Шофера не было. За руль сел парень в кожанке. Милиционер сел сзади и посадил возле себя Жмакина. Пока парень в кожанке разворачивал машину, Жмакин заметил Пилипчука. Вытянув вперед голову, тот смотрел на машину.

За что же его арестовали? Что совершил он преступного? И как случилось, что арест происходит уже после прибытия бумаг из Москвы? Надо подумать, надо подумать. И в какую тюрьму его везут? Все Лапшин. Несомненно Лапшин. Кому другому быть, как не Лапшину? С подходцем начальничек. Но за что, за что? За те пятьсот, что он потянул в «Пассаже»? Но откуда знать Лапшину? Нет, нет, не за это. Так за что же? Может быть, это другая бригада? Может, это шестая бригада, или четвертая, или первая? Они, наверное, не знают, что бывший вор-рецидивист Жмакин помилован, прощен, что с ним нельзя так, за здорово живешь, в тюрьму?

И он говорит, не глядя на своего соседа, но громко и внятно:

— Вас товарищ Лапшин прислал?

Безнадежно. Ответа не будет.

— Если вас не товарищ Лапшин прислал, тогда вы, может быть, не знаете, что я имею бумаги. . .

Молчание. Автомобиль мчится по узкому проспекту Маклина. Рядом грохочет трамвай.

Жмакин вынул из бокового кармана пачку документов. Странно, что их не изъяли при обыске. И вообще. . .

— Вы из какой бригады?

Молчание.

Пересекли Садовую.

— А куда вы меня везете?

— Прекратить разговорчики.

Точка. Жмакин спрятал в карман свои бумаги. Может быть, весь арест — это просто-напросто самоуправство? Власть на местах?

Машина летит по мокрому асфальту. Потом брусчатка. Опять дождь. Это шоссе — магистраль на Пулково — Детское Село. Или на Пулково — Гатчину, нынче Красногвардейск. Было здесь похожено во время воровской жизни. Тут и малина была — вон в деревне. Тут и девочка одна была — рецидивистка, ох, тут прилично проводили время!

Вспыхнули и погасли огоньки аэропорта.

— В Красногвардейск меня везете, гражданин начальничек?

Молчание.

Машина урча ползет в гору. Пулковские высоты. Струи дождя секут смотровое стекло, в ушах ровно и густо шумит. И темно, темно — виден только спортивный флажок на пробке радиатора, да мокрый булыжник, да темные мокрые купы деревьев у шоссе.

Почему же, собственно, спортивный флажок? И почему в Красногвардейск?

— Может, вы с красногвардейского уголовного розыска, гражданин начальник?

Милиционер курит и косит глазом. Подбородок и щеки у него желтые. И глаз желтый и строгий.

Пропал мальчишка!

Так они едут пять минут, а может быть, полчаса. Может быть, даже час. Они едут бесконечно. Дорога идет то вверх, то вниз, опять вверх, опять вниз. От сплошного ливня брезентовая крыша автомобиля намокла и сочится водой. Вьется дорога.

> Но вот настали дни разлуки,
> Дорога вьется впереди...
> Пожмем скорей друг другу руки...

Жмакин поежился. Машина остановилась. Фары погасли.

Сплошной мрак и ровный одуряющий шум дождя.

— Выходи!

Он вышел, вывалился в темноту возле дороги и сразу попал ногами в ров. Хлюпнуло.

Пропал ребенок!

Шофер тоже вылез.

И милиционер с наганом в руке тоже вылез. Кто-то из них ударил его в шею.

— Иди! — неистово крикнул шофер.

Он рванулся в сторону, но его уже держали. Внезапно он почувствовал холодный пот и слабость в ногах.

— Да иди, сука! — крикнул милиционер и ударил его чем-то твердым, вероятно наганом.

Он шел спотыкаясь, ничего не видя, по мокрой, скользкой и липкой земле. Дождь заливал ему лицо. Он потрогал лицо, это был не дождь, а кровь. В который раз ему кровянили башку! Ноги у него сделались тяжелыми. Милиционер держал его за макинтош и сопел рядом. И бил рукояткой нагана в плечо, в шею и в голову. Тут уже нечего было считаться. Разве можно считаться, когда ведут на расстрел? Кто из них человек? Разве Жмакин сейчас человек? Он даже и не полчеловека! Он уже и не думает, он лишь извивается и норовит крикнуть нечеловеческим голосом:

— Кар-раул!

Милиционер с ходу бьет его рукояткой. Он тоже не человек. И шофер не человек. В них во всех не осталось никакого смысла.

Последние минуты. Может быть, даже секунды. Эх, не помер ты, Жмакин, в заполярной тайге, не задрали тебя волки... не проломили тебе голову портерной бутылкой пьяные жулики... Не перерезал тебя поезд, когда кидался ты под вагон, убегая из лагеря... Так ná же, подыхай на мокрой земле, в темноте, неизвестно зачем и за что.

Ни огонька впереди. Ни звука.

Прощай, Клавдинька, прощай, дорогая!

Пока, товарищ Лапшин!

Прощай, молодая жизнь!

Ох, Клавдинька, Клавдинька!

Стали. Но он еще идет. Его останавливают силой. Только тогда он остановился. Разве он человек сейчас? Он даже не понимает, за что его убьют. И кто они, эти убийцы? Он стоит, размякнув, опустив плечи. От милиционера пахнет мокрой шинелью.

— Копай яму,— говорит шофер страшно знакомым голосом. Голос ровный, без всякого выражения. У кого такой голос?

Если бы Жмакин был человеком, то он вспомнил бы. Но он не человек. Он ничего не помнит. И поза у него совершенно не человеческая. Он сидит в грязи, поджав под себя одну ногу, и ладонями копает для себя могилу в мокрой и вязкой земле. Он слышит, как хлюпает под его пальцами вода. От усердия он обламывает ногти. Скорей, Жмакин, копай себе могилу! Совершай самое противоестественное дело из всех, которые когда-либо делал человек. Скорее, скорее! Какие-то корни. Вырви их! Гнилая палка! Долой ее! Но как медленно идет работа.

Что это? Его, кажется, ударили?

Вероятно, ударили.

Тишина.

Дождь кончился.

Милиционер закурил и дал прикурить шоферу. Потянуло хорошим табаком.

Опять закапало с неба.

— Ну, Жмакин? Расскажи, как ты продал Корнюху.

Так вот кто такой этот шофер! Так вот за что должен умереть Жмакин! За Корнюху убьет Жмакина Корнюхин братишка.

Он молчит.

— Онемел?

Мысли вновь возвращаются к нему. Медленные, вялые. Потом быстрые. Потом, как в видении, проносится перед ним та ночь с Корнюхой. И он начинает косить глазами и приглядывается. Он что-то восстановил. Быть может, справедливость. Быть может, и умереть теперь можно по-человечески? Ведь умирали же... Но зачем умирать? Ах, лезвие потерял, прекрасное лезвие... Но почему же Лапшин? Да, да, Лапшин...

— Братишки,— приглядываясь и кося глазами, бормочет он,— братишечки...

Он целится, целится, но как ударить, куда и как бежать? Ах, ему бы ножичек, финочку, перышко... И голова болит, пробили ему-таки голову, наверное пробили.

А может быть, еще и не пропал мальчонка!

Миллионы в валюте вам обойдется жизнь товарища Жмакина. За товарища Жмакина товарищ Лапшин. А за товарищем Лапшиным железный закон.

— Братишечки...

И он врет вдохновенно и путанно, но, запинаясь, бормочет, складывает руки как на молитву и готовит намокший, облепленный грязью правый сапог для удара.

Он ударит этого, у которого наган. Как бы шинель не спружинила? Не спружинит! Попробуем, Жмакин, в последний раз. Попробуем, Жмакин, авось не умрем. Не надо умирать, дорогой Жмакин! Жить надо.

И, отбросив сначала для разгона ногу назад, он со страшной силой бьет милиционера сапогом в низ живота. Бьет и бежит от своей могилы, от смерти, петляет, падает лицом в мокрую землю и опять бежит, опять падает и вновь бежит во тьму, к дороге, к шоссе; сзади выстрел, другой,— на, возьми Жмакина, на, попробуй, почем сто́ит, на, убей, коли можешь, на, возьми, выкуси!

Сырой ветер шумит в поле, гудят провода, столбы, значит,— шоссе, надо бежать по шоссе, и он бежит, задыхаясь, вперед, туда, где мерцают какие-то огни, где что-то такое показывается и вновь исчезает какое-то ослепительное сияние, ах, это машина. . .

Он останавливается, машет руками, танцует, кричит. Его лицо в крови, одежда на нем разорвана,— поймите, он убежал от смерти.

С воем тормозит грузовик. Грузовик полон красноармейцами. И начальник с кубиком, с бритым мокрым лицом вылезает из кабинки.

— Товарищ начальник,— говорит Жмакин,— поймите!

Тело его содрогается.

Вторая машина тоже остановилась. Она бежевая. Жмакин не может отвести от нее взгляда. Боец-красноармеец вытирает лицо Жмакина платком. Жмакин все-таки держится.

— Остановить движение,— говорит командир.— Поставить машину наперерез. А вы, товарищ,— он обращается к шоферу бежевой машины,— вы, товарищ, дайте назад и пришлите ту машину. Я ее видел. Она со спортивным флажом. Знаете? Белый с голубым.

И он делает неопределенное движение пальцами.

Обе машины ровно дрожат. Моторы не выключены.

Опять Жмакин идет в поле.

Бойцы растягиваются цепью. На правом фланге командир, потом Жмакин, потом бородатый заведующий молочной машиной.

— Один из них бывший офицер,— говорит Жмакин.— Белый офицер. Беляк. Сука.

Споткнувшись, он замолкает.

Тихо. Только хлопают по грязи сапоги бойцов.

— Я извиняюсь,— говорит Жмакин,— я немножко посижу на земле...

Ему кажется, что он сказал очень громко. Но он сказал так тихо, что его никто не услышал.

Цепь двигается дальше.

Он остался. Вначале он немного постоял, потом сел, потом лег в грязь. Большой колокол заныл над ним. Он потерял сознание.

Очень может быть, что его бы забыли тут, в поле, если бы не Лапшин и не Окошкин. Окошкин ходил по полю, сапоги его чавкали, он жег спички и перекликался с Лапшиным.

На шоссе тарахтели машины.

Уже светало.

Шофер с машины Лапшина беспокойно задергал поводок сирены.

— Ладно, подождешь,—сказал Лапшин.

Он светил фонариком и сосал потухшую папироску.

— Какой компот,— сказал Васька,— я тоже следов не вижу.

— Следов как раз много,— сказал Лапшин,— только Жмакина нет.

Они опять разошлись.

Наконец Лапшин увидел Жмакина. Тот лежал боком в грязи, глаза его были залиты кровью. Подбежал Окошкин. Пока Лапшин слушал, бьется ли у Жмакина сердце, Окошкин сигналил фонариком на шоссе, чтобы шли люди.

— Это они его так били,— сказал Лапшин в нос,— как вам понравится?

Сердце у Жмакина билось, но он был в обморочном состоянии. В машине нашелся индивидуальный пакет. Лапшин зубами сорвал бумагу и очень искусно сделал перевязку. Жмакин застонал.

— Но, но,— поощрительно сказал Лапшин,— терпи, брат!

Арестованных с Побужинским пересадили в грузовую машину, а Жмакина Лапшин посадил рядом с собой в оперативную. Васька Окошкин сел сзади и поддерживал заваливающуюся голову Жмакина. Лапшин с места развил совершенно бешеную скорость. Было скользко, машину несколько раз забрасывало; шофер, сидя сзади, беспокойно повторял все движения Лапши-

на и с ужасом поглядывал на спидометр. Вдруг Жмакин захрипел.

— Товарищ начальник! — крикнул Окошкин.

Лапшин затормозил и остановился.

— Помирает Жмакин,— сказал Васька.

Сделалось тихо. Под стук незаглушенного мотора Лапшин искал пульс и не мог найти. Рука у Жмакина была холодная.

— Отпустите горло,— как с того света сказал Жмакин,— задушусь.

Васька радостно захохотал. Лапшин стал разматывать бинт.

— Какая перевязка,— все еще задыхаясь, сказал Жмакин,— с ума можно сойти.

Он попросил воды.

Шофер выскочил из машины и тотчас же вернулся с водой в кожаном картузе. Вода была затхлая. Жмакин попил, помочил себе лицо и вздохнул.

— Повязали?

— Повязали,— с готовностью сказал Окошкин.

— Живыми?

— Живыми.

— Да,— сказал Жмакин.

Все молча ждали, что он скажет еще. Но он молчал.

— Мне Пилипчук позвонил, что тебя будто бы арестовали,— сказал Лапшин.— Мы и поехали.

— Да,— сказал Жмакин.

Потом он всхлипнул.

— Нервы шалят,— сказал сзади Окошкин.

Лапшин осторожно поехал. Все с тревогой прислушивались. Жмакин тихо плакал. Потом он задремал.

В половине шестого приехали в управление. Окошкин взял Жмакина под руку с одной стороны, шофер с другой. Лапшин внизу звонил по телефону в медпункт, чтобы к нему в кабинет зашел дежурный врач.

Уборщицы с подоткнутыми подолами мыли каменные лестницы, те самые, по которым столько раз Жмакина водили арестованным. Было пусто, со ступенек текла вода, пахло казенным зданием, дезинфекцией; наверху толстая уборщица пела:

Телеграмма, ах телеграмма...

— Ты отдохни, товарищ Жмакин,— сказал Васька Окошкин,— не торопись.

— Спешить некуда,— подтвердил шофер.

Ты лети, лети, лети, ах, телеграмма, —

пела уборщица.

Вахтер козырнул Окошкину. Они все еще подымались. На лестничной площадке был красиво убранный щит с государственным гербом Союза, с портретами Ленина и Сталина, с красными знаменами. Сколько раз Жмакин видел этот щит!

— Да,— сказал он,— побывал я здесь. Сколько раз меня приводили.

— Нечего вспоминать,— сказал Окошкин.— Что было, то прошло и быльем поросло.

— Это верно,— сказал шофер.

Сонный дежурный по бригаде принес Окошкину ключ от кабинета Лапшина. Васька отворил дверь и принес Жмакину переодеться свой старый костюм. Шофер принес в миске воды, полотенце и мыло.

— Умоетесь? — спросил он.

Было тихо, очень тихо. Жмакин долго мыл руки, потом лицо, так, чтобы не замочить перевязку. Окошкин и шофер смотрели на него с состраданием. В лице Жмакина было что-то такое, что пугало их. Казалось, он каждую секунду мог зарыдать. Губы у него дрожали, и в глазах было жалкое выражение. Несколько раз подряд он судорожно вздохнул.

— Ничего, ничего,— сказал Окошкин,— ты теперь полежи.

Дверь распахнулась. Властным и твердым шагом вошел начальник розыска. Шитые золотом знаки различия поблескивали на воротнике. Васька и шофер вытянулись. Жмакин тоже хотел встать с кушетки, но не смог.

— Здравствуйте,— сказал начальник,— вы Жмакин?

— Так точно,— сказал Жмакин.

— Сейчас придет врач,— сказал начальник.— Мне товарищ Лапшин докладывал о задержании. Вы знаете, кого удалось задержать?

— Не знаю,— сказал Жмакин.

— Этот, в милицейской форме, Карнаухов, иначе «папаша». Очень крупная фигура. Мы его ищем второй год. У нас есть сведения, что он не просто бандит...

Начальник помолчал.

— Вот оно как,— сказал он, протирая стеклышко пенсне.— Большое дело будет. Они вас куда повезли?

— Расстреливать,— сказал Жмакин,— я себе уже и яму копал...

— За Корнюху?

— Так точно.

Опять хлопнула дверь, пришли Лапшин и врач. Лапшин отворил окно. Сырой утренний ветер зашелестел бумагой на столе, одна бумажка сорвалась и, гонимая сквознячком, помчалась к двери. Васька Окошкин ловко поймал ее коленями.

— Вот так,— сказал врач, поворачивая голову Жмакину.

Начальник ушел. Лапшин сел за свой стол и задумался. Лицо его постарело, углы крепкого рта опустились. Окошкин с беспокойством на него посмотрел. Он перехватил его взгляд и тихо сказал:

— Поспать надо, товарищ Окошкин, верно?

— Ничего особенного,— сказал врач,— у него главным образом нервное. Я ему укрепляющее пропишу.

Лапшин пустил врача за свой стол, врач выписал рецепт и ушел. Ушел и шофер. Над прекрасной площадью, над дворцом, над Невой проглядывало солнце. Еще пузырились лужи, еще ветер пригнал легкую дождевую тучку и мгновенно обрызгал площадь, но непогода кончилась, день должен был наступить жаркий, летний.

— Ну, Жмакин,— сказал Лапшин,— поедем по домам.

— Можно,— с трудом ворочая языком, сказал Жмакин.

Вышли на площадь.

Лапшин сел за руль, Жмакин рядом с ним.

— Меня в гараж закиньте,— сказал Жмакин.

— Закинем,— ответил Лапшин.

Ярко-голубыми упрямыми глазами он глядел перед собою на мчащийся асфальт. Легко брякнули доски — автомобиль проскочил разводную часть моста — и понесся мимо Ростральных колонн, мимо Биржи, по переулочкам Васильевского. Все теплее и погожее становилось утро. И все спокойнее делалось на душе у Жмакина.

Несколько дней он провалялся, потом поехал в Лахту. Тут ничего не изменилось. Женька встретил его с визгом, Клавдя засияла и взяла за руку.

— Ну что? — спросил он.

— Ничего,— ответила она, покачивая его руку.— Кушать хочешь?

Ей всегда казалось, что он голоден или что ему надобно постирать или зашить, заштопать.

— Где пропадал?

— Болел немножко,— сказал он.

Вошли в дом. Тут было прохладно, пахло свежевымытыми полами, чистой отутюженной скатертью. На столе в кувшине стоял коричневый хлебный квас. Жмакин напился, утер рот ладонью и сел как гость.

— Так-то, Клавдинька,— сказал он.

Глаза ее все еще сияли.

— А папаша где? — спросил Жмакин.

— Как где? На работе.

— Это правильно,— сказал Жмакин,— сейчас время рабочее.

О, как приятно было сидеть в этой полутемной комнате и беседовать неторопливым, тихим голосом! О, как приятно быть равноправным и не кривляться, не фиглярничать!

Он вынул папиросу, постучал мундштуком по коробке, закурил и пустил дым к потолку. В общем, он немного еще кривлялся, но очень немного.

— Так вот, Клавдинька,— сказал он,— завтра я права получу. Как-никак, специальность. Паспорт у меня имеется, мне его на квартиру прислали. Значит, послезавтра оформляюсь как шофер. Возьмешь к себе жить?

Она немножко приоткрыла рот и положила свою руку в его ладонь.

— Пойдем запишемся,— сказал он, сжимая ее руку,— все честь по чести.

— На какую фамилию? — спросила она.

— Да хоть и на мою,— сказал он.— Моя фамилия теперь ничего, в порядочке.

— Ах ты Жмакин,— сказала она,— ах ты Жмакин, Жмакин.

И засмеялась.

— Чего ржать? — сказал он.— Отвечай на вопрос.

— Ладно,— сказала она.

Вошел Женька с моделью планера в руке. Жмакин поговорил с ним. Потом Клавдя проводила его на станцию.

Вечерело.

Жмакин влез в вагон, помахал Клавде рукою и сел на ступеньку. Поезд шел медленно, паровоз тяжело ухал впереди состава. В вагоне пели ту же песню, что Жмакин слышал давеча в управлении:

Ты лети, лети, лети, лети,
Ах, телеграмма,
Ах, телеграмма.
Через реки, горы, долы, океаны,
Ах, океаны
Да и моря...

Песня была беспокойная, грустная, щемящая. Перед Жмакиным, подернутые легкой вечерней дымкой, курились болота.

Ты скажи ему, скажи ему, что снова,
Скажи, что снова,
Скажи, что снова,
Я любить его, любить его готова,
Любить готова да навсегда,
Ты скажи ему, скажи ему...

Загудел паровоз. Мимо неслись белые столбики, болотца, далекий острый парус...

Скажи, что снова...

Жмакин прищурился, глядя вдаль. О чем он думал? О правах, о шоферстве, о том, как он на особой машине в Заполярье пройдет ту тайгу, в которой его когда-то чуть не задрали волки... Или Лапшин... Или Пилипчук...

Ты лети, лети, лети,
Ах, телеграмма, ах...

Что Лапшин?

Он представлял себе глаза Лапшина, ярко-голубые, любопытные и упрямые, и тотчас же чувство благодарности наполнило все его существо.

Опять загудел паровоз.

— Упадете,— сказал Жмакину сверху из тамбура чей-то опасливый бас.

— Ни в коем случае,— сказал Жмакин.

И вновь стал думать напряженно и весело.

Ленинград — Одесса
1935—1938



О ГОРЬКОМ

■

О МЕЙЕРХОЛЬДЕ

■

В жизни всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, те просто лентяи, или трусы, или не понимают жизни.

М. Горький

О ГОРЬКОМ

Было мне немногим больше двадцати одного года, когда в тихой парикмахерской на Малом проспекте Васильевского острова прочитал я добрые слова, сказанные Алексеем Максимовичем Горьким про меня. Добрые, но осторожные. Помнится, была там такая фраза: «Если малый не свихнется, из него может выйти толк».

«Не свихнется»,— недоуменно размышлял я.— А почему, собственно, мне следует свихнуться?»

Это самое «не свихнется» сверлило меня и в вагоне поезда, шедшего в Москву, и в Москве, когда подходил я к особняку на Малой Никитской, и в машине, которая везла нас на дачу к Алексею Максимовичу.

Парило, собиралась гроза. Всем нам в машине было страшновато. Никто из нас, кроме шофера, еще никогда не видел Горького. Мы знали его по портретам, по собраниям сочинений, по однотомникам, по газетным статьям. Каждый из нас представлял его по-своему, как представляли мы себе Чехова, Толстого, Короленко, Лермонтова, Пушкина. Мы ехали к живому Горькому, зная, что живой Горький в то же время классик. Это не вязалось одно с другим, и, когда много позже я вспоминал этот час в автомобиле, мне казалось, что никто из нас за все время пути не сказал ни единого слова.

Как я вошел в кабинет Горького — не помню начисто. Словно плотный туман накрыл меня, а когда туман этот рассеялся, я увидел Горького, увидел, что сижу перед письменным столом и что Горькому ужасно как неловко от того состояния, в котором я находился. Он вообще терпеть не мог всякую «чувствительность» — это я понял впоследствии, а сейчас мне было не до раз-

мышлений. И почему-то мучительно казалось, что Горький непременно начнет задавать такие умные вопросы, ни на один из которых я не смогу ответить. Например:

— Как вы относитесь к Гегелю?

Но про Гегеля он меня не спросил. За большим, широко распахнутым окном бушевала летняя гроза. Летели по ветру листья, сверкали длинные молнии. Зрелище было грозное и располагающее к значительным фразам о бессмертных красотах природы и различных ее явлениях, но Горький грозы как бы даже и не замечал, а принялся выспрашивать меня заинтересованно и деловито, где и как я живу. Сдавленным голосом я сообщил, что на Васильевском, но Горькому не это было нужно. Оказалось, что интересовался он размерами моей комнаты, соседями и коммунальной квартирой в ее целом. Дверь моей комнаты выходила в кухню, взаимоотношения владелиц примусов были сложные. Горький протянул мне листок бумаги и карандаш и предложил схематически эти взаимоотношения изобразить. Характернейшим жестом разглаживая усы, он спрашивал:

— Эта против этой? А эта — нейтралитет? Ах, она совместно с этой? Очень любопытно, чрезвычайно любопытно. И все вместе объединены против этой угловой? А угловая что же? Скажите на милость, какая храбрая дама! А у вас есть свой примус? И где он?

Внезапно я заметил, что Горький спрашивает у меня, чем я питаюсь, и что я подробно, без всякого смущения и совершенно позабыв, что передо мной живой классик, на эти вопросы отвечаю.

— Брюкву жарили на воде? А вам не кажется, что жарить на воде невозможно? Ведь как будто бы жарение и вода — процесс взаимно исключающий. Жарят, насколько мне известно, на жире. . .

Пожалуй, мне никогда не доводилось встречать людей, которых бы так интересовала обычная, ничем не примечательная жизнь их собеседников, как интересовала она Алексея Максимовича. Я видел людей, которые умели слушать. Не раз видел таких, которые, разговаривая с другими, в основном слушали себя и сладко упивались производимым ими впечатлением. Я видел людей, слушающих умело, вежливо, но при этом думающих свои думы. Мне доводилось встречаться со многими людьми-слушателями, но никогда я не представлял себе, что человек может быть так искренне внимателен, так

сочувственно и напряженно заинтересован, так искренне близок своему собеседнику, как бывал Алексей Максимович. Разумеется, тут дело не во мне, с моей самой обычной биографией, тут дело в другом, в значительно большем. Мы все, все наше поколение, были интересны Горькому во всем решительно. Он хотел понять, что же мы такое. Его интересовали, занимали и даже волновали самомалейшие подробности не только нашей жизни, но и нашего быта. Он желал знать не только о том, что мы читаем, но и что мы едим. Он был лично заинтересован в нас, в молодом поколении еще только будущих литераторов, в нашем физическом и нравственном здоровье, в том, чтобы у нас были чистые и ясные мысли, в том, чтобы жизнь наша не разменивалась на пустяки, в том, чтобы не решали мы давно решенные вопросы, в том, чтобы шли мы каждый своим путем и делали это с максимальной пользой для того государственного строя, гражданами которого мы являемся.

...Разговоры о жареной брюкве и примусах на коммунальной кухне дали мне возможность опомниться. Теперь я видел Горького. Помню голубую рубашку и серый пиджак, помню отблески молний на лице Горького, помню, как, вставляя в мундштук сигарету, он заговорил о моей книге. Приготовившись выслушать речь прочувствованно-комплиментарную, я, со свойственной молодости самоуверенностью, даже не запасся карандашом и бумагой для того, чтобы записать замечания Горького.

И тут начался разгром, но какой!

Помню, что поначалу я даже не понял, что все эти жесткие слова относятся именно к моей книге. Мне показалось, что речь идет о совсем другом сочинении, которое Горькому не нравится,— не в пример тому роману, который он быстро перелистывал своими длинными пальцами. Низким голосом, сердясь (именно сердясь, потому что Горький никогда не был безучастен или величествен, разговаривая о литературе), Алексей Максимович подверг суровейшему разносу языковые неточности, «болтовню», попытки мои к афористичности, общие места, гладкие, казалось бы, без сучка и без задоринки, обтекаемые фразы. Пресловутая путаница с «одел» и «надел» вдруг вывела его из себя:

— Если вы литератор, даже и молодой, то будьте любезны в этих самых «одел» и «надел» навечно разо-

браться. Это основы ремесла. Или вы на редактора, быть может, надеялись? А редактор — на корректора?

Я молчал.

— Вы сколько раз этот свой роман переписывали?

— Один,— не без гордости заявил я.

— А вам, сударь, не кажется, что это хулиганство? — осведомился Горький.

И, помолчав, смешно добавил:

— Такие вещи скрывать надо от людей, как мелкое воровство, а не хвастаться ими. Один! — повторил он с непередаваемой интонацией возмущения и брезгливости.— Значит, сколько посидел, столько и написал. Хорош добрый молодец!

Не глядя на меня, Горький долго и сосредоточенно молча сердился, потом объявил:

— Эту книгу нужно написать всю наново. И не переписать, отметив в предисловии, что вы очень мне благодарны за советы, а просто написать наново, как будто этот птичий грех с вами и не случался. Вы в Китае и в Германии были?

— Нет, не был,— промямлил я.

— А написали...— сокрушенно сказал Горький.— Ну что теперь с вами станешь делать? Как же это вы так?

Я рассказал, что инженер Нортберг, который был прототипом моего Кельберга, довольно много рассказывал о своих скитаниях по белу свету, что роман «Вступление» вначале был всего только очерком в журнале «Юный пролетарий» и что мне просто очень захотелось написать подробнее о судьбе такого вот иностранного специалиста, как Кельберг.

— Захотелось, захотелось,— ворчливо произнес Горький.— Привезли бы мне или прислали ваш очерк, подумали бы вместе, поездили бы вы по заграницам, какая бы книжища могла получиться. Ну и переписали бы, разумеется, раз десять...

И во второй раз он заговорил о романе. Со стороны можно было бы подумать, что роман даже еще не напечатан, что он, может быть, только пишется и что вот он, Горький, советует мне, как можно написать такой роман...

Советуя, он ни разу не спутал действующих лиц, помнил их фамилии, характеры, помнил сюжет. И оттого, что он, тот самый великий Горький, который только что

отругал книгу, все-таки все в ней помнил, я делался лучше в своих собственных глазах, мне становилось легко и свободно, и было даже мгновение, когда я забыл, что передо мной сидит и со мной разговаривает не кто иной, как Алексей Максимович Горький. Я на что-то возразил ему, сказав:

— Нет, Алексей Максимович, это совсем не так...

Разумеется, я мгновенно опомнился. И даже испугался. Но Горький как бы даже обрадовался моему возражению. Он заставил меня подробно развить все мои доводы и тогда, весело потирая руки, разгромил меня наголову.

Сколько раз впоследствии я замечал, как Горький раздражался на слишком легко соглашающихся и поддакивающих ему людей, как он вдруг замолкал после поддакиваний и изъявлений восторгов и в глазах его появлялось выражение скуки и усталости.

Разговор о романе кончился так:

— Я ваш роман перехвалил,— сказал Горький.— Очень перехвалил. Это случается с нами, литераторами, да и не только с нами. Бывает, стихотворение в высшей степени посредственное, но оно, извините за выспренность слога, в данное мгновение отвечает строю вашей души. И кажется такое стихотворение прекрасным. «Вступление» ваше отвечало многим моим мыслям. Обрадовало меня запальчивостью вашей и убежденностью. Но до настоящей литературы тут еще далеко. Впрочем, вы не огорчайтесь, время у вас еще есть...

И вслед мне сказал:

— Переписывать надо! Запомнили?

«Вступление» я написал наново. Горький прочитал и сказал мне угрюмо:

— Теперь лучше. Значительно лучше. Почти хорошо. Но, понимаете ли, почти. Надо знать, о чем пишешь. Это закон непреложный. Из жизни надо писать, непременно из жизни, из самой гущи ее, тогда и подробности будут настоящие, а не приблизительные. Ах, какое это горе в литературе — приблизительность, пунктир, порхание. И похоже, а не то. Не обрадуешься, не удивишься, не почувствуешь себя счастливым. Ну да что!

Я задал Горькому вопрос, который, как правило, мучает огромное большинство молодых литераторов. Он развеселился, мотнул стриженной ежиком головой, глаза его зажглись, заговорил:

— Если в человеке есть основания для будущего писательства, то он не должен спрашивать ни у кого, писать ему или не писать. Нельзя спрашивать, понимаете? Я-то ведь не знаю, что у вас внутри. Не знаю, какой там мощности заряд. Трудно это определить, взвесить. Да и что я — безмен? И дело наше другое, чем на скрипочке играть или петь романсы. Там, наверное, можно: «Пойди сбегай к маэстро, маэстро скажет». А я и не маэстро, я сам литератор, читатель. Настоящему литератору можно тысячу раз говорить, что он никуда не годен, а он все-таки будет писать, и ничего с ним не поделаешь. Он, знаете, везде, всегда будет писать, по той простейшей причине, что не писать он не может.

Подумал, помолчал и опять заговорил:

— Ну, а есть авторы первых книжек. Это явление небезынтересное. Они про себя иногда, к сожалению, да еще при наличии успеха, склонны предполагать, что вот-де мы писатели. А никакие они не писатели. В сущности, нет такого человека, ежели он не кокетка, и не врун, и не самовлюбленный болван, который не мог бы про себя, про свою жизнь написать небезынтересную книжку. И не только небезынтересную, но даже очень интересную. Вот тут, случается, происходят печальнейшие камуфлеты. Написал книжку, работать бросил, так называемые друзья провозгласили гением, ну а гению сказать больше и нечего. Ищет он при последующих неудачах первопричину не в собственной литературной немощи, а в кознях завистников, в горемычной судьбине, становится эдаким подозрительным, жалобы строчит, ко мне обращается, вроде бы я департамент изящной словесности. И сложно с этими первыми книгами, необыкновенно сложно. Советская власть вызвала из гущи народной тысячи, десятки тысяч интереснейших судеб. В течение двух десятков лет люди проделали гигантский путь, многие сами себя открыли,— как этими открытиями не поделиться? Есть книжицы, написанные не бог весть как, но читать их спокойно невозможно, горло перехватывает. И точность, и простота, а главное — есть человеку что сказать людям. Есть богатство, которым хочется поделиться, есть мысли, которые и другим пригодятся. И спрашивают: писатели они или нет? Не берусь судить. Не стану, не хочу, не буду. . .

В другой раз Горький спросил меня, что я собираюсь писать. Я рассказал, сбиваясь. Он ходил по комнате,

покашливал, поглядывал на меня. Неожиданно остановился и сказал:

— По поводу этого ирландского восстания есть стенографический отчет на английском языке, если не ошибаюсь. Году эдак в 1913-м издан. Кроме того, в те же годы по газетам многое разбросано.

И, стоя посредине большой, почти пустой комнаты, глядя мимо меня напряженно вспоминающими глазами, он стал диктовать даты, брошюры, журнальные статьи. Я записывал, и мне казалось, да и до сих пор кажется, что это чудо: вопрос был узкий, в России тем более мало известный, прошли десятилетия,— как могло все это удержаться в памяти Горького?..

Потом я проверил. В двадцати двух названиях было только три ошибки.

Вечером за чаем Луговской спросил у Горького, как он справляется с тем огромным количеством писем, которые ежедневно приходят к нему. Алексей Максимович со смешком сказал:

— Отвечаю. Всем, кроме вымогателей и душевнобольных.

Помолчал и добавил:

— Впрочем, душевнобольным тоже отвечаю. Необыкновенно интересные, знаете ли, встречаются среди них индивидуумы. Иногда даже, грешным делом, подумаешь: а и в самом ли ты деле душевнобольной? И хитер, и умен... Один приезжал ко мне, вначале действительно было занимательно, а потом — нет, все-таки сумасшедший... Вот тоже случаются любопытные стечения обстоятельств. Был у меня весной рационализатор один из Свердловска. Занятнейший человек, образованнейший, светлая голова. Много сделал, много делает, и все как-то на пользу людям, все для людей, все то, что сейчас каждому человеку нужно. И тут же, в это же время, из Свердловска же от одного литератора получил письмо, исполненное желчи и эдакой всеобщей тоски. Не о чем ему, видите ли, писать, героя нет, и хотелось бы нечто создать, да не о ком. Нет для его стиля достойного характера. Не видит он Человека с большой буквы (эка ко мне хитро подольстился!). Пришлось написать ему адрес свердловчанина-рационализатора, теперь обождем, что из этого образуется. Нелюбопытны мы, до удивления нелюбопытны.

О книге моей «Бедный Генрих» Горький прислал мне ругательное письмо, а при свидании сказал невесело:

— Вы не обижайтесь, но на старости лет мне все больше и больше хочется, чтобы люди замечали вокруг себя и хорошие дела, и хороших людей, и то, как эти хорошие люди формируются. Черта вам заграничная жизнь далась, что вы в ней понимаете? Один вот из вашего брата прислал мне поэму об итальянской жизни. А был там всего ничего — сколько пароход стоял. Моряк-механик. Стал мне о своих друзьях рассказывать — я заслушался. А в поэме все — мадонна, мадонна. Какое ему, дурачку, дело до мадонны?

И спросил совсем грустно:

— Почему вы такие?

Долго ходил по комнате из угла в угол и неожиданно посоветовал:

— Написали бы о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Книжечку. Для ребят. Я вам один сюжет расскажу — желаете?

И рассказал, чему-то улыбаясь, покуривая сигарету, короткую и трогательную историю про то, как чекисты в голодные годы гражданской войны «обманули» Дзержинского. В столовой на Лубянке в тот день кормили супом из конины, а Дзержинскому сжарили несколько картошек на свином сале. И доложили, что у всех сегодня на обед картошка с салом.

— Я тоже в этой игре участвовал,— сказал Горький.— Меня предупредили, чтобы не выдавал...

Еще походил и еще рассказал:

— Однажды приехал к Феликсу Эдмундовичу заступаться (очень уж много в ту пору уговаривали меня разные — заступись да заступись), ну а Дзержинский мне навстречу вышел, в коридоре встретились. Глаза красные, знаете ли, как у кролика, и спрашивает: «Алексей Максимович, когда же отпадет необходимость в жестокости?!.» Что я мог ответить? Небывалой нравственной чистоты человечище был.

Погодя Горький спросил, о чем я пишу сейчас. Я рассказал ему о «Наших знакомых». Он слушал, как всегда, внимательно, переспрашивал, потом сказал:

— О поваре — это хорошо, очень хорошо. Человек, который кормит и старается повкусней накормить, не может быть дурным человеком. Вы прочитайте такую книжку: Брилья-Саварен «Физиология вкуса», много

полезного найдете для, с позволения сказать, философии поварского искусства.

И улыбнулся.

— Любопытно, какие только сочинения людьми не написаны.

А я почти с ужасом подумал: «Господи, когда же он успевает все это читать?»

Отрывок из «Наших знакомых» был напечатан в одном из ленинградских альманахов. Горький прочитал про повара и сказал мне недоуменно:

— Ну, а Брилья-Саварен? Ведь это же евангелие настоящего повара.

Я ответил Алексею Максимовичу, что не достал эту книжку. И тут Горький пришел буквально в ярость:

— То есть как это не достали? Как вы могли не достать? Какое вы имели право не достать? Вишь какой беспомощный!

Дня через два мне позвонил секретарь Горького и велел немедленно прийти. В пустой столовой на Малой Никитской я в течение нескольких часов читал Брилья-Саварена и делал из него выписки. Горького в этот день я не видел. И больше никогда об этом он со мной не заговаривал.

Я не знаю и, пожалуй, не знал ни одного человека, который умел бы так восхищаться и радоваться всему талантливому, подлинному и настоящему, как радовался Горький.

Помню, на даче вдруг хлынул проливной дождь, а Горький увидел позабытую в саду книжку. Легкой походкой, бегом, он бросился за ней, мгновенно промок насквозь, но, словно не замечая этого, любовно обтер толстый том и сказал всем нам — молодежи:

— Черти полосатые! Это же Алексей Николаевич Толстой! Как написал! Как отлично написал! Великолепный, замечательный писатель. . .

И долго здесь же, на террасе, с совершенно юношеским жаром говорил о Толстом, потом переехал на Юрия Николаевича Тынянова — вспомнил «Кюхлю», и вдруг на глазах его буквально закипели слезы восторга. Весь этот день, один из лучших дней, какие я помню, Горький был, если можно так выразиться, энергично, стремительно весел, хвастался нам свежим номером журнала «Наши достижения» (он очень любил этот журнал и даже у меня, молодого литератора, спраши-

вал, что мы, молодежь, думаем об этом его детище) и неустанно хвалил советскую литературу и в ее настоящем, и в том, какой она станет.

— Вы не знаете,— говорил он,— вы еще молоды и читаете только то, что сами пишете или что сосед написал. А я знаю: нашим литераторам никогда не придется задумываться над тем, для чего нужно искусство и нужно ли оно вообще. А это знаете как важно! Это, товарищи, основа основ...

Попозже, помешивая угли потухающего костра, Горький слушал одного писателя, который изящными и округлыми фразами выражал ему восхищение по поводу нынче напечатанной статьи Алексея Максимовича. Внезапно Горький сказал:

— Не так это все. Я некоторые положения намеренно сгустил. И именно от вас, несколько вас зная, ждал ответа в печати. Предполагал, что разгорится литературная полемика. Без литературной полемики получается не живая литературная жизнь, а какая-то, знаете ли, кислятина. Скучно! Вот тут молодежь сидит, слушает, делает вежливые лица, а ведь небось у каждого есть свое мнение. Что, есть? Чего моргаете? Ведь тоже, поди, со мной несогласны? Или так уж все нам навсегда ясно, что мы решительно ни в какой литературной полемике не нуждаемся? Ведь это ерунда, ведь этого решительно быть не может, ведь это все вздор...

Мы молчали.

Горький вздохнул, но сказал весело:

— Надо, товарищи, прекословить. Литература — дело живое, а стоит мне публично выступить, как это мое выступление вы сразу начинаете цитировать, точно слова мои — закон. Это мое мнение, литератора Горького мнение. И вы уж извольте со мной разговаривать как с литератором, пусть и более опытным, чем вы, а не как с департаментом изящной словесности...

Так я видел Горького живым в последний раз. Потом я увидел его в гробу. Я стоял у гроба и никак не мог поверить, что один из самых живых людей на земле — мертв. И вспомнились мне почему-то слова:

— Надо, товарищи, прекословить. Литература — дело живое...

О МЕЙЕРХОЛЬДЕ

Его давно физически нет. И тем не менее он есть. Его беспредельно смелые искания, его гнев, его ирония, его сила и его страстность присутствуют во всем лучшем, что есть в нашем искусстве. Я не знаю, смог ли бы родиться на свет «Броненосец Потемкин» без Мейерхольда. Потому что Мейерхольд, и никто иной — именно он, вечно ищущий и никогда не останавливающийся, грандиозный даже в своих ошибках,— был одним из первых режиссеров-коммунистов, был глашатаем и провозвестником партийного искусства, искусства, принадлежащего народу и ведущего народ за собой властно и неудержимо.

В тот момент, когда многие еще колебались в выборе своего пути, Мейерхольд, разрывая со многими старыми друзьями, откровенно и точно признал для себя единственным и подлинным путем создание политического театра.

Как все гениальные люди, Всеволод Эмильевич был сложен.

Как все первооткрыватели и пролагатели новых путей, он был настойчив, изобретателен и смел.

Как истинный талант, он был несравненно и беспредельно щедр: сундук с его сокровищами никогда не запирался. Из него брали не стесняясь и берут по сей день. Небезынтересно, что берут именно те, кто поносными словами топтал его имя, берут, конечно в смысле крадут, и уворованное выдают за свое, а ЕГО, истинного созидателя этих никогда не меркнущих ценностей, и по день нынешний, когда восторжествовала правда, именно эти «унесшие сокровища» облыжно и низко бранят, поминая, допустим, «Даму с камелиями», которая была не наилучшим свершением гениального художни-

ка, но которая делалась травимым и мучимым режиссером. А давным-давно известно, что, когда художника мучают, поносят и пинают, он творит неизмеримо хуже, чем тогда, когда он спокоен. Зачем же знающим, КАК обстояло дело, винить Мейерхольда в том, в чем он не был повинен. Шаровая молния, как известно, бьет по движущемуся предмету. Чтобы не быть убитым, человек, увидев шаровую молнию, застывает неподвижно. Чего же мы хотим от Мейерхольда того периода, когда его травили под свист и улюлюканье? Он видел шаровую молнию, устремившуюся в его сторону, и стоял неподвижно. Эта была пора, когда ему запретили смысл его жизни художника — битву, сражение, атаку. Ему запретили вести сокрушительный огонь по контрреволюционному мещанству, по обывательщине, по приспособленчеству, заявив, что он клеветник. Это и была шаровая молния.

Об этом нужно написать. Написать с той силой правды, с которой написано нынче о Серго Орджоникидзе, об Эйдемане, о Якире, о Тухачевском, как написано о сотнях и тысячах *шедших впереди и ведших на смертный бой.* Всеволод Мейерхольд *шел впереди и вел* «на бой кровавый, святой и правый»,— вел работников искусства, вел искусство, вел театр, и нет без Мейерхольда не только истории советского театра, но нет и театра живого, такого театра, как театр имени Мейерхольда, где в спектакле «Последний решительный» в едином, высоком, грандиозном порыве вставал весь зрительный зал — не для того, чтобы рукоплескать нюансам и полутонам, не для того, чтобы «образованность свою показывать», а только лишь затем, чтобы *защищать свою родину от вторгшегося в ее пределы врага.* Кто видел этот спектакль, тот не может не согласиться со мной, а кто не согласен, тому, как говорится, земля пухом. Каждому свое.

Какова же мораль этого введения?

Мораль проста: Всеволод Мейерхольд в прощении не нуждается. Мы же все нуждаемся в правдивой и страстной, честной и чистой книге о сложном и замечательном коммунисте — создателе и строителе Советского Партийного Театра. И книга эта должна быть написана чистыми руками. Стерильными.

К работе этой нельзя подпускать никого из тех, кто по каким-либо причинам «недопонимал» значение де-

ятельности Мейерхольда. Нельзя допускать предававших, тех, кто кричали: «И я, и я!» Тут не может быть прощения даже старухе, подложившей свою вязанку в костер, на котором сжигали Яна Гуса. Слишком много горя нанесли нашему искусству даже эдакие старухи. Вспомним самоубийство Владимира Маяковского. Мемория о том, что он был лучшим поэтом революции, не возвратила Владимиру Владимировичу его единственную жизнь. Он ничего более не написал, а старухи пишут и похвалы себе слышат, старухи с вязанками. Не надо этих старух идеализировать, не такие уж они божьи коровки.

Из двадцати одного года, которые мне в ту пору миновали, девятнадцать я прожил в провинции.

И вот я в Москве, в душном коридорчике театра имени Мейерхольда, перед *«самим»*.

Помню, мне было жарко, жутко и совестно, и испытывал я такое чувство, что произошла ошибка, что театр вызвал не того человека, что сейчас все, слава богу, выяснится, меня выгонят в толчки, и это самое лучшее.

— Ваше «Вступление» — великолепный роман,— слушал я, словно шум водопада.— Великолепный! Да! Почти шедевр!

Почти! Сейчас меня выгонят. Что может быть хуже «почти шедевра»?

— И Горький,— хитро взглянув на меня, спросил Мейерхольд,— Горький печатно похвалил вас, не так ли?

— Печатно — да,— с тоской ответил я,— но меня он ругал.

— Несправедливо?

— Почему же несправедливо? Правильно ругал.

— Во всяком случае, все, что касается Лондона, у вас превосходно.

— Нет у меня Лондона,— угрюмо пробормотал я.— У меня описан Китай, а потом Германия — Берлин...

Мейерхольд кивнул:

— Да, да, Берлин. Я спутал... Действительно, Берлин и этот толстяк инженер. Послушайте, напишите-ка нам пьесу про вашего инженера. Это может быть очень интересно. Китай — Берлин — СССР. Сядьте и напишите.

Написать пьесу для того театра, спектакли которого я смотрел по десяти раз кряду? Пьесу для Мейерхольда? Для Ильинского, Гарина, Мартинсона, Зайчикова?

Написать пьесу для того театра, куда совсем недавно я не мог пробраться даже на галерку...

Так думать, разумеется, нехорошо. Но именно так я думал.

И мальчишки честолюбивы!

Однако порядочность взяла свое. И с отчаянием погибающего я решительно произнес:

— Не умею, Всеволод Эмильевич. Я никогда не писал пьес, я не смогу.

— Многие не могут, однако пишут, а мы ставим.

Глаза Мейерхольда холодно и строго смотрели на меня. Только много позже я разгадал это особое выражение его взгляда — извиняюще-презрительное: все бездарное, вялое, неэнергичное он презирал и не скрывал этого. Так же, как презирал робость, лень, неверие в свои силы, наигранную скромность. «Одаренным» нахалам умел искренне и весело удивляться. Про одного такого даже сказал не без восхищения:

— Ах он такой-сякой! Как изображает! Я чуть-чуть не поверил ему.

Разговор о пьесе продолжался в кабинете Мейерхольда. И по сей день я не помню, какая там стояла мебель, наверное потому, что все здесь всегда было заполнено личностью Мейерхольда. Он заслонял собою всех, он захватывал всегда мое внимание полностью, у меня не хватало сил оторваться от него ни на секунду.

Иногда впоследствии он меня спрашивал:

— Чего уставился?

Я не отвечал: не мог же я сказать, что смотрю, как он держит в своей необыкновенно красивой руке сигару, как дирижирует стаканом горячего молока.

В кабинете он сказал:

— Все просто: по вашему роману вам напишут сценарий, по сценарию вы напишете пьесу.

— А разве так бывает? — осведомился я.

Мейерхольд и сам не знал. Позвали знающего. Тот сказал, что если Всеволод Эмильевич хочет, то можно и так. Этот знающий ко всему привык за свою прикомандированную к этому театру жизнь.

Принесли договор, душистый юрист поставил то, что называется визой. У меня было ощущение страшного сна. Я погибал и понимал это, а для сопротивления не было сил. Разве мог я сопротивляться *самому* Мейерхольду?

Сценарий был написан бодро, быстро и на редкость плохо. Но мог ли я возражать? Мне «придали» режиссера и художника — милых и покладистых людей,— и мы втроем уехали под Кинешму в Дом отдыха Малого театра, расположенный в бывшем имении великого драматурга А. Н. Островского.

Мейерхольд отбыл за границу, в Париж.

По горькой иронии судьбы писал я свою пьесу в кабинете самого Островского, за тем письменным столом, за которым писались «Гроза», «Лес».

За закрытой намертво дверью стрекотали и хохотали артистки, человек двадцать,— там была спальня. По дорожкам под окнами чинно прогуливались, разговаривали густыми голосами знаменитые артисты в кашне, шляпах и с тросточками. Жизнь шла своим чередом. Всем вокруг было хорошо, а мне страшно.

Все было страшно: и халтурный сценарий, превративший мой чрезвычайно несовершенный роман в совсем бог знает что, и то, что аморфное, невнятное и реальное «название условное» было уже запланировано театром как реально существующая пьеса, и то, что талантливый мой режиссер из-за моей спины заглядывал на страницы моих творений, и то, что постоянно чудилось мне вечерами и что помню я до сих пор как реальный кошмар. Вот он. Я сижу и пишу. Широко распахивается дверь, и входит Александр Николаевич Островский, такой, как на портрете в собрании сочинений: меховые отвороты, рыжеватая бородка, неприязненный взгляд. И слышен мне его тенорок:

— Ты что тут делаешь, стрикулист? Ты как смеешь? Вон! Свистун!

А сроки приближались, ужасающая развязка близилась.

В сочинении моем оказалось более трехсот страниц убористого текста, то есть «товара» примерно на четыре нормальные пьесы.

Режиссура бойко смарала полтораста, и все оставшееся превратила в спектакль, который Всеволод Эмильевич, вернувшись из-за границы, в грозном молчании смотрел до рассвета. Помню, как резюмировал Эраст Гарин свои впечатления одним словом:

— Пшено.

Мейерхольд все им увиденное запретил и отправился домой. Меня, драматурга, он как бы даже и не приме-

тил во всю ту кошмарную ночь. Было совсем светло, когда в гостинице «Националь» я повалился на кровать. Вот она развязка! Ну что ж, я ведь предупреждал, что не умею писать пьесы.

Зазвонил телефон.

— Ну? — осведомился Мейерхольд.— Худо тебе?

— Плоховато,— сознался я.

— Гвардейские офицеры в старой армии в твоем положении застреливались,— с сатанинским смешком произнес Мейерхольд.— Ты читал об этом?

Тут я разорался. Мне было не до шуток. И он не давил сейчас меня своим присутствием — этот человек. Я не видел его и не боялся. Наваждение и чертовщина кончились. Я заявил, что сценарий — дрянь, что вся затея — халтура, что нынешний просмотр — логическое завершение нелепого замысла. Потом я выдохся и замолчал. Пусть Мейерхольд швырнет трубку, а я с первым же поездом уеду в свой Ленинград. Точка. С меня лил пот.

— А еще что? — спросил Мейерхольд.

— Ничего,— буркнул я,— посплю и уеду.

И тут Мейерхольд сыграл спектакль. Но боже, как это было грандиозно, этот удивительный театр для троих в восьмом часу утра. Третьей была Зинаида Николаевна Райх. Держа телефонную трубку так, чтобы я все слышал, он сказал с непередаваемой интонацией отчаяния:

— Понимаешь, ему, оказывается, не понравился сценарий, но он промолчал...

Наступила пауза.

И вновь я услышал голос Мейерхольда:

— Произошло трагическое насилие над его *творческой индивидуальностью.* Ты только вникни в эту бездну заячьей трусости, Зиночка, оцени это отсутствие собственного мнения, этот испуг, это...

— Не так! — заорал я, но он не слышал, он говорил:

— А теперь мы пропали. Мы не получим пьесу о том, что́ так нас с тобой радовало в его книге, зритель не увидит спектакль о рабстве, не увидит этих немецких безработных инженеров, не увидит смерть Нунбаха, не увидит...

К финалу монолога Мейерхольда я почувствовал себя действительно во всем виноватым. И почувствовал еще то, что необходимо понимать литератору во время

работы для блага работы: дело его — нужное дело. И в этом действительно заинтересованы.

Напоминаю, я был мальчиком тогда. Никем. Почти что ничем. Но Мейерхольда интересовала не фамилия, не то, что называется «именем», а сочинение. Ему было нужно не сочетание имен на афише, а *только то, что он хотел выразить.* Он желал смертельно *схватиться* с капитализмом своим искусством, и не нужны ему были для этого никакие самые главные драматургические фамилии того времени. Да и вообще с удивительной, даже неправдоподобной наивностью он никогда не понимал, кто «главный». Даже у меня спрашивал впоследствии и всегда очень удивлялся:

— Да что ты? Вот бы не подумал! Ах, отстал, отстал. Слышишь, Зиночка, он говорит, что имярек теперь самый и есть Шекспир? Издавали бы, право, какие-нибудь списочки коротенькие, чтобы быть в курсе дела.

И смеялся подолгу, довольный своей идеей.

Сейчас, кажется, такие списочки издаются.

В то невеселое утро он сказал мне по телефону:

— Выспись покрепче. Завтра начнем все с самого начала. В этом спектакле *мы с тобой* покажем унижение человека рабским трудом, покажем смысл труда, если труд служит обществу. Это будет партийный спектакль, а не малиновый сиропчик. Это будет грандиозно! Положись на меня.

Сердце мое билось. «Мы с тобой, положись на меня!» Еще бы мне не положиться на Мейерхольда! Вот только как он на *меня* положится?

— Это будет спектакль о труде как о смысле человеческой жизни,— ревел в трубке голос.— Сильный и неработающий обречен на смерть! Ты понимаешь? Я знаю Европу и знаю, о чем тебе толкую. Мы их отхлещем по мордам, эту сволочь, не желающую понимать значение осмысленного человеческого труда...

И совсем неожиданное заключение:

— Обедать с завтрашнего дня станешь у меня. Не принесешь кусочек пьесы — не будет тебе никакого обеда. Не работающий да не ест.

— Хорошо,— сказал я тихо.— Спасибо!

Повелось так: перед обедом я читал написанное. Во время обеда, сунув угол салфетки за воротничок, Мейерхольд рассказывал Райх то, что я написал. Ее спокойные прекрасные глаза мерцали. Удивительно, как умела

слушать эта необыкновенная женщина. Я давился едой! Ничего подобного тому, что рассказывал Мейерхольд, в моем сочинении и в помине не было. То, что писал я, было, разумеется, исполнено благих намерений, но неумело, беспомощно, пресно и дурно. А то, что рассказывал и порой показывал Мейерхольд бесконечно любимой им женщине, было всегда *талантливо*. Конечно, это были еще лохмотья, клочки, кусочки, иногда скороговорка и невнятица, но не восхищаться этим было невозможно.

Зинаида Николаевна восхищалась и гладила меня по голове большой белой рукой:

— Скажите, какой он у нас!

А Мейерхольд мне подмигивал и шептал украдкой:

— Теперь пойдет по театру, что у нас все великолепно. Уж она распишет. Она это умеет.

После обеда, аппетитно прихлебывая кофе, Мейерхольд спрашивал со значением в голосе:

— Все понял?

Я догадывался, что означал этот вопрос: напиши, пожалуйста, так же, как я рассказывал, и все получится. Но именно так, а не иначе. Ведь я же тебе так все разжевал, так растолковал, это невозможно не понять. И ты сказал, что понял. Так напиши же, черт возьми!

Ночами я по нескольку раз просыпался: понял? Конечно, ничего не понял, дубина! Ну, а если и понял, что из этого?

Прекрасные, сильные, мощные образы выплывали ко мне из небытия, он мне так зримо показал их, что я их, разумеется, видел, но сил моих не хватало для того, чтобы перенести эту могучую фантазию в слова, в поступки, в действие. Я видел руку, воздетую величественно и грозно, кисть, медленно сжимающуюся в кулак, но это был жест Мейерхольда, он не умещался в мои юношеские представления о жизни, в мою абсолютную профессиональную неопытность, в мое полное незнание основ драматургии. . .

Он приказал мне вечерами непременно ходить в театр.

Естественно, что в эту пору я признавал только его театр.

Увидев меня в шестой раз на «Великодушном рогоносце», Мейерхольд сказал:

— Ты мне что-то тут примелькался. Приелся.

И хитро, шепотом посоветовал:
— Сходи в МХАТ.
— Куда? — с испугом спросил я.
— В Художественный, где чайка на занавесе. Только никому не говори, что я тебя послал.
— А что там посмотреть?
— Все,— со своим характерным смешком добренького сатаны сказал Мейерхольд.— А начни с Чехова.
Утром на репетиции он ругался:
— Развели мхатовщину, смотреть невозможно. Кто вас научил этим отвратительным паузам? Оправдываете, да? Системочку изучаете?
В тот же день молодому и хитрому артисту, который объяснил свою беспомощность на сцене тем, что не желает подчиняться «мхатовским канонам», Мейерхольд с ужасающей жесткостью крикнул:
— Вы бездарность! Не смейте о МХАТе говорить! Вон отсюда!
Жить в эту пору мне было необыкновенно интересно: я писал, переделывал, переписывал, вновь писал, подолгу виделся с Мейерхольдом, читал то, что он приказывал читать, смотрел в театре то, что он считал для меня необходимым. Иногда он показывал мне оттиски гравюр, неожиданно и смешно сердился:
— Долдон! Ничего не понимаешь! Учить тебя и учить!
Однажды я достал бутылку дефицитного, как тогда говорилось, мозельвейна. Мейерхольд, пофыркивая, медведем вылез из ванной комнаты, распаренный сел в кресло, велел мне самому отыскать в горке соответствующие вину фужеры. Открыв бутылку, я «красиво» налил немножко себе, потом ему, потом себе до краев. Мейерхольд, как мне показалось, с восторгом смотрел на мое священнодействие. Погодя, шепотом, очень заинтересованно осведомился:
— Кто тебя этому научил?
— Официант в «Национале»,— с чувством собственного достоинства ответил я.— Там такой есть старичок — Егор Фомич.
— Никогда ничему у официантов не учись,— сказал мне тем же таинственным шепотом Мейерхольд.— Не заметишь, как вдруг лакейству и обучишься. А это не надо. Это никому не надо.

Галстуков я в ту пору принципиально не носил, расхаживал в коричневых сапогах, в галифе, в косоворотке и пиджаке. В мейерхольдовском театре на это никто не обращал внимания, но как-то Мейерхольды повезли меня на прием в турецкое посольство, и тут случился конфуз: швейцар оттер меня от Зинаиды Николаевны и Мейерхольда, и я оказался в низкой комнате, где шоферы дипломатов, аккредитованных в Москве, играли в домино и пили кофе из маленьких чашек. Было накурено, весело и шумно. Минут через сорок пришел Мейерхольд, жалостно посмотрел на меня и произнес:

— Зинаида Николаевна сказала, что это из-за твоих красных боярских сапог тебя не пустили. Ты не огорчайся только. В следующий раз Зина тебя в нашем театральном гардеробе приоденет, у нее там есть знакомство. . .

Шоферы дипломатических представительств с грохотом забивали «козла». Какое-то чудище в багровом фраке, в жабо, в аксельбантах жадно глодало в углу баранью кость. Иногда забегали лакеи выпить чашечку кофе. Забежал и мажордом.

— Этого я всегда путаю с одним послом,— сказал Всеволод Эмильевич.— И всегда с ним здороваюсь за руку. Он уже знает и говорит: «Я не он. Он там в баре пьет коньяк».

Мейерхольд подтянул к себе поднос, снял с него чашечку кофе, пригубил и, внимательно оглядевшись, сказал:

— Здесь, знаешь ли, куда занятнее, чем наверху. В следующий раз надену твои розовые сапоги боярского покроя, и пусть меня наверх не пустят. Кофе такое же, а люди интереснее. Ох, этот народец порассказать может, а?

Долго, жадно вглядывался во все и во всех, словно вбирая и запоминая живописные группы людей, и неожиданно со сладким кряхтением произнес:

— Как интересно! Ах, как интересно! Ай-ай-ай!

Эту прекрасную жадность художника я не раз замечал в нем: нужно было видеть, как он вдруг останавливался возле дома в Брюсовском, или на Гоголевском бульваре, или в Охотном и, вглядываясь в нечто, только ему видное, только им замеченное и отмеченное, восхищался, вбирая в себя и никому не показывая эту свою внезапно приобретенную личную собственность.

Что это было?
Улица?
Дерево?
Освещение?
Человек?
Красота или уродство?
— Как интересно! Ах, как интересно! Ай-ай-ай!
И сейчас мне слышится эта интонация.
В этом смысле Мейерхольд был стяжателем и собственником. Во всех иных, по-моему, он был просто гол как сокол и беден как церковная мышь. Будучи завсегдатаем мейерхольдовского дома в ту пору, я никогда не слышал столь популярных в иных кругах собеседований о комиссионных магазинах, о различных мануфактурах, стульях чепендель, вообще о той дряни быта и искажений смысла жизни, которые, бывает, делаются самим смыслом, когда человек лишь желает подольститься к эпохе, подладиться к ней, с тем чтобы жирно есть и мягко спать, слывя ведущим и безгрешным.
Хорошие отношения Всеволод Эмильевич тоже не умел заводить. Даже с самонужнейшими и ответственнейшими. Помню, как сказал он одному из своих недругов, когда тот пришел к Мейерхольду «замиряться»:
— Был к котлетам зеленый горошек, его нарком Бубнов съел, вам не осталось, так это не злонамеренно. Вот Бубнов утверждает, что вы теперь про меня напишете «за горошек», будто я сюрреалист и дадаист. Напишете?
Критик обиделся, и примирения не получилось.
Был у Мейерхольда автомобиль. Всеволод Эмильевич каждый раз, садясь в машину, ужасно удивлялся:
— Подумай, еще ездит. И осенью ездит, и зимой ездит. Поразительно!
И спрашивал у шофера:
— И весной будем ездить?
Средненькое, серенькое, скучненькое, пошленькое, как бы оно ни было разукрашено и отлакировано, вызывало в нем вспышки яростной скуки. Помню я, как в одном из ленинградских модных тогда театров смотрел Мейерхольд очередной красивенький спектакль. Полтора акта он почти непрерывно, нисколько этого не стесняясь, даже как-то демонстративно сердито, с воем зевал, тряс головой, охал, а потом, схватив Райх за руку, не дождавшись антракта и не оглянувшись ни разу на бе-

гущего за ним постановщика спектакля, ушел, не попрощавшись. А на следующий день жаловался:

— Бога нет только потому, что существуют такие театры. Если бы был бог, он бы с этим расправился. Гирляндочки, бонбоньерочки, голубое и розовое, а тоже станки, а тоже прожектора. . . А тоже, изволите ли видеть, новатор. Убивать таких, безжалостно. Или нет: не надо убивать, зачем убивать, у него хороший вкус для кафе. Он должен сделать маленькое кафе под названием «Артистическое». Нет, и в кафе его нельзя, будет приторно. Ты понимаешь?

Насколько мне известно, он не вел режиссерских записных книжек с пронумерованными или алфавитными наблюдениями. Его память была безмерно богата воспоминаниями, целыми кусками жизни, выразительными пейзажами, светом, цветом. Уже когда репетировалось мое «Вступление», он на ходу придумывал десятки решений в том или ином эпизоде, ставил их, полный народа театральный зал устраивал овацию, но Мейерхольд вдруг раздражался и командовал:

— Все убрать! Цирк, а не театр! Номерам хлопают, а не спектаклю. Мы не ученые лошади, мы не дивертисмент, ужели непонятно?

Одному режиссеру, выразившему свое недоумение этими «строгостями», Мейерхольд при мне сказал:

— Хотите, подарю вам все нынешние выдумки? Серьезно! На бумажке перечислю и оформлю дарственную у нотариуса. Вам, поди, пригодятся, вы, я слышал, собираетесь стать режиссером-новатором.

И глумливо, врастяжку произнес:

— Но-ва-ции!

Слова «новатор», «формалист», «футурист» он ненавидел так же страстно и бешено, как любую назойливую, прилипчивую пошлость. Когда при нем произносилось что-либо из этого словесного арсенала (к сожалению, сопровождавшего его всю жизнь), он как-то горестно съеживался и кряхтел, словно от зубной боли.

Мейерхольд любил и умел, разумеется, показывать артистам. Он показывал женщин, старух, юношей, показывал чопорного немца и пьяного, загулявшего немца, показывал, как сидит американец, показывал негру, как негр поет, и негр-артист с восторгом смотрел на мейерхольдовское показывание, потому что Мейерхольд увидел в национальной культуре негритянского пения то,

что сам негр уже успел растерять в угоду эстрадам всего мира.

Но если Мейерхольда слепо копировали, он огорчался.

Он требовал, чтобы тот артистический индивидуум, которому он показывал основу его образа, создал некий новый *сплав* — из своего «я» и того точного рисунка, который преподал ему Мейерхольд.

Всеволод Эмильевич не просто показывал — он видел в том, которому показывал, возможность появления некоего нового чуда.

К сожалению, эти чудеса далеко не всегда удавались.

Однажды Мейерхольд скорбно сказал:

— Старею, а сколько сил уходит даром.

И правда даром: мне одному весь вечер он рассказывал, как поставит в новом своем театре «Бориса Годунова». Рассказывал он, разумеется, не лично мне, просто я, как говорится, под руку попался, и вечер выдался пустой, одинокий. Я, разумеется, ничего потом не записал. И вообще, кажется, Мейерхольда мало записывали. Есть драгоценности — записки, скажем, Гладкова, но нужно обязать всех, *кто знал* Мейерхольда в работе, восстановить его жизнь, это долг совести и чести каждого, кому судьба подарила трудное счастье общения с этим человеком. И в первую очередь это обязаны сделать *верные* ученики и последователи Мейерхольда. А я знаю *и таких*. Я имею честь знать В. Н. Плучека, который *никогда* не убирал со своего стола бюст Вс. Эм. Мейерхольда, тем самым веря *в конечное торжество* справедливости и утверждая, что *так не может быть*. В нашем великолепном *театре* Северного флота, которым командовал Плучек, *всегда*, и в шторм и в вёдро, звенела эта удивительная струна — страстности, наступательности, партийности, того, что и есть сама жизнь мейерхольдовцев, ни один из которых никогда не унизился до искательности и приспособленчества.

Обворовывали, надо сказать, Мейерхольда ужасно.

Помню, показал он мне как-то афишу, которую прислали ему то ли из Курска, то ли из Орла, то ли из Воронежа. Афиша была огромная, наглая и бесстыжая. И напечатаны на ней были следующие слова: «Постановка осуществлена по московскому театру имени Вс. Мейерхольда».

— Видишь, какой хороший мальчик,— сказал Мейерхольд, тыкая в фамилию режиссера, и с неожиданной горячностью добавил: — Этот что! Этот пусть себе. На здоровье. Огорчает меня другое: другие берут и, понимаешь ли, ругают. Украдут и обругают... И когда уж больно резво меня ругают, я все пытаюсь вспомнить: а что же ты, воришечка, у меня украл, что так пылко ругаешься?..

В этот вечер он рассказал о том, как Ленин смотрел в МХАТе «Сверчок на печи», как ему, Ленину, спектакль не понравился, и как он, Владимир Ильич, запретил запрещать «Сверчка на печи». Рассказывал об этом Мейерхольд словно бы даже с какой-то завистью.

Мою пьесу Мейерхольд выдумал сам. Мне не стыдно в этом сознаться. И ему я не раз говорил о том, что пьеса эта, в сущности, его. Он посмеивался, а однажды спросил не без раздражения:

— Ты что хочешь? Чтобы на афише было написано: «Мейерхольд и Герман»? Или: «Герман и Мейерхольд»? Ты меня, старика, материально поддержать хочешь?

И крикнул:

— Зиночка, выгони его из дому!

Выдумывал Мейерхольд так.

Я робко прочитал картину, в которой один за другим выходили десять или даже больше, сейчас не помню, инженеров-немцев. Все это происходило в ресторане в Берлине. Не зная, как выписать нужный мне эпизод, промучившись с ним бесконечно долго, я на все махнул рукой, и бедные мои инженеры пошли чередой, уныло представляясь каждый порознь. Дочитывая, я действительно думал, что сейчас меня выгонят помелом.

— Гениально! — воскликнул Мейерхольд.— Это лучшее, что ты написал. Ты что? Серьезно не понимаешь, как это великолепно?

Втянув голову в плечи, я неподвижно сидел на диване.

— Дурак! — сказал Мейерхольд.— Пойми, они пьяные! Они пьют третий день! Они так перепились, что затеяли эту ужасную, пугающую, идиотскую, просто неправдоподобную игру! Победа зеленого змия над интеллектом, над человеком, над силой духа! И вот, пьяные, они рекомендуются друг другу, несмотря на то что отлично знают один другого. Впиши фразочку, чтобы стало понятно, и завтра мы репетируем!

Назавтра завертелась дверь-вертушка. Из дождя и уличного тумана входили в ресторан мертвецы.

Гремели в зале несмолкаемые аплодисменты — весь ужас и мрак ненавистной коммунисту Мейерхольду тупости филистерского благополучия, все ублюдочное веселье этой умершей жизни, мучительная тревога за будущее немецкого народа были в этой сцене.

Недаром на премьере именно в эти минуты из зала, стуча башмаками, ушли все деятели гитлеровского посольства в Москве во главе с послом.

Ушли бледные, с перекошенными мордами. Зрители начали посвистывать им вслед. Гитлеровцы зашипели. На лице Мейерхольда появилось непередаваемое выражение счастья. Такое выражение я видел на лице у командующего авиацией Северного флота на командном пункте, когда он, командующий, понял, что разгром фашистской авиации на ее норвежских базах начался и процесс этот необратим.

Это не нюансики и подтекстики. Это именно то, что любил напевать Мейерхольд:

И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!

Вслед фашистским послам Мейерхольд сказал зло и громко:

— Проняло.

Максим Максимович Литвинов покосился на Мейерхольда.

— Завтра мне придется принимать их «представление»,— сказал он.— Будет невесело.

А Мейерхольд зашептал:

— Я уже придумал, что́ мы сделаем завтра. Будет не Берлин, чтобы эти мерзавцы не вязались, а «вольный город» Штеттин.

— Умница,— почти растроганно сказал Литвинов.

Но мерзавцы все-таки привязались. Литвинов и Мейерхольд виделись всякий день. И наконец Всеволод Эмильевич придумал трюк. Он сказал:

— Это театр мой. На вывеске написано — Всеволода Мейерхольда. Что имени, они не поймут, они капиталисты. Вы им, Максим Максимыч, душа моя, и объясните. Не слушается, мол. Уперся на своем, и все.

Фашистюги приходили, разглядывали вывеску, разговаривали, как гуси.

И — отвязались.

В эпизоде похорон сына старого рабочего Ганцке, которого прекрасно играл Боголюбов, старика долго и торжественно одевают на церемонию: манжеты, крахмальная манишка, черный галстук, цилиндр.

Но Мейерхольд придумал свое знаменитое зеркало.

В руке раздавленного горем старика Ганцке большое зеркало: он оглядывает себя. Зеркало дрожит. Меловое лицо, прорезанное морщинами, в дрожащем, высветленном прожекторами зеркале вызывало буквально стон в зале. Горе из плоскости быта, из привычных изображений всех степеней этого чувства мгновенно пронизывало нестерпимой болью сердца всех людей в зале и превращало их из зрителей в участников предстоящей трагической церемонии. Стон сменялся гулом возмущения. Зритель не желал больше ни секунды терпеть то, что делает с рабочими мир капиталистического чистогана.

Не есть ли умение найти и воплотить эту выразительность, выжечь этот гнев, эту страстность зрителей — высочайшая задача искусства?

Спившийся, давно безработный, талантливый, умный и циничный инженер Нунбах, образ которого воплотил в жизнь еще совсем молодой тогда Лев Наумович Свердлин, проходит в романе длинный и мучительный путь, прежде чем покончить с собой.

Ничего у меня не выходило с эпизодом под названием «горький миндаль». В этом эпизоде Нунбах в кабинете-лаборатории главного моего героя Кельберга принимал цианистый калий, который, как известно, пахнет горьким миндалем.

Была глубокая ночь, когда все окончательно поняли, что эпизод не вышел. Свердлину нечего было играть.

Мейерхольд пил свое молоко, курил, потом поднялся и ушел на сцену.

Там он постоял, обдумывая, видимо, как быть и что делать. Лицо у него было спокойное, сосредоточенное и даже суровое.

Потом рабочие выкатили рояль.

Погодя Всеволод Эмильевич поставил на полированную черную крышку рояля узкую, очень высокую хрустальную вазу и опять надолго исчез. Рабочие в это время принесли большое облезлое кресло и кусок серебряной парчи.

В зале все затихли.

Вернулся Мейерхольд, вставил в вазу странный большой кактус, только что слепленный им самим из станиоля. И в подсвечники рояля он вставил две свечи. Третья была на маленьком столике возле кресла. Попыхивая сигарой, Мейерхольд долго закрывал кресло серебряной парчой. Наконец все было готово.

Он медленно и требовательно оглядывал то, что создал тут своими руками.

В зале сделалось так тихо, словно все ушли.

Три свечи горели на столе. Огоньки их отражались в черном лаке рояля. Парча, хрусталь создали простую, лаконичную и чудовищно безжалостную формулу смерти.

— Вы можете тут умереть, Лева? — спросил Мейерхольд со сцены в темноту зала.

— Да! — сдавленным голосом крикнул Свердлин.— Да, спасибо, Всеволод Эмильевич!

— Начали,— приказал Мейерхольд.

Кельберг-Мичурин сел за рояль. Звуки «Лунной сонаты» поплыли со сцены. Лев Наумович Свердлин медленно пошел к сверкающему парчой креслу.

— Это гроб, Лева,— предостерегающе крикнул Мейерхольд.

Сидевший со мной рядом великолепный артист Зайчиков закрыл глаза ладонью, и я услышал, как он бормочет:

— Это невыносимо! Это невозможно выдержать!..

А мне вдруг подумалось, что именно в такие мгновения два самых крупных человека в истории русской режиссуры — Станиславский и Мейерхольд могут взять да и пожать друг другу руки. И что тогда станут делать те критические шавки, которые своими намеками, междустрочьем, «беспокойною ласковостью взгляда», воем и наушничаньем в интерпретации поисков Мейерхольда приблизили его трагический конец? Ведь это они дали оружие в руки тех мерзавцев, которые вели так называемое «дело Мейерхольда». Это цитатами из некоторых критических работ о нем был мучим Мейерхольд, старый и славный коммунист, создатель единственного в мире театра, потеря которого невозвратима. Ибо театр Мейерхольда был не театром прошедшего, а был театром будущего, театром наших нынешних дней.

Однажды, когда я поздней ночью провожал Мейерхольда домой, он угрюмо сказал:

— Вот, набравшись духу, позвоню Константину Сергеевичу и предложу: давайте, знаете, закроем наши курятники, убежим на чердак и станем все с самого начала придумывать. Ведь зашли в тупик и он и я. Искать надо...

Помолчал и добавил:

— Впрочем, насчет тупика пишут только про меня. А когда Станиславский ругается, это считают милыми чудачествами гения. Вовсе он не чудит, он ищет и мучается. А ему не велят. Ему объясняют, что он уже все совсем навсегда нашел.

Потом, неуверенно бодрясь, Мейерхольд пригрозил:

— Ничего, рано меня хоронить. Еще поглядим!

Спектакль «Вступление» состоялся.

Мою пьесу очень ругали, Мейерхольда — справедливо — хвалили. Мне было горько, но не слишком...

Во время гастролей театра в Ленинграде я пришел к Мейерхольду в «Европейскую» гостиницу. Шеф-повар сам принес ему пломбир после обеда — странное сооружение из кубов, пирамид, треугольников, овалов...

— Опять? — брезгливо спросил Мейерхольд.

— Специально для вас стараемся,— сказал шеф.— Пломбир «футуристический»...

Вежливо поблагодарив шефа, Всеволод Эмильевич отошел к окну. Он был очень бледен. И произнес едва слышно:

— Заметьте, этот «футуристический» пломбир мне приносят не в первый раз! Что делать, как отучить их от этой мерзости?

Я никогда не видел Мейерхольда в таком состоянии.

А потом Мейерхольд меня забыл.

Я больше не был ему нужен, он умел близко, по-настоящему общаться с людьми, только делая с ними совместную работу.

Мне очень хотелось посмотреть «Даму с камелиями» — билетов не было, и я позвонил самому Всеволоду Эмильевичу. Он долго притворялся, что чрезвычайно рад моему звонку, но пустил меня только в яму оркестра. Я обиделся ужасно, как обижаются в молодости, и ушел.

Больше я его никогда не видел.

И никогда не увижу.

Но когда я смотрю настоящий, подлинный, берущий за сердце спектакль или кинофильм, который заставля-

ет меня волноваться, радоваться и плакать, я непременно вспоминаю те удивительные месяцы моей молодости. Лаконизм и страстность, сила разоблачения и сила утверждения, патетическая простота, энергия развития образов, великолепная целеустремленность — вот то мейерхольдовское, что волей или неволей вошло в плоть и кровь всего подлинно прогрессивного в нашем искусстве.

И когда я пишу сценарий, или повесть, или роман, те же удивительные месяцы моей молодости опять-таки непременно оживают передо мной. И не как воспоминания, а как школа, как техникум, как... впрочем, слово «университет» в нашем деле следует употреблять с осторожностью.

За эти месяцы близости с Мейерхольдом я, как мне кажется, очень многое понял. И если в работе моей что-то удается, я знаю: не без тех давно миновавших дней. Если же нет, значит, дней этих было слишком мало или я был в ту пору моложе допустимой нормы.

Таким он остался навечно в моей памяти, этот удивительный человек.

И мне горько, что мы до сих пор с какой-то странной опаской произносим имя Мейерхольда. А некоторые среди нас не возвышаются над шеф-поваром из «Европейской» с его «футуристическим» пломбиром. Может быть, на основании слухов им Мейерхольд представляется каким-то «ничевоком» или «эгофутодадаистом»? Или, не к ночи будь сказано, абстракционистом?

Сталин *никогда* не был в театре Мейерхольда.

И если говорить всерьез о борьбе с последствиями культа личности Сталина, то эта недоверчивость к имени Мейерхольда есть *реальное* последствие, с которым надо бороться.

Все, кто знал Мейерхольда, обязаны *рассказать* о самом главном в нем: о его преданности партии, о его ненависти к обывательщине и мещанству, о наступательном духе его искусства. А ошибки? Что ж! Академик Павлов любил говорить:

— Кто с коня не падал, кто бабушке не внук, под кем санки не подламывались? — и сам отвечал: — Неродившиеся души!

Мейерхольд был, Мейерхольд есть, Мейерхольд будет.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Павлович Герман

Подполковник медицинской службы

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1980, 640 стр.
План выпуска 1980 г. № 92
Редактор Ф. Г. Кацас. Художник Н. И. Васильев. Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редактор В. Г. Комм. Корректор Ф. Н. Аврунина.

ИБ № 2122

Сдано в набор 05.09.79. Подписано к печати 12.03.80. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 33,6. Уч.-изд. л. 34,77. Тираж 150 000 экз. Заказ № 988. Цена 2 р. 40 к.

Изд-во «Советский писатель». Ленинградское отделение,
191186, Ленинград, Невский пр., 28.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

2 р. 40 к.

Юрий
Герман

Подпол-
ковник
медицин-
ской
службы

•

Начало

•

Буцефал

•

Лапшин

•

Жмакин

•

Воспоми-
нания

•